

СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОКИ ДИКТАТУРЫ И ДЕМОКРАТИИ

*Роль помещика и крестьянина
в создании современного мира*

Баррингтон Мур-младший

С Е Р И Я

П О Л И Т И Ч Е С К А Я

Т Е О Р И Я

В Ы С Ш А Я

Ш К О Л А

Э К О Н О М И К И

С Е Р И Я
П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Т Е О Р И Я

SOCIAL
ORIGINS
OF DICTATORSHIP
AND DEMOCRACY

*Lord and Peasant in the Making
of the Modern World*

BARRINGTON MOORE JR.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОКИ ДИКТАТУРЫ И ДЕМОКРАТИИ

*Роль помещика и крестьянина
в создании современного мира*

БАРРИНГТОН МУР-МЛАДШИЙ

Перевод с английского
АЛЕКСЕЯ ГЛУХОВА



*Издательский дом
Высшей школы экономики*
МОСКВА, 2016

УДК 316.4(321.6+321.7)
ББК 60.56
М91

Составитель серии
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Дизайн серии
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Научный редактор
НИКОЛАЙ ЭДЕЛЬМАН

- Мур-младший, Б.**
М91 Социальные истоки диктатуры и демократии: Роль помещика и крестьянина в создании современного мира [Текст] / пер. с англ. А. Глухова; под науч. ред. Н. Эдельмана; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. — 488 с. — (Политическая теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-1004-9 (в пер.).

В классической работе выдающегося американского исторического социолога Баррингтона Мура-младшего (1913–2005) предлагается объяснение того, почему Британия, США и Франция стали богатыми и свободными странами, а Германия, Россия и Япония, несмотря на все модернизационные усилия, пришли к тоталитарным диктатурам правого или левого толка. Проведенный автором сравнительно-исторический анализ трех путей от аграрных обществ к современным индустриальным — буржуазная революция, «революция сверху» и крестьянская революция — показывает, что ключевую роль в этом процессе сыграли как экономические силы, так и особенности и динамика социальной структуры.

Книга адресована историкам, социологам, политологам, а также всем интересующимся проблемами политической, экономической и социальной модернизации.

УДК 316.4(321.6+321.7)
ББК 60.56

В оформлении обложки использован фрагмент картины Гранта Вуда «Американская готика» (1930).

ISBN 978-5-7598-1004-9 (рус.) Copyright © 1966 Barrington Moore, Jr.
ISBN 978-080705073-6 (англ.) © Перевод на рус. яз., оформление.
Издательский дом Высшей школы экономики, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	9
-------------------	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИСТОКИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

I. АНГЛИЯ: ЗНАЧЕНИЕ НАСИЛИЯ И ГРАДУАЛИЗМ	19
1. Роль аристократии при переходе к капитализму в аграрном обществе.	19
2. Аграрные аспекты гражданской войны	29
3. Огораживания и уничтожение крестьянства	34
4. Аристократическая власть для победившего капитализма	41
II. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ	51
1. Отличие от Англии и его причины	51
2. Ответ дворян на коммерциализацию сельского хозяйства	55
3. Классовые отношения при абсолютизме	64
4. Аристократический натиск и коллапс абсолютизма	70
5. Отношение крестьянства к радикализму во время революции	76
6. Крестьянство против революции: Вандея	94
7. Социальные последствия революционного террора ...	101
8. Резюме	108
III. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В АМЕРИКЕ: ПОСЛЕДНЯЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ	110
1. Плантация и фабрика: неизбежный конфликт?	110
2. Три формы развития американского капитализма	114
3. К объяснению причин войны	128
4. Революционный импульс и его угасание	136
5. Значение войны	143

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТРИ ДОРОГИ АЗИИ В СОВРЕМЕННЫЙ МИР

<i>Замечание. Проблемы сравнения политических процессов в Европе и Азии</i>	151
---	-----

IV. ЗАКАТ КИТАЙСКОЙ ИМПЕРИИ И НАЧАЛО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ПУТИ.	154
---	-----

1. Высшие классы и имперская система.	154
2. Джентри и мир коммерции.	164
3. Провал коммерческого сельского хозяйства.	168
4. Закат императорской системы и возвышение генералов.	170
5. Эпоха Гоминьдана и ее значение	176
6. Восстание, революция и крестьянство	188

V. АЗИАТСКИЙ ФАШИЗМ: ЯПОНИЯ	211
---------------------------------------	-----

1. Революция сверху: реакция правящих классов на старые и новые угрозы.	211
2. Отсутствие крестьянской революции	232
3. Преобразования Мэйдзи: новые помещики и капитализм	250
4. Политические последствия: природа японского фашизма	265

VI. ДЕМОКРАТИЯ В АЗИИ: ИНДИЯ И ЦЕНА МИРНЫХ ПЕРЕМЕН	284
---	-----

1. Значение индийского опыта	284
2. Индия при Моголах: препятствия для демократии. . . .	286
3. Деревенское общество: препятствия для восстания. . .	297
4. Перемены, осуществленные британцами до 1857 г. . . .	308
5. Pax Britannica 1857–1947 гг.: помещичий рай?	318
6. Союз буржуазии и крестьянства, основанный на ненасилии	333
7. Замечание о масштабе и характере крестьянского насилия.	340
8. Независимость и цена мирных преобразований.	346

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗЫ

VII. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПУТЬ В СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО	371
VIII. РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ И ФАШИЗМ	388
IX. КРЕСТЬЯНЕ И РЕВОЛЮЦИЯ	406
ЭПИЛОГ. РЕАКЦИОННАЯ И РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОБРАЗНОСТЬ	433
ПРИЛОЖЕНИЕ. ЗАМЕЧАНИЕ О СТАТИСТИКЕ И КОНСЕРВАТИВНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ	456
ЛИТЕРАТУРА	469

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книге предпринимается попытка объяснить различные политические роли, сыгранные высшими классами землевладельцев и крестьянством в процессе трансформации аграрных обществ (для простоты их можно определить как страны, где большинство населения проживает в сельской местности) в современные индустриальные государства. Если говорить конкретнее, то это попытка обнаружить набор исторических условий, в силу которых либо одна из этих аграрных групп либо сразу обе становились важными факторами, обусловившими возникновение парламентской демократии западного типа или же диктатуры, как правого, так и левого толка, т.е. фашистского и коммунистического режима.

Поскольку исследователь общества никогда не надеется на то, что волнующая его проблема свалилась на него с неба, стоит коротко указать, какие соображения стояли за ее выбором. Больше десяти лет тому назад, еще до начала серьезной работы над этой книгой, у меня возникло сомнение в том, что индустриализация была главной причиной возникновения тоталитарных режимов XX в., ведь Россия и Китай были преимущественно аграрными странами, когда коммунисты захватили там власть. Задолго до этого я пришел к убеждению, что адекватное теоретическое понимание политических систем должно учитывать особенности функционирования и истории социальных институций в азиатских странах. Поэтому возможность изучить, какие политические течения господствовали среди сельских классов, уделив при этом азиатским обществам не меньше внимания, чем западным, показалась мне многообещающей исследовательской стратегией.

В первой части книги рассматривается демократический и капиталистический путь перехода в современную эпоху, варианты которого согласуются с тем, как эта трансформация протекала в Англии, Франции и Соединенных Штатах. В мои первоначальные планы входило завершение этого раздела аналогичными главами, посвященными Германии и России, которые должны были показать, каким образом социальные истоки фашизма и коммунизма в Европе отличались от того, что сопровождало возникновение парламентской демократии. Но в итоге я предпочел отказаться от написания этих двух глав, отчасти потому, что книга и так уже вышла слишком большой, а отчасти потому, что за время ее написания появились первоклассные исследования, так что к предложенной в них интерпретации социальной истории этих двух стран я едва ли смог бы что-то добавить. В то же время в своей книге я

по-прежнему свободно ссылаюсь на немецкий и российский материал, как ради сравнительной иллюстрации, так и при подведении теоретических итогов в третьей части. Источники, которые легли в основу моего понимания немецкой и российской социальной истории, приводятся в библиографии. Восполнить отказ от прямого рассмотрения событий в Германии и России мне удалось более подробным обзором (во второй части книги) азиатских версий фашизма, коммунизма и парламентской демократии — соответственно в Японии, Китае и Индии (где аграрные проблемы сохраняют свою остроту). История и социальная структура этих стран обычно мало знакомы образованной западной публике, поэтому критики должны быть снисходительны к автору, решившему уделить больше внимания тому, о чем меньше знают.

Против выбора именно этих тем можно выдвинуть возражение, что их диапазон слишком широк, так что его не под силу адекватно охватить одному человеку, но в то же время крайне узок, чтобы делать корректные обобщения. Автору вряд ли уместно рассуждать о том, что его замысел слишком грандиозен, хотя нередко он сам был искренне готов согласиться с этим суждением. Критики могут также указать, что в книге не уделяется никакого внимания ни демократиям Швейцарии, Скандинавии или Бенилюкса, ни регионам с коммунистической формой правления: Кубе, государствам-сателлитам Советского Союза в Восточной Европе, Северному Вьетнаму и Северной Корее. Действительно, как можно делать общее заключение о развитии западной демократии или коммунизма без учета этого опыта? Не приводит ли пренебрежение малыми западными демократиями к возникновению в масштабе всей книги заметного антикрестьянского перекоса? На мой взгляд, существует объективный ответ на эту критику. Данное исследование фокусируется на ряде важных этапов длительного социального процесса, происходившего в нескольких странах. В ходе этого процесса посредством насилия либо иным образом возникали новые социальные отношения, что делало определенные страны политическими лидерами в различные моменты истории первой половины XX в. В центре нашего внимания именно те новшества, которые вели к политическому преимуществу, а не распространение и рецепция институций, изобретенных на стороне, за исключением тех случаев, когда это приводило к значительному росту влияния в мировой политике. Тот факт, что малые страны экономически и политически зависели от крупных и могущественных, означает, что ключевые пружины их внутреннего политического механизма находились за пределами их границ. Это, в свою очередь, означает, что их политические проблемы невозможно реально сравнивать с проблемами крупных стран. Поэтому общее заключение об исторических условиях демократии и авторитаризма, относящееся к малым странам, скорее всего, будет слишком широким и абстрактным до банальности.

С этой точки зрения анализ трансформации аграрного общества в избранных странах может стать ничуть не менее плодотворным, чем если бы в его основе лежало более представительное обобщение. Так, например, важно знать, какой вклад в установление парламентской демократии в Англии внесло решение аграрных проблем и почему неспособность решить аграрные проблемы совсем иного типа угрожает демократии в сегодняшней Индии. Более того, для каждой конкретной страны приходится искать причинно-следственные связи, которые с трудом вписываются в универсальные теории. И наоборот, чрезмерная привязанность к теории всегда таит в себе опасность того, что роль фактов, согласующихся с данной теорией, оценивается выше их подлинного значения для истории отдельных стран. По этим причинам большую часть книги занимает рассмотрение трансформации, происходившей в нескольких странах.

Параллели и сравнения, возникающие при интерпретации истории отдельной страны, могут привести к постановке весьма полезных, а порой и совершенно новых вопросов. Есть и другие преимущества. Сравнения служат грубой негативной проверкой общепризнанных исторических объяснений, а сам сравнительный подход может привести к новым историческим обобщениям. На практике эти особенности конституируют единый интеллектуальный процесс, что делает подобное исследование чем-то большим, нежели просто подборкой любопытных случаев. Например, если выясняется, что в XIX–XX вв. индийские крестьяне материально пострадали не меньше, чем китайские, но это не привело к зарождению в Индии массового революционного движения, то возникает сомнение в традиционных объяснениях процессов, происходивших в этих двух странах, что пробуждает повышенный интерес к причинам крестьянских восстаний в других государствах в надежде на установление закономерностей. Или, если известно, какой катастрофой для демократии обернулось возникновение коалиции аграрных и промышленных элит в Германии конца XIX — начала XX в. (получившей название «союз ржи и стали»), спрашивается, почему аналогичный «союз стали и хлопка» не предотвратил Гражданскую войну в Соединенных Штатах; в результате чего приходится сделать еще один шаг в определении конфигураций, благоприятных или неблагоприятных для установления современной западной демократии. Само собой разумеется, что сравнительный анализ такого рода не может стать заменой углубленного изучения конкретных случаев.

Корректные обобщения напоминают крупномасштабную карту обширной территории, вроде тех, что применяются летчиками, пересекающими континент. Такие карты нужны для специфических целей, тогда как для других целей потребуются более подробные карты. Когда чело-

век впервые ориентируется на местности, ему не нужно знать расположение каждого дома или тропы. Однако если осматривать местность во время пешей прогулки — историк-компаративист по большей части занимается именно этим, — то взгляд прежде всего выхватывает детали. Их подлинное значение и взаимные отношения выясняются лишь впоследствии. Долгое время исследователь может блуждать в зарослях фактов, где на каждом шагу попадаются специалисты, вовлеченные в жаркие дебаты о том, чем считать эти заросли — сосновым лесом или тропическими джунглями. И вряд ли из подобных дискуссий ему удастся выйти без шишек и синяков. А если он нарисует карту той области, которую посетил, местные жители наверняка обвинят его в том, что он забыл отметить на ней даже свой собственный дом и просеку, — что будет чрезвычайно печально, если ученый обрел там поддержку и вдохновение. Возмущение, по-видимому, будет еще более сильным, если, завершив путешествие, исследователь попытается описать для тех, кто придет ему на смену, наиболее поразившие его вещи. Но это именно то, что я пытаюсь сделать: нанести широкими мазками основные находки и дать читателю предварительную карту местности, которую мы должны совместно исследовать.

Рассматриваемые в книге случаи позволяют выделить три главных исторических пути для перехода из доиндустриального в современный мир. Первый из них проходит через то, что, на мой взгляд, по праву называется буржуазной революцией. Многим ученым этот термин кажется скомпрометированным марксистскими коннотациями, есть и другие недостатки у его применения. Тем не менее по причинам, объясняемым ниже, я считаю этот термин необходимым для обозначения ряда насильственных преобразований, произошедших в английском, французском и американском обществах в процессе их превращения в современные индустриальные демократии. Эти насильственные преобразования историки связывают с Пуританской революцией (или, как ее часто называют, английской гражданской войной¹), Французской революцией и американской Гражданской войной. Ключевая особенность таких революций — возникновение социальной группы с независимым экономическим фундаментом, бросающей вызов унаследованным из прошлого препятствиям на пути к демократической версии капитализма. Существенным элементом этого движения были торговые и промышленные городские классы, но это далеко не вся история. Союзники этого движения, как и его противники, достаточно резко отличаются в каждом случае. Высшие классы землевладельцев, которые поначалу бу-

¹ В русской историографии принято другое название — Английская буржуазная революция. — *Примеч. ред.*

дут в центре нашего внимания, могли стать важной частью капиталистического и демократического движения, как в Англии, однако, если они оказывали сопротивление, их отбрасывали в сторону конвульсии революции или гражданской войны. То же самое можно сказать о крестьянах. Главное направление их политических устремлений могло совпадать с движением к капитализму и политической демократии, в противном случае интересами крестьян пренебрегали. Так могло произойти, поскольку капиталистический прогресс уничтожал крестьянскую общину, но также поскольку этот прогресс зарождался в новой стране, такой как Соединенные Штаты, где по сути не было крестьянства.

Первый и исторически более ранний путь вел через великие революции и гражданские войны к союзу капитализма и западной демократии. Второй путь был также капиталистическим, однако его кульминацией в XX в. стал фашизм. Два очевидных примера — Германия и Япония (но по причинам, названным выше, в данном исследовании подробно рассматривается только последний случай). Я буду называть это капиталистической и реакционной формой развития, равносильной революции сверху. В этих странах буржуазный порыв был намного более слабым. Если даже он принимал революционную форму, то революция терпела поражение. В итоге сегменты относительно слабого торгово-промышленного класса полагались на поддержку оппозиционно настроенных элементов из старых, все еще господствующих классов, в основном происходящих из сельской местности, для того, чтобы произвести политические и экономические перемены, необходимые для становления современного индустриального общества под контролем квазипарламентского режима. Под такой опекой индустриальное развитие продвигалось быстрыми темпами. Однако исходом этого процесса после краткого и нестабильного периода демократии стал фашизм. Третий путь был, конечно, коммунистический, если судить по России и Китаю. Грандиозные аграрные бюрократии в этих странах еще сильнее, чем в двух предыдущих случаях, мешали коммерческому, а впоследствии и промышленному развитию. Итог был двояким. Прежде всего городские классы были слишком слабы даже для того, чтобы сыграть роль младшего партнера по образцу модернизации в Германии и Японии, хотя попытки в этом направлении предпринимались. Кроме того, в отсутствие сколько-нибудь решительных шагов к модернизации сохранялся огромный слой крестьян. Эта страта, под воздействием новых тягот и лишений, которым подвергал ее современный мир, обеспечила главную разрушительную силу революции, опрокинувшей старый порядок и вытолкнувшей эти страны в современную эпоху под властью коммунистических режимов, чьими жертвами в первую очередь стало крестьянство.

Наконец, в Индии обнаруживается нечто вроде четвертой схемы, объясняющей слабое движение в направлении модернизации. До сих пор в этой стране не было ни капиталистической революции сверху или снизу, ни крестьянской революции, ведущей к коммунистическому правлению. К тому же движение в сторону модернизации было весьма нерешительным. Но некоторые исторические условия для возникновения демократии западного типа здесь оказались выполнены. Уже в течение некоторого времени существует парламентский режим, выполняющий не просто декоративную функцию. Поскольку порыв к модернизации в Индии был совсем слабым, этот случай не укладывается в теоретические схемы, которые можно сконструировать в других случаях. В то же время он служит благотворным испытанием для подобных обобщений. Это особенно полезно для попыток понимания крестьянских революций, поскольку уровень деревенской нищеты в Индии, где крестьянской революции не было, ничуть не выше, чем в Китае, где восстание и революция играли решающую роль как в досовременную, так и в актуальную эпохи.

Если сформулировать цель настоящей работы совсем кратко, то можно сказать, что она представляет собой попытку понять роль высших классов землевладельцев и крестьянства в буржуазных революциях, приведших к капиталистической демократии, в незавершенных буржуазных революциях, приведших к фашизму, и в крестьянских революциях, приведших к коммунизму. То, как высшие классы землевладельцев и крестьянство реагировали на вызов коммерческого сельского хозяйства, оказывалось решающим фактором в определении политического итога. Применимость этих политических ярлыков и элементы, по которым совпадали и различались эти движения в разных странах и в разные эпохи, я надеюсь, станут понятны в ходе последующего изложения. Однако один момент необходимо отметить сразу. Хотя в каждом случае возникает лишь одна доминирующая конфигурация, остается возможность для различения вторичных конфигураций, определяющих ход событий в других странах. Так, в Англии на позднем этапе Французской революции и до конца Наполеоновских войн сохранялись элементы реакционной конфигурации, которая стала господствующей в Германии: речь идет о коалиции между старыми землевладельческими и новыми торгово-промышленными элитами, направленной против низших классов города и деревни (но способной иногда рассчитывать на существенную поддержку со стороны низших классов по ряду вопросов). На самом деле эта реакционная комбинация элементов складывается в какой-то мере в каждом из рассматриваемых обществ, включая Соединенные Штаты. Еще одна иллюстрация: абсолютная монархия во Франции демонстрирует отчасти то же воздействие на коммерческую жизнь, что и

бюрократические монархии царской России и императорского Китая. Наблюдения такого рода внушают несколько большую уверенность в том, что эмпирически найденные категории могут выходить за границы частных случаев.

Тем не менее сохраняется сильное напряжение между необходимостью воздать должное частному случаю и стремлением к обобщениям, в основном из-за невозможности осознать важность отдельной проблемы до завершения рассмотрения каждой из них. Это напряжение повинно в некотором дефиците симметрии и элегантности в предлагаемой работе, о чем мне приходится сожалеть, однако я так и не смог исправить этот недостаток даже после ряда переработок. Опять-таки помогает параллель с исследователем неизведанных стран: его призвание не в том, чтобы построить гладкое прямое шоссе для новой группы путешественников. Он вполне успешно справится с ролью проводника, если избавит их от напрасной траты времени из-за блужданий и ошибок, сопровождавших его первую экспедицию, любезно уклонится от того, чтобы повести своих спутников по самым гиблым местам, и укажет наиболее опасные ямы, осторожно обойдя их стороной. А если он вдруг оступится и попадет в ловушку, то в группе возможно найдутся и те, кто не просто посмеется над ним, но поможет подняться и вновь встать на правильный путь. Именно для такой группы соратников по поискам я и сочинил эту книгу.

* * *

Гарвардский центр русских исследований снабдил меня бесценным даром времени. Я в особенности благодарен нескольким сотрудникам Центра, в период служебной деятельности которых эта книга была написана, за выражение сочувственного любопытства без малейшего следа нетерпения: директорам Уильяму Л. Лангеру, Мерл Файнсод, Абраму Бергсону, заместителю директора Маршаллу Д. Шульману. Мисс Роуз Ди Бенедетто, невзирая на многочисленные помехи, с неисчерпаемым чувством юмора печатала и перепечатывала бесчисленное число страниц рукописи.

На протяжении всей работы мой очень хороший друг профессор Герберт Маркузе поддерживал меня своим уникальным сочетанием мягкого поощрения и пронизательной критики. Вероятно, он мне более всего помог именно тогда, когда меньше всего мне верил. Другой хороший друг, покойный профессор Отто Кирххаймер, прочитав рукопись целиком, вывел на поверхность те неявные тезисы, которые я пытался прояснить. На всех этапах работы помощь со стороны Элизабет Кэрол Мур была столь многообразной и необходимой, что только сам автор (и по совместительству муж) способен ее по достоинству оценить. Мы оба

СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОКИ ДИКТАТУРЫ И ДЕМОКРАТИИ

неоднократно и с успехом прибегали к проницательности и спокойной находчивости сотрудников библиотеки Уайденера, в особенности мистера Фостера М. Палмера и мисс И.Т. Фенг.

Несколько моих коллег с глубоким знанием частных фактов благодаря своим комментариям по отдельным главам спасли меня от ряда глупых ошибок и высказали весьма ценные замечания. Их великодушные уверения в том, что они нашли себе некоторую пищу для ума и дальнейших поисков в рамках своей специальности, стали для меня драгоценной наградой. Но, какое бы предостережение я здесь ни сделал, перечисление их имен создало бы неоправданное впечатление, будто они солидаризуются с моей позицией и в отношении результатов моей книги сложился академический консенсус. По этой причине мои благодарности были принесены приватно. В результате общения с теми, кто здесь не назван по имени, а также с теми, кто назван, я осознал, что понятие сообщества ученых — не просто риторические слова.

Баррингтон Мур-младший

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ
ИСТОКИ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ
ДЕМОКРАТИИ

Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

І. Англия: значение насилия и градуализм

1. РОЛЬ АРИСТОКРАТИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К КАПИТАЛИЗМУ В АГРАРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Начиная изучение эпохи, в которую произошел переход от доиндустриального к современному миру, с рассмотрения событий в первой из стран, совершивших его, почти неизбежно задаешься вопросом: почему процесс индустриализации в Англии привел к установлению сравнительно свободного общества? Вполне очевидно, что уже в течение долгого времени современная Англия была таким обществом. Причем в таких важнейших областях, как свобода слова и терпимость к организованной политической оппозиции, возможно, обществом даже более либеральным, чем Соединенные Штаты. Также в этой толерантности со стороны господствующих классов очевиден аристократический компонент. Перечисление всех основных причин возникновения данной ситуации выходит за рамки нашей задачи, даже если эти причины — мы их не рассматриваем, чтобы сохранить нужную перспективу — невозможно не учитывать. В этой главе в центре внимания будет та особая и значительная роль, которую сыграли в переходе к индустриальному обществу классы аграрного общества.

Акцент на судьбах дворянства и крестьянства, а также на многочисленных промежуточных сословиях, бывших отличительной чертой английского общества, продиктован общим планом этой книги и вопросами, с которых она начинается. Тем не менее вследствие изучения фактов намечается еще одно направление исследования. Не нужно глубоко погружаться в английскую историю или придерживаться большего скептицизма, чем рекомендовано в стандартных руководствах по научному методу, чтобы осознать наличие определенной доли мифологии в распространенных представлениях о выдающейся способности британцев урегулировать свои политические и экономические различия путем мирных, честных и демократических процессов. Подобные представления скорее полуправда, чем миф. Простое развенчание мифа не проясняет дела. Историографическая традиция, утверждающая, что английская индустриализация начинается в некий момент после 1750 г., укрепляет этот миф, поскольку она подчеркивает спокойное течение британской истории, мирный характер которой составляет разительный контраст с французскими событиями XVIII–XIX вв., и отодвигает в тень собы-

тия эпохи Пуританской революции (или гражданской войны)¹. Если обратить внимание на этот факт, то нельзя не задаться вопросом о связи между насильственными преобразованиями и мирной реформой, как в современной демократии, так и в более широком смысле — вообще при переходе от обществ, основанных на сельском хозяйстве, к обществам, основанным на современных промышленных технологиях.

Начало социальных конфликтов, которые переросли в английскую гражданскую войну XVII в., было положено сложным процессом изменений, возникшим за несколько веков до этого. Нельзя точно сказать, когда именно этот процесс начался, как и нельзя доказать, что он принял форму гражданской войны. Тем не менее характер его достаточно ясен. Секулярное общество современного типа постепенно прокладывало себе путь через мощные и довольно запутанные заросли феодального и церковного порядка². Более конкретно, начиная с XIV в. проявляется ряд особенностей, указывающих на усиление роли торговли, как в деревне, так и в городе, на демонтаж феодального строя, заменяемого на относительно мягкую английскую версию абсолютной монархии. Причем все это происходит в условиях нарастающего ожесточения религиозных споров, бывших отчасти отражением, а отчасти и причиной тех страхов и страстей, которые неизбежно сопровождают закат старой цивилизации и возникновение новой.

Торговля шерстью была издавна известна в Англии, и в конце Средних веков страна стала самым крупным и важным поставщиком высококачественной шерсти [Power, 1941, p. 16]. Влияние торговли шерстью ощущалось не только в городах, но также и в деревне, и даже, пожалуй, особенно в деревне, ну и, конечно, в политике. Поскольку рынки сбыта английской шерсти располагались на континенте, в частности в Италии и в исторических Нидерландах, то для того, чтобы обнаружить исток того сильного коммерческого движения, которое в конечном счете стало господствующим в английском обществе, необходимо принять во вни-

¹ «Политические реформы, которые, начиная с Парламентского акта 1832 года, установили в Великобритании полноценную демократию, произошли в XIX — начале XX в. Но эти меры были успешными из-за постепенной эволюции конституционных и парламентских институций за столетия до 1832 года» (курсив мой. — Б. М.; [Schweinitz, 1964, p. 6]). В другом месте автор осматрительно аргументирует (и я согласен с этим тезисом), что капиталистическое и демократическое решение проблем модернизации невозможно воспроизвести [Ibid., p. 10–11].

² Феодализм по-разному определяется специалистами по истории общества, экономики, права и конституции, причем различные аспекты менялись с различной скоростью. Полезную дискуссию см.: [Cam, 1940, p. 216].

мание рост местных торговых городов. Подробный анализ вынудил бы нас далеко отклониться в сторону, поэтому для наших целей в качестве исходного факта придется просто признать существенную роль этого обстоятельства. Сыграли свою роль и другие важные факторы. «Черная смерть» 1348–1349 гг. значительно сократила население Англии и, соответственно, доступную рабочую силу. Чуть позже вместе с движением лоллардов раздалась первые грозные раскаты религиозного восстания, после чего в 1381 г. вспыхнул мощный крестьянский бунт. Ниже у нас еще будет повод для рассмотрения хода и значения этих волнений среди низших классов.

Пока же мы сконцентрируем свое внимание на классах высших. Во второй половине XIV в. и большую часть XV в. в их положении происходили важные изменения. Земля и те отношения, которые были основаны на землевладении, утрачивали функцию звена, соединявшего вместе помещика и крестьянина. Король долгое время с переменным успехом пытался воспользоваться этим обстоятельством для усиления своей власти, при том что прочие черты феодализма продолжали действовать. Отрезанный от своих корней, от связи с землей, феодализм превратился в паразита, черпающего силу в маневрах могущественных магнатов и ответных шагах монарха [Sam, 1940, p. 218, 225, 232].

Война Алой и Белой розы (1455–1485 гг.) обернулась для землевладельческой аристократии скорее социальной, чем природной катастрофой, — кровопусканием, серьезно ослабившим знать и давшим шанс династии Тюдоров, возникшей в результате этой борьбы, чтобы с еще большим успехом способствовать консолидации королевской власти. При Генрихе VIII политические и религиозные соображения могли дать дополнительный стимул для зарождения коммерческого сельского хозяйства. Один марксистский историк предположил, что произведенная Генрихом VIII в 1536 и 1539 гг. конфискация монастырей привела к появлению новых, коммерчески ориентированных землевладельцев вместо старой аристократии с ее «центробежными» умонастроениями [Hill, 1958, p. 34–35]. Впрочем, более вероятно, что главное значение правления Генриха VIII состояло в ущербе, нанесенном одному из столпов прежнего порядка — церкви, и в поданном им примере, о чем пришлось пожалеть его наследникам. Уже возникли глубинные волнения, не нуждавшиеся в санкциях королевской власти, постепенно начавшей их рассматривать как угрозу сложившемуся порядку.

Мир, воцарившийся при Тюдорах, а также неуклонный рост торговли шерстью создали мощный стимул для развития коммерческого и даже капиталистического мироощущения в сельском обществе. Непревзойденное исследование Ричарда Генри Тони об экономической жизни Англии в канун гражданской войны, наряду с другими работами,

показывает, как еще задолго до военных сражений эти силы уничтожили феодальную структуру:

В бурном XV в. земля помимо экономической ценности имела еще военное и социальное значение; лорды выступали во главе своих слуг, чтобы с помощью стрел и копий приструнить негодного соседа; в этом случае количество арендаторов ценилось выше, чем денежные доходы с земли. Тюдоровский закон строго запрещал обычай «Ливреи и поддержки»; административные органы и неутомимая бюрократия сурово пресекали частные войны, и, обезвредив феодализм, он сделал контроль над финансами важнее контроля над людьми... [Это изменение...] отмечает переход от средневекового понимания земли как основы политических функций и обязательств к современному взгляду на землю как источнику доходов инвестора. Одним словом, землевладение постепенно стало коммерческим [Tawney, 1912, p. 188–189]³.

Внутриполитический мир и производство шерсти должны были сочетаться определенным образом, чтобы стать опорой для одной из главных сил, двигавших Англию в направлении капитализма и революции,

³ См. также: [Hexter, 1961, p. 144–145], где тот же факт помещен в контекст критики чрезмерного внимания Тони к экономическим факторам. (Краткий современный обзор территории, рассматриваемой Тони, см.: [Thirsk, 1959]. Акцентируя разнообразие географических и социальных обстоятельств огораживаний, автор приходит к тем же общим выводам [Ibid., p. 19–21].) Тони также добросовестно проводит подобные различия. Однако Джоан Тирск считает естественный прирост населения одним из более значительных факторов [Ibid., p. 9]. Эрик Керридж приводит убедительные причины для сомнения в статистических данных по огораживанию [Kerridge, 1955, p. 212–228]. Его главный аргумент состоит в том, что многие из обвиненных в огораживаниях были впоследствии оправданы, поэтому статистические данные преувеличенны. В условиях преобладающего политического влияния тех, кто занимался огораживаниями даже в эпоху Тюдоров, в этом факте нет ничего удивительного. Хотя имеющиеся цифры нельзя принимать всерьез, ясно, что сама проблема была серьезной в важнейших регионах Англии. Ссылки на Тони и Керриджа отсутствуют в кратком библиографическом обзоре в конце книги Тирска.

Спустя полвека после Тони современные исследователи по-прежнему подчеркивают связь между торговлей шерстью и аграрными изменениями. Однако примерно к середине XVI в. стимул для перехода с зерна на шерсть ослабел, земли стало не хватать, рабочей силы было много, а цены на зерно резко выросли. Хотя характер торговли шерстью изменился, динамика цен с 1450 по 1650 г. была резко восходящей, за исключением временных флуктуаций. (См.: [Bowden, 1962, p. xviii, 6 (table 219–220)].)

которая в итоге сделала капитализм демократическим. В других странах, прежде всего в России и в Китае, сильные правители сумели распространить свою власть на обширные территории. Тот факт, что в Англии успех королей был весьма ограничен, внес весомый вклад в будущий триумф парламентской демократии. Ведь между самой по себе торговлей шерстью и демократией нет никакой необходимой связи. В Испании той же эпохи результат развития овцеводства был прямо противоположный, поскольку кочующие стада и их владельцы были превращены в инструмент, который использовала централизованная монархия для борьбы с локальными центробежными тенденциями. Что, таким образом, способствовало воцарению отупляющего королевского абсолютизма⁴. Разгадка английской ситуации в том, что торговая жизнь и в городе, и в деревне в XVI–XVII вв. по причинам, разъясняемым ниже, развивалась в основном (хотя и не полностью) в оппозиции по отношению к короне.

Под давлением обстоятельств средневековое представление, согласно которому об экономических действиях следует судить в соответствии с их вкладом в здоровье социального организма, стало разрушаться. Аграрную проблему больше не трактовали как вопрос о наилучшем способе обеспечения людей на земле, а начали воспринимать как вопрос о наилучшем способе вложения капитала в землю. Земля стала предметом купли и продажи, правильного и неправильного использования, т.е. современной капиталистической частной собственностью. Конечно, при феодализме также существовала частная собственность на землю. Но во всех странах мира, где был феодализм, землевладение непременно обременялось и ограничивалось целым набором обязательств по отношению к другим людям. То, каким образом эти обязательства исчезали, и кто в итоге выигрывал или проигрывал от этой перемены, для каждой страны, знакомой с феодализмом, стало решающей политической проблемой. В Англии эта проблема проявила себя очень рано. Задолго до Адама Смита обособленные группы англичан, проживавших в сельской местности, начали признавать личный интерес и экономическую свободу в качестве естественного основания человеческого общества⁵. Ввиду

⁴ Такой вывод делается в работе: [Klein, 1920, p. 351–357].

⁵ [Lipson, 1956, vol. II, p. lxvii–lxviii]. Хекстер вульгаризирует и искажает предложенный Тони анализ этой тенденции, утверждая, будто тот пытается втиснуть Пуританскую революцию в predetermined идеологическую концепцию неизбежного наступления буржуазной революции, изобретая «легенду, что прибытие горожан в сельскую местность разрушило старую патриархальную экономику деревни и заменило ее жесткой и безжалостной буржуазной коммерцией» [Hexter, 1961, p. 94–95]. Это просто неверно. В анализе Тони подчеркивается более или менее спонтанный ха-

широко распространенного убеждения, что экономический индивидуализм распространялся главным образом в среде буржуазии, стоит заметить, что в Англии еще до гражданской войны землевладельцы, огораживавшие пастбища, были ничуть не менее благодарной аудиторией для этих революционных учений.

Одним из самых поразительных проявлений мировоззренческих подвижек стал полувековой бум на земельном рынке, начавшийся около 1580 г. Ежегодная арендная плата выросла до трети от той цены, за которую еще несколько десятилетий назад можно было купить поместье [Hexter, 1961, p. 133]. Подобный бум был совершенно невозможен без фундаментальных структурных изменений в самом сельском хозяйстве, и его можно рассматривать как результат этих изменений.

Самое важное среди них — огораживания. Само по себе это слово имеет множество значений, описывающих самые разные вещи, происходившие в это время, о сравнительной важности которых нет полного представления. В течение XVI в. наибольшее значение имели «производимые помещиками или их крестьянами захваты земли, общее право на которую имело население поместья или которая была частью открытой пахотной земли» [Tawney, 1912, p. 150]⁶. Помещики, движимые перспективой получения доходов либо от продажи шерсти, либо от сдачи земли в аренду тем, кто занимался продажей шерсти, поднимали соответственно арендную ставку и находили множество как законных, так и полузаконных способов отчуждения у крестьян их права на возделывание открытых полей и права на пользование общей землей для выпаса скота, сбора хвороста для обогрева и т.п. Несмотря на то что реаль-

актер адаптации высших классов землевладельцев к новой ситуации, созданной возросшей значимостью торговли, чей главный центр развития он усматривает в городах [Tawney, 1912, p. 408]. Это не имеет никакого отношения к простой миграции в деревню горожан, вооруженных новыми идеями. В подтверждение своих построений Хекстер цитирует работу Тони (p. 177–200), с щедростью обобщая точную референцию замечанием «passim», и статью Тони «Появление джентри» [Tawney, 1954]. (Подлинную позицию Тони см.: [Ibid., p. 184–186].) На самой первой странице при цитировании Хекстера Тони предложил одно из самых красноречивых предостережений против идеологической детерминистской истории, которое мне когда-либо приходилось видеть. В его длинных пассажах могут встречаться отдельные высказывания, упоминающие о покупке горожанами поместий и их фермерстве на коммерческой основе, однако это не суть его аргумента [Tawney, 1912, p. 177].

⁶ В английском языке слово «фермер» обычно обозначает фермера-арендатора либо того, кто арендует и обрабатывает участок земли с помощью или без помощи наемной рабочей силы в зависимости от наличного капитала. В редких случаях слово «фермер» относится к собственнику земли. (См.: The Shorter Oxford English Dictionary, s.v. «farmer».)

ная площадь земель, попавших под огораживания, была, по-видимому, невелика — менее одной двадцатой всей площади в тех графствах, где шире всего практиковалось огораживание, — этот факт, если это действительно факт, не означает, что ситуация в этих районах не обострилась. По замечанию Тони, подобным методом можно показать, что перенаселенность городов не имела значения для Англии, поскольку частное, полученное в результате деления общей площади страны на число ее жителей, составляло примерно один с половиной акр на человека. «С точки зрения статистики нет различия между тем, когда из пятидесяти поместий уходит по одному арендатору и когда из одного поместья выгоняют пятьдесят арендаторов», однако социальные последствия в этих случаях совершенно разные. В конце концов, у политической и социальной нестабильности, свойственной этой эпохе, должно было быть реальное основание. «Правительство вряд ли станет по легкомыслию провоцировать могущественные классы, а большие группы людей вряд ли поднимут бунт, по ошибке приняв вспаханное поле за пастбище для овец» [Tawney, 1912, p. 224, 264–265].

Очевидно, значительные площади земли, раньше подчинявшейся обычным правилам с определенными методами культивации, превратились в землю, использовавшуюся по усмотрению отдельного человека. В то же время коммерциализация сельского хозяйства означала переход от феодального сеньора, который был в худшем случае незаконным тираном, а в лучшем случае — деспотичным отцом, к господину, который был ближе к проницательному дельцу, эксплуатирующему материальные ресурсы поместья с расчетом на прибыль и эффективность [Ibid., p. 191–193, 217]. Такой образ действий не был совершенной новостью в XVI в. Но он и не имел еще такого размаха, как после гражданской войны, в течение XVIII в. и начале XIX в. Он не был характерен лишь для высших классов землевладельцев, будучи распространенным также среди преуспевающих крестьян.

Это были йомены — класс, сверху ограниченный малочисленным классом джентри, а снизу — менее преуспевающими крестьянами [Campbell, 1960, p. 23–27]. Хотя отнюдь не все йомены были свободными землевладельцами или пользовались тогдашними правами на частную земельную собственность, они быстро двигались в этом направлении, стряхивая с себя остатки феодальных повинностей [Ibid., ch. 4]. Экономически йомены были «группой амбициозных и агрессивных мелких капиталистов, понимавших, что у них недостаточно прибыли, чтобы принимать на себя большие риски, помнивших, что выгода так же часто заключается в экономике, как и в инвестициях, но решительно настроенных на извлечение максимума из каждой возможности, независимо от ее происхождения, ради увеличения дохода» [Ibid., p. 104]. Размер их земельных владений

составлял от 25 до 200 акров пахотной земли, не считая в 5–6 раз большего участка для выпаса скота. Хотя крупные овцеводы, конечно, работали с пониженной себестоимостью и сбывали шерсть с большей прибылью, разведением овец занимались многие йомены и даже еще менее состоятельные крестьяне [Campbell, 1960, p. 102, 107–203; Bowden, 1962, p. xv, 2]. Кроме того, важным источником дохода для сословия йоменов было выращивание зерна, которое пользовалось большим спросом. Те, кто жил неподалеку от Лондона и процветающих городов, а также те, у кого был доступ к водному транспорту, имели огромные преимущества перед прочими [Campbell, 1960, p. 179, 184, 192].

Йомены были главной силой крестьянских огораживаний. Эти огораживания, направленные на пахотную землю, весьма отличались от огораживаний, которые производились овцеводами, состоявшими на службе у помещиков. В основном они носили форму захватов небольших участков пустошей и общинной земли, нередко во владениях соседей и даже помещиков, не отстаивавших строго соблюдение своих прав. В иные времена крестьянские огораживания регулировались взаимными соглашениями, заключавшимися для консолидации земельных наделов и для устранения чересполосной системы в открытом поле. Находясь в такой ситуации, йомены были готовы расстаться с традиционными аграрными нормами и опробовать новые технологии в расчете на прибыль [Campbell, 1960, p. 87–91, 170, 173; Tawney, 1912, p. 161–166].

Йоменов XVI в. можно сравнить с русскими кулаками конца XIX в. и даже послереволюционной поры. Однако в отличие от последних йомены жили в условиях гораздо более благоприятных для частного предпринимательства. В целом йомены — герои английской истории, а кулаки — отрицательные персонажи русской, как в глазах консерваторов, так и социалистов. И этот контраст говорит очень многое об этих двух обществах и двух соответствующих путях перехода в современный мир.

Те, кто способствовали распространению аграрного капитализма и оказались главными победителями в борьбе против старого режима, происходили из сословия йоменов, но в еще большей мере из высших классов землевладельцев. Основными жертвами прогресса, как обычно, стали простые крестьяне. Так случилось не потому, что английские крестьяне были в особенности упрямы и консервативны, из чистого невежества и по глупости, как казалось их современникам, цепляясь за обычаи эпохи, предшествовавшей капитализму и индивидуализму. Верность старым привычкам, несомненно, сыграла свою роль; однако в этом случае, как и во многих других, рассматриваемых в данном исследовании, необходимо поставить вопрос, почему эти старые привычки сохранялись. Причину увидеть достаточно легко. В средневековой аграрной системе Англии, как и во многих других странах мира, каждое крестьянское владение состояло из нескольких узких полосок земли, беспорядочно рас-

положенных среди наделов других крестьян в неогороженном, открытом поле. Поскольку после жатвы на полях пасли скот, все крестьяне, имевшие надел на одном поле, должны были собирать урожай в одно время, поэтому все работы в аграрном цикле нужно было согласовывать внутри общины. В этих условиях сохранялся определенный простор для частной инициативы⁷, но в основном требовалась кооперация, которая быстро превращалась в обычай, поскольку так проще всего было вести дела. Сезонная реорганизация пользования полосками земли иногда случалась, но была слишком хлопотной. Заинтересованность крестьян в общинной земле, которая служила дополнительным источником корма для скота и возможностью для сбора хвороста, очевидна. В целом английские крестьяне добились для себя сравнительно выгодного положения в рамках манориальных обычаев, и поэтому неудивительно, что они надеялись на защиту обычая и традиции как на дамбу, которая уберезет их от надвигающегося капиталистического потока, едва ли сулившего им какую-то прибыль [Tawney, 1912, p. 126, 128, 130–132].

Но несмотря на помощь, периодически оказываемую ей со стороны монархии, эта дамба начала разрушаться. Или, если выражаться языком той эпохи, «овцы съели людей». Крестьян вытесняли с земли; как отдельные полоски пашни, так и общинная земля превращались в пастбища. Один пастух справлялся с целым стадом, которое паслось на участке земли, прежде кормившем многих людей [Ibid., p. 232, 237, 240–241, 257]. Точно оценить эти перемены не представляется возможным, но нет сомнения в их серьезности. И все же, как хладнокровно замечает Тони, течи, пробившие эту дамбу в XVI в., были всего лишь тонкими струйками по сравнению с потоком, хлынувшим после ее разрушения в ходе гражданской войны.

Итак, в Англии главными поборниками того, что в итоге стало секулярным обществом современного типа, в то время были прежде всего сельские и городские предприниматели. В отличие от того, что происходило во Франции, эти люди добивались успеха самостоятельно, без патерналистской опеки со стороны короля. Разумеется, многие из них были рады работать с королевским двором, ведь в этом случае было чем поживиться. Но особенно в канун гражданской войны состоятельные горожане выступили против королевских монополий, которые, даже не ограничивая производство, являлись помехой для реализации их личных амбиций⁸. При Елизавете I и при двух первых Стюартах корона приложила некоторые усилия, чтобы смягчить воздействие этих тенденций

⁷ Ср. [Campbell, 1960, p. 176–178], где цитируется исследование Фасселла (G.E. Fussell) о ранних методах ведения фермерского хозяйства.

⁸ Для сравнения с Францией см.: [Nef, 1957]. Об атаке на привилегированные компании см. также: [Lipson, 1956, vol. 2, p. lviii–lix].

на крестьян и беднейшие городские классы. Масса крестьян, вытесненных на обочину жизни, была угрозой для общественного порядка, что приводило к стихийным восстаниям⁹. Один добросовестный историк определяет королевскую политику как «судорожную благожелательность». Во время одиннадцатилетней тирании Карла I, когда король правил без парламента через Страффорда и Лода, стремление к показной благожелательности могло быть еще более энергичным. Королевские суды, Звездная палата и Долговой суд, защищали крестьянина от выселения в случае огораживания¹⁰.

При этом корона была не прочь обогатиться за счет штрафов, взыскивавшихся в ходе реализации этой политики. Решительное исполнение закона оставалось для нее в любом случае недостижимым. В отличие от французской монархии, английская королевская власть не смогла выстроить эффективный административный и юридический механизм, который стал бы проводником ее воли в провинции. В сельской местности порядок поддерживали в основном представители сословия джентри, те самые, против кого и были направлены оградительные меры королевской власти. В итоге главным результатом королевской политики стал рост враждебности к короне со стороны тех, кто, имея общественно полезный образ мысли, отстаивал право распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению. Королевская политика неизбежно сплачивала ориентированные на коммерцию группы в городе и деревне, и без того уже объединенные различными интересами в откровенную оппозицию к короне¹¹. В аграрном секторе политика Стюартов потерпела явную неудачу и приблизила гражданскую войну, т.е. конфликт

⁹ Крестьянские восстания недостаточно хорошо изучены. Тони, возможно, преувеличивает их связь с огораживаниями. Наилучший материал, доступный мне, был в книге: [Семенов, 1949, с. 277, 284, 287–291, 300–304, 307, 309, 321, 324, 327, 349]. Основное содержание этого материала, ограниченного XVI в., в следующем. Было три главных восстания, в которых принимали участие крестьяне: 1) Благодатное паломничество 1536–1537 гг., в основном феодальное и антироялистское движение, в котором крестьяне участвовали наряду со своими лордами; 2) Девоншир и Корнуолл в 1549 г., экономически отсталая область; и 3) в районе Норфолка в том же году, где связь с огораживаниями подтверждается. Тревор-Роупер характеризует крестьянский бунт в центральных графствах в 1607 г. как «последнее чисто крестьянское восстание в Англии», там же встречаются термины «левеллеры» и «диггеры» [Trevor-Roper, 1953, p. 40]. Это восстание также было направлено против огораживаний.

¹⁰ См.: [Lipson, 1956, vol. 2, p. lxxv, 404–405; James, 1930, p. 79, 241–243].

¹¹ См. превосходный анализ в: [Manning, 1965, p. 247–269, 252, 263]. (Здесь и далее курсивом указаны страницы, на которые автор обращает особое внимание. — *Примеч. ред.*)

«между правами частных лиц и королевской властью, последней опорой которой считалась религиозная санкция» [James, 1930, p. 80]. К этому моменту стало уже достаточно ясно, чьи именно права были ставкой в этом конфликте: совершенно точно это не были права крестьянских масс, составлявших большую часть населения Англии.

2. АГРАРНЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

На этом фоне нет поводов усомниться в тезисе, что ориентированные на коммерцию слои высших классов землевладельцев и в меньшей степени йоменов были главными силами оппозиции, выступившей против короля и его попыток сохранить старый порядок, а тем самым — важной, пусть и не единственной, причиной гражданской войны. Развитие городской торговли в XVI–XVII вв. создало в английской деревне рынок сельскохозяйственной продукции, что привело к постепенной коммерциализации и капитализации хозяйства в деревне. Влияние коммерческих интересов мало-помалу создало новую ситуацию, к которой разные группы внутри каждого из аграрных классов, пусть даже ни одна из них не была четко отделена от других сельских и городских групп, сумели приспособиться по-разному и с разной мерой успеха. Титулованным аристократам, привыкшим к показной роскоши и дорожащим связями при дворе, за редкими исключениями не удалось справиться с переменами [Tawney, 1954, p. 181]¹². Главной сельской группой, предприимчивые члены которой успешно адаптировались к новым условиям, было большое и несколько разобщенное сословие, чье социальное положение было ниже пэров, но выше йоменов, т.е. — джентри. Но их успех не вполне зависел от сельскохозяйственной деятельности. Те из джентри, кто заглядывали в будущее, имели разнообразные личные и деловые связи с высшими городскими слоями, т.е. с буржуазией в общепризнанном и более узком смысле этого слова [Ibid., p. 176, 187–188]. Из сословия джентри впоследствии вышли основные представители того решающего исторического направления, которое изменило структуру английского сельского общества. В смысле различия в типах экономики, социальной структуры и соответствующих умонастроений между джентри и землевладельческой аристократией происходила «борьба между экономикami разного типа, сильнее согласовавшимися с региональными особенностями, чем с социальными подразделениями. Многие джентри оставались бездейственными или разорались. Нетрудно было указать знатных землевла-

¹² См. весьма подробное исследование по этому вопросу, вышедшее тогда, когда данная книга была уже в печати: [Stone, 1965, ch. 4, p. 163]. Автор приходит к выводу, что доля пэров в быстро растущем благосостоянии Англии резко пошла на убыль и именно эта перемена в относительном, а не в абсолютном финансовом положении оказалась значимой.

дельцев, которые шли в ногу со временем и заработали большую часть своего состояния» [Tawney, 1954, p. 186]¹³. «Бездеятельными» были, очевидно, менее предприимчивые джентри, не преуспевшие в улучшении своей экономической ситуации в деревне и лишенные полезных деловых или административных связей в городе. Эти «ворчуны и брюзги» могли примкнуть к радикальной группе, стоявшей за Кромвелем и Пуританской революцией, хотя главную опору это движение находило в более низких социальных группах¹⁴. Итак, под воздействием торговли и зачатков индустриализации английское общество оказалось распоротым сверху донизу таким образом, что вспышки радикального недовольства, порожденные теми же силами, смогли временно вырваться на первый план. Как мы увидим далее, аналогичная цепь событий отчасти характерна и для других важнейших революций Нового времени — во Франции, России и Китае. В этом процессе, поскольку прежний порядок разрушался, слои общества, остававшиеся в проигрыше вследствие долговременных экономических тенденций, выступали вперед и делали большую часть «грязной работы» по свержению старого режима, расчищая таким образом дорогу для новых институций.

В Англии основной грязной работой этого рода стал символический акт казни Карла I. Основное требование устроить суд над королем исходило от армии, в которой были весьма сильны народные настроения, происходящие из слоя социально более низкого, чем джентри, вполне вероятно, из городских ремесленников и крестьян [Firth, 1962, p. 346–360]. К моменту казни Кромвелю и его офицерам уже удалось обуздать эти настроения. Смертный приговор пришлось протаскивать через парламент буквально под дулами мушкетов. И даже в этом случае многие члены парламента (49 человек) отказались осудить короля; 59 человек

¹³ Достижение Тони состоит в осознании значимости и привлечении внимания к структурным изменениям в английском обществе, хотя статистический фундамент его аргументации является, вероятно, ее наиболее слабой частью. Он, возможно, преувеличил количество титулованных аристократов, которые не справлялись с новой ситуацией, и количество джентри, которые извлекали выгоду из нее. Критику статистических методов Тони см.: [Cooper, 1956, p. 377–389], а также приложение об интерпретации статистической информации.

¹⁴ См.: [Trevor-Roper, 1953, p. 8, 16, 24, 26, 31, 34, 38, 40, 42, 51]. Хотя аргументация Трево-Роупера не безупречна, он представил множество подтверждений существенного влияния «простых джентри» в армиях Кромвеля. Вариант позиции Трево-Роупера см.: [Yule, 1958, p. 48–50, 52, 56, 61, 65, 79, 81], особенно р. 80, где автор соглашается с тем, что представителей джентри было меньше среди армейских офицеров-инdependентов. Резкую критику тезиса Трево-Роупера см.: [Zagorin, 1959, p. 381, 383, 385, 387].

подписали смертный приговор. Среди последних заметно преобладание обедневших джентри, а среди первых — более состоятельных джентри. Но эти две группы имеют существенные пересечения; механический социологический анализ не позволяет точно определить политические настроения той поры (см. табл.: [Yule, 1958, p. 129]). Вероятно, конституционная монархия могла бы возникнуть и по иному сценарию. Но судьба Карла I стала зловещим уроком для будущего. Ни один последующий английский король не посмел всерьез добиваться абсолютной монархии. Стремление Кромвеля установить диктатуру кажется просто отчаянной и безуспешной попыткой задним числом восполнить нанесенный ущерб и совершенно не сравнимо с полудиктаторской фазой Французской революции, все еще озабоченной уничтожением *ancien régime*. Крестьянство и городской плебс, выполнявшие грязную работу в других революциях, не проявили себя во время английской гражданской войны, за исключением ряда кратковременных и важных символических актов.

Существовало множество связей, объединявших модернизаторов с традиционалистами в одном и том же социальном слое, — среди прочего общий страх перед низшими сословиями, «подлым людом». Наличие подобных связей помогает объяснить, почему классовые предпочтения во время революции оставались не совсем ясными. Карл I сделал все возможное, чтобы угодить джентри. Есть свидетельства, что в значительной мере ему это удалось¹⁵. Несмотря на борьбу Стюартов против огораживаний, поддержка короля со стороны многих богатых джентри вряд ли вызывает удивление. Трудно ожидать, что состоятельные люди с легким сердцем выступят против одного из двух главных столпов социального порядка — против короля или церкви. В конечном счете, джентри приветствовали восстановление этих институций в измененной форме, более подходившей их требованиям. Такое же двусмысленное отношение к тем особенностям старого порядка, которые поддерживали права собственности, проявилось и в других великих революциях, последовавших за Пуританской революцией, а также во время американской Гражданской войны. И в то же время политическая цель лидеров восстания была ясной и открытой. Они боролись против вмешательства короля и радикалов низших сословий в права собственности землевладельцев. В июле 1641 г. Долгий парламент упразднил Звездную палату, главное оружие короля в борьбе против землевладельцев-огораживателей, а также главный символ произвола королевской власти. Опасность радикальных настроений внутри армии, со стороны левеллеров и диггеров,

¹⁵ Подборку релевантных свидетельств см.: [Zagorin, 1959, p. 390; Hardacre, 1956, p. 5–6].

была устранена Кромвелем и его соратниками с твердостью и мастерством [James, 1930, p. 117–128].

Другие факторы также повлияли на то, что Пуританская революция так и не переросла в откровенную борьбу между высшими и низшими слоями общества. Конфликт затрагивал комплекс экономических, религиозных и конституционных проблем. Пока еще недостаточно сведений для окончательного прояснения того, в какой мере эти три проблемы пересекались: социальный базис пуританизма все еще ждет своего анализа. Но есть указания, что суждение по этим вопросам формировалось в различные моменты времени. По мере развития драматических событий революции люди сталкивались с явлениями, которые были им неподконтрольны и последствия которых невозможно было предвидеть. Одним словом, когда процесс революционной поляризации обострился и пошел на убыль, многие как наверху, так и внизу ощущали себя в невыносимо мучительном положении и лишь с большим трудом могли прийти к какому-либо решению. Личные обязательства могли вынуждать людей вступать в противоречие с теми принципами, которые человек недостаточно четко осознавал, и наоборот.

В экономической жизни гражданская война не привела к массовому переходу земельной собственности от одной группы или класса к другой. (На этот счет Тони скорее всего ошибается.) Последствия для землевладения были, вероятно, даже меньше, чем после Французской революции, в отношении которой современные исследования подтвердили тезис Токвиля о том, что рост класса крестьян-собственников предшествовал революции и поэтому не был следствием продажи собственности эмигрантов. В Англии сторонники парламента испытывали хроническую нехватку денег и финансировали войну либо с помощью перехвата денежных операций в имениях роялистов, либо путем прямых конфискаций. Со временем агенты роялистов сумели вернуть поместья в собственность, внося таким образом свой вклад в финансирование своих врагов. Еще большее число поместий было возвращено впоследствии. В одном из исследований таких трансакций в юго-восточной Англии, которое, по мнению автора, применимо также к более широкому контексту, показано, что более чем для трех четвертей владений, проданных в эпоху Содружества, обнаруживаются их собственники в эпоху Реставрации. Около четверти этих владений были возвращены прежним хозяевам до 1660 г. Похоже, покупатели королевских и церковных земель не смогли удержать эти приобретения после Реставрации, впрочем, автор исследования не приводит статистических данных по этому вопросу [Thirsk, 1954, p. 323, 326–327].

Но это свидетельство нельзя толковать в пользу того, что Пуританская революция вообще не была революцией. Ее достижения в сфере право-

вых и социальных отношений были серьезными и продолжительными. После упразднения Звездной палаты крестьяне потеряли главную защиту против распространения огораживаний. При Кромвеле и особенно на позднейшем этапе правления генерал-майоров были сделаны некоторые попытки воспрепятствовать этим последствиям. Но это стало последним усилием такого рода [James, 1930, p. 118, 120, 122, 124]. Хотя можно сомневаться в социальной характеристике представителей джентри, поддержавших революцию, понятно, кто выиграл больше других. «После Реставрации у огораживателей были развязаны руки», хотя полностью итоги стали ощутимы лишь через некоторое время [Ibid., p. 343]. Ослабив власть короля, гражданская война устранила главную помеху для землевладельцев-огораживателей и одновременно подготовила Англию к правлению «комитета землевладельцев», как достаточно точно, пусть и нелестно, называли парламент XVIII в.

Критика тезиса, что гражданская война была буржуазной революцией, оправданна, поскольку конфликт не привел к передаче политической власти буржуазии. Высшие классы в сельской местности по-прежнему жестко контролировали политический аппарат, причем, как показано ниже, не только в течение всего XVIII в., но даже после Парламентского акта 1832 г. Однако стоит взглянуть на реалии социальной жизни, как тезис становится тривиальным. Влияние капитализма значительно распространилось и изменило сельскую жизнь задолго до гражданской войны. Отношения между землевладельцами-огораживателями и буржуазией были настолько близкими и тесными, что нередко сложно решить, где начинаются и заканчиваются разветвленные семейные связи того времени. Исходом борьбы был грандиозный, хотя и не окончательный, успех союза между парламентской демократией и капитализмом. Как заметил по этому поводу один современный историк, «аристократический порядок сохранил себя, но в новой форме, его основанием теперь стали скорее деньги, а не происхождение. Сам парламент превратился в инструмент помещиков-капиталистов, вигов и тори, их родственников и союзников, чьи интересы отныне неизменно отстаивало государство» [Zagorin, 1959, p. 681].

Чтобы оценить размах воздействия гражданской войны, нужно отвлечься от деталей и взглянуть на историческую перспективу. Декларативный принцип капиталистического общества состоит в том, что свободное использование частной собственности для личного обогащения благодаря рыночному механизму ведет к неуклонному росту богатства и благополучия во всем обществе. Этот образ мышления в итоге одержал в Англии победу с помощью «правовых» и «мирных» методов, которые, однако, могли вызвать не меньше реального насилия и страданий как в деревне, так и в городе XVIII — начала XIX в., чем

сама гражданская война. Даже если исходный капиталистический импульс возник в городской среде еще в Средневековье, в деревне он развивался не менее сильно, получая постоянные финансовые вливания со стороны городов, что привело к распространению в сельской местности сословия, поглотившего старый порядок. И принцип капитализма, и парламентская демократия прямо противоречат таким реалиям, как политическая власть, опирающаяся на божественную санкцию, или экономическое производство, ориентированное на пользу, а не на частную выгоду, которые оказались вытесненными и преодоленными во время гражданской войны. Без триумфа этих принципов в XVII в. сложно себе представить мирную модернизацию английского общества (это действительно был мирный процесс) в XVIII–XIX вв.

3. ОГОРАЖИВАНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА

Революционное насилие может не меньше, чем мирная реформа, способствовать установлению относительно свободного общества, и в Англии оно действительно явилось прелюдией к мирным преобразованиям. Но не всякое исторически значимое насилие принимает форму революции. Многого можно добиться в рамках законности, даже если эта законность движется путем западной конституционной демократии. Примером такого рода стали огораживания, последовавшие за гражданской войной и продолжавшиеся до начала Викторианской эпохи.

Еще полвека назад многие ученые считали огораживания XVIII в. основным инструментом, при помощи которого почти всемогущая земельная аристократия уничтожила независимое английское крестьянство¹⁶. Новейшие исследования постепенно, но неумолимо подрывали этот тезис. Сегодня в его правоте уверены лишь немногие профессиональные историки помимо некоторых марксистов. Бесспорно, это устаревшее мнение ошибочно в деталях и сомнительно в некоторых пунктах, имеющих ключевое значение для основного аргумента. Тем не менее авторы прошлого твердо фиксировали один момент, нередко исчезающий в современных дискуссиях: огораживания были окончательным ударом, который разрушил всю структуру английской крестьянской общины, воплощенной в традиционной деревне.

Как мы только что увидели, крестьянская община подверглась атакам задолго до гражданской войны. В результате войны был устранен король как последняя защита крестьянства от посягательств со стороны высших классов землевладельцев. Несмотря на малую эффективность бюрократии Тюдоров и Стюартов, она все-таки отваживалась мешать

¹⁶ См., напр., классическую монографию: [Hammond, Hammond, 1911], ср. [Johnson, 1963].

такому ходу событий. После Реставрации и Славной революции 1688 г., последнего эха великого потрясения, в XVIII в. Англия успокоилась под властью парламента. И хотя король, конечно, не был номинальной фигурой, он не пытался повлиять на распространение огораживаний. Парламент был не просто комитетом землевладельцев: коммерческие интересы горожан были также, по крайней мере косвенно, представлены через систему «гнилых местечек» [Namier, 1961, p. 4, 22, 25]. Местные администрации, с которыми крестьяне прямо соприкасались, еще сильнее, чем прежде, подчинялись джентри и титулованной аристократии. С наступлением XVIII в. решения по общественно значимым вопросам в 15 тыс. церковных приходов, образовавших ячейки английского политического организма, постепенно начинают принимать за закрытыми дверями, устраняя последние следы демократического характера, свойственного ему в Средние века [Hammond, Hammond, 1911, p. 16–17; Johnson, 1963, p. 132].

Кроме того, именно парламент в конечном счете контролировал весь ход огораживаний. Формально процедуры, с помощью которых помещики производили огораживания согласно парламентскому акту, были публичными и демократическими. На деле же крупные владельцы собственности от начала и до конца управляли всей процедурой. Так, чтобы парламент одобрил предложение по огораживанию, на месте требовалось согласие «от трех четвертей до четырех пятых» долей... Но чего? Ответ: собственности, а не людей. Голоса не подсчитывались, они оценивались. Один крупный собственник значил больше, чем целая община мелких собственников и наемных работников¹⁷.

¹⁷ [Hammond, Hammond, 1911, p. 49–50]. В одном исследовании позиция этих авторов подверглась критике за преувеличение роли коррупции и предвзятости в том, как парламент обходился с огораживаниями. (См.: [Tate, 1942, p. 74, 75].) Автор изучил каждый случай, где можно было найти запись о том, что члены парламента собирались для рассмотрения прошений об огораживании в графстве Ноттингемшир. Он обнаружил, что в 71% из 365 рассмотренных случаев «нет оснований предполагать, что несправедливость была причинена из-за частного эгоистического интереса парламентариев, за исключением того, что несправедливость по необходимости причиняется в некоторой степени, когда в классовом обществе члены одного класса законодательствуют о жизни и собственности тех, кто занимает совершенно иную позицию в социальной иерархии» (курсив мой. — Б. М.). Но когда далее говорится, что «парламент землевладельцев, вероятно, не менее предвзято рассматривал дело о сохранении землевладельческого крестьянства, как делал бы парламент угольных промышленников, размышляя о необходимости продолжения существования углеладельцев», — создается впечатление, что автор опроверг свой собственный аргумент.

Политическое и экономическое превосходство крупных землевладельцев в XVIII в. отчасти было результатом тенденций, возникших задолго до гражданской войны, главным образом — усиления власти местной аристократии и отсутствия энергичного бюрократического аппарата, способного противостоять этой власти даже при Тюдорах и Стюартах. Исходом гражданской войны в Англии в отличие от Французской революции было значительное укрепление положения высших классов землевладельцев. Ранее уже было сказано о сравнительно малых изменениях в распределении земельной собственности в ходе Пуританской революции¹⁸. В Нортгемптоншире и Бедфордшире за двумя исключениями все известнейшие семьи 1640 г. и век спустя не утратили своего господствующего положения [Habakkuk, 1940, p. 4].

Рано приспособившись к миру коммерции и даже возглавив переход к новой эпохе, английская земельная аристократия не была уничтожена потрясениями, сопровождавшими эти перемены. Хотя связи между буржуазией и земельной аристократией в XVIII в. были слабее, чем при Елизавете и первых Стюартах, эти отношения оставались очень тесными [Ibid., p. 17]. По замечанию сэра Льюиса Нэмира, английские правящие классы XVIII в. не были «аграрными», подобно своим современникам в Германии, а цивилизация, ими созданная, не была ни городской, ни сельской. Они жили не в укрепленных замках, в сельских особняках или в городских палаццо (как в Италии), но в домах, расположенных в собственном поместье [Namier, 1961, p. 16; European Nobility., 1953, ch. 1].

Среди историков общепризнано, что период примерно с 1688 г. до окончания Наполеоновских войн был золотым веком крупного землевладения. В некоторых частях страны поместья расширялись за счет мелкопоместного дворянства, но в большей мере за счет крестьянства. Никто еще не отважился отрицать общее значение огораживаний или то, что огромная масса крестьян потеряла свои права на общинные земли из-за того, что они достались крупным помещикам. Это был век прогресса в сельскохозяйственных технологиях, распространения удобрений, новых зерновых культур и севооборота. Новые методы были абсолютно неприменимы на полях с правилами общинного земледелия; их стоимость была недоступна для фермеров с небольшим и даже средним достатком. Несомненно, во многом увеличение размера ферм объясняется большей рентабельностью и меньшей себестоимостью в крупном хозяйстве [Mingay, 1962, p. 480].

Тогдашние современники с энтузиазмом, пожалуй несколько чрезмерным, осознавали эти преимущества. Подобно городским капиталистам и вообще подобно всем нынешним революционерам, тогдашний

¹⁸ См. вышеупомянутые исследования Джоан Тирск.

сельский капиталист оправдывал все человеческие несчастья, порожденные его деятельностью, указанием на пользу, принесенную им обществу одновременно с получением огромной личной наживы. Если не учитывать теорию общественной пользы и существенную долю истины, в ней содержащуюся, невозможно понять жестокость движения огораживаний¹⁹.

В моих рассуждениях сельский капиталист предстает одним типом. На самом деле их было два: крупный землевладелец и крупный фермер-арендатор. Крупный землевладелец был аристократ, он ничего не делал своими руками и нередко перекладывал реальные административные частности на бейлифа, за которым, впрочем, зорко присматривал. Уолпол читал отчеты своего управляющего перед тем, как перейти к изучению государственных документов. Вклад крупного землевладельца в развитие капиталистического сельского хозяйства на этом этапе был в основном юридическим и политическим; обычно именно он являлся инициатором огораживания. В отсутствие крепостных крестьян землевладелец передавал землю в обработку крупным фермерам-арендаторам. Многие из них использовали наемный труд. Уже в самом начале XVIII в. землевладельцы имели «ясное представление о том, что такое хорошее имение. Это имение, сданное в аренду крупным фермерам, обрабатывавшим по 200 или более акров, регулярно платившим арендную плату и поддерживавшим собственность в порядке. Все три наиболее важных метода усовершенствования в тот период служили этой цели — консолидация собственности, огораживание и замена пожизненной аренды на срочную аренду по годам, — а на практике они были связаны между собой по многим аспектам» [Habakkuk, 1940, p. 15; Namier, 1961, p. 15]. Крупные фермеры-арендаторы внесли свой вклад в экономическое развитие. Хотя землевладельцы облагали их высокими налогами — позиции арендаторов были достаточно сильными, чтобы противостоять этому, они почти не предоставляли оборотный капитал своим арендаторам [Habakkuk, 1940, p. 14]. От них этого и не ждали. Но именно крупные арендаторы и богатые свободные землевладельцы, а не выдающаяся горстка «предприимчивых лендлордов» были реальными пионерами сельскохозяйственного развития, по мнению одного современного нам историка²⁰.

¹⁹ Несмотря на все сочувствие к жертвам, Хаммонды четко фиксируют этот момент: «Бессмысленно приравнивать свою скорость к медленному буколическому темпераменту мелких фермеров, воспитанных в простых и старинных нравах и встречающих подозрением любое неожиданное предложение» [Hammond, Hammond, 1911, p. 36].

²⁰ См.: [Mingay, 1962, p. 472, 479], где в качестве подтверждения приводятся путешествия Артура Юнга. В другом месте Мингей приводит значи-

Рамки периода, когда указанные перемены происходили наиболее интенсивно и глубоко, до конца не определены. Вероятнее всего, движение огораживания достигло своего пика около 1760 г. Возможно, оно добилось еще большего прогресса, стремительно продвигаясь в эпоху Наполеоновских войн, однако застопорилось после 1832 г., до неузнаваемости изменив к этому времени английскую деревню. Растущие цены на продовольствие и, вероятно, нехватка рабочей силы были главными факторами, вынуждавшими помещиков расширять свои владения и рационализировать земледелие²¹.

Так, на значительной территории Англии по мере того, как крупное землевладение становилось еще крупнее и постепенно переходило на коммерческие принципы, оно окончательно уничтожило средневековую крестьянскую общину. Скорее всего, хотя и не абсолютно достоверно, волна парламентских огораживаний в XVIII — начале XIX в. просто обеспечила правовое прикрытие для процесса размывания крестьянской собственности, продолжавшегося уже некоторое время²². Из опыта других стран нам известно, что вмешательство коммерции в крестьянскую общину обычно приводит к концентрации земли в руках узкого круга собственников. Эта тенденция была ощутима в Англии по крайней мере

тельные свидетельства в пользу того, что очень крупные землевладельцы не действовали экономически прогрессивными методами, увеличивая свою собственность; если такое происходило, то в основном за счет выгодных браков либо через корыстное использование общественных фондов. Стимул для усовершенствования методов культивации исходил от «публицистов, сельского дворянства, собственников-владельцев и крупных фермеров-арендаторов» [Mingay, 1963, ch. 3, p. 166, 171]. Автор согласен (р. 179) с тем, что огораживания были главным вкладом землевладельцев в экономический прогресс.

²¹ См.: [Ashton, 1955, p. 40], а также таблицу цен на пшеницу в 1704–1800 гг. [Ibid., p. 239; Deane, Cole, 1962, p. 94], где приводится таблица ежегодного количества парламентских актов об огораживаниях в 1719–1835 гг. (само по себе это не более чем весьма приблизительный показатель числа крестьян и размеров земель, затронутых огораживаниями); [Gonner, 1912, p. 197; Levy, 1911, p. 10, 14, 16, 18, 19]. Иную точку зрения см.: [Johnson, 1963, p. 87, 136]. Следует учесть также: [Chambers, 1953, p. 325, n. 3]. Прежний взгляд, согласно которому мелкие землевладельцы исчезли к 1760 г., отчасти базировался на анализе записей о налогах на землю (как в вышеуказанной работе Джонсона). Но сомнения в надежности этих данных см.: [Mingay, 1964, p. 381–388].

²² См.: [Ibid., p. 99, 180–181, 184, 186]. Если это заключение правильно, главная ошибка Хаммондов состояла бы в преувеличении важности парламентских огораживаний как таковых. В отличие от меня Мингей минимизирует проблемы и масштаб огораживаний [Ibid., p. 96–99, 179–186, 268–269].

с XVI в. В одной деревне, находившейся в самом центре области, которая подверглась интенсивным огораживаниям, 70% земли было изъято из крестьянской экономики еще до того, как сама деревня была огорожена по парламентскому акту. К 1765 г. лишь три из десяти семей владели землей в этой области прогрессивного производства. Остальные были рабочими, вязальщиками и мелкими торговцами. Семьдесят мелких крестьянских хозяйств из менее чем сотни владели не более чем пятой частью всей земли, тогда как десяток семей из верхнего слоя располагал тремя пятими [Hoskins, 1957, p. 217, 219, 226–227]. Подобная ситуация в основном превалировала в области, подвергшейся интенсивным огораживаниям, начиная с середины XVIII в. Если взглянуть на карту Англии, заштрихованную в соответствии с числом графств, где происходили огораживания общинных земель, чтобы понять, какие области были этим захвачены, то окажется, что подобным процессам подверглось больше половины страны. Возможно, в свою очередь, в половине этой области, в основном в центральных графствах, но также на большом участке, вытянувшемся на север, последствия были наиболее ощутимы, затронув от почти трети до более половины территории²³.

Как обычно при подобных социальных переворотах, судьбу тех, кто проиграл от перемен, проследить очень сложно. Те, у кого были права собственности, которые можно было отстаивать на судебных процессах по огораживаниям, в общем и целом лучше справлялись с превратностями судьбы, чем те, у кого таких прав не было. Уже то, что многим мелким собственникам приходилось нести большие расходы, связанные с судами по огораживаниям, а также оплачивать установку изгородей и рытье канав, делало их ситуацию ненадежной [Gonner, 1912, p. 201–202, 367–369; Hoskins, 1957, p. 260]. Те же, чьи права собственности были сомнительными или ничтожными, не попадали в исторические свидетельства, поскольку у них не было того, что можно отстаивать в суде. «Эти безземельные или почти безземельные работники, а также мелкие арендаторы, исчезнувшие после консолидации собственности, были подлинными жертвами огораживаний, и если о них постоянно не вспоминать, они станут также жертвами статистики» [Chambers, 1953, p. 316–317; Hoskins, 1957, p. 268]. Среди этих низших слоев до огораживаний существовало некоторое разнообразие экономических и правовых положений. Самые бедные семьи (например, арендаторы-батраки) имели скромное жилище и право на обработку нескольких полосок земли, а также, возможно, на содержание коровы, пары гусей или свиньи. Люди

²³ Карту огораживаний общинных полей в XVIII–XIX вв. см.: [Clapham, 1952, vol. 1, p. 20]. Карта базируется на работе Гоннера [Gonner, 1912] и опирается на более ранние исследования, статистические данные в которых безупречны.

и животные были обречены на жалкое существование, при котором права совместного пользования играли значительную роль. Для работников и, конечно, для безземельных тружеников, которые лишь в силу традиции, а не по закону могли рассчитывать на пользование общинной собственностью, потеря этого права или привилегии означала катастрофу. «Захват в исключительное пользование практически всей общинной пустоши ее легальными владельцами означал, что занавес, отделявший растущую армию рабочих от окончательной пролетаризации, был сорван. Это, конечно, был ветхий и тонкий занавес, но он был реальным, и отнять его у них, не обеспечив замены, значило лишить рабочих тех немногих достижений, которые обеспечивал их тяжкий труд» [Chambers, 1953, p. 336]. В итоге маленький человек из деревенских низов был оттеснен на обочину жизни. Он либо пополнял новую армию деревенских рабочих, чей труд требовался для установки изгородей, рытья канав, строительства дорог и выполнения новых сельскохозяйственных работ, которые пока еще нельзя было производить трудосберегающими машинами, либо присоединялся к несчастным рабочим в одолеваемых эпидемиями городах. Современные ученые склонны полагать, что обездоленные батраки и безземельные работники обычно оставались на земле, тогда как работники и батраки из «неабсорбированного излишка» становились промышленными рабочими (см., напр.: [Ibid., p. 332–333, 336]). Но в основном только неженатые молодые люди либо сельские ремесленники были готовы покинуть дом — и только такие люди требовались новым индустриальным работодателям. Зрелые семейные мужчины были плохо обучаемы и не могли окончательно освободиться от устройства деревенской жизни. Оставаясь на земле, они прибегали к своему «последнему праву» — к праву на пособие по бедности [Thompson E., 1963, p. 222–223].

В одной из деревень Лестершира, «как и в тысячах других приходах центральной и южной части Англии», огораживания общинных полей, потеря общинной собственности и условия денежной экономики привели к постоянному росту налога на бедность, обеспечивавшего в 1832 г. «почти половину деревенских семей регулярным пособием по бедности и еще большее количество семей разовыми пособиями». В прежние времена эти семьи были самодостаточными мелкими фермерами или среднего достатка работниками, способными самостоятельно добыть все необходимое для жизни в условиях экономики с неогороженными полями [Hoskins, 1957, p. 269–270]. Там, где система открытых полей вообще работала в плане обеспечения самого необходимого, она была основой для экономического равенства в деревне и также способствовала укреплению сети социальных связей, основанных на разделении труда, т.е. деревенской общины. В прошлом, когда община была сильна, крестьяне

энергично и небезуспешно боролись за свои права. В XVIII в. после финальной волны огораживаний и под влиянием торговли все эти мелкие фермеры уже не могли сопротивляться или защищать себя²⁴. Очевидно, что с ликвидацией общинных полей, после того, как в сельской местности восторжествовала новая экономическая система, прежние крестьянские сообщества сдали свои позиции и распались [Hoskins, 1957, p. 249–250, 254–255].

Если рассматривать движение огораживания в целом и принимать во внимание результаты современных исследований, становится ясно, что наряду с подъемом промышленности огораживания значительно усилили позиции крупных лендлордов и уничтожили английское крестьянство, устранив его как фактор политической жизни Британии. С точки зрения обсуждаемых здесь проблем это в конечном счете и есть самое главное. Более того, для «лишнего» крестьянина не имело большого значения, шла ли речь о влиянии городов и заводов или об изгнании из деревенского мира. В любом случае его принуждали к выбору из двух зол, одинаково означавших деградацию и страдание по сравнению с традиционной жизнью деревенской общины. Принуждение, приводившее к этому результату, продолжалось в течение долгого времени, реализуясь главным образом через правовые процедуры, и в итоге способствовало установлению демократии на более прочной основе. Однако это не должно для нас заслонять собой тот факт, что огораживание, по сути, было массовым насилием высших классов над низшими.

4. АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ ДЛЯ ПОБЕДИВШЕГО КАПИТАЛИЗМА

Сам по себе XIX век был эпохой мирных преобразований, когда парламентская демократия получила прочное основание, постепенно расширяя свой успех. Прежде чем обратиться к вопросу, какая часть аграрных перемен сыграла роль в этом процессе, следует кратко остановиться на том, какими способами насилие в XVII и XVIII вв. — в одном случае открытое революционное, в другом случае скрытое и легальное, но от этого не менее жестокое — подготовило путь для мирного перехода в XIX в. Устранение связи между этими эпохами равносильно фальсификации истории. Однако уверять в необходимости и неизбежности этой связи означало бы объяснять настоящее через прошлое с помощью аргумен-

²⁴ Т. Аштон утверждает, что «...если бы выселению подверглись значительные массы, они вряд ли бы безропотно покинули эту землю. Однако об аграрных восстаниях или сколько-нибудь значимых локальных стычках того времени нет никаких свидетельств. Это был процесс постепенного вытеснения» [Ashton, 1955, p. 36]. О последнем аграрном бунте в 1830 г. см.: [Hammond, Hammond, 1911, ch. 11, 12].

та, который невозможно проверить. Все, на что способен социальный историк, — это указать на контингентную связь отдельных изменений в социальной структуре.

Пожалуй, главным наследством сурового прошлого было усиление парламента за счет власти короля. Факт существования парламента означал наличие гибкой институции, обеспечивающей площадку, где могут быть представлены новые социальные элементы по мере возникновения их требований, а также — институциональный механизм для мирного разрешения конфликтов среди этих групп. Даже если парламент возник после гражданской войны главным образом как инструмент коммерчески настроенных представителей высшего класса землевладельцев, он не остался таковым, став чем-то гораздо большим, как показал опыт. Тот факт, что этот класс создал себе экономическую опору, подтолкнувшую его на сопротивление королю в период до гражданской войны, был напрямую связан с усилением парламента — данный момент прояснится, если сравнить ход событий в Англии с теми странами, где этого не произошло. Сильная коммерческая ориентированность высших классов землевладельцев, джентри и титулованной знати также означала отсутствие сплоченной группы аристократов, которая бы выступала против развития промышленности. Несмотря на многочисленные проявления недовольства среди знати, следует признать, что наиболее влиятельная часть высших классов землевладельцев стала политическим авангардом торгово-промышленного капитализма. В XIX в. эта политика продолжилась в новых формах.

Другим важным следствием было уничтожение крестьянства. Есть веские основания полагать (пусть даже этот вывод покажется жестоким и бессердечным), что вклад этого обстоятельства в мирные демократические перемены мог быть не менее важным, чем усиление роли парламента. Это означало, что модернизация продвигалась в Англии при отсутствии обширного запаса консервативных и реакционных сил, который на определенном этапе существовал в Германии и в Японии, не говоря уже об Индии. Кроме того, это, разумеется, снимало с исторической повестки возможность крестьянской революции на русский или китайский манер.

В конце XVIII — начале XIX в. победа парламентской демократии отнюдь не казалась неизбежной. Самое большее несколько человек имели крайне туманные представления о том, что значат эти слова и какого типа общество может вскоре возникнуть. В XVIII в. торговля достигла значительного прогресса. Начали появляться признаки конфликта между интересами помещиков и купцов. Влиятельные элементы среди последней группы стремились к продвижению агрессивной внешней политики в погоне за сырьем и рынками, тогда как многие джентри вели

себя осторожно из опасения повышения налогов в период, когда налог на землю был главным источником дохода. Постепенно стали различимы радикальные голоса, призывавшие к реформе устаревшей структуры английского общества, в особенности коррумпированного парламента. Традиционное мнение, что политика в XVIII в. была борьбой группировок, лишенной политического содержания, совершенно не соответствует действительности. Возникали те же проблемы, что и в XVII в., касавшиеся взаимоотношений между новой и старой формами общества и цивилизации, но перенесенные в новую эру, хотя после потери американских колоний вряд ли можно было утверждать, что Англия находится на пороге революционного взрыва²⁵.

Французская революция положила конец всем надеждам на реформу. Точнее говоря, как только революция преодолела либеральную фазу, когда бегство Людовика XVI в Варен и его арест «сорвали завесу иллюзии» с либеральной перспективы и революция стала перерастать в радикальную фазу, ее английские сторонники постепенно стали чувствовать себя во все более затруднительном положении. Уильям Питт Младший прекратил все разговоры о реформах. В Англии начался переход к фазе репрессий, продолжавшейся до конца Наполеоновских войн. Основная черта этой фазы проявилась в том, что высшие классы как в городе, так и в деревне сплотились под патриотическими и консервативными лозунгами против угрозы французского радикализма и тирании, а также против малейших посягательств на свои привилегии²⁶. Если бы угроза революции и военной диктатуры не была устранена в битве при Ватерлоо, едва ли в XIX в. в Англии возобновились бы те медленные и нерешительные шаги к политической и социальной реформе, которые были остановлены в конце XVIII в. Одним из предварительных условий для мирной демократической эволюции в Англии было наличие приемлемых режимов в Европе, гарантировавшее безопасность с этой стороны.

²⁵ [Plumb, 1950, p. 132]. Этот превосходный обзор отчетливо выделяет конфликт между интересами землевладельцев и торговцев. См. также [Mingay, 1964, p. 260–261, 265] о конфликте между крупными собственниками и мелкими джентри, фермерами и городскими средними классами, пик недовольства которых, по утверждению автора, приходится на время Американской войны.

²⁶ Многое в тех событиях напоминает американскую реакцию на коммунистическую экспансию после 1945 г. Та же неопределенность относительно характера революционного противника, та же эксплуатация этой неопределенности со стороны правящих социальных групп, то же разочарование и смутение среди прежних сторонников, когда зарубежная революция обманула их ожидания. В последующем разделе книги и в связи с другими типами реакционных движений я постараюсь рассмотреть эту фазу более полно.

Для того чтобы понять, почему реакционная фаза была сравнительно краткой и движение к более свободному обществу возобновилось в XIX в., необходимо принять в расчет не только классы землевладельцев. На рубеже веков они достигли вершины экономического и политического могущества; и последующая история повествует уже о защите ими своих достижений или уступках, с которыми можно было примириться, поскольку процесс разрушения этой власти продвигался медленно, а ее экономическая основа оставалась прочной. Популярные механические метафоры вводят в заблуждение. Хотя капиталистические элементы в городах «усиливались», высшие классы землевладельцев отнюдь не «ослабевали»: по крайней мере этого не происходило довольно долго. В конце Наполеоновских войн прогрессивные городские капиталисты достигли значительного влияния благодаря своим экономическим успехам, которые, как подчеркивают сегодня историки, накапливались в течение долгого времени. Для них большая часть пути оказалась гладкой, поскольку лидирующая роль принадлежала землевладельческим классам. Английским капиталистам XIX в. не нужно было полагаться на Пруссию и ее юнкеров ради обеспечения национального единства, снятия внутренних торговых ограничений, установления единой правовой системы, введения современной валюты и других необходимых условий индустриализации. Задолго до этого политический порядок был поставлен на рациональную основу и возникло современное государство. С минимальной помощью от него эта первая капиталистическая буржуазия превратила большую часть мира в свою торговую зону. Экспансия английского промышленного капитализма, на время приостановленная Наполеоновскими войнами, продолжалась в основном мирными способами, привлекла зарубежные ресурсы и превратила Англию XIX в. в мастерскую мира. Другие задачи капитализма, например обучение рабочей силы, лидеры английской промышленности смогли решить своими средствами с минимальной помощью со стороны государства и землевладельческой аристократии. У них не было иного выбора из-за слабости репрессивного аппарата английского государства вследствие гражданской войны, предшествующей эволюции монархии, и большей значимости флота, чем армии. В свою очередь, отсутствие сильной монархии, которая, подобно прусской, контролировала бы армию и бюрократию, облегчило развитие парламентской демократии.

В то же время джентри-землевладельцы и те, кто стоял еще выше в социальной иерархии, сохранили прочный контроль над рычагами политической власти. Они формировали кабинет министров, монополизировали представительство сельских районов, но также заседали в парламенте и как представители городов. На местном уровне их влияние оставалось весьма значительным. Как отметил недавно один историк,

старый правящий класс по-прежнему твердо управлял страной в середине XIX в. «Политическая система была все еще в значительной степени игрой аристократии и джентри, в особенности наследников крупных имений». К ядру этой системы относилось, вероятно, не более 1200 человек [Clark, 1962, p. 209–210, 214, 222].

Однако они опирались на властные рычаги в условиях сильной конкуренции со стороны других классов. Исключительное внимание к их доминирующей позиции в формальном и даже неформальном механизме политики создало бы ошибочное впечатление всемогущества джентри и аристократии [Thompson F., 1963, p. 273–280]²⁷. Даже если Парламентский акт 1832 г., предоставивший право голоса промышленным капиталистам, разочаровал наиболее ревностных сторонников и развеял опасения наиболее ревностных противников, его принятие означало, что буржуазия продемонстрировала свою силу²⁸. То же самое можно сказать об отмене Хлебных законов в 1846 г. Высшие классы землевладельцев избежали поражения, но обнаружили пределы своего могущества.

В течение десяти лет, с 1838 по 1848 г., даже перед лицом чартистской пропаганды не возникает сильной и бескомпромиссной реакционной политики. Консервативное правительство, понукаемое королевой Викторией и герцогом Веллингтоном, действительно использовало войска, вскрывало частную корреспонденцию в поисках информации и предъявило нескольким вожакам обвинения в заговоре, однако при-

²⁷ Здесь автор распознает этот факт и приводит подробные свидетельства характера этих отношений после 1830 г. Хотя это прекрасное исследование было опубликовано слишком поздно для того, чтобы я успел в полной мере воспользоваться его результатами, оно избавляет от потребности в более обстоятельном повествовании, нежели приведенный мной очерк событий XIX в.

²⁸ Главными проводниками акта были виги, помещики-аристократы с традиционными семейными и групповыми связями среди «денежных кругов» лондонского Сити и немалой долей фабричного капитала в индустриальных провинциях. Будучи аристократами и пользуясь прочностью своего положения, они были готовы принять реформу, чтобы избежать худшей опасности, т.е. революционного взрыва, подобного тому, что случился во Франции в 1830 г. Но при необходимости они были не против применения силы. Лорд Мельбурн, представлявший эту группировку в министерстве внутренних дел, безжалостно подавил восстание деревенских рабочих (1830 г.): 9 рабочих были повешены, 457 сосланы, почти столько же были заключены в тюрьму на различные сроки. Он отказался рассматривать позитивные меры для устранения недовольства. Так лидеры вигов ясно показали свое намерение сохранить английскую собственность в неприкосновенности. См.: [Briggs, 1959, ch. 5, p. 237, 239, 249–250], где приводится расклад сил за и против реформы, а также увлекательную и поучительную биографию Мельбуерна авторства лорда Сесилия.

сяжные были снисходительны. Консервативное правительство воспользовалось случаем для атаки на радикальную прессу. Виги, находившиеся у власти в начале и в конце этого периода, были еще более беспечны. Лорд Джон Рассел, министр внутренних дел, запретил мешать проведению грандиозных чартистских митингов осенью 1838 г. За исключением сравнительно коротких периодов, правительство почти не обращало внимания на чартистов. В личном архиве Рассела сохранились лишь отдельные упоминания об этом движении. По иронии судьбы, единственное кровопролитие, когда 22 чартиста были застрелены во время бунта, произошло уже после того, как генеральный прокурор в правительстве вигов хвастался, что усмирил волнения, «не пролив ни капли крови» [Mather, 1959, p. 375–376, 383, 393–398].

Поскольку чартистское движение не отказывалось от насилия, оно представляло серьезное испытание для либеральных принципов. Сравнительно мягкое обращение с ним со стороны правящих классов можно объяснить тремя факторами. Во-первых, проявило себя осознание необходимости облегчить бедственное положение масс, а также отчетливое неприятие силового решения. Это настроение, в свою очередь, прослеживается в английской истории по крайней мере начиная с Пуританской революции. Рассел был убежденный виг, преданный идеалу свободы, поэтому он не желал мешать открытому обсуждению политических проблем [Ibid., p. 374]. Во-вторых, английское государство в любом случае не имело сильного репрессивного аппарата. В-третьих, сочетание законодательных мер по улучшению положения бедняков с благоприятной переменой в экономической ситуации, вероятно, ослабило протестное движение еще до того, как оно смогло перерасти в подлинную угрозу.

Ситуация в первой половине XIX в. и даже значительно позже весьма сильно отличается от ситуации в Германии, где тогда же (и позже) намного более слабая буржуазия искала помощи у землевладельческой аристократии для защиты от народного недовольства и проведения необходимых мер для политической и экономической модернизации. В Англии помещики отчасти соперничали с буржуазией за народную поддержку. После 1840 г. землевладельческий класс нашел в продвижении фабричного законодательства удобный контраргумент против претензий фабрикантов к Хлебным законам, правда, следует отметить, что среди фабрикантов также встречались просвещенные сторонники сокращения продолжительности рабочего дня [Woodward, 1949, p. 142].

Таким образом, вопрос о бескомпромиссной оппозиции развитию демократии был второстепенным и малоинтересным для английской землевладельческой аристократии XIX в.²⁹ В английской истории не удается

²⁹ О том, что из этого вышло, см.: [Turberville, 1958, ch. 11–13].

найти ничего подобного тем немецким консерваторам, представители которых вскакивали со своих мест в парламенте ради демонстративной овации громкой риторике Элларда Ольденбург-Янушау: «У короля Пруссии и кайзера Германии всегда должна быть возможность приказать каждому лейтенанту: “Возьми взвод солдат и расстреляй рейхстаг!”» [Schorske, 1955, p. 168].

Одна из причин того, что такого рода сцены были неуместны в Англии XIX в., заключается в том, что ни английской знати, ни джентри не нужно было, в отличие от немецких юнкеров, давить на политические рычаги, чтобы поправить свое пошатнувшееся экономическое положение. Даже отмена Хлебных законов не имела тех страшных последствий, которыми пугали. Состояние сельского хозяйства на общем фоне после 1850 г. только улучшилось. Цены неуклонно росли. Управление помещьем все больше приобретало форму капиталистического предприятия, поскольку управляющие стремились воспользоваться преимуществами серьезного прогресса в сельскохозяйственных технологиях, разработанных в предшествующие десятилетия. Здесь естественным образом возникало значительное разнообразие. В высших сферах обычная практика состояла в передаче большей части ответственности доверенному лицу. В результате сами собственники использовали свободное время для спорта, культуры и политики, тогда как активность доверенного лица постепенно приобретала все основные черты профессиональной деятельности. Однако крупный лендлорд все-таки сам принимал ключевые решения и нес за них ответственность, оставляя доверенному лицу исполнение рутинных обязанностей. Выбор джентри состоял в том, чтобы добросовестно управлять помещьем своими силами либо передать дела в управление городским стряпчим, которые часто не разбирались в деревенской жизни, а, по мнению некоторых джентри, еще наживались на разорении собственников земли (см.: [Clark, 1962, p. 216–217; Thompson F., 1963, ch. 6]). Высшие классы землевладельцев, имея долю прибыли в общем экономическом подъеме Викторианской эпохи и продолжая постепенно превращаться в буржуа и капиталиста, имели намного меньше причин, чем дворяне на континенте, для недовольства прогрессом капитализма или демократии.

Как и в предшествующие периоды, в XIX в. границы между богатыми аристократами, классом джентри и высшими классами купцов и представителей отдельных профессий были размыты и неустойчивы³⁰.

³⁰ В конце XVIII в. появились признаки резкого антагонизма между старым сословием сквайров, цеплявшихся за монополию на местную политическую власть, и новыми промышленниками. Впоследствии они нередко мирно уживались. Однако вплоть до настоящего времени владельцы мелкого бизнеса остаются за пределами аристократического круга.

Во многих конкретных случаях сложно решить, к какой категории относится то или иное лицо. Эта сложность, приводящая в отчаяние каждого, кто приступает к статистическому анализу английской классовой структуры, составляет один из самых значительных фактов, характеризующих эту самую структуру³¹.

Количественно взаимопроникновения между буржуазией и землевладельческой аристократией не могли сильно различаться в Англии и Германии XIX в. Некоторые статистические данные даже свидетельствуют о том, что этот процесс, как ни удивительно, в большей мере затронул Пруссию. Так, один исследователь утверждает, что на протяжении ряда лет до 1918 г. в среднем чуть больше 78% членов прусской палаты представителей происходили из среды простых граждан (*Bürgertum*) и новой знати. Однако на дипломатических и административных постах, через которые по-настоящему открывался доступ к власти в Германии, доля простолюдинов была уже соответственно 38 и 43%. Исследование состава английского парламента в 1841–1847 гг. обнаруживает лишь 40% парламентариев, обладавших деловыми связями, тогда как оставшиеся 60% вообще не имели никакого отношения к бизнесу³². При обращении к такого рода свидетельствам возникают досадные технические проблемы; например, насколько в действительности сопоставимы статистические данные разных стран? Уместно ли сравнивать между собой 40% английских парламентариев с деловыми связями и 78% прусской палаты представителей, избранной из среды *Bürgertum*? Я отношусь к этому достаточно скептически, считая, что, даже если эти технические проблемы сами по себе разрешимы, вряд ли здесь можно достичь значительного прогресса.

Сама по себе количественная мера мобильности мало что говорит нам о социальной анатомии и функционировании социального организма. В Пруссии XIX в. представители буржуазии, устанавливавшие связи с аристократией, обычно перенимали черты и образ мышления знати. В Англии происходило скорее обратное. Поэтому, даже если бы у нас была технически безупречная мера мобильности, которая дала бы нам идентичные количественные показатели по степени смешения для Англии и Пруссии, мы бы допустили роковую ошибку, утверждая сходство между этими странами. Для неподготовленного читателя статистические данные оказываются ловушкой, когда они отвлекают от су-

³¹ См. интересное приложение о деловых интересах джентри — исследование о тех, кто заседал в парламенте в 1841–1847 гг.: [Aydelotte, 1962, p. 290–305].

³² Для Германии см.: [Preradovich, 1955, S. 164]; для Англии — [Aydelotte, 1962, p. 301]. К сожалению, автор не приводит отдельных данных по палате общин, которые могли в значительной мере изменить картину.

щества ситуации и всего социального контекста, в котором происходит взаимопроникновение классов. Этот момент необходимо подчеркнуть, поскольку статистика теперь в моде. Люди, стоящие у власти, не обязательно пользуются ею исключительно в интересах своего исходного класса, тем более в меняющихся обстоятельствах.

В Англии существовала тенденция к усвоению аристократических черт торговой и промышленной элитой. Все рассказы про Англию до 1914 г. и даже после того создают впечатление, будто акры зеленых холмов и деревенский дом были абсолютно необходимы для политического и социального возвышения. Однако примерно с 1870-х годов земельная собственность все больше становилась признаком статуса, чем подлинным основанием политической власти.

В это время отчасти из-за большей доступности для Европы заокеанского зерна после Гражданской войны в Америке и в результате развития пароводства наступает аграрный спад, серьезно ослабивший экономическую базу верхней страты землевладельцев³³. Примерно то же самое случилось в Германии, что дает повод для еще одного поучительного сравнения между этими двумя странами. Для сохранения своих позиций и в целях формирования единого аграрного фронта с крестьянами-собственниками в остальной Германии немецкие юнкеры могли положиться на помощь государства. В Германии никогда не было ничего подобного отмене Хлебных законов. Напротив, ведущие секторы промышленности присоединились к «альянсу стали и ржи» (окончательно оформленному в тарифной политике 1902 г.), получив свою долю прибыли в программе строительства флота. В целом коалиция юнкеров, крестьян и промышленных интересов, сложившаяся вокруг программы империализма и реакции, имела катастрофические последствия для немецкой демократии. В Англии конца XIX в. подобный союз не мог появиться. Империалистическая политика Англии уже имела долгую историю. Она могла быть альтернативой и даже, возможно, дополнением к политике свободной торговли, но не совершенно новым социальным феноменом эпохи развитого капитализма³⁴. Для решения аграрных проблем консервативные правительства в 1874–1879 гг. приняли лишь незначительные паллиативные меры; либералы после 1880 г. все пускали на самотек либо активно попирали интересы аграриев [Clark, 1962, р. 247–249]. В общем и целом сельскому хозяйству было предложено действовать самостоятельно, т.е. совершить почетное самоубийство без некоторых возвышенных стенаний. Вряд ли бы до такого дошло,

³³ См.: [Thompson F., 1963, р. 308–318], где рассматриваются различия в воздействии экономического спада на разные землевладельческие группы.

³⁴ См. превосходную статью: [Gallagher, Robinson, 1953, р. 1–15].

если бы к тому времени высшая страта в Англии уже не перестала быть преимущественно аграрной. Экономический базис сдвинулся в промышленность и торговлю. Дизраэли и его последователи доказали это; посредством некоторых реформ народную поддержку консерватизму можно было сохранять и обеспечивать в демократическом контексте. Предстояли еще битвы, например атака Ллойд Джорджа на титулованную аристократию в его бюджетной политике 1909 г. и разразившийся в связи с этим конституционный кризис. Но несмотря на все эмоции, к этому времени аграрная проблема и тема власти землевладельческой аристократии отошли на второй план, уступив место новым вопросам о способах включения промышленных рабочих в демократический консенсус.

Если с этой позиции оглянуться на XIX столетие, то какие факторы оказались самыми важными для движения Англии по пути демократии? Выше были упомянуты те из них, которые имели отношение к суровому прошлому: сравнительно сильный и независимый парламент, торговые и промышленные круги с автономным экономическим базисом, отсутствие острой крестьянской проблемы. Другие факторы были специфичны уже для XIX в. Пользуясь властью в условиях быстро развивающегося капитализма, высшие классы землевладельцев пополнили свои ряды новыми элементами, одновременно соперничая с ними за народную поддержку, — либо, по меньшей мере, они избежали крупного поражения благодаря своевременным уступкам. Такая политика была необходимой ввиду отсутствия мощного репрессивного аппарата. Она оказалась возможной, поскольку экономические позиции правящих классов ослабевали постепенно и таким образом, что это позволило им переключиться с одного экономического базиса на другой с минимальными сложностями. Наконец, политика, бывшая не только необходимой, но и возможной, стала реальностью, поскольку ее лидеры видели проблемы и решали их достаточно аккуратно и своевременно. Бессмысленно отрицать историческую роль умеренных и рациональных политиков. Однако следует понимать, в какой ситуации они действовали, а она во многом была результатом действий людей не менее проницательных, хотя вряд ли столь же умеренных.

II. Эволюция и революция во Франции

1. ОТЛИЧИЕ ОТ АНГЛИИ И ЕГО ПРИЧИНЫ

Крешающим факторам, обеспечившим успех демократии в Англии, относились независимость землевладельцев, джентри и аристократов от королевской власти, принятие ими коммерческого сельского хозяйства отчасти в ответ на рост торгового и фабричного класса с сильной самодостаточной экономической базой и исчезновение крестьянской проблемы. Французское общество вошло в новый мир совершенно иным путем. Французская знать, особенно ее ведущие представители, вместо того чтобы добиваться серьезной автономии, превратилась в декоративный апанаж короля. Несмотря на то что в конце XVIII в. эту тенденцию удалось притормозить, ее окончательным итогом стало уничтожение аристократии. Во Франции времен Бурбонов вместо высших классов землевладельцев, занимающихся коммерческим сельским хозяйством на английский манер, мы находим аристократию, живущую за счет того, что можно выжать по обязательствам, возложенным на крестьян. Вместо исчезновения крестьянства мы наблюдаем его постепенную консолидацию как до, так и после революции. В торговле и в сфере производства Франция намного отставала от Англии. Все главные структурные характеристики и исторические тенденции французского общества при старом режиме резко отличались от английской ситуации XVI–XVIII вв. Как и почему вообще возникает сходство при подведении окончательного политического итога XIX–XX вв., составляет, наряду с важнейшими отличиями, главную загадку, которую я попытаюсь распутать в этом разделе. Поскольку маловероятно, что это сходство могло возникнуть само по себе, без влияния революции, именно это великое событие занимает центральное место в моем исследовании.

В отличие от английских помещиков XVIII в. французская знать в основном жила за счет натуральных или денежных сборов, взимавшихся с крестьян. Это различие уходит своими корнями настолько глубоко во тьму ранней истории Франции, что неспециалисту было бы безрассудно уделять выяснению этого обстоятельства чрезмерное внимание, особенно после того, как великий французский историк Марк Блок отказался от подобной затеи, так и не предложив убедительного объяснения. Достаточно сказать, что в конце XIV — XV вв. многие основные черты этого феномена уже проявились: сеньор мало интересовался обработкой своего достаточно скромного поместья. Его площадь, вероятно, должна была уменьшиться, когда феодал выделил небольшие клочки

крестьянам в обмен на часть урожая. Там, где было возможно, сеньор предпочитал освободиться от этих хлопот *en bloc*, нередко на условиях, показывающих, что он рассчитывал впоследствии вернуть себе землю. Но это не всегда было возможно. Дворяне часто уезжали на войну, а найти людей для обработки полей было трудно. Лучшее решение для многих состояло в том, чтобы переложить бремя возделывания земли на арендаторов, способных управляться с большими участками, или чаще всего — на самих крестьян¹. Чуть ранее французская знать начала приобретать точный юридический статус по правилам, строго прописанным в законе [Bloch, 1936, p. 366].

Эти две черты — определенный юридический статус, пусть даже далеко не кристально ясный, и зависимость от крестьянских податей — отличали французскую знать от английских джентри в течение всей последующей истории. Достаточно рано крестьянам удалось освободиться от личного рабства, обычно из-за высокого спроса на рабочую силу в деревне, который еще более увеличился, когда в растущих городах появились альтернативные варианты заработка. К началу революции крестьяне *de facto* почти обладали правами собственности².

Несмотря на преемственность, были и важные признаки перемен. Система крупных землевладений, обрабатываемых крепостными, начала меняться, как замечено выше, уже в конце XIV в. В конце Средних веков и в начале Нового времени, и особенно в XVI в., когда приток золота и серебра взвинтил цены, возникают признаки приближающегося кризиса сеньориальных доходов. Большие группы прежней воинской знати, *poblesse d'êrée*, понесли существенные убытки. Исчезновение их экономической опоры могло помочь королю и его талантливым министрам усилить королевскую власть; этот процесс достиг кульминации за время продолжительного правления Людовика XIV (1643–1715). Дворянство, конечно, не принимало свою судьбу с пассивной покорностью. Чтобы избежать финансовой катастрофы, многие пытались изменить ход событий, отказавшись от роли рантье и проводя реформы в своем поместье³. Однако им не доставало такой экономической основы, как торговля шерстью, которая сделала возможной эту стратегию в Англии.

¹ [Duby, 1962, vol. 2, p. 572–599; Bloch, 1955–1956, vol. 1, p. 95–105]. Анализ Дюби, написанный спустя 30 лет после работы Блока, в основном сходен с анализом последнего (хотя и более подробный), за исключением того, что он устанавливает главные тенденции полтора века спустя.

² См.: [Bloch, 1955–1956, vol. 1, p. 120–121; Sée, 1939, vol. 1, p. 125, 129], об эмансипации рабов [Lefebvre, 1954, p. 251].

³ В дополнение к [Duby, 1962] см. [Sée, 1939, vol. 1, p. 93] и особенно [Bloch, 1955–1956, vol. 1, p. 107, 111–112, 134–135, 150–153].

II. Эволюция и революция во Франции

Представители буржуазии, зарабатывавшие деньги в городах и начавшие скупать землю у разорившихся дворян, пользовались несколько бóльшим успехом. Процесс начался в XV в. и продолжался до XVIII в. Благодаря притоку городских денег произошло реформирование поместий. В некоторых регионах Франции это создало ситуацию, отчасти напоминавшую английскую, когда новые хозяева жили за счет дохода с управляемых ими поместий. Впрочем, сходство здесь лишь поверхностное. Во Франции XVII в. и позже доход приносила не торговля той или иной продукцией на рынке, а по-прежнему сбор арендной платы с крестьян. Как заметил Блок, доход крупного поместья образовывался в результате сбора ряда небольших податей, часть которых уплачивалась натуральной продукцией, получаемой с множества небольших участков. Хотя выполнение этой задачи можно было поручить посреднику, наилучшие результаты обеспечивало тщательное, внимательное и прямо-таки скрупулезно-мелочное администрирование [Bloch, 1955–1956, vol. 1, p. 142–143, 145, 149–150; vol. 2, p. 169–170].

Эта ситуация была во многих отношениях идеальной для юристов. Разраставшиеся щупальца королевской бюрократии нуждались в них для борьбы против старой знати. И богатые буржуа, приобретавшие землю, двигались вверх по социальной иерархии либо через жалование им дворянства, либо через покупку административной должности (*office* или *charge*) [Göhring, 1934, S. 69–70]. Хотя дворянство мантии, *noblesse de robe*, нередко доставляло королям неприятности — только Людовик XIV смог со временем обращаться к ним со сдержанным презрением, — эти люди были главным инструментом абсолютизма в его борьбе с местными настроениями и со старой военной знатью. Поскольку королевская бюрократия неплохо наживалась, особенно в XVIII в., когда королевский контроль ослаб, привлекательность административной службы могла нивелировать любые желания управлять поместьями на английский манер.

В любом случае «отдача» с крупных поместий была достаточно ограниченной. Во Франции они совсем не были таким же обычным явлением, как в Англии или Восточной Германии. Большие участки земли были в руках крестьян. В одной системе сосуществовали крупные и мелкие доли [Bloch, 1955–1956, vol. 1, p. 154]. Во Франции не возникло широкого движения огораживания. В общем и целом крупный собственник был заинтересован в сохранении крестьянской аренды, поскольку она обеспечивала основу его собственного существования [Sée, 1939, vol. 1, p. 395]. Только в конце XVIII в. ситуация начала меняться.

Упадок дворянства шпаги был частью того же процесса, с помощью которого король консолидировал и расширил свою власть. В ходе XVI в. и позже король лишил дворян многих законных функций, собирал армию

и налоги на их землях, вообще вмешивался в их дела и заставлял подчиняться своему парламенту [Sée, 1939, vol. 1, p. 83; Sagnac, 1945, vol. 1, p. 209–210]. К эпохе Людовика XIV роль знати была уже, как кажется, редуцирована до величественного и апатичного времяпрепровождения в Версале либо до мирной вегетации в провинции. Однако это впечатление отчасти обманчиво. Конечно, «король-солнце» сделал дворянство почти безопасным. Но ему пришлось заплатить за это определенную цену, лишь отчасти выгодную для короны. Он мог обеспечить многим хорошие места в церкви, имевшей огромные доходы, в то время намного превышавшие доходы государства. В обмен на помощь церкви в заботе о части знати король защищал церковь от еретиков [Sagnac, 1945, vol. 1, p. 32, 35]. Одним из последствий этого стала отмена Нантского эдикта. Вторая часть цены, которую была вынуждена заплатить корона, — это война. Хотя Людовик отстранил дворянство от управления государством, он передал ему дела армии так же, как и церкви [Ibid., p. 56]. Постоянная война была постоянной темой разговоров среди придворной знати, что позволяло создать атмосферу лояльности королю⁴.

Система принудительного великолепия в Версале разорила многих дворян. Исследование Кольбера, проведенное интендантами, выявило также распространение бедности в провинции [Histoire de France, 1911, pt. 1, p. 377]. Было бы заманчиво провести связь между королевским абсолютизмом и неудачей в становлении коммерческого сельского хозяйства, поскольку оба фактора усиливали друг друга на протяжении долгого периода времени. До недавнего времени рассказы историков о блестящих аристократах-паразитах в Париже и о деревенском дворянине, независимо формирующемся в деревне среди полнейшего застоя в сельском хозяйстве, указывали на такого рода объяснение контекста революции и уничтожения аристократии революционным насилием. Но опубликованное после 1960 г. исследование американского ученого Роберта Форстера резко изменило привычную картину. Позволив нам более точно установить структурные различия между модернизацией в английской и французской деревне, он сделал самый важный вклад в понимание контекста и последствий революции. Поскольку роль коммерческого сельского хозяйства является решающей для общего аргумента настоящей книги, разумно остановиться на этом для подробного изучения ситуации.

⁴ Ср.: [Histoire de France, 1911, pt. 1, p. 383]. Этот том, написанный самим Эрнстом Лависсом, остается, несмотря на прошедшие годы, одним из самых ясных анализов французского общества при Людовике XIV.

2. ОТВЕТ ДВОРЯН НА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

У нас почти нет поводов сомневаться в правильности тезиса, согласно которому в конце XVII и первом десятилетии XVIII в. мотивация для перехода к коммерческому сельскому хозяйству не только среди дворянства, но и вообще во Франции была слабой в сравнении с Англией. Как и в Англии, ключевая аграрная проблема состояла в том, чтобы доставить зерно классам, евшим хлеб, но не выращивавшим пшеницу. Торговля зерном представляет картину стагнации, переломленной некоторым стремлением к производству зерна для сбыта в окрестностях крупных городов. Здесь главными бенефициарами оказались скорее зажиточные крестьяне, чем землевладельческая аристократия. Области сбыта продукции обычно не распространялись за пределы окрестности нескольких крупных городов и некоторых пунктов экспорта на границах. Лишь Париж привлекал к себе значительную прилегающую область. Большая часть этой территории пользовалась поставками из соседних районов [Usher, 1913]⁵.

Общая концепция зерновой проблемы состояла в контроле ограниченных поставок из определенной области. Тяга крупных городов ощущалась в основном во времена нехватки как фактор нестабильности [Ibid., p. 5, 11, 17]. В конце XVII — начале XVIII в. торговцы и их агенты в некоторых местностях, в основном вокруг Парижа, усвоили практику вычищения деревни посредством скупки любых излишков, которые они могли найти. Эта практика вызвала сильное недовольство, поскольку она нарушала работу местных источников поставок, и развивалась в противостоянии как с основными обычаями, так и с законодательством [Ibid., p. 20, 21, 25–26, 42–43, 101, 105–106]. Хотя владельцы богатых поместий могли получать зерно в форме феодальных податей для продажи его через торговых посредников в городах, весьма обычной практикой была покупка зерна у зажиточных крестьян — явный признак того, что такие помещики могли успешно конкурировать с дворянством на ограниченном рынке [Ibid., p. 7, 8, 16, 87, 88, 91–93]. Если во Франции конца XVII — начала XVIII в. и были владеющие землей предприниматели, устраивавшие поле к полю на английский манер, то они ускользнули от внимания историков. Вероятно, таковые все-таки существовали. Но вряд ли их деятельность имела какое-либо значение. Когда выгоды коммерции стали более значительными в ходе XVIII в., французское дворянство ответило на это совершенно иным способом.

Сосредоточив свое внимание исключительно на торговле зерном, мы рискуем создать ошибочную картину. Чрезвычайно важным коммерче-

⁵ Карты на фронтисписе указанной работы показывают ситуацию в 1660–1710 гг.

ским продуктом было вино. По сути, для французского сельского хозяйства и, возможно, для всего французского общества XVIII в. вино — это то же, что шерсть — для сельского хозяйства и общества в Англии XVI–XVII вв. Один склонный к статистическим выкладкам ученый подсчитал, что в обычный год на излете старого режима Франция производила достаточно вина, около 30 млн гектолитров, чтобы обеспечить грузом весь тогдашний британский торговый флот⁶. Одному человеку было в равной степени невозможно выпить все вино, которое он производил за год, и сносить всю шерстяную одежду, которую он мог сделать за тот же промежуток времени. Поэтому виноградарство, как и овцеводство, побуждало искать рынки сбыта, ставило производителей в зависимость от решений королей и канцлеров и заставляло оказывать на них влияние, находить квазикommerческие методы и бухгалтерские книги, более подходящие, чем *beau geste*, меч, щедрость и иные аристократические методы. Но сходства на этом заканчиваются, не затрагивая самой сути.

Экономические и политические последствия торговли вином и шерстью сильно отличаются. В порыве того, что кажется скорее галльским энтузиазмом вкупе с американским увлечением статистикой, выдающийся французский экономический историк Камиль-Эрнест Лабрусс отважился показать на основе огромного свода статистических данных, что продолжительная депрессия в виноторговле была решающим фактором, объясняющим в целом отсталое состояние французской экономики и революционный взрыв. Этот вывод кажется мне скорее навязанным, нежели убедительным. Связь с индустриальной отсталостью не продемонстрирована. Два его обширных исследования, представляющие собой лишь скромную часть всего изначального замысла, ограничиваются почти исключительно сельскохозяйственными вопросами. Хотя приятно думать о том, что потребление вина является по крайней мере возможным спасением от экономической отсталости, ряд фактов, приводимых самим Лабруссом, указывают на то, что для Франции XVIII в. подобная перспектива была иллюзией. Девять десятых всего вина, согласно его подсчетам, потреблялось внутри страны. Виноделием занимались во всей Франции: из 32 финансовых округов (*généralités*), существовавших при старом режиме, лишь в трех на севере и северо-западе не было винодельческих областей [Labrousse, 1944, p. 207, 586]. Слабое развитие транспорта, повсеместная винодельческая культура, а также тот факт, что большая часть вина потреблялась внутри страны, — все это указывает на то, что большая часть вина была *vin ordinaire*, вероятно, еще худшим на вкус, чем сегодня, а не качественным продуктом,

⁶ [Labrousse, 1944, vol. 1, p. 208]. Насколько мне известно, из обещанных шести появились только две части этого издания, поэтому нет свидетельств, подтверждающих некоторые обобщения Лабрусса.

II. Эволюция и революция во Франции

продажа которого позволяла бы заработать состояние и поддержать экономику.

Вина, приносявшие хорошую коммерческую прибыль, видимо, как и сегодня, производились лишь в некоторых областях Франции. Близость к водному транспорту давала портовому городу Бордо огромное преимущество в XVIII в. Также виноделие обеспечивало экономическую основу для преуспевающих и коммерчески мыслящих дворян из провинции, живших в этом городе и его окрестностях. Виноград превращался в золото, а золото — во многие увлекательные формы культуры от танцовщиц до «Духа законов» Монтескьё. (Выдающийся философ занимался тем, что сегодня назвали бы лоббированием винной промышленности [Forster, 1961, р. 19, 25, 33].) Сама по себе прибыль от торговли вином этим ограничивалась, что, возможно, и происходило в Бордо. Виноградарство в отличие от овцеводства не способно создать основу для текстильной индустрии. В отличие от выращивания пшеницы оно не способно обеспечить питанием городское население. В любом случае стимул для перемен исходит из городов, а не из деревни. Происходящее в деревне приобретает значение в основном посредством социальных изменений, охватывающих (или нет) большинство населения на ранних стадиях промышленного развития.

В отличие от массовых огораживаний виноградарство во Франции не привело к изменениям среди крестьянства, произошедшим после коммерциализации сельского хозяйства в Англии. Винная культура, особенно до применения искусственных удобрений, была тем, что называется у экономистов трудоемкой разновидностью сельского хозяйства, требующей больших затрат весьма квалифицированного крестьянского труда и сравнительно небольшого капитала в виде земли или оснащения. Английская ситуация в общем и целом была противоположной. Французское деревенское общество в XVIII в. было в состоянии решить проблемы трудоемкого сельского хозяйства вполне удовлетворительно — с позиции аристократии, если не крестьянства. Поскольку существует на удивление мало различий между социальной организацией в прогрессивном винодельческом крае и в областях, производящих зерно, куда проникли и где прижились коммерческие влияния, можно опустить некоторые подробности. Существенное различие: французский аристократ держал крестьян на земле и использовал феодальные рычаги для увеличения производства. Затем дворянин сбывал свою продукцию на рынке. В случае виноделия его законные привилегии были особенно полезны, поскольку он мог использовать их, чтобы помешать крестьянам поставлять вино в Бордо, где оно составило бы конкуренцию вину из аристократического шато. Не имея привилегии поставлять вино в город и возможности отложить продажу до наиболее благоприятного момен-

та, мелкие производители были вынуждены продавать свое вино ленд-лорду [Forster, 1961, p. 26].

В Бордо XVIII в. крупные состояния, нажитые на торговле вином, можно было встретить только среди *noblesse de robe*, судейского нобилитета, в основном происходившего из буржуазии, хотя для многих судебных семей во Франции этого периода буржуазное происхождение могло быть делом далекого прошлого. Старая военная аристократия, *noblesse d'épée*, не имела ни богатства, ни известности. А именно она составляла подавляющую массу среди четырехсот с лишним знатных семей в окрестностях Бордо. Лишь немногие из них обладали высоким положением в городском обществе. Большинство жили в сонных пригородах, часто в замках, заросших тополями либо укрытых в деревнях. Сотня акров пшеничных полей и королевская пенсия в несколько сотен ливров обеспечивали экономическую основу образа жизни, который не был ни аскетическим, ни роскошным, но по большому счету глубоко провинциальным. Приходские сеньоры, многие из которых были отставными армейскими офицерами, имели доход не более 3 тыс. ливров в год, почти нищенский по меркам процветающего аристократа с виноградником, обеспечивавшим денежные поступления [Ibid., p. 19–21]. По крайней мере в этой области различие между старой армейской знатью и новым дворянством мантии было впечатляющим. По всей Франции должно было быть множество дворян, подобных этим приходским сеньорам. Вероятно, что большинство — я полагаю, абсолютное большинство — дворян оставались бездеятельными, хотя у нас нет пока окончательного подтверждения. Встретившись с подобным контрастом, современный социолог почти неизбежно задается рядом вопросов. Имелись ли какие-либо юридические или культурные барьеры, которые мешали военной знати успешно заниматься коммерцией? Насколько существенны были эти барьеры для объяснения экономических и политических черт французской аристократии или того, что великая революция устранила их?

Совокупность сведений вынуждает меня дать отрицательный ответ на этот вопрос и заявить, что это совсем не тот вопрос, который необходимо задавать для понимания связи между экономическими и политическими отношениями. Маркс и Вебер, несмотря на свой неоценимый вклад в изучение иных проблем, в этих вопросах ввели в заблуждение своих последователей, в особенности тех из них, которые в наибольшей степени стремились придерживаться научной парадигмы. Но для начала необходимо рассмотреть существующие свидетельства на этот счет.

Культурные и юридические помехи, конечно, существовали в виде аристократического предрассудка против торговли и закона об оскорблении чести (*rule of derogation*), подразумевавшего что всякий дворян-

нин, занимавшийся низменной деятельностью, терял свой благородный статус. Законодательство об оскорблении чести применялось в основном к городской торговле и к промышленности. В нем проводилось различие между крупномасштабной деятельностью, например оптовой и международной торговлей, которую монархия активно поощряла, иной раз вопреки недовольству третьего сословия, и мелким предпринимательством, например содержанием торговой лавки, что было запрещено. В сельском хозяйстве действовало определенное правило, подтвержденное в 1661 г., позволявшее дворянину возделывать лишь небольшую часть своей земли площадью *charrues*, т.е. в четыре участка, которые можно обработать одним плугом [Histoire de France, 1911, pt. 1, p. 378; Carré, 1920, p. 135–138]. Главной силой, стимулировавшей эти законы и поддерживавшей их общественное мнение, была монархия. Тем не менее даже при Людовике XIV королевская политика в этой сфере была двусмысленной и непоследовательной. Монархии требовалось преуспевающее дворянство как декоративный придаток короны и помощь в социальной организации, поэтому короли нередко высказывали недовольствие в связи с разорением аристократии. Но они не хотели, чтобы дворянство получило независимый экономический фундамент, который позволил бы ему соперничать с королевской властью.

Предубеждение против зарабатывания денег фермерством было, вероятно, весьма сильно среди высшего нобилитета и тех, кто даже в меньшей степени находился под влиянием придворных нравов. Версальская жизнь, посвященная усердной праздности и интригам, была куда более увлекательной, чем руководство коровами и крестьянами, и должна была быстро научить дворянина стесняться запаха навоза на сапогах. Однако очень многие аристократы сумели обойти эти правила и нажили себе состояние в Вест-Индии, нередко орудуя топором во главе своих собственных темнокожих отрядов. Они возвращались затем в Париж или Версаль и участвовали в придворной жизни. Другими словами, для достижения успеха в коммерческом фермерстве аристократу с высоким положением требовалось на время удалиться из французского общества [Carré, 1920, p. 140, 149, 152]. В первой четверти XVIII в. всеобщее предубеждение против низких занятий было весьма сильным: Анри Карре приводит цитаты из писем эпохи, в том числе историю герцога, который открыл лавку пряностей, вызвав тем самым зависть корпорации торговцев пряностями. Когда дело вскрылось, уличные мальчишки преследовали герцога с криками: «Il a chié au lit!» [Ibid., p. 137–138]. Позднее в том же столетии такое жесткое общественное мнение склонилось в противоположную сторону, стало благоприятным для коммерческой деятельности аристократов. Англия и все английское, включая сельскохозяйственные практики, стало очень модным в высших кругах и на короткое время

оказало некоторое влияние на нормы поведения. Возникла энергичная война памфлетов по поводу пристойности коммерческой деятельности для аристократов. Постепенно произошло массовое отступление от правил, направленных против нее. Многие аристократы были вовлечены в коммерческие предприятия, скрывая свое участие за подставными фигурами [Carré, 1920, p. 141–142, 145–146].

Все эти факты указывают на то, что культурные и законодательные барьеры становились менее важными в XVIII в. Для провинциального дворянина, представляющего для нас наибольший интерес, они были по большей части пустым звуком. Как говорилось в памфлете того времени, когда сельский дворянин продал свою пшеницу, вино, скот или шерсть, никто не обвинит его в бесчестии [Ibid., p. 142]. Там, где предоставлялся шанс или, лучше сказать, соблазн поступить таким образом, дворянство шпаги не гнушалось зарабатывать на торговле. Под Тулузой, в области, где можно было неплохо заработать на выращивании пшеницы, привычки и нравы прежней знати стали вполне деловыми и не отличимыми от полубуржуазных нравов дворянства мантии [Forster, 1960, p. 26–27]. Говоря в целом о провинциальной аристократии, Форстер выдвигает следующий тезис:

Провинциальный дворянин был совсем не праздным, скучным и обедневшим *hobereau*, а активным, прозорливым и преуспевающим лендлордом. Эти эпитеты означают большее, чем пухлый кошелек. Они подразумевают отношение к семейному благополучию, характеризующее бережливостью, дисциплиной и строгим руководством, которое обычно содержится в понятии «буржуа» [Forster, 1963, p. 683].

Из этого замечания совершенно ясно, что законодательство и предубеждение сами по себе не были значительной помехой для распространения коммерческого образа мысли и поведения среди французской землевладельческой аристократии. Объяснение предполагаемого отставания французского сельского хозяйства по сравнению с Англией нужно искать в другом.

Было ли вообще отставание? Насколько репрезентативен образ дворянина, описанный Форстером? Ответ на эти вопросы в данный момент может быть лишь предварительным. Если попытаться построить график уровня проникновения коммерции в сельское хозяйство и нанести различия на карту Франции конца XVIII в., то скорее всего обнаружили бы такие области, где весьма заметно присутствовало бы то, что называется духом аграрного капитализма. Выполнение подобной задачи было бы трудоемким, а с точки зрения вопросов, поставленных выше, и не

слишком полезным. Одни статистические данные не решают нашу проблему, поскольку они в основном дают количественную картину.

Здесь необходимо принять во внимание не только возникновение нового психологического настроения и его возможные причины. Те, кто следуют Веберу, в особенности те, кто рассуждают в терминах некоей абстрактной жажды успеха, пренебрегают важностью социального и политического контекста, где подобные изменения проявляют себя. Проблема не просто в том, пытались ли сельские дворяне во Франции эффективно управлять своим поместьем и продавать свою продукцию на рынке. Она также не сводится к тому, сколько аристократов переняли подобный образ мысли. Ключевой вопрос в том, поменяли ли они или нет в результате структуру деревенского общества в той же мере, в какой это произошло в тех частях Англии, где движение огораживания проявило себя сильнее всего. Ответ на этот вопрос прост и однозначен: не поменяли. Дворяне, представлявшие передний край коммерческого прогресса во французской деревне, пытались вытянуть больше из крестьян.

По счастью, Форстер предложил нам подробное исследование нобилитета в одной части Франции, диоцезе Тулузы, где коммерческий импульс был очень силен и где выращивание зерна для продажи было занятием знати *par excellence*. Его анализ делает возможным точно определить сходства и различия между преуспевающими джентри в Англии и коммерчески мыслящими дворянами во Франции.

В южной Франции и, возможно, на большей, чем принято считать, части страны мотивация для выращивания зерна на продажу была довольно сильной. Население, как в королевстве, так и в этой местности, быстро росло. Так же быстро росли и цены на зерно. Политическое давление на местном уровне произвело существенное улучшение в транспортировке, сделав возможным продажу зерна на значительном удалении от Тулузы в достаточно существенных объемах по нормам XVIII в. По всем этим показателям ситуация была в общем сходна с английской. Тулузская знать, дворяне шпаги и дворяне мантии, как и бравые английские сквайры, одинаково успешно приспособились к обстоятельствам, возникшим не без их помощи⁷. Большая часть тулузских доходов поступала в форме ренты. Поскольку большую часть этой ренты получали с поместий Лангедока и поскольку эта область была в основном аграрной со слабой и отсталой буржуазией, большая часть денег, поступавших в их карманы, все равно зарабатывалась на пшенице [Forster, 1960, р. 22–24, 115, 118–119]. Однако тулузская знать принялась вести рыночное сельское хозяйство совершенно иначе, чем английские джентри.

⁷ См.: [Forster, 1960, р. 47–48, 68–71]. Если не указано иное, сравнения с Англией выполнены мной. — Б. М.

За исключением использования кукурузы в качестве фуража для скота в XVI в., что значительно увеличило объемы пшеницы, которую можно было продать, не было сделано никаких существенных технологических инноваций. Сельское хозяйство продолжали вести практически в тех же самых технологических и социальных рамках, которые существовали в Средние века. Возможно, географические факторы, различия в почвах и климате помешали переменам [Forster, 1960, p. 41–42, 44, 62], хотя я полагаю, что более важными были политические и социальные факторы. В общих чертах происходившее можно описать очень просто: знать использовала свое преимущество в социальной и политической иерархии для того, чтобы выжимать из крестьян все больше зерна на продажу. Если бы дворяне не были способны делать это, преодолевая нежелание крестьян расставаться со своим урожаем, городскому населению нечего было бы есть [Ibid., p. 66].

Отчасти это напоминает то, что происходило более века спустя в Китае и Японии: крестьянам позволили жить на земле, но при соблюдении ряда обязательств, позволявших дворянам, становившимся в итоге лендлордами-торговцами, забирать большую часть урожая. В этом принципиальное отличие от английской ситуации. Тулузские дворяне в отличие от знати, жившей во многих других регионах Франции, владели почти половиной земли и получали подавляющую часть своих исключительно аграрных доходов со своих поместий. Однако сами поместья были разделены на множество небольших наделов [Ibid., p. 35, 38–39, 40–41]. На этих небольших наделах продолжали жить крестьяне. Некоторые из них, известные как *maitre valets*, слуги господина, получали хижину, скот, несколько примитивных орудий труда, ежегодную плату зерном и деньгами. Весь урожай зерна поступал в амбар господина. Для поверхностного наблюдателя *maitre valet* со своей хижинкой мог казаться обычным крестьянином, трудившимся со своей семьей на собственной маленькой ферме. Вероятно, слуга господина даже ощущал себя крестьянином: Форстер рассказывает нам, что слуга господина обладал определенным престижем, поскольку нередко его семья трудилась на ферме господина на протяжении нескольких поколений. Тем не менее в строго экономических терминах он был наемным работником [Ibid., p. 32–33, 55–56]. Другие крестьяне обрабатывали землю господина как издольщики. В теории хозяин и арендатор делили урожай поровну, но на практике условия все время пересматривались в пользу господина, отчасти потому, что через манипуляции с правами сеньора последний мог получить львиную долю поголовья скота — главного фермерского капитала в этой местности. Увеличение численности населения также благоприятствовало господину, поскольку возрастала конкуренция из-за аренды земли [Ibid., p. 56–58, 77–87].

На практике различие между слугой господина и издольщиком также было незначительным. Базовой производственной единицей была *métairie*, ферма площадью от 35 до 70 акров, обрабатывавшаяся одной семьей наемных работников либо издольщиков. У более обеспеченных дворян единица собственности могла быть большей и состоять из нескольких *métairies*. Подавляющее большинство дворянских имений управлялось таким образом. Английская практика сдачи земли в аренду за ренту крупным фермерам редко встречалась в этой области [Ibid., p. 32–34, 40–44, 58].

Система сохранения крестьян на земле в качестве рабочей силы поддерживалась правовыми и политическими институтами, унаследованными от феодализма, но эти права не имели большого значения как источник дохода в диоцезе Тулузы. Тем не менее права сеньориальной юстиции, например, обеспечивали удобный способ принуждения арендаторов-должников к уплате недоимок и являлись частью целого множества политических санкций, которые позволяли аристократам добиваться своих экономических выгод [Ibid., p. 29, 34–35]. Спустя определенное время крестьянам пришлось искать союзников, которые помогли им атаковать этот политический бастион и нанести ущерб дворянству.

В отличие от Англии коммерческие веяния, проникшие во французскую деревню, не подорвали и не разрушили феодальную систему. Самое большее они вдохнули новую жизнь в прежние установки, но таким образом, что это в конечном счете имело катастрофические последствия для знати. Этот урок можно извлечь из детального исследования Форстера, а также из более ранних стандартных источников и более общих описаний, если проанализировать их, пользуясь идеями, почерпнутыми из более подробных свидетельств. Если попытаться обрисовать ситуацию во Франции в целом в конце старого режима, мы увидим скорее всего множество крестьян, обрабатывающих землю, и дворянина, забирающего долю того, что они произвели, либо в прямой форме как часть урожая, либо косвенно в виде денежных податей. Прежние источники уделяли мало внимания тому, каким образом дворянин вносил в общее дело то, что экономисты называли бы управленческим вкладом. Но он находился в затруднительной ситуации. Какой бы политический и социальный вклад он ни делал при феодализме в форме обеспечения политического порядка и безопасности, все это было передано королевским чиновникам, хотя он мог сохранить определенные права в местной судебной власти и использовать их для обогащения. Но он еще не был полноценным капиталистическим фермером. В сущности, то, чем обладал землевладелец, — определенные права собственности, сутью которых были требования, реализуемые с помощью репрессивного государственного аппарата, на специфическую долю в экономической прибыли.

Хотя по формальным и юридическим понятиям основная часть прав собственности была связана с землей и земля была тем, что описывалось в бережно хранимых документах дворянина, подтверждавших право на титул (*terriers*), она была полезна дворянину лишь постольку, поскольку крестьяне приносили ему с нее доход. Поэтому дворяне могли получать свои доходы по договорам с издольщиками, что и происходило на территории от двух третей до трех четвертей Франции. Издольщики были часто неотличимы от крестьян мелких собственников, которые в случае удачи могли арендовать небольшие участки земли как издольщики для пополнения недостаточного урожая со своего небольшого надела⁸. Обычно землю давали крестьянам, чьи землевладения редко превышали 10–15 акров [Sée, 1939, vol. 1, p. 178]. В некоторых областях дворяне выбивали себе доход с крестьян благодаря своему праву на феодальные поборы, даже обладая серьезной земельной собственностью [Göhrling, 1934, S. 68].

Главными силами, породившими описанные выше экономические отношения, были капиталистические веяния, шедшие из городов, и продолжительные усилия монархии по контролю над аристократией. Как и в Англии, отношения с торгово-промышленными элементами и королем были решающими факторами в формировании нобилитета. Опять-таки как и в Англии, реакция на новый мир коммерции и промышленности предполагала важный альянс между землевладельцами высших классов и буржуазией. Но даже если абстрактные факторы — король, нобилитет и буржуазия — были тождественными в обеих странах, их качественный характер и взаимные отношения были весьма различны. В Англии союз между городом и деревней был направлен прежде всего против короны, и не только перед гражданской войной, но и большую часть последующего периода. Во Франции этот союз возник благодаря короне и имел совершенно иные политические и социальные последствия.

3. КЛАССОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ АБСОЛЮТИЗМЕ

Знакомства с особенностями торговли, производства и городской жизни в эпоху расцвета абсолютизма во Франции XVII в. достаточно, чтобы задаться вопросом, откуда возникла сила, совершившая буржуазную капиталистическую революцию в XVIII в., и не стали ли те, кто характеризует таким образом Французскую революцию, жертвой доктринальной иллюзии. Этот вопрос рассматривается ниже. Французская буржуазия

* См.: [Lefebvre, 1954a, p. 164, 210–211; Sée, 1939, vol. 1, p. 175; Bois, 1960, p. 432–433]. Последний из указанных авторов подчеркивает свое согласие с другими исследователями, что для крестьянина было важнее получение чистого дохода, а не разновидность права работать на земле.

II. Эволюция и революция во Франции

при монархии XVII в. не была авангардом модернизации, захватившей деревню в своем движении к пока невидимому миру промышленного капитализма, в котором уже жили английские буржуа. Вместо этого она существенно нуждалась в поддержке двора, подчинялась королевским предписаниям и ориентировалась на производство оружия и предметов роскоши для избранной клиентуры [Nef, 1957, p. 88]. За исключением более высокого уровня контроля и технологий, особенно в военном деле, ситуация скорее напоминает конец правления клана Токугава в Японии или даже Акбара в Индии, нежели Англию того же периода. Муниципальная жизнь политически также подчинялась королевскому контролю, который постепенно усиливался после восстановления мира и порядка при Генрихе IV. Хотя при Фронде в Бордо, Марселе, Лионе и Париже была короткая активизация муниципальной жизни, Людовик XIV не захотел больше терпеть никакой оппозиции со стороны своих *bonnes villes*. В более древних регионах Франции королевский контроль быстро усиливался. Через города король держал провинции, хотя было много местных вариаций, и иногда допускал по-прежнему проводить муниципальные выборы, но назначал мэра прямо или косвенно [Sagnas, 1945, vol. 1, p. 46, 63].

Как показано ниже, очевидно, что при Людовике XIV стимулы для установления базиса общества современного типа, т.е. единого государства, и даже привычка к четкости и повиновению происходили в большей степени от королевской бюрократии, чем от буржуазии. Это, однако, вряд ли было сознательным намерением короны. В это время ее реальные функции во французском обществе заключались в поддержании порядка, контроле над экономикой и выжимании из общества всех возможных ресурсов для проведения королевской политики, целями которой были война и великолепие. Из этих двух целей война требовала больших затрат, чем роскошь, хотя точные измерения невозможны. Нечего и говорить, что королевская бюрократия в эпоху Людовика XIV была намного менее эффективной в выполнении этих задач, чем административный аппарат государства XX в.

Французская королевская администрация столкнулась с трудностью, досаждавшей и другим аграрным бюрократиям, например в царской России, Индии Великих Моголов и Китайской империи. В доиндустриальных обществах было практически невозможно производить и извлекать достаточно экономической прибыли для обеспечения зарплаты бюрократам, которая гарантировала бы их реальную зависимость от короны. Возможны иные методы оплаты, например дарование доходов от выделенных земель или китайский способ, когда дозволенная коррупция восполняла разницу между доходом, достойным официального статуса, и тем, что монарх мог платить в качестве жалованья. Однако

косвенные компенсации такого рода опасны снижением центрального контроля и попустительством эксплуатации, которая может возбудить народное недовольство. Французская монархия пыталась решить эти проблемы продажей бюрократических должностей. Хотя такая практика не ограничивалась Францией, размах, с которым французские короли прибегали к ней, и образ действий, из-за которого эта практика не только пропитала всю королевскую бюрократию, но также влияла на характер французского общества в целом, кардинально отличают Францию от других стран. Французское общество XVII–XVIII вв. предоставляет нам поучительный пример конкурирующих черт, которые ученые иногда рассматривают как характерно западные и восточные: феодал, буржуазия и бюрократия. Продажа должностей была символом такого смешения коммерческих и докоммерческих институций и была также попыткой их примирения.

Долгое время продажа должностей имела политический смысл. Поскольку она давала буржуазии доступ к королевской администрации, то помогала завоевать дружбу нового класса [Göhrling, 1935, S. 291]. Вероятно, во французских условиях это был неизбежный способ обеспечения власти короля, а значит, и отстранения от власти прежнего дворянства и преодоления феодальных барьеров для создания оснований современного государства. А с точки зрения короля, это был одновременно важный источник дохода и дешевый метод управления, пусть даже ни одна из этих особенностей не принесла пользу французскому обществу в целом⁹.

В то же время сохранились прежние недостатки, со временем приобретающие все большее значение. Продажа должности означала в итоге, что эта позиция становилась формой частной собственности, которая переходила от отца к сыну. Поэтому король постепенно лишался контроля над своими подчиненными. Знаменитая полетта 1604 г. в правление Генриха IV даровала полные права собственности держателям должностей в обмен на уплату пошлины, закрепляя тем самым переход от бюрократической должности к собственности. Чтобы справиться с этой ситуацией, король прибегал к созданию новых должностей, интендантов, присматривавших за деятельностью других чиновников [Ibid., S. 290]. Даже эти должности со временем стали косвенным образом продаваться [Ibid., S. 301].

Поначалу дворянский статус, приобретаемый с покупкой должности, ограничивался только личностью покупателя. Затем он стал наследственным. При Людовике XIV было упразднено правило, согласно

⁹ Точные цифры неизвестны. Оценку для конца XVII в. см.: [Göhrling, 1935, S. 232, 260].

которому для передачи дворянства по наследству требовалось, чтобы в одной и той же должности служили три поколения семьи. Поскольку высокие должности, как правило, все равно оставались в одной семье, эта перемена имела в основном символическое значение [Göhring, 1935, S. 293–294]. Стремление буржуазии к собственности находило значительное удовлетворение в королевской бюрократии, поскольку любое прямое стремление к политической независимости притуплялось после превращения буржуа в аристократа. Позднее этот аспект значительно ограничил способность монархии к приспособлению себя и французского общества к еще более насущным проблемам.

В период расцвета абсолютизма противоречия и парадоксы системы были уже заметны. Если бы не торговля должностями, «манна, которая всегда выручает», Людовику XIV, вероятно, пришлось бы искать согласия нации через созыв Генеральных штатов для увеличения доходов [Histoire de France, 1911, pt. 1, p. 369]. Поэтому продажа должностей была источником королевской независимости от аристократии и сколько-нибудь эффективного контроля со стороны парламента. Это была важнейшая опора абсолютизма.

Одновременно данная практика подрывала независимость короля. Парадоксально, но самому могущественному королю Европы, не знавшему внутри страны ни малейшего сопротивления, по мнению историков, настолько плохо подчинялись его подданные, что он был вынужден рассматривать неповиновение как совершенно нормальное поведение¹⁰.

Если на ранних этапах развития монархии продажа должностей помогала объединять буржуазию для королевской атаки на феодализм, то постоянное обращение к этой мере постепенно показало, что она также придала буржуазии феодальные черты. В 1665 г. Кольбер подкрепил свое предложение отменить продажу должностей тем доводом, что денежный поток, задействованный в административном трафике, таким образом вернется в реальную экономику, полезную для государства. Он предположил, что этот денежный поток может составлять стоимость всех земель в королевстве [Ibid., p. 361–362]. Без сомнения, слова Кольбера были преувеличением. Но он был совершенно прав в том, что эта система отнимала энергию и ресурсы у торговли и промышленности. Более того, передача простоям из буржуазии дворянских титулов приводила к невозможности тщательного контроля над их деятельностью, и продажа должностей помогла возникновению чувства корпоративной

¹⁰ См.: [Histoire de France, 1911, pt. 1, p. 367; Sagnac, 1945, vol. 1, p. 61]. Ф. Сагнак указывает, что у Людовика XIV было всего около 30 чиновников, действовавших от его имени и ответственных перед ним. Согласно М. Гёрингу, в это время всего было около 46 тыс. чиновников при населении 17 млн человек [Göhring, 1935, S. 262].

идентичности, недоступности для внешних влияний, *esprit de corps*. Держатели должностей отгородились от королевской власти и превратились в упрямых защитников местечковых интересов и укоренившихся привилегий.

Этот процесс наиболее заметен в парламентах и юридических органах, которые приобрели значительную административную власть, как это происходит с любыми юридическими органами, даже если речь идет об Америке XX в. В Средние века они служили одним из главных орудий короля, направленных против нобилитета. Со времен Фронды они были одним из оплотов свободы против абсолютной деспотии. В XVIII в. они превращаются в главный бастион реакции и привилегий, «непрístupную стену, о которую тщетно бился реформаторский дух столетия» [Cobban, 1950, p. 72]. Другие корпоративные органы власти объединялись с парламентом для борьбы с королем. Согласно классическому исследованию этих проблем, выполненному Мартином Гёрингом, они нанесли последний удар монархии, опрокинув ее [Göhring, 1935, S. 306].

Один эпизод в этой борьбе — попытка Людовика XV и его канцлера Мопу выступить за отмену продажи должностей и против коррупции в судах — заслуживает здесь пересказа, проливающего свет на нашу проблему. Этот инцидент произошел в 1771 г. незадолго до смерти Людовика XV и немедленно разворошил осиное гнездо оппозиции. Под руководством дворянства оппозиция отстаивала свои принципы в терминах естественных прав человека, свободы личности и политической свободы, даже в терминах общественного договора. Вольтер не поддался обману и поддержал Мопу. В любом случае он презирал парламент за преследования не только Каласа, но и литераторов своего круга (как писал об этом Анри Карпе, см.: [Histoire de France, 1911, vol. 8, pt. 2, p. 397–401]).

Отвергать мысль о том, что революционные лозунги служили делу реакции, не меньшая ошибка, чем верить аргументам, оправдывающим эгоистические интересы. Такой мыслитель, как Монтескьё, защищал продажу должностей как часть своей знаменитой теории разделения властей. Как указывает Гёринг, понятия неприкосновенности собственности и личной свободы получали мощный импульс благодаря конкретной исторической ситуации [Göhring, 1935, S. 309–310]. Это был не первый и не последний случай, когда упрямая аристократия, сражаясь за реакционные привилегии, помогла привести в движение революционные идеи. Тем не менее было бы трудно найти более ясную иллюстрацию взаимопроникновения бюрократических, феодальных и капиталистических черт, характеризовавших французское общество в конце XVIII в., чем появление подобных идей.

Когда умер Людовик XV, казалось, что реформу Мопу ждет успех [Histoire de France, 1911, vol. 8, pt. 2, p. 402]. Людовик XVI вззошел на трон в

II. Эволюция и революция во Франции

1774 г. Один из первых актов его правления отменял усилия Мопу и восстанавливал *status quo*. Это один из самых поразительных фактов, который заставил множество историков, включая даже социалиста Жореса, полагать, что сильная королевская власть могла предотвратить революцию и провести Францию мирным путем к модернизации [Jaures, 1923, p. 37]¹¹. Хотя ответить на подобный вопрос невозможно, размышления о нем заставляют поставить другие вопросы. Какие именно альтернативы были в реальности открыты для монархии, скажем, в момент смерти Людовика XIV в 1715 г.? Какие линии политического развития были уже закрыты предшествующим ходом истории?

Вряд ли французское общество могло породить парламент лендлордов с буржуазными элементами из городов на английский манер. Укрепление французской монархии в значительной степени лишило высшие землевладельческие классы политической ответственности и направило большую часть буржуазной энергии на достижение своих целей. Однако это вовсе не было единственной возможностью. Различить альтернативы, доступные короне, сложнее. Очевидно, если король вообще хотел проводить какую-либо активную политику, ему пришлось бы изобрести новый эффективный инструмент управления, обновленную бюрократию. Это означало бы устранение продажи должностей и коррупции в судах, реформу налоговой системы для более равномерного распределения налогового бремени и более эффективного сбора доходов. Также необходимо было бы ограничить, по крайней мере на время, дорогостоящую политику войны и роскоши. Нужно было устранить сохранявшиеся огромные внутренние барьеры для торговли, модернизировать правовую систему, чтобы развивать коммерцию и промышленность, которая начала демонстрировать некоторые признаки независимого существования к концу XVIII в. Выдающиеся политики — от Кольбера до Тюрго — реализовали существенную часть этой программы. Из списка причин падения монархии можно исключить любой аргумент, утверждающий, что в интеллектуальном контексте эпохи никто из занимавших высокое положение не мог разглядеть проблемы. Эти политики видели проблемы со всей отчетливостью. То, что возникнет сильное сопротивление со стороны истеблишмента, было совершенно очевидно. Но все-таки трудно доказать, что подобные препятствия были непреодолимы. Разве они были более серьезными, чем те, с которыми столкнулся Генрих IV при создании французского единства?

В настоящий момент достаточно указать направление этих размышлений. Предположительно Франция могла бы последовать по пути кон-

¹¹ См. также: [Mathiez, 1954–1955, vol. 1, p. 18, 21], где выражена схожая точка зрения, но с большим сомнением.

сервативной модернизации на немецкий или японский манер. Но в этом случае по причинам, которые будут представлены постепенно в последующих разделах книги, вероятно, препятствия для демократии оказались бы даже бóльшими. В любом случае монархия не проводила последовательной политики и не смогла себя сохранить. Аграрные проблемы сыграли в итоге важную роль.

4. АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ НАТИСК И КОЛЛАПС АБСОЛЮТИЗМА

Во второй половине XVIII в. французская деревня пережила момент сеньориальной реакции и кратковременное и ограниченное движение огораживания. Назвать первое из этих явлений феодальной реакцией было бы неверно. Как показано ранее в этой главе, происходившее было проникновением коммерческих и капиталистических практик в сельское хозяйство посредством феодальных методов. Этот процесс протекал в течение очень долгого времени, но стал более заметным во второй половине XVIII в. Одна из форм этого проникновения состояла в восстановлении феодальных прав и обязанностей там, где ими начали пренебрегать. Некоторые историки экономики видят причину этого в постоянно усиливавшейся нужде господина в деньгах [Sée, 1939, vol. 1, p. 189]. Сильное давление могло исходить от новых дворян, которые практиковали более коммерческое и менее патриархальное отношение к своему поместью, усовершенствовали управление, эксплуатировали старые феодальные права и вводили новые при малейшей возможности [Göhring, 1934, S. 71–73]. Экономической стороной этого процесса было стремление господина получить большую долю крестьянского урожая для последующей продажи. Получение контроля над крестьянской землей было второстепенным делом по отношению к получению урожая. Феодальные подати, выплачиваемые натурой, приносили лучший доход среди всех видов сельскохозяйственных прибылей отчасти потому, что они взимались прямо пропорционально собранному урожаю¹².

Подчеркнуть чисто экономические аспекты значило бы, тем не менее, пропустить суть дела. Как постоянно указывается на страницах настоящей книги, феодальные порядки в сочетании с порядками абсолютной монархии образовывали политический механизм, с помощью которого землевладельческая аристократия Франции извлекала экономические

¹² См.: [Labrousse, 1932, p. 378, 381, 410–411]. Полагаю, что Лабрусс прав относительно общего направления, но я скептически настроен по отношению к точности его статистических выкладок и не пытался суммировать его измерения. Институциональные изыскания Форстера соответствуют выводам Лабрусса.

выгоды из крестьянского труда. Без подобных политических механизмов экономическая система в деревне не смогла бы работать. В этом заключался конкретный смысл привилегии. Это также было существенной чертой, отличавшей французскую аристократию от высших землевладельческих классов в Англии, которые развили совершенно иные методы извлечения прибыли. Именно в этом пункте показывает свою ошибочность любая упрощенная версия марксизма, любая идея о том, что экономический базис автоматически определяет политическую надстройку. Политический механизм здесь играл решающую роль, и крестьяне во время революции проявили разумный политический инстинкт, когда стремились уничтожить эти механизмы и инструменты, а, как мы вскоре увидим, такой инстинкт они не всегда обнаруживали. Помогая необратимому уничтожению этих инструментов, они помогли разрушить старый порядок. Я настаиваю, что значение сеньориальной реакции состояло в том импульсе, который она придала этим политическим изменениям.

Движение огораживания было более открытой формой капиталистической трансформации в сельском хозяйстве. Оно начало приобретать силу во второй половине XVIII в., хотя ни в одном регионе не получило такого размаха, как в Англии, за исключением, возможно, Нормандии, где текстильная индустрия, особенно в области Ко, развивалась в городе и деревне [Bloch, 1955–1956, vol. 1, p. 210, 212]. Французское движение огораживания в итоге оказалось частичным ответом на коммерческие веяния, как и в Англии. Но во Франции это движение, пока оно существовало, было в большей мере результатом правительственной политики и интеллектуальных дискуссий в салонах, чем в Англии, где оно инициировалось самими джентри. Физиократы смогли на время завладеть вниманием важных королевских чиновников, и недолгое время эта политика реализовывалась [Bloch, 1930, p. 350, 354–356, 360; Göhring, 1934, S. 76, 80]. Как только правительство натолкнулось на сопротивление, эта политика была свернута. Основной порыв утих к 1771 г. Непоследовательность была главной чертой старого режима до его конца [Bloch, 1955–1956, vol. 1, p. 226; 1930, p. 381]. Физиократический натиск продолжался дольше. Долгое время физиократы не осмеливались атаковать феодализм. Но в 1776 г., когда Тюрго был министром, его друг и секретарь Пьер-Франсуа Бонсерф предложил осуществить денежный выкуп феодальных повинностей, по крайней мере для следующего поколения [Göhring, 1934, S. 92].

Итак, капитализм проникал во французскую деревню через все возможные щели — в форме феодализма (как сеньориальная реакция), в форме атаки на феодализм (под лозунгами «прогресса» и «разума») в качестве официально поддерживаемого движения огораживания. Для

более быстрого продвижения капитализма пришлось ждать революционных изменений и даже следующей эпохи. Некоторые права на общинные пастбища были отменены, например, только в 1889 г. [Bloch, 1930, p. 549–550].

Хотя ограниченное проникновение капитализма не смогло в XVIII в. преобразовать сельское хозяйство или уничтожить крестьянство, оно привело к резкой враждебности крестьянства к старому режиму. Крестьяне сопротивлялись увеличению феодальных податей и восставлению старых повинностей ловкими юристами. Еще более важно то, что заигрывание правительства с огораживаниями обратило крестьянство против монархии. Во многих коммунальных *sahiers* 1789 г. энергично выражается требование реставрации прежнего порядка и отмены эдиктов об огораживаниях [Göhring, 1934, S. 82–84, 96; Lefebvre, 1954a, p. 255–257]. Следствием этого стала консолидация третьего сословия, более жесткая оппозиция старому режиму со стороны многих крестьян и части городского населения. Эти тенденции во многом объясняют, почему самое преуспевающее крестьянство в Европе стало главной силой революции.

Через парламенты высшие слои дворянства мантии поддерживали и усиливали сеньориальную реакцию. Прежде, как мы видели, служба в королевской бюрократии привлекала коммерсантов на сторону короля. Однако одним из последствий этого стало превращение небольшой, но влиятельной группы буржуа в энергичных защитников привилегий, понятых как частная собственность, закрепленная за индивидом. Здесь опять капиталистические способы мышления и действия просачивались сквозь поры прежнего порядка. В XVIII в. эти тенденции продолжались и усилились. Уже в 1715 г. появились признаки того, что новое судейское дворянство завоевало признание, что барьеры постепенно исчезают и что в итоге Франция вскоре увидит единый нобилитет, защищающий единый набор привилегий от посягательств короля и народа. К 1730 г. смешение было достаточно ощутимым [Ford, 1953, p. 199–201]. Поскольку старое дворянство было лишено институциональной базы, которая позволила бы эффективно соперничать с королем, и поскольку новая группа аристократов обладала такой базой в системе суверенных судов, старая страта была вынуждена признать социальный статус новой ради политических выгод. Так как стиль жизни обеих групп все больше сближался, помехи для их смешения все время уменьшались [Ibid., ch. 11, p. 150–151]. При Людовике XVI королевский судейский аппарат продолжал работать в качестве крупнейшего рекрутингового центра, который превращал богатых простолюдинов в часть истеблишмента, ставшего средоточием оппозиции к реформам. Из 943 *парламентариев*, рекрутированных в 1774–1789 гг. и оставшихся на службе в 1790 г.,

II. Эволюция и революция во Франции

не менее 394 человек (42%) — бывшие *простолюдины*, получившие дворянство благодаря своей новой должности¹³.

В качестве своей доли за участие в предварительной коалиции, которую мы рассматриваем, старое дворянство сумело закрепить для себя некоторые ключевые позиции. К концу *старого режима* коалиции удалось поставить множество барьеров на пути обладателей денег к власти. Высшие и армейские должности оставались недоступными для них [Göhring, 1934, S. 74]¹⁴. К 1780-м годам аристократическая коалиция обща «уничтожила Мопу и Тюрго, захватила все епископаты в королевстве, установила правило четырех геральдических кварталов для назначения дворян на высшие армейские должности и подталкивала монархию к неустанному попечению о привилегированных кругах» [Ford, 1953, p. vii].

Зачисление многочисленных буржуа в дворянство вызывает сильное сомнение в связи с известным объяснением причины революции, согласно которому главной проблемой был закрытый характер французской аристократии, — закрытый в сравнении с подвижными границами и упрощенным доступом, превалировавшими в это же время в Англии. Вышерассмотренные факты показывают, что это различие в основном было вопросом юридической формы.

В актуальной практике доступ к аристократическому статусу в конце XVIII в. во Франции вряд ли был более трудным, чем в Англии того же периода. Статистика отсутствует. Но здесь мы опять сталкиваемся с проблемой, где количественные измерения не способны показать важные качественные различия.

Как указано выше, в целом ситуация с растущей социальной мобильностью и смешением сословий различалась в двух странах. В Англии происходившее смешение в большой степени было недоступно монаршему влиянию и направлено против короля. Лендлорды-огораживатели не желали, чтобы король вмешивался в дела их крестьян. Богатые горожане не хотели, чтобы корона закрепляла выгодные коммерческие возможности за своими отдельными фаворитами. Важным сегментам этих классов в Англии не требовались политические инструменты из арсенала умершего феодализма или абсолютной монархии. При этом во Франции монархия превратила простолюдинов в дворян-помещиков,

¹³ См.: [Ford, 1953, p. 145–146], где автор рассматривает работу Жана Эгре, откуда и заимствует цифры.

¹⁴ Вопрос требует дополнительного детального рассмотрения. Гёринг включает в эту категорию также и магистратов. Но доказательства Эгре, процитированные Фордом в предыдущем примечании, вызывают сомнения на этот счет.

нуждавшихся в феодальных правах. Она сделала из них упрямых защитников привилегий и энергичных оппонентов периодических реформаторских попыток. Так монархия нажила себе врагов среди той части буржуазии, которая не солидаризировалась с прежним порядком.

Тем временем буржуазия укрепляла свои позиции. Она все еще не настолько хорошо изучена историками и социологами, как дворянство и крестьяне¹⁵. Тем не менее выделяются несколько сравнительно точно установленных моментов, важных для нашего анализа. В принципе это столетие характеризуется большим экономическим прогрессом в торговле и промышленности. Особенно увеличилась зарубежная торговля во Франции, даже значительнее, чем в Англии¹⁶. Есть расхождение во мнениях относительно последних лет режима. Лабрусс, выполнивший подробный анализ цен, рассматривает период после примерно 1778 г. как распространение экономической депрессии, охватившей как промышленность, так и сельское хозяйство [Labrousse, 1944, p. xxxii, xxxvi]. В более ранней работе Анри Сэ описывает последние две декады старого режима как эпоху, когда произошел рывок в крупной промышленности, пусть даже Франция отставала по сравнению с Англией на момент революции, поскольку стартовая позиция последней была далеко в прошлом по сравнению с ее соперницей по другую сторону пролива [Sée, 1925, p. 303–305]. Государственное управление промышленностью играло важную роль в XVIII в., хотя вереница эдиктов позволяет предположить, что оно не было достаточно эффективным. Во второй половине столетия государственный контроль ослаб [Sée, 1939, vol. 1, p. 348, 351; Labrousse, 1944, p. 1]. Таким образом, коммерция и в меньшей степени промышленность расширяли свою социальную основу для отмены устаревших ограничений, наложенных на торговлю и производство.

Тюрго был выразителем этих сил. Он занял должность, будучи твердо уверенным в просвещенном деспотизме и свободе производства и обмена как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Обзор предпринятых им реформ и той оппозиции, которую они вызвали, позволяет нам понять возможности сил, поддерживавших классическую версию капитализма, в основании которой лежат частная собственность и свободная конкуренция при отсутствии поддержки докапиталистических инсти-

¹⁵ Исключение см.: [Barber, 1955] (но экономические основания обойдены стороной).

¹⁶ См.: [Labrousse, 1944, p. xxvii, xxviii, xlvi]. На p. xxxviii автор привлекает внимание к тому, что внешняя торговля в последней трети XVIII в. основывалась на реэкспорте колониальных товаров, в основном сахара и кофе, и поэтому не может служить индикатором роста внутреннего производства. См. также: [Sée, 1939, vol. 2, p. xiv–xv] и более подробно: [Sée, 1925, p. 245–249].

туций. Его программа была реализована лишь частично и включала реформу налоговой системы, свободную торговлю зерном (разрешенную эдиктом от 13 сентября 1774 г.), отмену барщины, *corvée*, упразднение гильдий и свободный выбор профессии для рабочих [Histoire de France, 1911, vol. 9, pt. 1, p. 28, 43, 45]. Политика Тюрго настроила против себя мелких потребителей, сильно возмущенных ростом цен, последовавшим за либерализацией торговли зерном. По всей стране вспыхивали бунты; бунтовщики даже заполнили внутренний двор Версаля, требуя, чтобы пекарей заставили снизить цены на хлеб, что предвещало проблемы революции в кульминационный момент террора. Хотя Людовик XVI проявил твердость в этой ситуации, инцидент вряд ли упрочил положение Тюрго при дворе [Ibid., p. 32]¹⁷. Очевидно, по-прежнему была сильна потребность народа в контролируемой экономике старого образца, где главное внимание уделялось бы не увеличению производства, но тому, чтобы благосклонная власть обеспечила «честное» распределение необходимого для жизни бедняков. Это настроение низших слоев крестьян и городского плебса, знаменитых санкюлотов, стало главным ресурсом радикальных мер во время самой революции. Кроме того, предложение Тюрго вызвало сопротивление финансистов, наживавшихся на коррумпированности бюрократии, и промышленников, возмущенных тем, что он отказывался защищать французскую промышленность, в частности текстильную и металлургическую, от зарубежной конкуренции и запрещать экспорт сырья, в котором нуждались фабрики [Ibid., p. 40].

Коалиция интересов, направленная против Тюрго, — еще один показатель, что силы, стремившиеся убрать ограничения эпохи феодализма и установить что-либо похожее на частную собственность или свободную конкуренцию, были очень далеки от того, чтобы доминировать во французском обществе в канун революции, даже если они усиливались на протяжении XVIII в. Называть революцию буржуазной или капиталистической в этом простом смысле ошибочно. Во Франции капитализм часто скрывался под феодальной маской, особенно в деревне. Требование прав собственности внутри господствовавшей системы было весьма насущным, как показывают продажи должностей и сеньориальная реакция. Как заметил Жорес (великий социалистический историк революции, не сделавший, правда, отсюда необходимых выводов), капитализм пронизывал старый режим, ломая его и возмущая привилегированные классы и крестьян, поднимавших восстание против монархии. Отчасти по этой причине радикальное движение санкюлотов и крестьянства, стоявшее за революцией, было откровенно и активно антикапиталистическим. Богатые крестьяне, как мы увидим, определяли границы радикального

¹⁷ О последующих событиях см.: [Mathiez, 1927].

антикапитализма. В конечном счете силы, выступавшие за освобождение частной собственности от древних ограничений, одержали важные победы как в городе, так и в деревне. Для достижения этого успеха капиталисты нередко нуждались в помощи своих злейших врагов.

5. ОТНОШЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА К РАДИКАЛИЗМУ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ

До этого момента наше исследование было направлено на выявление ресурсов как сопротивления, так и стремления к переменам, которые постепенно консолидировались среди господствующих классов. При анализе самой революции исторические факты вынуждают уделить основное внимание низшим классам. Французское общество лопнуло по швам сверху донизу, когда монархия по институциональным и персональным причинам совершенно потеряла контроль над главными силами, рассматривавшимися в предыдущих разделах. Коллапс монархии усилил скрытое недовольство среди низших классов и позволил им заявить о себе. Факты указывают на то, что эти процессы уже шли некоторое время. Крестьянские восстания, в которых также принимала участие городская беднота, часто упоминаются в XVII в. Они происходили в различных частях Франции в 1639, 1662, 1664, 1670, 1674 и 1675 гг.¹⁸ Само по себе, однако, народное недовольство не способно вылиться в революцию. Неясно, усилилось ли это недовольство непосредственно перед революцией; вероятно, да. Тем не менее только когда народный гнев, хотя бы на короткое время, соединяется со стремлениями более сильных групп, он обрекает монархию на огонь и кровопролитие.

Причины более ранних выступлений, природа крестьянского мира, проблемы тех, кто составлял подавляющее большинство французского населения, лишь мельком рассматриваются в исследованиях по эпохе расцвета абсолютной монархии¹⁹. По мере приближения революции появляется все больше подробностей, пока, наконец, не проясняются главные черты крестьянской общины. В отсутствие такой коммерческой революции, которая произошла в Англии, или помещичьей реакции, возникшей в Пруссии, а также по совершенно иным причинам — в России, многие французские крестьяне превратились в итоге в мелких собственников. Хотя невозможно привести точное количество этих *coqs de paroisse* — аналогом которых были кулаки в России более позднего

¹⁸ См.: [Sée, 1939, vol. 1, p. 214–215; Sagnac, 1945, vol. 1, p. 139–143]. Много материала см.: [Porchnev, 1963].

¹⁹ См., напр.: [Goubert, 1960], где основное внимание обращено на статистическую информацию для отдельной области; книга мало пригодна для понимания функционирования институций.

времени, — они определенно были важным и очень влиятельным меньшинством. Бедных крестьян было намного больше, их уровни жизни различались между собой едва заметными градациями, заполнявшими всю социальную лестницу, начиная с тех, кто имел небольшой клочок земли, *lorins de terre*, и заканчивая теми, кто не имел ничего и зарабатывал как наемный работник. Возникает впечатление — но это не более чем впечатление, — что количество малоземельных и безземельных крестьян постоянно увеличивалось на протяжении по крайней мере двух столетий. Согласно Лефевру, к 1789 г. большинство деревенских собственников не имели достаточно земли и были вынуждены работать на других либо овладевать каким-то вспомогательным ремеслом. У нас опять нет общих данных. Но во многих частях страны безземельные семьи могли составлять от 20 до почти 70% крестьянского населения [Lefebvre, 1954a, p. 209–212].

Можно различить два главных требования беднейших крестьян. Во-первых, и вероятно, сильнее всего, они хотели получить участок земли, если у них его не было, и несколько больший участок земли, если он у них был. Во-вторых, они были озабочены сохранением специфических деревенских традиций общинной жизни, служивших их интересам. Бедные крестьяне не испытывали обычной привязанности к деревенской общине. Когда во время революции они увидели возможность получить участок земли через дележ общинных земель, они громко выступили за это. Уничтожению общей собственности в основном препятствовали богатые крестьяне, отчасти потому, что часто лишь они использовали общинные пастбища для выпаса скота со своих ферм²⁰. При этом определенные коллективистские практики были важны для бедных крестьян. Наиболее важным было *vaine pâture*, право выпаса скота на чужих убранных полях. На культивируемой территории это право было элементом древней системы открытого поля, господствовавшей на большей части Франции при отсутствии серьезного движения в пользу огораживаний. Возделываемые поля, разделенные на полосы, окружали несколько жилищ, составлявших деревню. Вся эта земля одновременно обрабатывалась согласно стадиям аграрного цикла — эта практика обязательного севооборота была известна во Франции как *assolement forcé*, а в немецкоязычных странах как *Flurzwang*. После сбора урожая, по яркому замечанию Блока, права собственности погружались в спячку и домашний скот свободно бродил по неогороженным полям. На лугах для покоса, которые к этому времени могли быть собственностью сеньора, всей деревни или преуспевающего крестьянина, во многих областях действо-

²⁰ См.: [Cobban, 1964, vol. 1, p. 112–117], автор корректирует распространенное убеждение, что бедные крестьяне сопротивлялись разделению общинной земли.

вало то же правило: после уборки сена поля открывались для выпаса скота, кормившегося подросшей травой. Для беднейших крестьян право на *vaine rature* было важно, поскольку им не позволяли чрезмерно пользоваться общинной землей. Даже если у них обычно не было лошадей и плуга, они скорее всего владели коровой или овцой или несколькими козами, которых держали ради мяса либо на продажу. Право на подбирание колосьев, пользуясь которым ватаги нищих крестьян ходили по полям в определенные дни под обеспокоенными взглядами землевладельцев, и права на сбор хвороста и выпас скота в лесу также были существенны для них²¹.

Политическим последствием этого был раскол внутри крестьянства и заметная разьединенность крестьянской общины. Как и во многих других частях света, беднейшие крестьяне во Франции стали главными жертвами, когда силы модернизации разметали древнюю деревенскую общность, обуславливавшую разделение труда и обеспечивавшую им испокон веков скромное, но знакомое место внутри их малого мира. Хотя французские деревни разных типов в общем и целом пострадали позже, меньше и по иным причинам, чем английские, эта общность по-прежнему подвергалась ощутимому давлению в конце XVIII в.²² Положение деревенской бедноты подталкивало многие умы к насильственным эгалитарным теориям. Для них модернизация означала в основном то, что преуспевающие крестьяне мешали поделить землю (включая ту, что стала доступной после революционных конфискаций) и заставляли голодать, ограничивая права на сбор колосьев и выпас на пути к более прогрессивным формам частной собственности на землю. В разгар революции радикальные настроения в городах и деревне смогли объединиться, — этот факт позволяет объяснить глубину и насильственный характер французской революции по сравнению с английской. Это была не просто отдельная крестьянская революция, шедшая своим путем, то в союзе, то в оппозиции к городской революции и к капиталу. Существовали по меньшей мере две крестьянские революции: крестьянской аристократии

²¹ Ясное общее описание коллективных практик и сопротивления принимаемым на них атакам см.: [Bloch, 1930, p. 330–331, 513–527]. В последнем пассаже автор отмечает, что отношение бедняков к разделению общинной земли зависело от местных условий, а попытки отменить общие права через ограниченные огораживания обычно наносили им вред. См. также: [Lefebvre, p. 71–114] (о коллективных правах) и [p. 424–430] (об их возрождении во время революции). Источник Лефевра указывает на то же общее направление: бедняки нередко желали разделить общинную собственность, но держались за другие общие права.

²² Можно проследить множество подробностей этого процесса для отдельной области в превосходном описании: [Saint Jacob, 1960, p. 435–573].

II. Эволюция и революция во Франции

и крестьянского большинства. Каждая из этих революций шла своим путем и время от времени поддерживала или отрицала городские революции.

Если теперь обратиться к высшим слоям крестьянства, то по крайней мере отчасти ясно, что их недовольство было связано с двусмысленностью их положения: у них была земля, но они не владели ею по настоящему [Göhring, 1934, S. 57–58, 60]. Как хорошо известно, юридическое и социальное положение французского крестьянства, во всяком случае его высших слоев, было подвержено меньшим репрессивным ограничениям, чем в других крупных странах на материке. Большинство из этих крестьян были лично свободными. В той мере, в какой можно понять их нужды по спискам требований, становится ясно, что они хотели в основном устранить элементы феодального произвола, усилившиеся в последние годы старого режима. В отличие от буржуазии они не покушались на социальное положение и сословные привилегии дворянства. Вместо этого они часто открыто признавали их [Ibid., S. 115–116], — этот факт предполагает, что они могли не понимать общей связи между привилегиями дворянства и своими проблемами. В 1789 г. лишь серьезные потрясения превратили крестьян в активную революционную силу. Эти потрясения не заставили себя ждать.

Один импульс пришел от действий знати и нерешительности короля до и после собрания Генеральных штатов. Конечно, крестьяне не понимали и не придавали большого значения вопросам о голосовании по условиям или большинством голосов, взбудоражившим всю остальную Францию. Они также не особенно волновались из-за слабости финансового положения Бурбонов и перспективы банкротства. Распределение налогов среди различных сословий тоже не привлекало их внимания; крестьянина интересовала его доля налога в своей деревне, отличавшаяся в разных местах настолько непредсказуемо, что только специалисты могли это понять²³. Все эти вопросы совершенно точно волновали большую группу образованных горожан. Дворянство пыталось получить власть в государстве посредством Генеральных штатов, что было естественным продолжением того, к чему оно стремилось в период так называемой феодальной реакции. Нежелание дворянства идти на компромисс по этим вопросам превратило на какое-то время тех, кто относился к «третьему сословию», *Tiers Etat* — условный юридический термин для всех не принадлежавших ни к дворянству, ни к духовенству, — в нечто вроде единого политического разума.

²³ Стандартные наблюдения о репрессивном характере налогообложения при старом режиме могут быть преувеличением. См., напр.: [Goubert, 1960, p. 152], где подчеркивается фундаментальная честность системы в той области, которую автор изучал.

Многие богатые и особенно либеральные дворяне, игравшие сомнительную роль на ранней стадии революции, были готовы сделать существенные уступки. В аграрных вопросах — пожертвовать без компенсации самыми деспотическими феодальными правами. Реакционное давление, на время консолидировавшее третье сословие, весьма вероятно, исходило в значительной степени от мелких деревенских сеньоров, живших за счет податей и не имевших ни желания, ни способности, ни возможности управлять своими делами подобно простолюдинам, даже если бы их защитили от потери феодальных прав [Lefebvre, 1954a, p. 258].

Другие импульсы стали более неожиданными. В 1786 г. французское правительство резко снизило пошлины на английскую мануфактуру, что оставило без работы множество людей. Это затронуло крестьян в некоторых областях, ограничив или уничтожив возможность внешнего заработка. Декрет 1787 г. устранял ограничения на торговлю зерном, включая положения, согласно которым производители были обязаны продавать зерно на местном рынке. Урожай осени 1788 г. оказался катастрофически скудным. Последовавшая за этим зима была необычно суровой, а весной разразились сильные бури и наводнения [Lefebvre, 1932, p. 13–14; Göhring, 1934, S. 119]. Природные катаклизмы в сочетании с политической неопределенностью и беспокойствами летом 1789 г. вызвали серию панических выступлений и крестьянских восстаний во многих частях Франции.

Стал проявлять себя радикальный потенциал крестьянства. Хотя трудности, связанные с «великим страхом», *Grande Peur*, предстали в различной форме в разных частях Франции, оппозиция феодализму проявилась везде. Даже там, где крестьяне не восставали, они отказывались от своих феодальных обязательств [Lefebvre, 1932, p. 119]. Всевозможные слухи быстро распространялись; опасения аристократического заговора, не совсем лишённые основания, облегчили для крестьян получение поддержки со стороны беднейших городских классов. Когда власть центрального правительства деградировала, Франция распалась на сеть небольших городов и коммун. Дезинтеграция общественного порядка сделала основательных и состоятельных граждан из буржуазии желанными союзниками либерального дворянства. Но беднейшие классы не доверяли им и стремились их потеснить. Поэтому в областях, охваченных паникой, средние собственники в городах и деревнях образовали местные группы самозащиты для обороны от разбойников и бандитов, которых, как полагали, науськивали на разбой интриганы-аристократы [Ibid., p. 30, 31, 103–105, 109, 157–158].

Но там, где возникали реальные аграрные восстания и жакерии, не было «великого страха» [Ibid., p. 165–167, 246]. В этих областях разбойниками стали марширующие крестьяне. Не было необходимости

II. Эволюция и революция во Франции

выдумывать разбойников и представлять их слугами аристократов. Полномасштабное крестьянское насилие ужаснуло буржуазию, в особенности тех, для кого феодальные права были такой же священной формой собственности, как и любая другая; это привело их в лагерь нобилитета. После взятия Бастилии буржуазия в некоторых областях, в первую очередь в Эльзасе, где восстания отличались особой жестокостью, с готовностью сотрудничала с привилегированными классами в усмирении бунтовщиков [Ibid., p. 56, 139].

Революция уже пробудила социальные силы, выражавшие беспокойство и желание положить ей конец. Контрреволюция базировалась в Париже и имела влияние на короля. Однажды успех показался возможным. 11 июля 1789 г. Жак Некер был поспешно отправлен в отставку и изгнан из Франции. Знать выразила признаки того, что она не готова признать победу третьего сословия, покинувшего заседание Генеральных штатов вместе с духовенством и сорока семью дворянами, чтобы образовать Учредительное собрание, формально основанное 7 июля 1789 г. К Парижу стягивались войска. В деревнях из-за названных выше причин происходили волнения. Возникла угроза голода. Подозревали, что король замышляет переворот. Учредительное собрание ожидало худшего. В этот момент народное выступление спасло умеренную революцию от капитуляции и придало ей новый импульс. У населения Парижа не было намерения спасать собрание; это произошло «рикошетом», в форме защитной реакции. Паника продолжалась, это были первые вспышки *Grande Peur*. Узнав, что Париж окружен королевскими войсками и «бандитами», из опасения, что город подвергнут бомбардировке или грабежу, массы горожан возвели баррикады и раздобыли оружие, забрав 32 тыс. ружей из Дома инвалидов. Утром 14 июля они отправились за оружием в Бастилию, и все закончилось штурмом знаменитого символа государственного произвола [Lefebvre, 1957, p. 125–126, 134–135].

Уже при штурме Бастилии и во время краткой волны народного мщения, последовавшей за этим, проявились, как заметил Лефевр, некоторые главные черты радикальной стороны Французской революции: страх контрреволюционных заговоров, оборонительное восстание масс, в основном бедных ремесленников и наемных работников, и стремление наказать и уничтожить своих врагов [Ibid., p. 133].

Эти черты проявляются вновь во всех главных народных восстаниях революции. Хорошо известно, что революция началась с наступления аристократии, но она становилась все более радикальной по мере своего развития. К власти пришли радикальные группы буржуазии, проводившие более радикальную политику почти до самого падения Робеспьера 9 термидора 1794 г. Всякий раз консервативные силы, становившиеся все менее консервативными и представлявшие различные социальные

группы, пытались затормозить развитие революции, но радикальное наступление беднейших классов придавало ей новый импульс. Три великих народных бунта, три знаменитых *journées*, ознаменовали эту серию кардинальных сдвигов влево. Первым был штурм Бастилии 14 июля 1789 г., вторым — штурм Тюильри 10 августа 1792 г., последствием чего стала казнь Людовика XVI. Третье восстание, 31 мая 1793 г., произошло в сходных, но более серьезных обстоятельствах и было частью целого ряда событий, которые привели к разгулу террора и краткому правлению Робеспьера. Главный импульс каждому выступлению придавали парижские санкюлоты. Каждое восстание одерживало победу постольку, поскольку оно опиралось на активную поддержку крестьянства. Когда эта поддержка ослабла, когда требования санкюлотов пришли в конфликт с требованиями крестьян-собственников, революционный импульс угас, а оставшиеся революционные элементы в городах были легко усмирены.

Поэтому справедливо считать, что крестьянство было арбитром революции, хотя и не главной ее движущей силой. Но даже если крестьянство не было главной, оно было очень важной силой, в значительной мере ответственной за то, что в ретроспективе кажется самым важным и непреходящим достижением революции, — за ликвидацию феодализма.

Взятие Бастилии было значительным событием в символическом смысле, а не конкретной политической или военной победой. Смертельный удар, нанесенный феодализму несколько недель спустя, в знаменитую ночь 4 августа 1789 г., оказался более важным и, как уже указывалось, был прямо связан с крестьянскими волнениями. Конституционная ассамблея находилась в щекотливом положении. Ее члены были в основном юристами и людьми с положением, которых спасло народное восстание. Владельцы значительного имущества не имели никакого желания смотреть на крестьянский бунт. Но если бы они обратились за помощью в восстановлении порядка к королю и к тому, что осталось от государственного аппарата, они оказались бы заложниками твердолобых аристократов и проиграли бы завоевания революции. В этой ситуации меньшинству удалось склонить Учредительное собрание к принятию декретов.

Хотя текст декларации начинается с утверждения, что Учредительное собрание окончательно уничтожило феодализм, это было преувеличением. Отмена феодальных повинностей, относившихся к землепользованию, была связана с компенсационными выплатами, что означало сохранение остатков феодализма на определенное время. Другие остатки, включая почетные прерогативы, также сохранились. Лишь позднее, на более радикальных этапах революции, последующее законодательство

II. Эволюция и революция во Франции

завершило большую часть работы по уничтожению остатков феодальной структуры, продолжая в этом, как заметил Токвиль, усилия королевского абсолютизма. Тем не менее собрание проголосовало за равенство перед законом, отмену феодальных повинностей, относившихся к личности (без компенсации), равенство наказаний, за допуск всех граждан к общественным должностям, отмену продажи должностей и отмену церковной десятины (без компенсации). Этого было достаточно, чтобы по праву назвать результаты сего знаменательного события «смертным приговором старому режиму» [Lefebvre, 1957, p. 140–141]²⁴.

Нужно подчеркнуть, что это не было актом спонтанного великодушия. Учредительное собрание принимало законы с пистолетом у виска, в окружении народных беспорядков [Lefebvre, 1932, p. 246–247; 1957, p. 113, 119]²⁵. Рассматривать этот случай, когда высшие классы изъявляли готовность пойти на уступки, вне его контекста, доказывая, что в революционном радикализме не было необходимости, значило бы совершенно извратить ситуацию.

Вторая радикальная фаза также была спровоцирована попыткой реакции. Ситуация повторилась, но с большей интенсивностью. Отчаянная попытка короля совершить побег в Варенне (20–25 июня 1791 г.) исключала всякую возможность того, что революция закончится установлением конституционной монархии и правлением высших классов, как в Англии. Весной 1792 г. разразилась война. Вожди жиронды, представлявшие интересы торговцев и перевозчиков, искали повода для войны, способной распространить революционные идеи, не в последнюю очередь по материальным причинам. Лафайет намеревался использовать войну в прямо противоположных целях, чтобы восстановить порядок. Угроза военного переворота была реальной [Lefebvre, 1957, p. 215, 227–228, 243]. Начиная с ноября 1791 г. произошла серия народных восстаний во многих сельских регионах, направленных против экспорта

²⁴ Стоит отметить, что вожди революции разрушали традиционные крестьянские практики скорее с осторожностью. Учредительное собрание не пыталось отменить *assolement forcé*, обязанность каждого жителя деревни пахать, сеять и собирать урожай одновременно со всеми остальными, вплоть до 5 июня 1791 г. И тогда оно сделало это не напрямую, а через декрет, позволяющий каждому собственнику свободно выбирать сельскохозяйственные культуры для посева. Ни Учредительное собрание, ни Конвент не наложили запрет на *vaine pâture obligatoire*, т.е. на право свободного выпаса на обработанных полях сразу после сбора урожая. См.: [Bloch, 1930, p. 544–545].

²⁵ Об уступках 4 августа Марат написал: «Только свет от пламени, в котором пылают их дворцы, заставил их великодушно отказаться от привилегии удерживать в цепях человека, который уже силой вернул себе свободу». Английский перевод заимствован из: [Revolution, 1962, p. 27].

зерна в условиях острого дефицита. Сама по себе идея о том, что зерно отправляется за границу, когда его с большей прибылью можно было продать во Франции, было, конечно, абсурдным. Бунты, без труда усмирявшиеся, демонстрируют картину волнений и хаоса. Города, также бедствовавшие, терпели большой ущерб от роста инфляции [Mathiez, 1927, р. 59–71, 67; Lefebvre, 1957, р. 241]. Военные неудачи усилили напряженность атмосферы. Переворот, разрядивший ситуацию, штурм Тюильри и знаменитая бойня швейцарской гвардии 10 августа 1792 г. также были делом парижской толпы, в основном бедных ремесленников, наемных работников и т.д.²⁶ Хотя Париж был центром, радикальное народное движение получало активную помощь из провинций. Именно в этих условиях Руже де Лиль сочинил песню войны и революции, которую пели якобинские батальоны, шедшие маршем от Марселя на помощь своим парижским товарищам. Переворот 10 августа был не парижским, как восстание 14 июля, но общенациональным [Lefebvre, 1957, р. 246].

Во внутренней политике последовало фактическое упразднение Законодательного собрания — его сменило Учредительное собрание в октябре 1791 г.; суд над Людовиком XVI, не состоявшийся до конца 1792 г.; и непосредственно — вспышка народного мщения, выразившаяся в казнях сентября 1792 г. Эти казни начались так же неожиданно, как и все массовые акции. Ожидающая толпа захватила и тут же казнила нескольких узников, находившихся под охраной. После чего убийства перекинулись на тюрьму. Было убито от 1000 до 1400 человек, большинство из которых являлись обычными ворами, проститутками, фальшивомонетчиками и бродягами. Лишь около четверти убитых составляли священники, аристократы или какие-либо «политические» преступники [Rude, 1959, р. 109–110]. Похожие сцены разыгрались и в других французских городах. Эти убийства имеют значение в основном как ясное свидетельство слепоты и иррациональности народного мщения. Террор, прелюдией к которому они стали и который возник на следующем этапе, был лучше организован и менее непредсказуем в своих результатах. Вследствие восстаний 1791–1792 гг. крестьяне получили существенные прибыли летом 1792 г. Феодальные повинности были отменены 25 августа без каких-либо компенсаций, кроме сохранения оригинального титула. По другому акту, от 28 августа, деревенские жители получили обратно свои общинные земли там, где господин их узурпировал. Еще один декрет облегчал сельскому пролетариату приобретение земли, поскольку конфискованная собственность эмигрантов продавалась небольшими наделами. В самом Париже коммуна принимала безработных

²⁶ См.: [Rude, 1959], где дается подробная информация о составе парижской толпы в великие дни революции.

на фортификационные работы [Lefebvre, 1957, p. 254]. С помощью этих мер правительство сделало шаг навстречу некоторым требованиям беднейшего большинства мелкоземельных собственников и безземельных крестьян, надеясь привлечь их на сторону революции. Но этот шаг был нерешительным. Революционное правительство в Париже поддержало и оформило ключевой вопрос разделения общинных и эмигрантских земель среди мелкого крестьянства. Результатом стало углубление раскола между богатыми и бедными. Возмущенные богатые крестьяне заявили, что давать собственность безземельным то же самое, что утверждается в *loi agraire* — земельном законодательстве: т.е. коммунистическая собственность²⁷.

Тем временем нерешительность правительства привела к распространению радикальных идей среди крестьянства. Противники крестьянского радикализма обозначали подобные идеи жупелом *loi agraire*. Равенство собственности было понятием, которое пользовалось широчайшей популярностью среди беднейших крестьян. Но там были и другие идеи, преодолевавшие понятие частной собственности, в рамках которого оставались лидеры революции даже во время следующей, самой радикальной фазы. Это было сочетание христианских и коллективистских идей. Насколько они отражали воззрения крестьян, сказать сложно не только из-за отсутствия записей, но также из-за сурового подавления этих идей. Карно, ненавидевший радикалов, несомненно, преувеличивал, когда писал 7 октября 1792 г. из Бордо, что идея *loi agraire* распространила террор повсюду (цит. по: [Guérin, 1946, vol. 1, p. 350]). Очевидно, крестьянский радикализм вызывал опасения у властей. В пламенной речи в Конвенте Бертран Барер требовал действенных мер, способных убедить крестьян в том, что малейшая атака на собственность недопустима. На следующий день, 18 марта 1793 г., Конвент назначил смертную казнь за проповедь *loi agraire*²⁸. Содержание этих идей сохранилось в достаточной степени, чтобы показать, что они относились к нуждам крестьян-

²⁷ См.: [Cobban, 1964, p. 115; Le Partage..., 1905, p. xvii]. В последнем источнике приводятся подробности законодательства. Речь председателя комитета по сельскому хозяйству (p. 337–373) — это красноречивая попытка сочетать типичные капиталистические идеи прогресса в сельском хозяйстве (через частную собственность и отмену общинной земли на английский манер) с усилием ответить на запросы бедного населения. «Однако, господа, если право собственности священо, то таковы же и требования бедняков», — замечает он в одном месте (p. 360). Чтение целого ряда петиций, напечатанных в этом издании, убедило меня, что интерпретация крестьянских требований, которую предложил Альфред Коббен, является правильной, а господствующие ныне теории, что бедняки противились разделу общинной земли, являются ошибочными.

²⁸ Длинную цитату из речи Барера см.: [Soreau, 1932, p. 121–122].

ской бедноты и отвечали некоторым ее требованиям. Поэтому важно внимательно рассмотреть это нелегальное радикальное движение.

Первая радикальная атака возникла в связи с бунтами по поводу предполагаемого экспорта зерна, упомянутого выше в контексте восстания 10 августа 1792 г. В ходе одного из этих волнений крестьяне соседних коммун убили богатого кожевника из Этампа в округе Бос. Этот случай взбудоражил всю Францию; похороны превратились в национальное событие. Однако местный кюре, якобинец Пьер Доливье, не побоялся выступить против волны общего сочувствия.

В мае 1792 г. он представил в Законодательное собрание петицию, где убитый описывался алчным богачом, выдвигалось предположение, что он спекулировал зерном и сполна заслужил свою участь. На этом этапе Доливье уже не только говорил о контроле над ценами от лица голодающих бедняков, но также атаковал право на собственность как таковое: «Народ — единственный подлинный хозяин своей земли»²⁹. Матье справедливо указывает на архаический элемент в позиции Доливье. Людовик XIV называл себя господином собственности своих вассалов. Теперь народ занял место короля. Но у Доливье есть также мысль, которая поражает сегодняшнего читателя своей современностью: государство обязано следить за тем, чтобы беднейшая часть населения не голодала, и эта обязанность ставится выше личных прав и пользы собственности.

Оправдав насильственный поступок разгневанных крестьян и раскривая частную собственность, Доливье шокировал собрание. Однако Робеспьер выступил в поддержку кюре, что контрастирует с его последующим поведением во время террора. Он атаковал весь класс алчной буржуазии, видевшей в революции лишь средство для победы над знатью и клиром и защищавшей богатство так же жестко, как высшие классы отстаивали права рождения³⁰. Итак, идеи крайних радикалов не были совершенно чуждыми взглядам мелких собственников, выраженным Робеспьером.

После штурма Тюильри подобные идеи возникли в других частях Франции, что сопровождалось отдельными безуспешными попытками осуществить их на практике. Еще один кюре говорил своим прихожанам: «Имущество будет общим, будет один погреб, один амбар, откуда каждый берет все, что ему необходимо». Он наставлял свою паству организовывать общие запасы, из которых они смогут брать по мере необходимости и таким образом покончить с деньгами. В этой связи мы долж-

²⁹ «La nation seule est veritablement proprietaire de son terrain». Цит. по: [Mathiez, 1927, p. 73].

³⁰ О Доливье см.: [Ibid.] про убийство — p. 66 и про самого Доливье — p. 72–76.

ны помнить, что инфляция уже взвинтила цены и что часть крестьянства потребляла больше еды, чем производила на своей собственности. Безземельные были, конечно, совершенно без средств к существованию. В другом случае один житель Лиона, на этот раз горожанин, разработал и опубликовал подробную систему национализации предметов первой необходимости. Государство должно было скупать урожай по фиксированной цене; затем для защиты крестьян от колебания цен на рынке хранить урожай в *greniers d'abondance*; а кроме того, распределять хлеб по фиксированной цене. Эта идея напоминает концепцию «всегда нормальной житницы» более поздних времен, хотя концепция стала ответом на избыточное производство, а не на дефицит продукции.

Еще один памфлет был намного более религиозным, обрушившим на надменного богача гнев Иеговы и взывавшим к «la loi des Francs... AGRAIRE!». Подобно английским радикалам в эпоху Пуританской революции, автор памфлета оглядывался на мифическое прошлое и пытался доказать, что галлы и германцы ежегодно заново распределяли свою землю [Mathiez, 1927, p. 90–94]³¹.

Некоторые темы, как легко видеть, воспроизводятся во всех радикальных аграрных протестах. Их целью было либо полное уничтожение частной собственности, либо ее строгое ограничение по эгалитарным нормам. Кроме того, они предлагали меры для обхода рыночных отношений, например складские запасы и свободное распределение продукции на местном уровне или более совершенные *greniers d'abondance*. Горожане были, вероятно, более склонны к показательному использованию гильотины для получения жизненно необходимого из рук жадных и упрямых богачей [Ibid., p. 91–92]. В этом причина последующих разделений. Здесь достаточно заметить, что аграрный радикализм был совершенно очевидным ответом не только на кризисную ситуацию этой поры, но и на вторжение капитализма в деревенскую жизнь.

В целом эти идеи были направлены против тех, кто разбогател на торговле: необходимое для людей, как казалось, было слишком дорого и недоступно. Крестьянская беднота и даже те, кто побогаче, согласились бы по этим простым позициям с санкюлотами. Как только интересы этих групп разошлись, радикальная революция подпитывала костер революции в интересах частной собственности и прав человека. Также буржуазная революция нуждалась в помощи радикальной революции, как мы уже видели в связи с событиями 14 июля и 4 августа 1789 г. До

³¹ Авторские цитаты из Цезаря и Тацита показывают, что он едва ли был крестьянского происхождения. Но также очевидно, что господствующие среди крестьян уравнилельные практики (такие, как *vaine pâture*) и атаки на них должны были стимулировать поиски легитимации в исторических прецедентах.

некоторого момента обе революции — а на деле слияние нескольких малых течений в два больших и легко распознаваемых потока — могли сотрудничать и поддерживать друг друга. Но эти два направления были фундаментально несовместимы из-за взаимоисключающих позиций по вопросу о собственности: несовместимость взглядов тех, кто имеет собственность, и тех, кто ее не имеет³². Когда радикальное течение разделилось и владельцы собственности больше не нуждались в союзнике, революция затормозилась. Итоговое слияние и расхождение радикалов и собственников — это процесс, который необходимо проанализировать на третьем этапе.

Последний радикальный натиск, подобно предшествующим, начался с народного восстания в Париже в конце мая 1793 г. Вновь это был карательный ответ на реальную угрозу. В марте генерал Дюмуре совершил предательство после того, как потерпел поражение от австрийцев. Он заключил с ними перемирие для похода на Париж, чтобы посадить на трон Людовика XVII и восстановить Конституцию 1791 г. [Lefebvre, 1957, p. 334]. Роялистский мятеж разгорался в Вандее. Марсель пал жертвой противников санкюлотов, а Лион, где вспыхнуло восстание против якобинцев, вышел из-под контроля революционеров [Ibid., p. 340]. Само майское восстание было прекрасно спланированным предприятием, «самым организованным *journée* за время революции», которое позволило радикальной фракции буржуазии, ведомой Робеспьером, одержать победу над жирондой [Ibid., p. 340–341].

Между тем радикализм парижской бедноты начал обретать отчетливое выражение примерно в то же время, когда в деревне стали проявляться разобщенные очаги аграрного радикализма. Политика жирондистов, позволивших естественному балансу спроса и предложения диктовать цены в разгар войны и революции, сплотила мелких ремесленников, наемных и квалифицированных рабочих, а также пестрые подвижные группы парижского населения — одним словом, санкюлотов — в условиях всеобщей нищеты. Инфляция имела ужасные последствия; ее ито-

³² Мне кажется заблуждением называть санкюлотов на этом этапе Французской революции пролетариатом или хотя бы протопролетариатом, как это делает Герен [Guérin, 1946]. Весь радикальный натиск исходил от ряда страт, которые были вытеснены с исторической арены, что характерно для современных революций, как я надеюсь показать в свое время. Герена можно критиковать за его ошибочное использование понятий, однако его критики не пытаются заменить их более приемлемой интерпретацией. Я нахожу подобную критику малодушной и хотел бы публично признать свой долг перед Гереном. Без его книги, как, конечно же, и без книги Матье [Mathiez, 1927], я никогда бы не написал этих страниц.

II. Эволюция и революция во Франции

гом стало перекладывание военных расходов на плечи бедноты³³. К январю 1793 г. даже вожди жиронды были вынуждены признать, что цены на пшеницу не смогут снизиться сами по себе [Mathiez, 1927, p. 113].

Такой была ситуация, когда Жак Ру и «бешеные», *enragés*, привлекли к себе внимание в Париже. Их взгляды были ничуть не сложнее идей аграрных радикалов, рассмотренных выше, и сводились к двум положениям: 1) свобода торговли сыграла на руку спекулянтам и причинила сильные страдания бедноте; 2) для прекращения спекуляции необходимо применить силу. Значительную роль также играл ретроспективный взгляд. Однажды в июне 1793 г. Жак Ру противопоставил с трибуны Конвента легкость существования при старом режиме несчастьям, обрушившимся на людей после революции, которая якобы совершилась по их воле. Он даже открыто пожалел о тех днях, когда патерналистская власть защищала бедняков от необходимости платить втридорога за все жизненно необходимое. Дальше этого программа Ру, если ее допустить так называть, не шла. Но даже это было наступлением на права собственности и легитимность самой революции и, разумеется, требовало мужества³⁴.

Таким образом, как крестьянских, так и городских радикалов в этот момент объединяла общая враждебность к богачам, наживавшимся на революции и нерегулируемой торговле. Еще одним свидетельством того, что и городской, и деревенский радикализм искали консолидирующие цели, являются значимые подробности, сообщенные Матье о восстании 31 мая 1793 г. За несколько месяцев до этого делегаты-федераты, *fédérés*, из 83 департаментов собрались в Париже. Хотя вожди жирондистов надеялись использовать эту группу для борьбы против Парижской коммуны и монтаньяров, делегаты попали под влияние «бешеных» [Ibid., p. 120–121]. То, что провинциалы, на которых рассчитывали жирондисты, прониклись такими идеями, указывает на общую силу антикапиталистического радикализма в этот момент.

Вероятно, по этой причине монтаньяры вскоре после восстания 31 мая 1793 г. сочли необходимым сделать важные уступки крестьянству. 3 июня был принят декрет о продаже собственности эмигрантов небольшими частями, подлежащими оплате в течение 10 лет; неизвестно, вошло ли в силу постановление от 10 июня о добровольном разделе общинной земли среди жителей; наконец, 17 июля объявлена безвозмездная отме-

³³ Как указал Матье [Mathiez, 1927, p. 613], из-за инфляции ассигнатов маленькие люди в не меньшей степени несли финансовое бремя революции, чем священники и эмигранты.

³⁴ Обширные цитаты из Ру см.: [Ibid., p. 212, 218]. Более подробный анализ социального состава и чаяний санкюлотов см.: [Soboul, 1968, pt. 2].

на всех оставшихся прав сеньора [Lefebvre, 1957, p. 344; Cobban, 1964, p. 117]. Если резюмировать значение восстания и сопровождавших его событий, то буржуазная революция под радикальным натиском повернула влево и была вынуждена избавиться от умеренных (что выразилось в драме с арестом 31 депутата-жирондиста 2 июня), тогда как городские радикалы и крестьяне все еще шагали вместе, пусть даже неровными рядами.

Народное возмущение сделало возможным героический и отчаянный период революции, царство террора и так называемую диктатуру Комитета общественного спасения, рождение новой армии, изгнание сплотившихся против Франции союзников по ту сторону Рейна, поражение контрреволюции в Вандее. На самом деле, конечно, диктатура Комитета общественного спасения была неумелым и примитивным делом по меркам XX в. Технические возможности коммуникации и транспортировки не позволяли ввести централизованный контроль экономики. Не было попытки ввести по стране минимальные нормы питания для народа [Lefebvre, 1959, p. 647]³⁵. Неудача с обеспечением продуктового рациона была одной из главных причин, почему городские санкюлоты в итоге не остались на стороне Робеспьера. В деревне ключевыми проблемами были, во-первых, поставка зерна в армию, затем — в Париж и крупные города и, наконец, обеспечение транспортировки зерна из областей с хорошим урожаем в области, где зерна не хватало. Последняя задача указывала на возобновление в новых революционных условиях проблемы, которая долгое время доставляла трудности при старом порядке. Для разрешения этой серии проблем революционное правительство прибегало к реквизициям и ценовому контролю. Во многих случаях реквизиции просто предполагали поставки в соседние департаменты или в действующую в окрестностях армию [Mathiez, 1927, p. 479]. Конфликты юрисдикций постоянно создавали напряжение в сложной административной системе. Очень часто представители Комитета общественного спасения вопреки целям Парижа и революции вставляли на сторону локальных интересов [Ibid., p. 464–470, 477]. Но несмотря на сильное сопротивление и путаницу, система работала: продовольствие доставляли в города и в армию, что спасло революцию и предотвратило голод. Патриотическая и революционная необходимость преодолела теоретическую щепетильность вождей, с энтузиазмом выступавших за экономический либерализм [Ibid., p. 483–484].

Несмотря на такие взгляды, давление необходимости привело к нескольким редким экспериментам в социалистическом направлении,

³⁵ Превосходный общий обзор комитетской программы контроля см.: [Mathiez, 1927, pt. 3, ch. 3].

которые стали важными предшественниками коллективных хозяйств XX в. Предлагалось превратить большие имения, конфискованные у эмигрантов, в государственные фермы или разного рода общинные предприятия, чтобы накормить города [Mathiez, 1927, p. 423–425, 436]. В рамках декрета о народном ополчении, *levée en masse*, принятого 23 августа 1793 г., правительство попыталось заставить владельцев конфискованных земель поставлять продовольствие в государственные хранилища, *greniers d'abondance*, реализуя таким образом, пусть даже ненамеренно, одну из ключевых идей аграрного радикализма. Однако эта попытка провалилась [Ibid., p. 462, 464].

Обеспеченные крестьяне, производившие продовольственных товаров существенно больше своих потребностей, особенно чувствительно относились к контролю Комитета общественного спасения и были главной силой сопротивления. Хотя уже антицерковные законы 1790 г. (когда была установлена гражданская конституция духовенства) вызвали недовольство у некоторых крестьян, именно чрезвычайные меры 1793–1794 гг., касавшиеся продовольственных поставок, обратили большинство крестьян против революции. Будучи производителями продукции, крестьяне старались обойти систему ценового контроля. Сделать это было сравнительно просто; несмотря на борьбу с подпольной торговлей, риск был незначительным. Уже больше не существовало старорежимных средств для принуждения крестьян к продаже своей продукции на рынке³⁶. Реагируя на крестьянские уловки и свои собственные насущные потребности, правительство закрутило гайки. В начале реквизиций крестьянам разрешали оставлять себе достаточно зерна для питания семьи и посева, — гибкая норма, которую крестьяне увеличивали насколько можно. Вскоре, 25 брюмера (15 ноября 1793 г.), Конвент отменил *réserve familiale*³⁷. В деревнях усилия правительства по поиску зерна и принуждению к его продаже по легальным каналам и установленным ценам, подкрепляемые угрозой казни и, вероятно, открытыми мерами против священников, вряд ли воспринимались как временные военные обстоятельства. Радикальная фаза революции во многих местах была откровенной атакой на зажиточных крестьян, даже если все происходило

³⁶ См.: [Lefebvre, 1959, p. 648, 671]. Хотя информация Лефевра относится лишь к Северу, по всей видимости, такие же условия господствовали почти везде.

³⁷ См.: [Mathiez, 1927, p. 471]. Здесь и в других местах даты в парантезе, одна по григорианскому, другая по революционному календарю, являются результатом моих вычислений по удобной таблице, см.: [Soboul, 1968, p. 1159–1160]. У историков революции есть досадная привычка указывать только число без указания года, и, когда они делают так, прибегают к революционному календарю, возникает немалый шанс ошибиться.

кратковременно и бессистемно [Lefebvre, 1959, p. 846–847]. Возможно, самое худшее, агентами власти в деревне выступали горожане и «аутсайдеры» — порою даже более жестокие, чем чиновники и сборщики податей при монархии, — нередко при поддержке революционной армии. В кульминационный момент «народного террора», т.е. после введения единого максимума цен, *maximum général*, 15 сентября 1793 г. и до казни Эбера вместе с другими вождями санкюлотов 24 марта 1794 г., правительство разрешало формировать революционные «армии», целью которых скорее была добыча зерна, чем война с врагами³⁸.

Очевидный и решающий факт радикальной фазы состоит в следующем: городские санкюлоты смогли заставить якобинских вождей практиковать политику, которая спасла революцию, но только ценой разрыва крестьян с революцией. Радикальная фаза, возможно, зашла бы еще дальше, если бы правительство в Париже могло рассчитывать на борьбу масс крестьянской бедноты против зажиточных крестьян. Но ограниченные возможности правительства и его готовность к силовому контролю над ценами помешали возникновению этого конфликта. Растущие цены ложились бременем на хозяев небольших наделов, которым нечего было продавать, и на сельскохозяйственных рабочих, которым приходилось частично покупать продукты. Эти группы сильнее всего страдали от нарушения максимума цен. Согласно подробным и тщательным исследованиям Лефевра о положении на севере страны, некоторое время их ситуация оставалась сносной, поскольку цена на хлеб росла медленнее, чем оплата труда. Лефевр полагает, что к концу 1793 г. эти группы были в худшем положении, чем городские жители [Ibid., p. 651–652, 673, 678, 702]. В той мере, в какой эти условия превалировали в других сельских областях, они делали радикально настроенных крестьян враждебными к революции и устраняли причину крестьянского радикализма.

Теми мерами, которые было предложено принять в марте 1794 г. перед самой казнью вождей санкюлотов, Робеспьер и Сен-Жюст, кажется, продемонстрировали свое понимание того, что им требуется добиться поддержки правительства с помощью уступок крестьянской бедноте. До сих пор дискутируется вопрос о том, были ли внесенные ими в это время предложения, известные как вантозские декреты [Lefebvre, 1954b, p. 1–3, 43–45], не более чем политическим маневром. Этот эпизод демонстрирует, что Робеспьер и Сен-Жюст знали очень мало о проблемах сельского

³⁸ См.: [Guérin, 1946, vol. 1, p. 166–168, 189–191]. Согласно Р. Коббу [Cobb, 1961–1963, vol. 2., p. 403], сопротивление было самым сильным в областях, богатых зерном. В других местностях армию нередко приветствовали как справедливого судью, несущего возмездие спекулянтам, богатым торговцам и фермерам. Однако основные сведения Кобба относятся к народной реакции в малых городах, а не среди самих крестьян.

II. Эволюция и революция во Франции

населения и что их предложения совершенно не соответствовали требованиям крестьян, выраженным в петициях, общее содержание которых должно было быть известным вождям революции [Lefebvre, 1954b, p. 57, 129]. Даже если они захотели бы сделать больше, у них было бы очень немного пространства для маневра. Земли, конфискованные у эмигрантов, не могли в достаточной мере обеспечить нужды бедноты. Раздел доступной земли и предоставление наделов на необременительных условиях массам мелких собственников и безземельных крестьян еще больше снизили бы стоимость assignat [Lefebvre, 1954b, p. 55; 1959, p. 915]. Было очень трудно, даже невозможно удовлетворить очевидные желания крестьянской бедноты, не застопорив при этом буржуазную капиталистическую революцию. Даже такие довольно умеренные предложения натолкнулись на сильную оппозицию в Конвенте и в самом Комитете общественного спасения, в результате из этого ничего не вышло.

Таким образом, во время радикальной фазы революции потребности и желания городских санкюлотов вступили в прямой и открытый конфликт с чаяниями всех групп деревенского населения. Главным симптомом было ослабление торговли между городом и деревней, особенно сокращение поставок продовольствия в город (эта же проблема оказала огромное влияние на ход и последствия русской революции). Зимой 1793–1794 гг. экономическое положение парижских санкюлотов резко ухудшилось, поскольку крестьяне, возмущенные вылазками санкюлотских организаций в деревню, поставляли все меньше продовольствия [Lefebvre, 1957, p. 373–374; Soboul, 1968, p. 1029]. Правительственное расследование во время суда над Эбером показало, что крестьяне больше не привозят продовольствие в Париж, потому что в деревню едут люди, скупающие его по ценам выше установленных. Очевидно, что этот выход из положения был доступен лишь тем парижанам, у которых были деньги. Крестьяне, со своей стороны, сетовали, что им незачем ехать в Париж, поскольку там у них нет возможности выручить столько, сколько нужно [Mathiez, 1927, p. 557]. И эта ситуация не ограничивалась Парижем. В других частях Франции города отгораживали себя от чужаков, а деревенские торговцы убеждались в том, что им не под силу достать все необходимое [Lefebvre, 1959, p. 652, 672].

Марксистские историки объясняют неудачу радикальной революции и трагическое падение Робеспьера тем, что буржуазная революция не могла выполнить требования парижских санкюлотов (см.: [Guérin, 1946, vol. 2, ch. 14] и более конкретно и проникательно: [Soboul, 1968, p. 1025–1035]). Хотя отчасти это объяснение проливает свет, оно кажется мне метафизическим и односторонним. Верно, что санкюлоты не встали на защиту Робеспьера и что сам Робеспьер не искал по-настоящему их помощи во время кризиса, хотя другие пытались их воодушевить. Недовольство

санкюлотов было достаточно очевидной причиной падения Робеспьера. Он лишился поддержки масс. Но почему это произошло? Рассуждение о конфликте между буржуазной революцией и более радикальным движением только запутывает вопрос. Робеспьер и Комитет общественного спасения показали себя вполне готовыми выйти далеко за пределы революции во имя частной собственности. Проблема была в том, что эта политика, доказавшая свою эффективность в обеспечении военной победы, привела деревню к прямому конфликту с городской беднотой, причем таким образом, что это скорее усилило, чем облегчило нужду городского населения.

На деле революционный порыв санкюлотов не рассеялся после казни Робеспьера. После Термидора и демонтажа остатков экономического контроля материальное положение парижской бедноты только ухудшилось. Беднота ответила беспорядками весной 1795 г., возможно даже более насильственными, чем великие революционные дни — 14 июля 1789 г., 10 августа 1792 г. и 31 мая 1793 г. Толпа захватила зал Конвента, убила одного депутата и водрузила его голову на пику [Guérin, 1946, vol. 2, p. 330–331]. Но эта революционная народная лихорадка не принесла результатов. Деревня отказалась поддержать Париж. А революционное правительство не имело причин делать уступки радикалам. Король был устранен, аристократия, по всей видимости, тоже, а революционные армии побеждали на границах. Поэтому силы порядка и собственности могли использовать и использовали армию (которая была здесь впервые брошена против народного восстания), чтобы положить конец мощному выступлению санкюлотов [Ibid., p. 331–338; Lefebvre, 1957, p. 426–428]. Последующие репрессии стали началом белого террора. Неважно, насколько радикальным был город, он не мог ничего сделать без помощи крестьян. Радикальная революция окончилась.

6. КРЕСТЬЯНСТВО ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИИ: ВАНДЕЯ

Перед рассмотрением главных последствий радикального революционного порыва будет полезно кратко остановиться для анализа насильственного сопротивления крестьян в знаменитой контрреволюции в Вандее. Она некоторое время тлела под поверхностью, но в марте 1793 г. переросла в открытую войну, с перерывами продлившуюся до 1796 г. Слабые подражания этому восстанию проявлялись в последующих политических кризисах, связанных с падением Наполеона в 1815 г. и с плохо организованным восстанием легитимистов в 1832 г. Контрреволюция в Вандее — особенно острая тема сегодня, поскольку это единственное большое крестьянское восстание, направленное против тех, кого можно назвать левыми. Мятежники сражались под лозунгами «Да здравствует

король и наши добрые святые отцы! Нам нужен король, священники и старый порядок!» [Tilly, 1964, p. 317]. Возможно, имеет значение, что в эти спонтанные моменты они забывали также потребовать возвращения дворян, хотя у крестьян были вожаки из аристократов. Взглянув чуть глубже, мы видим, что парадокс консервативной крестьянской революции вполне разрешим. Главная цель контрреволюции была антикапиталистической, она была направлена против торговцев и фабрикантов из соседних городов, а также встречавшихся в центре самой Вандеи. В своем насильственном отрицании капиталистического вторжения контрреволюция в Вандее напоминает великие крестьянские выступления, которые стали главной народной силой, сломавшей старые режимы в России и Китае накануне коммунистических триумфов в XX в.

Естественно, во Франции до возникновения марксистского антикапиталистического движения были свои особенности. Как мы только что видели, антикапитализм был мощной силой во французской деревне. Какие факторы подтолкнули ее к тому, чтобы раскрыться здесь в форме настоящей контрреволюции?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, два исследователя интенсивно изучали, каким образом французское общество в Вандее отличалось от соседних областей, примкнувших к основному течению революции [Tilly, 1964; Bois, 1960]³⁹. Эти исследователи очень убедительно установили, что различия существовали. В контрреволюционную область не проникло коммерческое сельское хозяйство. Крестьяне жили не в деревнях, окруженных открытыми полями, разделенными на характерные полосы, но на изолированных частных фермах или на изолированных хуторах, обрабатывая надел земли, окруженный оградой. Сельскохозяйственные технологии были отсталыми. Большей частью земли в регионе владели дворяне, предпочитавшие жить в другом месте. В прилегающих «патриотичных» и революционных областях коммерческие влияния были сильными, но они превалировали на фоне древней системы с кластерами деревенок и открытыми полями. Дворяне были менее влиятельны, но более многочисленны.

Информация, ставшая ныне доступной, позволяет нарисовать достаточно полный портрет вандейского общества и указать его отличия от соседних областей, лояльных революции. Но дают ли ответ на наш вопрос эти различия в социальной структуре? У меня есть серьезные сомнения на этот счет. Различия имели бы значение, если бы источники показали, что в их отношениях между собой содержался внутрен-

³⁹ Книга Ч. Тилли фокусируется на различиях между контрреволюционными и патриотическими областями на юге Анжу; книга П. Буа — на соответствующих различиях в департаменте Сарта. Обе представляют собой сочетание исторического и социологического подхода.

ний конфликт. Например, если бы были свидетельства, указывающие, что более коммерчески развитые области нуждались в постоянно возрастающих площадях земли и поэтому они посягали на часть Вандеи, было бы просто поверить, что рано или поздно это привело бы к весьма серьезной борьбе. Но те, кто исследовал проблему, не пытались по-настоящему выдвинуть такого рода аргумент. Источники показывают только наличие особенностей и факт конфликта. Связь между ними, отношение между специфическими формами общества и политическим фактом контрреволюционного взрыва, непонятна, по крайней мере для меня⁴⁰. В следующей главе мы столкнемся со сходной проблемой еще большего размаха, когда постараемся установить связь между рабством на плантациях и промышленным капитализмом в американской Гражданской войне. Сами по себе социальные и экономические различия никогда не объясняют конфликт.

В случае Вандеи общие соображения с готовностью предлагают два возможных отношения между социальными тенденциями в этой области и контрреволюционным восстанием. Естественно предположить, что давление аристократии на крестьянство было существенно меньшим в этой части Франции. Также можно предположить, что развитие торговли и производства либо в самой Вандее, либо в соседних областях, которые могли как-то на нее посягнуть, постепенно происходило в этом контексте таким образом, что это сделало горожан особенно жестокими и агрессивными к подчиненному населению. Ни одна из этих гипотез не находит достаточного подкрепления в свидетельствах. На самом деле свидетельства в основном указывают на нечто прямо противоположное.

Поскольку все источники подчеркивают изоляцию Вандеи, ее отделенность и недоступность для главных сил французской модернизации, монархии и коммерческих течений, идея о коммерческом проникновении и последующем социальном недовольстве быстро покажется безнадёжной. Конечно, в городах центра Вандеи встречалась текстильная промышленность, поставлявшая тонкое белье на рынки за пределами

⁴⁰ Буа в книге 3 [Bois, 1960] пытается более явно, чем Тилли, связать социальные различия с политическим поведением. Тем не менее остается загадкой, какие именно политические последствия произошли из «социальной индивидуальности крестьянства». Здесь и в других местах у меня нет намерения прибегнуть к дешевому трюку и просто показать логические неувязки в результатах работы добросовестных исследователей. Реальное использование результатов работы других ученых (в отличие от их простого резюмирования и воспроизведения) раньше или позже заставляет ставить вопросы, которые выходят за пределы предложенных ими явных ответов. Но именно их упорный труд позволяет выявить такого рода вопросы.

области. В годы, предшествовавшие 1789 г., в производстве текстиля была жестокая депрессия, причинившая большой урон ткачам. По некоторым признакам можно предположить, что ткачи после этого стали ревностно выступать против капитализма. Однако свидетельства о ткачах двусмысленные и противоречивые [Tilly, 1964, p. 136–137, 219–224; Bois, 1960, p. 620–621]. Более того, их связь с крестьянством, народной массой была весьма призрачной. В отличие от других регионов Франции вандейские крестьяне не занимались ремеслом ради дополнительного заработка. Все были либо крестьянами, либо ткачами. В общем, коммерческая экономика, если таковая была, существовала наряду с деревенской, практически не вступая с ней в контакт. Утверждение о буржуазной эксплуатации деревни в этой области совершенно искажает картину, которую рисуют источники. Самое большее здесь было некоторое число приобретений земли преуспевающими буржуазными семьями из городов. В отдельных частях Вандеи такие приобретения были значительными [Tilly, 1964, p. 54, 55, 71, 81, 144; Bois, 1960, p. 628–629]. Но в то же время этот процесс продолжался во многих регионах Франции, не порождая контрреволюции. Все сведения об отношениях между горожанами и крестьянами накануне революции в целом дают очень мало информации, которая способна объяснить кровавые события 1793 г. То, что случилось после этого, совсем другая история.

Давление сеньориального порядка на крестьян еще труднее оценить. В этой части Франции, в центре контрреволюции, дворяне владели львиной долей земли, около 60% [Tilly, 1964, p. 74–75]. Большинство дворян жили вне своих владений. Современные исследования разрушили гипотезу о том, что крестьян заставила поднять знамя контрреволюции лояльность к аристократам, которые жили среди них и делили с ними деревенскую жизнь [Ibid., p. 77, 119–120]. Доходы дворян поступали от сдачи в аренду земли крестьянам. Многие дворяне нанимали на постоянную службу посредников-буржуа. (Вряд ли эта ситуация могла стать причиной особенно ожесточенной вражды к буржуазии, поскольку так было во многих других регионах Франции.) Неясно, поднялись ли арендные ставки в последние годы старого режима. Хотя отсутствовавшие дворяне, как говорят, в основном заботились о фиксированной ренте, трудно понять, почему они должны были меньше стремиться к демонстративному потреблению, чем другие. Есть также некоторые признаки сеньориальной реакции и ее общего ужесточения к концу рассматриваемого периода [Ibid., p. 122–123, 125, 131].

Одно из свидетельств, возможно, указывает, что бремя было легче: в *sahiers* 1789 г. контрреволюционные области меньше своих соседей выражали требования по строго «феодалным» вопросам. Однако, как точно заметил Чарльз Тилли, это всего лишь значит, что группы, критически

настроенные по отношению к дворянским привилегиям, играли малую роль в общественных дискуссиях, по результатам которых составлялись *sahiers*. Другими словами, критики не пожелали высказывать свое мнение перед лицом господина и его слуг. Более того, критика распространялась на многое, но и по другим, тесно связанным со старым режимом аспектам *sahiers* не удалось показать сколько-нибудь отличительный недостаток локальных недовольств. Упоминаются почти все стандартные требования [Tilly, 1964, p. 177–183]. Пока еще почти ничто не позволяет предположить, что аграрные отношения в контрреволюционных областях были благоприятнее для крестьян, по крайней мере в смысле строго экономического бремени. Как мы отметили выше, одно главное различие, нередко подчеркивавшееся прежними исследователями, — проживание дворянства среди крестьян и, как следствие, сближение их взглядов — оказалось мифом. Тем не менее один аспект аграрных отношений достаточно отличал контрреволюционные области, чтобы претендовать на объяснение важной части проблемы.

Если в соседних патриотических областях крестьяне жили в больших деревнях и обрабатывали открытые поля, разделенные на полосы, то центром контрреволюционной территории была земля, подвергшаяся огораживанию. Когда и почему произошли огораживания, не говорится в литературе, которую я изучил, хотя понятно, что система отдельных ферм была частью установленного порядка, об истоках которого уже позабыли ко времени революции. Крестьяне арендовали у дворян фермы размером от 20 до 40 гектаров, достаточно большие по французским меркам, хотя встречались участки меньшей площади. В основном растили рожь для пропитания. Срок аренды составлял пять, семь или девять лет. Хотя крупные фермеры, вероятно определявшие политические настроения в деревне, были не владельцами, но арендаторами земли, они без труда продляли договор. Нередко в одной семье несколько поколений обрабатывали один и тот же участок земли [Ibid., p. 67–68, 114–115, 121, 125].

По моему предположению, политическое значение этого факта в том, что преуспевающие крестьяне в областях, перешедших на сторону контрреволюции, уже воспользовались главными преимуществами частной собственности на землю. Им не нужно было подчиняться коллективному решению всей деревни о сроках пахоты, посева, уборки урожая и выпаса скота на полях в конце страды. Эти решения фермер, держатель земли, мог принять сам. А после успешной аренды он мог передать эту землю младшему поколению. Упрямый индивидуализм и независимость вандейских крестьян, вероятно, не просто литературный стереотип, поскольку у них сильные корни в сельском социальном порядке, для которого были характерны частная собственность на землю

и большая обособленность крестьянских домов. Обычно соседи подолгу не встречались между собой [Bois, 1960, p. 610–617]. Если бы революционная волна, выражавшая интересы частных собственников, докатилась до этих крестьян, отменив арендную плату, резонно предположить, что они приветствовали бы ее. Но чего еще они могли бы ожидать от такой революции? Важно заметить, что их не окружали безземельные аграрные рабочие, полупролетарии, которые способствовали полевению революции после ее начала [Tilly, 1964, p. 79]. Но чего же можно ожидать, если революция не отменила аренду, а установила более высокие налоги для крестьян, чем было при старом режиме? Что если революция способствовала агрессивному захвату земель буржуазией? Наконец, что если революция превратилась в полномасштабную атаку на крестьянскую общину?

Все перечисленное *действительно* произошло.

Арендная плата была «буржуазной» формой собственности, ее продолжали взимать вплоть до начала контрреволюции, а возможно, и позже. После падения стоимости assignat лендлорды собирали арендную плату в натуральной форме, тем самым, вероятно, увеличив ее. Отмена более суровых «феодальных» обязательств не помогла крестьянам. После отмены церковной десятины лендлорды просто подняли арендную плату на соответствующую долю [Bois, 1960, p. 628, 633; Tilly, 1964, p. 201]. Революционное правительство взыскивало намного более высокие налоги, чем старый режим. В теории налоговое бремя должны были принять на себя лендлорды, но на практике они переложили его на своих арендаторов [Bois, 1960, p. 632–633]. Впрочем, вряд ли налоговая политика революции сыграла решающую роль, ведь то же самое происходило в других регионах Франции. В специфических условиях Вандеи самым главным стала атака на духовенство, поскольку она составляла часть общего наступления: одновременно экономического, политического и социального.

Одним из этапов этого наступления была насильственная реорганизация местного правительства в Вандее в 1790 г. Она осуществлялась для того, чтобы учредить пост нового выборного чиновника, мэра, в качестве представителя местного сообщества, коммуны. Во многих случаях жители ясно давали понять свое отношение, выбирая мэром кюре. Кюре был «естественным» лидером в Вандее, поскольку он находился в центре сравнительно небольшого числа сетей кооперации, которые существовали в этом обществе изолированных фермерских домов и обособленных деревень. Религиозные дела были в Вандее самыми важными поводами для общения крестьян — и это резко отличало ее от большинства других деревень, где крестьяне виделись между собой ежедневно. Почти все формальные организации, к которым могли принадлежать

сельские жители, — школа, братство, приходское собрание, благотворительное учреждение и, конечно, сама церковь — были религиозными. Деньгами, которые сеньор давал на благие нужды, распоряжался кюре. По сути, вплоть до ранней стадии революции кюре управлял внутренними делами общины [Tilly, 1964, р. 103–110, 155; Bois, 1960, р. 614–615]. Совершенно неверно апеллировать к особым религиозным чувствам вандейских крестьян, чтобы объяснить, почему они последовали за своими кюре в контрреволюционном движении. Вполне вероятно, что такие чувства здесь были сильнее. Но даже если так, что поддерживало эти чувства, если не то, что кюре играл особую роль в сельском обществе, что он делал то, что по вполне понятным причинам одобрялось большинством крестьян? Атака на кюре поставила под удар связующее звено деревенской жизни.

Основной натиск революции принял форму захвата церковной собственности и требования к священникам принести присягу на верность новому правительству Франции и гражданскому устройству духовенства. В этой части Франции последствия стали ощущаться в 1790 г., т.е. одновременно с атакой на коммуны. Продажа церковной собственности привела к обширному захвату земель буржуазией. Богатые крестьяне пытались приобрести некоторую часть собственности, но потерпели неудачу. Определенное число покупателей были не чужаками, но местными торговцами, нотариусами и чиновниками, ответственными за внедрение общих революционных реформ в свои деревенские общины [Tilly, 1964, р. 232, 206, 211–212; Bois, 1960, р. 650]⁴¹. Хотя захват земли был важен, нет причины считать, что он сыграл решающую роль. Кюре в Вандее, будучи состоятельным человеком, обычно получал доход только с церковной десятины [Tilly, 1964, р. 105]. Поэтому вряд ли заметные доли доступной земли были уведены из-под носа крестьян.

Ключевую роль сыграло требование, чтобы кюре принес присягу на верность революционному правительству, и намерение заменить его чужаком в случае отказа. К присяге в этой области должны были привести в 1791 г. Практически все духовенство в будущих главных центрах контрреволюции не подчинилось, тогда как в соседних патриотических областях отказы возникали менее чем в половине случаев [Ibid., maps, р. 238, 240]. Новые священники, принешие присягу и присланные из центра, вскоре в лучшем случае оказались изолированы среди враждебно настроенного населения, а в худшем — столкнулись с серьезной опасностью для жизни. Тем временем население собиралось на тайные мессы, некоторые из них служили в закрытых и заброшенных церквях,

⁴¹ В области, которую исследовал Буа, аутсайдеры-буржуа одержали победу в борьбе за эту собственность.

но чаще в амбарах и на открытых полях, там, где прихожан не могли заметить местные патриоты.

Тайные службы всегда преисполнены энтузиазма [Ibid., p. 252–257]. Именно здесь происходил разрыв с господствовавшим законным порядком. Единым махом общество, жившее в мире, принятом как данность, целиком перешло в мир контрреволюции. Попытка насильственного воинского призыва в 1793 г. стала всего лишь искрой в и без того взрывной ситуации. И тут мы подошли к концу нашей истории.

В революциях, а также в контрреволюциях и гражданских войнах возникает решающий момент, когда люди внезапно осознают, что они бесповоротно порвали с миром, который знали и принимали всю свою жизнь. В различных классах и людях эта мгновенная вспышка новой пугающей истины происходит в последовательные моменты коллапса господствующей системы. Возникают уникальные моменты и решения — штурм дворца, казнь короля, затем низложение революционного диктатора, — после которых возврат невозможен. Через эти деяния новые преступления становятся основанием новой легальности. Обширные слои населения становятся частью нового социального порядка.

Эти черты были общими для контрреволюции в Вандее и других насильственных социальных выступлений, даже если они были небольшого масштаба, в пределах прихода или коммуны. Что в случае с Вандеей кажется уникальным, так это простота трансформации господствующего социального устройства в деревне из легального и признанного порядка в восстание. В литературе я не нашел признаков распада прежнего общества на скитающихся индивидов и революционные толпы, а также создания новых революционных организаций и новых форм солидарности — процессов, которые коммунистам впоследствии удалось методом проб и ошибок использовать в своих целях. Тем не менее во многих своих чертах контрреволюция в Вандее предвещала то, что случилось, когда капитализм проник в домодерные крестьянские общества. Описание самого конфликта мы можем опустить, поскольку для нашего анализа важно то, что случилось до этого; достаточно сказать, что подавление контрреволюции стало самым кровавым внутривнутриполитическим событием в драме французской революции. Вместо этого мы обратимся к общей оценке революционного террора, в который месть крестьян и месть крестьянам внесла огромный и трагический вклад.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ТЕРРОРА

Опыт террора и в целом Французской революции дал сильный импульс влиятельному течению западной политической мысли, которая отверга-

ет любые формы политического насилия. Сегодня многие образованные люди, похоже, все еще считают террор демоническим выплеском массового насилия, неразборчивого в выборе жертв, а затем и выражением слепой ненависти и экстремизма, даже особой утопической ментальности, лежащей в основе тоталитаризма XX в. Я попытаюсь показать, что эта интерпретация искажена и карикатурна.

Подобно всякой карикатуре, эта концепция содержит некоторые элементы правды, без которых итоговая картина не имела бы узнаваемого сходства с реальностью. Как показывает пример сентябрьских казней, в основном жертвы — несчастные люди, находившиеся в тюрьме, когда толпа пошла на ее штурм, — народное недовольство способно выплескиваться во внезапных актах беспорядочного мщения. Тем не менее беспристрастный анализ не может просто застопориться от ужаса в этой точке; необходимо установить причины такого поведения. С достаточной ясностью их можно увидеть в критической ситуации этого момента и в истории деградации и принуждения, которому подвергались массы людей из низов социальной иерархии. Выразить возмущение сентябрьскими убийствами и забыть ужасы, стоявшие за ними, — значит потерять беспристрастность. В этом смысле здесь нет никакой тайны. Но в то же время она есть. Позднее, перейдя к Индии, мы ясно увидим, что суровые лишения не обязательно всегда вызывают революционные восстания и уж точно не определяют революционную ситуацию. С этой проблемой придется подождать. В настоящий момент мы можем принять, что отчаяние и гнев народа были понятной реакцией на тогдашние обстоятельства.

Для того чтобы террор стал эффективным инструментом политики, т.е. для того, чтобы он приносил значительные политические результаты, народный порыв необходимо было подчинить некоторому рациональному и централизованному контролю. Этот порыв исходил в основном от санкюлотов. С самого начала в призывах к использованию гильотины было нечто большее, чем голое возмущение. Это был протест против рыночных отношений, приведших к невероятному обнищанию людей, и примитивный способ принуждения богатых спекулянтов к тому, чтобы они поделились накопленными богатствами. Хотя ситуация в среде крестьянской бедноты некоторое время напоминала положение городской бедноты, крестьяне не принимали значительного участия в организованном терроре 1793–1794 гг. Крестьянское насилие сыграло решающую роль во Французской революции, особенно в качестве силы, устранившей феодальные практики, но в основном на ранних этапах.

Как оказалось, народный и бюрократический импульсы частично совпали, а частично вступили в противоречие. Существенным событием стало то, что Робеспьер и Монтань, заимствовав большую часть про-

II. Эволюция и революция во Франции

граммы санкюлотов, включая масштабный террор, попытались использовать последний в своих целях и вовремя повернули его против самих народных сил (подробнее см.: [Guérin, 1946]). В целом последствия были рационально предсказуемыми. Подробные исследования показывают, что террор в основном использовался против контрреволюционных сил и отличался наибольшей жестокостью там, где контрреволюция была наиболее сильна⁴². Конечно, встречались исключения и несправедливости. Но террор в своих главных проявлениях не был кровопролитием ради нездорового удовольствия.

Внутри Франции контрреволюционные силы имели две отчетливые географические базы — Вандею и коммерческие и портовые города Лион, Марсель, Тулон и Бордо. Контраст между этими двумя центрами контрреволюции проливает свет на социальный характер самой революции. Вандея была частью Франции, куда меньше всего проникли коммерческие и прогрессивные влияния; южные города — частью, куда они проникли больше всего. В Вандее, как и можно было ожидать, оказалось больше всего жертв террора. Ситуация на юге была почти противоположной, особенно в Лионе, где шелковая промышленность развилась до стадии, на которой место ремесленников занял зарождающийся современный пролетариат. В большей части южной Франции богатые коммерческие элементы в городах показали сильную склонность к сотрудничеству с дворянством и духовенством, которые надеялись использовать жиронду и федералистское движение в качестве отправной точки для реставрации монархии. Когда революция стала более радикальной, в некоторых городах возникло неустойчивое противостояние. Лион, Марсель, Тулон и Бордо попали под контроль богатых элементов, заключивших союз с высшими классами против революции. Возвращение этих городов революционными силами приобрело разные формы, в зависимости от местных обстоятельств и личностей. Оно прошло мирно в Бордо; в Лионе были жестокие сражения, после чего состоялся один из самых кровавых актов террора [Greer, 1935, p. 7, 101–103, 30,

⁴² См.: [Greer, 1935]. Две карты Франции на фронтисписе данного труда позволяют увидеть эту часть истории с поразительной ясностью. Одна показывает регионы контрреволюции и внешней агрессии, причем департаменты ранжируются на ней от регионов, свободных от опасных волнений, до тех, где проходили важнейшие военные операции гражданской войны. Другая показывает количество казней, причем департаменты ранжируются от тех регионов, где было менее десяти, до тех, где было больше сотни. За понятным исключением Парижа, эти карты демонстрируют почти точное совпадение. Связь между контрреволюцией и количеством казней является сильным аргументом против центрального тезиса Грера, что разрыв во французском обществе был перпендикулярным и что террор не был инструментом классовой борьбы (об этом подробнее в Приложении).

36, 120]⁴³. Казни в Вандее и в портовых городах составляли, однако, лишь сравнительно малую часть красного террора в целом. Около 17 тыс. человек было казнено революционными властями. Нам неизвестно, сколько человек умерло в тюрьмах или как-то иначе — они также были реальными жертвами революции. По оценке Доналда Грееера, в общей сложности от 35 до 40 тыс. человек могли потерять жизнь непосредственно в результате революционных репрессий — цифра, которую Лефевр считал вполне обоснованным предположением, хотя и не более чем таковым [Greer, 1935, p. 26–27, 37; Lefebvre, 1957, p. 404–405]. Ни один серьезный мыслитель не станет отрицать, что эта кровавая баня имела свои трагические и несправедливые аспекты. И все же при ее оценке необходимо держать в уме репрессивные стороны социального порядка, который ее спровоцировал. Господствующий социальный порядок всегда порождает трагическую меру бессмысленных смертей год за годом. Было бы интересно подсчитать, если такое вообще возможно, смертность при старом режиме от таких факторов, как голод и несправедливость. Наугад можно сказать, что вряд ли это число будет намного ниже пропорции 0,0016, которую дает оценка Грееера в 40 тыс., разделенная на приблизительное число жителей — около 20 млн, если брать нижнюю оценку, по Греееру [Greer, 1935, p. 109]. Я думаю, оно будет значительно выше. Сами цифры открыты для обсуждения. Заключение, на которое они указывают, в меньшей степени спорно: распространяться об ужасах революционного насилия, игнорируя насилие «нормального» времени, — это предвзятое лицемерие.

Тем не менее читатель, чувствуя нечто бесчеловечное в данных зловещей статистики, в чем-то прав. Даже если эти сравнения безупречны, они не отвечают на самые важные и трудные вопросы. Были ли необходимы революционный террор и кровопролитие? Что именно этим было достигнуто? В завершение можно сделать несколько комментариев по этому поводу.

Радикальная революция была неотъемлемой частью революции в защиту частной собственности и прав человека, поскольку в достаточно существенной мере она была негативной реакцией на буржуазную революцию. Антикапиталистические элементы в революции санкюлотов и протестах беднейших крестьян были реакцией на трудности, порожденные неуклонным распространением капиталистических методов в экономике на последнем этапе существования старого режима и в годы самой революции. Рассматривать радикалов как банду экстремистов, как злокачественный нарост на либеральном буржуазном революционном

⁴³ Выводы автора основываются на ряде ценных местных монографий по экономике и социальной структуре.

движении — значит игнорировать очевидность этого. Одно было невозможно без другого. Также совершенно ясно, что буржуазная революция не сделала бы таких успехов, если бы не давление радикалов. Как мы видели, было несколько случаев, когда консервативная часть движения пыталась остановить революцию.

Подлинная трагедия в том, что им это не удалось, как немедленно укажет демократический противник насилия. Если бы у них получилось (продолжая аргумент в пользу умеренности), если бы Французская революция завершилась своего рода компромиссом, достигнутым английским революционным движением к 1689 г., демократия могла бы постепенно установиться примерно так же, как в Англии, избавив Францию от ненужного кровопролития и последующих переворотов. Даже если этот тезис нельзя проверить, он заслуживает серьезного ответа. Главный аргумент против него был уже дан в подробностях: базовая социальная структура во Франции была фундаментально иной и поэтому исключала такой тип мирной трансформации, который Англия перенесла в XVIII–XIX вв.

Одним словом, очень трудно отрицать, что, если бы Франция вошла в современный мир через дверь демократии, ей все равно пришлось бы пройти через пожар революции, включая ее насильственные и радикальные аспекты. Эта связь кажется мне, во всяком случае, настолько же тесной, как только может установить историческое исследование, хотя, конечно, она будет оспариваться историками, придерживающимися различных убеждений. Любой, кто примет этот вывод, может задать второй законный вопрос: какой видимый вклад в демократические институты внесло все это кровопролитие и насилие?

В случае Французской революции нельзя привести такой же сильный аргумент о вкладе насилия в постепенное развитие демократии, как в случае Пуританской революции. Уже Наполеоновские войны исключают такую возможность. Стоит упомянуть лишь еще один момент: исследователи Франции XX в. указывают на раны, нанесенные революцией, как на главную причину нестабильности французских политических институтов... Тем не менее определенные изменения во французском обществе, произведенные революцией, были в конечном счете благоприятными для развития парламентской демократии.

Революция нанесла смертельную рану всему комплексу взаимосвязанных аристократических привилегий: монархии, земельной аристократии, сеньориальным правам, — комплексу, который конституировал существо старого режима. Она сделала это во имя частной собственности и равенства перед законом. Отрицать, что доминирующее направление и главные последствия революции были буржуазными и капиталистическими, значило бы заниматься тривиальной болтовней. В том, что это

была буржуазная революция, заставляет сомневаться любой довод, из которого следует, что относительно прочная коалиция коммерческих и промышленных интересов достигла достаточной экономической мощи в последней четверти XVIII в., что позволило сбросить феодальные оковы собственными усилиями и таким образом инициировать период индустриальной экспансии. Такого рода рассуждения придают слишком большое значение независимому влиянию этих интересов. То, что конечным результатом всех задействованных сил была победа экономической системы, основанной на частной собственности, и политической системы, основанной на равенстве перед законом, т.е. существенных особенностей западных парламентских демократий, и что революция сыграла ключевую роль в общем развитии событий, — это несомненные истины, несмотря на свою банальность.

Конечно, в период Реставрации король из династии Бурбонов правил еще 15 лет, с 1815 по 1830 г., а старая земельная аристократия на время вернула себе существенную часть утерянной собственности. По оценкам некоторых исследователей, было возвращено до половины земельной собственности, потерянной в ходе революции. Конечно, это была господствующая, а на деле единственная политическая группа во Франции. Это обрекло ее на гибель. Ее неспособность поделиться властью с высшей буржуазией или сделать буржуазию своим союзником, а не врагом стала главной причиной революции 1830 г. С этого момента старая аристократия исчезает с политической арены как единая и эффективная политическая группа, пусть даже в течение продолжительного времени после этого она сохраняла значительный общественный престиж [Lhomme, 1960, p. 17–27].

С позиции тех вопросов, которые поднимаются в этой книге, разрушение политической власти земельной аристократии образует самый значительный процесс, действовавший в ходе французской модернизации. В конечном счете он в большой мере, хотя и не полностью, сводится к реакции французского дворянства на проблемы сельского хозяйства в постепенно коммерциализирующемся обществе. Королевский абсолютизм мог усмирять и контролировать аристократию, испытывавшую трудности в установлении независимой экономической основы. Революция завершила дело Бурбонов, как уже давно заметил Алексис де Токвиль. Следствием стало разрушение одной из необходимых социальных основ правых авторитарных режимов, которые демонстрируют сильную тенденцию к переходу к фашизму под влиянием развитой промышленности. В этой очень широкой перспективе Французская революция кажется частичной заменой или исторической альтернативой развитию коммерческого сельского хозяйства, свободного от доиндустриальных черт. В других крупных странах, где импульс буржуазной

II. Эволюция и революция во Франции

революции оказался слабым либо неполным, последствием стал фашизм или коммунизм. Устранив одну из главных причин такого исхода — сохранение земельной аристократии в современную эпоху, — причем сделав это в конце XVIII в., Французская революция внесла существенный вклад в развитие парламентской демократии во Франции.

Таким образом, в том, что касается земельной аристократии, вклад революции кажется благотворным и даже решающим. Но те же самые процессы, уничтожившие земельную аристократию, приводили к появлению мелкокрестьянской собственности. В этом отношении последствия были намного более неопределенными. Лефевр напоминает нам о том, что продажа земель, конфискованных у церкви и эмигрантов, не была источником собственности крестьян, которая восходит к гораздо более ранней эпохе французской истории. На самом деле в целом главная выгода от продажи земель досталась буржуазии, хотя встречался локально значимый рост крестьянской собственности [Lefebvre, 1954, p. 232, 237, 239, 242]. Одновременно крестьянская аристократия была главным бенефициаром революции. Однако опыт реквизиций, попытка установить потолок для цен на зерно и поощрение, которым пользовались мелкие землевладельцы и сельскохозяйственные рабочие в радикальной фазе революции, решительно настроили верхний слой крестьянства против республики. Неблагоприятные последствия этого сохранялись долгое время [Lefebvre, 1959, p. 911–912, 915–916].

О крестьянской общине XIX и даже XX в. меньше надежной информации, чем о XVIII в.⁴⁴ Тем не менее некоторые обобщения находят широкое подтверждение. Во-первых, влиятельные крестьяне почти не придавали значения демократии как таковой. Они хотели действенных гарантий собственности и социального положения в своей деревне. На практике эти требования означали гарантии против любой серьезной угрозы для собственности, приобретенной через *vente des biens nationaux*, со стороны аристократических сил или любых радикальных идей, связанных с перераспределением собственности. Во-вторых, продолжавшееся наступление капиталистической промышленности обесценивало мелкую крестьянскую собственность, которая находилась в невыгодном положении при поставках продовольствия на рынок. Представители крестьян нередко сетовали, что условия торговли были направлены против них. Вследствие этого комплекса причин крестьянская собственность имела двоякие последствия: она представляла угрозу для крупной собственности — в обеих формах: капиталистической и докапиталистической, ари-

⁴⁴ Последующие обобщения в основном опираются на труды Лефевра, книги [Auge-Laribe, 1950; Hunter, 1938], а также на две познавательные статьи Райта [Wright, 1953a; 1953b]. Актуальные размышления по этому вопросу см.: [Wright, 1964].

стократической, но также служила дополнительной защитой для такой собственности. В XX в. эта двоякость проявляется наиболее резко там, где крестьяне поддерживают Французскую коммунистическую партию.

На самом деле этот парадокс скорее кажущийся, чем реальный. Будучи докапиталистической группой, крестьяне часто демонстрируют сильные антикапиталистические настроения. В ходе исследования я постараюсь показать условия, при которых подобные настроения приобретают реакционную или революционную форму.

8. РЕЗЮМЕ

Центральное положение, которое я способен различить в истоках, ходе и последствиях революции, состоит в том, что насильственное разрушение старого режима было решающим шагом для Франции на долгом пути к демократии. Необходимо подчеркнуть, что этот шаг был решающим для Франции, где препятствия, с которыми сталкивалась демократия, были иными, чем в Англии. Французское общество, вероятно, не могло создать парламент лендлордов с преобладанием буржуазии на английский манер. Предшествующие тенденции во Франции сделали высшие классы врагом либеральной демократии, а не частью демократического движения. Поэтому, чтобы демократия победила во Франции, необходимо было устранить некоторые институты с ее пути. Утверждение подобной связи не подразумевает, что французская история неизбежно вела к либеральной демократии или что революция была в каком-то смысле неотвратима. Напротив, есть основания считать, что весь процесс мог протекать совершенно иначе и именно по этой причине революция внесла настолько решающий вклад.

В условиях королевского абсолютизма высшие классы французских землевладельцев приспособились к постепенному проникновению капитализма, все больше увеличивая поборы с крестьян и в то же время *de facto* предоставляя им землю в собственность. Почти до середины XVIII в. модернизацией французского общества занималась королевская власть. Следствием этого процесса стало сращивание дворянства и буржуазии, весьма отличное от происходившего в Англии. Данный союз произошел под влиянием монархии, а не в противовес ей, что в итоге привело, если прибегнуть к удобному, хотя и не точному обозначению, к «феодализации» значительной части буржуазии, а не наоборот. В конечном счете это серьезно ограничило свободу действий королевской власти, явилось причиной ее неспособности решить, какую нагрузку возложить на определенные части общества. Это ограничение, усиленное слабохарактерностью Людовика XVI, по моему предположению, скорее было главным фактором, приведшим к революции, нежели исключи-

II. Эволюция и революция во Франции

тельно серьезный конфликт интересов различных групп и классов. Если бы не революция, союз дворянства и буржуазии мог бы сохраниться и подтолкнуть Францию к консервативной модернизации сверху, похожей в своих главных чертах на то, что происходило в Германии и Японии.

Но революция предотвратила все это. Революция во Франции была не просто буржуазной революцией в узком смысле захвата политической власти буржуазией, которая уже завоевала командные высоты экономической власти. В рядах буржуазии существовала такая группа, но предшествующая история королевского абсолютизма воспрепятствовала ее росту, достаточно мощному для того, чтобы достичь всего своими силами. Вместо этого представители буржуазии пришли к власти с помощью радикальных движений городского плебса, высвобожденного после коллапса старого порядка и монархии. Эти радикальные силы также помешали революции отступить назад или остановиться на этапе, подходившем буржуазии. Тем временем верхние слои крестьянства воспользовались ситуацией, чтобы провести демонтаж сеньориальной системы — главного достижения революции. На некоторое время деревенские и городские радикалы, объединенные противоречивым набором мелкособственнических и ретроградно коллективистских целей, могли работать вместе, как они делали до и во время самых радикальных фаз революции. Но необходимость добычи продовольствия для городской бедноты и революционные армии вошли в противоречие с интересами более преуспевавших крестьян. Рост сопротивления со стороны крестьян лишил парижских санкюлотов еды, отнял у Робеспьера народную поддержку и положил конец радикальной революции. Санкюлоты сделали буржуазную революцию, но крестьяне определили, как далеко она может зайти. Незавершенность революции, во многом объяснимая структурой французского общества конца XVIII в., означала, что потребуется долгое время, прежде чем во Франции сможет установиться полноценная капиталистическая демократия.

III. Гражданская война в Америке: последняя капиталистическая революция

1. ПЛАНТАЦИЯ И ФАБРИКА: НЕИЗБЕЖНЫЙ КОНФЛИКТ?

Главные отличия между американским путем достижения современной капиталистической демократии и теми направлениями, по которым двигались Англия и Франция, объясняются тем, что в Америке этот процесс начался гораздо позже. Соединенным Штатам не пришлось столкнуться с проблемой демонтажа сложного и хорошо организованного аграрного общества феодальной или бюрократической формы. Коммерческое сельское хозяйство, например табачные плантации в Виргинии, здесь всегда имело большое значение и стало преобладающим сразу после заселения страны. Политическая борьба между докоммерческой земельной аристократией и монархией не являлась частью американской истории. В здешнем обществе никогда не было обширного крестьянского сословия, как в странах Европы и Азии¹. Исходя из этого, можно указать на тот факт, что в американской истории не было революций, сравнимых с революциями в Англии и Франции и тем более в России и Китае XX в. Тем не менее в нашей истории произошло два больших вооруженных противостояния — американская революция и Гражданская война; последняя была на тот момент одним из самых кровопролитных конфликтов. Совершенно очевидно, что оба конфликта значительно повлияли на то, что к середине XX в. Соединенные Штаты приобрели статус ведущей индустриальной капиталистической демократии. Считается, что Гражданская война обозначает точку насильственного разрыва между аграрной и индустриальной эпохами в американской истории. Поэтому в этой главе я рассмотрю ее причины и следствия с позиции того, была ли она насильственным преодолением старого социального порядка, что привело к установлению политиче-

¹ Подобно многим терминам такого рода, понятие «крестьянство» (peasantry) невозможно определить с абсолютной точностью, поскольку различия размываются на краях самой социальной реальности. Предшествующий опыт подчинения высшему классу землевладельцев, признанный и закрепленный в законе, который, однако, не всегда запрещал выход из этого класса, явные культурные отличия и значительный уровень *de facto* владения землей составляют главные отличительные черты крестьянства. Поэтому чернокожие издольщики, работающие сегодня на Юге, могут по праву считаться классом крестьян в современном американском обществе.

ской демократии, и в этом смысле сравнима ли с революциями в Англии и Франции. В более общем плане я рассчитываю показать, принадлежит ли она к генетическому ряду великих исторических сдвигов, за начало которого можно произвольно принять крестьянские войны XVI в. и который продолжился революциями в Англии, Франции и России и достиг кульминации в китайской революции и битвах нашего времени.

Вывод, к которому удастся прийти, преодолев неопределенность, заключается в том, что американская Гражданская война была последним революционным натиском со стороны городской или буржуазной капиталистической демократии. Следует прибавить, что рабство на плантациях Юга не являлось экономической препоной для индустриального капитализма. Скорее наоборот, на ранних этапах оно помогло развитию американской промышленности. Но рабство было препятствием для политической и социальной демократии. В этой интерпретации есть неясности. Те из них, что происходят от характера свидетельств, лучше рассмотреть по ходу анализа. Другие имеют более глубокую основу, и, как я попытаюсь показать в конце этого раздела, никакие новые свидетельства не позволят от них избавиться. Помимо вопросов места и времени, имеющих в распоряжении как читателя, так и автора, есть объективные причины, чтобы вынести за рамки исследования американскую революцию, ограничившись лишь несколькими краткими замечаниями.

Поскольку эта революция не привела к фундаментальным изменениям в структуре общества, есть повод для сомнения в том, что она вообще заслуживает названия революции. В конечном счете это была борьба коммерческих интересов Англии и Америки, хотя более возвышенные причины также сыграли свою роль. Утверждение, что в Америке произошла антиколониальная революция, прекрасно с точки зрения пропаганды, но неубедительно с позиции исторической и социологической науки. Отличительная черта антиколониальных революций XX в. — попытка установить новую форму общества с существенными социалистическими элементами. Устранение иностранного ярма было средством для достижения этой цели. Радикальные течения, участвовавшие в американской революции, по большей части были не способны пробиться на поверхность. Главным результатом стало сплочение колоний в единое политическое образование и отделение этого образования от Англии.

Про американскую революцию периодически повторяют, что она была хорошим примером американской (а порой и англосаксонской) способности к компромиссу и примирению. В этом отношении Гражданская война стала исключением; она оставила кровавый след в истории. Почему так произошло? Почему наша прославленная способность сглаживать

различия подвела нас в этом случае? Для американских историков этот вопрос долгое время обладал мощной притягательностью, сравнимой с интересом Блаженного Августина к проблеме зла или к падению Рима. В основе большей части дискуссии лежал сомнительный, хотя и понятный интерес, иногда выражавшийся в виде тематики неизбежности войны. Нынешнее поколение историков отвергает такую постановку проблемы. Для многих исследователей эта тема кажется имеющей чисто семантическое значение: войны не было бы, если бы одна из сторон была готова подчиниться без боя². Однако семантический аспект скрывает настоящую проблему: почему ни у одной из сторон не возникло желания подчиниться?

Было бы полезно задать этот вопрос в терминах, менее психологических по своей сути. Существовал ли между обществами северян и южан какой-либо смертельный конфликт в объективном смысле? Значение такой формулировки станет яснее, если попытаться ответить, исходя из фактов, а не в рамках теоретической дискуссии. В сущности, мы должны выяснить, сталкивались ли серьезно в какой-либо момент институциональные запросы на функционирование плантаторской экономики, основанной на рабстве, с аналогичными запросами на функционирование системы промышленного капитализма. Я допускаю, что в принципе можно обнаружить условия, подобные тем объективным условиям, которые необходимы для воспроизводства и выживания всякого живого организма, открытого биологом, например специфические виды питания, уровень влажности и т.п. Должно быть также ясно, что эти запросы или структурные императивы плантаторского рабства и раннего промышленного капитализма распространялись далеко за рамки экономического порядка как такового, вплоть до сферы политических институций. В рабовладельческих обществах иные политические формы, нежели в обществах, основанных на свободном труде. Но вернемся к нашему главному вопросу: существует ли причина неизбежной войны между ними?

Можно начать с общего положения о внутреннем конфликте между рабством и капиталистической системой формально свободного наем-

² См.: [Randall, Donald, 1961, p. vi]. Этот общий обзор, полностью документированный и снабженный прекрасной библиографией, является наиболее полезным введением к сегодняшнему состоянию вопроса в исторической науке. Информативные обзоры прошлых дискуссий см.: [Beale, 1946; Stamp, 1959], которые дают замечательную подборку тогдашних и современных исторических сочинений о причинах войны. В предисловии издателя (p. vi) К. Стэмп повторяет замечание Х. Била, сделанное более чем за дюжину лет до этого, что дискуссии не привели к однозначному решению, а нынешние историки нередко просто предвзято воспроизводят определенные темы, заданные еще в то время.

ного труда. Однако этот ключевой момент не может быть тем общим положением, из которого можно вывести гражданскую войну как частный случай. Ниже будет показано, что хлопок, производившийся с помощью рабского труда, играл решающую роль в росте не только американского капитализма, но также и английского. Капиталисты ничего не имели против покупки продукции, произведенной рабами, пока можно было получить прибыль от ее переработки и перепродажи. С чисто экономической точки зрения наемный труд и плантаторское рабство вполне могут вести торговлю и дополнять друг друга политически, а не конфликтовать. И предварительно мы можем дать отрицательный ответ на наш вопрос: не существует некой абстрактной причины для войны между Севером и Югом. Иными словами, должны были возникнуть специальные исторические обстоятельства, препятствовавшие соглашению между аграрным обществом, основанным на несвободном труде, и развивающимся промышленным капитализмом.

Чтобы понять, какие это могли быть обстоятельства, полезно рассмотреть случай, при котором между этими двумя типами подсообществ внутри объемлющего политического единства возникало согласие. Если мы знаем, что делает согласие возможным, мы также знаем нечто об обстоятельствах, которые делают его невозможным. Пример из немецкой истории здесь вновь приходится кстати и наводит на размышления. Немецкая история XIX в. очень ясно показывает, что развитая промышленность может прекрасно сосуществовать с сельскохозяйственным укладом, использующим репрессивную систему труда. Конечно, немецкий юнкер не совсем рабовладелец, а Германия — это не Соединенные Штаты. Но в чем именно заключаются главные отличия? Юнкеры сумели привлечь на свою сторону независимых крестьян и заключить союз с секторами крупной промышленности, которые были рады получить их помощь, чтобы удержать рабочих на предприятиях, сочетая угнетение и патернализм. Долговременные последствия стали роковыми для демократии в Германии.

Немецкий опыт показывает, что, если бы конфликт между Севером и Югом был урегулирован, компромисс стал бы возможным за счет последующего развития демократии в Соединенных Штатах, — эту вероятность, насколько мне известно, не исследовал ни один историк-ревизионист, так что нам будет полезно ее рассмотреть. Почему капиталисты-северяне не нуждались в «юнкерах» с Юга для того, чтобы установить и усилить в Соединенных Штатах промышленный капитализм? Какие политические и экономические связи, существовавшие в Германии, отсутствовали в Соединенных Штатах? Какие группы, отличные от крестьян, например независимые фермеры, были в американском обществе? Где и как в

Америке взаимодействовали основные социальные группы? Теперь нам следует более подробно исследовать ситуацию в Соединенных Штатах.

2. ТРИ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ АМЕРИКАНСКОГО КАПИТАЛИЗМА

К 1860 г. в Соединенных Штатах возникли три совершенно разные формы общества в различных регионах страны: хлопковые плантаторы на Юге; свободные фермеры на Западе; и быстро развивающийся индустриальный Северо-Восток. Линии раскола и кооперации не всегда проходили по этим направлениям. Конечно, со времен Гамильтона и Джефферсона шло перетягивание каната между аграриями и городскими коммерческими и финансовыми кругами. Экспансия страны на Запад на какой-то момент, при президенте Джеконе в 1830-х годах, показала, что принципы аграрной демократии, на практике означавшие полное ослабление центральной власти и тенденцию, благоприятствовавшую дебиторам больше, нежели кредиторам, одержали постоянную победу над принципами Александра Гамильтона. Однако даже во времена самого Джексона аграрная демократия сталкивалась с суровыми трудностями. Ее существованию угрожали два тесно связанных явления: дальнейший рост промышленного капитализма на Северо-Востоке и образование экспортного рынка для хлопка с Юга.

Несмотря на то что о значении хлопка для развития Юга давно известно, его важность для становления капитализма в целом исследована гораздо меньше. С 1815 по 1860 г. торговля хлопком оказывала решающее воздействие на уровень роста американской экономики. Примерно до 1830 г. она была наиболее важной причиной роста промышленности в стране [North, 1961, p. 67, 167, 189]. Хотя внутренний сбыт оставался значительным, экспорт хлопка стал главной отличительной особенностью этого времени [Ibid., p. 194]. К 1849 г. 64% урожая хлопка уходило за рубеж, в основном в Англию [Gates, 1962, p. 152]. С 1840 г. до начала Гражданской войны Великобритания получала из южных штатов четыре пятых всего своего импорта хлопка [Randall, Donald, 1961, p. 36]. Поэтому ясно, что плантация, на которой трудились рабы, не была анахроничным наростом на промышленном капитализме. Она представляла собой часть этой системы и один из ведущих двигателей мировой экономики.

В южном обществе плантаторы и рабовладельцы составляли очень небольшое меньшинство. К 1850 г. насчитывалось менее 350 тыс. рабовладельцев среди 6 млн человек белого населения в рабовладельческих областях [Ibid., p. 67]. Рабовладельцы вместе со своими семьями составляли максимум четверть белого населения. И даже внутри этой группы лишь малый процент владел большей частью рабов: расчеты за 1860 г.

показывают, что примерно три четверти чернокожих рабов принадлежали всего 7% белого населения³. В их руках были сосредоточены лучшие земельные ресурсы и политическая власть [Gates, 1962, p. 151, 152].

У подножия этой пирамиды плантаторской элиты находились фермеры, обрабатывавшие землю с помощью труда нескольких рабов, затем большое число мелких землевладельцев, не имевших рабов, и, наконец, белая беднота из глубинки, чья сельскохозяйственная деятельность ограничивалась вылазками в отдаленные кукурузные поля. Белые бедняки существовали за пределами рыночной экономики, а многие мелкие фермеры занимали в ней периферийное положение [North, 1961, p. 130]. Более успешные фермеры стремились к тому, чтобы приобрести в собственность еще несколько чернокожих рабов и превратиться в крупных плантаторов. Влияние этих промежуточных групп уменьшилось после эпохи Джексона, хотя существует целая школа историков-южан, пытающихся создать романтический образ йоменов и «простого люда» Старого Юга как основы демократического социального порядка⁴. Я считаю, что это полная чепуха. Во все времена и во всех странах реакционеры, либералы и радикалы рисовали свой портрет деревенской бедноты, подходивший для их теорий. Доля правды в этом описании состоит в том, что мелкие фермеры-южане в целом принимали политическое лидерство крупных плантаторов. Авторы-марксисты утверждают, что это единство внутри белой касты противоречило реальным экономическим интересам мелких фермеров и возникало только из-за того, что страх перед чернокожими сплавивал белых. Это возможно, хотя и сомнительно. Мелкие собственники нередко подчиняются лидерству крупных плантаторов, если нет очевидной альтернативы и есть шанс самому превратиться в крупного землевладельца.

Поскольку рабство на плантациях было доминирующим фактом в жизни Юга, необходимо проанализировать, как работала эта система, чтобы понять, приводила ли она к серьезным противоречиям с Севером. Одним соображением мы можем воспользоваться сразу. Почти наверняка рабство не находилось на грани исчезновения по внутренним причинам. Вряд ли убедителен тезис, что война была «ненужной», поскольку ее итоги были бы раньше или позже достигнуты в любом случае мирными средствами, поэтому реальный конфликт отсутствовал. Если рабство и должно было исчезнуть из американского общества, то для этого потребовалась бы вооруженная сила.

³ Цит. по: [Hacker, 1940, p. 288]. Цифры Рандалла и Доналда близки к этим.

⁴ См.: [Owsley, 1949, p. 138–142]. Это исследование создало у меня впечатление фольклор-социологии, которая упускает из виду почти все существенные политические и экономические вопросы.

Лучшее доказательство тому на самом деле — положение дел на Севере, где мирное освобождение во время Гражданской войны столкнулось с почти непреодолимыми трудностями. Северные штаты, где рабство было едва развито, нашли всевозможные возражения, когда Линкольн попытался ввести умеренную схему освобождения, предусматривавшую компенсации для бывших рабовладельцев, и ему пришлось отказаться от своего плана [Randall, Donald, 1961, p. 374, 375]. «Прокламация об освобождении рабов» (1 января 1863 г.), как известно, не включала рабовладельческие штаты в состав Союза и области на Юге внутри границ Союза, т.е., по словам британского современника (графа Рассела, предка Бертрана Рассела), она освобождала рабов лишь там, «где Соединенные Штаты не обладали никакой властью» [Ibid., p. 380–381]. Если мирное освобождение сталкивалось с такими трудностями на Севере, что уже говорить о происходившем на Юге.

Эти соображения дают серьезный повод полагать, что рабство по своей сути было экономически выгодным. Автор одной недавней монографии убедительно показывает, что рабство сохранялось на Юге в первую очередь именно потому, что оно было выгодным с экономической точки зрения. Утверждение южан, что рабовладение приносило убытки, он отвергает как часть процесса рационализации, с помощью которого представители Юга пытались найти высокие моральные обоснования для рабства, как некую раннюю версию идеи о цивилизаторском бремени белого человека. Стыдясь оправдывать рабство грубыми экономическими причинами, которые сделали бы их похожими на жадных янки, южане предпочитали заявлять, что рабство было естественной формой сообщества, благотельной как для раба, так и для господина [Stampp, 1956, ch. 9]. Но чуть позже два экономиста, не удовлетворенных свидетельствами, на которых основывались предшествующие исследования (главным образом на фрагментарных и неполных бухгалтерских записях ранней плантаторской активности), попытались найти ответ с помощью изучения более общей статистической информации. Чтобы установить, было ли рабство в большей или в меньшей степени выгодным по сравнению с другими формами предпринимательства, они собрали статистику о средних ценах на рабов, о процентных ставках на первичные коммерческие бумаги, расходах на содержание рабов, размерах выработки простого наемного работника, расходах по продаже хлопка, ценах на хлопок и других необходимых фактах. Хотя я настроен умеренно скептически по отношению к репрезентативной ценности исходной статистики, их заключения согласуются с другими соображениями и мы, насколько возможно, приближаемся к реальному положению вещей. Данные исследователи также делают вывод, что рабство на плантации приносило доход, более того, оно было эффективной системой в тех регионах,

которые лучше подходили для производства хлопка и других специализированных продуктов. Тем временем менее эффективные области на Юге продолжали продавать рабов в регионы, производившие основные сельскохозяйственные культуры [Conrad, Meyer, 1958, p. 95–130, 97].

Знание о том, что рабство на плантациях в целом было финансово успешным предприятием, важно, но самого по себе его недостаточно. Плантаторы, жившие в разное время и в разных местах, отличались друг от друга, что имело значительные политические последствия. Ко времени начала войны рабство на плантациях стало чертой Нижнего Юга. Оно исчезло с табачных плантаций до 1850 г. в основном потому, что не приносило большой выгоды для крупномасштабных работ. В Мэриленде, Кентукки и Миссури даже термин «плантация» почти исчез перед Гражданской войной [Nevins, 1947, vol. 1, p. 423]. Около 1850 г. большую прибыль приносили целинные области: поначалу Алабама и Миссисипи, а после 1840 г. — Техас. Даже на целинных землях лучший способ заработать состоял в том, чтобы продавать собранный урожай и двигаться дальше, пока почва не истощалась [Gates, 1962, p. 143; Gray, 1941, vol. 2, ch. 37, 38].

Распространение плантаторского рабства с Юга на Запад создало серьезную политическую проблему. Обширные регионы Запада были еще не освоены либо слабо освоены. Хотя выращивание хлопка имело очевидные ограничения по климату и почве, никто не мог быть уверен в том, какими именно были эти ограничения. Если рабство распространялось, баланс между рабовладельческими и свободными штатами мог измениться — что было важным лишь в том случае, если различие между обществом рабства и обществом без рабства имело значение. К 1820 г. проблема уже обострилась, хотя в результате Миссурийского компромисса было достигнуто соглашение, компенсирующее присоединение рабовладельческого штата Миссури и свободного штата Мэн. С тех пор проблема периодически давала о себе знать. Ожидалось, что торжественные политические сделки урегулируют вопрос, но в скором времени он возник снова. Проблема рабства на территориях, как назывались частично заселенные области, еще не ставшие штатами, сыграла важнейшую роль в развязывании войны. Внутренняя неопределенность ситуации несоразмерно усилила экономические конфликты.

Миграционная тенденция плантаторской экономики была важна также в других отношениях. Когда выращивание хлопка на Старом Юге пошло на убыль, появилось стремление исправить эту ситуацию с помощью поставок рабской силы. Масштабы этого явления сложно определить. Однако есть относительно четкие указания, что этого было недостаточно для удовлетворения спроса. С начала 1840-х годов до начала войны стоимость рабов постоянно росла. Цена хлопка также демонстри-

ровала тенденцию к росту, но с гораздо более заметными колебаниями. После финансовой паники 1857 г. цена на хлопок упала, а стоимость рабов продолжала стремительно расти⁵. Рабов нельзя было легально ввозить, и такая блокада была сравнительно эффективной. Этот факт, а также разговоры южан о возобновлении работорговли, ставшие особенно решительными перед самым началом военных действий, указывают на серьезную нехватку рабочей силы, с которой столкнулась плантаторская система. Насколько серьезную? Дать ответ на этот вопрос довольно сложно. Поскольку капиталисты всегда переживали по поводу нехватки рабочей силы, к жалобам южан по этому вопросу необходимо отнестись с толикой скептицизма. Весьма сомнительно, что плантаторская система могла бы исчезнуть вследствие экономического диктата Севера.

Пока что аргумент о том, что требования плантаторской экономики были источником экономического конфликта с индустриальным Севером, не кажется достаточно убедительным. В конце концов, разве владелец плантации не был просто еще одним капиталистом? Аллан Невинс верно замечает: «Обширной плантацией так же трудно управлять, как и сложной современной фабрикой, которая напоминала ее в важных аспектах. Полагаться на авось недопустимо; требовалось непрерывное планирование и тщательная забота» [Nevins, 1947, vol. 1, p. 438]. Поэтому разве не было совершенно приемлемым для владельца плантации договориться со своим таким же расчетливым коллегой-капиталистом с Севера? По моему мнению, это было бы вполне возможным, будь строгий экономический расчет единственной проблемой. Но, при всем уважении к мнению Макса Вебера, рациональный и калькулирующий взгляд на вещи, понимание мира в терминах расходов и балансов могут существовать в самых различных обществах, из которых отдельные могут конфликтовать между собой по другим поводам⁶. Как мы уже отметили при рассмотрении проблемы французской знати, такой взгляд на мир сам по себе еще недостаточен для совершения промышленной революции. Этого явно оказалось недостаточно на Юге,

⁵ См. табл.: [Phillips, 1929, p. 177] и обсуждение якобы имевшей место сверхкапитализации трудовых ресурсов: [Conrad, Meyer, 1958, p. 115–118]. Даже если владелец плантации и не попадал в ловушку, которую сам же себе создал, — это тезис Филлипса, который оспаривают Конрад и Мейер, — все-таки достаточно ясно (и этого оба автора не отрицают), что многие плантаторы столкнулись с ростом расходов на рабочую силу. См. также: [Nevins, 1947, vol. 1, p. 480], где приводятся взгляды современников.

⁶ Описание плантации у Невинса поразительно напоминает рациональные методы расчетов, которые господствовали, даже без использования письменности, в средневековом английском поместье. См. яркое описание: [Bennett, 1956, p. 186–191].

где развитие городов, за исключением нескольких крупных транзитных пунктов, таких как Новый Орлеан и Чарлстон, намного отставало в масштабах всей страны. На Юге существовала капиталистическая цивилизация, но едва ли ее можно назвать буржуазной. Городская жизнь не была ее основой. И вместо того, чтобы по примеру европейской буржуазии, оспаривавшей у аристократии право на власть, бросать вызов социальной иерархии, основанной на праве рождения, плантаторы-южане встали на защиту наследственных привилегий. В этом было реальное различие и реальная проблема.

Идея о том, что все люди были созданы равными, противоречила фактам обыденной жизни для большинства южан, — фактам, которые они создали сами, имея на то веские и достаточные причины. Под давлением критики с Севера и перед лицом общемировой тенденции в пользу отмены рабства южане предложили целый ряд теоретических оправданий своей позиции. Буржуазные идеи свободы, провозглашенные американской и французской революциями, стали на Юге опасными субверсивными доктринами, поскольку они били в самый нерв системы южан, а именно в обоснование права владения рабами. Для того чтобы понять чувства плантатора-южанина, северянину XX в. приходится прилагать некоторые усилия. Ему помогло бы размышление о том, как почувствовал бы себя крепкий американский бизнесмен 1960-х годов, если бы Советский Союз занял место Канады и усиливал свое влияние изо дня в день. Пусть он также вообразит, что коммунистический гигант, разглагольствующий о собственной непогрешимости (при этом правительство отрицало бы, что эти заявления отражают истинную политику), постоянно направлял бы в их сторону оскорбительные высказывания и шпионов. Озлобленность и обеспокоенность южан не были просто экспрессией воинственного меньшинства. Генри Клей, один из известнейших умеренных политиков Юга, в своем призыве к компромиссу сделал следующее откровенное и часто цитируемое замечание: «Вы, северяне, пребываете в целостности и сохранности, тогда как рабовладельческие штаты охвачены пожаром... На одной чаше весов мы видим сантименты, сантименты и ничего, кроме сантиментов, а на другой — собственность, социальную ткань, жизнь и все, что делает наше существование желанным и счастливым» (цит. по: [Nevins, 1947, p. 267]).

По мере того как промышленный капитализм все больше укоренялся на Севере, аграрии-южане стремились отыскать и развить в себе любые аристократические и доиндустриальные качества, которые они могли найти в своем обществе: вежливость, достоинство, воспитанность, широкий взгляд на мир, противопоставленный якобы зашоренному и алчному взгляду на мир у северян. Незадолго до Гражданской войны распространилась идея о том, что Юг производит хлопок, главный ис-

точник американского благосостояния, а Север душит его налогами. Как указывает Невинс, эта идея аналогична учению физиократов о том, что источником доходов промышленности и торговли на самом деле является деревня [Nevins, 1950, vol. 1, p. 218]. Подобные теории возникали везде, где происходила индустриализация, а до некоторой степени даже в отсутствие индустриализации. Распространение коммерческого сельского хозяйства в докоммерческом обществе порождает различные формы романтической ностальгии, например восхищение афинян Спартой или преклонение позднего республиканского Рима перед добродетелями прежних дней.

Рассуждения южан содержали существенную долю правды. В противном случае в них было бы слишком сложно поверить. Между цивилизациями Севера и Юга существовали различия такого типа. И северяне получали доход, причем весьма значительный, благодаря торговле хлопком. Несомненно, в аргументах южан была и большая доля чистого вымысла. Предполагаемые аристократические и антикоммерческие добродетели плантаторской аристократии были основаны на сугубо коммерческой прибыли от рабства. Провести разграничительную линию между правдой и вымыслом очень трудно и, видимо, невозможно. Впрочем, для достижения наших целей в этом нет необходимости. На самом деле это может запутать анализ, устранив важные смысловые связи. Невозможно говорить о чисто экономических факторах как главных причинах войны, так же как невозможно говорить о войне как главном следствии моральных разногласий по поводу рабства. Моральные вопросы возникали из экономических различий. Рабство было моральным вопросом, который вызывал сильнейшие эмоции у обеих сторон. Без прямого конфликта идеалов по вопросу рабства события, приведшие к войне, и сама война абсолютно непостижимы. В то же самое время ясно как день, что экономические факторы создали рабовладельческую экономику на Юге, так же как экономические факторы создали другие экономические структуры с противоположными идеалами в других регионах страны.

Эти соображения не означают, что отличия сами по себе неизбежно служили поводом для войны. Множество людей на Юге и Севере либо не обращали внимания на рабство, либо действовали так, как если бы их это не волновало. Невинс заходит еще дальше, утверждая: выборы 1859 г. показали, что по крайней мере три четверти нации по-прежнему возражали против как прорабовладельческих, так и антирабовладельческих идей едва ли не в самый последний момент накануне Гражданской войны [Ibid., vol. 2, p. 68]. Даже если в его оценке преувеличено значение нейтрального настроения, один из самых отрезвляющих и поучительных аспектов Гражданской войны состоит в том, что преобладание отстраненного отношения не смогло ее предотвратить. Существенное

III. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В АМЕРИКЕ

влияние такой позиции также заставило здравомыслящих историков вроде Чарлза Берда сомневаться в важности проблемы рабства. Я считаю это ошибкой, причем весьма серьезной. Тем не менее бессилие и провал умеренной позиции играют ключевую роль в истории, понять которую хорошо помогают те, чьи симпатии были связаны с Югом. Ведь для того, чтобы возникла чреватая войной ситуация, изменения должны были произойти не только на Юге, но и в других частях страны.

Главный импульс для развития капитализма на Севере в течение 1830-х годов, как мы видели, шел от торговли хлопком. В следующем десятилетии темпы индустриального роста увеличились, так что Северо-Восток превратился в промышленный регион. Эта экспансия положила конец зависимости американской экономики от ключевого сельскохозяйственного продукта. Северо-Восток и Запад, которые по-прежнему, как и в прошлом, обеспечивали Юг большей частью продовольствия, стали менее зависимыми от Юга и более связанными между собой. Хлопок оставался важным продуктом для экономики Севера, но перестал доминировать в ней [North, 1961, p. 204–206]. Если судить по стоимости товара, хлопок все еще занимал второе место на мануфактурах северян в 1860 г. Но кроме того, к этому времени Север производил большое разнообразие промышленных товаров, в основном, конечно, на небольших фабриках. Большая доля продукции предназначалась для потребностей сельскохозяйственного сообщества: мукомольные заводы, пиломатериалы, обувь, одежда, металлические, кожаные и шерстяные изделия, напитки и механизмы [Ibid., p. 159–160]. Как мы увидим чуть ниже, северяне начали усиленно поставлять промышленную продукцию в быстро развивающиеся западные области страны.

Хотя господствующими тенденциями были уменьшение зависимости Севера от южного хлопка и возникновение определенных экономических противоречий, нашего внимания заслуживают и другие факторы. Не стоит преувеличивать значение разногласий. Северо-Восток обеспечивал плантаторскую экономику финансовыми, транспортными, страховыми и маркетинговыми услугами [Ibid., p. 68]. Основная масса экспортируемого хлопка шла через северные порты, важнейшим из которых был Нью-Йорк. Поэтому — и это было причиной трений — южане оставляли существенную часть своих доходов на Севере для оплаты услуг по продаже хлопка, для покупки всего необходимого для плантации, что невозможно было приобрести на месте, а также — важная статья расходов — для отдыха от жары, который себе устраивали богатые плантаторы. Более того, как Север, так и Запад по-прежнему продавали промышленные товары и продукты питания на Юг. 1850-е годы были золотым веком пароходной торговли на Миссисипи [Ibid., p. 103]. Но самое важное состояло в том, что эффективность текстильных фабрик

Новой Англии по сравнению с зарубежными конкурентами повысилась в период между 1820 г. и началом войны [North, 1961, p. 161]. Если бы эта тенденция усилилась, то интересы Севера и Юга могли бы сблизиться, в результате чего войны бы не случилось. В любом случае экономические интересы Севера были очень далеки от воинственной апологетики войны за освобождение или даже войны за Союз. Адекватного исследования политических предпочтений и инициатив промышленников-северян пока еще не написано⁷. Однако мысль о том, что северные капиталисты мечтали привести в движение рычаги федерального правительства ради своих чисто экономических интересов, кажется серьезным преувеличением.

Капиталистам Севера от любого правительства была нужна защита и легитимация частной собственности. Однако должны были возникнуть весьма специфические обстоятельства, чтобы владельцы южных плантаций и рабов стали восприниматься как угроза этому институту. Кроме этого капиталисты Севера хотели умеренного вмешательства правительства в процесс накопления капитала и функционирования рыночной экономики: в частности, определенных гарантий по тарифам, помощи в организации транспортной сети (вовсе не чисто моральной — хотя многие крупные скандалы, связанные с железной дорогой, разразились позже), нормального финансирования и централизованной банковской системы. Более всего самые способные лидеры северян желали предпринимательства, не ограниченного государственными и региональными границами. Они гордились тем, что были гражданами большой страны, как, разумеется, и все остальные, и в финальный момент, когда разразился кризис сецессии, выступили против перспективы «балканизации», т.е. распада на части, Америки⁸.

Экономической проблемой, вызвавшей наибольшее волнение, были таможенные тарифы. Поскольку американская промышленность доби-

⁷ Как и в случае французской буржуазии в период до буржуазной революции, мне не встретилась хорошая монография, где рассматриваются решающие политические и экономические вопросы. [Foner, 1941] — достаточно полезное издание, но на него нельзя положиться для общего анализа, поскольку главное внимание там уделяется нью-йоркским бизнес-кругам, тесно связанным с Югом. Автор — хорошо известный марксист, но в этом исследовании почти нет догматизма. Надо принимать во внимание также промышленные интересы в Пенсильвании и Массачусетсе, но адекватное исследование отсутствует.

⁸ Об отношении к единству см.: [Nevins, 1947, vol. 2, p. 242]; о журналистской позиции того времени см.: [Stampp, 1959, p. 49–54]. Подборка из «Buffalo Courier» от 27 апреля 1861 г. (p. 52–53) интересна своим протофашистским языком.

лась значительного прогресса в условиях сравнительно низких пошлин после 1846 г., требование северян повысить тариф и сопротивление южан этому требованию кажутся надуманной проблемой, из-за которой ссорятся, если хотят скрыть истинную причину конфликта. Если промышленность Севера процветала, зачем ему могла понадобиться политическая протекция? Весь тезис о том, что Юг пытался наложить своего рода вето на индустриальный прогресс Севера, начинает выглядеть довольно сомнительно, как только возникает этот вопрос. Более внимательный взгляд на события согласно той последовательности, в которой они развивались, проясняет эту загадку, однако нам придется вновь затронуть этот вопрос после приведения соответствующих фактов. После 1850 г. начался быстрый промышленный рост. Но в середине последнего предвоенного десятилетия в некоторых областях, например в металлургии и текстильной промышленности, возникли острые проблемы. К концу 1854 г. излишки черного металла скопились на всех мировых рынках, и большинство американских металлургических заводов закрылось. В Ланкашире научились делать текстильные товары по более низким ценам, чем на фабриках Новой Англии; с 1846 по 1856 г. импорт изделий из цветного хлопка подскочил с 13 до 114 млн ярдов, а изделий из простого ситца — с 10 до 90 млн. В 1857 г. произошел серьезный финансовый кризис. Таможенный тариф, принятый в том году под давлением Юга, не принес облегчения и по сути снизил пошлины в упомянутых регионах⁹. Эти события, отчасти из-за того, что они последовали за периодом процветания и быстрого роста, похоже, возбудили глухое негодование в промышленных кругах Севера.

Капиталистам на Севере также требовалось достаточно много наемной силы для работы за плату, которую они могли позволить себе платить. Здесь был серьезный камень преткновения. Свободные земли на Западе отвлекали на себя рабочую силу, по крайней мере, многие так думали. Главным смыслом джексоновской системы была рабочая коалиция плантаторов, «механиков» или рабочих, и свободных фермеров, с одной стороны, против финансистов и промышленников Северо-Востока — с другой. Откуда тогда взяться рабочей силе? И как капитал северян мог бы освободиться от своего экономического и политического окружения? Политические и экономические лидеры северян нашли решение, которое позволило им отвязать западных фермеров от Юга и привязать их к себе. Значительные сдвиги в экономике и социальной структуре Запада сделали эти изменения возможными. Чуть ниже нужно будет

⁹ [Nevins, 1950, vol. 1, p. 225–226]. В своей итоговой оценке причин войны Невинс сомневается в значительной роли проблемы тарифа и в целом в экономических факторах. См.: [Ibid., vol. 2, p. 465–466]. Об этом подробнее см. ниже, но в связи с тарифом его мнение кажется мне противоречивым.

рассмотреть их пристальнее. Но мы можем сразу оценить их значение: воспользовавшись этими тенденциями, капиталисты-северяне освободили себя от малейшей нужды в «юнкерах» с Юга для того, чтобы сохранять на месте рабочую силу. Возможно, меньше, чем какой-либо иной фактор, но эти тенденции создали условия для вооруженного конфликта и сгруппировали противников таким образом, что стала возможной частичная победа свободы.

После окончания Наполеоновских войн и до начала Гражданской войны область, которая сегодня называется Средним Западом, а тогда именовалась просто Западом, превратилась из земли пионеров в территорию коммерческого земледелия. Действительно, многие из тех, кто жил в суровую эпоху пионеров, быстро покинули ее — успех достался другим. Торговые излишки продовольствия, благодаря которым можно было приобрести предметы первой необходимости и даже кое-какие удобства, появились достаточно рано. Вплоть до 1830-х годов основная доля этих излишков направлялась на Юг, обеспечивая продовольствием узкоспециализированную экономику этого региона, — данная тенденция сохранилась, но потеряла свое значение, когда восточный рынок приобрел большую важность [North, 1961, p. 67–68, 102, 143]. Мелкие независимые фермеры, все еще сильно полагавшиеся на свои собственные ресурсы, в первой трети XIX в. стремились отобрать контроль над общественными землями у политиков в Вашингтоне, которые либо спекулировали землей в крупных масштабах, либо проявляли равнодушие к требованиям и нуждам Запада.

Они искали местной автономии иногда за счет тонких ниточек, которые связывали их с Союзом [Beard, Beard, 1940, vol. 1, p. 535–536], с симпатией относились к нападкам Эндрю Джексона на восточные цитадели благосостояния и сформировали единый фланг внешне народной коалиции, которая в то время управляла страной.

Развитие промышленности на Востоке и последующий рост эффективного спроса на западное зерно и мясо изменили эту ситуацию. Волны экспансии на Запад в 1816–1818, 1832–1836, 1846–1847 и 1850–1856 гг. отражают возросшую прибыльность выращивания пшеницы, других зерновых и побочных продуктов [North, 1961, p. 136, 137]. После 1830-х годов произошло постепенное перенаправление поставок продукции с Запада на восточное побережье. «Транспортная революция» — строительство каналов и железных дорог — решила проблему перевозок по горной местности, открыв возможность для новых каналов сбыта продукции западных фермеров. Торговля Запада с Югом не снизилась абсолютно, но даже увеличилась. Однако изменились пропорции, что способствовало сближению Запада и Севера [Ibid., p. 103, 140–141].

Спрос на фермерскую продукцию постепенно трансформировал социальную структуру и психологические установки Запада таким образом, что стали возможными новые группировки. Позиция ранних индивидуалистов и мелких капиталистов, характерная для Северо-Востока, перешла к господствующей верхней страте западных фермеров. В технологических условиях того времени семейная ферма была эффективным социальным механизмом для выращивания пшеницы, зерновых, свиней и других продуктов для продажи [North, 1961, p. 154]. «Быстрая транспортировка доставляла сельскохозяйственные продукты на восточные рынки, взамен принося наличные деньги... — пишет Берд в одном из многочисленных пассажей, которые схватывают суть основного социального сдвига в нескольких предложениях, — железные дороги, растущее население и хорошие грунтовые дороги привели к росту цен на землю, кирпичные и каркасные дома начали заменять бревенчатые домики; большое политическое значение имело то, что процветание привело к подавлению страсти к “легким деньгам” и смягчило старинную ненависть к банкам... Наконец, молва о преуспевающих фермерах затмила стенания белой бедноты...» [Beard, Beard, 1940, vol. 1, p. 638]¹⁰. Еще одним следствием стало распространение и углубление антирабовладельческих настроений, которые можно возвести к укоренению семейной фермы как успешного коммерческого предприятия на западной почве¹¹. Здесь есть загадки, поскольку семейная ферма, управлявшаяся без рабов, была весьма частым явлением также на Юге, где она считалась не столько коммерческим занятием, сколько способом выживания. В любом случае ясно, что западная система фермерства, развивавшаяся в тени плантаций и опиравшаяся в основном на труд членов семьи, создавала сильную конкуренцию рабству [Nevins, 1947, vol. 2, p. 123]¹².

До середины XIX в. южные плантаторы, некогда приветствовавшие западных фермеров как союзников в борьбе против плутократии Севера, стали воспринимать распространение независимого фермерства как угрозу для рабства и своей системы. Ранние предложения по разделу западных земель на выгодных для мелких фермеров условиях вызвали сопротивление в областях восточного побережья, где опасались эмиграции и потери рабочей силы, включая даже некоторые области на Юге,

¹⁰ Невинс рассказывает по сути ту же историю [Nevins, 1947, vol. 2, ch. 5, 6].

¹¹ Карта распределения аболиционистских обществ в 1847 г. [Ibid., vol. 1, p. 141] показывает, что их было не меньше в Огайо, Индиане, Иллинойсе, чем в Массачусетсе.

¹² Поддержка У. Сьюарда была значительной в сельской части Нью-Йорка [Ibid., p. 347], поэтому скорее всего такие же настроения господствовали среди восточных фермеров.

например в Северной Каролине. Инициативы в поддержку свободной земли приходили с Юго-Запада. С установлением коммерческого фермерства в западных областях расстановка сил изменилась. Многие южане воспротивились «радикальным» идеям раздачи земель фермерам, поскольку это могло привести к «аболиционизму» в этих местах [Zahler, 1941, p. 178–179 (n. 1), 188]. Сторонники плантаторов в Сенате не дали принять закон о гомстедах в 1852 г. Восемь лет спустя президент Бьюкенен наложил вето на сходный законодательный акт, к радости почти всех конгрессменов-южан, которые были неспособны предотвратить его принятие [Beard, Beard, 1940, vol. 1, p. 691–692; Zahler, 1941, ch. 9].

На Севере ответ на сдвиги в аграрном обществе Запада был более сложным. Северяне — владельцы фабрик были не готовы давать землю каждому, кто попросит ее, так как это могло просто уменьшить количество рабочих, готовых прийти к заводским воротам. Враждебность южан к Западу открывала Северу возможность для союза с фермерством, однако северяне не торопились ею воспользоваться. Коалиция стала политической силой лишь в самый последний момент, в республиканской платформе 1860 г., которая помогла Линкольну попасть в Белый дом, несмотря даже на то, что большинство избирателей в стране выступали против него. Сближению способствовали политики и журналисты, а не деловые круги. Предложение открыть западные земли для бедных переселенцев привело к тому, что партия, связанная с интересами тех, кто мог похвастаться собственностью и образованием, смогла привлечь массы сторонников, в особенности среди городских рабочих [Zahler, 1941, p. 178].

Суть договора была простой и ясной: бизнес поддерживал требования фермеров по раздаче земли, популярные также среди промышленных рабочих, в обмен на поддержку повышения тарифа. «Голосуй за свою ферму — голосуй за свой тариф» — лозунг республиканских предвыборных собраний в 1860 г. [Beard, Beard, 1940, vol. 1, p. 692]¹³. Таким образом, состоялся «союз железа и ржи» — если еще раз провести аналогию с немецкой коалицией промышленников и юнкеров, — но только вместо последних были семейные фермеры Запада, а не землевладельцы-аристократы, поэтому политические результаты были прямо противоположными. Даже в ходе самой Гражданской войны появлялись возражения против этого союза и требования разрыва. В 1861 г. Клемент Валландигэм, защитник мелких фермеров, по-прежнему утверждал, что «сельскохозяйственный Юг был естественным союзником демократии

¹³ О контексте этого соглашения, которое представляло значительный переворот в прежних идеях, господствовавших на Востоке, см.: [Zahler, 1941, p. 185; Nevins, 1950, vol. 1, p. 445].

Севера и особенно Запада», поскольку народ Юга был аграрным народом [Ibid., p. 677].

Но это были голоса из прошлого. Реальностью перегруппировку сделало то, что дополнением к сдвигам в характере западного сельского общества стали специфические обстоятельства промышленного роста на Северо-Востоке. Наличие свободной земли придавало уникальный поворот отношениям капиталистов и рабочих на первых стадиях развития американского капитализма — тех стадиях, которые в Европе были отмечены усилением радикальных движений, склонных к насилию. Здесь энергия, которая в Европе перешла бы в создание профессиональных союзов и разработку революционных программ, была направлена на схемы предоставления автономной фермы каждому рабочему, независимо от его желания. Подобные предложения звучали крамольно для некоторых современников [Ibid., p. 648–649]. Действительный эффект переселения на Запад был, тем не менее, в укреплении сил первоначального конкурентного и индивидуалистического капитализма через увеличение числа собственников. Берд слишком преувеличивает, когда пишет о том, что республиканцы швырнули национальное достояние голодному пролетариату «как дар, более значительный, чем хлеб и зрелища», после чего социалистическое движение провалилось [Ibid., p. 751]. Вряд ли для всего этого было время. Как он замечает несколькими фразами ниже, сама по себе Гражданская война пресекла стремление к радикализму. Весьма спорным вопросом остается то, насколько большой подмогой земля на Западе была рабочим с Востока до Гражданской войны. Спекулянты уже прибирали к рукам обширные участки. Маловероятно, что настоящие бедняки в городах восточного побережья могли покинуть шахту или фабрику, чтобы купить небольшую ферму, снабдить ее самыми простыми инструментами и успешно вести хозяйство, даже если им помогало знание о том, что другим это удалось.

Несмотря на это, в знаменитом тезисе Фредерика Джексона Тёрнера есть доля правды в том, что касается важности фронта для американской демократии. Она заключается в перегруппировке социальных классов и географических границ, которую, по крайней мере временно, произвел открытый Запад. Связь между промышленниками Севера и свободными фермерами устраняла на время классическое реакционное решение проблемы развивающегося индустриализма. Тогда возникла бы коалиция промышленников Севера и плантаторов Юга, направленная против рабов, мелких фермеров и рабочих. Это не абстрактная фантазия. Немало сил действовали в таком направлении перед Гражданской войной, и это стало отличительной чертой американского политического ландшафта после периода Реконструкции. В условиях американского общества середины XIX в. любое мирное решение, любая победа уме-

ренности, здравого смысла и демократического процесса, стало бы реакционным¹⁴. Оно произошло бы за счет чернокожих, как в итоге и случилось, если только не принимать всерьез идею о том, что 100 лет назад как северяне, так и южане были готовы отказаться от рабства и принять бывших рабов в американское общество. Союз между промышленниками Севера и фермерами Запада, который подготавливался долгое время, хотя и сложился внезапно, сделал многое для устранения прямого реакционного решения экономических и политических проблем страны в интересах господствующего экономического слоя. По той же самой причине он поставил страну на грань Гражданской войны.

3. К ОБЪЯСНЕНИЮ ПРИЧИН ВОЙНЫ

Расстановка основных социальных групп в американском обществе в 1860 г. имеет большое значение для объяснения характера войны или проблем, которые могли или не могли заявить о себе, или совсем в лоб — для объяснения того, ради чего была война. Расстановка показывает нам перспективы возможной войны, но сама по себе она не дает хорошего объяснения, почему в действительности вспыхнула война. Теперь, после того, как мы ознакомились с некоторыми фактами, можно с большей эффективностью обсудить вопрос о том, был ли неизбежен смертельный конфликт между Севером и Югом.

Давайте рассмотрим экономические потребности двух систем в следующем порядке: 1) капитальные потребности; 2) потребности в рабочей силе; 3) потребности, связанные с продажей конечного продукта.

В плантаторской экономике, хотя и не бесспорно, можно заметить определенные экспансионистские усилия. Неосвоенные целинные земли были необходимы для получения наибольшей прибыли, поэтому ощущалось давление со стороны основных потребностей. Есть свидетельства, что рабочей силы едва хватало. Увеличение числа рабов было бы весьма кстати. Наконец, для того чтобы система работала в целом, за хлопок и в меньшей степени за другие товары на международном рынке должны были давать хорошую цену.

Промышленность Севера требовала определенной помощи от правительства в том, что можно назвать накладными расходами капитального строительства и создания благоприятной институциональной среды:

¹⁴ С учетом латиноамериканского опыта С. Элкинс [Elkins, 1963, p. 194–197] представляет «каталог предварительных замечаний», которые могли бы помочь уничтожению рабства без кровопролития: обратить рабов в христианство, обеспечить неприкосновенность семьи для рабов, позволить рабу использовать свободное время для увеличения своей покупательной цены. Эти меры кажутся мне все еще крайне реакционными: символические перемены в рамках рабовладельческой системы.

транспортной системы, таможенных тарифов, достаточно устойчивой валюты, чтобы в большинстве случаев должники и простые люди не получали незаслуженных преимуществ. (Однако как раньше, так и теперь не помешала бы небольшая инфляция, подстегивающая рост цен.) Что касается рабочей силы, то промышленности нужны формально свободные наемные рабочие, хотя и сложно доказать, что свободные рабочие в фабричных условиях непременно трудятся лучше рабов, за исключением того обстоятельства, что каждый нуждается в деньгах, чтобы покупать промышленные товары. Но, возможно, это убедительный аргумент. Наконец, растущая промышленность нуждалась в расширяющемся рынке сбыта, который в то время по большей части обеспечивался аграрным сектором. Запад, занимавший существенную долю этого рынка, в рамках данной грубой модели можно рассматривать как часть Севера.

Сложно различить какой-то действительно серьезный или «смертельный» конфликт в предложенном анализе базовых экономических потребностей, даже если я сознательно пытался сориентировать модель в этом направлении. Здесь необходимо помнить, что, как справедливо указывали ревизионистские историки Гражданской войны, любое большое государство наполнено конфликтами интересов. Тяжбы, обманы, ссоры и грабежи, крайняя несправедливость и угнетение — обычное дело на протяжении всей письменно зафиксированной истории человечества. Если бы мы обратились к подобным фактам, произошедшим накануне сокрушительного сдвига Гражданской войны, и назвали бы их решающей причиной конфликта, это стало бы очевидной ошибкой. Повторим еще раз, пришлось бы доказать, что в той ситуации не осталось возможности для компромисса. Пока из нашего анализа этого не следует. Самое большее в этом духе можно было бы сказать, что развитие рабовладельческих регионов серьезно повредило бы свободным фермерам на Западе. Хотя районы, выгодные для каждого типа фермерства, определялись климатом и географическим положением, никто не мог быть уверенным в их пригодности для фермерских нужд до того, как проверил это на практике. Впрочем, одного этого фактора недостаточно для объяснения причин войны. Промышленность северян могла бы поладить с плантационным рынком на Западе, как и с любым другим, если подобные соображения вообще имеют значение, и конфликт скорее всего был бы сглажен. Остальные причины вероятного и реального конфликта кажутся менее серьезными. Обстоятельства северян в области капитального строительства, требование внутренних улучшений, таможенных тарифов и т.д. нельзя рассматривать как опасное и неподъемное бремя для экономики южан. Конечно, много приграничных плантаторов понесло бы убытки, и это весьма важный фактор. Но, учитывая, что в обществе южан главенствующее положение занимали более успешные плантаторы, меньшинство вполне могли принести в жертву ради общего дела. Вопрос

использования рабского или свободного труда не вызывал реального экономического конфликта, поскольку районы их существования были разнесены географически. Все известные мне свидетельства указывают на то, что рабочие на Севере были либо равнодушно, либо враждебно настроены по отношению к антирабской политике.

В дополнение к конфликту между свободными фермерами на Западе и плантаторской системой следует отметить один из самых серьезных экономических аргументов: он состоит в том, что для Юга отделение от северных штатов не было чересчур безумным предложением, поскольку Юг не особенно нуждался в том, что Север на практике мог ему предложить. В краткосрочной перспективе Север не мог покупать больше хлопка, чем он уже покупал. Самое большее, что Север мог сделать, — возобновить работорговлю. Шли разговоры о поглощении Кубы в интересах рабовладения, и даже велась какая-то беспорядочная деятельность по реализации этого плана. Как продемонстрировали недавние события, в иных обстоятельствах подобный шаг мог стать весьма популярным во всех регионах США. Тогда же он показался непрактичным и политически неразумным.

Подводя итоги, можно сказать, что по чисто экономическим вопросам Север и Юг вполне могли договориться. Почему же тогда разразилась война? Ради чего она велась? Очевидная неадекватность чисто экономического объяснения — ниже я покажу, что фундаментальные причины были все-таки экономическими, — заставляла историков искать другие объяснения. В исследованиях можно различить три основных ответа. Один состоит в том, что Гражданская война была по сути нравственным конфликтом, возникшим из-за рабства. Поскольку большие и влиятельные группы как на Севере, так и на Юге не хотели занимать решительную позицию в поддержку или против рабства, это объяснение сталкивается фактически с теми же самыми трудностями, которых старались избежать в своем стремлении дать экономическое толкование событиям Ч. Берд и другие исследователи. Второй ответ пытается преодолеть трудности и тех и других с помощью предположения, что по всем проблемам можно было договориться, но ошибки политиков привели к войне, которой не хотело большинство населения ни на Севере, ни на Юге. Третий ответ сводится к дальнейшей разработке этой линии и анализу того, как был разрушен политический механизм, позволяющий достичь согласия в американском обществе, что, в свою очередь, привело к возникновению войны. На этом пути, однако, историки нередко вновь прибегают к объяснениям в терминах моральных оснований¹⁵.

¹⁵ Невинс подчеркивает моральные причины и одновременно сообщает, что большинству людей до них не было никакого дела. Насколько я могу видеть, он нигде не рассматривает этот парадокс. См.: [Nevins, 1950, vol. 2,

III. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В АМЕРИКЕ

Каждое из этих объяснений, включая то, что отдает приоритет экономическим факторам, может привести существенное число аргументов в свою поддержку. Каждое из них содержит свою долю правды. Остановиться на этом заключении значило бы удовлетвориться состоянием интеллектуального хаоса. Задача состоит в том, чтобы соотнести эти доли правды между собой и найти целое, чтобы понять взаимное отношение и смысл частных истин. То, что этот поиск не имеет конца, что установленные отношения сами по себе только частные истины, не означает, что от поиска нужно отказаться. Что касается экономических факторов, то было бы ошибочно, хотя порой и необходимо, рассматривать их отдельно от других факторов, которые по традиции называют политическими, моральными, социальными и т.д. Сходным образом ради полноты описания необходимо объединять проблемы в другие группы, например: рабство как таковое, рабство на определенных территориях, таможенный тариф, валюта, железные дороги и другие примеры развития инфраструктуры, предполагаемая «дань» Северу со стороны Юга. В то же время подразделение на отдельные категории отчасти искажает предмет исследования, поскольку частные лица существовали внутри сразу всех этих обстоятельств и люди, безразличные к одной проблеме, могли весьма эмоционально относиться к другой. Когда связь между ними становится очевидной, общая забота сплавливает людей. Даже если по каждой из проблем в отдельности можно было договориться (это спорный вопрос), то взятые вместе, в комплексе, они почти исключали возможность согласия. Но они были именно комплексными, и так их воспринимали многие современники, поскольку эти проблемы отражали мнение определенных групп общества.

Давайте начнем наш анализ заново с учетом этой позиции. В силу прежде всего экономических и географических обстоятельств структура американского общества в течение XIX в. развивалась по разным направлениям. Аграрное общество, основанное на плантаторском рабовладении, возникло на Юге. Промышленный капитализм утвердился на Северо-Востоке и установил связи с обществом на Западе, основу которого составляли семейные фермерские хозяйства. Вместе с

р. 462–471], где приводится его общее объяснение; о широко распространенном стремлении к миру [Ibid., р. 63, 68]. Но у Невинса много фактического материала, весьма полезного для разрешения парадокса. Краткое выражение тезиса о том, что ответственность несут политики, дается в выдержке из текста Рандалла «Lincoln the Liberal Statesman», перепечатанной в: [Stampp, 1959, р. 83–87]. Р. Николз и А. Крейвен предлагают варианты третьего тезиса [Nichols, 1948; Craven, 1953]. Следует заметить, что ни один из авторов не представляет чистую версию или юридический аргумент для специфического объяснения. Это дело акцентов, но очень сильных.

Западом Север создал общество и культуру, ценности которых все больше конфликтовали с ценностями Юга. Центральное место среди множества разногласий занимало рабство. Поэтому мы можем согласиться с Алланом Невинсом, что вопросы морали сыграли решающую роль. Но эти вопросы не объяснимы без экономических структур, их создавших и поддерживавших. Только если бы аболиционистские настроения процветали на Юге, имелись бы основания для того, чтобы рассматривать нравственные чувства в качестве независимого и самодостаточного фактора.

Фундаментальным постепенно становился вопрос о том, должен ли механизм федерального правительства использоваться для поддержки одного или другого общества. Таковы были ставки в таком на первый взгляд незначительном деле, как проблема таможенного тарифа, именно это придавало страсти заявлениям южан, что они платят дань Северу. Именно вопрос о центральной власти определил решающее значение проблемы рабства. Политические лидеры знали, что прием в Союз рабовладельческого или свободного штата смещает баланс в ту или иную сторону. Трудности в достижении компромисса только увеличились по причине того, что ситуация была неопределенной из-за незаселенных или частично заселенных земель на Западе. Политическим лидерам каждой из сторон приходилось все больше следить за любыми шагами и мерами, которые могли увеличить преимущества другой стороны. В этом общем контексте тезис о попытке южан наложить вето на прогресс севера вполне логично называет важную причину войны.

Такая перспектива, я надеюсь, отдаст также должное ревизионистскому тезису о том, что это была война политиков, даже агитаторов, если воспринимать эти термины как всего лишь оскорбительные эпитеты. В сложном обществе с развитым разделением труда и особенно в парламентской демократии специальной и необходимой задачей политиков, журналистов и в несколько меньшей степени священнослужителей является живое и чуткое отношение к событиям, влияющим на распределение власти в обществе. Именно они приводят аргументы — как хорошие, так и плохие, как в пользу изменения структуры общества, так и в пользу сохранения всего в прежнем виде. Поскольку их работа состоит в том, чтобы откликаться на потенциальные изменения в то время, когда другие совершенно погружены в житейские заботы, для демократической системы типично, что политики поднимают шум и усиливают разобщенность. Роль современного демократического политика в особенности парадоксальна, по крайней мере на первый взгляд. Он делает свое дело, чтобы большинство людей не заботились о политике. По этой же причине он часто ощущает необходимость привлечь общественное внимание к угрозам, как к реальным, так и к мнимым.

С этой точки зрения неспособность современного общественного мнения предотвратить соскальзывание к войне становится объяснимой. Состоятельные люди на Севере и на Юге составляли ядро тех, кто придерживался умеренных взглядов. Именно они в обычных условиях были лидерами своего сообщества, — современный исследователь общественного мнения, вероятно, назвал бы их «*opinion makers*» — людьми, формирующими общественное мнение. Им был выгоден существующий порядок, а их главный интерес состоял в зарабатывании денег, поэтому они стремились скорее приглушить проблему рабства, чем стимулировать структурные изменения, что было в любом случае очень сложной задачей. Компромисс Клея-Вебстера (Clay-Webster Compromise) 1850 г. стал победой этой группы. В соответствии с ним на Севере вводились более строгие законы в отношении возвращения беглых рабов и предполагалось принятие в Союз нескольких новых штатов: Калифорнии в качестве свободного штата, а спустя некоторое время — Нью-Мексико и Юты как с рабовладением, так и без него, в зависимости от их конституций на момент вхождения в Союз¹⁶. Всякая попытка сделать проблему рабства публичной и искать новое решение заставляла большое число представителей этой группы как на Севере, так и на Юге отойти от умеренной позиции. Так и произошло после того, как сенатор Стивен А. Дуглас положил конец Компромиссу 1850 г. всего четыре года спустя после его достижения, снова поставив вопрос о рабстве на территории штатов. Предоставив в акте Канзас-Небраска поселенцам возможность самостоятельно решать вопрос о рабстве в ту или иную сторону, он повернул, по крайней мере на время, широкие слои северян от умеренной позиции к взглядам, близким к аболиционизму. На Юге его предложение нашло довольно вялую поддержку¹⁷.

¹⁶ О социальных группах, поддерживавших компромисс на Юге, см.: [Nevins, 1947, vol. 1, p. 315, 357, 366, 375]. На p. 357 Невинс замечает, что «самыми многочисленными были умеренные... которые верили как в права южан, так и в Союз, но надеялись, что их можно примирить». Другими словами, они хотели сразу всего. Про общую реакцию в том числе на Севере см.: [Ibid., p. 293–294, 346, 348]; больше подробностей о реакции бизнес-кругов северян см.: [Foner, 1941, ch. 2–4]. Волнения по поводу беглых рабов как на Севере, так и на Юге, похоже, были наиболее сильными там, где проблема меньше всего встречалась. Свидетельства в пользу этого тезиса см.: [Nevins, 1947, vol. 1, p. 384].

¹⁷ По поводу реакций на Севере и Юге на предложение Дугласа см.: [Nevins, 1947, vol. 2, p. 121, 126–127, 133–135, 152–154, 156–157]. Симпатизирующий рассказ о Дугласе см.: [Craven, 1957, p. 325–331, 392–393]. В связи с актом Канзас-Небраска Крейвен убедительно показывает, что бесчестные политики северян воспользовались рабством как фальшивым предлогом. По поводу дебатов Линкольна — Дугласа он пишет, что возвышенные мораль-

В общем и целом умеренные граждане обладают типичными достоинствами, которые, по мнению многих, необходимы для функционирования демократии: готовность к компромиссу и пониманию точки зрения оппонента, а также прагматическое мировосприятие. Они были противоположностью доктринеров. Все это на самом деле приводило к нежеланию смотреть в лицо фактам. Пытаясь по большей части отстраниться от проблемы рабства, умеренные были неспособны контролировать события, обусловленные сложившейся ситуацией¹⁸. Такие кризисы, как

ные двусмысленности Линкольна представили Дугласа человеком абсолютно безразличным к вопросам морали. Это описание совершенно противоположно тому, что есть у Невинса. Комментируя действия Дугласа при повторной постановке проблемы рабства после билля Канзас-Небраска, Невинс замечает: «Когда как океан под ударами стихии вздыбились волны негодования, он [Дуглас] был озадачен. Тот факт, что неодолимые приливные силы в истории являются моральными силами, всегда спасает человека от неясных моральных принципов» [Nevins, 1947, vol. 2, p. 108]. Это пышная риторика, а не историческое исследование. Успешным политическим лидерам приходится быть морально двусмысленными, когда они пытаются иметь дело с конфликтующими моральными силами. Последующие историки превращают политиков в нравственных героев. Обычно Невинс не опускается до подобного нонсенса.

¹⁸ Зимой 1858–1859 гг. были планы создать на Юге новую политическую силу, характеризующую Невинсом как «консервативная, национальная, юнионистская партия, которая должна была обойти стороной вопрос о рабовладении, раскритиковать всех сторонников сецессии, продвигать широкую программу внутренней модернизации и с конструктивных позиций победить демократов» [Nevins, 1950, vol. 2, p. 59]. Партия рассчитывала на голоса состоятельных людей, политических лидеров, журналистов, она пыталась завоевать симпатии небольших фермеров, а не крупных рабовладельцев, но не добилась никакого успеха. Во время последней фазы, когда сецессионисты контролировали ход событий, их главной оппозицией стали те, у кого были прямые торговые связи с Севером, т.е. торговцы и профессионалы в южных портах, а также мелкие фермеры (см.: [Ibid., p. 322, 323, 324, 326]). Нью-йоркские бизнес-круги постоянно меняли свою позицию. После яростной защиты Компромисса 1850 г. они стали практически аболиционистами, когда с подачи Дугласа был принят акт Канзас-Небраска, а вскоре вновь переменили свою позицию. Как замечает Фонер, «после 1850 г. абсолютное большинство нью-йоркских торговцев пребывало в уверенности, что локальные очаги конфликтов успокоятся, если только “политики и фанатики” перестанут заниматься спорными инцидентами» [Foner, 1941, p. 138]. Желание уклониться от проблем было единственной неизменной темой в их взгляде на мир. Беспокойство плохо сказывается на бизнесе. «Геральд» предсказывал 10 октября 1857 г.: «Проблема рабовладения должна уступить место таким более важным темам, как стабильность валюты, надежный кредит, а также постоянная и прочная гарантия безопасности, на которую могут положиться все разнообразные бизнес- и коммерческие круги в стране» [Ibid., p. 140–141]. С этой позицией могли

сражения за «обескровленный Канзас», финансовая паника 1857 г., мелодраматическая попытка Джона Брауна встать во главе восстания рабов, и многие другие события ослабили позиции умеренных групп, все больше терявших организацию и приходивших в смятение. Практицизм, пытающийся решить проблемы, спуская дело на тормозах — позиция, которую часто в самоупоении считают воплощением англосаксонской умеренности, — показал свою полную неадекватность. Определенная позиция и рациональный подход, лишённые реалистичного анализа и программы действий, недостаточны для функционирования демократии, даже если большинство людей разделяют эту точку зрения. Сам по себе консенсус ничего не значит, все зависит от того, что стоит за этим консенсусом.

Наконец, если пытаться рассматривать американское общество в целом, чтобы понять причины и значение войны, полезно помнить, что поиск источников разногласий неизбежно затемняет суть проблемы. В любом политическом единстве, существующем длительное время, должны быть силы, создающие это единство. Должны существовать причины, по которым люди стараются приспособиться друг к другу, несмотря на неминуемые различия между собой. Сложно найти случай в истории, когда в двух регионах сложились бы экономические системы, основанные на диаметрально противоположных принципах, и тем не менее эти регионы сохранили центральное правительство, обладавшее реальной властью в каждом из них. Лично мне неизвестны такие примеры¹⁹. В подобной ситуации необходимы жесткие связующие силы, чтобы противодействовать центробежным тенденциям. В середине XIX в. в Соединенных Штатах такие связующие силы оказались слабыми, но, возможно, их недооценка связана с тем, что война все же началась.

Торговля — это очевидный фактор, помогающий налаживать связи между различными регионами страны. То, что хлопок с Юга поставляли прежде всего в Англию, наверняка было важным обстоятельством. Ведь из-за этого связь с Севером оставалась слабой. О симпатиях Англии к южанам во время Гражданской войны хорошо известно. Но было бы неверно придавать слишком большое значение выбору торговых связей как проявлению разобщенности. Как указано выше, фабрики на Севере постепенно начали использовать больше хлопка. Когда на западных рынках произошел коллапс после краха 1857 г., нью-йоркские торговцы

согласиться умеренные слои Севера и Юга. Со временем она превратилась в позицию, которая позволила завершить Гражданскую войну и покончить с ее последствиями.

¹⁹ Британское Содружество наиболее очевидный кандидат. Его распад на независимые образования за последние полвека подкрепляет приведенное выше обобщение.

временно оказались в сильной зависимости от своих торговых связей с Югом [Foner, 1941, p. 143]. Одним словом, торговая ситуация изменялась, и если бы войны удалось избежать, то историки, ищущие экономические причины, не испытывали бы трудностей с тем, чтобы найти этому объяснение.

Хотя тот факт, что хлопок по-прежнему связывал Юг больше с Англией, нежели с Севером, был важен, два других аспекта имели большее значение. Один из них уже упоминался: отсутствие сколько-нибудь сильной и радикальной угрозы со стороны рабочего класса для промышленного капитала на Севере. Второе — то, что Соединенные Штаты не имели сильных внешних врагов. В этом отношении ситуация была прямо противоположной тому, с чем столкнулись Германия и Япония, пережившие свои версии кризиса политической модернизации несколько позже — в 1871 и в 1868 гг. соответственно. Вследствие этого сочетания факторов не возникло значительного движения в поддержку типичного консервативного компромисса аграрной и промышленной элит. Уже ничто не могло заставить владельцев фабрик на Севере и владельцев рабов на Юге сплотиться под флагом защиты неприкосновенности собственности.

Если попытаться, несмотря на недоговоренность, подвести итог, главные причины войны нужно искать в развитии двух экономических систем, что привело к возникновению двух различных (хотя и капиталистических) цивилизаций с несовместимыми позициями в отношении рабства. Связи между северным капитализмом и западным фермерством помогли создать временную и неустойчивую, типично реакционную коалицию городской и сельской элит, а вместе с тем и компромисс, который мог бы предотвратить войну (он же в итоге ее завершил). Еще два фактора чрезвычайно осложнили достижение компромисса. Будущее Запада казалось неопределенным, и следовательно неопределенным становилось и распределение центральной власти, что привело к обостренному восприятию любых поводов для недоверия и раздора. Кроме того, как было отмечено, основные связующие факторы американского общества, несмотря на свое усиление, были еще очень слабы.

4. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ИМПУЛЬС И ЕГО УГАСАНИЕ

Нет необходимости подробно рассказывать о самой Гражданской войне, тем более что самое важное политическое событие, «Прокламация об освобождении рабов», уже упоминалось. Война отразила тот факт, что господствующие классы американского общества четко разделились на две части — намного более четко, чем правящий слой в Англии времен Пуританской революции или во Франции эпохи Французской револю-

ции. В ходе этих двух великих потрясений раздоры внутри правящих классов позволили проявиться тенденциям, возникшим в низших слоях, что было намного сильнее выражено во Франции, нежели в Англии. Во время Гражданской войны в Америке не произошло сравнимого с этим радикального выступления социальных низов.

Легко увидеть причины этого, по крайней мере в общих чертах: американские города не были переполнены угнетенными ремесленниками и потенциальными санкюлотами. Хотя и косвенным образом, существование западных земель уменьшило взрывной потенциал. Кроме того, не было необходимой основы для крестьянского восстания. Место крестьян на социальном дне Юга занимали в основном чернокожие рабы. Они либо не могли, либо не желали бунтовать. Для достижения наших целей точная причина не имеет значения. Хотя отдельные мятежи рабов случались, они не приводили к политическим последствиям. С этой стороны не могло возникнуть революционного движения²⁰.

На пути революционного движения, т.е. попытки силового изменения установленного общественного порядка, встал северный капитализм. В группе, известной как радикальные республиканцы, идеалы аболиционизма, соединившись с интересами производителей, привели к краткой революционной вспышке, с шипением угасшей в трясине коррупции. Хотя радикалы были помехой для Линкольна во время войны, он смог одержать победу в значительной степени из-за сохранения Союза, т.е. без серьезной атаки на права собственности южан. За короткое время, около трех лет после окончания сражений, в 1865–1868 гг., когда радикальные республиканцы были у власти на Севере, в стане победителей, они начали наступление на плантаторскую систему и остатки рабовладения.

Вожди этой группы воспринимали войну как революционную борьбу между прогрессивным капитализмом и реакционным аграрным обществом, основанным на рабском труде. Даже если конфликт между Севером и Югом действительно был такого рода, это противоборство, наиболее важные сражения которого произошли после прекращения реальных боев, было обязано своим возникновением радикальным республиканцам. Сто лет спустя они кажутся последней революционной искрой чисто буржуазного и чисто капиталистического подъема, последними продолжателями дела средневековых горожан, выступивших против своих феодальных сюзеренов. После Гражданской войны революционные движения были либо антикапиталистическими, либо

²⁰ Хорошо известный марксистский ученый Аптекер собрал эти случаи в своей книге: [Aptheke, 1943, ch. 15].

фашистскими и контрреволюционными, даже если они происходили в поддержку капитализма.

От идеологов аболиционизма и радикалов «Свободной земли» небольшая группа республиканских политиков переняла взгляд на рабство как на анахронический «остаток умирающего мира “баронов и крепостных — знати и рабов”». В Гражданской войне они видели возможность разрушить этот деспотический анахронизм, чтобы перестроить Юг по образу демократического и прогрессивного Севера, в основании которого были «свобода слова, свободный труд, школы и урны для голосования». Тадеуш Стивенс, лидер республиканцев в Палате представителей, на публике смягчавший свою позицию, в частном письме коллеге-юристу указывал, что страна нуждается в человеке власти (т.е. не в Линкольне), который «обладает достаточной цепкостью ума и достаточной нравственной силой, чтобы трактовать эти события как радикальную революцию и перестроить наши институты... Эти меры включали бы разорение и эмансипацию Юга, а также повторное заселение половины континента...» Импульс этому движению, переставшему быть просто шумной болтовней, придавал тот факт, что его интересы совпадали с интересами главных деловых кругов северного общества²¹. Одним из них была зарождавшаяся металлургическая промышленность Пенсильвании. Другой касался железных дорог. Стивенс действовал в Конгрессе как посредник между этими деловыми кругами, от каждого из которых он получал денежную компенсацию в согласии с господствовавшими политическими нравами [Current, 1942, p. 226–227, 312, 315–316]. Радикальные республиканцы также получали существенную поддержку со стороны рабочего класса на Севере. Даже если рабочие-северяне относились весьма прохладно к аболиционистской пропаганде, поскольку опасались конкуренции со стороны чернокожих и рассматривали аболиционистов Новой Англии как лицемерных представителей фабрикантов, они с большим энтузиазмом воспринимали идеи радикалов о защите тарифа и осторожном подходе к снижению завышенного курса северной валюты (см.: [Rayback, 1943, p. 152–163]). Финансовые и торговые круги, в свою очередь, относились к радикалам без энтузиазма. После войны принципиальные радикалы выступили против «северной плутократии» [Sharkey, 1959, p. 281–282, 287–289].

Таким образом, наступление радикалов не свидетельствует о сплоченной капиталистической атаке на плантаторскую систему. В момент его наивысшей энергии за ним стояла коалиция рабочих, промышленников и некоторых предпринимателей, связанных с железной дорогой. Тем не

²¹ См. превосходное исследование М. Шортрида: [Shortreed, 1959, p. 65–67, 68–69, 77], откуда заимствованы процитированные замечания.

менее не было бы ошибкой назвать это предпринимательским и даже прогрессивным капитализмом; он привлекал к себе основные созидательные (и городские) силы, которые позже нравились Веблену в американском обществе, и отталкивал те силы, которые ему не нравились: снобов-финансистов, делавших деньги на продаже, а не производстве. В Тадеуше Стивенсе и его соратниках эта коалиция нашла умелое политическое руководство и достаточно умеренный интеллектуальный талант для выработки общей стратегии. У радикалов было объяснение того, куда движется общество и как они могут воспользоваться этими обстоятельствами. Для них Гражданская война была, во всяком случае, потенциально, революцией. Военные победы и убийство Линкольна, которое они встретили с плохо скрываемой радостью, предоставили им кратковременную возможность для реальной попытки достичь своих целей.

Тадеуш Стивенс вновь обеспечил анализ ситуации и повседневное политическое руководство. По сути, его стратегия сводилась к тому, чтобы позаимствовать механизм федерального правительства в пользу тех групп, которые он представлял. Для этого необходимо было изменить южное общество, чтобы в Конгресс не вернулись лидеры плантаторов старой формации и не сорвали его планы. Из этой необходимости проистекает, какое значение имел небольшой революционный импульс для всей борьбы. Стивенс обладал достаточной социологической проницательностью, чтобы понять проблему и обдумать возможное решение, а также достаточной смелостью, чтобы попытаться осуществить его.

В своих выступлениях 1865 г. Стивенс представил широкой публике и Конгрессу на удивление последовательный анализ ситуации и программу действий. Юг следовало рассматривать как покоренный народ, а не ряд штатов, почему-то вышедших из Союза, которые теперь нужно было принять обратно. «Основание их институций политических, муниципальных и социальных нужно сломать и заложить заново, иначе наша кровь проливалась зря, а средства были потрачены впустую. Этого можно достичь, только если мы будем обращаться и считаться с ними как с покоренным народом»²². Он настаивал на том, чтобы не позволять им возвращаться, «пока Конституция не изменена, согласно намерениям ее составителей; обеспечив постоянное преимущество партии Союза», т.е. республиканцев [Stevens, 1865, p. 5].

По тщательным и открытым расчетам Стивенса, пока южные штаты не «перестроены» — красноречивый эвфемизм для обозначения революции сверху, проникший из тогдашнего словоупотребления во все по-

²² Речь от 6 сентября 1865 г. в Ланкастере, Пенсильвания, цит. по: [Current, 1942, p. 215].

следующие историописания, — они могут с легкостью одолеть Север и таким образом выиграть после поражения в войне [Stevens, 1865, p. 5].

Из этих соображений возникла программа перестройки южного общества сверху донизу. Стивенс хотел разрушить власть плантаторов, конфисковав поместья площадью свыше двухсот акров, «даже если это принудит элиту (южан) эмигрировать». Таким образом, доказывал он, опираясь на данные статистики, федеральное правительство получит достаточно земли для того, чтобы выдать каждому негритянскому домохозяйству до сорока акров (цит. по: [Current, 1942, p. 215]). Выражение «сорок акров и мул» стало в то время запоминающимся лозунгом для дискредитации предположительно утопических надежд недавно освобожденных рабов. Но радикальные республиканцы не были утопистами, даже Стивенс им не был. Требование быстрой земельной реформы отражало реалистичное понимание, что никакое другое решение не уничтожит власть плантаторов. Они уже приготовились восстановить основания своей прежней власти другими средствами — они могли достичь в этом успеха, поскольку рабы были экономически беспомощными. Все это отчетливо видели отдельные радикалы. Некоторые признаки указывали на то, что разделение старых плантаций ради обеспечения чернокожих небольшими фермами было осуществимо. В 1864–1865 гг. военная администрация северян провела два эксперимента в соответствии с этими принципами, чтобы разрешить трудную ситуацию с тысячами нуждающихся чернокожих. Она передала конфискованные и заброшенные земли более чем 40 тыс. чернокожих, которые, как считалось, успешно работали на земле в качестве мелких фермеров, пока президент Джонсон не возвратил поместья их бывшим белым владельцам [Stamp, 1965, p. 123, 125–126]. И все же опыт рабской жизни вряд ли подготовил афроамериканцев к тому, чтобы управлять своими делами на манер небольших сельских капиталистов. Стивенс знал об этом и чувствовал, что чернокожим понадобится долговременная опека со стороны его друзей в Конгрессе. В то же время он понимал, что без минимальной экономической защищенности и минимальных политических прав, включая избирательное право, они мало что могли сделать для себя и в интересах Севера²³.

В результате радикальная версия реконструкции свелась к использованию военной силы Севера для уничтожения плантаторской аристократии и создания копии капиталистической демократии через обеспечение собственности и избирательного права для чернокожих. В свете тех порядков, которые царили на Юге в то время, это действительно была

²³ «Без избирательного права в последних рабовладельческих штатах (я не говорю о свободных штатах) рабов было бы лучше оставить в оковах» [Stevens, 1865, p. 6, 8].

революция. Это максимум того, чего добивается спустя 100 лет движение за гражданские права чернокожих, и даже больше, поскольку экономические требования остаются невысказанными. Если обогнать свое время означает быть революционером, то Стивенс им был. Даже поддерживавшие его северяне испытали шок. Хорас Грили, редактор «New York Tribune», долгое время симпатизировавший аболиционистам, в ответ на речь Стивенса 6 сентября 1865 г. заявил, что «...мы протестуем против всякого покушения на собственность южан... потому что обеспеченный класс южан, скорее просвещенный и гуманный, чем невежественный и вульгарный, менее враждебен к чернокожим» (цит. по: [Current, 1942, p. 216–217])²⁴. Опасения Грили давали понять, что случится, когда состоятельные люди Севера и Юга устроят свои разногласия и в результате еще одного знаменитого компромисса предоставят чернокожим самим разбираться со своей свободой.

Поэтому неудивительно, что радикалы быстро потерпели поражение, или, точнее говоря, все радикальное было устранено из их программы, как только она стала противоречить интересам собственников-северян. Радикалы не смогли превратить конфискации в акты реконструкции 1867 г. против воли более умеренных республиканцев. В Палате представителей «сорок акров» Стивенса получили только 37 голосов [Ibid., p. 233]. У влиятельных людей на Севере не было желания попустительствовать откровенной атаке на права собственности, пусть даже собственности мятежников и даже во имя капиталистической демократии. Газета «Nation» предупреждала, что «раздел земель богатых собственников между безземельными бедняками... произведет потрясение во всей нашей социальной и политической системе, от которого вряд ли можно будет оправиться без потери свободы». Неудача земельной реформы стала решающим поражением и уничтожила ядро радикальной программы. Без земельной реформы остальная программа была всего лишь паллиативом или досадной помехой, в зависимости от точки зрения. Однако сказать, что эта неудача расчистила путь для последующего господства белых землевладельцев с Юга и интересов других собственников, было бы все же преувеличением²⁵. Радикалам так никогда и не удалось в действительности преградить им путь. Неудача радикалов в

²⁴ Грили также критиковал Стивенса за отсутствие пункта об избирательном праве в этой речи, что было исправлено в последующей во многом в ответ на давление со стороны сенатора Чарлза Самнера из Массачусетса. Я не пытался представить различия во мнениях среди радикалов, но сосредоточился на Стивенсе как наиболее революционной фигуре и наиболее влиятельном стратеге движения в момент его успеха.

²⁵ См. превосходный обзор: [Stampp, 1965, p. 128–130]; цитата из «Nation» на p. 130.

этот момент обозначила те пределы, которые американское общество установило революционному импульсу.

В отсутствие конфискации и перераспределения земли плантаторская система восстановила себя за счет новой системы труда. Поначалу были попытки ввести наемный труд. Эти попытки провалились, поскольку чернокожие работники предпочитали получать заработную плату в сезон затишья и сбегать в сезон сбора хлопка. Поэтому повсеместно произошел поворот к землепользованию, что позволяло плантаторам контролировать рабочую силу. Это изменение было важным. Как мы увидим позже, землепользование во многих частях Азии стало основанием для получения дополнительных доходов с крестьянина с помощью экономических, а не политических методов, хотя последние нередко необходимы для усиления первых. Поэтому поучительно отметить возникновение фундаментально сходных форм в Америке, где прежде не было крестьянства. Местной особенностью в американской ситуации стал сельский торговец, хотя подобные механизмы появлялись в Китае и в других местах. Сельским торговцем часто был крупный плантатор. Давая в долг продукты арендаторам и исполщикам, взимая с них за это плату, намного превышавшую обычные розничные цены, он держал под контролем рабочую силу. Арендаторы и исполщики не могли покупать товары в другом магазине, поскольку у них больше нигде не было кредита и, как правило, не хватало наличных денег (см.: [Shannon, 1957, p. 53]). Экономическая зависимость, таким образом, заменила для многих чернокожих рабскую. Трудно сказать, насколько в реальности улучшилось, если вообще улучшилось, их положение. Но было бы ошибкой считать, что владельцы плантаций при новой системе значительно процветали. Главным итогом, по-видимому, стало еще большее превращение Юга в монокультурную экономику, поскольку банкиры давили на плантаторов, а плантаторы давили на арендаторов, чтобы те поскорее собирали урожай, который можно быстро обратить в деньги [Randall, Donald, 1961, p. 549–551].

Политическое возрождение происходило одновременно с экономическим; между ними не было простого отношения причины и следствия, они скорее взаимно усиливали друг друга. Нет необходимости перечислять здесь политические уловки наследников довоенных правящих групп Юга в их поиске политического влияния, хотя стоит заметить, что к числу «скэлавагов» — белых коллаборационистов, как их называли бы сегодня, — относились многие плантаторы, торговцы и даже ведущие промышленники [Ibid., p. 627–629]. Широкое применение насилия, пусть и не одобряемое лучшими представителями общества, хотя в этом можно сомневаться, помогло поставить чернокожих «на свое место» и восстановить полное господство белых [Ibid., p. 680–685]. Тем временем

промышленники и железнодорожники приобретали все большую силу в делах Юга²⁶. Одним словом, состоятельные люди умеренных взглядов возвращались к власти, к управлению и влиянию на Юге, как и на Севере. Сцена была подготовлена для альянса этих сил поверх прежних фронтовых линий. Он окончательно оформился в 1876 г., когда были урегулированы спорные выборы Хейса — Тилдена, в результате чего республиканец Хейс получил офис в обмен на ликвидацию последних следов оккупационного режима северян. Под натиском радикальных землевладельцев на Западе и радикальных пролетариев на Востоке северная партия богачей, собственников и привилегий была готова отказаться от последней претензии на защиту прав неимущих и угнетенных чернокожих представителей рабочего класса [Woodward, 1956, p. 36–37]. Когда южные «юнкеры» перестали быть рабовладельцами и стали лучше понимать городской бизнес и когда северные капиталисты столкнулись с радикальным протестом, стала возможна классическая консервативная коалиция. Так пришел термидор, положивший конец «второй американской революции».

5. ЗНАЧЕНИЕ ВОЙНЫ

Была ли это революция? Точно не в смысле народного восстания против угнетателей. Оценить значение Гражданской войны, поместить ее на должное место в истории, которая все еще продолжается, не менее сложно, чем объяснить ее причины и ход. Один из смыслов революции — в насильственном уничтожении политических институций, что позволяет обществу двинуться новым курсом. После Гражданской войны промышленный капитализм развивался стремительными темпами. Очевидно, именно это имел в виду Чарлз Берд, автор знаменитой фразы про «вторую американскую революцию». Но был ли взрывной рост промышленного капитализма следствием Гражданской войны? И что сказать о вкладе в человеческую свободу, который все, за исключением разве что самых рьяных консерваторов, ассоциируют со словом «революция»? История четырнадцатой поправки к Конституции, запрещающей штатам лишать кого-либо жизни, свободы или собственности, лучше всего характеризует неопределенность в этом отношении. Как знает каждый образованный человек, четырнадцатая поправка оказала небольшую помощь в защите чернокожего населения, зато огромную — в защите корпораций. Некоторые отвергают тезис Берда о том, что такой и была исходная цель авторов поправки [Randall, Donald, 1961, p. 583, 783–784].

²⁶ См.: [Woodward, 1956, p. 42–43]. В ch. 2 дается первоклассный анализ всего процесса умеренного восстановления.

Само по себе это тривиально. Относительно последствий нет никаких сомнений. В конечном счете, то, как оценивают Гражданскую войну, зависит от оценки уровня свободы в современном американском обществе и связи между институтами развитого промышленного капитализма и Гражданской войной. Для обсуждения этих вопросов понадобилась бы отдельная книга. Я попытаюсь всего лишь привести несколько наиболее важных соображений.

Некоторые весьма важные политические изменения действительно последовали за победой северян. Их можно суммировать замечанием, что федеральное правительство превратилось в бастион для защиты собственности, в особенности крупной, и в агентство для исполнения библейского стиха: «кто имеет, тому дано будет и преумножится» (Мф. 13:12). Первым оборонительным валом стало само сохранение Союза, которое означало, по мере заселения Запада после войны, возникновение одного из крупнейших внутренних рынков в мире. Это был также рынок, защищенный самым высоким на тот момент тарифом в национальной истории²⁷. С помощью четырнадцатой поправки собственность защищалась от недобросовестной администрации штата. Также валютный курс получил солидное основание благодаря национальной банковской системе и возобновлению платежей металлическими деньгами. Есть сомнения в том, что подобные меры повредили западным фермерам, как некогда считалось; кое-что указывает на то, что они неплохо вели дела как во время войны, так и после нее [Sharkey, 1959, p. 284–285, 303]. В любом случае они получили некоторую компенсацию в виде права собственности на участки государственной земли на Западе (Гомстед-акт, 1882 г.), хотя именно в связи с этим федеральное правительство стало агентством по исполнению процитированного выше библейского стиха. Железные дороги получали существенные субсидии, а распоряжение государственной собственностью сформировало базис для возникновения огромных состояний в лесной и горной промышленности. Наконец, в качестве компенсации для промышленности, которая могла потерять рабочие ресурсы, федеральное правительство продолжало держать открытой дверь для иммиграции (Иммиграционные акты 1864 г.). Как выразился Берд: «Все, чего пытались добиться два поколения федералистов

²⁷ Тариф Морилла 1861 г. стал началом резкого роста тарифов. Средняя ставка поднялась с 20 до 47%, более чем удвоившись по сравнению с уровнем 1860 г. Первоначально он был предназначен для увеличения доходов в пользу союзного военного казначейства, но его итогом стал протекционизм, глубоко проникший в американскую экономическую политику. Постановления 1883, 1890, 1894 и 1897 гг. еще больше усилили защиту внутреннего рынка. См.: [Davis et al., 1961, p. 322–323].

и вигов, и даже более того, было завоевано за четыре коротких года»²⁸. «Четыре коротких года» — это риторическое преувеличение; некоторые из этих мер были частью Реконструкции (1865–1876), а возобновление оборота металлических денег произошло не раньше 1879 г. Но это ничего не значит, поскольку Реконструкция определенно была частью общей стратегии. Если оглянуться назад и сравнить произошедшее с плантаторской программой 1860 г. (превращение рабовладельческих отношений в федеральный закон, отсутствие высоких протекционистских тарифов, отсутствие субсидий или дорогостоящих внутренних реформ, создающих налоги, а также национальной банковской и валютной системы) [Beard, Beard, 1940, vol. 2, p. 29], то аргумент, говорящий о победе промышленного капитализма над плантаторской экономикой, о победе, завоеванной лишь огнем и мечом, звучит весьма убедительно.

После некоторого размышления большая часть этой убежденности рассеивается. Стоит заметить, что собственная позиция Берда весьма уклончива. После описания перечисленных выше успехов северного капитализма он замечает: «Главные экономические результаты, которые были указаны, могли быть достигнуты и без вооруженного конфликта...» [Ibid., p. 115]. Но взгляды Берда интересуют нас лишь постольку, поскольку провокационные сочинения этого первоклассного историка проливают свет на проблемы. Три связанных между собой аргумента можно привести в качестве возражения против тезиса о том, что Гражданская война стала революционным успехом для индустриальной капиталистической демократии, сыграв в нем ключевую роль. Во-первых, нет реальной связи между Гражданской войной и последующей победой промышленного капитализма; доказывать эту связь — значит совершать логическую ошибку по принципу *post hoc, ergo propter hoc*. Во-вторых, эти изменения происходили сами собой в процессе обычного экономического роста и не нуждались в Гражданской войне для своего осуществления (см.: [Cochran, 1967, p. 148–160])²⁹. Наконец, на основании свидетельств, ранее подробно рассмотренных в этом разделе, можно утверждать, что экономики Севера и Юга состояли в серьезном соперничестве между собой: в лучшем случае они дополняли друг дру-

²⁸ [Beard, Beard, 1940, vol. 2, p. 105]; см. p. 105–115 с обзором перечисленных здесь мер, а также [Hacker, 1940, p. 385–397], где дается сходный и даже местами еще более лаконичный анализ.

²⁹ Данный источник кажется мне версией этого и предшествующего аргумента. Я не нахожу его убедительным, поскольку он просто показывает на основании статистических данных, что Гражданская война на время прервала промышленный рост. Проблема институциональных изменений, которая, по моему мнению, занимает центральное место, затронута кратко и поверхностно.

га, в худшем — не смогли скоординироваться между собой в силу случайных обстоятельств, например из-за того, что Юг продавал большую часть своего хлопка в Англию.

Все эти аргументы получили бы достойный ответ, только если было бы возможно продемонстрировать, что южное общество, в котором господствовали плантаторы, создавало сильную помеху для установления индустриальной капиталистической демократии. Факты весьма кстати свидетельствуют, что плантаторская система была помехой для демократии, по крайней мере для любой концепции демократии, которая признает своей целью равенство между людьми, а также минимальную форму равенства возможностей и человеческую свободу. Но они никак не доказывают, что плантаторское рабовладение было помехой для промышленного капитализма как такового. Сравнительный анализ говорит, что промышленный капитализм может устанавливаться в обществах, которые не провозглашают демократических идеалов, или, скажем более осторожно, там, где эти идеалы играют не более чем второстепенную роль. История Германии и Японии до 1945 г. служит яркой иллюстрацией к этому тезису.

Исследование вновь возвращается к политическим проблемам и несовместимостям между двумя разными типами цивилизаций: на Юге, на Севере и Западе. Аграрные системы, в основе которых лежит принудительный труд, и в особенности рабский труд на плантациях, являются политическими помехами для капитализма *конкретного типа* на определенном историческом этапе: за неимением более точного термина мы назовем его конкурентным демократическим капитализмом. Рабство было угрозой и препятствием для общества, по сути продолжавшего дело Пуританской, американской и французской революций. Южное общество было жестко основано на передаваемом по наследству статусе, служившем мерилom достоинства человека. Север вместе с Западом, хотя и находился в процессе изменений, был по-прежнему верен принципу равных возможностей. И там, и там общественные идеалы были отражением экономических порядков, весьма усиливших их притягательность и влияние. Внутри единого политического образования, я полагаю, было невозможно установить политические и социальные институты, которые могли бы сочетать идеалы обоих типов. Если бы географическое разделение было больше, например если бы Юг был колонией, то, по всей вероятности, проблема разрешилась бы в то время намного проще — за счет чернокожего населения.

То, что победа северян, несмотря на все свои двусмысленные последствия, в сравнении с возможной победой южан была политическим успехом свободы, вряд ли требует развернутой дискуссии. Стоит лишь подумать о том, что бы случилось, если бы плантаторская система южан смогла распространиться на Запад к середине XIX в. и окружила

III. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В АМЕРИКЕ

Северо-Восток с двух сторон. Сегодня Соединенные Штаты оказались бы в положении модернизируемой страны с лагифундистской экономикой, во главе с антидемократической аристократией, со слабым и зависимым торгово-промышленным классом, неспособной и не желающей двигаться вперед по направлению к политической демократии. В грубом приближении такова была ситуация в России во второй половине XIX в., хотя и с меньшим коммерческим уклоном в сельском хозяйстве. Радикальный взрыв или продолжительный период полуреакционной диктатуры был бы намного более вероятен, чем прочно укорененная политическая демократия со всеми ее недостатками и пороками.

Уничтожение рабства стало решающим шагом, по крайней мере не менее важным, чем уничтожение абсолютной монархии в английской гражданской войне и во Французской революции, — это необходимое условие для последующих достижений. Как и в этих насильственных восстаниях, главные достижения в нашей Гражданской войне были политическими в широком смысле слова. Последующим поколениям американцев пришлось наполнить политические рамки экономическим содержанием, чтобы поднять уровень жизни людей до известного представления о человеческом достоинстве, дав им в руки материальные средства для определения своей судьбы. Более поздние революции в России и Китае имели те же намерения, даже если средства, с помощью которых они осуществились, по большей части поглотили и исказили цели. Я полагаю, что для правильной оценки американскую Гражданскую войну следует рассматривать именно в этом контексте.

То, что федеральное правительство не занималось обслуживанием механизма рабовладения, играло немалую роль. Легко вообразить трудности, с которыми столкнулась бы организованная рабочая сила, например, в своей попытке достичь юридического и политического признания в последующие годы, если это препятствие не было бы устранено. В той мере, в которой последующие движения за расширение границ и значений свободы встречали помехи после окончания Гражданской войны, это происходило по большей части из-за незавершенного характера победы 1865 г. и последующих сдвигов в сторону консервативной коалиции, объединяющей интересы собственников на Севере и Юге. Эта незавершенность была встроена в структуру промышленного капитализма. В существенных чертах прежняя система угнетения вернулась на Юг в новом, чисто экономическом обличье, но в то же время там, как и в остальных частях Соединенных Штатов, возникали новые формы по мере развития и распространения промышленного капитализма. Хотя федеральное правительство больше не занималось поиском и возвращением беглых рабов, оно либо молча допускало новые формы принуждения, либо служило инструментом их реализации.

По отношению к чернокожему населению федеральное правительство лишь совсем недавно начало двигаться в противоположном направлении. В то время как пишутся эти строки, Соединенные Штаты находятся в центре ожесточенной борьбы за гражданские права афроамериканцев, — эта борьба, вероятно, продолжится в ближайшие годы с переменной силой. За этой борьбой стоит нечто большее, чем судьба чернокожего населения. Вследствие особенностей американской истории основную массу беднейшего класса американцев составляют люди с темным цветом кожи. Будучи главным сегментом американского общества, который испытывает недовольство своим положением, афроамериканцы в настоящий момент — почти единственное потенциальное консолидирующее основание для усилий по изменению характера самой могущественной капиталистической демократии в мире. Реализует ли себя этот потенциал, или он рассыплется и исчезнет, или объединится с другими выражениями недовольства для достижения значительных результатов — это совсем иная история.

По сути, борьба чернокожих и их белых союзников связана со способностью современной капиталистической демократии оправдывать свое высшее призвание, т.е. сделать то, чего пока не добилось ни одно общество. Здесь мы подходим к финальной двусмысленности в оценке и интерпретации Гражданской войны. Она вновь и вновь повторяется в истории. Тот факт, что два знаменитых лидера свободных обществ, разделенные между собой двумя тысячами лет, выбрали для выражения своих идеалов речь, посвященную памяти павших воинов, не может быть простым совпадением. Для критически мыслящего историка и Перикл, и Линкольн становятся двусмысленными фигурами, если сравнить то, что они совершили, с тем, что они говорили и чего они, по всей видимости, желали. Борьба за идеалы, выраженные в этих речах, еще не окончена и не будет завершена, пока человечество населяет Землю. По мере все более глубокого проникновения в двусмысленности истории пытливый ум обнаруживает их в конечном счете в самом себе, в своих согражданах и даже в бесстрастных фактах истории. Мы неизбежно попадаем в круговорот этих событий и вносим свой личный вклад, пусть самый малый и незначительный, в то, что прошлое будет значить для будущего.

ТРИ ДОРОГИ АЗИИ В СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

ЗАМЕЧАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ СРАВНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЕВРОПЕ И АЗИИ

Еще не так давно многие интеллектуалы полагали, что существует лишь одна столбовая дорога в современный мир индустриального общества: путь, проходящий через капитализм и политическую демократию. Опыт последних 50 лет разрушил это убеждение, хотя явные признаки одноколейной теории сохраняются до сих пор не только у марксистов, но и в некоторых западных исследованиях по экономическому развитию. Западная демократия — это всего один из возможных результатов, который возникает из специфических исторических обстоятельств. Революции и гражданские войны, рассматривавшиеся в трех предшествующих главах, были важной частью процесса, ведущего к установлению либеральной демократии. Как мы видели выше, внутри одной и той же генеральной линии развития в сторону капиталистических демократий Англии, Франции и Соединенных Штатов были сильные расхождения. Однако есть различия, намного превосходящие те, что характерны для семьи демократических стран. Другой тип развития, закончившийся фашизмом, показывает немецкая история, третий — русская. Шанс на итоговую конвергенцию всех трех форм нельзя с ходу отбрасывать; конечно, в определенных отношениях все индустриальные общества схожи между собой и отличны от аграрных. Тем не менее если брать за точку отсчета 70-е годы XX в. (разумеется, любые точки отсчета в истории произвольны), становится очевидным, что недемократическая и даже антидемократическая модернизация тоже функционирует.

По причинам, которые разъясняются в последующих главах, в отношении форм модернизации, приведших к фашизму, а не коммунизму, это утверждение, возможно, не так уж справедливо. Последнее требует доказательств, но сейчас это не имеет значения. Вне всякого сомнения, и Германия, и Россия стали могущественными индустриальными державами. Под руководством Пруссии Германия смогла осуществить в XIX в. промышленную революцию сверху. Движение в сторону буржуазной революции — а то, что было революционным, не было буржуазным — застопорилось в 1848 г. Даже военное поражение 1918 г. сохранило в неизменном виде существенные черты доиндустриальной социальной системы. Итоговым, хотя и не единственно возможным, результатом стал фашизм. В России движение в сторону модернизации до 1914 г. продвигалось еще менее успешно. Как известно, революция, главной раз-

рушительной силой в которой было крестьянство, уничтожила старый правящий класс, который вплоть до 1917 г. был в основном аграрным, что открыло путь для коммунистической версии индустриальной революции сверху.

Все эти известные факты свидетельствуют, что такие термины, как «демократия», «фашизм» или «коммунизм» (а также «диктатура», «тоталитаризм», «феодализм», «бюрократия»), возникают в контексте европейской истории. Можно ли применять их к политическим институтам Азии без радикального искажения? Здесь не требуется обосновывать свою позицию по общему вопросу о том, возможно ли транслировать исторические понятия из одного контекста и одной страны в другую, однако без возможности такой трансляции исторический анализ распадается на бессмысленные описания разрозненных эпизодов. В чисто философском плане эти проблемы неприступны и неразрешимы, они приводят лишь к утомительной игре слов, заменяющей попытку рассмотреть, что же произошло в реальности. На мой взгляд, существуют объективные критерии отличия поверхностного исторического сходства от осмысленного, и, пожалуй, стоит сказать об этом несколько слов.

Поверхностные и случайные сходства не связаны с другими значимыми фактами, либо они ведут к неправильному пониманию реальной ситуации. Например, автор, подчеркивающий сходства в политическом стиле генерала де Голля и Людовика XIV (такие, как характерное для обоих педантичное соблюдение этикета поклонения (*etiquette of deference*)), при серьезном отношении к делу в какой-то момент договорится до каких-нибудь запутанных пошлостей. Совершенно разные социальные фундаменты власти, отличия между французским обществом XVII и XX вв. в данном случае намного важнее любого поверхностного сходства¹. В то же время если окажется, что в Германии и Японии до 1945 г. наличествовал целый ряд каузально связанных институциональных практик, сходных по своей структуре и происхождению, то это сложное единство в обоих случаях можно по праву назвать фашизмом. То же самое верно в отношении терминов «демократия» и «коммунизм». Суть этих связей должна быть установлена в эмпирическом исследовании. Весьма вероятно, что сами по себе существенные черты того, что есть

¹ Если бы можно было продемонстрировать, что сходства между де Голлем и Людовиком XIV были в действительности симптомами и последствиями более глубокой и значительной связи, то они перестали бы быть поверхностными. Нельзя заранее исключить возможность подобных открытий. Оговорки казались чем-то несущественным, пока Фрейд не раскрыл их связь с внутренними заботами людей. Еще раз необходимо подчеркнуть, что подобные вопросы можно разрешить только через рассмотрение фактов.

ЗАМЕЧАНИЕ. ПРОБЛЕМЫ СРАВНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

коммунизм, фашизм или парламентская демократия, окажутся недостаточными для обеспечения адекватного объяснения принципиальных политических характеристик Китая, Японии и Индии. Специфическая цепь исторической причинности, не вписывающаяся ни в один из известных наборов последствий, может сыграть существенную роль в объяснении. Именно так случилось при рассмотрении западных обществ; и нет никакого основания ожидать иного, когда мы обращаемся к Азии.

IV. Закат Китайской империи и начало коммунистического пути

1. ВЫСШИЕ КЛАССЫ И ИМПЕРСКАЯ СИСТЕМА

Давным-давно в Китае существовала философская школа, провозгласившая принцип «исправления имен». Эти философы полагали, что суть политической и общественной мудрости в том, чтобы называть вещи правильными именами. Современные исследователи Китая занимаются чем-то подобным: они обмениваются между собой такими именами, как «джентри», «феодализм» и «бюрократия». Проблема, стоящая за терминологическими дебатами, имеет решающее значение, поэтому нам придется начать с нее наше исследование. Как именно связаны с землей высшие классы в обществе, где земледельцы составляли подавляющее большинство населения? Опирались ли их власть и авторитет в конечном счете на контроль над земельной собственностью или они были следствием их почти абсолютной монополии на административные должности? А если имело место сочетание обоих вариантов, то какова была природа такого сочетания? Рассмотрение этих вопросов обременено грузом актуальных политических коннотаций, поэтому с ними придется разобраться прежде всего, чтобы прийти к правильному пониманию того, как на самом деле функционировало общество в Китайской империи.

Некоторые западные исследователи подчеркивают бюрократический характер Китайской империи и пренебрегают связью между имперской службой и земельной собственностью. У подобной интерпретации две цели: она обеспечивает фундамент для критики марксистского понимания политической власти как производной экономических отношений и критики современных коммунистических стран за возврат к варианту восточного деспотизма¹. В то же время марксисты, особенно китайские коммунисты, считают имперский период и даже эпоху правления Гоминьдана вариантом феодализма, под которым понимается общество, где большая часть земли принадлежит помещикам, живущим на доходы с ренты². Нивелируя бюрократический характер этих режимов, марксисты

¹ Работа Карла Виттфогеля «Средневековый деспотизм» [Wittfogel, 1957] — наиболее известный пример этого тезиса.

² Мне лично не приходилось видеть исторических самоописаний китайских коммунистов. Обзор см.: [Feuerwerker, 1961]. Русские источники по рассматриваемому вопросу я нахожу разочаровывающими. Для маньчжурского периода тщательный поиск не принес никаких работ за исключением

сты прикрывают неудобные аналогии с их собственной практикой. Но феодализм, как его ни понимай, еще менее удачное определение, чем бюрократия. В Китайской империи отсутствовала вассальная система, и за отличия на военной службе земли раздавались весьма умеренно. Тем не менее, как показано ниже, внимание марксистских исследователей к роли помещиков вполне оправданно. В целом, на мой взгляд, западные ученые отчаянно отрицают связь между землевладением и политическими должностями, а марксисты не менее отчаянно стремятся эту связь подчеркнуть.

Но чем тогда была эта связь? Какие решающие черты были свойственны китайскому обществу при последней великой маньчжурской династии (1644–1911)? Каким образом эти структурные черты определили последующее развитие Китая вплоть до победы коммунистов в середине XX в.? Какие черты высшего класса китайских землевладельцев могут объяснить отсутствие решительного движения в сторону парламентской демократии после краха имперской системы?

Очевидными остаются несколько простых фактов, по которым имеется широко распространенное согласие, позволяющее нам произвести предварительную ориентацию. Прежде всего, задолго до начала нашей истории китайская государственность устранила проблему мятежной землевладельческой аристократии. Этапы этой грандиозной трансформации общества нас сейчас не интересуют, за исключением того, что свою роль сыграла в этом знаменитая экзаменационная система, помогавшая императору пополнять ряды бюрократов для борьбы со знатью. Экзаменационная система благополучно работала в правление династии Тан, завершившееся в 907 г. При последующей династии Сун от древней аристократии почти ничего не осталось³. Была ли эта аристократия феодальной и корректно ли называть феодализмом более ранние формы китайского общества, до его первого объединения при династии Цин в III в. до н.э., — все эти вопросы можно спокойно обойти стороной⁴.

В то же время пристальное внимание необходимо уделить вопросу о том, сохранилась ли земельная аристократия за фасадом централизованной администрации в маньчжурскую эпоху, т.е. при династии Цин,

нескольких недавних статей, цитируемых ниже, которые заслуживают серьезных размышлений; для периода 1911–1949 гг., изученного менее тщательно, русские исследования не создают впечатления меньшей изолированности от того, что происходит в деревне (как в советском Китае, так и в националистическом), чем западные. Их предрассудки не менее дремучие, чем наши.

³ Удобную и краткую историю экзаменационной системы см.: [Franke, 1960]. Я заимствовал эти сведения с р. 7.

⁴ Аргументы против тезисов Виттфогеля см.: [Eberhard, 1952].

как она известна среди синологов. Никто не оспаривает существования класса состоятельных земельных собственников, но проблемы возникают, если попытаться провести границу между богатыми и просто преуспевающими. Также общепризнано существование класса чиновников и ученых, и проблема снова в том, как провести границу внутри этой группы, хотя граница между необразованными людьми и теми, кто приобрел определенный лоск академической культуры, была отчетливой. Согласие достигнуто и в том, что эти две группы пересекались между собой, но не были идентичны. Встречались умеренно богатые землевладельцы, не имевшие никакой академической степени, а также обладатели степеней без земельной собственности. Точная мера взаимопроникновения этих групп неясна⁵.

Однако ограничиться этими общепризнанными фактами значило бы оставить непроясненными весьма существенные вещи. Даже если бы у нас были точные данные о том, сколько лиц принадлежало к обеим группам, кто был землевладельцем и кто чиновником или ученым, это не сильно бы помогло. Ни один физиолог не удовольствовался бы знанием о том, какой процент человеческого тела составляют кости, а какой — мускулы. Физиолог желает знать, как взаимодействуют кости и мускулы в процессе телесной активности. Такого же рода знание необходимо для понимания связи между земельной собственностью, обладанием научной степенью и приобретением политической должности в Китае.

Механизмом, связывавшим все это, была семья или, точнее, преемственность по отцовской линии. В аграрно более успешных областях, особенно на юге, эта преемственность была сильно выражена в форме клана. Семья как социальный механизм функционировала следующим образом. Состояния, нажитые на имперской службе, инвестировались в землю — эта практика сохранилась почти до новейших времен. Индивид приобретал эту собственность на благо своего рода. В свою очередь, любящая семья с аристократическими амбициями должна была их подпитывать, имея в числе родственников актуального или потенциального обладателя ученой степени, которого она поддерживала в обоснованной надежде на то, что, когда тот займет официальную должность, он будет использовать ее ради обеспечения материального благосостояния своей семьи. Находясь на имперской службе, ученый компенсировал или увеличивал богатство семьи, поддерживал статус рода, и, таким образом, круг замыкался. Клан функционировал так же, но, будучи более широкой группой, он включал значительную долю простых крестьян. Хотя в теории официальные должности были открыты даже для самых бедных крестьян, отличавшихся талантами и амбициями, отсутствие повсе-

⁵ В дополнение к источникам, упомянутым в следующей сноске, см.: [Chang, 1962, p. 125, 142, 146].

местной системы народного образования обычно вынуждало студента в течение долгих лет усердного обучения рассчитывать на поддержку богатой семьи. Иногда богатая семья, в которой таланты детей не внушали надежд на академические успехи, поддерживала умного юношу из бедной семьи. Поэтому связь между должностью и богатством посредством родственных уз была важнейшей особенностью китайского общества. По этим причинам использование термина «джентри» вполне оправданно по отношению к высшему классу ученых чиновников и землевладельцев⁶. Были также другие существенные стороны этой связи, которые будут представлены ниже по мере их более подробного анализа.

Мы можем начать с рассмотрения роли помещика, не сравнивая при этом ее по значимости с ролью чиновника. Первый вопрос, который возникает, — это вопрос о том, как помещик заставлял крестьян работать

⁶ См.: [Balazs, 1952, p. 81, 84–85]. Это аналитическое эссе совершенно необходимо для рассмотрения поднимаемых в данном исследовании проблем. Некоторый материал о клане см.: [Liu, 1959, p. 110, 129, 140]; а также: [Chang, 1955, p. 186; 1962, p. 42].

Среди западных исследователей горячо дебатировалась применимость термина «джентри» к высшим классам в Китае. Те, кто отвергают такую возможность в связи с западным происхождением термина и английских коннотаций, имеют для этого некоторые основания. Однако в избегании этого термина есть ненужный педантизм, поскольку он уже давно распространился как обозначение земельной аристократии в России и Китае. См.: [Ho, 1962, p. 40], где высказываются аргументы против использования этого термина по отношению к Китаю.

Определение джентри, в котором проводится различие между обладанием ученой степенью и землевладением, см.: [Chang, 1955]. В обзоре Фридмана [Freedman, 1956, p. 78–80] указываются трудности с определением тех, кто обладал ученой степенью. Книга Хо [Ho, 1962, p. 38–41] отличается от работы Чанга в решающих моментах, таких, например, как социальный статус тех, кто покупал ученую степень, и обладателей начальных степеней. У него почти нет данных об экономическом состоянии, поэтому его книга не имеет большого значения для рассматриваемых нами проблем. Его анализ богатства как аспекта социальной мобильности ограничивается вторичной проблемой богатства коммерческих кругов, обходя стороной богатство землевладельцев.

По этому и другим вопросам я с радостью признаю свой особый долг перед Оуэном Латтимором, который сделал подробный письменный комментарий к первоначальному варианту этой главы. Некоторые замечания показали мне чрезвычайно проницательными после того, как я прочитал несколько дополнительных свидетельств, которые почти дословно были включены в мой текст. Но поскольку другие источники вели меня в ином направлении, то дежурное оправдание, что он не несет никакой ответственности за представленные здесь взгляды, точно характеризует реальную ситуацию.

на себя в отсутствие механизма феодального принуждения. Хотя детали отсутствуют, а сам предмет еще ждет своего исследователя, в целом ответ достаточно очевиден: принуждение обеспечивалось с помощью договоров об аренде, почти таких же, как при современном капитализме. С учетом некоторых региональных вариаций аренда была по сути формой ипольщины в сочетании с наемным трудом, по крайней мере в начале XIX в.⁷ Помещик, который в некоторых областях был более заметной фигурой, чем в других, предоставлял землю, а крестьяне предоставляли рабочую силу. Урожай делился между сторонами. Поскольку помещик едва ли предоставлял землю в том же смысле, в каком крестьянин — рабочую силу, то здесь обнаруживается хороший намек на те услуги, которые оказывала имперская бюрократия: она гарантировала контроль помещика над землей⁸. Богатый крестьянин, не причастный к академической культуре, но, возможно, питавший надежды в отношении своего сына, трудился в поле наряду с остальными. Но ученый не занимался ручным трудом. Хотя ученые-помещики проживали в сельской местности, они, в отличие от английских и немецких помещиков (и даже части русских и французских), скорее всего не играли никакой роли в реальной обработке земли, даже контролирующей⁹. В свое время

⁷ Мне не удалось найти монографии по этому вопросу. Краткий исторический и географический обзор см.: [Ho, 1959, p. 217–226]. Следует отметить также: [Chang, 1962, p. 117; Hsiao, 1960, p. 384, 385, 389]. Последний автор просмотрел громадный объем материала, в большинстве случаев из местных газет, извлек необходимое и придал ему некоторую упорядоченную форму, обеспечив минимумом комментариев и максимумом прямых цитат. В итоге получился аналог подборки газетных вырезок и замечаний путешественников о темной стороне американской политики. С учетом того, что подобные материалы обычно преувеличивают теневые аспекты жизни общества — фундаментальные вопросы упоминаются разве что в отдельных замечаниях достаточно внимательного путешественника, — это очень полезная книга, от нее намного больше пользы, чем от попыток собрать сомнительные статистические данные, которые нередко скрывают реальное положение дел. Можно даже привести аргументы, что подобная книга дает более подходящий материал для социолога, чем множество блестящих монографий, в которых факты фильтруются ради согласования их с каким-то тезисом, независимо от того, насколько умен и добросовестен автор исследования. Однако чтение множества сборников такого рода вряд ли доставит удовольствие.

⁸ Советский ученый [Хохлов, 1962, с. 110] утверждает, что около 1812 г. 80% обрабатываемой земли принадлежало высшим классам, а крестьяне владели оставшимися 20%. Хотя эти цифры спорны, не приходится сомневаться, что львиная доля земли принадлежала первой группе.

⁹ Это впечатление может основываться на отсутствии информации. Но генеалогия клана, приведенная выше [Chang, 1962, p. 127], принимает по

мы увидим, что наиболее разительно по социальному положению они отличались от японских помещиков. Именно к этому отличию сводятся многие особенности в политической судьбе Китая и Японии как раньше, так и в Новое время.

Хотя встречаются неоднократные свидетельства о покупке и продаже риса в достаточно крупных масштабах, можно спокойно заключить, что испольщина была господствующей моделью. Помещики получали свою долю зерном (рисом — на юге, пшеницей и другими зерновыми — на севере), а не деньгами. Император был суперпомещиком, собиравшим зерно со своих подданных¹⁰. Если даже имперская система в значительной мере опиралась на натуральную оплату, то можно с уверенностью сделать вывод о повсеместной распространенности этой формы оплаты. Поскольку богатый помещик не был способен употребить весь рис, собранный в качестве ренты, излишки могли отправиться на продажу. Но это было второстепенным делом, которое мотивировалось не стремлением сорвать куш.

В этих условиях помещики имели определенный интерес, который можно грубо назвать «перенаселенностью». Избыточная численность крестьян увеличивала помещичью ренту. Если голодный крестьянин соглашался отдать половину урожая за право на обработку земли, то еще более голодный довольствовался еще меньшим. Такого рода конкуренция, конечно, не была единственным фактором этих отношений. Ни традиция, ни личная заинтересованность в качественной работе арендаторов не позволяли помещику максимально закручивать гайки. Однако выгода помещика от избыточного числа крестьян или по крайней мере потенциальных арендаторов была решающим элементом этой ситуации.

умолчанию, что управления нужно сторониться. Отношение ученого к ручному труду едва ли допускало, чтобы он учил крестьян тому, как нужно работать. Как указано выше, «экономический» вклад богатого землевладельца состоял в том, чтобы добиться привилегий от правительства.

¹⁰ В эпоху расцвета маньчжурской династии правительственные джонки доставляли зерно через Великий канал, шедевр инженерной мысли, сравнимый с пирамидами. Императорский двор, армия ученых-чиновников и некоторые императорские войска прямо зависели от ежегодного плавания этих джонок, обеспечивавших поставки продовольствия: [Hinton, 1956, esp. 5, 97]. Эта система явно контрастирует с тем, как были организованы поставки зерна в Париж на аналогичной фазе королевского абсолютизма. Парижская система была плохо организована, она не регулировалась ни законодательно, ни административно и почти полностью полагалась на стимулы, которыми располагала денежная экономика для того, чтобы поставить себе на службу людскую алчность.

Две особенности заслуживают специального рассмотрения. Перенаселенность служила интересам помещика только при наличии сильного правительства, которое поддерживало порядок, гарантировало его права собственности и обеспечивало сбор ренты. Этим занималась имперская бюрократия. Поэтому перенаселенность не была простым арифметическим отношением между землей и людьми: в Китае, а также в Японии и Индии она имела конкретные экономические и политические причины. Кроме того, эти институциональные причины намного предшествуют по времени западному влиянию. Первые признаки беспокойства имперской власти о том, что прилив населения способен прорвать плотину, ограждающую китайское общество, опрокинув всю систему, появились еще до конца второй четверти XVIII в. [Ho, 1959, p. 266–268]¹¹. Поэтому рост плотности населения не был, как заявлял ряд марксистов, всего лишь следствием западного влияния, борьбы против индустриализации, уничтожения народных промыслов и последующего «привязывания» людей к земле. Все это происходило, обостряя сложившуюся ранее ситуацию. Тем не менее фигура помещика-паразита, встречающаяся в разных обликах и на разных ступенях развития Японии и Индии, возникает также в Китае задолго до проникновения западного влияния.

Как указано выше, помещик был зависим от имперской бюрократии, которая обеспечивала его права собственности и сбор ренты натурой или деньгами [Hsiao, 1960, p. 386–395]. Бюрократия поддерживала его в нескольких важных отношениях. Помещикам была необходима налаженная ирригация, чтобы арендаторы выращивали хороший урожай. Поэтому помещичьи семьи на местах постоянно давили на правительство, чтобы оно организовало систему управления подачей воды. Но успеха они могли добиться, только если кто-то из членов семьи имел ученую степень и контакты в официальных кругах, доступ к которым открывало обладание степенью [Ibid., p. 284–287, 292; Ch'ü, 1962, ch. 10]. Такого рода использование связей было главным экономическим вкладом помещика, заменявшим собой прямое управление сельскохозяйственным циклом. Крупные проекты на провинциальном уровне были делом провинциальных помещичьих клик. Имперские проекты были делом еще более влиятельных клик, пользовавшихся общенациональным размахом. Как заметил Оуэн Латтимор, за каждым имперским проектом стоял влиятельный министр, за каждым министром — влиятельная группа помещиков. Эти факты, на мой взгляд, позволяют поместить в правильный контекст понятия «контроль за водой» и «восточная бю-

¹¹ Несколько красноречивых текстов см.: [Lee, 1921, p. 416, 417, 419, 420].

рократия» [Lattimore, 1960, p. 106–107]¹². Кроме того, именно бюрократия, а не сама по себе земля обеспечивала наибольшие материальные выгоды¹³. В отсутствие майората богатые семьи, которым приходилось делить отцовское наследство на равные доли, всего за несколько поколений скатывались к бедности. Главный способ избежать такого несчастья состоял в том, чтобы направить одного из членов семьи с научными дарованиями в среду бюрократов. Наживая богатство через формально запрещенную, но социально приемлемую коррупцию, он увеличивал общее семейное состояние. Практика приобретения земли в качестве инвестиции и возвращения на нее по окончании чиновничьей карьеры была нормой. Таким образом, бюрократия предлагала альтернативный путь выжимания экономической сверхприбыли из крестьянства и городского населения, о котором у нас вскоре пойдет речь. В общем бюрократия была более мощным и эффективным инструментом, чем землевладение, хотя одно не могло существовать без другого. Земельное богатство происходило от бюрократии, и его существование зависело от нее. В этом отношении у критиков упрощенного марксистского подхода позиции очень сильные. Наконец, конфуцианская доктрина и экзаменационная система обеспечивали легитимацию преимущественного социального положения помещика и его свободы от ручного труда, по крайней мере в его собственных глазах, пока члены его семьи или усыновленные юноши с блестящими дарованиями получали ученые степени.

¹² Чанг [Chang, 1962, p. 49] пишет с иной позиции, чем Латтимор, но также подчеркивает локальную основу ирригационных работ.

¹³ Это задача такого исследования, как [Chang, 1962]. Тот факт, что наибольшую прибыль получала бюрократия, не противоречит тому, что землевладение составляло главный экономический базис класса джентри, поскольку эта прибыль, как показывает сам Чанг, доставалась небольшой группе. В самом деле, такое же точно обобщение можно применить к Англии эпохи Тюдоров и Стюартов. На p. 147 Чанг утверждает, что только небольшая часть джентри в XIX в. получала основной доход с земли. Его данные показывают нечто иное: небольшая доля общего дохода джентри поступала от земельной ренты. У меня нет данных о количестве джентри, не являвшихся землевладельцами. Вероятно, таких было немало на нижней ступеньке, *sheng-yuan*, которых Хо не считает настоящими джентри. Чанг приходит к выводу, что доход от ренты составлял примерно 29–34% общего дохода джентри (p. 329, table 41), что было все-таки ощутимой долей. Как честно признается Чанг, эти статистические данные далеко не надежные.

В любом случае это технический и отчасти вторичный момент. Земельная собственность нуждалась в помощи бюрократии для поддержания своих прав, и нередко владение землей было следствием бюрократической карьеры. Насколько мне известно, по этому принципиальному поводу нет разногласий.

В дополнение к общественным работам, связанным главным образом с ирригационными проектами, о которых говорилось выше, главной задачей имперской бюрократии на практике было поддержание мира и собирание налогов, что в дальнейшем превращалось в сочинение книг, живопись, поэзию, содержание любовниц и прочие атрибуты принадлежности к высшим классам, которые во всех цивилизациях делают жизнь достаточно приятной для них. Проблема поддержания мира была в Китае в основном внутренней, и так продолжалось до вмешательства Запада, которое стало ощутимым в середине XIX в., когда вновь дал о себе знать внутренний упадок¹⁴. В целом иностранная угроза ограничивалась периодическими агрессиями со стороны варваров. Но, когда завоеватели захватывали достаточно территории и основывали новую династию, они приспосабливались к господствующей социальной модели. В имперскую эпоху китайские правители не имели дела с постоянной военной конкуренцией на равных условиях с другими правителями. Поэтому в отличие от Франции и тем более Пруссии постоянная армия здесь не поглощала большую долю общественных ресурсов и не оказывала влияния на развитие государства. Сложностей не доставлял и контроль над амбициозными баронами, хотя в эпоху упадка наблюдались некоторые сходства. Проблема скорее заключалась в ограничении давления на крестьян, чтобы они не пускались в бегство и не занимались разбоем или хуже того — участвовали в восстании под руководством недовольных элементов из высших классов.

Отсутствие эффективного механизма, предотвращающего чрезмерное давление, являлось фундаментальной структурной слабостью всей системы. Интересам правящей династии служило обеспечение справедливого и эффективного сбора налогов. Но у нее не хватало средств для реализации этой цели и людских ресурсов. В то же время у отдельного чиновника был сильный соблазн наживаться на чем только можно, воздержавшись разве что от совсем уже вопиющих случаев коррупции и

¹⁴ Рассмотрение династического цикла не входит в компетенцию автора. Современные синологи обычно отрицают, что китайская история не претерпевала фундаментальных изменений в течение двух тысяч лет, утверждая, что эта иллюзия возникает лишь вследствие нашей невежественности. Тем не менее для неспециалиста очевидно, что в сравнении с Европой китайская цивилизация оставалась во многом статичной. Какие изменения в Китае могут сравниться с трансформациями западной цивилизации от города-государства через фазы мировой империи, феодализма, абсолютной монархии к индустриальному обществу Нового времени? Взять хотя бы архитектуру: есть ли в Китае столь разнообразные сооружения, как Парфенон, Шартрский кафедральный собор, Версальский дворец, небоскребы?

вымогательства, способных вызвать скандал и погубить карьеру. Этот момент заслуживает более подробного рассмотрения.

В доиндустриальном обществе попытка организовать крупномасштабную бюрократию быстро заканчивается провалом, поскольку из населения трудно выкачивать ресурсы, требуемые для выплаты чиновникам зарплат, необходимых для того, чтобы поставить их в зависимость от начальства. Решение, посредством которого правители пытаются справиться с этой трудностью, оказывает огромное влияние на всю социальную структуру. Французское состояло в продаже должностей, русское — в согласии с огромной территорией этой страны — в дарении поместий вместе с крепостными крестьянами за заслуги на царской службе. Китайское решение заключалось в том, чтобы попустительствовать более или менее открытой коррупции. По оценке Макса Вебера, незаконный доход чиновника в 4 раза превышал его номинальную зарплату; тогда как современный исследователь называет значительно большую цифру — в 16–19 раз больше номинальной зарплаты [Weber, 1947, S. 344; Chang, 1962, p. 30, 42]. Точная цифра, вероятно, так и останется исторической тайной; но можно быть уверенным, что она была высока.

Очевидно, эта практика снижала эффективность централизованного контроля, которая сильно варьировалась в разные исторические периоды. Чиновник на самой нижней ступени административной лестницы контролировал уезд, как правило состоявший из огороженного стеной города вместе с прилегающей сельской местностью, с общим населением по меньшей мере 20 тыс. человек, а нередко намного больше [Ch'ü, 1962, p. 2]. Обычный срок назначения составлял около трех лет, и в качестве временного жителя этой области чиновник не имел шанса познакомиться с местными обычаями. Для того чтобы что-либо сделать, ему требовались согласие и поддержка со стороны местной знати, т.е. состоятельных ученых-землевладельцев, бывших, в конце концов, «людьми его круга». Прямой контакт с крестьянами практически не поддерживался. Курьеры из канцелярии чиновников (ямынь) — низший класс, лишенный права на сдачу экзаменов и улучшение своего положения, — занимались сбором налогов, получая с этого свою долю [Ibid., ch. 4, p. 137]. Это была в высшей степени эксплуататорская система, которая забирала у общества больше ресурсов, чем возвращала ему в форме оказываемых услуг. В то же время, поскольку она должна была быть эксплуататорской, чтобы вообще работать, она по большей части предоставляла подчиненное население самому себе. У нее просто не было ресурсов, чтобы преобразовывать повседневную жизнь людей в такой мере, как это делают современные тоталитарные или даже формально демократические режимы (пусть и в меньшей степени, например, в случае длительного чрезвычайного положения в государстве). Как показано чуть

ниже, некоторые бесплодные попытки контролировать жизнь людей все же предпринимались. Но расчетливое широкомасштабное применение жестокости, в отличие от простой небрежности и эгоизма, выходило за пределы системы¹⁵.

Перед тем как перейти к рассмотрению специфических проблем, связанных с финальной агонией этой системы, следует отметить еще одну структурную черту, особенно любопытную для сравнения с Японией. Экзаменационная система, особенно в свои последние годы, имела тенденцию к перепроизводству потенциальных бюрократов [Но, 1962, р. 220–221]. На нижнем уровне официальной системы рангов скапливалось огромное число кандидатов на получение степени (шэньюань, или сюцай), — это была переходная группа между теми, кто обладал квалификацией для занятия должности, и обычными людьми. По вопросу о том, следует ли считать их нормальными членами класса джентри, среди специалистов нет единого мнения. Сложность их положения в самом низу лестницы привилегий заставляет вспомнить о нижних чинах *самураев* в Японии XX в. В обоих случаях именно здесь зарождались очаги оппозиции господствующей системе. Если в Японии сплоченное меньшинство из этой группы обеспечило большую часть движения к модернизации, то в Китае их энергия в основном рассеивалась в бесплодных выступлениях и восстаниях в рамках господствующего режима [Hsiao, 1960, р. 448, 450, 473, 479; Но, 1962, р. 35]. Без сомнения, дисциплинирующий эффект экзаменационной системы был отчасти ответствен за это различие. Тем не менее причины лежали намного глубже. Они связаны с тем, что китайское общество сопротивлялось модернизации до тех пор, пока время для постепенных изменений не оказалось безвозвратно упущено. К некоторым позднейшим аспектам этой большой проблемы мы теперь обратимся.

2. ДЖЕНТРИ И МИР КОММЕРЦИИ

Имперское китайское общество так и не породило городской класс торговцев и владельцев мануфактур, сравнимый с тем, что возник на поздней стадии феодализма в Западной Европе, хотя временами некоторые подвижки в этом направлении происходили. Успех империи в деле объединения страны можно указать в качестве одной из самых очевидных причин этого различия. В Европе конфликты между папой и импера-

¹⁵ На этом выводе нельзя чрезмерно настаивать. При наличии угрозы, индивидуальной или коллективной, китайцы не менее способны на террор, чем другие народы. Казнь в кипящем масле — это один из видов наказания, который мне запомнился. См. также: [DeGroot, 1903–1904] — поучительная реакция на ранние западные идеализации Китая.

тором, королями и нобилиями помогали городским торговцам преодолевать каркас традиционного аграрного общества, поскольку они были ценным ресурсом в этой многосторонней борьбе за власть. Стоит заметить, что в Европе прорыв начался с Италии, где феодальная система была в целом слабее (см.: [Pirenne, 1951, p. 365–372])¹⁶. Китайская экзаменационная система также отвлекала амбициозных людей от занятий коммерцией. Этот аспект ощутим в одном из последующих неудачных рывков к коммерческой экспансии в XV в. Один французский историк даже заводит речь о «крупной финансовой буржуазии», состязавшейся с джентри за лидерство в эту эпоху, но многозначительно уточняет, что эта новая буржуазия нацеливала своих детей на сдачу экзаменов [Maspéro, Escarra, 1952, p. 131]. Другой историк высказывает интересное предположение, что распространение книгопечатания могло усилить всепоглощающие способности сословия мандаринов. Книгопечатание открыло для мелких торговцев возможность приобрести достаточный уровень книжной культуры, чтобы получить официальный пост. Хотя затраты на сдачу экзамена оставались серьезным препятствием, доступ к официальным постам несколько упростился. Автор приводит поразительное свидетельство привлекательности имперской службы. Некоторое число торговцев даже подвергло себя кастрации, чтобы стать евнухами и получить позицию, приближенную к трону. Добровольные кастраты пользовались особым преимуществом, поскольку они получили образование, недоступное для обычных евнухов (которые были главными соперниками ученых чиновников при дворе) [Eberhard, 1948, S. 280–282].

Заглядывая чуть глубже, можно быстро заметить, что стремление к наживе таило в себе опасность для ученых чиновников, потому что оно формировало альтернативную иерархию престижа и альтернативное основание легитимации высокого социального положения. Ни конфуцианские беседы, ни законы, ограничивающие расходы, не могли окончательно похоронить простую истину, состоявшую в том, что любой, кто зарабатывает много денег, может приобрести предметы роскоши, в том числе и солидную меру уважения. Если бы ситуация вышла из-под контроля, то вся приобретенная с большим трудом классическая культура оказалась бы бесполезной и излишней. За этим конфликтом культур и систем ценностей в истоке стояли сильные материальные интересы. Сама по себе традиция не была непреодолимым препятствием для развития коммерции; всякий, кто желал, находил для нее оправдание в конфуцианской классике [Chang, 1962, p. 154–155]. В любом случае в краткосрочной перспективе джентри были достаточно проницательны и следили за тем, чтобы ситуация оставалась управляемой. Они подвер-

¹⁶ Здесь дается проницательный обзор политических факторов на конец XIII в.

гали торговлю налогообложению и сами пользовались ее доходами либо вводили государственную монополию и сохраняли за собой наиболее доходные должности. Самой важной монополией была торговля солью. Чиновники относились к ней в основном эксплуататорски. Коммерция, как и земля, представляла собой нечто вроде дойной коровы для образованного высшего класса. Мы вновь убеждаемся в том, что имперская бюрократия была средством для выкачивания ресурсов из населения и передачи их в руки правителей, пристально следивших за тем, чтобы предупреждать любые события, угрожавшие их привилегиям.

С упадком имперского аппарата, обозначившимся еще до конца XVIII в., с неизбежностью ослабла и его способность поглощать и контролировать коммерческие элементы. Даже если бы имперская система сохранила свою мощь, она вряд ли могла бы сопротивляться новым силам, подтачивавшим ее, поскольку за этими силами стоял военный и дипломатический напор Запада, ослабевавший лишь в те периоды, когда алчность одной из европейских держав уравнивалась жадностью ее соперников. Ко второй половине XIX в. традиционная власть ученых-чиновников прекратила действовать в приморских городах Китая. Там возникло новое гибридное общество, в котором власть и социальное положение больше не находились гарантированно в руках тех, кто получил классическое образование [Lattimore, 1960]. По окончании Опиумной войны в 1842 г. *компрадоры* появились во всех портах Китая, перечисленных в договоре. Эти люди оказывали целый ряд услуг в качестве посредников между слабеющим китайским чиновничеством и иностранными торговцами. Их положение было неоднозначным. Прибегая к сомнительным методам, они аккумулировали огромные состояния и наслаждались изысканным досугом. Однако многие китайцы видели в них прихвостней заезжих дьяволов, разрушавших основания традиционного общества [Wright, 1957, p. 84, 146–147; Levy, Shih, 1949, p. 24]. Начиная с этого момента большая часть социальной и дипломатической истории Китая становится перечнем правительственных усилий по ограничению амбиций такого гибридного общества и противоположно направленных усилий могущественных западных держав, спешивших воспользоваться имеющимся шансом в своих коммерческих и политических интересах.

Когда китайская промышленность весьма скромно начала свое развитие в 1860-х годах, оно проходило в тени провинциальных джентри, которые надеялись воспользоваться новой техникой в своих сепаратистских целях. Военные проблемы выступили на передний план, и первые заводы были исключительно военными начинаниями: арсеналами, военно-морскими верфями и т.п. На первый взгляд эта ситуация напоминала меркантилистскую эпоху в социальной истории Запада, когда правителей интересовали те формы промышленности, которые усили-

вали их власть. Но различия более существенны. Европейские правительства уже были сильны и еще больше усиливались. В Китае маньчжурская династия отличалась слабостью. Меркантилистская политика на манер Кольбера не годилась, потому что коммерческий и промышленный элемент был иностранным и неподконтрольным правительству. Основное национальное движение в сторону индустриализации исходило от провинциальных очагов власти и в очень малой степени от имперского правительства [Feuerwerker, 1958, p. 12–13; Levy, Shih, 1949, p. 27, 29]. Поэтому оно скорее было разобщающим, чем объединяющим фактором. Ради наживы коммерческие и промышленные элементы были готовы обратиться за поддержкой к любым политическим группам, обладающим реальной властью. Если это император, прекрасно, его власть будет расти. Но если это местный чиновник, то все будет наоборот. Марксисты придают преувеличенное значение тому, как западные империалисты душили развитие китайской промышленности. (Индийские националисты точно так же постарались превратить европейцев в козла отпущения.) Но все это случилось уже после того, как промышленный рост был остановлен внутренними силами.

Лишь к 1910 г. китайский деловой класс демонстрирует определенные признаки выхода из-под опеки и власти чиновников [Levy, Shih, 1949, p. 50]. Согласно одному недавнему исследованию, даже складывается впечатление, что к концу XIX в. китайские торговцы успешно продвигались к освобождению от иностранной зависимости [Allen, Donnithorne, 1954, p. 37, 49]. Тем не менее очень долгое время важнейшие области оставались в руках иностранцев. В целом местный коммерческий и промышленный импульс оставался слабым. Как говорят, на момент краха имперского режима в Китае было около 20 тыс. «фабрик». Из них лишь на 363 применялась механическая сила. В остальных случаях использовалась людская либо животная сила [Feuerwerker, 1958, p. 5].

Таким образом, наряду с Россией, Китай вошел в новую эпоху с небольшим по численности и политически зависимым средним классом. В отличие от Западной Европы здесь эта страта не выработала своей независимой идеологии. И все же она сыграла важную роль в ослаблении государства мандаринов и в формировании новых политических группировок в ходе его демонтажа. Усиление этого класса на побережье сочеталось с началом распада империи на региональные сатрапии, что в результате предопределило сочетание «буржуазной» и военных функций в момент наивысшей власти генералов (примерно с 1911 по 1927 г.) вплоть до эпохи Гоминьдана. Ранний пример (1870–1895) этого общего развития — Ли Хунчжан, который в течение 20 лет «продвигался к единоличному контролю над внешней политикой посредством господства над доходом приморской таможни, монополии на производство воору-

жения и полного контроля над военными силами в северной половине империи» [Feuerwerker, 1958, p. 13]. Кроме того, постепенно происходило субстанциальное сращивание слоев джентри (а позже помещиков, которые им наследовали) и городских лидеров торговли, финансов и промышленности [Levy, Shih, 1949, p. 50; Lang, 1946, p. 97]. Эта амальгама обеспечила главную социальную опору Гоминьдана как попытки реанимировать существо императорской системы, т.е. осуществить политическую поддержку системы крупного землевладения посредством комбинации специфического китайского бандитизма и показного псевдоконфуцианства, обнаруживающей любопытные черты сходства с западным фашизмом. Эта комбинация возникла в значительной степени из-за неспособности джентри перейти от доиндустриальных к коммерческим формам сельского хозяйства. Причины этой неудачи станут теперь предметом нашего внимания.

3. ПРОВАЛ КОММЕРЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Культурологические и психологические объяснения, основанные на том, что неотступное стремление к наживе даже в сельском хозяйстве было несовместимо с конфуцианским идеалом изысканного досуга, быстро наталкиваются на трудности. Западные исследователи, на мой взгляд, преувеличивали значение пренебрежительного отношения китайской высшей страты к «западным варварам». Как показано выше, когда китайские джентри получали шанс воспользоваться техническими достижениями западной цивилизации и даже некоторыми ее социальными традициями, всегда находились люди, готовые сделать это. Повествуя о раннем этапе западного влияния, один добросовестный ученый отмечает «отчетливую фазу в эпоху до 1894 г., когда промышленные и технические предприятия учреждались видными членами господствующего класса, т.е. той группой, которую на Западе обычно считали архиконсервативной» [Cameron, 1931, p. 11]. А недавно один исследователь заметил, что в кругу серьезных китайских мыслителей 1890-х годов изучение западной техники воспринималось почти как панацея от китайской экономической отсталости [Feuerwerker, 1958, p. 37]. Если и существовал культурный барьер для технического прогресса, то он не кажется непреодолимым. Поскольку китайский высший класс выражал значительный интерес к технологиям в военных и промышленных целях, можно было бы *a fortiori* ожидать, что еще больший интерес он проявит к использованию новых технологий в сельском хозяйстве, которое играло центральную роль во всем его образе жизни. (Можно почти не сомневаться, что именно это объяснение было бы использовано, если бы технически продвинутое коммерческое сельское хозяйство все-таки укоренилось.)

Однако за редкими исключениями в основном декларативного характера представители высшего класса не проявляли подобного интереса [Ibid., p. 34].

Более убедительное объяснение можно извлечь из анализа материальных и политических условий, сложившихся в Китае в то время, когда современный мир стал оказывать на него влияние. Хотя города существовали, в Китае не было быстрого роста городского населения, отличавшегося хотя бы умеренно распределенным и увеличивающимся благосостоянием, которое могло бы действовать как стимул для рационального рыночного производства. Если судить на основании позднейшей ситуации, близость города побуждала крестьян в основном к выращиванию фруктов и овощей, которые можно было доставить на рынок вручную. Имперская политика в начале расцвета династии препятствовала образованию крупных земельных владений. Во второй половине XIX в. большие поместья господствовали в некоторых частях империи¹⁷. И хотя этот момент требует дальнейшего изучения, похоже, крупные поместья часто были просто скоплением небольших участков земли, т.е. состояли из большего числа крестьян, которые благодаря этому платили собственнику повышенную совокупную ренту.

Здесь мы подходим к ключевой проблеме. Отношения между китайскими помещиками и арендаторами были политическим инструментом для выжимания экономической сверхприбыли из крестьян и приобретения за счет этого благ цивилизации. (Сейчас можно пренебречь тем, что крестьянин мог либо не мог приобрести от этих отношений.) В отсутствие крупного городского рынка оставалось немного причин для изменения этой ситуации и, вероятно, еще меньше возможностей сделать это. Амбициозные и энергичные индивиды предпочитали добывать себе бюрократические посты ради увеличения семейных владений.

Китайское сельское хозяйство, конечно, не осталось совершенно статичным во второй половине XIX и первых десятилетиях XX в. Когда городская жизнь интенсифицировалась, это имело далеко идущие последствия для аграрного сектора; на некоторые из них мы уже обратили внимание, до других дойдет очередь ниже. Здесь требуется отметить только один выделяющийся момент. В условиях простой технологии и избытка рабочей силы китайские землевладельцы не нуждались в рационализации производства на ферме для продажи продукции на городском рынке. Если ферма располагалась по соседству с городом, помещику было намного проще бездельничать и сдавать свою землю крестьянам-арендаторам, позволяя конкуренции за землю увеличи-

¹⁷ См.: [Jamieson et al., 1889, p. 100], где упоминаются огромные владения в Цзянсу. Хохлов утверждает, что в начале XIX в. они были почти везде [Хохлов, 1962, с. 110].

вать свой доход, не прилагая к этому особых усилий. Сходным образом преуспевающие городские жители без труда могли найти возможность для выгодного вложения в землю. Экономически этот процесс означал распространение вблизи городов феномена отсутствующих помещиков. Социологически это работало на частичное сращение слоев бывших джентри и состоятельных городских кругов. Но эта ситуация оставалась стабильной, лишь пока сохранялись политические методы принуждения крестьян к работе и собирания с них ренты. Вскоре эта задача оказалась неразрешимой.

Итак, не похоже, что внутренний недостаток приспособляемости мешал китайским джентри совершить успешный переход в современный мир. Важнее был недостаток стимулов и наличие в этой исторической ситуации иных, более примитивных альтернатив. Большую часть времени рынок оставался слишком неразвит для того, чтобы заниматься этим серьезно. Но там, где рынок все-таки возникал, джентри становились не аграрными предпринимателями, а рантье с политическими связями. В направлении капитализма двигалось меньшинство. Но именно оно образовывало передний край мощной исторической тенденции. В тех условиях, с которыми сталкивались джентри, у них вряд ли был иной выбор. Судьба китайских джентри, далеко не самого отвратительного правящего класса в истории, была, как это обычно бывает в случае упадка любого правящего класса, отчасти трагической.

4. ЗАКАТ ИМПЕРАТОРСКОЙ СИСТЕМЫ И ВОЗВЫШЕНИЕ ГЕНЕРАЛОВ

Во всех крупных странах Европы в течение очень долгого времени борьба между аристократией и короной была решающим элементом политики. Везде, даже в России, в некоторый момент возникают сословия, которые у немецких историков называются *Stände*, т.е. статусные группы с существенным уровнем корпоративной идентичности и общественно признанными привилегиями, яростно оберегаемыми от посягательств со стороны других групп и особенно короны. Рывок модернизации поразному повлиял на это противостояние — в зависимости от времени и ситуации, в которой она начиналась. В Англии ситуация была благоприятной для парламентской демократии; на континенте — гораздо менее и даже вовсе неблагоприятной, хотя в какой-то момент и здесь, как правило, возникала аристократическая либеральная оппозиция.

В рассматриваемый период китайский высший класс землевладельцев не создал сильной и принципиальной оппозиции императорской системе. Несомненно, были те, кто в качестве интеллектуальной игры переняли понятия западного парламентаризма, но не было политического

оппозиционного движения, существенно укорененного на китайской почве. Некоторые обстоятельства, благоприятные такому развитию, наличествовали. Китайский чиновничий класс — я имею в виду обладателей ученых степеней, независимо от того, владели они землей или нет, — отличался сильным чувством корпоративной идентичности, а также пользовался привилегиями и свободами, с которыми считались как император, так и в значительной мере широкие слои общества¹⁸. В Европе эпохи феодализма аристократы добились привилегий и свобод, вырабатывали чувство корпоративной идентичности, создали институты, которые, по мнению некоторых историков, внесли существенный вклад в движение к парламентской демократии. В Китае любое движение такого рода сталкивалось с гораздо большими препятствиями. Земельная собственность в китайском обществе не превращалась непосредственно в основу политической власти, независимую от политического механизма, обеспечивавшего поступление денег. Императорская система была не только способом получения денег с собственности, но и способом приобретения самой собственности.

Тот факт, что обстоятельства в целом препятствовали зарождению либеральной аристократической оппозиции, уменьшил возможности для гибкого ответа на совершенно новый исторический вызов в китайском случае, что помогает объяснить одну новую особенность, которую мы здесь встречаем: почти полное разложение центрального правительства. Режим, множество ключевых черт которого веками сохранялось в неизменном виде, просто распался меньше чем за столетие под напором западного влияния.

Конечно, в случае российской реакции на западное влияние центральное правительство также почти исчезло в самый краткий срок. Однако в России на фоне глубинных социальных изменений период правительственного коллапса был не более чем эпизодом. Тогда как в Китае финальный период почти полной анархии длился намного дольше. Самое малое его можно датировать с провозглашения республики в 1912 г. до формальной победы Гоминьдана в 1927 г. Его последний этап дал начало слабой реакционной фазе (она рассматривается ниже), которая также не имеет отношения к русскому опыту, поскольку она не предшествовала коллапсу, но следовала за ним. В этом разделе я постараюсь указать некоторые причины разложения центральной власти и обратить внимание на то, как высшая страта сумела сохранить себя, когда прежняя государственная система затрещала по швам.

¹⁸ Об этом см.: [Ch'ü, 1962, p. 173–175]. Хо [Ho, 1962, p. 99] утверждает, что члены одного класса экзаменующихся называли друг друга братьями и что это фиктивное родство нередко сохранялось и в следующем поколении.

В последние полвека своего правления маньчжурское правительство столкнулось с серьезной дилеммой. С одной стороны, ему требовалось больше дохода для усмирения внутренних возмущений и для ответа на внешнюю угрозу. С другой стороны, оно не могло получить эти доходы, не подорвав всю систему привилегий класса джентри. Для получения адекватных доходов нужно было поощрить развитие торговли и промышленности. Тот факт, что иностранцы контролировали таможенную, делал проведение такой политики еще более затруднительным. Для наращивания правительственных доходов потребовались бы организация эффективной системы налогообложения и борьба с чиновничьей привычкой присваивать себе львиную долю налогов, собранных с подданных. Таким образом, правительству пришлось бы уничтожить важный источник доходов джентри и поощрить рост социального класса, который в конечном счете мог бы успешно конкурировать с джентри. Поскольку правительство само опиралось на джентри, подобное развитие событий было невероятно (см.: [Wright, 1957, p. 184–190; Cameron, 1931, p. 163; Morse, 1908, ch. 4]). Столь пронизательный и сильный правитель, как Бисмарк, мог позволить себе пренебречь интересами существенных сегментов своей политической базы ради реализации политики, которая, по его расчету, должна была принести пользу и более сильную поддержку режиму. Успех в такой игре обеспечивает государственному чиновнику выдающееся место в учебниках истории, т.е. на «суде истории», к которому апеллируют все политики. Ни один правитель не способен просто отказаться от своей главной социальной опоры и фактически попросить ее совершить политическое самоубийство.

То, что в данных условиях успешная реформа в Китае XIX в. была немислима, не значило, что правительство бездействовало. Ни правительство, ни джентри не хотели плыть по течению истории. Попытки реформ предпринимались, а их неудачи позволяют обнаружить те чудовищные препятствия, с которыми сталкивались правители.

Самое энергичное начинание, известное как Реставрация Тунчжи, которое описала Мэри С. Райт в весьма познавательной монографии, продолжалось больше десяти лет — с 1862 по 1874 г. На проблемы внутренних беспорядков и внешней агрессии выдающиеся администраторы, проводившие эти изменения, ответили решительной реакционной политикой. Одним из основных направлений стало усиление позиции джентри. Чиновники неукоснительно соблюдали правовые и экономические привилегии этого класса, восстановили *status quo ante* в праве собственности на землю там, где революция изменила положение дел, и в первую очередь к выгоде помещиков применяли налоговые льготы. Торговлю и коммерцию они считали «паразитирующим наростом» на хорошо устроенном сельскохозяйственном обществе [Wright, 1957,

р. 129, 167]. Нисколько не забывая экономические и социальные проблемы своего общества, они говорили в основном в этических терминах поиска «правильного» мужа с «правильным» характером для выполнения «правильного» дела — «правильность» при этом, конечно, означала согласие с конфуцианской доктриной. Подобная возгонка традиционной риторики часто случается, когда правящий класс ощущает себя загнанным в угол. Хотя Реставрация Тунчжи на время одержала победу, ее успех лишь ускорил окончательное падение, поспособствовав тем силам, которые наиболее рьяно сопротивлялись фундаментальному преобразованию китайского общества. Таким образом, деятели Реставрации внесли свой вклад в насильственное свержение тех классов и институтов, которые стремились укрепить.

Шквал реформ в правление вдовствующей императрицы в первые годы XX в. имел другой характер, что указывает на еще один аспект проблемы. Мы можем упомянуть лишь ее попытку модернизировать образование и отменить экзаменационную систему. За этим в 1906 г. последовала тронная декларация приверженности принципу конституционного правления, хотя этот принцип и должен был реализовываться лишь по мере готовности страны. Одновременно вдовствующая императрица предложила провести реформу бюрократии и предприняла несколько энергичных шагов в этом направлении. Когда ее планы встретили жесткую оппозицию, она уволила четырех из шести министров Великого совета, показав серьезность своих намерений [Cameron, 1931, p. 103; Bland, Backhouse, 1911, p. 431–432]. Пусть даже этот всплеск реформаторской энергии, ни к чему не приведший, образует почти курьезный контраст с прежним поведением вспыльчивой, крайне реакционной и умелой интриганки, отвергнуть его с улыбкой как бессмысленный жест было бы неверной интерпретацией данного весьма показательного эпизода. Ее подход позволяет предположить, что реальной целью могло быть установление сильной власти центральной бюрократии, полностью подконтрольной правителю, наподобие того, что случилось в Германии и Японии¹⁹.

Для наших целей нужно отметить главное — социальная база для такого режима в Китае отсутствовала в еще большей степени, чем в России. Как показывает опыт Италии и Испании, краеугольный камень таких режимов — коалиция между слоями старого правящего класса землевладельцев, сохранявшего значительную политическую силу, несмотря на нестабильное экономическое положение, и нарождающейся коммерческой и промышленной элитой, обладавшей экономической

¹⁹ Кроме того, по этому вопросу см. ее декрет от 11 января 1901 г.: [Bland, Backhouse, 1911, p. 419–424, 423].

властью, но ущербной политически и социально. В Китае того времени городские коммерческие группы на местах были слишком слабы, чтобы стать полезным партнером в подобном альянсе. Должно было пройти еще четверть века, прежде чем попытка такого рода реакционной политики могла быть реализована с некоторыми шансами на успех, но теперь уже под эгидой Гоминьдана.

Фундамент для нее был заложен в последней трети XIX в., когда произошли важные сдвиги в характере и положении джентри. Идеал конфуцианской учености, а вместе с ним традиционная статусная система в Китае в целом пошатнулись, поскольку материальный базис социальной роли ученого чиновника и ее значение в китайском обществе неуклонно уменьшались. Выше уже был случай отметить двусмысленную ситуацию, в которой оказалось правительство, вынужденное балансировать между необходимостью получения дополнительных доходов и опасением навредить позициям джентри. Наконец, избранное им решение поспособствовало окончательному коллапсу режима.

В поисках доходов после восстания тайпинов (1850–1866), опустошившего огромные области Китая, правительство несколько приоткрыло черный ход для стремившихся к государственной службе, позволив большему числу людей покупать чин, а не приобретать его, как было принято, через сдачу экзаменов²⁰. И хотя новые состоятельные рекруты не сломали иерархию, престиж экзаменов снизился и главная опора старого режима была серьезно повреждена. Формальная отмена экзаменационной системы после ряда попыток ее модернизации, лишь настроивших против себя традиционных ученых, опасавшихся, что их знания станут ненужными, была объявлена прокламацией 1905 г. По инерции в течение нескольких лет, поскольку заменить ее было нечем, система продолжала свое существование.

Когда возможность для исполнения традиционной роли ученого уменьшилась, а власть центрального правительства ослабла, джентри постепенно взяли под свой контроль местную политику, что предвещало долгий период хаоса и междоусобной войны, которая не прекращалась вплоть до победы коммунистов в 1949 г. Во многих частях страны джентри собирали собственные налоги, не позволяя другим платить их центральному правительству [Chang, 1955, p. 46, 66, 70]. Установив знаменитый лицзинь, налог с хозяев магазинов и коммивояжеров, императорское правительство ускорило разрушительные тенденции. Налог был чрезвычайной мерой, необходимой после восстания тайпинов для сбора денег, которые невозможно было собрать традиционными способами.

²⁰ [Chang, 1955, p. 111, 141]; иную оценку характера этих «отклонений» см.: [Ho, 1962, p. 38–41].

Ничего удивительного, что вожди Реставрации предпочитали лицзинь, а не повышение налога на землю [Wright, 1957, p. 168–169]. Налоговый контроль выскользнул из рук императорского правительства, однако сам налог сохранился для поддержания экономической основы новых региональных администраций, предшественников эпохи военных диктатур [Beal, 1958, p. 41–44; Chang, 1955, p. 69].

Конец маньчжурской династии и провозглашение республики в 1912 г. обеспечили косвенное конституционное признание того, что реальная власть перешла в руки местных сатрапов, у которых она оставалась еще по меньшей мере полтора десятилетия. В течение этого периода высшие слои бывших джентри оставались у власти, либо захватывая военное руководство, либо вступая в союз с независимыми военными. Весь социальный и культурный механизм, обеспечивавший легитимность класса джентри, был безвозвратно уничтожен. Их наследникам пришлось стать просто помещиками, бандитами либо сразу тем и другим — тенденция к этому просматривалась еще в эпоху империи.

Между землевладельцами и вооруженными бандитами царили отношения симбиоза. Наиболее ясно это проявлялось в функционировании системы военных реквизиций — сбора налогов, взимавшихся рабочей силой либо натурой, — которая оставалась главным методом принуждения крестьянства к поддержке элит в сельской местности. Торговцы также сыграли в этом свою роль, что предопределило коалицию между коммерческими группами и помещиками, на которую опирался Гоминьдан.

Теоретически военные реквизиции объяснялись необходимостью собирать налог на землю. Система была довольно гибкой, как правило в ущерб крестьянам, потерявшим большую часть гарантий, предоставлявшихся им со стороны имперских чиновников, и лишившимся норм ограниченной «легитимной» эксплуатации, — эта деградация продолжалась уже некоторое время. Исходная сумма налога в два катти муки могла превратиться в два с половиной, три катти сена могли стать шестью, а четыре повозки — шестнадцатью и т.д. Торговцы зерном договаривались с реквизиторами и часто выступали агентами помещиков, получая прибыль, уплачивая сумму, когда приходил срок, и затем поднимая цену на зерно, разделяя разницу между фиксированной и рыночной ценой. Иногда поборы не прекращались даже после ухода военных. Крупные помещики, нередко обладавшие своим войском, обычно заставляли арендаторов оплачивать его постой²¹. Пусть даже, как я предполагаю, источники, из которых получены эти сведения, преувеличивают бедствия

²¹ [Agrarian China, 1939, p. 101–109]. Соответствующая статья, вошедшая в сборник, была напечатана в 1931 г. Несмотря на примитивный марксистский догматизм, во многих материалах этого издания встречаются полезные источники информации о таком плохо изученном периоде.

крестьян, но в том, что ужасные страдания, сотворенные людьми, имели место, нет никаких сомнений.

Оставив до более подходящего момента рассмотрение положения крестьян, можно заметить некоторые общие черты эпохи правления генералов. Система реквизиций продолжала те же политические отношения, в которых джентри пребывали при мандаринате, когда политическая власть порождала и поддерживала экономическую, в свою очередь воспроизводившую политическую. С исчезновением центрального правительства высший класс землевладельцев потерял один из основных механизмов, сохранявших китайское общество в его традиционной форме, несмотря на все серьезные трещины и разломы. По мнению некоторых специалистов, в предшествующую эпоху общество оздоровилось, когда джентри и крестьяне выработали новый *modus vivendi* и новая сильная династия пришла к власти. В XX в. новые силы заявляли о себе, и наследники старого правящего класса безуспешно обращались к новым союзникам. Такова историческая судьба Гоминьдана, к рассмотрению которой мы теперь переходим.

5. ЭПОХА ГОМИНЬДАНА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

К 1920-м годам коммерческие и промышленные круги стали важным фактором в китайской политической и социальной жизни, хотя неослабевающая зависимость от иностранцев и аграрных кругов вынуждала капиталистов играть совсем иную роль, нежели в Западной Европе. В то же время, как показано ниже, численно небольшой, но политически значимый слой помещиков, обосновавшихся по соседству с портовыми городами, начал смешиваться с этим классом, превращаясь в рантье. Кроме того, о своем появлении на исторической сцене в бурной и насильственной манере заявил городской пролетариат.

В этой ситуации инициативу перехватила партия Гоминьдан. История ее прихода к власти слишком известна, чтобы повторять ее здесь в подробностях²². Пусть некоторые вопросы остаются спорными, для нашей цели важными представляются следующие моменты.

Выступив со своей базы на юге, Гоминьдан, пользуясь серьезной поддержкой со стороны китайских коммунистов и Советской власти, к концу 1927 г. установил контроль над значительной частью Китая. До этого момента в основе его успеха было использование и управление энергией недовольства, царившего среди крестьян и рабочих. Таким образом, со-

²² Первое исследование такого рода: [Holcombe, 1930] Лучший общий обзор: [Isaacs, 1951]. Шварц и Брандт [Brandt, Schwartz, Fairbank, 1952; Brandt, 1958] предоставляют дополнительную информацию о действиях русских и китайских коммунистов в этот период.

циальная программа Гоминьдана отличалась от программы милитаристов и обеспечивала преимущество над ними. На время возникала даже надежда на то, что военная сила Гоминьдана способна одолеть милитаристов и объединить Китай на основе революционной программы.

Этого не случилось, хотя формальное объединение произошло. Частичный успех Гоминьдана вскрыл внутренние конфликты между разрозненными элементами, на время ставшими союзниками ради программы националистического объединения. Высшие классы землевладельцев, поставлявшие в войска офицеров, испытывали все большее беспокойство, что крестьяне уйдут с земли. По иронии судьбы китайские коммунисты, подстрекаемые из Москвы, в этих условиях поддержали наследников джентри на том основании, что национальная революция предшествует социальной [Brandt, 1958, p. 106–107, 125]. Роль городских торговцев и финансистов остается менее ясной²³. Но они вряд ли больше, чем джентри, обрадовались перспективе успеха левой программы Гоминьдана.

В этих условиях Чан Кайши, сохранявший твердый контроль над важным сегментом армии, благодаря серии военных успехов посреди хаоса интриг, смог дистанцироваться от революции. Покончив с размежеванием, он обрушился на рабочих в классической манере аграрно-буржуазного союза. Его представители, наряду с действовавшими на месте событий агентами полиции и военными силами Франции, Британии и Японии, 12 апреля 1927 г. осуществили массовую резню рабочих, интеллектуалов и всех уличенных в симпатиях к коммунистам [Isaacs, 1951, ch. 2, p. 180]. Чан Кайши и его военная машина не были, однако, пассивным инструментом коалиции. Чан атаковал даже капиталистические круги, проведя конфискации и принудительные заемы под угрозами тюремного заключения и казней [Isaacs, 1951, p. 181].

Победа Чан Кайши означала новый этап в китайской политике. На словах и на деле приоритетом для Гоминьдана было национальное единство, которое должно предшествовать политической и аграрной реформе. В реальности это означало решение аграрной проблемы посредством военной силы, т.е. давления как на бандитов, так и на коммунистов. Вряд ли можно утверждать, что этот проект был безнадежным с самого начала. В Японии и Германии модернизация также происходила под контролем реакционеров и с существенной долей принуждения, причем немецкое правительство столкнулось с той же задачей национального

²³ Журналист утверждает, что Чан Кайши получил обещание серьезной финансовой поддержки со стороны ведущих банков и торговых компаний Шанхая, которые согласились вложить свои деньги при условии, что новое правительство однозначно выступит против коммунистов [Berkov, 1938, p. 64].

объединения. Тем не менее проблемы, возникшие в Китае, оказались намного сложнее.

Сколько-нибудь подробное уточнение аграрной ситуации быстро приводит к пробелам в данных, даже к почти полному отсутствию статистики, на которую можно положиться, и в случае Китая эти лакуны обширнее, чем в других странах, рассматриваемых в данной книге. Но все же в главных чертах проблема совершенно ясна. Первый момент, заслуживающий упоминания, — негативный. В Китае, возможно за исключением некоторых областей, после Первой мировой войны не было ситуации, когда класс аристократов, владельцев огромных латифундий, эксплуатировал массы бедных крестьян и безземельных рабочих. Однако чрезмерное внимание к этому факту серьезно искажает реальную картину. Под влиянием роста торговли и промышленности Китай постепенно двигался к системе «отсутствующего землевладельца» с постоянно усиливающимся разрывом в уровне благосостояния. Наиболее выражен этот сдвиг был в прибрежных районах, особенно вблизи крупных городов. Во многих внутренних частях страны проблемы аренды стояли не менее остро, хотя скорее всего это было вызвано наследием прежних практик, а не влиянием новых сил²⁴. Хорошо известно и не нуждается в повторении, что сельское хозяйство в Китае подразумевало огромные затраты ручного труда при минимальном использовании дорогостоящих орудий труда или скота (лишь отдельные богатые семьи на севере, где выращивали пшеницу, держали лошадей). Р. Тони, по своему обыкновению прибегая к кудрявой классической прозе, помещает это обстоятельство в должный политический и социальный контекст, замечая, что отличительной чертой китайского сельского хозяйства «была экономия пространства, экономия материалов, экономия орудий труда, экономия фуража, экономия топлива, экономия продуктов жизнедеятельности, экономия всего на свете, за исключением леса, который расходовался с крайней беспечностью, обуславливавшей эрозию почвы, и людских ресурсов, которых по социальным обыкновениям было в избытке и этот избыток продавался по дешевой цене» [Tawney, 1932, p. 48].

В отсутствие традиции, ставившей феодальные поместья в привилегированное положение, отношения между помещиком и арендатором в Китае содержали существенные черты делового соглашения. Однако это было доиндустриальное деловое соглашение, опиравшееся на местный обычай. В итоге статистическая категория арендных отношений охватывала большое число различных ситуаций. Отдельные помещи-

²⁴ Определенно самый лучший обзор см.: [Tawney, 1932]. В книге [Buck, 1937] содержится полезная статистическая информация, собранная под началом автора.

ки, обремененные долгами после покупки земли, находились в худшем положении, чем многие арендаторы. В то же время арендаторы земли могли быть преуспевающими людьми с запасом наличных денег и орудий труда либо бедными, практически безземельными крестьянами, которых любое бедствие ставило в почти рабскую зависимость [Tawney, 1932, p. 63, 65; China-U.S., 1947, p. 53; Agrarian China, 1939, p. 59]. Эти соображения показывают проблематичность привязывания конкретных терминов «помещик» и «крестьянин» к общему понятию социального класса. Но не следует поддаваться и противоположной иллюзии: будто о социальных классах вообще нельзя вести речь, потому что статистические данные не позволяют их выявить. Еще более запутанная проблема, к которой мы перейдем в свое время, — это масштаб непримиримой классовой борьбы на селе.

Некоторые исторические оценки заслуживают того, чтобы обратить на них внимание читателей. К концу первой четверти XX в. земля в Китае почти полностью перешла в частную собственность. Государству принадлежало лишь около 7%. Оставшиеся 93% почти полностью находились в руках частных лиц. Примерно три четверти этих земель принадлежало фермерам, одна четверть была арендована [Buck, 1937, p. 9; China-U.S., 1947, p. 17]. На первый взгляд эти цифры демонстрируют, что аренда не была серьезной проблемой. Но анализ по регионам показывает совсем иную картину. В северных областях, где выращивали пшеницу, в собственности, по самым надежным оценкам, находилось около семи восьмых земли [Buck, 1937, p. 194]. Аренда в этих местах нередко принимала долевою форму, которая вообще была предпочтительной в областях с высокой вероятностью наводнения или засухи [China-U.S., 1947, p. 55]. В свете последующего роста влияния коммунистов во многих северных регионах эта статистика внушает мне подозрение, однако я могу лишь констатировать наличие определенной проблемы. Согласно одному источнику, помещичество сильно расцвело и укоренилось в социальной структуре той области северо-восточного Китая, которая впоследствии перешла под контроль коммунистов²⁵. На юге, особенно в областях производства риса, помещик был намного более важной фигурой. В некоторых провинциях доля арендуемой земли превышала 40%, однако в целом по региону производства риса три пятых земли все еще оставалось

²⁵ [Crook, Crook, 1959, p. 3, 12, 13, 27–28]. Это исследование, проведенное канадским и английским учеными под наблюдением коммунистов в 1948 г., отличается меньшей сдержанностью в отношении неприглядной стороны правления Гоминьдана. Хотя авторы соблюдают нормы научной объективности и эта книга ни в коем случае не является коммунистической по духу, на мой взгляд, они не совсем критически отнеслись к коммунистической версии недавнего прошлого китайской деревни.

в собственности [Buck, 1937, p. 194, 195]. Вблизи больших городов помещики, проживавшие на своей земле, были редкостью. Здесь еще с конца 1920-х годов, если не раньше, типичной фигурой стал «отсутствующий землевладелец», как правило собиравший ренту наличными [Tawney, 1932, p. 37–38; China-U.S., 1947, p. 55]. Таким образом, карта [Buck, 1937, p. 195] показывает нам знакомую историческую картину общества, в котором коммерческое влияние постепенно размывало крестьянскую собственность, что вело к накоплению богатства в руках представителей новой социальной формации, возникшей благодаря коалиции части старого правящего класса с новыми городскими кругами.

Поскольку эта коалиция была главной социальной опорой Гоминьдана, аграрная политика партии направлялась на поддержание либо восстановление status quo. Кроме того, наличие конкуренции со стороны коммунистов, обладавших de facto независимой позицией, вело к поляризации ситуации, что делало политику Гоминьдана реакционной и репрессивной. Симпатизировавший Гоминьдану американский ученый предлагает следующую общую характеристику: «Коммунисты действуют как наследники фанатичных крестьянских бунтов, национальное правительство и партия Гоминьдан — как преемники мандарината» [Linebarger, 1941, p. 233]. Конечно, это лишь часть истории, но оценка точная. По другому случаю тот же специалист пишет, основываясь на своем непосредственном опыте:

Поскольку [Гоминьдан]... не поощрял классовую борьбу в деревне, сохранялись прежние классовые отношения. Партия и правительство стремились, пусть не всегда эффективно и до конца последовательно, реализовать программы земельных реформ... Гоминьдан попустительствовал распространенной испольщине, захватам земли, ростовщичеству и сельскому деспотизму, поскольку все это уже сложилось ранее, и занимался в первую очередь построением национального правительства, современной армии, адекватной финансовой системы и борьбой с тем, что считалось худшим злом, — с опиумной зависимостью, бандитизмом и коммунизмом... [Ibid., p. 147–148].

Судя по этому пассажи, автор принимает за чистую монету утверждения Гоминьдана о причинах своей политики. Тем не менее этот пассаж представляет собой важное свидетельство, исходящее от источника, близкого к Гоминьдану, которое показывает, что политика, направленная на поддержание в деревне status quo, сама по себе была формой классовой борьбы.

Неспособность Гоминьдана осуществить серьезную перестройку аграрных отношений не означает, что не было вообще никакого прогресса.

Периодически Гоминьдан выпускал декреты и официальные заявления, нацеленные на улучшение положения крестьян²⁶. В некоторых областях, например в Сычуани, похоже, произошло реальное улучшение, после того как политика Гоминьдана пришла на смену поборам милитаристов [Linebarger, 1941, p. 111]. Согласно официальному американскому отчету, в некоторых областях помещики забирали себе в среднем одну треть общего дохода фермы, что было чуть меньше, чем потолок в 37,5%, некогда законодательно установленный коммунистами и Гоминьданом²⁷. Либеральные элементы могли способствовать постепенному ходу реформы, например выступать в поддержку движения реконструкции села, которое было приемлемо, покуда его представители оставались «политически безвредными». Целью движения реконструкции было «улучшение общества в целом без революционных изменений его классовой структуры» [Ibid., p. 110–111]. Сходный характер был у «живой социальной лаборатории» в северном районе Диньшэн с 400 тыс. жителей, где интеллектуалы впервые осознанно пошли к людям [Ibid., p. 118–119]²⁸.

Особенность, наиболее ясно выступающая на фоне дружественных и враждебных свидетельств, состоит в том, что реформы Гоминьдана были всего лишь декорацией, поскольку они оказались не способны поколебать контроль над местной жизнью со стороны элит. В областях, которых не коснулись реформаторские попытки, элиты несомненно сохранили власть. Даже такой дружественный источник, как Лайнбаргер, отмечает, что «многие уезды остаются под контролем местных администраций, позволяющих состоятельным реакционерам уклоняться от уплаты налогов, красть государственные фонды и подавлять фермерскую самоорганизацию» [Ibid, p. 120]. Во многих областях Китая конец имперского режима не привел к фундаментальным изменениям в политической и экономической роли высшего класса землевладельцев. В слабо связанных между собой сатрапиях Гоминьдана элита продолжала действовать так же, как прежде при генералах или маньчжурах. Критически настроенные по отношению к Гоминьдану источники указывают на это еще более ясно. Анализируя произведенные Гоминьданом в 1937 г. изменения в земельном законодательстве, целью которых была поддержка крестьянских ферм, один китайский писатель замечает, что политическая власть в деревне сохранилась у бывших джентри. «Поэтому нечего и мечтать о том, чтобы эти господа добросовестно осу-

²⁶ Краткий пересказ некоторых см.: [Lamb, 1931, p. 45–46, 78–79].

²⁷ [China-U.S., 1947, p. 56]. Дата закона Гоминьдана не приводится.

²⁸ См. также отчет об этом сообществе: [Gamble, 1954]. Представляется значимым, что его структура едва ли различима за массой приводимых статистических данных.

ществовали арендную политику нового закона, направленного на ослабление их экономической власти над крестьянством»²⁹. Сходным образом анализ состава местных администраций показывает, что во многих провинциях выборные процедуры не были реализованы: на уровне уезда (или округа) не только по причине непрерывных смут, но также из-за саботажа со стороны местного начальства и высших правительственных чиновников [Shen, 1936, p. 190–191, 193]. Согласно другому источнику, помещики нередко шантажировали арендаторов, требовавших снижения арендной платы, обвинениями в сотрудничестве с коммунистами, что грозило арестом³⁰.

Скорее всего ситуация не была повсюду настолько плоха, как говорят разрозненные критические замечания. То, что они вообще были опубликованы в начале 1930-х годов, само по себе значительный факт, если вспомнить кровавые репрессии, проведенные Чан Кайши за несколько лет до этого. Антропологические исследования нескольких китайских общин этого периода показывают, что патриархальные отношения и институты во многих местах ограничивали возникновение еще худших форм эксплуатации. Однако в общей картине они свидетельствуют о сохранении власти бывших джентри на местном уровне. Таким образом, подтверждается вывод о том, что аграрная политика Гоминьдана в целом вела к сохранению старого порядка.

Были важные региональные различия в том, как прежние институты функционировали в период Гоминьдана. Как замечено выше, эти различия отражают последовательность стадий исторического развития. В отдаленных деревнях с уровнем жизни, который показался бы западному человеку чрезвычайно низким, богатые семьи все-таки умели воспроизвести отдельные черты образа жизни праздных классов, в том числе свободу от физического труда и склонность к гедонизму, чему порой способствовало курение опиума, хотя эти успехи и отставали от жизненного идеала классически образованных джентри (см., напр.: [Fei, Chang, 1948, p. 19, 81–84, 91]). Полной противоположностью были деревни, расположенные рядом с большим городом, где почти не осталось следов бывших джентри, а около двух третей земель разного назначения принадлежало «отсутствующим землевладельцам» из города, что оставляло в «собственности» лишь поверхностную долю земли тем, кто ее обрабатывал³¹. Однако в еще одной деревне недалеко от Нанкина,

²⁹ [Agrarian China, 1939, p. 155], цитата из статьи 1937 г.

³⁰ [Ibid., p. 147], исходная статья 1932 г.

³¹ См. первопроходческое исследование, выполненное в 1930-е годы: [Fei, 1946, p. 9–10, 185, 191]. По вопросу о значимости двойственного владения землей автор соглашается с Тони [Tawney, 1932, p. 36–38].

где исследования проводились накануне прихода к власти коммунистов, могущество бывшего правящего класса и неизменность прежних методов поддержания отношений были выражены намного ярче. Статусом «помещика» здесь обладали только богатые землевладельцы. Однако, что было символично для этой эпохи, власть помещиков распространялась лишь там, где ее обеспечивал местный гарнизон. Удаленные от городской полицейской власти области на краю округа «сопротивлялись помещикам и не платили ренту» [Fried, 1953, p. 7, 17, 101, 196]. Эти факты говорят очень многое о реальной связи между военной силой, буржуазией и богатыми помещиками, новыми джентри, в последние годы эпохи Гоминьдана³².

Еще больше свидетельств о том, что прежний высший класс землевладельцев сохранил свои позиции и политическое влияние, дает стратегическая политика Гоминьдана накануне и во время войны с Японией. Хорошо известно, что при Гоминьдане коммерческие и промышленные круги не смогли добиться значительных успехов. На первый взгляд этот факт объясняется японской блокадой и оккупацией. Но это часть правды, поскольку блокада началась лишь в 1937 г. По-видимому, большую роль сыграла аграрная оппозиция превращению Китая в индустриальную державу. Военный историк, не заподозренный в симпатиях к марксизму, замечает, что до начала войны Китай предпочитал скорее ввозить необходимое оборудование, чем строить собственную промышленную базу [Liu, 1956, p. 155]. Тактика, применявшаяся на поле боя, также соответствовала социальной структуре, хотя сам Лиу и не делает достаточно очевидных выводов. Не обладая современным оружием, китайская армия просто использовала живую массу крестьян, заставляя солдат проявлять героизм для защиты страны. Идеология «смертного часа» вела к огромным потерям. Говорят, что только сражения 1940 г. обошлись Китаю в 28% живой силы. По оценке того же источника, за восемь лет войны погибло в среднем 23% всего мужского населения, призванного на службу [Ibid., p. 145]. Можно возразить, что то же самое произошло бы с любым доиндустриальным государством в аналогичной ситуации. Однако, на мой взгляд, это возражение упускает из виду главное: Китай оставался доиндустриальным лишь потому, что политический контроль сохранился у наследников джентри.

Теперь нужно сменить ракурс и рассмотреть режим Гоминьдана с точки зрения сравнительной институциональной истории. Поскольку мы

³² Дальнейшую информацию о том, как выживал бывший правящий класс в новых обстоятельствах, см.: [Yang, 1945, p. 183–186]. В другой деревне, недалеко от Гуанчжоу, согласно [Yang, 1959a, p. 19], был один безработный учитель традиционной школы. Крупные землевладельцы жили в городе и не принимали участия в сельскохозяйственной работе.

отвлекаемся от подробностей (при том что нам хотелось бы иметь намного более точные сведения), то очевидно, что двадцатилетнее правление Гоминьдана воспроизводило некоторые существенные черты реакционной фазы европейского ответа на индустриализацию, в том числе тоталитарные. Социальной опорой Гоминьдана, как мы видели, была коалиция, или разновидность антагонистической кооперации, между наследниками джентри и городскими торговыми, финансовыми и промышленными кругами. Партия Гоминьдан, обладая контролем над средствами насилия, служила связью, скреплявшей эту коалицию. Одновременно контроль над средствами насилия позволял партии шантажировать городских капиталистов и прямо или косвенно влиять на правительственный механизм. В этих двух отношениях партия Гоминьдан напоминала гитлеровскую НСГРП.

Однако в социальных базах этих партий, как и в исторических обстоятельствах, были важные различия, которые делают случай Гоминьдана особым. Они также помогают объяснить сравнительно слабый характер китайской реакционной фазы. Один из очевидных моментов — отсутствие в Китае сильной промышленной базы. Соответственно, капиталистический элемент здесь был намного слабее. Можно с уверенностью предположить, что японская оккупация приморских городов еще сильнее снизила влияние этой группы. Наконец, иностранная интервенция, хотя и обеспечила широкую популярность националистическим настроениям, в конечном счете помешала китайской реакционной фазе дойти в своем развитии до внешней экспансии, как это произошло с немецким, итальянским и японским фашизмом. По этим причинам китайская реакционная и протофашистская фаза напоминает скорее не Германию и Италию, а франкистскую Испанию, где аграрная элита также удержалась у власти, но не смогла проводить агрессивную внешнюю политику.

Наиболее поразительные сходства между периодом реакции в Китае и его европейскими аналогами обнаруживаются в области теории, где реалистичность размышлений не настолько неопровержима. На революционном этапе накануне прихода к власти Гоминьдан солидаризировался с восстанием тайпинов. После захвата власти и выдвижения Чан Кайши в качестве реального лидера партия совершила полный разворот, отождествив себя с императорской системой и ее успехами периода Реставрации 1862–1874 гг. [Wright, 1957, p. 300, 301(3n)], — эта смена курса заставляет вспомнить о политике итальянских фашистов на ранней стадии. После победы доктрина Гоминьдана стала любопытной амальгамой конфуцианских элементов и фрагментов западной либеральной мысли. Последняя, как известно, была завезена в Китай Сунь Ятсеном, который относился к числу наиболее почитаемых основателей партии. Аналогии с европейским фашизмом возникают преимущественно из-за тех акцен-

тов, которые Чан Кайши или те, кто сочинял его доктринальные высказывания, делали на этих разрозненных элементах.

В основном диагноз национальных проблем, выраженный языком полуконфуцианской морали и философских банальностей, сводился к тому, что кризис после революции 1911 г. объясняется неправильным мышлением китайского народа. В 1943 г. Чан Кайши утверждал, что китайцы не поняли всей мудрости глубокого философского высказывания Сунь Ятсена — «понимать трудно, действовать легко» — и по-прежнему считали, что «понимать легко, действовать трудно». Единственный конкретный элемент, упоминаемый в этом диагнозе, — вред, нанесенный Китаю иностранным господством и несправедливыми договорами, а также несколько замечаний о слабости и коррупции маньчжурской династии [Chiang Kai-shek, 1947, ch. 1–2]. Практически никакого внимания не уделялось рассмотрению социальных и экономических факторов, приведших Китай в его нынешнее положение. Сказать об этом открыто, в сколько-нибудь честной форме, значило бы серьезно рискнуть поддержкой со стороны высшего класса. Как отсутствием реалистичного анализа ситуации, так и причинами его отсутствия доктрина Гоминьдана напоминает европейский фашизм.

То же самое относится к планам Гоминьдана на будущее. В полуофициальной книге Чан Кайши встречаются отдельные замечания о важности «народного благосостояния» (этот термин использовался как эвфемизм для аграрной проблемы). Но, как замечено выше, в реальности было очень мало сделано или хотя бы предложено для решения этого вопроса. Был принят десятилетний план индустриализации, но опять-таки скорее для галочки. Вместо реальных дел акцент ставился на моральной и психологической реформе сверху, лишенной социального содержания. Как диагноз прошлого, так и план действий на будущее резюмируются в следующих словах Чан Кайши:

Из того, что было сказано, мы знаем, что ключ к успеху национальной реконструкции — это изменение нашей социальной жизни, а изменение нашей социальной жизни, в свою очередь, зависит от тех, кто обладает видением, силой воли, моральным убеждением и чувством ответственности, и тех, кто с помощью своей мудрости и усилий ведет людей в городе, в округе, в провинции и по всей стране по новому пути, пока незаметно для себя люди не привыкнут к нему. Я также указал, что национальная и социальная реконструкция с легкостью осуществится, если молодежь по всей стране преисполнится решимости совершить то, на что не отваживаются другие, и выдержать то, что другие не в силах выдержать... [Chiang Kai-shek, 1947, p. 212].

Здесь китайская теория аристократической благожелательности под давлением обстоятельств приобрела воинственный, «героический» характер. Эта комбинация уже была известна на Западе в форме фашизма.

Сходство усиливается, если рассмотреть организационную форму, которую этот героический элитизм должен был присобрести, т.е. саму партию Гоминьдан. Но есть важное различие. Гоминьдан был ближе к концепции «вооруженной нации». Предполагалось, что каждый член общества восхищается силой партийных идеалов и нравственным примером вождей. Хотя идея всеохватной партии восходила к Сунь Ятсену, она имела некоторые тактические преимущества. Чан Кайши придерживал дверь открытой даже для коммунистов в надежде, что они вольются в его организацию [Chiang Kai-shek, 1947, p. 211–216, 219–221, 233]. В реальности Гоминьдан, как и европейские тоталитарные партии левого и правого толка, составлял очень малую часть всего населения [Linebarger, 1941, p. 141–142]³³.

Декларируемой целью моральной и психологической реформы и ее показного организационного воплощения была военная мощь. В свою очередь, военная мощь должна была обеспечить национальную оборону и единство нации. Чан Кайши снова и снова делал военное объединение предварительным условием для всякой реформы. Его главному аргументу в пользу этой позиции был свойствен определенный тоталитарный круг. Он цитирует суждение Сунь Ятсена, что Руссо и Французская революция не могут служить образцом для Китая, поскольку европейцы того времени не имели свободы, тогда как нынешние китайцы имеют ее в избытке. Согласно любимой метафоре Чан Кайши и Сунь Ятсена, Китай словно гора сыпучего песка был легкой жертвой иностранного империализма. «Чтобы бороться с иностранной агрессией, — завершает Чан цитату из Суня, — мы должны освободить себя от идеи “частной свободы” и слиться в сильный сплоченный организм, как твердая масса из песка и цемента». Чан Кайши продолжает следующим замечанием:

Другими словами, если китайской нации для защиты страны нужно сплотиться в единство, твердое как камень, то само собой разумеется, что частные лица не могут пользоваться излишней свободой наподобие сыпучего песка. Китай должен стать сильным национальным единством, способным к самозащите, поскольку ему предстоит одержать окончательную победу в этой войне, а в послевоенный период вместе с другими независимыми и свободными нациями мира работать на обеспечение постоянного мира во всем мире и

³³ В отсутствие официальных данных автор оценивает число участников примерно в 2 млн человек.

IV. ЗАКАТ КИТАЙСКОЙ ИМПЕРИИ

освобождение всего человечества. Поэтому... избыточной личной свободе... не дозволяется существовать ни во время войны, ни в послевоенный период [Chiang Kai-shek, 1947, p. 208].

Три особенности выделяются в кратком изложении доктрины Гоминьдана согласно Чан Кайши. Первая — это почти полное отсутствие какой-либо социальной и экономической программы для решения внутренних проблем, скорее заметны ритуальные жесты отстранения от реальности этих проблем. Разговоры о «политической опеке» и о подготовке страны к демократии были чистой риторикой. Актуальная политика состояла в том, чтобы как можно меньше затрагивать существующие социальные отношения. Такая политика не исключала принуждения и насильственных контрибуций в отношении любых слоев населения, оказывавшихся удобной мишенью. Гангстеры в американских городах занимаются тем же самым, не предпринимая реальных попыток перевернуть существующий социальный порядок, от которого они на самом деле зависят. Второй особенностью можно назвать сокрытие конкретных политических и социальных целей с помощью гротескных усилий по оживлению традиционных идеалов в ситуации, которая долгое время все больше подрывала социальную базу этих идеалов. Поскольку профессор Мэри С. Райт убедительно разобрала этот момент на основании большого числа конкретных свидетельств в своей книге «The Last Stand of Chinese Conservatism», нам остается только напомнить о том, что искаженная патриотическая идеализация прошлого — это и есть один из главных стигматов западного фашизма. Третьей и последней особенностью является стремление Гоминьдана решать проблемы с помощью военной силы, что также было важной чертой европейского фашизма.

Делать акцент на этих особенностях еще не значит, что Гоминьдан не отличался от европейского фашизма или предшествовавших ему реакционных движений. Полного совпадения в истории не случается, и нас здесь интересует другая проблема. Важно то, что эти сходства соответствуют определенной констелляции, значимой для понимания не только Китая, но и вообще динамики тоталитарных движений. Другими словами, перед нами неопределенный набор случайных сходств, в котором незначительные китайские особенности напоминают ключевые черты ряда европейских стран. Напротив, образуя комплексное единство, они некоторое время господствовали в политическом, социальном и интеллектуальном климате как Европы, так и Китая.

Усилия Гоминьдана поставить Китай на реакционный путь, ведущий к современному государству, завершились полным провалом. Тем же завершилась аналогичная и даже более обоснованная попытка российской власти. В обеих странах этот провал стал непосредственной причиной и предвестием успеха коммунистов. В России коммунистам

удалось создать первоклассную индустриальную державу, в Китае подобные перспективы пока сомнительны. В обоих случаях крестьянский бунт и восстание внесли решающий вклад в продвижение этих стран по коммунистическому пути модернизации, а не по пути реакционного или демократического варианта капитализма. В Китае этот вклад был даже существеннее, чем в России. И вот теперь самое время для того, чтобы подробно рассмотреть роль крестьянства в этих грандиозных трансформациях.

6. ВОССТАНИЕ, РЕВОЛЮЦИЯ И КРЕСТЬЯНСТВО

Частота крестьянских восстаний в Китае хорошо известна. Фицджеральд называет шесть главных бунтов за всю долгую историю Китая до 1900 г. [Fitzgerald, 1952, p. 13]. Было множество других — локальных и безуспешных. Я попытаюсь указать основные причины того, что китайское общество в период до современной эпохи было предрасположено к крестьянским восстаниям, ограничившись рассмотрением финальной стадии правления маньчжурской династии. Хотя некоторые из этих факторов действовали еще при прежних династиях, это выходит за рамки данной книги и авторской компетенции. Тем не менее можно занести в протокол тот факт, что речь идет именно о восстаниях, а не революциях: ни один из этих бунтов не изменил базовую структуру общества. Затем я постараюсь показать, как эта первоначальная структурная слабость обернулась на пользу подлинной революции из-за новых конфликтов, порожденных влиянием коммерции и промышленности в XIX–XX вв. В целом эта история составляет поучительный контраст с ситуацией в Индии, где до современной эпохи крестьянские восстания были сравнительно редкими и совершенно бесплодными, а модернизация на долгое время разорила крестьян не меньше, чем в Китае. Сравнение с Японией так же показательное, хотя и менее поразительное. Японские власти оказались способны сдерживать крестьянские восстания в ходе модернизации отчасти потому, что крестьянское сообщество в этой стране было организовано на иных принципах, чем в Китае. Но этот успех, в свою очередь, позволил Японии развиваться по реакционной модели модернизации, которая, как и в Германии, привела к фашизму.

Перед тем как приступить к рассмотрению китайского крестьянства, стоит напомнить о том, что политическая структура Китая в XIX в. демонстрировала серьезную слабость, имевшую лишь косвенное отношение к крестьянству; ее уместнее считать следствием характера и организации правящей страты помещиков и чиновников. Я упоминал выше некоторые причины того, почему этот сегмент китайского общества в целом был не в состоянии приспособиться к современному миру коммерции и промышленности. Есть достаточно ясные указания на опре-

деленный дефект в политическом механизме традиционного Китая. В своей среде обитания в качестве помещиков представители джентри нуждались в том, чтобы имперская система была достаточно сильной для поддержания их власти над крестьянами. В то же время действия, необходимые для укрепления имперской системы, противоречили краткосрочным интересам провинциальных джентри, которые не спешили платить свою часть налогов и обычно стремились решать местные вопросы самостоятельно [Hsiao, 1960, p. 125–127]. Окружной магистрат не мог ничего поделать с этой ситуацией. Когда коррупция возросла, а польза от центрального правительства стала неочевидной, центробежная сила лишь увеличилась и образовался порочный круг.

В контексте нашей непосредственной проблемы наиболее важные структурные дефекты означают пропуски в связях, соединявших крестьянство с высшим классом и господствующим режимом. Как указано выше, представители джентри не играли какой-либо, хотя бы контролирующей, роли в аграрном цикле, которая давала бы им легитимный статус для того, чтобы претендовать на руководство крестьянской общиной. Одно из главных различий между землевладельцами-аристократами и просто богатыми помещиками, похоже, было в том, что китайские аристократы избегали всякого соприкосновения с ручным трудом и посвящали свое время наукам и искусствам. Джентри договаривались с правительством об улучшении ирригации. Хотя результаты этих договоренностей были очевидны крестьянам и можно не сомневаться, что джентри делали все возможное, чтобы впечатлить крестьян тем, что они для них сделали, по своей природе такого рода достижения не могли быть связаны с непрерывной или часто повторяемой деятельностью. В любой местности есть ограничения на количество ирригационных каналов. Более того, когда ресурсы центрального правительства и местных властей сократились, старые проекты стало трудно поддерживать на ходу, а новые — невозможно реализовать.

Если строить предположения о возможном экономическом вкладе джентри, который легитимировал бы их статус, на ум приходит известный факт, что знать располагала знаниями об астрономическом календаре, необходимыми для определения сроков проведения работ в сельскохозяйственном цикле. Хотя этот момент нуждается в дальнейшем анализе — здесь требуется более подробная и надежная информация об отношениях между крестьянством и джентри, — есть веские причины для сомнения в том, что подобная монополия играла существенную роль в XIX в.³⁴ Более того, на основании своего практического опыта крестьяне всегда вырабатывают богатый набор сведений обо всех аспектах сель-

³⁴ А возможно, и всегда. См.: [Eberhard, 1952, p. 22–23]. В книге [Hsiao, 1960], невероятно ценной отчасти из-за того, что в ней собраны подряд все

скохозяйственного цикла: они прекрасно знают лучшее время и место для выращивания каждого типа зерновых, сбора урожая и т.д. Такого рода сведения настолько прочно укоренены в опыте и риск, связанный с отклонением от них, настолько велик для большинства крестьян, что нынешние правительства сталкиваются с большими трудностями, пытаясь заставить крестьян отказаться от своих обычаев. Поэтому скорее астрономы адаптировали свое знание к тому, что крестьяне знали из опыта, чем наоборот, и в современную эпоху они не сделали ничего такого, что было бы для крестьянина совершенно необходимым.

Но что тогда государство делало для крестьян? Современные западные социологи, вероятно, откажутся допустить, что государство не делало почти ничего, но, на мой взгляд, это верный ответ. Соображения социологов основаны на том, что никакая институция с долгой историей не может приносить подданным только вред (хотя, на мой взгляд, это противоречит огромной массе свидетельств прошлого и настоящего), поэтому социологи занимаются безнадежным поиском «функции», которую данная институция выполняет. Здесь неуместно затевать спор о методах или способах, посредством которых сознательные и неосознанные допущения определяют круг вопросов, затрагиваемых в научном исследовании. Тем не менее более реалистично допустить, что огромные массы людей, особенно крестьян, просто принимают социальную систему, в которой они живут, не заботясь о балансе выгод и потерь (и уж, конечно, без малейшей мысли о том, что возможны радикальные улучшения), если только не случается нечто, грозящее полным уничтожением их повседневному образу жизни. Поэтому для таких людей вполне возможно принять существование общества, в котором им отводится роль жертвы.

Можно возразить, что имперская бюрократия, пока она функционировала исправно, как было, например, в XVII–XVIII вв., поддерживала закон и порядок, устанавливала объективные нормы права, намного опережавшие по времени те, что были приняты в большей части Европы. Это верно, но справедливое управление и правосудие оказало довольно слабое влияние на крестьян. В теории, конечно, о криминальных делах: убийстве, разбое, воровстве, прелюбодеянии и похищении людей — можно было в любое время сообщить окружному магистрату. Один магистрат зашел так далеко, что позволил людям в своем ямэне звонить в гонг, если у них была просьба о рассмотрении какого-то дела. Был отменен «сезон фермерского труда», в течение которого гражданские дела не слушались [Ch'ü, 1962, p. 118–119]. Такого рода факты заставля-

виды сколько-нибудь значимой информации по проблемам социального контроля в деревне, вообще не упоминается об этой особенности.

ют думать, будто магистрат играл важную роль в жизни людей. Забегая вперед, можно сказать, что до этого было очень далеко. Магистрат вершил правосудие, пусть в самых незначительных формах, над многими тысячами людей. Его ямэнь находился в окруженном стеной городе с окружной резиденцией. Как правило, он вообще обходился без прямого контакта с крестьянами [Ibid., p. 116, 151]. Реальные контакты осуществлялись при посредничестве государственных курьеров — людского отребья, стоявшего на одном уровне с криминальными элементами, и носили по большей части эксплуататорский характер. Периодические отдельные случаи убийства среди крестьян привлекали к себе внимание магистрата. В остальном контакты были минимальны. Внутри семьи и клана крестьяне имели свои договоренности, касавшиеся поддержания порядка и справедливости, согласно собственным принципам. Имперский аппарат использовался разве что для защиты урожая от мародеров и бандитов. Однако крупномасштабный бандитизм, серьезно угрожавший крестьянам, стал в значительной степени следствием официальной эксплуатации. В XIX в. имперская бюрократия была все менее способна поддерживать хотя бы видимость порядка на большей части Китая, поскольку ее собственная политика порождала крестьянские выступления.

Если подвести итог предшествующему анализу, то свидетельства ясно указывают на то, что правительство и высшие классы не выполняли никакой функции, которую крестьяне могли бы посчитать необходимой для своего образа жизни. Поэтому связь между правителями и подданными была слабой, по большей части искусственной, готовой оборваться при первом же усилии.

Имперский режим пытался компенсировать искусственный характер этой связи тремя способами. Первой мерой была система зерноскладов, как местных, так и императорских хранилищ зерна, распределявшегося среди населения при возникновении дефицита. Правители осознавали прямую связь между голодом и крестьянскими выступлениями, хотя голод не был единственной причиной последних, как мы увидим далее. Однако система общественных зерноскладов постепенно пришла в негодность, и в XIX в., когда в ней возникла наибольшая потребность, она по большей части была заброшена. Главной причиной этого, вероятно, были краткосрочные потери джентри и преуспевающих помещиков от продажи или безвозмездной передачи зерна правительству. Ведь именно в период дефицита собственник зерна мог нажить состояние (подробнее см.: [Hsiao, 1960, ch. 5]). Второй мерой была знаменитая система взаимной слежки, баоцзя, которая напоминает, намного опережая по времени, современные тоталитарные методы. Десять домохозяйств объединялись в бао, глава которого отвечал за предоставление наверх сведений о по-

ведении его членов. Определенное количество этих бао (в разное время было по-разному) объединялось в сходные группы с аналогичными обязанностями, и так далее по восходящей иерархии. Это была попытка распространить правительственные функции наблюдения и контроля на уровень ниже окружного магистрата. Современные китаеведы полагают, что система бао была крайне неэффективной [Ch'ü, 1962, p. 151–152; Hsiao, 1960, p. 26–30, 43–49, 55]. Взаимная слежка оказалась в одной упряжке с собиранием налогов, что вряд ли повысило ее популярность среди крестьянства. Эффективность всякой меры такого рода опирается на достаточное число простых людей, которые, с одной стороны, зависят от системы и поэтому их можно заставить играть незавидную роль доносчика, но, с другой стороны, пользуются достаточным уважением среди населения, чтобы собирать интересующие сведения. Отсюда можно сделать вывод, что эти условия едва ли выполнялись при маньчжурской династии. Третья мера также заставляет вспомнить тоталитарную практику регулярных лекций для населения по конфуцианской этике. Эта практика распространилась в XVII в., и некоторые императоры относились к ней очень серьезно. Другое дело население, которое, если верить многочисленным свидетельствам, воспринимало эти лекции как приторный вздор. Система лекций просуществовала до 1865 г., под конец выродившись в пустую формальность, к которой не относились всерьез ни чиновники, вынужденные читать лекции, ни крестьяне, вынужденные их слушать [Hsiao, 1960, ch. 6].

В целом подобное сочетание военной политики, полицейской слежки и индоктринации населения явно предвосхитило современные тоталитарные практики. На мой взгляд, это убедительно доказывает, что ключевые черты тоталитарного комплекса возникли еще до наступления современной эпохи. Однако пока современная техника не сделала тоталитарные методы эффективными и не произвела на свет новые формы восприимчивости к ним, тоталитарный комплекс сохранялся в аграрных обществах только в зародыше.

Четвертым видом связи между крестьянством и высшим классом был клановый механизм, достаточно эффективно прикреплявший крестьянина к господствующему порядку. Напомню, что клан — это группа людей, убежденных в своем происхождении от общего предка. Хотя делами клана занимались представители джентри, он включал большое число крестьян. У клана были свои правила поведения, которые воспроизводились устно на красочных церемониях, когда члены клана собирались вместе, визуально удостоверяя свое членство в коллективном единстве. Некоторый набор конфуцианских понятий, таких как уважение к старшим и предкам, через клан все-таки доходил до крестьян. По крайней мере эти понятия были совместимы со структурой крестьянского обще-

ства. Почтение перед прошлым являлось одним из таких понятий благодаря ценности коммунитивного опыта в мире, где социальные изменения происходят чрезвычайно медленно. Здесь можно заметить одну из главных сил, порождавших крестьянский консерватизм. Заповедная земля, бывшая в коллективной собственности, обеспечивала клан солидной экономической базой. Она сдавалась в аренду бедным членам клана по ставке ниже рыночной. В некоторых случаях эта земля обеспечивала средства, с помощью которых одаренные, но не слишком богатые члены клана могли получить классическое образование и проникнуть в чиновничью среду, обогатив тем самым коллективные ресурсы клана. Деревни, где позиции клана были сильны, особенно те, где жители составляли единый клан, по свидетельствам, были намного более сплоченными и солидарными, чем другие. Хотя на севере тоже существовали кланы, наиболее сильными их позиции были на зажиточном юге, и вообще кланы указывали на наличие повышенного аграрного благосостояния [Hsiao, 1960, p. 319–326; Liu, 1959]. Поэтому они существовали не везде. По преимуществу клан был всего лишь расширенной версией наследования по отцовской линии с сильными патриархальными чертами, широко распространенными в высших классах. Поэтому можно с уверенностью предположить, что в других частях Китая, где кланы не играли важной роли, существовало множество меньших линий преемственности, включавших как джентри, так и крестьянские домохозяйства и служивших той же цели: связать между собой правителей и подданных.

В общем клан и наследование по отцовской линии оказываются единственной важной связью между высшей и низшей стратой китайского общества. Их значение не стоит недооценивать, хотя, как выяснится ниже, клан был обоюдоострой силой: при случае он мог стать ключевым механизмом консолидации повстанческих групп. Общая слабость связи между правителями и подданными по сравнению с другими обществами (за исключением русского, также подверженного крестьянским восстаниям) достаточно хорошо установлена, по крайней мере для маньчжурской эпохи, и, на мой взгляд, в значительной мере объясняет, почему крестьянские бунты были неизбежны для китайского общества. Однако отличалась ли сама по себе крестьянская община какими-либо структурными аспектами, способными объяснить эту явную особенность китайской политики?

На этот счет у нас мало прямой информации по маньчжурскому периоду. Но ряд антропологов провели хорошие полевые исследования китайских деревень текущего периода, в том числе деревень из внутренней части страны, не подверженных современным веяниям. На основании их результатов можно судить о предшествующем периоде, если исклю-

чить факты, по своему происхождению связанные с позднейшими причинами.

В Китае, как и в других странах, деревня была базовой ячейкой сельского общества, но, если сравнивать Китай с Индией, Японией и с многими странами Европы, китайской деревне явно не хватало сплоченности. В Китае существовало очень мало причин для того, чтобы массы деревенских жителей все вместе занимались выполнением какой-то общей задачи, что обычно порождает навыки кооперации и чувство солидарности³⁵. Скорее китайская деревня напоминала скопление множества крестьянских домохозяйств, а не живое функционирующее сообщество, пусть даже степень атомизации здесь и была меньшей, чем, например, в современных деревнях юга Италии, где жизнь напоминает безмолвную борьбу всех против всех [Banfield, 1958]. Тем не менее часто повторявшиеся высказывания Сунь Ятсена и Чан Кайши о том, что китайское общество подобно куче песка, не были просто политической риторикой.

Первичной единицей экономического производства (а также потребления) в деревне было домохозяйство: муж, жена, дети³⁶. Выдающийся антрополог Фей утверждает, что использование мотыги при обработке рисовых полей привело к тому, что большая часть работы выполнялась индивидуально. «Групповая работа производит лишь сумму частных усилий, не сильно повышая общую эффективность»³⁷. Хотя о севере, где выращивали пшеницу, информация более скудная, там господствовала аналогичная система интенсивного ручного труда, применяемого к небольшим разрозненным участкам, и был распространен тот же тип деревенского общества³⁸. Поэтому вряд ли одной лишь технологией объясняется относительная недоразвитость практики совместного труда.

Некоторая кооперация все-таки существовала; краткий комментарий об этом в наших источниках позволяет сделать предположение о том, почему она была ограниченной. Для повышения эффективности рисоводство нуждается в больших затратах труда в период пересаживания молодых побегов, чем в период сбора урожая. В последующих главах мы познакомимся с максимально эффективной организацией труда, создан-

³⁵ Общий анализ этой связи см.: [Homans, 1950].

³⁶ См.: [Lang, 1946, p. 17, 155, 138–141]; о положении семьи в регионах, открытых коммерческому влиянию [Fei, 1946, ch. 3, p. 169–171; Yang, 1959, p. 32, 37, 91–92].

³⁷ [Fei, 1946, p. 170, 172, 162–163], где дается яркая картина пересадки риса и ритмической кооперации внутри семьи как рабочей группы.

³⁸ [Gamble, 1954] (слишком много статистических данных). Более познавательная книга: [Crook, Crook, 1959, p. 1–5].

ной в японской деревне для решения этой проблемы, и с максимально неэффективной — до сих пор преобладающей на большей части Индии. Китайцы решали эту проблему несколькими способами. Они могли обмениваться между собой трудовыми ресурсами, устанавливая сроки посева таким образом, чтобы растения не достигали одинаковой степени зрелости одновременно, и тем самым выигрывая время для помощи своим родственникам. Обмен трудовыми ресурсами между родственниками считался наиболее предпочтительным вариантом [Fei, Chang, 1948, p. 36, 64–65, 144; Yang, 1959a, p. 265]. Но если род не мог обеспечить достаточное количество рабочих рук в решающие моменты сельскохозяйственного цикла, то нанимались посторонние люди. Лишние рабочие руки можно было привлечь по трем причинам. Во-первых, у некоторых местных крестьян было недостаточно собственной земли для поддержания своих семей [Fei, Chang, 1948, p. 299]³⁹. Наличие этой группы позволяло тем, у кого было достаточно земли, заставлять других работать на себя в рамках господствующей социальной и политической системы. Во-вторых, источником рабочей силы были безземельные крестьяне. В-третьих, нанимались на работу те, кому не удавалось зарабатывать на жизнь на бесплодных землях в бедных удаленных районах. В конце 1930-х годов многие приезжие рабочие имели другое этническое происхождение («бродячие души», «корабельные люди») — это были скитальцы, соглашавшиеся на очень низкую оплату, что не давало расти местной заработной плате. Временами безземельные китайцы из другого района поселялись в деревне, но, не будучи членами клана и не имея доступа к земле, они жили уединенно, не участвуя в деревенской жизни [Ibid., p. 58–62; Yang, 1959a, p. 11, 51–52, 101, 149].

Пока по вышеуказанным причинам рабочая сила была в избытке, экономической кооперации среди отдельных жителей китайской деревни не доставало постоянства и институциональной почвы, которая все еще сохраняется в Индии из-за кастовой системы и в Японии, пусть и по другим основаниям. В досовременную эпоху в Китае обмен лишней рабочей силой и ее аренда подчинялись гибким правилам и были краткосрочным и неспешным делом, как на севере, так и на рисоводческом юге [Crook, Crook, 1959, p. 63; Gamble, 1954, p. 221–222]. Даже среди близких родственников обмен рабочей силой обсуждался и устанавливался каждый год заново, а в пиковые периоды землевладельцы выжидали

³⁹ По приведенным в этом источнике подсчетам авторов, в четырех исследованных деревнях доля фермеров, не способных прокормить собственную семью обработкой земли, достигала в среднем 70%. См. также: [Ibid., p. 60–63], где упоминаются источники дополнительных трудовых ресурсов в одной отсталой деревне.

до последнего, чтобы нанять дополнительных рабочих по самой низкой ставке.

Единственным часто повторявшимся видом деятельности, при котором требовалась кооперация, была организация водоснабжения. Но скорее это был вопрос распределения скудных ресурсов, решение которого нередко кончалось дракой между жителями деревни либо между деревнями, а не совместной работы для решения общей задачи [Hsiao, 1960, p. 419]. В отличие от Японии и от досовременной Европы в Китае основные решения по сельскохозяйственному циклу принимались избранными домохозяйствами. Здесь не было никаких признаков чего-либо, отдаленно напоминавшего европейскую практику *Flurzwang*, при которой деревенская община совместно устанавливала сроки, когда поля всех ее членов превращались на зимний период в пастбище и становились общинной, доступной для всех земель, а когда отдельные полосы вновь возвращались в частное владение в период пахоты и сева. Земельная собственность китайцев была также разделена на полосы, распределенные по всей территории деревни. Но малое поголовье скота и слишком интенсивная эксплуатация земли делали невозможной эту европейскую практику, даже в северных областях, где выращивали пшеницу.

Историки России и Японии подчеркивают важность коллективной ответственности по уплате налогов, благодаря которой деревенская солидарность стала отличительной чертой этих двух стран, поэтому стоит обратить внимание на то, что китайская имперская система также возлагала некоторую ответственность на коллектив [Ibid, p. 60, 84–86, 96, 100]. Но, как показывают позднейшие свидетельства, китайская система не привела к подобным результатам. По-видимому, налоговые практики, несомненно будучи важным фактором, сами по себе все же недостаточны для создания сплоченных деревенских сообществ. Как сказано выше, ради достижения своих целей империя пыталась обеспечить солидарность через систему баоцзя. Общеизвестная неудача баоцзя в Китае и, напротив, успех аналогичной японской организации, основанной на китайской модели, серьезно подкрепляют тезис о слабой сплоченности сообществ в традиционных китайских деревнях имперской эпохи. Конечно, впечатление засилия индивидуализма и минимума кооперации может быть несколько преувеличенным вследствие использования антропологических данных, относящихся к недавнему времени. Тем не менее маловероятно, что базовые структурные принципы деревенской жизни фундаментально различались в имперскую эпоху и в период проведения исследований. Система ипотечности и тяга высших классов к эстетской праздности, для чего требовалась рабочая сила, не нуждавшаяся в личном контроле, — все это указывает на отношения, в целом похожие на обрисованные выше. Таким образом, политические нужды

высших классов в сочетании с господствующими сельскохозяйственными практиками порождали крестьянский индивидуализм и избыток рабочей силы, что вело к относительной атомизации крестьянской общины.

Эти замечания не должны производить впечатления, будто раньше китайская деревня была миниатюрной версией войны всех против всех. Определенный уровень общности в ней имелся. В деревне обычно был храм, часто отмечались праздники, и в празднованиях достаточно свободно участвовали все жители. Кроме того, местная олигархическая знать была в целом эффективным средством урегулирования споров между жителями деревни и предотвращения вспышек насилия, возникающих в любой группе людей, живущих в тесной близости. Одним из признаков чувства общности может служить тот факт, что во многих деревнях твердо отказывались принимать в свои ряды чужаков. Причина была простой: нехватка земли.

Это знакомит нас с еще одним базовым принципом китайского общества: владение землей было абсолютно необходимым условием для того, чтобы считаться полноправным жителем деревни. Выше уже говорилось о том, как владение землей обеспечивало основу клановой активности. То же самое действовало на уровне семьи. Поскольку семья была главной единицей экономического производства, работы на земле исключительно благоприятствовали сильным и стабильным родственным связям [Yang, 1959a, p. 80, 91–92]. Вся конфуцианская этика уважения к предкам была бы невозможна без собственности, и она ослабевала среди бедных крестьян. Ведь для них даже семейная жизнь часто оставалась недоступной. В отличие от ситуации, долгое время господствовавшей в западном обществе, в Китае у бедных крестьян было меньше детей и, естественно, еще меньшее число этих детей доживало до зрелого возраста [Ibid., p. 17–19; Crook, Crook, 1959, p. 7–11]. Многие вообще не могли жениться. Даже в современных китайских деревнях бывает несколько «пустых палок», холостых мужчин, слишком бедных, чтобы жениться. «Они были объектами жалости и насмешки в глазах деревенских жителей, чья жизнь вращалась вокруг семьи» [Yang, 1959a, p. 51]. Кроме того, бедняки продавали своих детей, в основном девочек, но иногда и мальчиков, поскольку не имели возможности их вырастить.

Короче — ни собственности, ни семьи, ни религии. Это предельный случай. В китайской деревне было место, пусть скромное и ненадежное, для безземельных сельскохозяйственных рабочих, хотя более распространенной была ситуация, когда крестьяне, которым не хватало земли, работали на своих богатых соседей.

Тем не менее старая академическая теория о патриархальной этике, якобы объединявшей китайское общество через миллионы крестьян-

ских семей, по большей части не что иное, как нонсенс. Патриархальный образ был драгоценным аристократическим идеалом, недоступным большинству крестьян. Среди крестьян он всего лишь подпитывал почву мелкого внутрисемейного деспотизма, неизбежного в суровых условиях жизни. Китайская крестьянская семья накапливала в себе взрывоопасное напряжение, которое привело в свое время к революции не без участия «искры» коммунистической агитации⁴⁰.

В целом сплоченность в китайской крестьянской общине была значительно ниже, чем в других странах, причем она сильно зависела от обеспеченности земельной собственностью. Забегая вперед, надо сказать, что в Индии кастовая система предоставляла социальную нишу безземельным рабочим, вовлекая их в разделение труда внутри деревни, а функционирование кастовых санкций слабо зависело от наличия собственности. Политическое значение подобных различий указывает на неразрешимые проблемы в оценке фактов, особенно, если вспомнить еще и о том, что в России крестьянские восстания были отличительной чертой царского режима, даже несмотря на то, что крестьяне там развили сильные институты солидарности. Очевидно, одни формы солидарности поощряли крестьянские бунты, а другие, напротив, были направлены против них — и это большая тема, которую лучше отложить для последующего рассмотрения.

Специфическая структура крестьянской общины, наряду со слабостью связей между крестьянством и высшими классами, позволяет объяснить, почему в Китае так часто происходили крестьянские восстания, а также их сложности и пределы. Это указывает на линии разрыва в китайском обществе, все более проявлявшиеся в XIX–XX вв., когда бедность усилилась во многих частях страны. Затем социальные связи совсем оборвались. Крестьяне покидали свои дома, бродяжничали, превращались в бандитов. Впоследствии из них набирали рекрутов для армий милитаристов. В китайском обществе возникли огромные пласты пустой человеческой породы, т.е. материала, легко вспыхивающего от революционной искры. В то же время восстание не может ограничиваться разрушением господствующих социальных связей, для его успеха требуется становление новых форм солидарности и лояльности. В Китае это было проблематично, поскольку за пределами своей семьи и клана крестьяне не сотрудничали между собой. Эта задача еще более осложняется в случае революции, которая должна построить общество нового типа. Если бы не случайное стечение обстоятельств (случайное в том смысле, что их причиной не было что-либо, происходившее в самом Китае), коммунисты никогда бы не решили эту проблему. Анализ конкретных форм

⁴⁰ О сильном недовольстве молодых людей и женщин традиционной семейной системой в городе и в деревне см.: [Yang, 1959t, p. 192–193, 201].

насилия в последние годы существования империи и в последующие годы позволит придать большую осмысленность этим неизбежно слишком общим замечаниям.

Даже в «нормальные» времена слабая имперская система поддержания мира и безопасности в сельской местности не спасала деревенских жителей от того, что за неимением лучшего выражения можно просто назвать гангстеризмом, неконтролируемым применением насилия в отношении населения без малейшего интереса в изменении политической системы или хотя бы в замене прежних правителей на новых. Разбойников нельзя романтизировать, рисуя их друзьями бедняков, как нельзя принимать за истину и официальную пропаганду. Обычно местные жители договаривались с бандитами, чтобы те оставили их в покое. Очень часто лидеры местных джентри поддерживали с бандитами теплые отношения. Встречались профессиональные гангстеры и целые бандитские династии [Hsiao, 1960, p. 430, 456, 462, 465]. Само по себе это еще не особенно примечательно: гангстеризм процветает всюду, где слабеют силы закона и порядка. Европейский феодализм по своей сути был гангстеризмом, сформировавшим общество и приобретшим лоск респектабельности благодаря представлениям о рыцарстве. Как показывает постепенное возникновение феодализма на руинах римской административной системы, эта форма самоорганизации, насильственная в отношении посторонних, принципиально противоположна нормальной бюрократической системе. Для выживания бюрократия должна пользоваться монополией на насилие и выбирать своих жертв на рациональных основаниях, введенных в Китае конфуцианством. Когда имперская система распалась на генеральские сатрапии, лишь временно и нежестко объединенные под властью Гоминьдана, система в целом стала все больше приобретать бандитские черты, быстро теряя народную поддержку.

В любом случае при маньчжурской династии граница между обыкновенными бандитами и организованными повстанцами была призрачной. Для восстания мало того, чтобы из деревень прибывал постоянный поток отщепенцев, чему социальная структура китайской деревни вполне способствовала. Для начала такое пополнение, конечно, очень важно, но на самом деле это всего лишь приток свежей крови в бандитские группировки. Если повстанцы рассчитывают стать серьезной угрозой, они должны получить территориальную базу, неподконтрольную правительству, и эта территория должна непрерывно увеличиваться. Захват территориальной базы, в свою очередь, предполагает, что на сторону восставших переходят целые деревни. В Китае это означало, что повстанцы должны заставить сотрудничать с собой местную знать, включая проживающих здесь джентри, и предложить крестьянам лучшие условия жизни.

К сожалению, нет хорошей монографии о восстании тайпинов в 1850-х годах, написанной ученым, внимательным к проблемам социальной структуры. Однако есть одно поучительное исследование восстания няньцзюней (1853–1868), которые временами взаимодействовали с тайпинскими повстанцами. Этот анализ позволяет нам обнаружить некоторые причины и пределы традиционных восстаний XIX в. В связи с этим будут полезны несколько замечаний.

Подобно другим аналогичным событиям в XIX в., восстание няньцзюней было следствием упадка империи, но, в свою очередь, послужило усилению и ускорению этого процесса. К непосредственным причинам подобных бунтов относились административная неразбериха и голод, иногда на фоне крупных природных катаклизмов, например наводнений, вынуждавших множество крестьян покидать свои дома. В определенной степени наводнения были не только природными бедствиями, но имели политические и социальные истоки в повсеместном пренебрежении к плотинам и системе речного контроля⁴¹. Поскольку имперское правительство было неспособно защищать от мародеров местные сообщества, те брали оборону в свои руки, собирали со своего населения налоги и перенимали административные функции. В регионе восстания няньцзюней повстанцы возвели вокруг деревень земляные валы. В этой связи важную роль играли тайные общества, предлагавшие крестьянам помощь в самообороне, когда между деревнями возникали раздоры. Тем временем местные джентри получили контроль над местными военными силами. Центральному правительству пришлось направить одну местную армию против другой, открыто бунтовавшей, в итоге из-за этого компромисса еще более ослабив свою власть и авторитет. Эти два фактора — тайные общества и существование военных соединений, подконтрольных джентри, — превратили мятеж в нечто большее, чем бандитизм [Chiang, 1954, p. v–vii, Introduction].

Няньцзюни расширяли свою базу, занимая деревни, окруженные земляным валом, т.е. значительно изолированные от центральной правительственной власти. Они убеждали местную знать в необходимости сотрудничества, как правило предоставляя им власть, пока те были согласны на такие условия. Если в занятой ими области оставались чиновники, лояльные правительству, они подвергались публичному унижению. Следует заметить, что база повстанческой организации формировалась внутри клана. Только богатые и влиятельные семьи имели в своем распоряжении достаточную поддержку и клиентелу, чтобы их покровительство ценилось. Однако это еще не конец истории: клановая

⁴¹ По этому вопросу см.: [Hinton, 1956, p. 16–23], где говорится об изменениях русла реки Хуанхэ.

лояльность заложила основу аффективной привязанности крестьянства к своим вождям [Ibid., p. 38–41, 48, 113]. Хотя повстанцы по большей части действовали через господствовавшую социальную организацию, у них была своя рудиментарная экономическая и социальная программа. Они понимали, что облегчение участи голодающих крестьян было существенным фактором для того, чтобы заручиться их лояльностью; придавали особое значение производству пшеницы и ячменя в своих регионах. Борьба за урожай стала важной темой в сражениях на границах их территории [Ibid., p. 41]. Возможно, под влиянием тайпинов няньцзюни реализовали грубый вариант земельной реформы, разделив урожай поровну и ограничив власть крупных землевладельцев [Ibid., p. 37].

И здесь обнаруживаются пределы восстания при традиционной системе, которые преодолели лишь коммунисты, хотя и не без труда. Участие джентри в восстании и главенствующая роль этого класса ограничивали возможности реальных перемен. Более того, по сути система няньцзюней была хищнической, поскольку повстанцы захватывали продовольствие в рейдах по другим областям, настраивая против себя тамошнее население [Ibid., p. vii, xii, xiii]. Это была война против самих себя. Легко понять, почему не все местные группы поддерживали повстанцев. Некоторые прибегали к «нейтральной самозащите», другие даже сражались на стороне империи [Ibid., p. 90]. Сходные факторы действовали и в случае тайпинов. Поначалу жители во многих областях считали их лучше имперских правителей. Но после того, как мятежники показали свою неспособность осуществить реальное улучшение, и, возможно, после того, как налагавшиеся ими повинности становились все более обременительными в борьбе против правительства, они потеряли большую часть народной поддержки [Hsiao, 1960, p. 183, 200–201, 483–484].

Долгое время имперские войска применяли против няньцзюней чисто военную политику, безуспешно пытаясь разрушить земляные валы. Но в итоге Цзэн Гофань, великий министр империи, несостоявшийся местный Бисмарк, одержал победу, прибегнув к тактике повстанцев. Он также работал с местными лидерами и предложил через них крестьянам конкретные выгоды: поддержку в обработке земли и шанс на мирную жизнь как раз тогда, когда они устали от беспорядков. Под конец многие уступили ради денег и перспективы получения продовольствия в правительственных войсках [Chiang, 1954, p. 101–107, 116–117]. Восстание, вспыхнувшее зимой 1852–1853 гг., окончательно завершилось в 1868 г. С точки зрения наших исследовательских задач одна из его наиболее поразительных черт заключается в том, что и повстанцы, и императорские власти в управлении местной социальной структурой сталкивались примерно с равными сложностями. «Организационное оружие», похоже, не играло решающей роли. Важнее были страдания крестьян. Обе

стороны конфликта пытались манипулировать их лояльностью и в своих интересах способствовали ее смене, что определило моменты начала и окончания восстания.

Итак, рамка традиционного китайского общества не только поощряла восстание, но и серьезно ограничивала пределы того, что оно могло достичь. Восстание могло сместить прежнюю династию, после чего (как замечают китайские источники) летописцы представляли все предшествующие события в выгодном для новой династии свете [Hsiao, 1960, p. 484]. Либо оно могло превратиться в худшую форму насилия и постепенно сойти на нет после того, как императорские войска восстанавливали видимость порядка. Только когда влияние современного мира сломало эту суперструктуру указанным выше способом, стала возможной подлинная революция. Теперь необходимо понять, какое именно влияние оказало воздействие нового мира на то, что было в основании этой структуры, — на крестьянина.

В XIX в. встречались разрозненные, но безошибочные признаки ухудшения экономического положения крестьянства: заброшенные пашни, ветхие ирригационные системы, рост сельскохозяйственной безработицы. Хотя признаки бедственного положения крестьян появлялись практически во всех частях империи (возможно, на севере чаще, чем в других местах), региональное разнообразие Китая обуславливает наличие исключений при любых обобщениях. Одни провинции продолжали жить сытно и благополучно, тогда как другие страдали от недоедания и почти повального голода [Ibid., p. 396–407, 397]. После появления дешевого западного текстиля серьезный урон был нанесен крестьянским промыслам, которые были важным источником пополнения скудных ресурсов и шансом для применения лишней рабочей силы в паузах сельскохозяйственных циклов. В стандартных исследованиях, даже недавних, этому факту придавалось большое, порой преувеличенное значение. Вполне возможно, что крестьяне находили себе другие занятия: в антропологических исследованиях современных деревень часто подчеркивается значение ремесел как небольшого, но жизненно важного дополнения к крестьянскому быту [Crook, Crook, 1959, p. 4; Fei, 1948, p. 173–177]. В любом случае влияние этого события было серьезным во многих областях. Распространение опиума, поощрявшееся сперва Западом, а затем японцами, еще больше способствовало деморализации и нежеланию искать лучшей доли.

Тем временем в приморских городах и на берегах больших рек локальные деревенские рынки сменились крупными городскими и влияние рыночной экономики все глубже проникало в сельские районы. Рынок и деньги как институты существовали в Китае издавна. Эти перемены не принесли ничего совершенно нового. В 1930-е годы львиная доля

произведенной продукции все еще оставалась в пределах города, где находился локальный рынок, в лучшем случае что-то достигало столицы округа (уезда) [Buck, 1937, p. 349]. Но постоянно возрастающая роль рынка привела ко многим социально-политическим сдвигам, которые в европейской истории случились на более ранней стадии. Когда рынок превратился в эффективную централизованную институцию, крестьянство оказалось неподготовленным к этой перемене и его рыночные позиции ухудшились. Не имея запасов и работая на грани своих возможностей, крестьяне часто принуждались продавать урожай сразу после сбора по заниженным ценам. В Китае, располагавшем весьма скудными возможностями транспортировки и хранения, сезонные колебания цен были предсказуемо колоссальными. Крестьянская нищета играла на руку дилерам и спекулянтам, как правило состоявшим в сговоре с помещиками. Дилеры располагали большими запасами, обширными источниками информации и намного лучшими возможностями для проведения сделок, чем крестьяне. Иногда дилеры организовывались в гильдию, которая фиксировала цены и запрещала своим членам перебивать их друг у друга. С учетом этих обстоятельств нет ничего удивительного в том, что дилеры обычно получали от торговли большую выгоду, чем крестьяне [Tawney, 1932, p. 56–57].

Когда крестьяне залезали в долги, они занимали деньги, часто под достаточно высокие проценты. Если они не могли платить по своим долгам, им приходилось передавать землю в собственность помещику, после чего они оставались на ней работать на неопределенных условиях. Все эти процессы острее всего проявлялись в приморских провинциях. Здесь вспыхнуло крестьянское восстание 1927 г., которое, по мнению его исследователя Гарольда Исаакса, стало самым крупным со времени «длинноволосых» тайпинов [Isaacs, 1951, p. 221; Tawney, 1932, p. 74; Lang, 1946, p. 64, 178].

С учетом связи между землевладением и социальной сплоченностью, возможно, наиболее важным аспектом рассматриваемых изменений было увеличение массы крестьян-маргиналов, находившихся на дне социальной иерархии в деревне. Локальные исследования нашего времени показывают, что их численность превышала половину жителей [Yang, 1959a, p. 41, 44–45, 61–64; Fei, Chang, 1948, p. 199, 300]. Нам пока неизвестно, насколько увеличился этот уровень по сравнению с XIX в. В то же время достаточно ясно, что такие люди представляли собой взрывоопасный материал [Hsiao, 1960, p. 395–396, 687–688 (n. 84)]. Их маргинальность имела не только физический смысл (существование на грани голода), но и социологический: лишение собственности означало, что их связи с господствующим порядком неуклонно ослабевали. На самом же деле их связь со своей деревней была, вероятно, еще более призрач-

ной, чем можно заключить на основании антропологических исследований, которые проводились в областях, где все-таки действовали закон и порядок. Однако обширные части страны уже пребывали в активном революционном движении либо находились под контролем бандитов. Таким образом, массовой опорой революции, вспыхнувшей в 1927 г. и увенчавшейся победой коммунистов в 1949 г., было малоземельное крестьянство. Ни в Китае, ни в России не было многочисленного сельскохозяйственного пролетариата, работавшего на современных капиталистических *латифундиях*, который и стал главной опорой деревенских восстаний в Испании, на Кубе и в ряде других стран. Но ситуация отличалась и от Франции 1789 г., где, несмотря на большое число безземельных крестьян, революцию на селе подняла высшая крестьянская стра-та, впоследствии ее и завершившая, когда возникли признаки того, что революция рискует зайти дальше подтверждения прав собственности и уничтожения феодального наследия.

Массовая бедность и эксплуатация сами по себе недостаточны для возникновения революционной ситуации. Должно распространиться ощущение несправедливости социальной структуры, после того как будут предъявлены новые требования к угнетенным либо старые требования уже не воспринимаются как оправданные. Упадок высших классов китайского общества добавил в прежнюю ситуацию этот необходимый ингредиент. Джентри потеряли свой *raison d'être*, превратились просто в помещиков-узурпаторов. Конец экзаменационной системы стал для них и для поддерживавшей их конфуцианской системы концом легитимации. Сомнительно, что крестьяне ее вообще когда-либо признавали. Как заметил Макс Вебер, религией масс была комбинация даосизма и магии, более подходившая для их нужд. Тем не менее некоторые конфуцианские идеи распространялись при содействии клана. В любом случае авторитет, придававший представителям прежних правящих классов чувство уверенности среди крестьян, большей частью исчез. Вакуум, возникший после коллапса прежней правящей страты, заполнялся всякого рода теневыми элитами, рэктерами, гангстерами и т.д. В отсутствие сильной центральной власти частное насилие стало неподконтрольным и превратилось в важный инструмент, с помощью которого помещики продолжали эксплуатацию крестьян. Многие помещики перебрались в город, где они чувствовали себя в большей безопасности. Оставшиеся на селе превратили свои резиденции в крепости и собирали долги и ренту под дулом пистолета [Yang, 1959a, ch. 7; Crook, Crook, 1959, ch. 2]. Конечно, не все помещики были такими. Весьма возможно, что так вело себя незначительное меньшинство, хотя, судя по антропологическим исследованиям, к ним относились самые богатые и влиятельные из местных помещиков. Патриархальные отношения продолжали суще-

ствовать наряду с грубой и неприкрытой эксплуатацией. Это было достаточно распространенным явлением, создававшим во многих частях Китая потенциально взрывоопасную ситуацию, которая давала шанс коммунистам. Стоит заметить, что в Индии аналогичного упадка высших классов пока что не случилось.

Наличие революционной ситуации еще не означает, что пожар должен неминуемо вспыхнуть. Консервативная полуправда о том, что «внешние агитаторы» затевают мятежи и делают революцию (полуправда, ставшая ложью, поскольку она игнорирует условия, способствовавшие успеху агитации), в Китае в значительной мере подтверждается фактами. Среди многочисленных историй о деревенской жизни мне не встретилось ни единого указания на то, что крестьяне приблизились к спонтанной самоорганизации либо к какому-либо поступку, направленному на решение своих проблем. Представление о том, что крестьянские деревни открыто бунтовали еще до появления коммунистов на исторической арене, не согласуется с обширным корпусом свидетельств полевых антропологических исследований⁴². Те, кто больше не мог терпеть свое бедственное положение, скорее всего покидали родную деревню, во многих случаях присоединяясь к бандитам либо к милитаристским армиям, а со временем и к постоянно увеличивавшимся силам коммунистов. Внутри прежней рамки китайской деревни почти не происходило никаких спонтанных усилий что-либо изменить. Как и при маньчжурах, крестьяне нуждались во внешнем руководстве, чтобы активно выступить против господствующей социальной структуры. Если ограничиваться только деревней, то ситуация определенно могла и далее ухудшаться, пока наконец большинство жителей просто бы не умерли при следующем голоде. Именно так много раз и происходило.

Эти замечания совсем не предполагают, что китайские крестьяне были от природы недалекими, лишенными инициативы и смелости. Поведение революционных армий, даже за вычетом всей пропаганды и революционной героики, доказывает прямо противоположное. Это означает попросту то, что до последнего момента во многих областях щупальца старого порядка сжимались вокруг отдельного человека с достаточной силой, чтобы помешать ему действовать на свой страх и риск,

⁴² Эти исследования, проведенные антропологами (за исключением супругов Крукс) под контролем Гоминьдана в мирных регионах, содержат неизбежный момент догматизма, усиленный методологическими предубеждениями слишком технического порядка, чтобы их было уместно здесь рассматривать. Даже если сделать на это скидку, эти сведения остаются достаточно значимыми и находят подтверждение в других данных, таких как неспособность коммунистов завоевать значительную территориальную базу до японской оккупации.

а нередко — даже задумываться о подобных действиях. Недостаток сплоченности в китайской деревне, рассматривавшийся выше в связи с другим вопросом, возможно, сыграл на руку коммунистам, обеспечив постоянный приток пополнения в занятые ими районы. Он также, вероятно, облегчил их задачу разрушения и изменения прежней структуры деревни. Для надежной оценки требуется более точная информация. Каким бы шатким ни был старый порядок, он не исчез благодаря спонтанным действиям внутри самой деревни. То же самое, конечно, происходило во всех крупных революциях современности.

Даже само по себе появление Коммунистической партии Китая на исторической арене, уже отмеченной знаками бедствия и упадка, не оказалось достаточным для того, чтобы вызывать фундаментальные перемены. Партия была основана в 1921 г. Тринадцать лет спустя коммунистам пришлось оставить свой главный территориальный плацдарм в провинции Цзянси и отправиться в знаменитый Великий поход в отдаленный Яньань. Их шансы, по суждению некоторых историков, в этот момент были крайне низкими. Единственное, что они доказали, — свою невероятную способность к выживанию: пять крупных военных наступлений Чан Кайши в период между 1930 и 1933 гг. не смогли их уничтожить. Но коммунистам не удалось расширить свою территориальную базу или приобрести значительное влияние за пределами областей, находившихся под их прямым контролем.

В какой-то мере неудачи коммунистов вплоть до этого момента объяснимы ошибочностью их стратегии. Только в 1926 г. они начали проявлять сколько-нибудь серьезный интерес к использованию крестьянства в качестве опоры революционного движения [Ch'en, 1965, p. 107–108]. После разрыва с Чан Кайши в 1927 г. партия все еще пыталась прийти к власти через революционный подъем городского пролетариата, что обернулось катастрофическими и кровавыми последствиями. Хотя отказ от этого элемента марксистской ортодоксии и принятие маоистской стратегии опоры на крестьянство сыграли существенную роль, для успеха потребовалось нечто большее⁴³. Прежде всего следовало смягчить позицию по отношению к зажиточным крестьянам, — эта политика была принята только в 1942 г., хотя некоторые намеки на нее возникали намного раньше⁴⁴. Но какими бы важными ни были все эти изменения, вряд ли

⁴³ [Schwanz, 1951], где впервые прослеживается история этой перемены в стратегии и подчеркивается (p. 190) важность благоприятных внешних условий.

⁴⁴ Некоторые ключевые поворотные моменты см.: [Ch'en, 1965, p. 161; Brandt et al., 1952, p. 39–40, 114–116, 175–185]. Следует помнить, что в те хаотичные времена постановления и реальные дела на местах нередко расходились между собой.

они одни позволили бы коммунистической революции одержать победу. Решающим фактором стала японская интервенция и оккупационная политика иностранных завоевателей.

В ответ на японскую агрессию гоминьдановские чиновники и помещики покинули сельские области и переехали в города, предоставив крестьян самим себе. Затем периодические рейды по зачистке и уничтожению, проводившиеся японской армией, сплотили крестьянство в единую солидарную массу. Таким образом, японцы выполнили за коммунистов две важнейшие революционные задачи: устранение прежних элит и усиление солидарности среди угнетенных [Johnson, 1962, p. 48–60, 70, 110, 116–117]. Одно свидетельство от противного выступает серьезным доводом в пользу этого на первый взгляд парадоксального вывода. Там, где японцы либо их марионетки гарантировали крестьянам некоторую защиту, партизанские отряды не были сформированы. Более того, коммунисты оказались не способны создать повстанческие базы в регионах, не имевших опыта прямого контакта с японской армией [Ibid., p. 66–67, 146].

Хотя фактор японской оккупации важен, его нужно рассматривать в должной перспективе. Конечно, глупо трактовать взаимодействие между противоборствующими сторонами как своего рода дьявольский сговор между японцами и коммунистами. Обстоятельства благоприятствовали коммунистам, наращивавшим преимущество над японцами и гоминьдановцами, продемонстрировавшими серьезную тягу к коллаборационизму и, разумеется, совершенно не желавшими того, чтобы война переросла в социальную революцию [Ibid., p. 120]. Война обострила революционную ситуацию и привела к социальному взрыву. С точки зрения китайского общества и политики война была случайностью. С точки зрения взаимной игры политических и экономических сил во всем мире она была далеко не делом случая. Как и при анализе победы большевиков в России, которую некоторые историки трактуют как побочный итог Первой мировой войны, неизбежная исследовательская необходимость изоляции отдельных контролируемых сегментов истории приводит к утверждению частных истин, которые оказываются заблуждением и даже ложью, если впоследствии эти промежуточные заключения не поместить обратно в подходящий для них общий контекст.

Мы можем завершить это рассуждение несколькими замечаниями о том, как коммунисты воспользовались линиями раскола в деревне, чтобы уничтожить остатки старого порядка. По счастью, у нас есть два хороших исследования о различных деревнях на севере и на юге в период прихода коммунистов к власти, которые показывают последовательные стадии и проблемы, возникавшие в этом процессе.

Северная деревня была в пограничном регионе Шаньси — Хэбэй — Шандунь — Хэнань, где коммунисты сумели закрепиться и успешно со-

четать классовую борьбу с национальным сопротивлением японским захватчикам. Поскольку местные богачи, включая последних представителей гоминьдановской администрации, сотрудничали с японцами ради спасения своей собственности, коммунисты получили важное преимущество, совместив свою социальную программу, на тот момент весьма умеренную, с борьбой против иностранных захватчиков. Шаг за шагом они смогли внедрить в деревнях свою политическую организацию под фундаментом господствующей системы. Тем самым они сочетали программу, обеспечивавшую выгоды многочисленным крестьянам-беднякам, с тем, что взвалили бремя расходов на более обеспеченных. Эта программа отменяла сборы, ранее поступавшие в карманы гоминьдановцев, и распределяла новые обязательства по организации тыловой поддержки в приблизительном согласии с платежеспособностью. Возник новый лозунг: «богатые — богатство, трудящиеся — труд». Решающий момент приблизился, когда японцы стали угрожать ввести налог на деревню. Поставив вопрос о том, стоит ли платить налог по японской единой ставке или по коммунистической системе, перекалывавшей бремя на богачей, коммунистам впервые удалось вбить клин между деревенскими богачами и бедняками. В то же время коммунисты убеждали крестьян прятать зерно под землей и готовиться к эвакуации из этой местности. Поскольку богачи этого не сделали, то в какой-то момент поняли, что японцы придут и отнимут у них зерно. Поэтому они согласились с предложением коммунистов. Важность этого эпизода заключается в том, как коммунисты, подобно революционерам прошлого, смогли заставить целые деревни и регионы перейти на свою сторону и признать свою власть, а также в указании на то, как японцы помогли коммунистам выковать новую солидарность. Однако коммунисты пошли намного дальше. Хотя они прибегали порой к услугам прежней скомпрометированной администрации, они создали новые организации среди бедных крестьян и даже среди женщин, самой угнетенной группы китайского общества. Но самое главное, как показала организация кооперативов, а также многие другие факты, своей программой местной экономической самодостаточности они продемонстрировали крестьянам конкретные альтернативы подчинению и голодной смерти. Крупная земельная реформа могла подождать. Когда подошло ее время, она уже сочеталась с местью коллаборационистам и бывшим угнетателям. Знакомство с этой историей помогает понять революционный порыв, стоявший как за сопротивлением японской агрессии, так и за победой коммунистов над Гоминьданом [Crook, Crook, 1959, ch. 1–5, p. 31–37].

Спустя несколько лет коммунистическая революция пришла в Нанкин, небольшую деревушку рядом с Гуанчжоу, но не в виде помощи в борьбе с японцами, а сверху. Страшный взрыв, устроенный отступаю-

щими войсками националистов, уничтожил мост через реку Чжуцзян, потряс окна деревенских домов и возвестил о конце прежней власти. Через несколько дней в деревню прибыл хорошо вооруженный отряд солдат-коммунистов, которые развесили объявления, сообщавшие о смене политического режима и приказывавшие представителям прежней администрации оставаться на своих местах, пока их обязанности и документы не перейдут к новой власти. Через десять месяцев, в течение которых почти ничего не произошло, появились ответственные за проведение земельной реформы, трое мужчин и одна женщина, все в возрасте около 20 лет, скрывавшие свое городское происхождение «под грязной серой униформой и сознательным намерением подражать крестьянскому образу жизни» [Yang, 1959a, p. 167, 134] ⁴⁵.

Начавшись, процесс разрушения старого порядка и реализации предварительных мер на пути к созданию нового порядка стремительно набирал ход под руководством правительства. По сути перемены сводились к изъятию земли у богачей и передаче ее беднякам. «Общая стратегия была в том, чтобы объединить бедных крестьян, сельскохозяйственных рабочих и крестьян-середняков для нейтрализации сопротивления зажиточных крестьян и изоляции помещиков» [Ibid., p. 133]. Результат оказался несколько иным. Хотя коммунисты использовали категории, хорошо отвечавшие социальным реалиям в деревне, главным следствием этой политики стала общая неопределенность, даже среди беднейших крестьян, прямых выгодоприобретателей этих мер, которые, как и все остальные, не были уверены в том, что новый порядок сохранится надолго. До этого скрытая ненависть возникала между двумя крайними группами: богатыми жестокими помещиками-эксплуататорами и их арендаторами. При новой системе вся деревня методично делилась на части, настроенные одна против другой [Ibid., p. 148].

Один аспект заслуживает специального упоминания, поскольку проливает свет на порядок докоммунистической эры и на тактику коммунистов. Земля выделялась не отдельной семье как целому, но каждому отдельному человеку на равных основаниях, независимо от возраста и пола. Таким образом коммунисты разрушили прежний деревенский строй в самом его основании, уничтожив связь между земельной собственностью и родством. Устранив экономическую основу родственных уз или по крайней мере значительно их ослабив, коммунисты создали серьезные причины для вражды по линиям классового различия, а также возраста и пола. Лишь после того, как они это сделали, борьба крестьян против помещиков, арендаторов против собирателей ренты, жертв про-

⁴⁵ Книга Янга — это более содержательная и полная монография, чем исследование Круксов. Кроме того, она отличается объективностью и, возможно, является лучшей монографией о деревенской жизни.

тив локальных тиранов стала открытой и ожесточенной. Финальным аккордом стали обвинения, предъявленные молодежью старшему поколению. Даже в этом случае обнаружились жестокие противоречия [Yang, 1959a, p. 178–179].

Коммунистический режим выковал новую связь между деревней и центральным правительством. Каждому крестьянину стало очевидно, что его повседневная жизнь зависит от общенациональной политической власти. Согласно подсчетам Янга, через эту связь коммунисты выжали из деревни даже больше, чем до них удавалось помещикам-рантье и Гоминьдану. Однако новое и большее по объему бремя было распределено равномернее, чем прежде [Ibid., p. 174–175, 158–159]. Все эти изменения были временными и переходными. Разрушение старого порядка, создание новой связи с правительством, извлечение большего объема ресурсов из крестьянского труда — все это могло быть лишь предварительными шагами для решения базовой проблемы всестороннего увеличения экономического производства в окружении вооруженных и противоборствующих держав. Эта часть истории выходит за рамки данной книги. В Китае, даже в большей степени, чем в России, крестьяне обеспечили накопление взрывоопасного материала, уничтожившего в итоге старый порядок. Они вновь стали главной движущей силой в успехе политической партии, поставившей своей целью путем безжалостного террора достичь той якобы неизбежной фазы истории, когда крестьянство должно было прекратить свое существование.

V. Азиатский фашизм: Япония

1. РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ: РЕАКЦИЯ ПРАВЯЩИХ КЛАССОВ НА СТАРЫЕ И НОВЫЕ УГРОЗЫ

В XVII в. к власти в Японии, Китае и России пришли новые правительства, положившие конец продолжительному периоду внутренних беспорядков и междоусобных войн. В России и Китае установление мира и порядка было началом (если в истории вообще можно говорить о началах) долгого процесса, завершившегося крестьянской революцией. Аграрные бюрократии этих двух стран препятствовали становлению класса независимых торговцев и промышленников. Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что при отсутствии буржуазной революции свершилась революция крестьянская, открывшая, в свою очередь, дорогу к тоталитарной модернизации. Развитие Японии протекало по другому пути, который был ближе к немецкому. Хотя влияние рынка подрывало аграрный строй, здесь, как и в Германии, не случилось ничего, что можно было бы назвать успешной буржуазной революцией. Японские власти сумели сдержать и отвлечь недовольство крестьян, предотвратив крестьянскую революцию. Результат этой политики к концу 30-х годов XX в. весьма напоминал европейский фашизм.

Почему возникло различие в ходе модернизации, с одной стороны, в Японии, с другой — в России и Китае? Объяснение, которое тут же приходит на ум, — феодализм. Память о феодализме в России и Китае была слабой, и вопрос о том, можно ли в этих случаях вообще говорить о феодализме, — предмет оживленных споров среди ученых. Японский же вариант феодализма сохранялся вплоть до XIX в. Поскольку Япония в то же время — единственная азиатская страна, ставшая значительной индустриальной державой к 30-м годам XX в., гипотеза о том, что феодализм сыграл ключевую роль, становится особенно привлекательной на фоне обширного исторического материала, который она позволяет упорядочить и понять¹. Поскольку японский феодализм помог одной

¹ Актуальный анализ сходств и различий между европейским и японским феодализмом см.: [Hall, 1962, p. 15–51]. Идея о том, что есть связь между японским феодализмом и последующей адаптацией западных практик, весьма распространена среди ориенталистов, хотя мне не приходилось встречать сколько-нибудь подробное рассмотрение природы этой связи. Эдвин О. Райшауэр в конце своего познавательного эссе [Reischauer, 1956, p. 46–48] перечисляет несколько черт японского феодализма, которые, по его предположению, могли способствовать переходу Японии к современным социальным институтам. Одна из них — сильное национальное самосознание — представляется мне прямой противоположностью фео-

секции правящего класса обособиться от господствующего режима и осуществить революцию сверху, произведя социальные изменения, необходимые для промышленного прогресса, он действительно составляет важную часть объяснения. Тем не менее необходимо увидеть, почему это оказалось возможным и как именно весь процесс модернизации соотносился с феодализмом, существовавшим в Японии.

При объяснении и оценке этой трансформации важно не забывать о пределах нашей актуальной исторической перспективы. Лет через сто, а возможно и раньше, незавершенный характер японской социальной и промышленной революции, особенно весьма умеренной «революции» имперской Реставрации 1868 г., может показаться главным элементом японской трагедии. Здесь уместно напомнить о том, что современные историки отнюдь не убеждены, что Бисмарк достиг успеха в синтезе старой и новой Германии. В то же время современное китайское общество, несмотря на серьезные трудности и неудачи, демонстрирует прогресс. Извлекая урок из советских ошибок, Китай вполне способен обогнать Россию. Естественно, будущее невозможно предугадать. Но по крайней мере мы избежим узкого взгляда на вещи, если не будем считать наши собственные достижения данностью. Глупо рассматривать японский ответ на вызовы современного мира как успех, а китайский — как неудачу.

С учетом этих предостережений следует разобраться с тем, какие черты досовременного японского общества сыграли важную роль в ходе модернизации. Когда старый порядок рухнул, обозначились равнозначимые вертикальные и горизонтальные разрывы. Кроме того, между западным и японским феодализмом существовали серьезные различия. Простая констатация этого факта все еще остается предельно абстрактной, поэтому потребуются рассмотреть, как реально функционировало общество определенного периода времени, чтобы понять, что это значит на самом деле.

Токугава Иэясу, один из известнейших правителей в японской истории, своей победой в битве при Сэкигахаре в 1600 г. завершил эпоху междоусобных войн и положил начало периоду гражданского мира. В своих формально-политических чертах основанный им режим, известный среди историков как сёгунат Токугава, сохранился вплоть до

дализму. Другая — независимое развитие капиталистического предпринимательства внутри феодализма — также скорее отсылает к возникновению антифеодальных институтов, чем к наследию феодализма. Но японский случай поддерживает тезис о том, что капитализм может с большей легкостью установиться в феодальной системе, чем в аграрной бюрократии. Этот список подытоживает в целом опыт японской истории, а не японского феодализма.

реставрации императорской власти в 1868 г.² Ведущая политическая идея сёгуната была статичной: поддержание мира и порядка. Общество ясно разделялось на правителей и подвластных. К числу последних относились крестьяне, которых правящий класс воинов рассматривал в основном как средство для обработки земли и взыскания налогов в свою пользу [Asakawa, 1910, p. 260, 278]. В свою очередь, пока система функционировала, крестьяне могли рассчитывать на скромную экономическую защиту и политическую справедливость. Всеми доступными способами — начиная с суровых законов, ограничивавших расходы, и заканчивая почти полной изоляцией Японии от внешнего мира в период с 1639 г. и до прибытия коммодора Перри в 1854 г. — власти пытались устранить любое влияние, угрожавшее господствующему порядку. На какое-то время одним из главных источников неприятностей и беспокойства для правителей стали городские торговцы, о которых пойдет речь чуть ниже.

Внутри правящей элиты существовали важные градации и различия. Император был неясной и изолированной фигурой, способной, в конце концов, только на то, чтобы превратить престиж в реальную власть, но — для других. Бразды правления были в руках сёгуна, а политическая система напоминала скорее абсолютизм «короля-солнца», чем раздробленные феодальные институты ранней европейской истории. С учетом имущества различных линий семьи Токугава и ее прямых вассалов сёгун владел от четверти до пятой части сельскохозяйственных земель страны, извлекая отсюда большую часть своих ресурсов [Allen, 1946, p. 10]. Для управления наследными землями сёгуна назначалось около сорока интендантов, получавших регулярное жалованье [Asakawa, 1910, p. 261]. Таким образом, как и в Западной Европе той же эпохи, в японском феодализме было сильно бюрократическое начало.

Следует отметить определенные моменты в системе управления сёгуната Токугава. Во-первых, она представляла собой попытку ввести бюрократическую организацию власти поверх сегментированной феодальной политики, в которой было принципиально важно поддерживать конкуренцию между большими княжествами. Во-вторых, феодальную раздробленность так никогда и не удалось совершенно преодолеть. Когда в середине XIX в. политика сёгуната Токугава начала испытывать все большие затруднения, о себе вновь напомнили важнейшие вертикальные линии противостояния, лишь замаскированные системой, основанной в 1600 г.

² Превосходное общее описание см.: [Sansom, 1943, ch. 21; 1950, ch. 9]. Источники по более частным темам приводятся ниже.

По рангу ниже сёгуна стояла небольшая группа великих лордов, или даймё³. В 1614 г. их насчитывалось 194, а непосредственно перед Реставрацией 1868 г. — 266. В позднейшую эпоху крупнейшее зарегистрированное княжество производило 1 022 700 коку риса. Средний уровень производства был около 70 тыс. коку [Asakawa, 1911, p. 160]⁴.

Ниже даймё стоял основной класс самураев, или воинов, внутри которого существовали сильные различия по влиянию и богатству⁵. Согласно подсчетам, их было вместе с семьями около 2 млн человек, что составляло шестнадцатую часть всего населения накануне Реставрации [Allen, 1962, p. 11]. Формально самураи находились на военной службе у даймё и получали от них годовое жалованье рисом. Установив жалованье, сёгунат Токугава отрезал самураев от независимых источников власти в сельской местности, одним махом устранив главную причину политической нестабильности предшествующей эпохи [Smith, 1959, p. 1]. В то же время, установив гражданский мир, сёгунат лишил самураев сколько-нибудь реальной функции в японском обществе и внес свой вклад в возникновение группы бедных самураев, сыгравших ключевую роль в последующем падении режима.

Дни, когда солдат в мирное время возделывал свою пашню, давно миновали. Еще в 1587 г. великий генерал Хидэёси, поспособствовавший выдвижению Токугава, приказал фермерам сдать оружие. Эта мера была направлена не только на устранение угрозы, исходившей от вооруженного крестьянства, она должна была подчеркнуть ясность и непреложность классовых различий [Sansom, 1943, p. 430]. Право на ношение меча впоследствии стало главным отличием самурая от богатого крестьянина [Smith, 1959, p. 179].

Сюзерен-даймё вдали от двора сёгуна жил в городе с замком в окружении самураев и слуг. Несколько крестьянских деревень были расположены не менее чем в 20 милях от города [Ibid., p. 68]. Города с замками были местными центрами, позволявшими классу воинов извлекать из крестьянского труда экономическую прибыль в форме отчисляемых в свою пользу налогов. Налоговая администрация состояла в основном из

³ Они были распределены на три группы в соответствии с их связями с домом Токугава. См.: [Craig, 1959, p. 17–21].

⁴ Один коку составляет чуть менее 5,2 американского бушеля (180,39 л). Тот факт, что в княжестве регистрировалось 70 тыс. коку, означает не то, что князь получал годовой доход в таком объеме, но то, что теоретически земля могла дать такой урожай. По этому поводу см.: [Ramming, 1928, S. 4]. Дальнейшие подробности, в особенности географическое распределение высоких и низких налоговых ставок и его политические последствия, см.: [Beasley, 1960, p. 255–271].

⁵ О подробностях этого разделения см.: [Ramming, 1928, S. 4–5].

чиновников двух типов: первые, из центральной администрации, сидели в замке или соседнем городе, вторые были районными магистратами, рассредоточенными по княжеству [Ibid., p. 202]. В мирное время функционирование системы не требовало активного применения силы.

Внутри княжеств крупные вассалы прибегали к насилию по своему усмотрению. Однако им запрещалось возводить замки, чеканить монету, строить корабли и заключать браки без одобрения сёгуна. Об устойчивости княжеств как особых политических образований свидетельствует то, что все 16 могущественных внешних даймё по состоянию на 1664 г. продолжали править своими княжествами вплоть до формальной отмены феодализма в 1871 г. Поначалу сёгун весьма свободно вмешивался в дела княжеств, производя крупномасштабные конфискации и передачи земель. Но со второй половины XVII в., когда система устоялась и позиции режима уже казались незыблемыми, политика сёгунов стала более осторожной и вмешательство во внутренние дела княжеств происходило редко [Murdoch, 1926, vol. 3, p. 20–22]. Так в общих чертах функционировал режим сёгуната Токугава. Как видно, это была относительно централизованная и жестко контролируемая форма феодализма, поэтому один автор даже называет ее полицейским государством [Fukuda, 1900, ch. 4] — этот термин был, конечно, более уместен в 1900 г., чем после правления Гитлера и Сталина. Хотя сегодня такая характеристика кажется неудачной, теория и практика свободного общества, знакомого нам по современной западной цивилизации, вряд ли могли развиваться при власти Токугава. В раннем японском феодализме не хватало тех черт, которые внесли важный вклад в политическое развитие на Западе. В феодальных узах, связывавших господина и вассала, элемент договора был очень слабым и, напротив, элементы преданности и долга перед вышестоящим резко усилены [Sansom, 1958, p. 359–360, 368]. Западные дискуссии об этом отличии представляют японские феодальные узы более примитивными, менее объективными и рациональными по сравнению с европейскими. Они скорее покоились на неписаных традициях и соблюдении церемониала; им был присущ характер фиктивного родства, весьма распространенного в японском обществе, и в меньшей степени, чем в Европе, они зависели от письменных или устных договоренностей, в которых определялись бы индивидуальные обязанности и привилегии [Hall, 1962, p. 33–34]. Национальные особенности получили дополнительную опору в заимствованной из Китая конфуцианской философии, приобретшей почти религиозный статус.

К моменту прибытия в Японию кораблей commodora Перри в 1854 г. система Токугава значительно ослабла. Упадок старого порядка, наряду с попытками сохранить привилегии аграрной элиты, привел в действие

социальные силы, которые в итоге создали режим, отдавший приказ о роковой бомбардировке гавани Перл-Харбор в 1941 г.

Факторы, вызвавшие упадок и перерождение, были многочисленны и сложны. Их точная природа и относительная значимость, вероятно, еще долгое время будут оставаться предметом споров специалистов. И все же для наших целей не станет большой ошибкой разделить их для простоты на две категории: покой и роскошь. В мирное время коммерческий образ жизни укоренился не только в городах, но и на селе. Даже находясь под строгим контролем, коммерческие веяния сильно подтачивали феодальный строй. Система Токугава способна удивить историка-компаративиста своим характером, напоминающим нечто среднее между централизованной аграрной бюрократией Китая и намного более свободным феодализмом средневековой Европы, но точно так же серединой между двумя крайностями оказывается и способность самого японского общества XVIII–XIX вв. сдерживать разобщающие и деструктивные эффекты коммерции.

Покой и роскошь были в центре политического режима Токугава. Сёгуны, подобно Людовiku XIV, заставлявшему знать жить в Версале, требовали, чтобы даймё проводили определенное время в столице Эдо⁶. В обоих случаях результаты были практически одинаковыми. Поощряя все виды показной роскоши, сёгун ослаблял позиции знати и в то же время поддерживал торговый люд в городах. Расходы даймё возрастали, поскольку им приходилось содержать две резиденции — дома и в Эдо. Столичную жизнь и расходы на путешествие для себя и большой свиты требовалось оплачивать наличной монетой, прав на чеканку которой у них не было. Эти траты ложились тяжелым бременем на экономику многих княжеств. Поэтому даймё обычно отправляли излишки риса и других местных продуктов на рынок, прибегая к услугам торговцев [Sheldon, 1958, p. 18]. Нередко аристократ-феодал попадал в долговую зависимость от торговца, который, в свою очередь, искал у даймё политического покровительства.

Экономическая позиция самураев, зависимых от даймё, явно ухудшилась при режиме Токугава, особенно во второй половине его правления. Однако это не решающее свидетельство. Одним из способов, которыми даймё пытались покрыть свои расходы, было сокращение жалованья самураев [Ramming, 1928, S. 34–35]. Сокращение жалованья стало возможным лишь во времена Токугава. Благодаря установившемуся миру и авторитету сёгуна даймё больше не нужно было опираться на своих вассалов, поэтому они могли пожертвовать их интересами.

⁶ Требование проживания оставалось в силе вплоть до 1862 г., когда его отмена предвосхитила скорый закат правления Токугава. См.: [Murdoch, 1926, vol. 3, p. 723].

Независимо от их реального экономического положения, статус самураев в японском обществе несомненно снижался. Достаточные поступления риса были для самурая материальной основой для поддержания образа жизни воина. В условиях вынужденного мира в эпоху Токугава воин не имел заметной социальной функции. Тем временем иные формы почета, основанные на торговом богатстве, начинали соперничать с воинскими доблестями. Прежние этические нормы слабели, а новые еще не пришли на их место. Признаки этих перемен начали появляться уже в начале XVIII в.

Утрата воинской функции, а также влияние коммерческих отношений сильно подорвали лояльность многих самураев, брошенных на произвол судьбы в психологическом и материальном смысле. И хотя утверждение автора начала XIX в., что из-за сокращения жалованья «самурай ненавидели своих господ как злейших врагов», можно считать литературным преувеличением, сокращения несомненно вызывали массовое недовольство [Ramming, 1928, S. 7]. Положение воинов усложнялось еще больше из-за того, что им было запрещено заниматься коммерцией. Многие обходили этот запрет, чтобы свести концы с концами, но заработанное таким путем богатство вряд ли внушало самураям чувство уверенности [Sheldon, 1958, p. 32; Ramming, 1928, S. 10].

В результате многие воины просто оборвали все связи и превратились в странствующих искателей приключений, ронинов, не состоявших ни у кого на службе и готовых ввязаться в любую авантюру, — эта группа также внесла свой вклад в сумятицу завершающего этапа правления Токугава. Княжество Тёсю, сыгравшее ключевую роль в реставрации императорской власти в 1868 г., было надежным убежищем для ронинов [Murdoch, 1926, p. 737]. Среди этих людей большой популярностью пользовалась идея об избавлении от западных «варваров». Многие из них протестовали против открытия новых портов, поскольку «после этого изгнание варваров станет невозможным... Нам придется накладывать левый лацкан на правый, использовать горизонтальное письмо и их ужасный календарь» (цит. по: [Ibid., p. 720]). Таким образом, нижние слои самураев превращались в неуправляемый резервуар насилия, «люмпен-аристократию», открытую скорее для реакционных влияний, чем для принятия революции в английском или французском духе. В ряде ключевых военных столкновений, сопутствовавших реставрации императорской власти, они с равной готовностью сражались на обеих сторонах [Craig, 1959, p. 187–197, 190–191]. При отсутствии внешней угрозы и одаренных правителей эта потенциально взрывная сила, возникшая после того, как режим Токугава кардинально изменил положение воинов, была способна разорвать японское общество по швам и ввергнуть его в эпоху феодальной анархии.

Торговцы (тёнин) были непосредственным, если не первичным источником разрушительного воздействия на старый порядок. Их роль в японском обществе напоминает роль евреев в поздней средневековой Европе, и особенно в Испании. В самых общих чертах отношения между военной аристократией и торговцами можно охарактеризовать как симбиотический антагонизм. Даймё и самураи зависели от торговцев, которые обменивали рис и другую сельскохозяйственную продукцию, произведенную крестьянами, на наличные деньги и обеспечивали их предметами первой необходимости и большей частью предметов роскоши, требуемых для поддержания аристократического стиля жизни. В то же время торговец пользовался благосклонностью и покровительством воина-аристократа для ведения торговли, что согласно этическому кодексу воинов считалось низким и паразитическим образом жизни. Ни в коем случае не устраняя феодальных ограничений и даже не стремясь к этому, торговцы улучшили свои позиции, а под конец рассматриваемого периода они стали доминирующей стороной в отношениях с земельной и военной аристократией.

Как следствие, жесткие межклассовые барьеры, от которых во многом зависела стабильность системы Токугава, обнаружили серьезные признаки разрушения. Воины становились торговцами, и наоборот. Известно, усиливалась ли эта тенденция в течение рассматриваемого периода, но из общих оснований скорее можно заключить, что дело обстояло именно так [Sheldon, 1958, p. 6]⁷. В начале XIX в. из 250 семей торговцев 48 семей, или почти пятая часть, происходили из самураев. Обедневшие самураи иногда делали своим наследником сына богатого купца в обход собственного старшего сына. В начале XVIII в. сёгун Ёсимунэ запретил продажу титула самурая, но этот запрет вскоре превратился в пустую формальность [Honjo, 1935, p. 204–205].

Лишь в начале XVIII в. феодальные правители осознали угрозу для своей власти, исходившую от торгового люда. Однако было уже поздно, даже несмотря на то, что экономическое преимущество купцов к тому времени сошло на нет [Sheldon, 1958, p. 165]. В самом деле, результаты недавних исследований производят впечатление, что феодальные правители сумели бы противостоять этой угрозе и еще некоторое время поддерживать баланс, пусть даже отличный от того, что было в начале правления Токугава, если бы не роковое появление западной военной эскадры на японской политической сцене⁸. В любом случае феодаль-

⁷ Здесь упоминается, что множество торговцев самурайского происхождения преуспевали в первые годы правления Токугава.

⁸ В этом отношении весьма познавателен обмен мнениями между Дором и Шелдоном, см.: [Dore, Sheldon, 1960, vol. 18, p. 507–508; vol. 19, p. 138–139].

ная аристократия обладала рядом возможностей для ответа купечеству: прямые конфискации, принудительные займы (особенно частые к концу правления Токугава) и отказ платить по долгам. Но итогом этих мер, особенно конфискаций, в конце эпохи стало лишь то, что торговцы все неохотнее предоставляли кредит [Sheldon, 1958, p. 111–113, 119]. Поскольку аристократия в существенной мере, пусть и не полностью, жила в кредит, она оказалась неспособной сокрушить купечество.

Власть над аристократией, которую нередко приобретали торговцы, порождала понятное раздражение среди знати и других слоев японского общества. Некоторые японские интеллектуалы даже пытались доказать, весьма напоминая своей аргументацией идеи европейских физиократов той эпохи и антисемитов последующей, что только знать и крестьяне были полезными социальными классами. «Тогда как купцы занимаются чем-то незначительным, ...[поэтому] правительству не нужно беспокоиться, если они разорятся» (цит. по: [Ibid., p. 105]). Как сказано выше, правительство сёгунов периодически пыталось реализовать такого рода идеи на практике. В борьбе между деградирующей военной аристократией и крепнущими коммерческими кругами обнаруживаются истоки антикапиталистического мировоззрения, ставшего характерной чертой японского варианта фашизма.

Хотя конфликт феодальной аристократии с купечеством был чрезвычайно значим для последующих событий, было бы серьезной ошибкой ограничиться только им. В Японии в отличие от Западной Европы не было свободных городов со своими хартиями, где бы в конкретных терминах выражалась их политическая и юридическая независимость от феодального окружения. Конечно, на раннем этапе правления Токугава в этом направлении предпринимались некоторые перспективные начинания. Но после того как режим консолидировался в форме централизованного феодализма, с этими тенденциями было покончено. «Повторная феодализация», как ее порой называют, наложила существенные ограничения на деятельность торговцев, строго указав им то место в феодальном строе, где, как надеялись власти, они не могли бы принести никакого вреда [Ibid., p. 8, 25, 37]. Изоляция страны, возникшая после эдиктов 1633–1641 гг., снизила коммерческую активность, отчасти из-за невозможности поддерживать зарубежные связи и вступать в международную конкуренцию [Ibid., p. 20–24]. Как отмечено выше, основной импульс коммерческого развития рассеял большую часть своей энергии за первые сто лет после установления *рах Токугава*. После этого возникла тенденция к успокоению и довольству плодами своих трудов, а также тяга к применению проверенных временем и испытанных методов предпринимательства.

Нам нет нужды подробно рассматривать здесь механизм политического контроля над купечеством, разработанный правительством

Токугава. Достаточно заметить, что оно в этом преуспело, в особенности в ранний период, и поэтому восхождение торговцев к экономической власти стало «почти подпольным развитием событий» [Sheldon, 1958, p. 32–36]. Элементы политического контроля сделали японского торговца социально зависимой фигурой, пусть даже сам даймё порой боялся его гнева.

Конечно, были очень разные случаи. Так, торговцы Осаки пользовались большей свободой, чем их коллеги в столице Эдо [Ibid., p. 88, 92, 108]. А под конец этого периода провинциальные торговцы в борьбе за сырье и рынки показали себя менее скованными феодальными обязательствами, чем прежние городские монополисты [Ibid., p. 163].

Кроме того, конечно, обратившись к искусствам и к беспечному времяпрепровождению, торговцы развили специфические социальные черты и вкусы, напоминавшие допуританские аспекты купеческой культуры Запада. Но сама по себе торговая культура, достигшая расцвета в начале XVIII в., не была реальной угрозой для системы Токугава [Ibid., p. 99]. Напротив, именно эта дозволенная свобода, в основном ограниченная определенным сектором капитала, служила предохранительным клапаном. Она скорее помогала спасти, чем разрушить старый порядок [Norman, 1949, p. 75].

В силу всех этих причин японские торговцы периода Токугава оставались в рамках феодальной этики. Им совсем не удалось выработать свою интеллектуальную позицию, которая помогла бы противостоять традиционному мировоззрению. Изучая множество самых разных сочинений японских авторов, Эгертон Герберт Норман пытался «найти автора, который осмелился бы выразить последовательную и принципиальную критику самых деспотичных сторон японского феодализма, его социальной ригидности, интеллектуального обскурантизма, схоластической стерильности, пренебрежения к общечеловеческим ценностям и зашоренных представлений о внешнем мире» [Ibid., p. 2]. И хотя в хрониках и литературных сочинениях обнаруживается ряд изолированных протестов против жестокости феодального насилия, не нашлось ни одного влиятельного мыслителя, предпринявшего фронтальную атаку на систему в целом⁹. Неудачу японского торгового класса в разработке критической интеллектуальной позиции, сравнимой с тем, что было на Западе,

⁹ Норман в итоге предпочел довольно подробно интерпретировать врача начала XVIII в. Андо Соеки, предположительно изолированного мыслителя, не обладавшего каким-либо влиянием ни при жизни, ни впоследствии. Его так и не опубликованный главный труд, несмотря на содержащуюся в нем критику феодализма, оставляет впечатление утопического аграрного примитивизма, а не «буржуазной» критики Японии того времени. См.: [Norman, 1949, ch. 1, p. 100–110, 214–216, 242–243].

нельзя, на мой взгляд, объяснить психологическими факторами или особенной эффективностью японской системы ценностей¹⁰. Подобные объяснения логически не отличаются от знаменитого аргумента, согласно которому снотворное действует из-за того, что в нем есть «снотворная сила». Все они внушают фундаментальное сомнение: почему именно это мировоззрение господствовало в это время и в этом месте? Ответ на этот вопрос исторический: все объясняют условия, в которых японский торговый класс развивался начиная с XVIII в. Изоляция страны, симбиоз воинов и торговцев, длительное политическое господство воинов — таковы ключевые элементы в любой попытке объяснения ограниченности мировоззрения торговцев.

Существенная доля богатства, пополнявшего купеческую казну, первоначально изымалась военной аристократией у крестьянства. Впоследствии мы подробно рассмотрим причины, помешавшие японским крестьянам превратиться в революционную силу по русскому или китайскому образцу. А пока наш анализ ограничится тем, как крестьянский вопрос понимали правящие классы и как он смыкался с их интересами.

Как обычно происходит в любой аграрной стране, крестьянские массы, платя налоги, обеспечивали средствами все остальное население. Отдельные представители военной аристократии с опорой на этот факт декларировали, что крестьянство — основа здорового общества, подразумевая, конечно, что в «здоровом» обществе власть принадлежит самураям. Такова типичная риторика аграрной аристократии, опасавшейся конкуренции со стороны коммерческих кругов. Восхищение крестьянами было косвенной критикой торговцев. Часто цитируемое циничное двустишие: «Крестьяне как кунжутные семечки: чем больше давишь, тем больше масла» — гораздо лучше описывает подлинное отношение самураев к крестьянству [Ramming, 1928, S. 28]. Как сухо замечает сэр Джордж Сансом, сёгуны Токугава обращали большое внимание на земледелие и меньше всего — на земледельцев.

В начале 1860-х годов крестьянский вопрос оказался связанным с проблемой создания современной армии. Решение этой проблемы повлияло не только на независимость Японии в качестве суверенного государства, но и на саму природу общества. По сути, правительству пришлось решать вопрос о том, стоит ли вооружать крестьян для защиты Японии от внешнего врага. В 1863 г. высшим правительственным чиновникам было предложено высказаться о разумности такого шага. Красноречивые выдержки из их ответов отражают две главные причины для беспокойства: даймё в своих княжествах могли обратить эту военную силу против пра-

¹⁰ Подобные интерпретации см.: [Bellah, 1957].

вительства Токугава, а сами крестьяне могли превратиться в угрозу для установленного порядка [Norman, 1943, p. 73]. Обе причины имели под собой основание.

Влияние правительства на крестьян было слабее в областях, напрямую подчиненных сёгуну, чем в некоторых отдаленных княжествах, особенно в Тёсю. Области, сильно зависимые от сёгуната, включали большие города Эдо и Осаку, из которых распространялось коммерческое влияние. Правители Тёсю, в свою очередь, с помощью искусной бюджетной и налоговой системы сумели отстоять свою финансовую независимость и избежать попадания в руки кредиторов и торговцев из Осаки. Отчасти по этой причине крестьянская база и традиционные феодальные связи оставались сильными в Тёсю [Craig, 1961, ch. 2, p. 355–356]. Хотя относительно слабые крестьянские волнения случались здесь в прошлом (в 1831–1836 гг.), только когда иностранные военные корабли обстреляли форты Тёсю в 1864 г., влиятельные круги в княжестве уверились в необходимости реформ по западному образцу и стали доказывать, что вооружать нужно даже крестьян. После того как в Тёсю возникли эти подразделения, проимператорские силы получили важную силовую опору [Ibid., p. 55–58, 135, 201–203, 278–279].

В других частях Японии крестьяне внесли антифеодальный и даже почти революционный вклад в движение Реставрации. Последние годы эры Токугава характеризовались многочисленными вспышками крестьянского насилия с сильным антифеодальным подтекстом. Даже если им явно недоставало ясных политических целей, они были угрозой для властей. В подробной монографии, посвященной этим волнениям, сообщается о тысяче подобных случаев в течение всего рассматриваемого периода, большинство из которых показывает непосредственную взаимосвязь крестьянства и контролировавшего его правящего класса. Интенсивность случаев насилия резко увеличилась в последние годы рассматриваемой эпохи — с 1772 по 1867 г. [Borton, 1937, p. 17, 18, 207]. Императорские войска временами получали помощь со стороны восставших крестьян в боевых столкновениях, сопровождавших Реставрацию. Например, в провинции Этиго 60 тыс. вооруженных крестьян блокировали регионального командующего войсками Токугава. Также и в других областях командующие императорскими войсками пользовались антифеодальными настроениями, прибегая к методам, напоминавшим современную политическую борьбу. В одном случае

...миротворец и главнокомандующий области Тосандо приказал поместить в важных местах плакаты и распространить манифесты среди крестьян и торговцев в этих деревнях с призывом явиться к местным штабам императорской армии и выдвинуть обвинения в

тирании и жестокости против прежнего правительства Токугава. Они специально обращались к самым обездоленным, сиротам, вдовам, к тем, кого преследовали феодальные власти. Всем жалобщикам было обещано тщательное и сочувственное разбирательство дела; утверждалось также, что виновные чиновники понесут справедливое наказание [Norman, 1943, p. 38–39].

Но слабо выраженная революционная линия не была, конечно, единственным вкладом крестьянства. По целому ряду причин крестьяне сражались на обеих сторонах борьбы за Реставрацию. Как мы увидим позже, не только среди крестьян, но и среди других сторонников императора наличествовал сильный реакционный компонент, восходивший к чистому и мистическому феодальному прошлому. Переплетение этих линий придало Реставрации Мэйдзи ее изменчивый характер, отчасти неопределенный в том, что касалось ее непосредственного исхода.

На этом этапе читатель уже понял, что Реставрация ни в коем случае не была чистой классовой борьбой и уж, конечно, не была буржуазной революцией (как утверждают некоторые японские авторы, хотя, насколько мне известно, их мнение не разделяют западные исследователи). В ряде ее решающих аспектов была традиционная феодальная борьба между центральной властью и княжествами¹¹. А княжества, возглавившие борьбу против сёгуна, — не только Тёсю, но и Сацума, «японская Пруссия», о которой не так много известно, — были княжествами, в которых сохраняли силу традиционное аграрное общество и феодальные обязательства¹².

В разительном отличие от крупных княжеств финансовое положение режима Токугава постепенно ухудшалось к концу периода, что, по мнению ряда историков, внесло свой вклад в окончательный закат сёгуната. Но, как обычно бывает со старым режимом, финансовые трудности были не более чем симптомами глубинных проблем. Внешняя угроза постоянно усиливала нужду сёгуната в доходах, а также в армии, которая представляла опасность для Токугава, если не для правителей Тёсю. На торговцев нельзя давить слишком сильно, чтобы не остаться без доходов. Единственным альтернативным источником средств было

¹¹ Французский ученый в своем сочинении о княжествах на последнем этапе правления Токугава утверждал, что авторитет сёгуна был непререкаем только в непосредственной близости от войск; по мере удаления от Эдо все больше распространялся дух независимости и партикуляризма [Courant, 1903, p. 43].

¹² О традиционной аграрной системе см.: [Norman, 1943, p. 58–65]. Сацума была землей госи, сословия сельских помещиков по статусу между крестьянином и самураем, сохранившегося с эпохи, предшествовавшей Токугава.

крестьянство, проявлявшее все большее недовольство этим тяжким бременем.

Хотя все эти противостояния и проблемы составляли предпосылки Реставрации, они по большей части остались в тени событий, которые привели к переменам после 1860 г. Непосредственная опасность иностранной интервенции помогла превратить Реставрацию в символический акт, который поддерживали многие группы по целому ряду противоречивших друг другу причин. Сама по себе Реставрация не имела особенно выдающегося значения, и ее последствия для будущего японского общества оставались неясными в течение нескольких лет. Борьба, которая ее сопровождала, не имела характера принципиального конфликта между ясно обозначенными заинтересованными группами. По этим причинам события тех лет кажутся западному человеку не более чем запутанной сетью интриг, замысловатой и бессмысленной. На мой взгляд, они предстают в таком свете именно потому, что главные действующие лица внутри правящего класса в общем стремились к одному и тому же: изгнать иностранцев и минимально поколебать сложившийся *status quo*. Согласно стандартной версии событий [Murdoch, 1926, p. 733], император во всем желал действовать при посредничестве сёгуната в оппозиции к «экстремистам» и «бесчинствующим» элементам — одним словом, в оппозиции ко всему, что намекало на революционную перемену.

Поэтому в итоге встал вопрос: кто проявит инициативу? Сильное соперничество разгорелось вокруг того, кто поставит себе в заслугу настолько отважный поступок — если бы он реализовался. В этой борьбе сёгунат имел огромный недостаток, связанный с его политической ответственностью. Всякий раз, когда сёгунату не удавалось выполнить обещание, на выполнение которого у него не было шансов, — такое, например, как изгнание варваров к определенному сроку, — его неспособность становилась очевидной. Оппоненты сёгуната, в свою очередь, естественным образом консолидировались вокруг фигуры, которая стояла «выше политики». Наряду с другими факторами, ущерб, связанный с необходимостью нести политическую ответственность в невозможной ситуации, внес вклад в итоговое поражение сёгуната¹³.

На этом этапе будет полезно оценить причины Реставрации с более общей точки зрения. Я полагаю, что фундаментальной причиной была частичная эрозия феодального строя в результате развития коммерции, что, в свою очередь, произошло после установления мира и порядка. Наряду с иноземным вторжением, эта эрозия создала проблемы, при

¹³ Обзор важнейших событий см.: [Craig, 1961, ch. 9; Murdoch, 1926, ch. 18, 19].

решении которых Реставрация стала важным шагом. Политически-реакционные аспекты этого решения в значительной степени объяснимы с учетом позиций тех групп, которые были вовлечены в имперское движение. Одной из них был сегмент нобилитета при императорском дворе. Другая состояла из недовольных лидеров тех княжеств, где феодальные учреждения казались особенно сильными. Самураи, недовольные лишь своим господином, но никак не самим по себе феодальным строем, также внесли свой важный вклад. Среди коммерческих элементов авторитетные консервативные торговцы были враждебно настроены в отношении идеи открытия страны, поскольку это могло привести к росту конкуренции. В целом торговцы не играли активной роли в самой борьбе, хотя интересы Мицуи были представлены с обеих сторон [Sheldon, 1958, p. 162, 172]. Лишь среди крестьян, да и то отнюдь не везде, можно было встретить признаки оппозиции феодальным институтам. С доктринальной точки зрения Реставрация проводилась под лозунгом традиционного символизма, в основном конфуцианского. Как мы видели, старый порядок не встречал прямого интеллектуального вызова, и менее всего со стороны коммерческих кругов.

С учетом того, какие группы поддерживали Реставрацию, удивительно не то, что новое правительство делало так мало, но то, что ему удалось достичь так много. Как мы вскоре увидим, правительство Мэйдзи (1868–1912) — таково было имя, под которым новый режим вошел в историю, — предприняло много важных шагов к тому, чтобы превратить Японию в современное индустриальное общество. Что заставило эту крупную феодальную революцию реализовать программу со многими откровенно прогрессивными чертами? Причины найти не трудно, на них обращают внимание многие историки Японии. Определенная перемена происходила в характере правящего класса, хотя, вероятно, это второстепенный фактор. Поскольку линии раскола в японском обществе были вертикальными и горизонтальными, это позволило сегменту правящего аграрного класса обособиться от системы Токугава и произвести революцию сверху. Зарубежная угроза стала решающим фактором. Используя ее объединяющую силу, новое правительство стремилось сохранить привилегии небольшого сегмента элиты, открыть новые возможности для других и обеспечить национальное спасение.

После 1868 г. новые правители Японии, происходившие в основном из класса самураев, терявшего свои позиции при старом режиме, столкнулись с двумя крупными проблемами. Во-первых, нужно было создать современное централизованное государство. Во-вторых, нужно было создать современную индустриальную экономику. Обе проблемы приходилось решать для того, чтобы Япония сохранила себя как независимое государство. Для одновременного решения обеих проблем необхо-

димо было разрушить феодальный строй и возвести на его месте общество современного типа.

Так, по крайней мере, видится этот вопрос социальным историкам, пользующимся преимуществами и недостатками ретроспективного зрения. Но едва ли таким образом проблема представлялась ее современникам. Многие присоединившиеся к движению «Восстановить императора — изгнать варваров» надеялись на возникновение улучшенной версии феодализма. Наша формулировка слишком абстрактна и одновременно слишком конкретна. Слишком абстрактна она потому, что в общем люди, поддержавшие Реставрацию и первые годы правления Мэйдзи, не желали возникновения какой угодно разновидности современного государства, но лишь такой, которая бы сохранила как можно больше преимуществ, закрепленных за правящим классом при старом режиме, устранив ровно то, что было нужно для сохранения государства (на практике оказалось очень много), поскольку в ином случае они рисковали потерять все. Слишком конкретна она потому, что создает ложное впечатление наличия целостной программы модернизации. Лидеры раннего этапа правления Мэйдзи Японии не были ни доктринерами, ни социальными теоретиками, заброшенными, подобно русским марксистам, в поле политической ответственности. Тем не менее с учетом этих оговорок такое понимание задачи, стоявшей перед лидерами Мэйдзи, помогает упорядочивать значимые факты этой эпохи, их последствия и взаимные отношения.

Самый важный первый шаг в создании эффективного центрального правительства произошел в марте 1869 г., когда великие западные княжества Тоса, Сацума, Хидзэн и Тёсю «добровольно» предложили свои территории трону, одновременно выступив с заявлением: «Требуется единый центральный орган управления и одна общая власть, которая должна оставаться неприкосновенной». Наступил очень щекотливый момент. Ведь Реставрация могла бы оказаться всего лишь перераспределением власти внутри феодальной системы.

Но почему тогда передовые княжества предприняли этот шаг? Как утверждают некоторые историки, свою роль, возможно, сыграли великодушные и прозорливые, но я скептически отношусь к их значимости. Гораздо важнее, вероятно, было то, что после продолжительных переговоров, предшествовавших такому шагу (пусть даже это не стало решающим фактором), даймё было позволено сохранить половину своих доходов [Sansom, 1950, p. 323–324, 327–328]. Более важным соображением было опасение, что, если княжества не предпримут этого совместного шага, место Токугава займет какая-нибудь группа провинциальных лидеров. Правители Сацума сами в это время питали те же самые амбиции

[Sansom, 1950, p. 324]¹⁴. Иными словами, конкуренция среди претендентов на власть усилила роль центральной администрации, которая до того была достаточно слабой.

В этот момент правительство не было готово испытать свою новую власть и оставило у власти прежних феодальных правителей как императорских легатов с титулом губернатора. Однако всего два года спустя, в августе 1871 г., оно предприняло окончательный шаг, объявив в кратком декрете, что феодальные домены становились единицами местной администрации (префектурами) под центральным управлением. Вскоре после этого актом, напомнившим о методах Токугава, оно приказало всем прежним даймё покинуть свои поместья и обосноваться вместе с семьями в столице. В самом деле сходство более чем неожиданное [Ibid., p. 326]. Своей победой в 1600 г. Токугава заложил основы современного централизованного государства. Правительство Мэйдзи завершило этот процесс.

Во время своего политического становления правительство провело целую серию мер, эффект которых полностью проявился лишь позднее. Их общий смысл был в том, чтобы освободить от феодальных ограничений свободу передвижения людей и товаров и таким образом поддерживать развитие по капиталистическому пути. В 1869 г. правительство объявило о равенстве социальных классов перед законом, устранило местные барьеры для торговли и сообщения, дозволило свободу в выборе методов обработки земли и разрешило частным лицам приобретать права собственности на землю [Allen, 1962, p. 27]¹⁵. Хотя еще при Токугава землю начали освобождать от феодальных оков, только теперь она стала обычным товаром для покупки и продажи, и в свое время мы рассмотрим важные последствия этого для остального общества.

Для того чтобы эти трансформации были реализованы мирно и сверху, а не через народную революцию, требовалась существенная компенсация по крайней мере для ключевых элементов прежнего режима. В 1869 г. правительство гарантировало даймё сохранение половины доходов за отказ от княжения. Подобная щедрость не могла продолжаться бесконечно. Свобода маневра у правительства была ограниченной. В 1871 г. попытка изменить договоры так, чтобы это позволило полу-

¹⁴ Автор прибавляет здесь красноречивое общее замечание, смысл которого в том, что знаменитая Клятва пяти пунктов 1868 г., первый японский «конституционный» документ, в котором предполагаются созыв собраний и общественные обсуждения, был «не уступкой крепнущим демократическим настроениям, но мерой предосторожности против усиления могущества единственной феодальной группы».

¹⁵ Согласно Норману [Norman, 1940, p. 137], юридический запрет на продажу земли не был отменен до 1872 г.

чить дополнительный доход, провалилась. В 1876 г. правительство пошло на принудительное сокращение доходов даймё и стипендий самураев. Хотя со всеми даймё, за исключением наименее важных из них, правительство обходилось достаточно лояльно, мелкие феодальные лидеры и большинство самураев понесли серьезные убытки [Sansom, 1950, р. 327–328]¹⁶. В итоге новое правительство щедро наградило лишь нескольких своих ключевых сторонников. Кроме того, Мэйдзи считали необходимым отречься от недовольных самураев, важного источника той силы, которая сместила старый порядок.

Сокращение самурайских стипендий стало кульминацией долговременной тенденции. Во время Мэйдзи просто завершился процесс уничтожения класса самураев, который, как мы видели, происходил уже в эпоху Токугава. Модернизация в Японии не предусматривала революционную ликвидацию какого-либо сегмента правящего класса. Вместо этого имел место длительный процесс эвтаназии, продолжавшийся три столетия. Социальный статус самураев был утрачен после провозглашения равенства всех граждан перед законом, хотя им была дарована пустая честь называться сидзоку, т.е. бывший самурай, которая не давала ни прав, ни льгот. В качестве воинов самураи уже потеряли большинство своих функций в условиях рах Токугава. Введение всеобщей воинской повинности в 1873 г. практически устранило последние еще сохранявшиеся отличия. В итоге признание права собственности на землю, как замечает Дж.Б. Сансом, ударило в средоточие феодальной гордости и привилегий, поскольку феодальное общество базировалось на том, что крестьяне обрабатывали землю, а помещики владели ей [Ibid., р. 330].

Вряд ли на это рассчитывали самураи, соглашаясь поддержать Реставрацию. Очень многие из тех, кто принимал участие в устранении Токугава, хотели всего лишь изменить феодальную систему в свою пользу, а не разрушить ее [Scalapino, 1953, р. 36]. Поэтому неудивительно, что феодальные силы восстали и бросились в атаку на новый режим после того, как проявились последствия нового политического курса. Сацумское восстание в 1877 г. стало последней кровавой конвульсией прежнего режима. И как часть этой финальной судороги, по сути в качестве наследия угасавшего феодализма, возникает первое в Японии организованное «либеральное» движение. Вряд ли оно могло появиться в более неблагоприятных обстоятельствах¹⁷.

¹⁶ Больше информации по экономическим аспектам проблемы см.: [Allen, 1946, р. 34–37]. Этот пункт рассматривается ниже.

¹⁷ Подробнее о контексте «либеральных» истоков см.: [Ike, 1950, р. 55–58, 61, 65; Scalapino, 1950, р. 44–49, 57–58] (об истоках либеральной партии Дзюкю, которая рассматривается в заключительном разделе). Некоторые полезные факты см. также: [Norman, 1940, р. 85–86, 174–175; Sansom, 1950,

После подавления Сацумского восстания правительство Мэйдзи почувствовало себя увереннее. За девять лет ему удалось демонтировать феодальный аппарат и заменить его базовой структурой общества современного типа. По сути это была революция сверху, реализованная с относительно малой долей насилия, если сравнивать ее с левыми революциями во Франции XVIII в., в России и в Китае XX в. В любом случае это был значительный успех для правительства, которому приходилось осторожно прокладывать себе путь в окружении конкурирующих великих князей и которое до 1873 г. не имело собственной армии и, по замечанию Сансома, по необходимости было намного более озабочено самосохранением, чем изучением политической и социальной анатомии.

Несколько факторов помогли успеху Мэйдзи. Новые правители использовали свои возможности расчетливо и в своих интересах. Они пошли на большие материальные уступки даймё и не побоялись обратиться против себя самураев. Что касается сокращения стипендий самураев, сложно понять, какие альтернативные ресурсы были на тот момент у правительства. Оно также воздержалось от преждевременного вступления во внешнюю войну. Но если рассуждать на более глубоком уровне исторических причинно-следственных связей, еще режим Токугава своей политикой ослабил власть воина и подготовил дорогу централизованному государству, не создав в то же время никакого подавляющего революционного потенциала. Режим Мэйдзи, таким образом, продолжил прежнюю тенденцию и, как мы увидим в финале нашего обзора, сохранил в действии многое из исходной структуры. Наконец, как подчеркивали многие историки Японии, имперская система образовывала источник возникновения фундаментально консервативных сил и обеспечивала рамку правовой преемственности, внутри которой производились необходимые корректировки.

Перед продолжением анализа можно сделать паузу для нового взгляда на предположение, которым открывалась эта глава, сводившееся к тому, что феодализм является ключом для различения исторических судеб Японии, России и Китая в Новое время. На этом этапе, вероятно, становится ясно, что различия во внутренней социальной структуре оказываются лишь одной, хотя и очень важной переменной величиной. Также имели значение различия в сроках и внешних условиях на тот момент,

р. 333]. Для многих японцев западный либерализм, наряду с западным оружием, был частью «магии» Запада, с помощью которой Япония также может надеяться на превращение в сильную державу и нанести поражение варварам. Демократия была просто технологией, посредством которой можно достичь того, что сегодня называется тоталитарным консенсусом. Здесь есть любопытные параллели с некоторыми американскими представлениями о борьбе с революциями и о коммунизме.

когда досовременные институты рушились и адаптировались к современной эпохе.

Для Японии вмешательство Запада оказалось сравнительно неожиданным. Превосходство западного оружия и технологий быстро стало очевидным для многих японских лидеров. Вопрос самосохранения нации и необходимость предпринять соответствующие шаги для самозащиты приобрели первостепенное значение с драматической скоростью. Китай, упоминанием которого для простоты можно ограничиться в этих предварительных сопоставлениях, на первый взгляд превосходил Запад. В течение долгого времени его правители обращались с представителями западной цивилизации с вежливым любопытством и презрением. Отчасти из-за этого Западу со временем удалось получить существенную территориальную опору в Китае. Неадекватность императорской системы становилась очевидной лишь постепенно. В критические моменты Запад предпочел поддержать маньчжурскую династию в ее борьбе с внутренними врагами, как это было при восстании тайпинов, что еще более усыпило бдительность китайских правителей в отношении угрожавших им опасностей. Когда же к моменту восстания боксеров правящие круги полностью осознали угрозу, процесс упадка династии уже стал необратимым.

Чтобы эффективно решать возникавшие во второй половине XIX в. внешние и внутренние проблемы, китайская бюрократия должна была поощрять торговлю и расширять налоговую базу. Но такая политика разрушила бы гегемонию ученых чиновников, а заодно и весь статичный аграрный порядок, на котором покоилась их власть. Вместо этого чиновники и знатные семьи присвоили себе местные ресурсы после разрушения центрального аппарата. В начале XX в. региональные военачальники сменили имперскую бюрократию прежних лет.

Вполне возможно, что один из этих военачальников мог бы подчинить себе остальных и объединить Китай, чтобы начать политически-реакционную фазу развития страны, сопровождавшуюся промышленной модернизацией. Казалось, одно время Чан Кайши был близок к подобному успеху. Если бы так и произошло, историки сегодня указывали бы скорее на сходства, а не на различия между Китаем и Японией. Между этими странами возникла бы важная параллель в том, как один сегмент обособляет себя от остального общества, получает власть и порождает консервативный вариант модернизации.

Но был ли шанс на это в самом «раскладе», как сказал бы невезучий игрок? Прямого ответа дать невозможно. Хотя все-таки важные факторы говорят против этого. В дополнение к различиям между китайской бюрократией и японским феодализмом, повторюсь, свою роль сыграл фактор времени. Когда Чан попытался объединить Китай, ему при-

шлось столкнуться с агрессивной экспансией Японии. Если вернуться к внутренней политике, различие проявлялось также в характере и мировоззрении двух социальных фигур — мандаринов и самураев, возникших в результате резко несовпадающего исторического опыта. Мирный идеал джентльмена-ученого-чиновника становился все менее адекватным в условиях современного мира. Судьба идеала воина в Японии иная. Правящие классы искали пути возврата своего богатства. Если бы они смогли освободиться от некоторых устаревших понятий, вроде феодальной чести, смогли бы и прекрасно воспользоваться современными технологиями в военной сфере. Как показывает Сацумское восстание, избавиться от феодального романтизма было непросто. Но все-таки возможно, и это реально осуществилось. В то же время какую практическую пользу мог извлечь из современной техники китайский ученый чиновник, получивший классическое образование? Она не научила бы его умиротворять народ. В лучшем случае она превращалась в повод для взяточничества, разрушавшего систему, либо служила игрушкой и развлечением. С официальной точки зрения, новые технологии не были особенно полезными для крестьян, поскольку могли сделать их ленивыми и непокорными.

Таким образом, феодальная военная традиция в Японии поначалу обеспечила подходящую базу для реакционной версии индустриализации, пусть даже в долговременной перспективе это могло стать роковым. В досовременном обществе и культуре Китая почти не было оснований, на которых мог бы возникнуть военный патриотизм японского типа. По сравнению с Японией реакционный национализм Чан Кайши казался слабым и бесцветным. Лишь когда Китай начал переделывать свои институты в духе коммунизма, возникло сильное ощущение исторической миссии.

Далее, несмотря на централизацию правительства Токугава, феодальные единицы в Японии сохраняли свою специфическую идентичность. Японские княжества были независимыми ячейками, которые, вероятно, сохранились бы достаточно хорошо, если бы они были отделены от политической системы Токугава. Их лидеры получили от рах Токугава возможность мирных наслаждений аристократическими привилегиями. Когда система встретила с внезапной угрозой, нескольким феодальным вассалам было не слишком трудно изолировать себя от нее и совершить *coup d'état*. Таким образом, имперская Реставрация имела черты успешной Фронды. Однако лучшей аналогией была бы Пруссия, как это заметил еще полвека назад Торстейн Веблен в своей книге «Imperial Germany and the Industrial Revolution». Несмотря на очень важные различия, которые будут рассмотрены ниже, существенное сходство между этими странами основывается, во-первых, на способности сегмента

земельной аристократии вопреки желанию отстающих представителей своего класса развивать индустриализацию ради того, чтобы догнать другие страны, а во-вторых, на роковом исходе всей этой политики в середине XX в. Сохранение феодальных традиций с сильным элементом бюрократической иерархии — общая черта Германии и Японии. В этом они отличаются от Англии, Франции и Соединенных Штатов, где феодализм был преодолен либо вообще отсутствовал и где модернизация произошла рано и под покровительством демократии, причем эта фундаментальная трансформация сопровождалась всеми неперемненными признаками буржуазной революции. В этом отношении Германия и Япония не меньше отличались от России и Китая, которые были скорее аграрными бюрократиями, чем феодальными государствами.

Поэтому, конечно, не сам по себе феодализм как общая абстрактная категория является ключом к тому, по какому именно пути японское общество вошло в современную эпоху. К феодализму нужно добавить фактор времени. Кроме того, этот скачок оказался возможным вследствие специфического разнообразия японского феодализма с существенными бюрократическими элементами. Особый характер японских феодальных уз с гораздо более сильным акцентом на статусе и лояльности воина, чем на свободно принятом договорном отношении, означал, что один из источников импульса, обусловившего западное разнообразие свободных институций, здесь отсутствовал. В то же время бюрократическая власть японского государства производила характерный для себя результат — покорную и опасливую буржуазию, не способную бросить вызов старому порядку. Хотя причины отсутствия серьезного интеллектуального сопротивления и лежали в глубинах японской истории, они составляли часть того же феномена. Интеллектуальные и социальные изменения, способствовавшие буржуазным революциям на Западе, здесь были слабыми либо несущественными. Наконец, и, возможно, это самое важное, на протяжении всего периода перехода к индустриальному обществу правящим классам удавалось сдерживать и отвлекать разрушительные силы, возникавшие в крестьянской среде. В Японии не произошло не только буржуазной, но и крестьянской революции. Нашей следующей задачей станет анализ того, как и почему оказалось возможным усмирить крестьян.

2. ОТСУТСТВИЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Три взаимосвязанные причины могут объяснить отсутствие крестьянской революции при переходе от аграрного к индустриальному обществу в Японии. Во-первых, система налогообложения Токугава, похоже, обеспечивала растущую прибыль тем крестьянам, которые были до-

статочны энергичными, чтобы увеличить свое производство. В итоге она стимулировала производство, которое начало расти к концу эры Токугава и продолжило свой рост при Мэйдзи. Во-вторых, в отличие от Китая для японской сельской жизни было характерно наличие тесных связей между крестьянской общиной и феодальным господином и его историческим наследником — помещиком. Одновременно (и вновь в отличие от Китая, хотя соответствующая информация по этой стране обрывочна) японская крестьянская община обеспечивала сильную систему социального контроля, которая склоняла к поддержанию *status quo* всех, кто испытывал актуальное или потенциальное недовольство. Это объясняется специфической системой разделения труда в сочетании с особенностями системы землевладения, аренды и наследования, которая превалировала в последние годы Токугава. В-третьих, этот набор институций показал свою способность адаптироваться к коммерческому сельскому хозяйству с помощью репрессивных механизмов, перенятых у старого режима, наряду с новыми, свойственными обществу современного типа. Ключевым фактором здесь стал рост нового класса помещиков, рекрутированных в значительной мере из самих крестьян, которые использовали государственные и традиционные механизмы деревенского сообщества, чтобы вымогать рис у крестьян и продавать его на рынке. Переход от старых феодальных порядков к арендным отношениям также принес некоторые выгоды для крестьян, находившихся на нижней ступени социальной лестницы. В общем и целом оказалось, что можно перенять старый, унаследованный из прошлого порядок и включить крестьянскую экономику в индустриальное общество — правда, ценой фашизма.

Переход оказался нелегким. Временами не просматривалось ясно, смогут ли правящие классы довести его до конца. Силовое крестьянское сопротивление было достаточно умеренным. По разным причинам нынешнее поколение западных историков предпочитает принижать значимость крестьянского недовольства. Поэтому перед подробным рассмотрением социальных тенденций и отношений в деревне стоит проанализировать имеющиеся свидетельства. Если сделать это сразу, иллюзия предопределенности может исчезнуть. О буржуазной революции, на мой взгляд, не могло быть и речи. Однако намного меньше причин считать невозможной крестьянскую революцию.

Последние годы периода Токугава отличались многочисленными вспышками крестьянского насилия. Хотя, конечно, невозможно определить объективные обстоятельства, ставшие поводом для большинства из этих восстаний, и в еще меньшей степени — мотивы участников, есть серьезные указания на то, что коммерческие веяния сыграли в этом важную роль. Во многих случаях гнев обрушивался именно на торговцев.

Например, в 1783–1787 гг. после ряда неурожаев крестьяне в западных провинциях восстали против купцов, которые стали помещиками, присвоив себе землю в обмен на деньги и товары, взятые в долг крестьянами. Кроме того, крестьяне восставали против деревенских чиновников, которые как представители правящего класса собирали налоги, шпионили за крестьянами и увеличивали поборы ради собственной выгоды [Borton, 1937, p. 18–19]. В 1823 г. в одном из доменов Токугава 100 тыс. фермеров взбунтовались против коррупции местных правителей, вступивших в сговор с продавцами риса. В одном из таких крупных восстаний непосредственный повод для выступления дали местные чиновники, молившие богов о плохом урожае и ради роста цен желавшие разъярить бога-дракона Рюдзина [Ibid., p. 27–28]. Уже к середине периода Токугава, т.е. к середине XVIII в., возникают споры из-за аренды [Ibid., p. 31, 32] — именно такого рода конфликты стали намного более важными после Реставрации.

Прямое насилие было не единственным оружием, к которому прибегали крестьяне. Некоторые из них, подобно русским крестьянам, «голосовали ногами» задолго до того, как им довелось услышать об избирательном бюллетене, хотя возможностей для перемены места жительства в Японии было гораздо меньше, чем в России. В некоторых областях возникла практика, при которой одна или несколько деревень массово покидали прежнее местожительство, — важный признак солидарности в японской деревне. Беглые крестьяне переходили в соседнее княжество или в соседнюю провинцию и просили у господина разрешения остаться в его владениях. Согласно Бортону, сохранились записи о 106 подобных уходах, большинство из которых происходили в регионе Сикоку [Ibid., p. 31].

Свидетельство Бортон достаточно ясно показывает, что вторжение коммерческих отношений в феодальную организацию деревни ставило перед правящими крутами все более сложные проблемы. Для вспышек крестьянского насилия было три главных повода: борьба с феодальным сюзереном, торговцами и нарождающимся классом помещиков. Поскольку эти три институции становились взаимосвязанными, крестьянское движение приобретало все большую опасность. Одна из причин того, что правительство Мэйдзи оказалось способно выдержать этот шторм, могла состоять в том, что подобная взаимосвязанность была сравнительно слабой в главной территориальной базе имперского движения — в великом княжестве Тёсю.

Некоторое время сразу после Реставрации опасность продолжала усиливаться. Крестьянам было обещано, что вся государственная земля (за исключением храмовой) будет поделена в их интересах. Но вскоре выяснилось, что это обещание выполнено не будет, а кроме того, не будет

снижено и налоговое бремя. Крестьянам стало понятно, что они ничего не выгадают при новом режиме. Аграрные восстания достигли пика насилия в 1873 г., в год введения нового земельного налога [Norman, 1940, p. 71–72], который рассматривается ниже в контексте помещичьих проблем. В первое десятилетие правления Мэйдзи произошло свыше 200 крестьянских восстаний, намного больше, чем в любое десятилетие при Токугава. «Никогда в современную эпоху, — пишет Т.К. Смит, отнюдь не склонный к преувеличению крестьянского насилия, — Япония не приближалась настолько близко к социальной революции» [Smith, 1955, p. 30].

Ведущей темой в крестьянском движении того десятилетия было «упрямое неприятие арендной платы, ростовщичества и непосильных налогов», что является обычной реакцией крестьянина на проникновение капиталистических отношений в деревню [Ibid., p. 75]. Этот реакционный ответ был хорошо осущит в Японии. Многие самураи тут же воспользовались своим знанием крестьянской психологии и даже возглавили крестьянские антиправительственные выступления. Это стало возможным, как мы увидим, из-за того, что именно самураи были основными жертвами Реставрации. Но там, где возникало самурайское руководство, оно мешало крестьянскому движению превратиться в эффективную революционную силу.

Сокращение налогообложения в 1877 г. положило конец первой и наиболее серьезной волне крестьянских выступлений [Ibid., p. 72, 75]. Последующая вспышка в 1884–1885 гг. имела скорее местное значение, ограниченное горными регионами к северу от Токио, известными производством грубого шелка и текстильной промышленностью. Крестьянские домохозяйства, работавшие по системе надомного труда, получали большую часть своего дохода из этих источников. После распада Дзикюто, раннего «либерального» движения в Японии, некоторые его радикальные приверженцы на местах, разочарованные предательством своих лидеров и подталкиваемые непрекращающимися экономическими трудностями, прибегли к открытому бунту [Ike, 1950, ch. 14, p. 164]. В одной префектуре, Чичибу, восстание было настолько жестким, что напоминало миниатюрную гражданскую войну, и, после того как оно привлекло к себе широкое народное внимание, для его подавления потребовались серьезные усилия армии и военной полиции. С ним было связано несколько параллельных восстаний, одно из которых породило совершенно революционные лозунги и публичные заявления с конкретными целями — такими, как сокращение налогов и пересмотр призывного закона. Значимо то, что даже эта группа называла себя патриотическим обществом («Аикоку Сеирися», «Общество патриотической истины»). Однако в других случаях правительству удалось пода-

вить бунты. Их главным последствием стало усиление разрыва между самыми преуспевающими кругами в деревне, в основном новыми помещиками, и беднейшими слоями крестьянства.

Вскоре после этого, в 1889 г., правительство провозгласило новую конституцию, которая предусмотрительно сохраняла право голоса только за состоятельными людьми. Из населения численностью около 50 млн избирательные права получили лишь 460 тыс. человек [Ike, 1950, p. 188]. Сельский радикализм вновь стал серьезной проблемой только вместе со спорами об аренде земли после Первой мировой войны.

Описанные выше крестьянские бунты свидетельствуют об абсолютно разобщенных актах противостояния переходу от досовременного сельского хозяйства к новой системе. Эти выступления отражают многие типичные проблемы, связанные с развитием капитализма и коммерческого фермерства на селе. Почему они не были более серьезными? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо внимательно рассмотреть деревенское общество Японии и перемены, которым оно подверглось.

Как в любом сельскохозяйственном обществе, японские крестьяне производили большую часть экономического излишка, который доставался высшим классам, поскольку методы извлечения прибыли образовывали ядро почти всех политических и социальных проблем. Профессор Асакава, выдающийся историк старшего поколения, заметил, что первоочередной заботой сельской администрации при Токугава был сбор налогов. «Едва ли какие-то положения сельских законов не имели прямого или косвенного отношения к субъекту налогообложения; и едва ли какие-то моменты во всей структуре феодального правления и национального благосостояния были независимы от решения этой фундаментальной проблемы» [Asakawa, 1910, p. 269]. Феодальная система налогообложения объясняет довольно сплоченный характер японской деревни, вызывавший удивление у историков и современных наблюдателей. Одновременно феодальные структуры в Японии тесно связывали крестьян с теми, кто ими правил.

Главным был налог на землю, налагавшийся не на отдельного крестьянина, а на официально установленную производственную мощность каждого земельного надела. С официальной точки зрения крестьянин был средством для извлечения из надела требуемого дохода [Ibid., p. 277]. Вплоть до последнего времени специалисты по Японии полагали, что в целом феодальный правитель эпохи Токугава, подстегиваемый ростом расходов в том числе в столице сёгуната, прибегал к механизму деревенской администрации, чтобы извлекать все большую прибыль из крестьянского труда [Norman, 1940, p. 21]. Однако тщательное изучение случаев распределения налогового бремени в нескольких достаточно удаленных друг от друга деревнях показало, что это умозаключение да-

леко от истины. В действительности уровень налогообложения оставался почти неизменным, в то время как производительность крестьянского хозяйства заметно выросла. Следствием этого было то, что на руках у крестьян оставалась все большая доля прибыли [Smith, 1958, p. 3–19, 5–6, 8, 10].

Система налогообложения была невыгодна тем крестьянам, которые не могли увеличить доход со своей земли, и благоприятствовала тем, которые повышали производительность. Хотя подробности ее функционирования неясны, легко заметить, что система налогообложения, которая взимала фиксированный объем продукции с каждой фермы из года в год, вела к этому результату. Мы не знаем точно, как японские крестьяне распределяли налог, налагавшийся на деревню в целом, пропорционально помещичьей оценке урожая с каждого поля. Но есть достаточно серьезные подтверждения тому, что налоговая система поощряла рост производительности [Ibid., p. 4, 10–11]. Кроме того, нет никаких указаний на периодические перераспределения собственности и ее обременений, что имело место в русской деревне. Похоже, налоговая система и аграрная политика эпохи Токугава, реализованные без расчетливого плана правящим классом и самими крестьянами, были «ставкой на сильных».

Далее, структура японского общества как такового создавала определенные помехи для роста революционного потенциала среди крестьян. Некоторые из них также проявляются в том, как функционировала система налогообложения Токугава. Отделение воина от земли при первых правителях Токугава означало, что финансовые обязательства крестьянина по отношению к правительству приобрели вид скорее публичного правительственного налога, чем персонального обязательства перед своим господином. Баналитетов не было, а прежняя персональная барщина постепенно превратилась в общественные работы [Asakawa, 1910, p. 277]. Весьма вероятно, что эта видимость публичных обязательств облегчила крестьянину перенос лояльности с феодального сюзерена на современное государство, когда для этого пришло время в процессе реформы Мэйдзи.

Наряду с этими бюрократическими чертами, которые поставили режим Токугава над крестьянами в качестве безликого «правительства», он сохранил даже более важные феодальные и патерналистские особенности, позволявшие правящим воинам запускать руку в дела крестьянского сообщества.

Для повышения эффективности системы налогообложения и для патерналистского надзора за деревенской жизнью правители Токугава реанимировали древний китайский принцип сельского управления, известный как бао. В Китае этот способ разделения крестьянских домохо-

зайств на небольшие группы, принимавшие на себя ответственность за поведение своих членов, похоже, так никогда и не был особенно успешным. В Японии он был известен еще с великих заимствований из Китая в VII в., но оставался всего лишь древним пережитком к тому моменту, когда первые Токугава ухватились за него и насильственно вменили в обязанность для всего подвластного им сельского и городского населения. Асакава утверждает, что каждый житель деревни, независимо от должности и статуса, был зачислен в свою пятерку и что этот приказ был успешно выполнен. Обычно в пятерку входили пять глав соседних землевладельческих домохозяйств, а также их семьи, зависимые люди и арендаторы [Asakawa, 1910, p. 267]. Примерно с середины XVII в. распространился обычай принесения всей пятеркой торжественной клятвы выполнять указания господина, сохраняя их на практике как можно ближе к той форме, в которой они были даны [Ibid., p. 268].

Принцип разделения на пятерки был дополнен с помощью публичных прокламаций, вывешиваемых в деревнях на досках объявлений, которые призывали крестьян к хорошему поведению. Нередко в современных сочинениях можно встретить суждение, что японские крестьяне были настолько покорными власти, что одних этих публичных объявлений было чуть ли не достаточно для того, чтобы они жили в мире и порядке. Я хочу показать, что для подобной законопослушности, прерывавшейся периодами серьезных выступлений, были также иные, более значимые причины. Тем не менее на текст одного из этих сообщений стоит обратить внимание, поскольку оно может изменить мнение о «врожденной» законопослушности японских крестьян. Хотя в этом тексте середины XVII в. упоминается Будда, его тон совершенно конфуцианский:

Храни сыновнее почтение к родителям. Первый принцип сыновней почтительности — беречь свое здоровье. Родителям особенно приятно, если ты воздерживаешься от пьянства и драк, если любишь младшего брата и подчиняешься старшему. Если ты следуешь этому правилу, тебя благословят боги и Будда, ты пойдешь по верному пути и твоя земля будет приносить хороший урожай. Однако если ты будешь беззаботным и ленивым, ты обеднеешь и разоришься и в конце концов займешься воровством. Тогда тобой займется закон: тебя схватят, свяжут веревкой и посадят в клетку, а то даже и повесят! Если такое случится, какими несчастными будут твои родители! Твоя жена, твои дети и братья будут страдать из-за твоего преступления.

В продолжение этого увещевания говорится кое-что о материальном вознаграждении за хорошее поведение, а завершается текст следующим красноречивым призывом:

Жизнь крестьянина поистине самая безмятежная при условии, что он регулярно платит налоги. Поэтому никогда не забывай об этих наставлениях... (цит. по: [Takizawa, 1927, p. 118]).

С помощью пятерок, а также другими способами вся деревня вовлекалась в активный интерес к образу жизни каждого домохозяйства. Брак, усыновление, преемственность и наследование подвергались эффективному контролю. Ожидалось, что крестьяне присматривают друг за другом, исправляют поведение друг друга, разрешают споры по возможности путем взаимной договоренности. Крестьянам строжайше запрещалось иметь огнестрельное оружие, носить меч, изучать конфуцианские тексты или перенимать новые религиозные практики [Asakawa, 1910, p. 275].

Другим проводником правительственного контроля был деревенский староста. В большинстве деревень должность старосты переходила от отца к сыну вместе с семейным руководством либо удерживалась несколькими виднейшими семьями [Smith, 1959, p. 58]. Также было распространено назначение старосты господином или его представителем [Asakawa, 1911, p. 167]. Лишь в деревнях, затронутых коммерческими веяниями, где традиционная структура уже начала разрушаться, появляются выборные старосты [Smith, 1959, p. 58].

Помещик делал все возможное, чтобы возвысить и поддержать авторитет и власть старосты, главы небольшой олигархии, которой была японская деревня в эпоху Токугава. Главным образом власть старосты основывалась на манипуляциях общественным мнением в деревне. Вместо того чтобы противостоять этому мнению, в критические моменты староста мог принять сторону деревни вопреки воле господина, даже если последствием этого была верная смерть. Но такие случаи были исключением. В основном староста старался согласовать интересы помещика с интересами наиболее уважаемых крестьян через поиск консенсуса либо общей выгоды [Ibid., p. 59–60].

Японские деревни демонстрировали сильную потребность в единодушии, что заставляет вспомнить о русской «соборности». Личным делам придавался общественный характер, чтобы исключить возможность девиантного мнения или поведения. Поскольку любой секрет автоматически внушал подозрение, человек, имевший приватное дело с кем-либо из другой деревни, должен был вести его через своего старосту. Сплетни, остракизм и более серьезные санкции, такие как сход у дома провинившегося с битьем в горшки и кастрюли или даже изгнание (что означало разрыв крестьянина с человеческим обществом, скорую голодную смерть либо неизбежное столкновение с законом), — все это помогало поддерживать единообразие, по всей видимости намного более

гнетущее, чем любое из тех, которые проклинают современные западные интеллектуалы. Лишь после того, как староста изучал настроение сообщества путем тщательных консультаций с другими ведущими фигурами, он выражал собственное мнение по существенному вопросу. Крестьяне делали все возможное, чтобы избежать открытого конфликта мнений. Смит упоминает об одной деревне, где еще совсем недавно, после Второй мировой войны, деревенская община приватно собиралась накануне публичного собрания с тем, чтобы ее последующие решения стали единогласными. Подобным образом и староста в эпоху Токугава собирал вместе стороны, чтобы достичь компромисса в каком-нибудь межевом споре. Лишь после достижения компромисса и урегулирования проблемы он издавал свое «распоряжение» [Smith, 1959, p. 60–64].

Система налогообложения, наряду с мерами политического и социального контроля, которые ее поддерживали, была главным внешним источником солидарности в японской деревне. Кроме того, были не менее важные внутренние источники: прежде всего система экономической кооперации и тесно связанная с ней структура родственных обязательств и правил наследования.

Хотя не было никаких признаков наличия системы коллективной культивации, земля принадлежала деревне, которая сохраняла за своими жителями исключительное право возделывать ее [Ibid., p. 36]. Общинные земли обеспечивали крестьянские семьи топливом, фуражом, компостом и строительными материалами. В отличие от общинных земель в Европе они не были резервом, предназначенным в основном для поддержания беднейших крестьян, но подлежали эффективному контролю со стороны зажиточных домохозяйств [Ibid., p. 14, 41, 181–183]. Сходным образом распределение воды для орошения риса было решающим делом для всей деревни. Несмотря на важность вопросов ирригации, сами по себе они вряд ли были бы достаточны для создания солидарности, характерной для японской деревни. Мы видели, что деревенская ирригация в Китае не привела к возникновению сколько-нибудь заметной солидарности. Даже в эпоху Токугава японская культура возделывания риса требовала многочисленной и хорошо организованной рабочей силы для весеннего сева. Рис высаживали не прямо на поле, но сначала на специальных грядках, откуда рассада впоследствии пересаживалась. Чтобы не повредить молодые растения, пересадку нужно было выполнить за очень короткое время. Требовались огромные объемы воды для того, чтобы почва дошла до состояния густой пасты, пригодной для укоренения рассады. Поскольку требуемый объем воды можно было обеспечить лишь на несколько полей, приходилось орошать и засеивать поля одно за другим, чтобы сократить до немногих часов время, затрачиваемое на эту операцию на каждом поле. Для завершения пересадки в доступный

период времени требовалась рабочая сила, намного превышавшая ресурсы отдельной семьи¹⁸.

Японские крестьяне решали проблему нехватки рабочей силы, которая наиболее остро возникала при выращивании риса, хотя проявлялась и в случае других видов сельскохозяйственной продукции, с помощью системы родственных и наследственных связей, при необходимости расширяя ее посредством полуродственных или даже псевдородственных отношений. В большинстве деревень в XVII в. одно или два землевладения были гораздо крупнее прочих. Часть рабочей силы для них обеспечивалась через расширение принадлежности к семье за рамки, обычные для небольших хозяйств, посредством удержания в семье младшего поколения после заключения брака, а также родственников по побочным линиям. Там, где семейных ресурсов было недостаточно, что случалось нередко, владельцы крупных землевладений обычно прибегали к двум методам. Они предоставляли особым людям, звавшимся наго (помимо этого существовало множество локальных наименований), небольшие участки земли с отдельным жильем в обмен на рабочую силу. Другой метод состоял в использовании потомственных слуг (генин, также фудай), которые вместе со своими детьми оставались внутри семьи из поколения в поколение [Smith, 1959, p. 8–11].

Как мелкие арендаторы, так и потомственные слуги по большей части приспособлялись к образу жизни большого хозяйства, в котором трудились ветви исходной семьи. Экономические отношения тех и других были аналогичными по сути, если не по степени. Смит, наш главный авторитет в этом вопросе, предостерегает от того, чтобы считать мелких арендаторов отдельным классом. Они отличались лишь формально-юридически. Экономически и социально их позиция больше походила на положение родственников [Ibid., p. 46, 49].

Таким образом, японская деревня в досовременную эпоху была не кластером автономных фермерских единиц, но кластером взаимозависимых хозяйств, как крупных, так и мелких. Крупные землевладения обеспечивали общий фонд капитала в форме орудий труда, животных, семян, фуража, удобрений и т.д., на который периодически могли рассчитывать мелкие хозяйства. Взамен мелкие хозяйства поставляли рабочую силу [Ibid., p. 50]. Разделение капитала и рабочей силы в том, что касалось владения, и их воссоединение в производственном процессе демонстрируют некоторое сходство с устройством капиталистической индустрии. Исследование, выполненное на основе сотни деревенских реестров XVII в. со всех областей Японии, показывает, что в большин-

¹⁸ Эта сводка заимствована почти дословно из: [Smith, 1959, p. 50–51]. Многие из чисто теоретических проблем сохранились в сегодняшней Японии (см.: [Beardsley et al., 1959, ch. 7]).

стве деревень от 40 до 80% владельцев обрабатываемой земли не имели своего дома [Smith, 1959, p. 42]. И в то же время патерналистские и квазиродственные отношения между собственниками больших земельных владений и поставщиками рабочей силы помогали предотвращать классовые конфликты в деревне. Было бы сложно утверждать, что крупные земельные собственники обладали чем-то вроде монополии на власть, хотя система несомненно имела определенные эксплуататорские черты, — так, небольшие хозяйства обычно не могли выращивать рис на бедной почве, которая была им назначена [Ibid., p. 25–26]. В трудные времена крупным собственникам приходилось помогать своим менее удачливым подчиненным. Кроме того, право отказа в помощи в критическую пору сбора урожая риса должно было быть важной санкцией в руках тех, кто поставлял рабочую силу, даже если подобный отказ требовал серьезнейших оправданий в глазах деревенской общины [Ibid., p. 51].

Несколько замечаний о собственности и наследовании помогут завершить этот очерк деревенской жизни в досовременную эпоху. Как мы видели, мелкие арендаторы, многие из которых даже не имели своего дома, просто возделывали полоски земли, не имея возможности прокормить семью без обмена рабочей силы на другие ресурсы [Ibid., p. 48]. Если перейти теперь к крупным землевладельцам, мы понимаем, что, хотя собственность могла быть разделена между наследниками, должность главы семьи разделу не подлежала. Система наследования была несправедливой, общественное мнение было настроено против ненужной щедрости в отношении дальних родственников. Оправдание несправедливого раздела состояло в том, что требовалось снять с основной семьи обязанность поддерживать «избыточных» родственников. Сохраняя большую часть земли и расселяя «избыточных» родственников на небольшие участки, основная семья могла обеспечить себе большой земельный надел и достаточно рабочей силы [Ibid., p. 37–40, 42–45].

Политические последствия подобного устройства крестьянской общины в последние годы Токугава представляются очевидными. Понятно, что отсутствие полномасштабной крестьянской революции в эти бурные времена нельзя считать следствием примерного равенства в земельной собственности. Скорее дело было в ряде взаимных обязательств между теми, кто не имел собственности, и теми, кто ее имел, что и помогло сохранить стабильность. Досовременная деревенская община в Японии по всем признакам была весьма мощным механизмом интеграции и контроля за жизнью отдельных людей, у которых могли возникнуть реальные или потенциальные причины для недовольства. Кроме того, формальные и неформальные каналы контроля между сюзереном и крестьянством, похоже, были весьма эффективными. С помощью ясных

и признанных процедур господин имел возможность продемонстрировать свою волю, а крестьяне имели возможность показать, в какой мере они готовы ему подчиниться. Складывается сильное впечатление, что общество эпохи Токугава, когда оно неплохо функционировало, состояло из серии нисходящих и расходящихся вширь цепочек авторитетных лидеров со своим кругом ближайших сторонников, связанных сверху донизу патриархальными и персональными узами, что позволяло тем, кто занимал руководящую позицию, понимать, до какого предела они могут усиливать нажим на своих подчиненных. Возможно, в таком порядке и было нечто специфически феодальное, однако этим отличается любая устойчивая иерархия.

Ключом к социальной структуре досовременной японской деревни был обмен труда на капитал, а также наоборот, при отсутствии безличного рыночного механизма посредством более личного механизма родства. Наступление рынка изменило эти отношения, хотя их следы сохраняются в позднейшей крестьянской общине в Японии, вплоть до настоящего времени. Наша следующая задача — проследить влияние рынка или вообще роста коммерческого сельского хозяйства и в особенности политических последствий этой трансформации, которая начала ощущаться еще в эпоху Токугава.

Вторая половина периода Токугава сопровождалась значительным улучшением сельскохозяйственных технологий. После 1700 г. начали появляться настоящие научные трактаты по сельскому хозяйству в замечательной параллели с процессами, одновременно проходившими в Англии. После нескольких ритуальных отсылок к конфуцианской доктрине гармонии с природой авторы этих трактатов тут же переходили к совершенно практическим вопросам улучшения того, что происходит в природе. Имеются ясные указания на то, что знание, изложенное в этих трактатах, проникало в крестьянскую среду. Основным мотивом, к которому обращались их авторы, был собственный интерес, но только не индивида, а всей семьи. Никто не апеллировал к понятиям благополучия общества или государства [Smith, 1959, p. 87–88, 92].

Сколько-нибудь подробное описание технических усовершенствований увело бы нас слишком далеко от нашей главной темы политических изменений. Достаточно упомянуть улучшения в ирригации, которые расширили использование риса-падди и дали прибавку в урожае, использование коммерческих удобрений вместо травы, которую собирали на горных склонах и втапывали в поля, и изобретение нового устройства для молотбы, которое, по слухам, молотило рис в десять раз быстрее, чем прежний метод [Ibid., p. 97–102]. Для нас самое важное, что все эти перемены в отличие от не менее впечатляющей революции в устройстве механизмов скорее увеличили, чем снизили общий объ-

ем рабочей силы, требуемой для японского сельского хозяйства. Хотя технические усовершенствования (коммерческие удобрения и новое устройство для молотбы) облегчили рабочую нагрузку в пиковые моменты посевной и сбора урожая, общая рабочая нагрузка не снизилась, поскольку японцы различными способами перешли к выращиванию двух урожаев. Пиковые рабочие нагрузки для нового урожая были, насколько возможно, смещены по времени с тем, чтобы они совпадали с периодом малой активности в работе над предыдущим урожаем. Таким образом, общий итог состоял в распределении большего объема работ более равномерным образом в течение года [Smith, 1959, p. 101–102, 142–143].

Отчасти из-за роста аграрного производства рыночный обмен товаров все более распространялся в сельских регионах. То же произошло с использованием денег, хотя деньги как таковые были известны задолго до этого: еще в XV в. корейский посол жаловался, что нищие и проститутки не берут ничего, кроме денег. В конце эпохи Токугава организованную рыночную торговлю, производившуюся с периодичностью раз в десять дней, можно было встретить в самых отдаленных и отсталых регионах [Ibid., p. 72–73]. Хотя есть указания на высокий уровень крестьянской самодостаточности, которая сохранялась долгое время и в эпоху Мэйдзи [Ibid., p. 72], ясно, что Япония, в отличие от Китая, еще в XVIII в. по собственной инициативе предприняла весьма существенные шаги для превращения в современное государство. Во многом различие сводится к рах Токугава, умиротворение которого разительно отличалось от хаоса, царившего в Китае при маньчжурской династии, к тому времени пребывавшей в упадке.

Тем временем в силу экономического прогресса традиционная система крупных землевладений с их сателлитами повсеместно сменялась семейными фермами и группировками по принципу помещик — арендатор. Фундаментальной причиной этого стало постепенное сокращение трудовых ресурсов на селе. Рост деревенской торговли и промышленности привел к тому, что собственникам крупных землевладений приходилось отдавать больше земли зависевшим от них мелким арендаторам для того, чтобы удерживать их на месте вопреки притяжению городов. Помимо этого, мелкие арендаторы (наго) находили все больше возможностей для того, чтобы заработать деньги руками и ремеслом. Наемный труд постепенно вытеснял прежние формы занятости. В качестве юридической категории, а постепенно и в качестве экономической и социальной реальности мелкий зависимый арендатор стал редкостью в сельской местности. К концу XIX в. от этого класса остались только воспоминания. Общая тенденция вела к подъему мелких зависимых арендаторов до статуса независимых семей, немногие из которых были

собственниками, а большинство — фермерами-арендаторами [Ibid., p. 33, 34, 83, 133, 134, 137].

Параллельный процесс привел к сходным результатам в случае наследных слуг — другого основного источника рабочей силы для крупных землевладельцев за пределами собственной семьи. Здесь также наступление рынка освободило деревенского рабочего от традиционных семейственных отношений, хотя его выгода от независимости была как максимум невелика. «Договор» найма нередко осложнялся долгами, которые могли по-прежнему держать бывшего слугу в подчинении в течение продолжительного периода времени. Тем не менее фундаментальное преимущество в спросе было на стороне рабочего. К концу эпохи Токугава наемный труд стал весьма распространенным. Спрос увеличил его цену и освободил рабочего от традиционных ограничений. Таким образом, постепенные улучшения в экономическом статусе бывшего мелкого арендатора и наследного слуги помогли ускорить развитие арендного фермерства [Ibid., p. 108–118, 120, 123].

К середине XVIII в. сдвиг в сторону арендного фермерства стал мощной тенденцией [Ibid., p. 5, 132]. Крупные помещики за полвека до этого уже осознали, что высокая стоимость рабочей силы в ее изменчивой форме сделала невозможным успешное управление обширными землевладениями. Рост стоимости рабочей силы продолжился в течение следующего столетия, а к середине XIX в. многие наемные рабочие, сообразившие, что могут прокормить свою семью, полагаясь исключительно на свои заработки, перестали активно работать на собственников земли, нередко исчезая без предупреждения именно тогда, когда в них больше всего нуждались. Эти условия благоприятствовали возникновению земельных наделов, предназначенных для одной семьи арендаторов, прежде бывших мелкими зависимыми собственниками земли [Ibid., p. 124, 127, 131–132]. После того как обширные единицы землевладения были разделены на более практичные мелкие, которые возделывали фермеры-арендаторы, крупным землевладельцам удалось сохранить и в некоторых случаях даже увеличить доходы с земли. Теперь арендаторам приходилось нести растущее бремя расходов на удобрение почв и другие формы культивации, чего они могли достичь двумя способами: вести более скромный образ жизни либо увеличить свой доход с помощью ремесла, поскольку начался рост торговли и промышленности [Ibid., p. 127–131].

Итоговым результатом стало не исчезновение крупных землевладений, но изменение методов их эксплуатации — произошел переход от системы, основанной на семье, к системе, основанной на аренде. Единица обработки уменьшилась, единица собственности, как правило, возросла. Собственники не только не избавились от крупных землевладений, как считал Смит, но, напротив, весьма расширили их, когда до-

гадались, как решить свои проблемы посредством арендаторов [Smith, 1959, р. 126, 131, 141]. Патерналистские отношения сменились потенциально конфликтными отношениями помещика и арендатора, ведь класс помещиков возник по большей части из крестьянства, а не из аристократии после возникновения коммерческого фермерства. Новые проблемы, ставшие результатом этих отношений, как мы знаем, в течение долгого времени играли роковую роль в судьбе Японии.

Как можно было предвидеть на основании опыта других стран, новые коммерческие отношения создали тенденцию к концентрации земли в руках меньшего числа собственников и к уничтожению прежних семейственных отношений внутри крестьянской общины [Ibid., р. 145–146, 149, 157–163]. Значительный факт, касающийся Японии, состоит, однако, в том, что эти тенденции не продвинулись достаточно далеко. После развития арендного фермерства в качестве решения проблем коммерческого сельского хозяйства отношения собственности претерпели лишь незначительные изменения на протяжении почти целого века. Несмотря на некоторые признаки возможной экспроприации собственности крестьянства, этого не случилось. Со своей стороны крестьянство не восстало с целью экспроприации собственности господствующего класса японского общества. Тем не менее к середине XIX в. вторжение коммерческих отношений в сельское хозяйство создало опасную ситуацию для старого режима и оставило серьезные проблемы в наследство правительству Мэйдзи.

Первые шаги Японии в направлении индустриального общества в первые годы Мэйдзи были знакомыми мерами, призванными извлечь больше ресурсов из подвластного населения. Как и в Советской России, в основном японские крестьяне заплатили за то, что марксисты называют первоначальным накоплением капитала, собиранием достаточного капитала для совершения скачка из аграрного в индустриальное общество. Но во многом благодаря иным условиям, в которых провели тогда индустриализацию, японский опыт оказался почти противоположным советскому.

Новое правительство нуждалось в регулярном и надежном источнике доходов. Принятый в 1873 г. земельный налог был сознательно выбранной мерой, пожалуй единственно возможной экономически и политически в данных обстоятельствах. Крестьяне обеспечивали правительству большую часть доходов¹⁹. Поэтому когда правительство предприняло большинство первоначальных шагов в сторону индустриализации — с тем, чтобы переложить расходы на частных собственников в течение не-

¹⁹ Согласно Смиту (р. 25), около 78% регулярных доходов правительства в 1868–1880 гг. поступало с земельного налога [Smith, 1955, р. 25, 73–82].

скольких лет, — именно крестьяне заплатили за первые этапы промышленного роста.

Однако, по мнению современных авторитетов, земельный налог Мэйдзи не предполагал увеличения поборов в сравнении с эпохой Токугава. Новое правительство просто перенаправило деньги по новым каналам, преуспев с модернизацией без снижения стандартов жизни в деревне [Ibid., p. 111]. Это оказалось возможным благодаря продолжавшемуся росту производительности в сельском хозяйстве, как и при Токугава²⁰. Рост продолжался на протяжении большей части японской истории, рассматриваемой в этой книге. По оценкам, в период с 1880 по 1940 г. урожаи удвоились [Dore, 1959, p. 19]. Нужно с осторожностью относиться к оптимистичным выводам о шансах неревolutionционного способа индустриализации, сделанным на основании этих фактов. Япония — так же, как и другие страны — заплатила цену за провал модернизации своей аграрной структуры, когда японские войска маршировали по Китаю, а японские бомбы падали на американские корабли.

Непосредственным экономическим эффектом для крестьян стало усиление определенных тенденций, которые проявились еще при Токугава. Для уплаты земельного налога крестьянину приходилось копить наличные деньги и, как следствие, попадать во все большую зависимость от превратностей рынка и услуг деревенского ростовщика, которым нередко становился ведущий землевладелец в деревне. У многих крестьян возникли долги, и они потеряли свои фермы. Масштаб этого явления — предмет спора специалистов. Хотя новый режим гарантировал крестьянам права собственности, в реальных условиях «маленький человек» часто терпел неудачу, поскольку он мог полагаться лишь на свою память и устную традицию, тогда как «закон» — в лице деревенского старосты либо чиновника — обычно занимал сторону крупного землевладельца²¹. Все эти факторы работали на усиление позиций помещика за счет арендатора и мелкого собственника.

Они также являлись продолжением традиционной ставки на сильного и трезвого, что могло быть одной из причин того, почему провалилось сопротивление этим мерам со стороны крестьян²². Законы Мэйдзи и влияние

²⁰ Некоторые данные см.: [Morris, 1956, p. 361–362].

²¹ Больше сомнений в том, что крестьяне также пострадали от упадка японских национальных промыслов и ремесел. Актуальная точка зрения сводится к тому, что, несмотря на серьезные перемены, новые предметы экспорта, а именно чай, шелк и рис, более чем компенсировали эти потери. Ср.: [Smith, 1955, p. 26–31; Morris, 1956, p. 366].

²² См.: [Norman, 1940, p. 138–144] и критику Нормана [Morris, 1956, p. 357–370]. Нарисованная Норманом картина крестьянских бедствий из-за незащищенности перед рынком, вероятно, утрирована, но я скептически

экономических факторов не привели к окончательной утрате крестьянами прав собственности, несмотря на некоторые тенденции в этом направлении. В целом итогом было противоположное: усиление и легитимация помещика, а также легитимация прав собственности крестьянина на свой участок земли в форме аренды или владения. Большого исхода крестьян в город не случилось, как и значительной консолидации или увеличения единицы обрабатываемой земли [Norman, 1940, p. 149, 153].

Политика правительства Мэйдзи была консервативной в том смысле, что оно не намеревалось отказываться от власти в пользу какого-либо иного класса. В то же время современные специалисты нередко замечают, что она была революционной в том смысле, что разрушала феодальные различия и стремилась включить крестьян в консервативный политический организм. Довольно важным шагом в этом направлении стало принятие закона о призыве в армию (1872–1873)²³. Другим важным шагом стало введение системы всеобщего обязательного образования, о чем было объявлено в императорском рескрипте 1890 г. К 1894 г. 61,7% детей посещали начальную школу, а вскоре после этого, в начале столетия, — все дети соответствующего возраста. В дополнение к элементарным навыкам чтения и письма японские дети получали в школе солидные порции патриотического воспитания [Scalapino, 1953, p. 195–198]. Таким образом, эти революционные особенности составляли часть правительственной политики по заимствованию с Запада тех черт европейской цивилизации, которые, на взгляд образованного японца, требовались для создания сильного национального государства. Противоречия между революционными и консервативными мероприятиями скорее видимость, чем реальность. Естественно, среди японских лидеров было много жарких споров о том, что именно необходимо для достижения этой цели. Возникла даже небольшая группа поклонников

отношусь к статистическим данным, которые Моррис использует для демонстрации, что проблем практически не было. Его расчеты покоятся на двух сомнительных гипотезах: 1) что рост урожайности, как и прежде, был неоднозначным (p. 362) и 2) что денежная экономика к этому времени уже полностью развернулась в деревне (этому допущению противоречат наблюдения современников (p. 360, 364)). Как отмечено ниже, Норман в конечном счете признает, что массовых экспроприаций собственности крестьян не было.

²³ В целом по этому вопросу см.: [Norman, 1943]. Это наиболее поучительная монография, хотя, как указывает Сансом во введении (p. xi), назвать крестьянские выступления конца эпохи Токугава и начала эпохи Мэйдзи «нарастающей антифеодальной и демократической революцией», для обуздания которой была введена всеобщая воинская повинность, — это значит приписывать этим восстаниям такие политические цели, наличие которых не подтверждается свидетельствами.

самого по себе западного образа жизни. Тем не менее ошибочно было бы придавать слишком большое значение этим спорам и противоречиям. Чтобы превратиться в независимую современную нацию, Японии требовалось население, которое может читать и писать по крайней мере на уровне, необходимом для овладения современной техникой, а также армия, которая может вести войну с врагами за рубежом и поддерживать мир внутри страны. Подобную политику вряд ли можно было назвать революционной.

В итоге политика Мэйдзи свелась к использованию крестьянства в качестве ресурса для накопления капитала. В свою очередь, для этого требовалось еще больше открыть крестьянскую экономику для коммерческого влияния и компенсировать возникающие при этом противоречия через включение крестьян в единый политический организм. Ликвидация феодализма сверху была не столько самостоятельной целью или политикой, сколько средством для достижения других целей.

Анализируя процесс в целом, можно установить яснее и конкретнее, почему он не сопровождался революционным подъемом. Непрерывный рост сельскохозяйственного производства был жизненно важен для того, чтобы переход оказался посильным. Конечно, сам по себе рост требует какого-то объяснения, но этот вопрос лучше отложить до следующего раздела. Одним из следствий этого роста было то, что в городах не случилось большого голода, порождающего плебейских союзников крестьянского радикализма, как это случилось на пике Французской революции. В городах не было и серьезного антифеодального движения буржуазии, к которому могли бы присоединиться более умеренные крестьянские требования по свержению старого порядка. Наступление рынка привело на практике к появлению земельной собственности у беднейших слоев крестьян, хотя бы на правах аренды. Реальное владение более крупным участком земли, чем в прежние времена, могло стать стабилизирующим фактором.

Ставка новых помещиков в нарождающемся капитализме, если кратко, была достаточно очевидной. По большей части эта группа возникла из класса зажиточных крестьян, который приобрел большое значение к закату эпохи Токугава и, по мнению некоторых историков, внес важный вклад в движение Реставрации. После превращения в помещиков сегмент крестьянской элиты можно было отключить от активного участия в политике и сделать политически безопасным. Кроме того, многие из них имели коммерческие интересы и не противились серьезному реформированию старого порядка. Но в целом зажиточные крестьяне не хотели ломать олигархическую систему японской деревни, чьим главным бенефициаром они являлись. Как только при правлении Мэйдзи бедные крестьяне и арендаторы стали выдвигать радикальные требования,

зажиточные крестьяне отвернулись от них²⁴. Таким образом, японское деревенское общество в этой исторической ситуации имело важные внутренние ограничения в отношении любого серьезного выступления против капитализма и новых социальных веяний.

Помимо ограничений в отношении антикапиталистических «эксцессов», на этом этапе оставались также важные помехи для антифеодальных сил. Здесь достаточно важным оказалось проникновение феодального влияния в японскую деревню через пятерочную систему взаимной слежки с особой ролью деревенского старосты. Эти ограничители антифеодального влияния могли привести к опасной концентрации недовольства, что, очевидно, случалось в некоторых областях, где феодальные влияния, объединившись с новыми коммерческими элементами, оставили крестьян со всем худшим, что свойственно обоим мирам, с репрессивной комбинацией, которой не было на главной базе Имперского движения (княжество Тёсю).

Конфликт между феодальной системой, все еще обладавшей значительной жизнеспособностью, и коммерческими элементами, постоянно расшатывавшими ее, обеспечивал правительству Мэйдзи пространство для маневра. Если самураи при случае оказывались во главе крестьянских восстаний, они, конечно, представляли опасность. Но в целом Мэйдзи с помощью армии, набранной из крестьянских рекрутов, удалось использовать в своих интересах антифеодальные чувства — как показывает подавление Сацумского восстания, самой большой угрозы, с которой столкнулось новое правительство. Хотя ситуация порой внушала тревогу, правительство, используя противоречия между своими врагами и союзниками, сумело выжить и укрепить свою власть.

Сомнительно, что иностранная угроза всерьез занимала умы крестьян, но она играла существенную роль в ходе событий и внесла вклад в их консервативный итог. Революционные силы в японском обществе сами по себе были слишком слабы для того, чтобы убрать все препятствия с пути модернизации. Но они смогли обеспечить некоторую базу для поддержки подобных мероприятий, когда правительству потребовалось прибегнуть к ним ради сохранения власти через создание сильного государства.

3. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МЭЙДЗИ: НОВЫЕ ПОМЕЩИКИ И КАПИТАЛИЗМ

Для правящего класса эпоха Мэйдзи (1868–1912) также означала совместное использование феодальных и капиталистических элементов

²⁴ Проницательный анализ роли зажиточного крестьянства до и после Реставрации см.: [Smith, 1960].

с целью создания сильного современного государства. Мы сфокусируемся на политическом значении факта замены феодального сюзерена помещиком-капиталистом, причем ее начало отмечалось еще при Токугава. Необходимо выделить это изменение в общем контексте адаптации правящего класса к современному миру, а также те пределы, в которых новые социальные формации заменяли прежние господствующие группы. Для чего нужно провести четкое различие между высшей аристократией, или даймё, и простыми самураями.

Все ведущие историки единодушны в том, что так называемое урегулирование счетов с даймё, произведенное правительством Мэйдзи в 1876 г., оказалось непростительно щедрым. Эта мера, как мы видели, обеспечила новому правительству лояльность даймё, лишив последних исходной экономической базы. В то же время такая мера не позволила ряду великих князей присоединиться к господствующей финансовой олигархии. Приобретенные таким образом фонды сыграли важную роль в развитии капиталистической индустрии [Norman, 1940, p. 911; Reischauer, 1939, p. 68]. К 1880 г. свыше 44% капитала национальных банков принадлежало новым пэрам, в основном бывшим даймё, и членам императорского двора (кугэ) [Norman, 1940, p. 100]. Приобщившихся к торговле, промышленности и банковской деятельности было немного, но они пользовались большим влиянием. Теперь новая прослойка получила возможность отодвинуть в сторону прежний торговый класс, тогда как в эпоху Токугава эти новые пэры были вынуждены пользоваться его услугами [Scalapino, 1953, p. 93].

Другие занялись сельским хозяйством. За счет обращенных в капитал пенсий они смогли задешево приобрести обширные участки правительственных земель в Хоккайдо и превратиться в крупнейших помещиков [Norman, 1940, p. 99]. Но таких было очень мало. Итогом политики Токугава и «урегулирования счетов» в эпоху Мэйдзи стал переход Японии в современный мир при отсутствии многочисленной группы влиятельных аристократов-помещиков. Строго говоря, после 1880 г. в Японии не было класса крупных юнкеров (при множестве мелких) и никакой замены тем «высоким дубам» (по выражению Э. Бёрка), которые бы своей тенью осеняли рисовые поля. Практически благодаря одному росчерку пера их коллеги, в любом случае малочисленные, перенесли на век вперед, встав на один уровень с английскими угольными и пивными баронами. Окружение императора в конце XIX в. состояло из бывших лордов, превращенных в капиталистов после обмена феодальных привилегий, немногочисленных старых торговых семей, а также процветающих новых, возвышавшихся над остальными. Тем временем в сельской местности возникал многочисленный новый высший класс землевладельцев, о котором вскоре пойдет речь. Любопытно, что они

сами называли себя «средним классом» нового японского общества [Smith, 1960, p. 98].

К 1872 г. среди прежнего класса землевладельцев даймё было очень мало, всего 268 человек. В то же время самураев было достаточно много, едва ли не 2 млн человек, что составляло от 5 до 6% населения в 1870 г.²⁵ Судьба этих людей сложилась менее счастливо, а для существенной части самураев — откровенно неудачно. Режим Мэйдзи отменил их социальные, экономические и политические привилегии. Поскольку в 1880 г. самураям принадлежала почти третья часть капитала национальных банков [Norman, 1940, p. 100], утверждение, будто их финансовые требования к правительству получили символическую компенсацию, кажется чересчур поспешным [Smith, 1955, p. 31]. Их совокупный доход с облигаций, полученных в 1876 г., составлял, по оценкам, около трети стоимости выплат за рис, которые они получали в конце периода Токугава [Ibid., p. 32].

Сколько бы представители высших кругов ни восхищались идеями Герберта Спенсера, правительство не могло позволить себе сидеть сложа руки и дожидаться, пока самураи спасут себя сами из своего трудного положения либо вымрут от голода. В любом случае правительство не могло объявить это своей публичной политикой. Не могло оно и позволить себе выплачивать самураям постоянное пособие. По предположению Смита, во многом желание правительства провести программу индустриализации объясняется необходимостью сделать что-то для самураев [Ibid., p. 33–34]. Правительство предприняло также некоторые специфические меры, например оно поощряло сельскохозяйственную мелиорацию, производимую самураями, и предлагало займы для того, чтобы склонить их к занятию бизнесом. По мнению исследователя, подробно изучившего эти меры, властям не удалось обеспечить реальное решение проблемы [Harootunian, 1960, p. 435, 443–444].

Хотя надежность наших источников оставляет желать большего, похоже, что большинство самураев не нашло для себя спасительной гавани в мире бизнеса. Конечно, некоторые из них весьма преуспели, приобретая влияние в бизнесе и политике. Многие пробивали себе дорогу как могли, не гнушаясь ни единой лазейкой в социальной структуре, становясь среди прочего полицейскими констеблями, армейскими офицерами, учителями, адвокатами, журналистами, даже рикшами и вооруженными [Norman, 1940, p. 75 (n. 70); Scalapino, 1953, p. 95 (n. 3)]. Ключ к их судьбе можно найти в сочинениях современного им политического теоретика (Уэки Эмори), который протестовал против имущественного

²⁵ См.: [Norman, 1940, p. 81], с отсылкой к японским источникам. Другой источник [Taeuber, 1958, p. 28] сообщает: «регистрационная сводка 1886 г. показывает, что 5% всего населения составляли знать, самураи или члены семей из этих групп», но не приводит точных цифр.

ценза для избирателей и кандидатов на выборные должности, поскольку эти требования были невыполнимы для большинства самураев — класса, по его мнению, лучше всего подходившего для политической жизни [Ike, 1950, p. 131, 134].

ТАБЛИЦА 1. Выплаты по земельному налогу в Японии в 1887 г.

	Общее количество, человек	Количество выплачивающих налог на землю в 10 иен, человек	Доля числа налого- плательщиков
Бывшие самураи	1 954 669	35 926	0,018
Простые люди	37 105 091	846 370	0,023

ИСТОЧНИК: Рассчитано по [La Mazelière, 1907, vol. 5, p. 135–136]. На основании одних только цифр можно предположить, что низкий процент бывших самураев, плативших земельный налог в 10 иен, объясняется тем, что многие из них платили *большую* сумму. Но другие сведения противоречат этому.

В земледелии успехи самураев были едва ли лучше, чем в бизнесе. Большинство из тех, кто взял свои облигации и попытался стать фермером, обнаружили, что не могут составить конкуренцию крестьянам [Smith, 1955, p. 32]. Хотя в течение XIX в. было несколько крупномасштабных фермерских экспериментов, осуществленных энтузиастами из числа бывших самураев, побывавших на Западе, большинство из них провалилось [Dore, 1959, p. 18; Harootunian, 1960, p. 435–439]. Последующие сведения об их судьбе можно извлечь из некоторых цифр по земельному налогу в 1887 г. (см. табл. 1), где также представлена информация об общем числе бывших самураев (сидзоку) и простых людей (хеймины) спустя почти 20 лет после Реставрации. Очевидно, количество людей, претендовавших на статус бывшего самурая, не претерпело существенного снижения, поскольку ранее оно составляло около 2 млн.

Неудача большинства самураев в сельском хозяйстве и промышленности — это еще не конец истории. При Токугава даймё были не единственными землевладельцами. Высшие круги самураев также владели княжествами²⁶. Мне не удалось установить количество этих собственников и размер принадлежавшей им земли в конце эпохи Токугава.

²⁶ См.: [La Mazelière, 1907, vol. 5, p. 108–109], где перечисляются, помимо даймё, несколько разрядов воинской знати, которым принадлежала земля. Крэйг [Craig, 1959, p. 190] констатирует, что один самурай владел княжеством в 16 тыс. коку, превосходившим владения многих даймё.

Вероятно, ни то, ни другое не могло быть значительным. Нам ничего не известно об их экспроприации при «урегулировании счетов» в эпоху Реставрации. Предположительно эта небольшая группа сохранилась в эпоху Мэйдзи, став частью новой аграрной элиты. Еще одну связь с прошлым составляли императорские домены.

С учетом этих ограничений можно заключить, что Япония вошла в современную эпоху без системы крупных поместий, унаследованных с феодальных времен. Существенное неравенство, проявившееся в последующий период, объясняется иными причинами. Класс современных японских помещиков, похоже, вышел по большей части из крестьянства в результате изменений, которые начали происходить в крестьянской экономике в эпоху Токугава. Еще этот режим предпринял важнейший шаг по направлению к современному обществу, лишив большой сегмент правящего класса прямых связей с землей, что рано или поздно произошло во всех промышленно развитых странах. В этих важных отношениях японское общество встало на современный путь с меньшим наследием аграрной эпохи, чем Англия и Германия.

Первые реформы Мэйдзи устранили последние феодальные барьеры для развития коммерческих отношений в сельском хозяйстве. Производительность сельского хозяйства, увеличивавшаяся в конце периода Токугава, продолжала расти. Между 1880 и 1914 г. деревня сумела почти полностью обеспечить растущий спрос на рис, вызванный увеличением населения. Импорт продуктов питания и напитков накануне 1914 г. в целом составил меньшую долю общего импорта, чем в начале 1880-х годов. Этот успех лишь отчасти объясняется увеличением обрабатываемых площадей. Главной причиной стало усовершенствование сельскохозяйственных технологий и более интенсивная культивация [Allen, 1946, p. 57–58, 88]²⁷. Однако помехой для широкого использования машинной техники в течение долгого времени был атомизированный характер сельского хозяйства в Японии (как и в Китае, где преобладали небольшие крестьянские хозяйства); впервые такая возможность появилась только после Второй мировой войны.

В то же время коммерческие влияния укреплялись, поскольку японское сельское хозяйство постепенно выходило на мировой рынок. В начале 1880-х годов основными предметами экспорта из Японии были шелк-сырец, чай и рис, среди которых шелк-сырец имел намного большее значение [Ibid., p. 87]²⁸. Реформа налоговой системы в 1873 г. еще

²⁷ Другие красноречивые статистические измерения и дискуссии см.: [Ohkawa, Rosovsky, 1960, p. 43–67].

²⁸ См. p. 306–308 в связи с последствиями упадка сельского хозяйства для крестьян.

сильнее поощрила распространение коммерческих отношений. Для уплаты новых налогов землевладельцы должны были продавать рис [Norman, 1940, p. 161].

После того как барьеры для продажи земли были устранены, произошли многочисленные акты купли-продажи с тенденцией к концентрации земельной собственности в руках ограниченного круга собственников. Однако в отличие от Англии в Японии не было широкого процесса экспроприации крестьянства, в результате которого крестьян вытеснили в города и возникли крупные капиталистические поместья. Вместо этого в условиях японского общества поток коммерциализации усилил прежние тенденции к созданию системы, в которую входили помещики (по западным меркам в основном мелкие), арендаторы и независимые собственники.

Между Реставрацией Мэйдзи и завершением Первой мировой войны японское сельское хозяйство достигло того, что можно справедливо рассматривать как пример успешной адаптации к требованиям современного индустриального общества, — успешной по крайней мере в строго экономическом смысле. После войны обозначились некоторые внутренние недостатки. В данный момент им можно не уделять внимания, хотя необходимо помнить о том, что они входили в цену предшествующего успеха. Успех адаптации был выдающимся достижением, поскольку его удалось достичь без какой-либо революции, мирной или насильственной, в аграрных социальных отношениях. Того же самого на протяжении вот уже полутора десятилетий безуспешно пытается добиться Индия, поэтому нам стоит подробнее остановиться на причинах японского успеха. Некоторые цифры помогут получить грубое представление о его масштабе. Около 1955 г. урожайность в Индии была примерно на уровне Японии 1868–1878 гг. и составляла 60–70 бушелей риса с гектара, причем нижняя оценка кажется более вероятной. К 1902 г. урожайность в Японии превышала 74 бушеля риса с гектара, к 1917 г. приблизилась к 90, в итоге она почти удвоилась при постоянном росте на протяжении больше полувека [Ohkawa, Rosovsky, 1960, p. 45 (table 1), 65].

Еще один образец статистической информации проливает свет на то, как японцы создали свою раннюю версию экономического чуда. Помещик взимал существенную часть ренты натурой и продавал плоды крестьянского труда — если верить статистике, от 58 до 68% урожая в 1878–1917 гг. [Ibid., p. 52 (table 6)]. Помещику были нужны либо желательны наличные деньги. Способ их получения очевиден: помещик использовал различные виды правовых и социальных механизмов для того, чтобы забирать рис у крестьян и продавать его на рынке.

Подробности относительно роли помещика в принуждении крестьян к более интенсивному и эффективному труду не совсем понятны.

Согласно Роналду Дору, новые японские помещики, многие из которых происходили из крестьян, убеждали своих арендаторов применять технические усовершенствования, что значительно повысило урожайность [Dore, 1960]. Несмотря на мое уважение к мнению профессора Дора, я сильно сомневаюсь, что помещик регулярно принимал в этом активное участие. По другому поводу сам профессор Дор отмечает, что крестьяне придавали большое значение усовершенствованиям по собственному разумению. Помещики также могли возвращать часть своих доходов арендаторам ради поощрения их к применению прогрессивных технологий. Размер возвращенной таким образом доли прибыли вряд ли можно точно оценить, свидетельства в этом случае становятся ненадежными и расплывчатыми, что позволяет предположить, что он был невелик. Тем не менее даже этого могло хватить для того, чтобы внести решающий вклад. При отсутствии стимулов арендаторы, как пишут, оставались глухи к наставлениям о том, как увеличить урожайность [Ohkawa, Rosovsky, 1960, p. 52 (n. 15); Dore, 1960, p. 81–82].

Даже если прогресс не продвигался без экономических стимулов, их самих по себе было бы недостаточно для полного объяснения. Представления о том, как повысить урожайность, имели шанс дойти до крестьян на рисовых полях благодаря специфической структуре крестьянской общины.

Как мы видели, в отличие от индийской или китайской крестьянской общины, японская крестьянская община была тесно связанным сообществом, в то же время довольно открытым для влияний со стороны помещика. Существовали проверенные институциональные пути, через которые призыв к инновациям сверху мог дойти до крестьян и вызвать ответную реакцию в том случае, если эти требования не заходили слишком далеко. Этот момент заслуживает особого внимания. Как замечает Дор, «...большую часть роста урожайности можно отнести на счет усиленного применения промышленных удобрений, иначе говоря, не на счет инноваций, а на счет того, что фермеры занимались, хотя и в большем объеме, тем же, чем большинство из них занималось и раньше» [Dore, 1960, p. 89]²⁹.

Когда система землевладения была уничтожена, некоторые ее важнейшие черты сохранились в неизменном виде вплоть до (и, вероятно, даже во время) Второй мировой войны. Так, в 1903 г. 44,5% пахотной земли возделывалось арендаторами, в то время как в 1938 г. этот показатель равнялся 46,5%, без значительных колебаний в промежутке [Takekoshi, 1937, p. 118; Nasu, 1941, p. 11 (table 15)]. Сколько-нибудь значительных

²⁹ См. также p. 77–78 про использование традиционной социальной структуры.

изменений не наблюдается также в размерах владений и распределении земельной собственности. Похоже, в 1910 г. около 73% собственников, имевших не более одного тё земли, в сумме владели не более чем 23% всей земли, в то время как меньше 1% собственников владели почти пятой частью всей земли. К 1938 г. концентрация собственности несколько усилилась: около 74% собственников, имевших не более одного тё, в сумме владели одной четвертой всей земли, а около 1% собственников владели чуть более одной четвертой земли [Nasu, 1941, p. 11 (table 13, 14)]³⁰.

Наступление капитализма определенно не революционизировало и не разрушило японское сельское хозяйство. Наш источник скорее говорит, что вслед за первоначальным жестким шоком последовал длительный период равновесия. Помещик был ключевой фигурой в новой системе. Кем он был в широком социальном и политическом смысле? Термин «помещик» охватывает слишком широкое поле, хотя характер источника вынуждает его использовать³¹. Этот термин включает всех: от человека, едва ли отличимого по статусу от крестьянина, до одного из четырех богачей, владевших более чем по 1000 тё (около 2450 акров) земли. Авторитетный специалист сообщает, что «помещику» для обеспечения своего социального положения, необходимо было иметь в собственности около 5 тё земли. Непосредственно перед американской земельной реформой было около 28 тыс. хозяйств, которые сдавали внаем более чем по 5 тё земли. Из них 3 тыс. были по-настоящему крупными землевладельцами, у каждого из которых в собственности находилось более 50 тё [Dore, 1959, p. 29].

Если неспециалист попытается постичь политическое значение помещика как ключевой фигуры деревенского мира при новом режиме, поначалу он скорее всего будет в недоумении. Свидетельство, на котором строится пока мое рассуждение, рисует фигуру, аналогичную предпринимчивому английскому помещику конца XVIII в., энергичному и открытому для новых экономических возможностей. В литературе также встречалась несколько более древняя традиция, подчеркивавшая паразитический аспект перехода к капитализму [Nasu, 1941, p. 130–131; Norman, 1940, p. 150–151]. Хотя обе интерпретации можно согласовать, как я покажу чуть ниже, для начала будет неплохо рассмотреть аргумент о паразитической адаптации.

³⁰ Итоговые числа в этих таблицах подсчитаны некорректно в нескольких рядах, поэтому на них можно полагаться только для грубой оценки.

³¹ Краткий обзор проблемы критики радикальной традиции, которая до последнего времени господствовала в большинстве японских и западных сочинений, см: [Dore, 1959a].

Суть аргумента проста и привлекает внимание к важным аспектам положения помещика. В политических и экономических обстоятельствах, созданных Реставрацией Мэйдзи, многим японским помещикам не требовалось становиться деревенскими капиталистами, экспериментирующими с новыми технологиями. На протяжении времени давление роста населения на землю привело к росту арендной платы. В Японии, как и в Китае, были ясные признаки того, что рост населения предшествовал по времени влиянию Запада. Косвенное свидетельство предполагает увеличение почти до 40% в течение XVII в., т.е. после установления мира и порядка при сёгунате Токугава [Taeuber, 1958, p. 20]. Выгоды от мира и порядка не распространялись равномерно по всем слоям общества. Как в доиндустриальные, так и в новые времена японский «избыток» населения был «избытком» по отношению к специфической исторической ситуации, из которой господствующие классы извлекали огромную прибыль. С течением времени также и промышленники получили прибыль от того, как большие резервы рабочей силы в деревне снижали оплату труда в городе.

Другими словами, политические факторы играли роль в создании нового помещика и «избытка» населения, являвшегося его опорой. Поскольку процесс был постепенным, едва ли удивительно, что историки разных направлений спорят о дате, когда этот паразитизм стал очевидным. К 1915 г. в любом случае помещики-паразиты господствовали в сельской местности, по свидетельству наблюдательного английского путешественника Скотта [Scott, 1922, p. 261]³². Здесь я прибавлю лишь то, что, похоже, было ранними формами более важных политических вех.

Пересмотр земельного налога в 1873 г. установил права собственности помещика, зачастую в противоречии с интересами крестьянина [Norman, 1940, p. 138–139]. Сама по себе гарантия собственности была необходимым, но очевидно недостаточным условием для появления паразитирующего рантье. Перемена в земельном законе в 1884 г., согласно некоторым интерпретациям, была решающей, поскольку она зафиксировала земельный налог в период длительной инфляции. Один из главных расходов помещика оставался неизменным, в то время как его доходы увеличивались с ростом спроса на продовольствие и общим подъемом экономики. Дальнейший симптом изменений можно усмотреть в деятельности помещиков в Либеральной партии в первую сессию парламента в 1890 г. В это время помещики хотели сократить земельный налог и для достижения этой цели были готовы принести в жертву сельскохозяйственные субсидии, которые помогли бы больше сельскому хозяйству, чем помещикам [Dore, 1959a, p. 351, 352].

³² Автор посетил многие части деревенской Японии во время Первой мировой войны.

Спорный вопрос, удалось ли новому рантье выжать бо́льшую прибыль из крестьянского труда, чем его феодальному предшественнику. Излишек, который он извлекал, — это впечатляющее свидетельство эффективности того, как новый режим обслуживал интересы помещика. Если современный ученый принимается за исправление прежних ошибочных впечатлений о тяготах, которым капитализм подверг японских тружеников, то масштаб поддержки режимом интересов помещиков он узнает, когда подсчитает, что помещик забирал от трех пятых до двух третьих физического продукта земли между 1873 и 1885 гг. [Morris, 1956, p. 359 (table 2)].

Разрозненная информация о ситуации в последующее время указывает, что институциональные изменения, которые произошли, не были фундаментальными. Примерно к 1937 г. японские помещики продавали 85% своего урожая, который они получали в основном как выплаты натурой у своих арендаторов. Если мерить деньгами, то арендная плата за рисовые поля выросла больше чем на 50% в годы после Первой мировой войны [Ladejinsky, 1937, p. 431, 435]. При системе, господствовавшей между мировыми войнами, арендатор отдавал половину своего урожая помещику. Все, что получал арендатор взамен, — это право пользования землей, поскольку обеспечивал весь капитал [Ibid., p. 435]. После 1929 г. законодатели пытались провести закон об аренде. Некоторые несущественные улучшения были предприняты. Но помещики могли заблокировать любые реальные реформы [Ibid., p. 443–444]. Хотя мы должны будем подробнее рассмотреть политические последствия аграрной ситуации ниже, можно заметить, какого типа аргументацию разработали японские помещики для защиты своих интересов. По сути, как можно было ожидать, это была апелляция к националистическим традициям ради отрицания реального конфликта экономических интересов — один из основных ингредиентов фашизма. Следующее обращение, выпущенное Японской ассоциацией землевладельцев в 1926 г., показывает, как имперский и самурайский блеск обслуживал конкретные экономические интересы, а также насколько легко могло произойти превращение в фашистскую демагогию.

Вспоминая великие традиции нашей нации, где суверен и подданные образуют единое целое, и размышляя о славной истории нашего национального развития в прошлом, позвольте нам подчеркнуть гармонию в отношениях между капиталом и трудом, особенно искусственный мир между землевладельцами и фермерами-арендаторами, и таким образом внести вклад в развитие наших сельскохозяйственных деревень. Что за дьяволы разжигают пламя вражды без причины и подстрекают к классовой борьбе, внушая фермерам-арендаторам враждебность против землевладельцев?

Если не положить конец этим злым замыслам, что станет с нашей нацией? ...Поэтому мы решительно настроены на сотрудничество с теми, кто придерживается той же точки зрения, ради пробуждения общественного мнения и установления более подходящей национальной политики (цит. по: [Ladejinsky, 1937, p. 441–442]).

Этот документ ясно показывает, что в процессе адаптации высших деревенских классов к росту торговли и промышленности возникает и репрессивный компонент. Я настаиваю, что именно это было важно, а не просто помещичий паразитизм. С этой позиции исчезает проблема источников, повествующих об энергии, амбициях и экономическом импульсе³³. Разговоры о психологической устремленности к успехам бессмысленны, если не знать, как эта устремленность себя проявляет. Японское общество конца XIX в. вполне могло породить свой вариант предприимчивого помещика, так поражавшего воображение иностранцев в Англии XVIII в. Однако в Японии совершенно иным было отношение помещика к государству. Британский эсквайр использовал государственный механизм для устранения крестьян-собственников и поддержания определенного числа арендаторов. Японский эсквайр не сгонял крестьян с земли, он использовал государственный аппарат, наряду с менее формальными рычагами, унаследованными от прежних времен, для выжимания из крестьян арендной платы и для продажи их продукции на открытом рынке. Поэтому, рассуждая социологически, он стоял намного ближе к благородному капиталисту из Тулузы XVIII в., чем к английскому джентльмену.

Но сравнение с французскими событиями представляется незаслуженным. Во Франции XVIII в. все эти изменения оставались частью прогрессивного в интеллектуальном и социальном смысле движения. В Японии наступление современного мира привело к увеличению урожайности в сельском хозяйстве вследствие появления класса мелких собственников, которые вымогали у крестьян рис, сочетая для этой цели капиталистические и феодальные механизмы. Большинство крестьян существовали на грани физического выживания, пусть даже им и не приходилось периодически переходить эту черту, как случалось во время массового голода в Китае и Индии. Что внес в японское сообщество новый класс помещиков? Насколько можно судить по источникам, этот класс не создал своей художественной культуры, не обеспечил спо-

³³ В связи с этим следует отметить: [Smith, 1960, p. 102–105], где автор доказывает, что вклад помещичьего класса был больше соответствующей доли бизнес-сословия, потому что у помещиков были средства для воспитания своих детей, вера в добродетели упорного труда и желание подниматься вверх по социальной лестнице.

койствия сельской жизни по образцу прежних правителей, и вообще едва ли создал что-то большее, чем благочестивые протофашистские настроения. Класс, больше всех рассуждающий о своем вкладе в общество, нередко становится угрозой для цивилизации.

Высший класс землевладельцев, который не был сам по себе авангардом экономического прогресса и который потому полагался на существенную дозу репрессий для поддержания своей социальной позиции, в современную эпоху сталкивается с неприятной задачей урегулировать свои отношения с агентами капиталистического прогресса в городах. Там, где, как в Японии, буржуазный импульс был слаб, лидеры капиталистов приветствовали помощь консервативных помещиков в наведении порядка и стабильности. Но на практике это означало, что капиталистические элементы были недостаточно сильны, чтобы по своей воле ввести новые формы репрессий. Когда Реставрация Мэйдзи открыла путь в новый мир, городские коммерческие классы были слишком сильно связаны прежней корпоративной системой и слишком близоруки для того, чтобы воспользоваться открывающимися перспективами. Однако все-таки кое-кто усмотрел прекрасный шанс среди временных трудностей, и так, благодаря прозорливости, впоследствии возникли наиболее важные и влиятельные коммерческие синдикаты в Японии, известные как дзайбацу.

В ранний период Мэйдзи главный импульс экономического роста, по крайней мере формально, исходил от правительства, теперь сосредоточенного в руках нового крыла аграрного нобилитета, и от разобщенных усилий умелых и энергичных самураев, которые при Токугава находились в невыгодном положении. Бизнес продолжал оставаться в зависимой позиции. Экономически он опирался на правительство, которое поощряло бизнес отчасти ради того, чтобы у Японии была достаточная современная база для борьбы с иноземным влиянием (с расчетом на последующие завоевания), а также ради обеспечения работой непокорных крестьян³⁴. Поэтому с началом современной эпохи возникает союз

³⁴ См.: [Smith, 1955, p. 31], где подчеркивается последний пункт. Лозунг «Богатая страна — сильная армия» ясно показывает характер и перспективы экономической реформы, националистические черты которой подчеркиваются в: [Brown, 1955, ch. 5]. Зарубежная экспансия с самого начала жила в умах ключевых лидеров правительства. Как отмечено выше, вопрос, который должен был бы обсуждаться в первую очередь, — это альтернатива: или реформа, или завоевание. В 1871 г. Аритомо Ямагата, один из основателей современной японской армии, сказал Сайго, лидеру радикальной самурайской фракции, что время еще не пришло: «Наша армия сегодня в процессе реорганизации; но примерно через год основания военной системы будут заложены, после чего уже не будет препятствий для отправки войск на континент» [Ike, 1950, p. 51].

аграрных и коммерческих кругов, ставивший своей целью умиротворение населения внутри страны и блестящие военные завоевания за ее пределами.

Даже в последующие десятилетия эпохи Мэйдзи бизнес-сообщество оставалось социально и политически подчиненным правившей элите, культурно укорененной в аграрном прошлом, хотя экономически уже соприкасавшейся с миром современной промышленности. Социальная стигматизация бизнеса не прекращалась: к государственному чиновнику бизнесмен по-прежнему обращался с почтением и оправданиями. Уклоняясь от публичной политики, деловые люди вовлекались в эффективную частную политику. Нередко коррупция становилась тем механизмом, который примирял интересы политики и бизнеса. Тем не менее, выступая против аристократического презрения к торговле, бизнесмены благоразумно избегали открытой вражды и укрепляли свои отношения с властью [Scalapino, 1953, p. 251, 253, 258, 262].

Однако лишь после того, как Первая мировая война расчистила путь для промышленного роста, японский капитализм смог по-настоящему развернуться. В 1913–1920 гг. производство прокатной стали подскочило с 255 до 533 тыс. т. Электрические мощности также более чем удвоились за тот же период, увеличившись с 504 до 1214 тыс. кВт [Allen, 1946, p. 107]. Даже после этого рывка национальная промышленность не достигла уровня Германии, Англии и Соединенных Штатов. В период между мировыми войнами японскую экономику можно охарактеризовать как систему небольших фабрик, по-прежнему в основном крестьянское и ремесленное производство, в котором доминирующее положение занимали несколько крупных фирм, чье влияние прямо или косвенно проникало почти в каждый японский дом (ср.: [Ike, 1950, p. 212]). Дзайбацу достигли зенита власти в 1929 г. накануне депрессии. Раздавая займы, оказывая технические консультации и влияя на рынок, они распространяли свое могущество на самых мелких производителей сельскохозяйственных продуктов и небольшие предприятия [Allen, 1946, p. 128].

Главный практический вопрос, вносивший раздор в отношения промышленников и аграриев на протяжении большей части современной эпохи, был связан с ценой на рис. Промышленникам требовался дешевый рис для питания рабочих, поэтому они давили на правительство с целью недопущения высоких субсидий на его производство, наибольшую выгоду из которых извлекали помещики [Dore, 1959, p. 99]. Хотя урожай риса на единицу обрабатываемой земли и общее производство неизменно росли, с начала XX в. Японии не удавалось производить его в достаточном количестве для того, чтобы прокормить население страны, поэтому приходилось обращаться к импорту. После 1925 г. импорт составлял от одной шестой до одной пятой внутреннего производства.

Несмотря на ввоз риса из-за рубежа, его потребление на душу населения постоянно снижалось [Allen, 1946, p. 201 (table 10)]³⁵. Краткосрочные успехи эпохи Мэйдзи стали к этому времени обнаруживать свою сомнительную сторону.

Другим предметом для споров было налогообложение. В 1923 г. капиталисты даже потребовали отменить налоги на промышленность, но аграрные круги воспротивились этому проекту [Tanin, Yohan, 1934, p. 137]³⁶. В 1932 г. вновь в парламенте состоялась битва «между сторонниками ренты и прибыли» по поводу объемов программы финансирования фермеров, — этот вопрос особенно остро встал в период депрессии, обрушившейся в то время на японскую промышленность и сельское хозяйство. Бизнес победил. Итогом, по крайней мере краткосрочным, стало усиление противоречий в расшатанном союзе помещиков и промышленников, контролировавшем японскую политику [Ibid., p. 155–157].

Эти конфликты проясняют важные структурные различия между германским и японским обществом на ранней фазе модернизации. В Японии не было аналога немецкой юнкерской элиты конца XIX в., здесь также не было ни открытого соглашения, аналогичного знаменитому «союзу ржи и стали», ни договора, увязывающего морскую экспансию, выгодную промышленникам, с тарифами на зерно, выгодными аграриям, ставшего в 1901 г. кульминацией этого союза в Германии. Вместо этого, как мы видели, увеличился импорт риса, хотя нужно заметить, что большая его часть доставлялась из регионов, находившихся под прямым политическим контролем Японии. Еще одним следствием различий в социальной структуре было то, что антикапиталистический радикализм, или псевдорадикализм, правых с сильной базой среди мелких деревенских помещиков был главным элементом японской версии фашизма, тогда как в Германии он играл второстепенную роль.

Конфликты между японскими промышленными и аграрными кругами следует рассматривать в должной перспективе. Силы, разделявшие промышленников и помещиков, были не менее важными, чем те, что сближали их. Как мы увидим в следующем разделе, в момент кризиса антикапиталистический радикализм пришлось принести в жертву. В принципе проведенные Мэйдзи земельные реформы и программа индустриализации сводили вместе интересы аграриев и промышленников. Внутри страны их объединяла общая угроза, которую представляло

³⁵ Цифры здесь приведены только до 1937 г. Согласно [Ohkawa, Rosovsky, 1960, p. 54 (table 8), 57 (table 12)], эти тенденции продолжались по крайней мере до 1942 г.

³⁶ Это перевод советского издания, сравнительно недогоматичного, которое заслуживает серьезного рассмотрения. Его главный недостаток — ничем не обеспеченный оптимизм по поводу «обострения классовой борьбы».

для их экономических и политических элит любое успешное народное движение. По отношению к внешнему миру они держались сообща под угрозой иностранного раздела страны или повторения судьбы Индии и Китая, а также объединенные перспективой захвата зарубежных рынков и военной славой. Когда промышленность окрепла настолько, что обеспечила Японию средствами для активной внешней политики, последствия этой комбинации стали более очевидными и опасными.

Уместно спросить, почему бизнес и аграрии не могли прийти к соглашению хотя бы по программе внутренних репрессий и внешней экспансии. Возможно, имелись и другие варианты совместных действий. Я допускаю такой вариант, хотя существовал риск политического самоубийства. Поднять уровень жизни крестьян и рабочих, создать внутренний рынок — все это было опасной инициативой, с точки зрения высших классов. Она несла угрозу эксплуататорскому патернализму, на который опиралась их власть на фабрике и который был одним из основных механизмов получения прибыли. Для помещиков последствия были бы еще более серьезными. Преуспевающее крестьянство в подлинной политической демократии лишило бы их ренты. В свою очередь, это означало бы ликвидацию всего сословия.

К этому объяснению главных черт японского варианта тоталитаризма некоторые исследователи хотели бы добавить фактор традиционализма японской системы ценностей, в частности воинскую традицию самураев. Конечно, определенная преемственность имела место. Но необходимо объяснить, почему традиция сохранялась. Чувства людей не сохраняются по инерции. Каждому новому поколению внушаются те или иные ценности, которые поддерживают и делают их более или менее осмысленными и приемлемыми определенные социальные структуры. Сам по себе воинский дух не предполагал ничего из того, что в течение XX в. толкало Японию на путь зарубежной экспансии и внутренних репрессий. Победа клана Токугава в 1600 г. стала закатом феодального воинства. В течение трех столетий сёгунам удавалось без больших проблем удерживать в повиновении хваленый дух воинов, смягчая его крепость затишьем и роскошью. Когда Япония затеяла империалистические игры, вначале из интереса, отчасти из самозащиты (например, во время Японо-китайской войны 1894–1895 гг.), а под конец всерьез, традиции самураев и культ императора обеспечили для описанной выше конstellации интересов рационализацию и легитимацию.

Внутренние репрессии и зарубежная агрессия в самом общем смысле стали главными следствиями разрыва с аграрной системой и подъема промышленности в Японии. Не претендуя на подробное изложение политической истории, можно теперь чуть более конкретно рассмотреть политические итоги.

4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: ПРИРОДА ЯПОНСКОГО ФАШИЗМА

Для наших целей политическую историю современной Японии в период после Реставрации можно разделить на три основных этапа. Первый, характеризующийся провалом аграрного либерализма, завершился в 1889 г. принятием формальной конституции и введением некоторых внешних атрибутов парламентской демократии. Второй заканчивается после неудачи демократических сил преодолеть препоны, возведенные этой системой, — это становится вполне очевидно с наступлением Великой депрессии в начале 1930-х годов. Неудача 1930-х годов дает начало новому этапу военной экономики и японской версии правого тоталитарного режима. Очевидно, такое деление содержит элемент произвола. Но оно выполнит свое предназначение, если позволит обратить внимание на ключевые события.

Как читатель, возможно, помнит, «либеральное» движение возникло из феодальной и шовинистской реакции самураев, разочарованных итогами Реставрации Мэйдзи. Вопреки такому происхождению, движение все-таки может претендовать на имя либерального, поскольку оно требовало более широкого участия общества в политике через дискуссии и голосование, чем было готово допустить правительство Мэйдзи.

Экономически эта группа, объединенная лозунгом «Свобода и права народа», из которой возникла Либеральная партия (Дзюкюто), по-видимому, выросла из выступлений мелких помещиков против господства аристократической и финансовой олигархии Мэйдзи. Норман возводит их либеральные устремления к тому факту, что многие помещики в 1870-х годах одновременно были мелкими торговыми капиталистами, производителями sake, соевой пасты и т.п. [Norman, 1940, p. 169–170]. Я отношусь скорее скептически к надуманной связи между пивоварней и демократией и считаю это тем редким случаем, когда Норман некритически применяет европейские аналогии и марксистские категории. Поражение японского демократического движения в 1870–1880-х годах было не в том, что слабый класс капиталистов бросился в объятия феодальной аристократии, поскольку нуждался в ней для защиты от рабочих, обменяв, по словам Маркса, право властвовать на право зарабатывать. Япония не была Германией, по крайней мере на тот момент.

Национальная проблема, если взглянуть на нее с позиции правительства Мэйдзи, состояла в примирении высших аграрных классов с новым порядком [Ike, 1950, p. 173]. Правительство хотело развивать торговый флот, военные поставки и тяжелую индустрию, но все это означало увеличение налогов на землю. Поэтому на первом собрании Дзюкюто в 1881 г. был высказан протест против налогов, направленных на увеличение расходов на флот [Scalapino, 1953, p. 101]. Поскольку эта группа осо-

знавала, что главные плоды Реставрации пожинают другие, в особенности те, кто были вхожи в правительство, она стремилась расширить базу своих сторонников, рассчитывая даже на крестьян. Но как только помещики обнаружили, что радикальные требования крестьян противостоят интересам землевладельцев, Дзюто распалась и потерпела неудачу. Эта левая по меркам своего времени партия была распущена в 1884 г., так и не став по-настоящему радикальной группой, что в то время было практически невозможно.

Так завершился первый японский проект организованного политического либерализма. Движение возникло в среде помещиков, которые предали его сразу же, как только осознали, что оно вызывает волнения среди крестьян. Таким образом, вопреки утверждениям ряда авторов, оно никак не могло быть попыткой, пусть и неполноценной, со стороны городских коммерческих классов приблизиться к «буржуазной демократии» [Scalapino, 1953, p. 96–107; Ike, 1950, p. 68–71, 88–89, 107–110].

Во время краткого периода «либерального» оживления правительство Мэйдзи без колебания применяло репрессивные меры. Уже в 1880 г., как только появились признаки зарождения политических партий, вышло постановление, в котором говорилось, что «никакая политическая ассоциация... не имеет права призывать на свои лекции или дебаты, убеждать людей вступать в свои ряды через своих представителей или выпускать агитационные проспекты и вступать в общение с другими подобными обществами» (цит. по: [Scalapino, 1953, p. 65]). Правда, последующая деятельность Дзюто показывает, что контроль за соблюдением этого закона отсутствовал. С точки зрения правительства, крестьянские бунты 1884–1885 гг. были куда важнее. Хотя, как мы видели, некоторые из этих выступлений приобрели характер маленькой гражданской войны, они плохо координировались и вскоре потерпели неудачу. Опираясь на новую полицию и регулярную армию, правительство оказалось способно подавить их без большого труда [Ike, 1950, ch. 14].

В 1885 г., на следующий год после роспуска Дзюто, экономические условия начали улучшаться. Казалось, время на стороне правительства. Тем не менее когда появились признаки оживления политической активности, правительство попыталось еще раз погасить пламя посредством печально известного «Закона о поддержании мира» от 25 декабря 1887 г., составленного в том числе начальником столичного бюро полиции под контролем генерала Аритомо Ямагата, наиболее влиятельной фигуры периода окончания правления Мэйдзи. Основное положение этого закона позволяло полиции удалять всякого живущего в радиусе семи миль от императорского дворца по обвинению в «планировании угрозы для общественного порядка». Воспользовавшись этим, генерал Ямагата насильно удалил из центра около 500 человек, включая почти всех лидеров

оппозиции. Перед этой операцией полиция получила секретное указание уничтожать всех, кто окажет сопротивление. Несмотря на это, по крайней мере один важный лидер оппозиции, Сёдзиро Гото, продолжал выступать с речами по всем сельским регионам, и в итоге он замолчал после того, как ему был предложен пост министра связи через несколько дней после опубликования конституции [Ike, 1950, p. 181, 185–187].

Главная черта правительственной стратегии, таким образом, проясняется. Это было сочетание прямых полицейских репрессий, экономической политики, направленной на смягчение некоторых очагов недовольства без ослабления позиций правящей группы, и, наконец, обезглавливания оппозиции через предложение ее лидерам привлекательных постов в администрации Мэйдзи. За исключением разве что некоторых стилистических особенностей в деталях реализации или в риторике публичных заявлений, в этой политике не было ничего специфически связанного с японской культурой. Ее содержание, очевидно, то же самое, что ожидается от любого рационально мыслящего консервативного правителя в сходных обстоятельствах.

Некоторое время эта политика была успешной. Вряд ли она могла противостоять какой-нибудь энергичной и объединенной оппозиции, решительно добивающейся модернизации общества демократическими средствами — так сказать, на английский манер. Однако такая оппозиция едва ли могла появиться в специфических условиях японского общества той поры. Промышленный рабочий класс находился в зачаточном состоянии; крестьяне, хотя и являлись опорой оппозиции, были относительно слабыми и разобщенными; коммерческие классы едва высвободились из-под опеки феодальной аристократии. Конституция, дарованная сверху в 1889 г., отразила этот баланс социальных сил. Скрепив его печатью имперской легитимности, она помогла зафиксировать и продлить его существование.

Нет нужды подробно описывать всю внутреннюю политику вплоть до Первой мировой войны. Хорошо известно, что парламентский контроль над финансовыми расходами при новой конституции был строго ограничен. Армия обладала необычайной мощью, но ее доступ к трону объяснялся ее сильными позициями в японском обществе, а не наличием автономного центра власти. В итоге правительство ушло в отставку не потому, что проиграло выборы, итогами которых можно было манипулировать, но в результате утраты к нему доверия со стороны важных сегментов национальной элиты: аристократов, бюрократов и военных [Scalapino, 1953, p. 206; Reischauer, 1939, p. 98]. Отставка Ито в 1901 г. ознаменовала закат гражданского крыла олигархии. А после его убийства в 1909 г. в японской политике вплоть до своей смерти в 1922 г. доминировал солдат Ямагата [Reischauer, 1939, p. 121, 125].

Для наших целей более интересны некоторые интеллектуальные течения, привлёкшие внимание помещиков, когда рассеялся их умеренный энтузиазм по поводу парламентского правления. Движение, известное как нохонсюги (буквально «сельское хозяйство — это основа»), популярность которого сохранялась вплоть до 1914 г., было любопытным сочетанием синтоистского национализма, веры в уникальность исторической миссии Японии, а также, как сказали бы на Западе, физиократических воззрений. Существенной в этом сочетании была «мистическая вера в духовные ценности сельской жизни и ...дидактический акцент на красотах японской семейной системы и патернализма, на добродетелях бережливости, благочестия, упорного труда, смирения и преданности своему долгу, которые составляли традиционное учение патерналистской помещицкой дидактики» [Dore, 1959, p. 56–57].

Патриотическое воспевание крестьянских добродетелей, в особенности тех из них, которые были выгодны высшим классам землевладельцев, — это характерная черта аграрных обществ, столкнувшихся с натиском капитализма. В Японии сохранение важности аграрного вопроса в период индустриализации сделало этот реакционный патриотизм более востребованным, чем в других странах. Нохонсюги представляло собой лишь одну фазу более широкого движения, предтечи которого обнаруживаются среди ведущих мыслителей эпохи Токугава. К его историческим последствиям относятся деятельность приверженцев движения «Молодые офицеры», убийства и попытка государственного переворота, которая внесла вклад в подготовку тоталитарного режима в 1930-х годах [Ibid., p. 57].

В первые десятилетия эры Мэйдзи движение нохонсюги, несмотря на его веру в уникальность Японии, сыграло некоторую роль в организации крупномасштабного капиталистического фермерства в стране. Как мы видели, эти усилия закончились провалом в основном потому, что японским помещикам было выгоднее сдавать землю в аренду мелкими долями, чем обрабатывать ее самостоятельно [Ibid., p. 58–59].

Отношение движения к крестьянству было более важным, хотя никаких конкретных результатов также не последовало, поскольку эти процессы затерялись на фоне общего бюрократического и индустриального настроения после Первой мировой войны. Любое сокращение числа мелких фермеров — даже тех, что имели жалкую половину тё земли, — отвергалось с порога. «Декан» идеологов нохонсюги в 1914 г. эмоционально выступал против деморализации, распространяющейся по сельской местности, поскольку крестьяне начинают покупать лимонад, зонтики и сабо, а молодежь начинает носить шляпы как у Шерлока Холмса. Сегодня мы воспринимаем с иронией эту японскую версию полковника Блимпа. Но у правительства и промышленников были достаточные

причины для поддержки таких идей. Они считали, что стабильные крестьянские семьи поставляли верных солдат и служили надежной защитой от подрывной деятельности. Большое количество таких семей позволяло ограничивать рост зарплат, что, в свою очередь, стимулировало экспорт и облегчало создание индустриальной базы в Японии [Dore, 1959, p. 60–62].

Приведенные факты еще раз говорят о том, что материальные интересы были связаны с аграрными и промышленными. Для таких совокупных интересов движение нохонсюги, в своей умеренной версии едва ли отличимое от «нормального» японского патриотизма и культа императора, обеспечивало пригодную легитимацию и рационализацию. В свете актуальной тенденции воспринимать эти идеи всерьез необходимо вновь подчеркнуть, что они были всего лишь рационализацией [Benedict, 1946]³⁷. Их влияние на политику оказалось ничтожным. Когда пришло время сделать что-то конкретное для блага крестьян и арендаторов, являвшихся основным субъектом сентиментального морализаторства, помещичьи круги в парламенте довольно быстро преградили этому путь. Гражданский кодекс 1898 г. давал защиту арендаторам по важным вопросам, но в сферу его применения попадал лишь 1% арендуемой земли. По заключению Дора, «подавляющее большинство простых арендаторов не имело никакой защиты» [Dore, 1959, p. 64].

В результате Первой мировой войны баланс сил в японском обществе изменился в ущерб деревенской элите. Война стала периодом ускоренного роста промышленности, а 1920-е годы стали кульминацией как в истории развития японской демократии, так и по степени влияния бизнеса на политику. Генерал Ямагата умер в 1922 г. За несколько лет после этого власть заметным образом перешла из рук военных к коммерческим классам и парламенту [Allen, 1946, p. 99]. Симптомом изменений в политическом климате стал тот факт, что после Вашингтонского договора о морском разоружении 1922 г. некоторые подконтрольные бизнесу газеты даже выступили с призывом «отстранить армию от политики» [Tanin, Yohan, 1934, p. 176]. Ряд исследователей считают, что влияние парламента достигло своего пика при ратификации Лондонского морского договора 1930 г. (см., напр.: [Colegrove, 1936, p. 13–14]). Вскоре после этого экономическая депрессия положила конец подобным надеждам.

Связь между развитием бизнеса и становлением парламентской демократии, а также между экономической депрессией и неудачей в установлении конституционной демократии была несомненно важной, но ею не исчерпывается суть этой ситуации. Депрессия просто стала *coup*

³⁷ Честно сказать, я относился к ним всерьез, лишь пока не занялся настоящим изучением японской истории.

de grace для структуры, которая и без того страдала от серьезных недостатков. Немногие избранные пользовались благами японского капитализма, но его темные стороны были очевидны почти всем³⁸. Капитализм еще не распределил свои материальные выгоды (а в тех условиях скорее всего и не мог это сделать) таким образом, чтобы обеспечить массовую народную поддержку капиталистической демократии. Хотя формы зависимости японского капитализма от государства менялись в разные исторические периоды, ему так никогда и не удалось освободиться от помощи государства, выступавшего покупателем продукции и защитником рынков. При капитализме отсутствие сильного внутреннего рынка включает механизмы самосохранения, поскольку бизнес открывает для себя иные возможности заработка. Наконец, возникнув в совершенно иных условиях, японский капитализм никогда не стал таким же стимулом для развития демократических идей, как европейские коммерческие и промышленные круги XIX в.

Во время этой относительно демократической фазы помещичьи круги, хотя и демонстрировали некоторые признаки упадка, сохранили свое политическое влияние и оставались фактором, с которым были вынуждены считаться коммерческие и промышленные группы. Вплоть до введения всеобщего избирательного права для мужчин в 1928 г. сельские помещики контролировали большинство голосов в обеих главных парламентских партиях [Scalapino, 1953, p. 183; Dore, 1959, p. 86]. Аграрные круги в 1920-е годы также играли активную роль в деятельности разнообразных протофашистских и антикапиталистических движений. В определенной мере правительственные чиновники поощряли эти движения и принимали в них участие, что в перспективе едва ли было обнадеживающим знаком. Однако в то время аграрный патриотический экстремизм все еще не был способен обеспечить себе значительную массовую поддержку [Scalapino, 1953, p. 353, 357, 360, 361].

Тем не менее патриотический экстремизм был важной политической силой даже в этот период. В первые годы после Первой мировой войны как сельский, так и городской радикализм порой переходили грань на-

³⁸ Западные исследователи Японии обходят стороной этот тезис. Те, с кем я обсуждал проблему, считают, что баланс между антидемократическими и демократическими потенциалами был даже еще более выровнен, чем здесь указано. Эта оценка, на мой взгляд, придает слишком большое значение разговорам и политической механике. Японии недоставало существенных необходимых условий для демократического прорыва: промышленного сектора, достаточная экономическая мощь которого, равномерно распределенная между его членами, могла бы позволить им действовать со значительной независимостью в отношении государства и других социальных формаций.

Тем не менее вопрос заслуживает тщательного изучения.

силія. Патриотические организации помогали бороться с забастовками арендаторов и рабочих, а наемные боевики громили офисы профсоюзов и либеральных газет [Reischauer, 1939, p. 138, 140]. Правительство ответило кампанией министра образования, направленной против «опасных умонастроений», адресатом которой в основном было студенчество. В апреле 1925 г. правительство провело «Закон о поддержании мира» (намного более конкретный, чем аналогичный закон от 1887 г.), согласно которому тюремное заключение ожидало всякого вступающего в сообщества, целью которых было изменение системы или отмена частной собственности. Этот закон впервые в Японии вводил политику массовых тюремных заключений [Ibid., p. 143–144].

Один эпизод 1923 г. хорошо иллюстрирует, как патриотический экстремизм отравлял политическую атмосферу той поры. Токийское землетрясение в сентябре этого года стало поводом для арестов тысяч жителей столицы, в основном социалистов. Капитан жандармерии собственными руками задушил видного пролетарского вождя, а также его жену и семилетнего племянника. Хотя чиновник по суду трибунала получил десять лет тюрьмы, экстремистские газеты называли его национальным героем [Ibid., p. 140–141]. По всей видимости, целый аппарат устрашения, отчасти подконтрольный правительству, отчасти дезорганизованный и «спонтанный», был необходим для репрессий против широких слоев населения, которое, по мнению ряда авторов, мыслило в духе «феодалской лояльности» к своему начальству.

Какой бы ни была парламентская демократия в Японии, Великая депрессия начала 1930-х годов нанесла ей сокрушительный удар. Однако это случилось не так драматично, как в Веймарской республике. В отличие от Германии в политической истории Японии намного сложнее провести резкую черту между демократической и тоталитарной фазами³⁹. Одна из пограничных линий, нередко используемых историками, — это оккупация Маньчжурии в 1931 г. Во внешней политике ей соответствует изменение позиции японского правительства на Лондонской морской конференции 1930 г. Во внутренней политике специалисты отмечают такие значимые события, ознаменовавшие окончание гегемонии политиков, как убийство премьер-министра Инукаи и попытка переворота, предпринятая правыми радикалами 15 мая 1932 г. [Ibid., p. 157; Scalapino, 1953, p. 143]. Убийство Инукаи весьма характерно для японской политики того времени, поэтому на нем стоит кратко остановиться.

В 1932 г. небольшая группа молодых крестьян, возглавляемая буддийским священником, поклялась уничтожить «правлящую клику», ответ-

³⁹ В Германии конец Веймарской республики наступил в 1932 г., когда прошли последние свободные выборы.

ственную за страдания японской деревни. Они составили список фигур из мира бизнеса и политики, и с помощью жеребьевки каждому члену группы досталась своя жертва. Прежде чем заговор раскрыли, были убиты бывший министр финансов Иноуэ (9 февраля) и барон Дан, генеральный директор Мицуи (5 марта). Банды молодых моряков и армейских кадетов были готовы продолжить выполнение этой задачи, и 15 мая 1932 г. они, по их заявлениям, «ради спасения Японии», нанесли удары по дзайбацу, политическим партиям и лицам, приближенным к трону. Одно подразделение смертельно ранило Инукаи, другие группы атаковали императорских чиновников, столичную полицию и Банк Японии [Scalapino, 1953, p. 369–370].

Этот эпизод стал началом периода полувоенной диктатуры, но пока еще не откровенного фашизма. Четыре года спустя, в 1936 г., в Японии прошли относительно свободные выборы. Крайне правые радикалы получили всего 400 тыс. голосов, или 6 мест в парламенте, тогда как Трудовая партия (Сякай тайсюто) удвоила свой результат и получила 18 мест в парламенте. Неожиданно больше всех голосов получила партия Минсэйто (4 456 250 голосов и 205 мест), одним из лозунгов которой было: «Выбор за вами: парламентское правительство или фашизм?» Конечно, итоги выборов не означали всенародной поддержки демократии: уровень абсентеизма был гораздо выше, чем обычно, особенно в городах, из чего можно сделать вывод о широко распространившемся недовольстве политикой и политиками. Одновременно выборы показали недостаточную электоральную поддержку патриотического радикализма.

На это группа военных ответила очередной попыткой переворота, которая получила в японской истории известность как «Инцидент 26 февраля» 1936 г. Несколько высших офицеров были убиты. Мятежники на три дня забаррикадировались в одном из районов столицы и публиковали памфлеты с разъяснением своих целей: уничтожение прежней правящей клики и спасение Японии при «новом режиме». Высшие армейские власти нехотя восстановили порядок силовыми методами. Революционеры сдались после личного приказа императора, назначения переговорщика, которому они доверяли, и впечатляющей демонстрации противостоявшей им силы. Таким образом Япония, если так можно выразиться, восстанавливалась от последствий одного из самых значительных внутренних кризисов, случившихся после Сацумского восстания [Ibid., p. 381–383].

События 26 февраля 1936 г. стали прелюдией к последующим политическим маневрам, на которых мы не будем останавливаться, и к введению тоталитарного фасада — все это произошло с 1938 по 1940 г. Согласно одному проницательному японскому исследованию, провал

переворота стал поражением для «фашизма снизу», т.е. для народного антикапиталистического правого движения, которое было принесено в жертву «фашизму сверху», или, так сказать, респектабельному фашизму, которому высшие правительственные чины придали полезные для себя черты, отказавшись от популярных элементов. После этого респектабельный фашизм стремительно развивался [Maruyama, 1963, p. 66–67]. Была объявлена всеобщая мобилизация, радикалы были арестованы, политические партии распущены и заменены «Ассоциацией помощи трону», которая являлась аналогом (пусть и менее эффективным) западных тоталитарных партий. Вскоре Япония присоединилась к антикоминтерновскому Тройственному союзу, в стране были распущены профсоюзы, на место которых пришли ассоциации «служения нации через промышленность» [Reischauer, 1939, p. 186; Scalapino, 1953, p. 388–389; Cohen, 1949, p. 30 (п. 62)]. В итоге к концу 1940 г. в Японии явно наблюдались главные внешние признаки европейского фашизма.

Как и в Германии, за тоталитарным фасадом скрывалась большая часть разнонаправленных усилий конкурирующих групп по интересам. В обеих странах правые радикалы так и не получили реальной власти, хотя в Японии для их обуздания не пришлось прибегать к кровавым чисткам. В отличие от Германии в Японии централизованный контроль над экономикой был скорее показным (подробнее см.: [Cohen, 1949, p. 58–59]).

Крупный японский капитал успешно сопротивлялся попыткам поставить свою выгоду на службу патриотизму. Весь период военной гегемонии и фашизма был чрезвычайно благоприятным для бизнеса. Промышленное производство выросло с 6 млрд иен в 1930 г. до 30 млрд иен в 1941 г. Относительные позиции легкой и тяжелой промышленности переменились. В 1930 г. вклад тяжелой промышленности в общее промышленное производство составлял только 38%; к 1942 г. ее доля была уже 73% [Ibid., p. 1]. Номинально предоставив контроль правительству, дзайбацу смогли добиться почти полного господства над всеми отраслями промышленности [Ibid., p. 59]. Совместный капитал четырех крупнейших компаний дзайбацу (Мицуи, Мицубиси, Сумитомо и Ясуда), в 1930 г. составлявший 875 млн иен, по окончании Второй мировой войны превышал 3 млрд иен [Ibid., p. 101]⁴⁰.

Для дзайбацу антикапитализм на практике оказался мелкой неприязнностью, которую они к тому же сумели преодолеть после 1936 г., — в целом это была ничтожная цена за политику внутренних репрессий и зарубежной экспансии, которая позволила предпринимателям попол-

⁴⁰ Более симпатизирующий взгляд на дзайбацу см.: [Lockwood, 1954, p. 563–571]. Однако мне не кажется, что приводимые здесь свидетельства обосновывают утверждение, что «в итоге дзайбацу стали жертвой системы, которую они помогли создать» (p. 564).

нить свою казну. Большому бизнесу фашизм, патриотизм, культ императора и военщины был выгоден в той же мере, в которой армия и патриоты нуждались в крупной промышленности для реализации своей политической программы. На это не обращали внимания аграрные радикалы, во всяком случае они не хотели это признать. В особенно безвыходном тупике оказались сторонники аграрной идеологии нохонсюги. В этих кругах распространилась радикальная анархистская культура и даже романтическая вера в эффективность индивидуального террора (примеры см.: [Storry, 1957, p. 96–100; Tsunoda et al., 1958, p. 769–784]). Они были настроены крайне враждебно по отношению к плутократии и старой военной элите, которую воспринимали как службу плутократии. Со своей стороны они не могли ничего противопоставить этому, кроме идеализированной версии японской крестьянской общины. Поскольку представления аграрных радикалов находились в явном противоречии с требованиями экспансионистской политики, осуществлявшейся современным промышленным обществом, более ортодоксальные элиты без труда оттеснили их в сторону, позаимствовав у них некоторые идеи ради обеспечения народной поддержки. Почти то же самое, правда более стремительно и насильственно, случилось в Германии после уничтожения радикальных нацистов в Кровавой чистке 1934 г.

В Японии внутренние пределы развития правого аграрного радикализма и безграничный культ императора лучше проявляются, если вкратце рассмотреть события с позиции армии. В 1920–1927 гг. около 30% новобранцев кадетских корпусов были сыновьями мелких землевладельцев, богатых фермеров и мелкой городской буржуазии. В это время встречались случаи, когда резервисты выступали на стороне крестьян в их спорах с помещиками [Tanin, Yohan, 1934, p. 180, 204]. Таким образом, к этому времени новая группа с новым социальным базисом и политической позицией начала занимать место старой, более аристократической армейской элиты. К 1930-м годам их главным представителем стал генерал Садао Араки, неутомимый поборник «независимости» от финансовых магнатов и придворных клик [Ibid., p. 182–183]. В согласии с этой радикальной позицией многие из них выступили против модернизации армии и новейших тенденций по экономическому планированию и освоению прогрессивных технологий [Crowley, 1962, p. 325]⁴¹. Непродолжительное время после 1932 г. высказывания Араки о поддержке сельского хозяйства вызывали замешательство среди промышленников. Однако уже на этом раннем этапе, обнаружив трудности, с которыми сталкивается его позиция, он быстро изменил

⁴¹ «Инцидент 26 февраля» стал решающим поражением для армейских радикалов.

свой тон и начал говорить о лености японского крестьянства в условиях деградирующего воздействия современных соблазнов [Tanin, Yoһan, 1934, p. 198–200]. Во время милитаристского бума 1930-х годов прибыль, получаемая промышленниками, вновь возмутила группу военных аграрного происхождения, что привело к отставке военного министра в 1940 г. [Cohen, 1949, p. 29]. Военные даже пытались организовать автономную оперативную базу в Маньчжурии, где армия, как они надеялись, будет свободна от влияния промышленных синдикатов. Маньчжурия оставалась в основном аграрной, пока командование Квантунской армии не признало неспособность индустриализовать эту область своими силами, после чего нехотя согласилось на участие предпринимателей. Оккупация Северного Китая началась только после того, как армия извлекла урок из этой ситуации, а необходимость в индустриальной помощи в Маньчжурии привела к более тесной кооперации между военным командованием и бизнес-кругами [Ibid., p. 37, 42].

Картина армии, избегающей современного мира, наглядно иллюстрирует нищету японской правой аграрной доктрины и ее неизбежную зависимость от поддержки большого бизнеса. Отказ от идеологии антикапитализма, хотя бы на практике, если не на словах, — такова была плата, которую большой бизнес сумел взыскать с аграрных и мелкобуржуазных патриотов за *modus vivendi* японского империализма.

В японской версии фашизма армия представляла несколько иные социальные силы и играла иную политическую роль, чем немецкая армия при Гитлере. В Германии армия была прибежищем для традиционной элиты, с неприязнью относившейся к нацистам. За исключением неудавшегося заговора против Гитлера в 1944 г., когда война была уже проиграна, армия в основном оставалась пассивным техническим инструментом в руках вождя. Генералы могли испытывать отвращение или ворчать о последствиях, но они выполняли приказания Гитлера. Японская армия была гораздо более чувствительной к влияниям, исходившим из деревни и от мелкого городского бизнеса, сопротивлявшегося дзайбацу. Различие можно возвести в целом к различию между японским и немецким обществами. Япония по сравнению с Германией была отсталой страной, ее аграрный сектор играл намного более важную роль. Поэтому японское военное руководство не могло просто так отмахнуться от его требований. По той же причине мы видим, что представители японской армии выходят на политическую арену и предпринимают *coups d'état*, что составляет отчетливый контраст с поведением немецких военных.

Японский фашизм отличался от немецкого и даже от итальянского еще в нескольких отношениях. Здесь не произошло стремительного захвата власти, полного разрыва с предшествующей конституционной демократией, не было и аналога Марша на Рим, отчасти потому что не было

и предшествующей демократической эпохи, сравнимой с Веймарской республикой. Фашизм возник в Японии намного «естественнее»; это значит, что в японских институтах для него нашлось намного больше родственных элементов, чем в Германии. В Японии не было народного фюрера или дуче. Роль национального символа такого рода исполнял император. Не было в Японии и реально эффективной единой массовой партии. «Ассоциация помощи трону» была скорее ее недостойной имитацией. Наконец, японское правительство не проводило политику массового террора и уничтожения, направленную против специфического сегмента подвластного населения, сравнимую с политикой Гитлера в отношении евреев. Эти различия также могут объясняться сравнительной отсталостью Японии. Проблема лояльности и покорности в Японии могла быть решена апелляцией к традиционным символам при поддержке судебного применения террора, который во многом мог опираться на «спонтанные» народные чувства. Секулярные и рационалистские течения, размывшие традиционные европейские верования на ранних стадиях индустриализации, были чужеродными для Японии и никогда не имели глубоких корней. Большая часть их исходной силы была растратчена на их родине к тому времени, когда японский индустриальный рост набрал скорость. Поэтому японцы, сталкиваясь как с экономическими проблемами индустриального роста, так и с политическими проблемами, сопровождавшими этот рост, были вынуждены опираться в основном на традиционные элементы своей культуры и социальной структуры.

Если осознать все эти различия, то сходства между немецким и японским фашизмом сохраняют свои фундаментальные черты. Обе страны вступили в индустриальный мир на поздней стадии. В обеих странах возникли режимы, чьей главной политикой стали внутренние репрессии и внешняя экспансия. В обоих случаях главным социальным базисом для этой программы была коалиция между коммерчески-индустриальными элитами (первоначально выступавшими со слабых позиций) и традиционными правящими аграрными классами, направленная против интересов крестьян и промышленных рабочих. Наконец, в обоих случаях из союза мелкой буржуазии и крестьян под натиском капитализма возникла разновидность правого радикализма. Этот правый радикализм в обеих странах обеспечил репрессивные режимы некоторыми лозунгами, но на практике был принесен в жертву из соображений выгоды и «эффективности».

Изучая развитие Японии по пути авторитаризма и фашизма, нам остается рассмотреть одну ключевую проблему: какова была роль крестьянства, если она вообще была сколько-нибудь заметной? Было ли крестьянство, как утверждают некоторые авторы, важной опорой фанатичного национализма и патриотизма?

Чтобы ответить на эти вопросы, полезно рассмотреть основные экономические факторы, оказавшие влияние на японских крестьян между Первой и Второй мировыми войнами. В стандартных описаниях сельской жизни в течение этого периода выделяются три момента. Первый — провал локальных попыток изменить арендную систему. Второй — возросшее значение шелка для деревенской экономики. Третий — воздействие Великой депрессии. В общем главная тенденция периода после эпохи Мэйдзи — это сдача позиций японского крестьянства под натиском мирового рынка.

Что касается арендной системы, здесь достаточно краткого замечания, поскольку основные черты рассматривались выше. Сразу после Первой мировой войны по сельской местности прокатилась волна споров между помещиками и арендаторами. В 1922 г. умеренные социалисты, активно участвовавшие в городском рабочем движении, организовали первый национальный союз арендаторов. Следующие пять лет были отмечены многочисленными конфликтами помещиков с арендаторами. Однако к 1928 г. волна столкновений стала терять свою силу, хотя, если верить статистике, в 1934 и 1935 гг. число споров только увеличилось. Потом, очевидно, это движение исчезает. Насколько мне удалось выяснить, причины такого исхода никогда не подвергались тщательному исследованию, по крайней мере в трудах западных ученых. Тем не менее главные причины достаточно ясны. Реальная классовая борьба не прижилась в японской деревне. Унаследованная из прошлого структура приводила к тому, что влияние помещика распространялось на все мелочи сельской жизни. Более того, у отдельного арендатора, похоже, всегда был шанс договориться о персональном решении. Таким образом, конфликты из-за арендной платы не поменяли серьезно ту систему власти в деревне, которая возникла после преобразований Мэйдзи (см.: [Dore, 1959, p. 29; Totten, 1960, p. 192–200, 203 (table 2)]).

Для японских крестьян важным дополнительным источником дохода, а для некоторых даже основным, был шелк. Разведение шелкопряда давало необходимые наличные деньги и некоторые экономические гарантии, обеспечивавшиеся диверсификацией продукции. В 1930-х годах около 2 млн фермеров, почти 40% общего их числа, занимались шелководством. Японский фермер продавал коконы мотальщику (производителю шелка-сырца), который обычно финансировался заказчиком в Июкогаме или Кобэ. Мотальщик платил высокие проценты по займу и был вынужден переправлять шелк-сырец на корабле к заказчику для возврата кредита. Величина займа была такой, что заказчик фактически контролировал продажу шелка-сырца. Что касается крестьянина, то ему приходилось принимать условия мотальщика, как, в свою очередь, самому мотальщику приходилось принимать условия заказчика.

Разведение шелкопряда было семейным делом, которое позволяло главе семьи заниматься параллельно другими сельскохозяйственными работами. Таким образом, шелководство действительно увеличивало доход практиковавших его крестьянских семей [Matsui, 1937, p. 52–57; Allen, 1946, p. 64–65, 110]. Тем не менее при господствовавшей организации рынка крупные городские фирмы забирали себе большую часть прибыли. Здесь складывалась образцовая ситуация для возникновения в крестьянской среде антикапиталистических настроений.

Депрессия нанесла жестокий удар по рису и шелку. В 1927–1930 гг. были высокие урожаи риса. Цены упали [Allen, 1946, p. 109]. Весьма вероятно, что падение цен затронуло помещиков (и, возможно, также крупных собственников-производителей) больше, чем арендаторов, поскольку арендаторы обычно платили арендную плату рисом, в то время как помещики продавали 85% своей продукции [Ladejinsky, 1937, p. 431]. Падение цен на шелк, сопутствовавшее закату эры американского благополучия, прямо ударило по японским крестьянам. В 1930 г. цены на шелк-сырец снизились вдвое. Экспорт шелка составил лишь 53% по стоимости в сравнении с 1929 г. Множество крестьян разорились. Некоторые авторы усматривают связь между этими одновременными ударами по деревенской экономике, падением «либерального» правительства и переходом власти к тем, кто выступал за военную агрессию. Ключевым звеном в этой причинно-следственной цепочке предположительно стала армия, где солдаты были крестьянскими рекрутами, а офицеры — выходцами из мелкой буржуазии, чья экономическая ситуация сделала их благоприятной средой для ультранационалистической агитации [Allen, 1946, p. 98–99, 111].

На мой взгляд, эта теория слишком упрощает ситуацию, что чревато серьезным заблуждением. Крестьянство почти не демонстрировало сколько-нибудь воодушевленной поддержки ультранационалистическим движениям⁴². Аграрное течение традиционалистского патриотизма, нашедшее выражение в движениях, подобных нохонсюги, пользовавшееся поддержкой в городах и среди землевладельцев, было направлено против интересов крестьян и нацелено на то, чтобы крестьянин оставался рачительным и примиренным со своей долей, — одним словом, чтобы он знал свое место. В лучшем случае аграрный ура-патриотизм мог привлечь на свою сторону более преуспевающих собственников-производителей, отождествлявших себя с помещиками, для которых как продавцов риса эти идеи обеспечивали некоторую рационализацию.

⁴² Одно из таких движений было вовлечено в убийство премьер-министра Инукаи в мае 1932 г. Но сам премьер имел массовую поддержку в сельских регионах (см.: [Borton, 1940, p. 21–22; Beardsley et al., 1959, p. 431–435]).

Конечно, ряд факторов, в первую очередь связанных с торговлей шелком, делали крестьянство благоприятной средой для распространения антикапиталистических идей. Подобные настроения среди крестьян усиливались при сочетании с другими факторами и способствовали тому, чтобы подчинить крестьянство лидерству деревенской элиты. В целом вклад крестьян в японский фашизм (или в националистический экстремизм, если в данном случае уместнее этот термин) был в основном пассивным. Крестьянство поставляло большое число надежных рекрутов для армии, а в гражданской жизни составляло огромную аполитичную (т.е. консервативную) и покорную массу, что оказало решающее воздействие на японскую политику.

Аполитичное и слепое следование приказам, независящее от смысла предписания, — это не просто вопрос психологии. Ментальность такого рода является следствием конкретных исторических обстоятельств ровно в той же мере, как и автономное сознание, которым по-прежнему восторгаются на Западе. Более того, пример Японии показывает, вне всяких сомнений, что пассивное отношение необязательно продукт развитого индустриализма. При наличии специфических условий оно развивается и в аграрных обществах.

В Японии такие условия определялись структурой японской деревни, сохранившейся в неизменном виде с конца периода Токугава и начала эпохи Мэйдзи и лишь еще более укрепившейся благодаря современным экономическим тенденциям. Помещик оставался бесспорным лидером крестьянской общины. Социальная структура деревни позволяла ему отстаивать свои интересы на местном уровне. Одновременно деревня служила ему политической опорой для достижения своих целей на национальном уровне, где они сталкивались с интересами других групп и в итоге становились частью рассмотренного выше всеобщего компромисса. Теперь следует проанализировать подробнее, почему крестьяне оставались под влиянием помещика.

Наиболее поразительными чертами японской деревни вплоть до земельной реформы, произведенной американцами, оставались господство в ней богачей и практическая невозможность открытых конфликтов⁴³.

⁴³ Здесь возникают терминологические сложности. Японское сообщество «бураку» не имеет аналогов в американском опыте. Это сообщество обычно меньше, чем в сто домов, все члены которого знают друг друга лично. Границы его земли установлены лишь в общих чертах, но у его членов есть ясное представление о своей принадлежности к четко определенному социальному единству. «Мура» больше, и не все ее члены уже знают друг друга лично, хотя юридически именно она является наименьшей административной единицей в Японии. Мура обычно содержит несколько бураку. Дор переводит «бураку» как «деревушка» (hamlet), резервируя слово «деревня» (village) для более крупных административных единиц.

Фундаментом деревенской власти было владение земельной собственностью. Результирующие отношения находили поддержку со стороны государства, при необходимости и в насильственной форме. До некоторой степени все смягчалось и делалось более приемлемым вследствие того, что эти отношения были покрыты патиной времени, освящались традицией и обычаем. Помещики-резиденты нередко лично управляли деревенскими делами, хотя наиболее состоятельные из них поручали рутинные заботы другим, реализуя свою власть незаметно. При случае незначительную роль в деревенской администрации могли играть даже арендаторы [Dore, 1959, p. 325]. Во многих деревнях и более крупных местных образованиях существовал небольшой круг помещичьих семей, связанных между собой узами брака, который и контролировал все местные дела [Ibid., p. 330]. Обычно из среды мелких помещиков набирались кадры для оплачиваемых должностей в «мура», что помогало им компенсировать недостаточные доходы с ренты [Ibid., p. 337].

Лишь в редких случаях помещик по своей прихоти лишал арендатора единственного источника его существования или хотя бы подумывал о том, чтобы прибегнуть к такой крайней мере [Ibid., p. 373]. Однако существовали сотни иных, более тонких способов, чтобы продемонстрировать арендаторам власть помещика над источником их существования. Именно эта финальная санкция, находившаяся в основании развитого кода почитания, управляла отношением крестьянина к вышестоящим лицам. Арендатор пристально наблюдал за игрой «оттенков на лице своего помещика». Автор этого наблюдения, профессор Дор, в целом скорее минимизирует, чем преувеличивает темную сторону власти помещика. Тем не менее даже он приходит к выводу, что почтительность арендатора была следствием осознанной калькуляции суммы возможных выгод и неприкрытого страха, основанного на суровом факте экономической зависимости [Ibid., p. 371–372]. Страх и зависимость, по крайней мере в сельской местности, были в итоге конечными причинами возникновения настолько тонкого японского кода почитания старших, который очаровывает американских туристов своей оригинальностью и контрастом с их собственным опытом. Очевидно, эти туристы устали от враждебности под маской дружелюбной беззаботности, такой распространенной в Соединенных Штатах, однако они упускают из виду как исторические корни, так и современное значение японской вежливости. Там, где эко-

С этой проблемой не сталкивался Смит, который в своих «Agrarian Origins» занимается только более ранней эпохой и использует термин «деревня» для указания на естественную социальную единицу. Поэтому я обозначал словом «деревня» именно «бураку», за исключением небольшого числа случаев, очевидных по контексту, где идет речь о «мура». Подробнее см.: [Beardsley et al., 1959, p. 3–5; Glossary].

номическая зависимость исчезает, будь то вследствие американской земельной реформы или иных причин, традиционная структура статусов и почитания разрушается [Ibid., p. 367]. Если экономический базис деревенской олигархии и японского кода вежливости вызывает сомнение, то известные обстоятельства их частичного исчезновения убедительно выявляют эту причинную связь.

Система взаимной дополнительности крупных и мелких хозяйств сохранилась до последнего времени, поскольку она адаптируема к рыночной экономике посредством аренды и поскольку не было сил, способных ей противостоять. Солидарность и «гармония», царящие в японской деревне, нежелание — пожалуй, лучше сказать «подавление» — открытого конфликта есть также феодальное наследие, более или менее успешно приспособившееся к новым временам. Прежде деревенская солидарность поддерживалась благодаря экономической кооперации крестьян, а также из-за помещичьей политики налогообложения и патерналистского надзора. В современном виде оба этих фактора сохранялись в период между мировыми войнами, а ряд их последствий сохраняется до сих пор. Не углубляясь в подробности, достаточно сказать, что проникновение денежной экономики в деревню ослабило прежние отношения, но серьезно не изменило их⁴⁴.

На стороне того, что можно туманно назвать политикой, также было несколько факторов, способствовавших поддержанию солидарности в деревне. «Большие» вопросы, разделявшие богатых и бедных, не были решены на местном уровне ни в эпоху Токугава, ни в новые времена [Ibid., p. 338, 341]. «Маленькие» вопросы, касавшиеся только местных общин, разрешались методами, знакомыми каждому, кто хоть раз заседал в академических комиссиях. Обычно они сводятся к достижению согласия через скуку и истощение. Вероятно, мы сталкиваемся здесь с одним из тех универсальных законов, которые совершенно серьезно пытаются открыть некоторые социологи. Хитрость заключается в том, чтобы позволить каждому высказывать свое мнение до бесконечности, пока группа в целом не захочет взять на себя коллективную ответственность за решение. В Японии, как, пожалуй, и в любом другом месте, реальные дискуссии обычно происходят вдали от публики, что в равной степени способствует большей откровенности и желанию найти компромисс. В рамках системы существеннее напор, с которым индивид отстаивает свою позицию, чем ее рациональное обоснование. При этом система демократична, поскольку допускает всестороннее обсуждение

⁴⁴ Некоторые подробности продолжения практик, описанных выше в этой главе, см.: [Embree, 1939, ch. 4]. Однако здесь исключительно мало сведений о социальных классах и политике. О практиках культивации см. также: [Beardsley et al., 1959, p. 151; Dore, 1959, p. 352–353].

противоположных позиций. Конфликт может произойти, только если соперничающие стороны приблизительно эквивалентны друг другу за пределами дискуссионной площадки. В современных японских деревнях с несколькими ведущими семьями внутри избранной группы проходят оживленные обсуждения, однако — нужно это повторить — исключительно вопросов местного значения. Несмотря на полное отсутствие локальной традиции, касающейся ценностей демократии, в Японии на собственной почве возникли отдельные ее институциональные черты⁴⁵. Формально более демократические страны вряд ли могут утверждать, что в Японии демократия лучше всего развилась именно там, где она менее всего значима.

Во время тоталитарной фазы в современной истории Японии деревня была интегрирована в государственную систему методами, очень напоминающими политику, использованную правительством Токугава для проникновения в крестьянскую среду и контроля над ней. Источники не позволяют однозначно судить, имело ли место прямое историческое наследование (такого мнения придерживается [Embree, 1939, p. 34–35]). Даже если это не так, подобные установления показывают, что важные аспекты японского феодализма легко согласовывались с тоталитарными институтами XX в.

Читатель может вспомнить о деревенских пятерках, организованных правительством Токугава, чтобы связать крестьян взаимной ответственностью. Весомым подспорьем этой политики были публичные доски с объявлениями в деревнях, призывавшими крестьян к хорошему поведению. После 1930 г. правительство организовало группы соседей, в каждой из которых был свой лидер. По замечанию Дора, эта система вместе с возвышавшейся над ней официальной администрацией открывала для центрального правительства доступ к каждому домохозяйству через нисходящую персональную иерархию поручений. Указания министерства внутренних дел передавались в отдельные домохозяйства при помощи досок объявлений. В особенно важных случаях каждый домохозяин был обязан приложить печать, подтверждающую получение приказа. Эти методы обеспечили эффективный способ организации сельского населения для выполнения таких задач, как распределение товаров по карточкам, изъятие зерна, подписка на военные облигации, а также меры общей экономии. Хотя американские оккупационные власти отменили систему нисходящей коммуникации, местные организации продолжают существовать, так как выполняют ряд локальных функций. Поскольку они сохранились и обеспечили более эффективный способ

⁴⁵ О деревенской политике см.: [Dore, 1959, ch. 13; Beardsley et al., 1959, ch. 12, 13, p. 354–385]. Рассказ Дора значительно проясняет политическое поведение в период до 1945 г.

распространения информации, чем доски объявлений, которыми пренебрегают местные жители, они вскоре вновь взяли на себя выполнение этой функции [Dore, 1959, p. 355].

* * *

Если вновь обратиться к истории японской деревни с начала XVII в., то историка более всего способно поразить неизменное воспроизведение этой особенности. Олигархическая структура, внутренняя солидарность и эффективные вертикальные связи с вышестоящей властью — все эти черты почти в первозданном виде выстояли при переходе к современному рыночному производству. В то же время сама по себе историческая преемственность отнюдь не объяснение, а скорее то, что, в свою очередь, требует объяснения, тем более в условиях, когда очень многое изменилось. Суть этого объяснения, по-моему, в том, что помещики поддерживали принципы прежней деревенской структуры, потому что она позволяла им забирать у крестьян продукцию и продавать ее с прибылью, гарантировавшей им ведущее социальное положение. Те, кто не добивался экономического успеха, пополняли ряды сторонников аграрного псевдорадикализма. Замена псевдородственных отношений арендными была единственной необходимой институциональной переменой. Все это оказалось возможно лишь там, где выращивали рис, поскольку, как показала практика, даже традиционные методы могли привести к значительному росту урожайности. В отличие от английского помещика XVIII в., прусского юнкера XVI в. или русских коммунистов в XX в. японские правящие классы поняли, что могут достичь своих целей без разрушения господствующего крестьянского образа жизни. Если бы традиционная социальная структура стала помехой, мне кажется, что японские помещики едва ли отнеслись бы к деревенскому укладу с большей бережностью, чем в других странах.

Адаптируемость ее политических и социальных институций к принципам капитализма позволила Японии выйти на сцену новейшей истории, не заплатив за это революцией. Отчасти из-за отсутствия подобного страшного опыта Япония стала впоследствии жертвой фашизма и потерпела военное поражение. То же самое произошло с Германией почти по аналогичной причине. Плата за безреволюционный вход в новый мир оказалась чрезвычайно высокой. Не менее высокой цена этого процесса была в Индии. В этой стране историческая драма еще даже не достигла своей кульминации, у нее совершенно другой сюжет и иные действующие лица. Тем не менее урок, извлеченный из рассмотрения предыдущих случаев, пригодится для ее понимания.

VI. Демократия в Азии: *Индия и цена мирных перемен*

1. ЗНАЧЕНИЕ ИНДИЙСКОГО ОПЫТА

Принадлежность Индии к двум мирам — это банальность, не являющаяся от этого менее истинной. Экономически страна остается в доиндустриальной эпохе. Промышленной революции здесь не случилось ни в одном из двух рассмотренных выше капиталистических вариантов, ни в коммунистической форме. Здесь не было ни буржуазной революции, ни консервативной революции сверху, ни крестьянской революции. Но как политический организм Индия принадлежит современному миру. К моменту смерти Неру в 1964 г. политическая демократия существовала уже семнадцать лет. Несмотря на все свои недостатки, она не была простой имитацией. После провозглашения независимости с 1947 г. функционируют парламентская система и независимый суд, действуют нормы либеральных свобод: были проведены всеобщие свободные выборы, после которых правящая партия признала свое поражение в значительной части страны, введен гражданский контроль над армией, глава страны очень осторожно использует свои формально широкие полномочия [Brecher, 1959, p. 638]. Это кажется парадоксальным, но лишь на первый взгляд. Политическая демократия может выглядеть чужеродной в азиатских условиях, тем более при отсутствии промышленной революции, пока не приходит понимание, что серьезные проблемы, с которыми сталкивается индийское правительство, как раз и объясняются перечисленными обстоятельствами. В данной главе я попытаюсь прояснить именно эту историю: почему наступление современного мира не привело в Индии к политическому или экономическому подъему и, более кратко, какое наследие досталось нынешнему индийскому обществу.

История перехода Индии к демократии, поучительная сама по себе, является вызовом и проверкой для теорий, выдвигаемых как в этом, так и в других исследованиях, и в особенности для теорий демократии, развивающейся в исторических условиях, заметно отличающихся от западноевропейских и североамериканских. Из-за того что препятствия на пути к модернизации в Индии были особенно сильными, можно дополнительно прояснить факторы, позволившие другим странам преодолеть их. Однако еще раз следует подчеркнуть, что для корректной интерпретации этой истории необходимо учитывать, что она еще не закончена. Только будущее покажет, возможна ли модернизация индийского общества при сохранении или расширении демократических свобод.

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

В качестве пролога читателю будет полезно ознакомиться с этой историей в том порядке, как сам я пришел к ее пониманию. Ко времени правления королевы Елизаветы I исламские завоеватели Индии установили на большей части субконтинента режим, который старшее и менее сдержанное поколение ученых назвало бы восточной деспотией. Сегодня мы должны назвать его аграрной бюрократией или азиатской версией королевского абсолютизма, более примитивного, чем в Китае, — политической системой, неблагоприятной для демократии и развития торгового класса. Ни аристократические, ни буржуазные привилегии и свободы не были способны поколебать власть Великого Могола. В крестьянской среде также не было активных сил, которые могли бы привести к экономическому или политическому разрыву с господствующим строем. Обширные площади культивировались вяло и неэффективно, отчасти по причине налоговых откупов, введенных моголами, отчасти из-за особенностей структуры крестьянской общины, организованной по кастовому принципу. Касты, обеспечивая на местном уровне деревенского сообщества условия для любой социальной деятельности, буквально от зачатия до посмертного бытия, сделали избыточным центральное правительство. Поэтому сельский протест вряд ли мог принять форму массового крестьянского восстания, как это произошло в Китае. Все новшества и недовольства поглощались, не внося какой-либо перемены, через формирование новых каст и подкаст. В отсутствие сколько-нибудь сильного стремления к качественным изменениям могольская система попросту провалилась вследствие динамики постоянно возрастающей эксплуатации, подстегивавшейся системой налоговых откупов. Этот провал дал европейцам шанс на обретение территориального плацдарма в XVIII в.

Следовательно, еще до британского завоевания были серьезные препятствия для модернизации в самом характере индийского общества. Другие помехи обнаружились в результате этого завоевания. В конце XVIII и начале XIX в. британцы ввели новую систему налогообложения и аренды земли, а также стали ввозить текстиль, что могло нанести ущерб кастам ремесленников. Кроме того, британцы продемонстрировали весь аппарат западной научной культуры, которая угрожала традиционным жреческим привилегиям. Ответом стало восстание сипаев в 1857 г. — реакционная конвульсия и неудавшаяся попытка изгнать британцев. Более глубоким и долговременным эффектом от введения законности, правопорядка, налогообложения и роста численности населения стало распространение паразитического землевладения. Несмотря на примитивные способы культивации, крестьянский труд генерировал существенную экономическую прибыль. Британское присутствие, подавление восстания сипаев, характер индийского общества — все эти

факторы исключали японское решение проблемы отсталости: переход власти к новому сегменту исходной элиты, которая использует прибыль в качестве основания для индустриального роста. Тогда как в Индии всю прибыль поглощали и распыляли иноземные завоеватели, помещики и кредиторы. Поэтому экономическая стагнация продолжалась не только в течение всего периода британского господства, но и вплоть до настоящего времени.

В то же время британское присутствие предотвратило формирование типичной реакционной коалиции землевладельческих элит и слабой буржуазии, что, наряду с британским культурным влиянием, внесло важный вклад в развитие политической демократии. Британские власти делали серьезную ставку на высшие классы землевладельцев. Напротив, местная буржуазия, особенно владельцы мануфактур, страдали от британской политики, в частности от свободной торговли, и пытались воспользоваться преимуществами закрытого индийского рынка. Когда националистическое движение окрепло и стало искать массовой поддержки, Ганди оказался связующим звеном между влиятельными слоями буржуазии и крестьянством благодаря своему учению о ненасилии и о заботе (*trusteeship*) и прославлению индийской деревенской общины. По этой, а также по другим причинам националистическое движение не приобрело революционной формы; хотя кампания гражданского неповиновения заставила отступить слабеющую Британскую империю. Результатом взаимодействия этих сил стала действительно политическая демократия, которая, однако, не сделала почти ничего для модернизации социальной структуры Индии. Поэтому проблема голода все еще дает о себе знать.

Именно к этой истории, очищенной от сложностей и противоречий почти до состояния гротескной простоты, мы теперь перейдем. Те, кто занимался изучением Индии много больше, чем я, вероятно, с трудом узнают предмет своих исследований в этом предварительном наброске. Моя надежда, возможно обманчивая, заключается в том, что приведенные ниже свидетельства сделают сходство более убедительным.

2. ИНДИЯ ПРИ МОГОЛАХ: ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ДЕМОКРАТИИ

Последними из череды завоевателей, вторгшихся в Индию до западного влияния, были Моголы (так называлась большая группа последователей великого монгольского предводителя Чингисхана). В начале XVI в. прошла первая волна завоевания Индии. Моголы достигли наибольшей власти при Акбаре (1556–1605), современнике королевы Елизаветы I, хотя позднейшие правители даже расширили подконтрольную им территорию. К концу XVI в. — удобная точка отсчета для нашего анали-

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

за — эта исламская династия контролировала львиную долю Индии: верхнюю часть полуострова вплоть до линии, проходящей с востока на запад севернее Бомбея. Индуистские королевства, расположенные южнее, оставались независимыми. После того как Моголы приспособили стиль своего правления к индуистским условиям, между ними остались лишь незначительные различия, за исключением того факта, что в период своего расцвета территория Моголов лучше управлялась [Moreland, 1920, p. 6].

Согласно хорошо известному описанию, фундаментальными чертами традиционного индийского государства были суверенный правитель, армия, на которую опирался трон, и крестьянство, которое расплачивалось за все [Moreland, 1929, p. xi]. К этому трио ради адекватного понимания индийского общества необходимо добавить представление о кастовой системе. Пока что можно описать ее как организацию населения в наследственные эндогамные группы, в которых мужчины выполняли социальные функции, аналогичные функциям жреца, воина, ремесленника, землепашца и т.д. Религиозный мотив осквернения санкционировал разделение общества на теоретически непроницаемые, иерархически упорядоченные сословия¹. Касты служили (и до сих пор служат) для организации жизни деревенской общины, базовой ячейки индийского общества и его фундаментального элемента, сохраняющегося даже тогда, когда прочие социальные связи распадаются из-за отсутствия сильной власти.

Этот институциональный комплекс кастовым образом организованных деревенских общин, поддерживающих налогами армию, служившую главной опорой правителя, доказал свою устойчивость. Он был характерной чертой индийской государственности в течение всего перио-

¹ Кажется странным, что Морланд в своем подробном описании общества моголов почти ничего не сказал о кастовой системе, которая была в этот период такой же сильной, как и столетия прежде. Причина этого, возможно, в том, что ему приходилось конструировать свою работу, пользуясь административными документами моголов и записями современных ему путешественников. Ни один из этих типов документов не обращает пристального внимания на деревенское сообщество, где касты были живой реальностью в качестве основы для разделения труда. Можно собирать налоги, набирать рекрутов в армию или, будучи иностранцем, совершать торговые сделки почти безо всякого знания о том, как функционируют касты. В книге «Алн и Акбар» — общем описании царства Моголов, сочиненном министром Акбара Абул Фазлом, — несколько раз упоминаются касты, но обычно в качестве экзотики. Хабиб (см.: [Habib, 1963]) исправляет и дополняет книгу Морланда в ряде важных моментов, в особенности в том, что касается роли нижнего слоя знати и ее связей с крестьянскими восстаниями. В остальном он подтверждает анализ Морланда. Хабиб также едва затрагивает тему каст, хотя и в большей степени, чем Морланд.

да британского господства. Даже после провозглашения независимости, при Неру, здесь сохранилось многое с могольских времен.

По сути, политическая и социальная система могольской эры была аграрной бюрократией, возвышавшейся над разнородным множеством туземных вождей, различавшихся в основном ресурсами и мощью. После ослабления власти Могола в XVIII в. политическая система вернулась к более свободным формам. При Акбаре и последующих сильных правителях не было землевладельческой аристократии национального уровня, независимой от трона, по крайней мере в теории и в значительной мере на практике. Туземные вожди пользовались существенной независимостью, хотя могольским правителям отчасти удалось включить их в свою бюрократическую систему. Позиция туземного вождя требует в дальнейшем более подробного рассмотрения. В общем, как говорит Морланд, «независимость была синонимом бунта, поэтому человек благородного происхождения был либо слугой, либо врагом правящей власти» [Moreland, 1920, p. 63]. Слабость национальной аристократии была важной характеристикой Индии XVII в., которая, как и в других странах, помешала развитию парламентской демократии на родной почве. Парламентские институты были поздним экзотическим заимствованием.

Владение землей теоретически, а в большой степени и на практике находилось в руках правителя. Землю нельзя было приобрести в собственность, кроме как небольшими участками под строительство домов [Ibid., p. 256]². Обычной практикой было предоставление чиновнику доходов с деревни, с нескольких деревень либо даже с достаточно большой области в качестве вознаграждения за службу в имперской администрации Моголов. Акбару не нравился этот порядок, обнаруживавший типичные недостатки налоговых откупов. Выгодоприобретатель назначенной ему области сталкивался с искушением эксплуатировать крестьян, а кроме того, получал территориальную базу для своих собственных претензий на власть. Поэтому Акбар попытался заменить систему назначений регулярными денежными выплатами. По причинам, которые будут рассмотрены ниже, эти усилия не увенчались успехом [Moreland, 1920, p. 67; 1929, p. 9–10].

Опять-таки теоретически не было такой вещи, как наследование должностей, и каждое новое поколение начинало все заново. После смерти должностного лица его состояние возвращалось в казну. Индусские правители местного уровня, которых покорившие их Моголы оставили управлять в обмен на лояльность к новому режиму, были важным исключением. Но и среди завоевателей сумело сохраниться некоторое чис-

² Однако права на землю можно было приобрести, см.: [Habib, 1963, p. 54].

ло знатных семей. Тем не менее посмертные конфискации происходили достаточно часто, чтобы сделать накопление богатства делом случая [Moreland, 1920, p. 71, 263; Moreland, Chatterjee, 1957, p. 211–212].

В дополнение к этим усилиям по предотвращению развития прав собственности на службе индийская политическая система демонстрировала другие бюрократические черты. Задачи распределялись и условия службы предписывались императором с великой тщательностью. После поступления на императорскую службу человек получал воинское звание. Затем он должен был набрать определенное число всадников и пехотинцев в согласии с назначенным ему званием [Moreland, 1920, p. 65]. В то же время могольская бюрократия не смогла разработать меры предосторожности, свойственные бюрократической власти в современных обществах. Не было ни правил продвижения по карьерной лестнице, ни экзаменов на пригодность, ни представления о компетентности для выполнения конкретной функции. Акбар, очевидно, практически полностью был зависим от своего интуитивного знания людей в вопросах повышения, понижения и увольнения со службы. Самый выдающийся литератор эпохи блестяще нес службу, руководя военными операциями, а другой нашел свою смерть, командуя войсками на границе, после многих лет при дворе [Ibid., p. 69, 71]. В сравнении с китайской гражданской службой при маньчжурской династии система Акбара была достаточно примитивной. Конечно, китайцы также открыто отрицали всякую мысль об узкой специализации, и в китайской истории можно без труда найти карьеры, сходные с упомянутыми выше. Тем не менее китайская экзаменационная система была намного ближе к практике современной бюрократии, чем случайные приемы, к которым прибегал Акбар при наборе и продвижении служащих. Еще более значительное различие основывается на существенном успехе Китая в предотвращении роста прав собственности у чиновников. Как мы увидим в свое время, на позднем этапе Моголы потерпели неудачу в этом вопросе.

Риск накопления богатства и преграды для его передачи по завещанию — все это привело к тому, что демонстрация состоятельности приобрела невероятное значение. Трата, а не накопление стала господствующей чертой времени. Таково, по-видимому, происхождение того укорененного в нищете великолепия, которое поражает гостей Индии сегодня и вызывало живое впечатление у европейских путешественников в эпоху Моголов. Император показывал пример блестящего убранства, которому следовали придворные [Ibid., p. 257]. Придворная роскошь была приемом, которым император пользовался для предотвращения нежелательной аккумуляции ресурсов в руках своих приближенных, хотя, как мы увидим, она также вела к неблагоприятным последствиям для самого правителя. Придворные расходовали больше денег на конюшни,

чем на любую другую часть домохозяйства за исключением, возможно, ювелирных изделий. Спорт и азартные игры процветали [Moreland, 1920, p. 259]. Избыток рабочей силы привел к увеличению числа слуг, и этот обычай сохранился и в новые времена. О каждом слоне обычно заботились четыре прислужника, причем их число возрастало до семи, если животное предназначалось для нужд императора. Один из последних императоров приставил по четыре прислужника к каждой из своих собак, которые ему прислали в подарок из Англии [Ibid., p. 88–89].

Забирая себе большую часть экономического излишка, производимого подвластным населением, и превращая ее в показную роскошь, могольским правителям некоторое время удавалось сдерживать притязания аристократов на их власть. Одновременно подобное использование прибыли серьезно ограничивало возможности экономического развития, а точнее — того вида экономического развития, который проложил бы себе путь на руинах аграрного строя и стал бы основой для общества нового типа [Ibid., p. 73]. Этот момент необходимо подчеркнуть, поскольку марксисты и индийские националисты обычно утверждают, что индийское общество было почти готово освободиться от оков аграрной системы, но натиск британского империализма остановил или исказил потенциальное движение в этом направлении. Этот вывод кажется совершенно необоснованным из-за свидетельства, которое весьма убедительно доказывает противоположный тезис: ни капитализм, ни парламентская демократия не смогли бы возникнуть без посторонней помощи на почве индийского общества XVII в.

Подобный вывод получает подкрепление, если обратить внимание на ситуацию в городах и на то, какие зачатки индийской буржуазии в них обнаруживаются. Там действительно кое-что было, и даже некоторые следы мировоззрения, заставляющего вспомнить о горячо оспариваемом демиурге социальной истории — о протестантской этике. Тавернье, французский путешественник XVII в., следующим образом рассказывает о касте банкиров и брокеров:

Члены этой касты настолько искусны и умелы в торговле, что могли бы преподавать урок самым хитроумным евреям. Они приучают своих детей с раннего возраста чураться безделья, и вместо того, чтобы позволять им терять свое время в уличных играх, как мы обычно позволяем своим, они учат их арифметике... Дети всегда сопровождают своих отцов, которые наставляют их в торговле, не предпринимая ничего без того, чтобы одновременно объяснять им это... Если кто-то гневается на них, они терпеливо слушают, после чего не видятся с ним четыре или пять дней, пока, как они надеются, гнев не проходит [Tavernier, 1925, p. 144].

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

Но индийское общество того времени не было благоприятной средой, в которой подобные добродетели могли найти достаточную поддержку, чтобы перевернуть господствующую систему производства.

Города также существовали. Европейские путешественники того времени отзываются об Агре, Лахоре, Дели и Виджаянагаре как о столицах, равновеликих городам родного континента — Риму, Парижу или Константинополю [Moreland, 1920, p. 13]. Однако первичным источником существования этих городов не была торговля или коммерция. В основном это были политические и отчасти религиозные центры. Торговцы и купцы занимали незначительное положение. В Дели, как замечает французский путешественник Бернье, «нет среднего сословия. Люди здесь либо принадлежат к высшему сословию, либо живут в бедности» (цит. по: [Ibid., p. 16]). Купцы, конечно, существовали и даже занимались торговлей с зарубежными странами, хотя к этому времени португальцы аккумулировали в своих руках большую часть прибыли в торговой сфере [Ibid., p. 139]. Это действительно работает на тезис о том, что европейский империализм стал помехой для местного движения в сторону модернизации, хотя, на мой взгляд, он весьма далек от того, чтобы служить решающим аргументом. Были также ремесленники, главным образом занимавшиеся производством предметов роскоши для богачей [Ibid., p. 160, 184, 187].

Основные барьеры для коммерции были политическими и социальными. Некоторые из них, пожалуй, были не хуже, чем в Европе того же периода, где царили разбой на большой дороге, сутяжничество и высокие транзитные пошлины [Ibid., p. 41; Habib, 1963, ch. 2]. Другие были хуже. Правовая система Моголов отставала от европейской. Купцы, желавшие принудить к исполнению договора либо вернуть долг, не могли поручить свое дело профессиональному адвокату, поскольку этой профессии не существовало. Им приходилось выступать по своему делу лично перед лицом правосудия со всеми его пристрастными и случайными интересами. Коррупция была почти повсеместной [Moreland, 1920, p. 35–36].

Однако более значимой была претензия императора на земные богатства состоятельных купцов и чиновников после их смерти. Морланд цитирует письмо Аурангзеба, последнего Великого Могола (ум. в 1707 г.), отрывок из которого сохранил путешественник Бернье:

Мы привыкли, как только простится с жизнью омира (знатный человек) или богатый купец, а в некоторых случаях даже прежде, чем его тело расстанется с последней искрой жизни, опечатывать его сундуки, заключать в тюрьму и пытаться его домашних слуг или чиновников, пока они не предоставят полное описание всей его собственности вплоть до самых незначительных драгоценностей. Эта

практика нам, безусловно, выгодна, но вряд ли можно отрицать ее несправедливость и жестокость? [Moreland, 1923, p. 277–278].

Возможно, так происходило не во всех случаях. Тем не менее, как сухо замечает Морланд, торговля страдала из-за риска внезапной конфискации всего наличного капитала в момент, когда смерть его владельца ввергала бизнес в состояние временной неопределенности [Ibid., p. 280]. Можно также не сомневаться, что император порой старался «ускорить» приход естественной смерти, поскольку в конечном счете это оборачивалось для него таким удачным образом. Все эти соображения должны были циркулировать в купеческом сообществе и препятствовать развитию коммерции.

В целом отношение индийских политических властей к купцам скорее напоминало отношение паука к мухе, чем отношение пастуха к своей корове, распространенное в Европе того времени. Даже у Акбара, самого просвещенного из Моголов, не было своего Кольбера. В индусских областях ситуация, вероятно, была еще хуже. Местные власти, например глава города, могли порой придерживаться иной позиции, но они также жили под гнетом необходимости быстрой наживы и быстрой растраты своего состояния. На мой взгляд, можно с уверенностью заключить, что в целом установление мира и порядка (какого бы то ни было) не создало ситуацию, при которой рост коммерческих влияний мог бы подорвать аграрный строй так, как это случилось в Японии. Могольская система была для этого слишком хищнической, вовсе не потому, что ее правители или чиновники непременно были такими порочными людьми (хотя некоторые позднейшие правители страдали от наркотической зависимости и были чрезвычайно кровожадными — вероятно, от скуки и безнадежности), но потому, что сама система ставила правителя и его подчиненных в положение, где нередко лишь алчное поведение отличалось осмысленностью.

Эта хищническая черта со временем серьезно ослабила могольскую систему. В XVIII в. режим Моголов, столкнувшись со скромными силами европейцев (вовлеченных главным образом в соперничество между собой), дошел до такого ничтожества, что Великий Могол стал получателем британского жалованья. Анализ отношений между могольской бюрократией и крестьянством позволяет выявить некоторые причины этого.

До могольского нашествия индусская система заключалась в том, что крестьяне отдавали часть своей продукции королю, который в пределах, установленных обычаем, законом и возможностями по транспортировке, определял объем своей доли, а также методы оценки и сбора налога. Моголы переняли этот порядок от индусских королевств, внося в него

незначительные изменения, отчасти потому, что это согласовалось с их собственными традициями [Moreland, 1929, p. 5–6]. Административный принцип Моголов, в особенности при Акбаре, предполагал прямые отношения между крестьянином и государством. В идеале оценка и сбор доходов должны были контролироваться центром при помощи чиновников, которые подробно отчитывались по всем денежным поступлениям [Moreland, 1920, p. 33]. За вычетом кратких периодов времени и относительно небольших областей могольским правителям никогда не удавалось приблизиться к этому идеалу. Для его реализации потребовалась бы целая армия оплачиваемых чиновников, напрямую подчиняющихся императору. Такая организация, по всей видимости, оказалась за пределами материальных и человеческих возможностей этого аграрного общества, как, в свою очередь, она оказалась не под силу и царям.

Вместо прямых денежных выплат имперским чиновникам из королевской сокровищницы наиболее распространенным обычаем стало назначение королевской доли продукции в конкретных областях. Назначение давалось вместе с правом исключительной власти при оценке и сборе требуемого объема доходов. Такой областью могла стать целая провинция либо всего лишь одна деревня, тогда как собираемый объем доходов мог соответствовать расходам на содержание войск или на выполнение иных поручений. В могольский период большая часть империи, порой до семи восьмых ее территории, находилась в руках подобных назначенцев [Moreland, 1929, p. 9–10, 93]. Помимо сбора доходов, эта схема служила для набора рекрутов в армию. Одна и та же группа офицеров решала две фундаментальные задачи могольской бюрократии, а также отвечала за поддержание мира и порядка [Moreland, 1920, p. 31].

На местах существовали многочисленные вариации этой базовой модели, подробности которой мы можем спокойно оставить в стороне. Как замечает Морланд, правление Акбара было в высшей степени прагматичным. «Вождю или радже, подчинившемуся новой власти и согласному платить умеренный налог, обычно позволяли сохранить свое властное положение; непокорных и бунтовщиков убивали, сажали в тюрьму либо изгоняли, а их земли переходили под прямое управление». Тем не менее один аспект заслуживает внимания из-за его последующего значения. Во многих случаях, хотя и не повсеместно, могольским императорам представлялось необходимым править и собирать налоги при посредничестве туземных администраций. Общее имя для этих посредников было «заминдар».

Как реалии, так и употребление этого термина подвергались сильным колебаниям, что привело к большой путанице. Даже если грань между ними порой размывается, тем не менее возможно разделить заминдаров на два широких типа — в соответствии со степенью их независимости

от центральной власти. Во многих частях страны серия завоеваний привела к ситуации, когда члены касты завоевателей установили свои права на сбор доходов с крестьян в конкретных областях. Крепости местной аристократии, возглавлявшей собственные банды вооруженных наемников, были частым явлением в сельской местности. Хотя такие заминдары не имели официального места в могольской схеме сбора доходов, их обычно вызывали для получения налогов с тех территорий, право на которые они сами провозглашали. В итоге их право на сбор налогов существовало параллельно с правами могольской бюрократии. На практике права заминдара могли перепродаваться, разделяться или передаваться по наследству, почти так же, как претензии на доход современной корпорации в форме облигаций и ценных бумаг. Естественно, могольская администрация сопротивлялась этому косвенному вызову своей власти и делала все возможное, чтобы поставить заминдаров себе на службу. Согласно могольской доктрине имперское правительство могло восстановить или даровать права заминдара по своему усмотрению. Неясно, насколько это было осуществимо на практике. Другие заминдары были почти независимыми правителями. Пока они платили налоги, их оставляли в покое. Хотя самые богатые и самые населенные области (включая области под контролем заминдаров, более или менее успешно вовлеченных в императорскую службу) находились под прямым контролем императора, территории, подконтрольные вождям и князькам, были далеко не маленькими [Habib, 1963, p. 154, 160, 165, 170, 174, 180, 183, 189].

Поэтому империя была образована из местных деспотий, сильно различавшихся по размерам и степени автономии, однако в любом случае обязанных собирать доходы для императорской казны [Ibid., p. 184]. Мелкие заминдары сформировали ряд местных аристократий. Обособленные от приближенных к трону семей фактом своей принадлежности к числу завоеванных подданных, слишком разобщенные и привязанные к своему месту проживания, чтобы по образцу английской аристократии выступить в качестве конкурента и замены для королевского абсолютизма, эти мелкие правители, тем не менее, сыграли решающую политическую роль [Ibid., p. 165–167]. Когда имперская система ослабла и стала более гнетущей, заминдары всех мастей оказались центрами притяжения для крестьянских бунтов. Местные элиты вместе с крестьянами не могли своими силами объединить Индию в функционирующий политический организм. Но они смогли наказать чужеземцев за ошибки и сделать их положение безнадежным. Так действовали крестьяне при Моголах и, с новыми союзниками, при британцах; сходные тенденции остаются очевидными даже в третьей четверти XX в.

Вокруг термина «заминдар» формировался более широкий вопрос о том, имело ли индийское общество систему частной собственности

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

на землю. Со временем стало понятно, что он сводится к отношениям между мужчинами, управлявшими материальными объектами, которые использовались всеми для обеспечения себя пищей, кровом и благами цивилизации. Что касается земли, на этот вопрос ответить нетрудно, по крайней мере при первом рассмотрении. В то время земли было предостаточно, и нередко она стоила не больше труда, который вкладывался в ее обработку. Поэтому, с точки зрения правителей, проблема заключалась в том, чтобы заставить крестьян заниматься сельским хозяйством. Если землю занимал подданный империи, ему требовалось отдавать правителю долю с общего объема продукции в обмен на защиту. Административная теория и практика Моголов делали особый акцент на обязанности обрабатывать землю. Морланд упоминает случай, когда местный правитель разрубил деревенского старосту пополам из-за неудачных посевов на своей земле [Moreland, 1920, p. 96–97; 1929, p. xi–xii]. Даже если этот случай исключительный, он указывает на фундаментальную проблему. Частные права собственности были второстепенными и выводились из общественной обязанности по обработке земли. Этот факт оказывал влияние на социальные отношения на земле даже в совершенно иных условиях вплоть до сегодняшнего дня.

Политика Могола подвергала административную систему жестокой финансовой нагрузке. Хотя Джахангир (1605–1627), преемник Акбара, попытался умиротворить своих индусских подданных и не стремился к расширению империи, политика Шах-Джахана (1627–1658) была направлена на демонстрацию великолепия, возведение многочисленных зданий, включая Тадж-Махал и Павлиний трон, создание которого заняло семь лет, а материальная стоимость оценивалась более чем в миллион фунтов стерлингов. Он также начал пока еще умеренную дискриминацию индусов [Moreland, Chatterjee, 1957, p. 241, 242]. Аурангзеб (1658–1707) одновременно занялся широкомасштабными гонениями индусов и расширением империи, ведя дорогостоящие и в конечном счете разорительные войны. Политики великолепия и территориальной экспансии, вероятно связанные между собой тем, что новые земли означали новые источники дохода, обнажили внутренние структурные недостатки.

Если император передавал во власть назначенца отдельную область на существенный период времени, он рисковал потерей контроля над своими подчиненными, которые получали независимый источник дохода и опору для собственных претензий на власть. В то же время, если правитель часто перемещал своих назначенцев с одной территории на другую, его подчиненные стремились выжать из крестьян все возможное за ограниченный срок, имевшийся в их распоряжении. Сельское хозяйство приходило в упадок, из-за чего снижались и доходы империи. Поэтому хватка центральной власти слабела, император терял контроль,

который он стремился утвердить посредством регулярных кадровых перестановок. Независимо от того, какой путь выбирал император, очевидно, что в долгосрочной перспективе он проигрывал. Вторая из двух представленных выше возможностей примерно соответствует тому, что произошло на самом деле.

Уже при Джахангире встречаются свидетельства об аграрных беспорядках из-за частой смены назначенцев [Moreland, 1929, p. 130]. Бернье, путешественник середины XVII в., вкладывает в уста знакомого чиновника следующее часто цитируемое замечание:

Почему, собственно, бедствия этой земли должны заботить нас? И почему мы должны тратить все наши деньги и время на то, чтобы сделать ее плодородной? Каждый миг нас могут лишить ее, поэтому наши усилия не принесут пользы ни нам самим, ни нашим детям. Так давайте же извлечем из этой земли столько денег, сколько возможно, и пусть крестьяне голодают или бегут, а когда поступит приказ, мы оставим после себя только мрак и запустение [Ibid., p. 205].

Хотя Бернье мог немного преувеличить, есть достаточно свидетельств в пользу того, что он указывает здесь на главный недостаток могольского государства.

Свидетельства Бернье и других путешественников хорошо согласуются с тем, что нам известно о ситуации из распоряжений Аурангзеба. Вместе они рисуют картину того, как крестьяне облагаются высоким налогом и подвергаются суровой дисциплине и в то же время число крестьян неизменно снижается отчасти из-за того, что они бегут в области за пределами могольской юрисдикции [Habib, 1963, ch. 9; Moreland, 1929, p. 147; 1923, p. 202]. Поскольку крестьяне бежали, доходы назначенца снижались. Назначенец с кратковременным и ненадежным положением пытался возместить свои потери, усиливая давление на тех, кто оставался работать. В итоге процесс приобретал кумулятивный эффект. Система Моголов выдавливала крестьян в области, находившиеся под контролем более или менее независимых вождей, где условия были лучше. Утверждение Бернье, что в этих областях крестьяне подвергались меньшему гнету, находит подтверждение в многочисленных независимых источниках. Мелким заминдарам, вовлеченным в неравный спор с могольской бюрократией, также было выгодно хорошее обращение с крестьянами. Поэтому автономные источники власти, которые моголы не смогли искоренить, оказывались центрами притяжения для крестьянских восстаний. Бунты происходили часто, даже в самый расцвет правления Моголов [Habib, 1963, p. 335–336]. Когда же могольская бюрократия стала более тягостной и коррумпированной, бунты приобрели

более серьезный масштаб. Во многих областях крестьяне отказывались платить налоги, брались за оружие и занимались грабежом. Вожди, возглавлявшие крестьян, не стремились к тому, чтобы улучшить положение своих подданных. Один из них сказал о простых людях: «Деньги не для них, дай им пожрать и прикрыть задницу, этого достаточно» (цит. по: [Ibid., p. 90–91, 350–351]). Тем не менее, вероятно по причине откровенного отчаяния в сочетании с патриархальной и кастовой преданностью, крестьяне охотно следовали за ними. В самом деле, в своем противоречивом смешении патриархальной преданности, сектантских религиозных нововведений и открытого протеста против несправедливостей господствующего строя, а также против актов кровавого возмездия и грабежа крестьянские движения в распадающейся могольской системе демонстрируют сходство с тем, что происходило в других обществах в тех же условиях примитивных коммерческих отношений, начинающих проникать в деспотичный аграрный строй [Ibid., p. 338–351].

К середине XVIII в. гегемония могольской бюрократии сменилась системой мелких княжеств, нередко враждовавших между собой. С этой ситуацией столкнулись британцы, когда они предприняли серьезные попытки проникнуть в индийскую провинцию.

Если обратиться к историческим свидетельствам, то легко — возможно, слишком легко — можно заключить, что динамика системы Моголов не благоприятствовала ни развитию политической демократии, ни экономическому росту, сколько-нибудь напоминающим западные образцы. Здесь не было землевладельческой аристократии, которая преуспела бы в отстаивании собственной независимости и привилегий в борьбе с монархией, но в то же время сохранила бы политическое единство. Вместо этого независимость, если ее можно так назвать, принесла с собой анархию. Нарождающейся буржуазии также не хватало независимой опоры. Обе эти особенности были связаны с хищническим характером государственной бюрократии, становившейся все более захватнической по мере своего ослабления, которая, сокрушив крестьянство и спровоцировав его на мятеж, превратила субконтинент в то, чем он нередко был прежде, а именно — в ряд фрагментированных образований, сражающихся между собой и являющихся легкой добычей для иноземного завоевателя.

3. ДЕРЕВЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ВОССТАНИЯ

Характер высших классов и политических институций позволяет предположить, почему в Индии не было экономического и политического движения по направлению к капитализму такого же типа, как в отдельных частях Европы XVI–XVIII вв. Более подробный анализ положения

крестьян в индийском обществе помогает объяснить еще две особенности, имеющие важнейшее значение: преобладание отсталых форм культивации — разительный контраст с процветающей крестьянской культурой в Китае и Японии, и явную политическую покорность индийских крестьян. Хотя у этой покорности могли быть исключения, которые лучше рассмотреть в особом разделе, крестьянские восстания никогда даже отдаленно не приобретали такого значения в Индии, как в Китае.

Сбор урожая и способы его производства во многих областях Индии и по сей день остаются преимущественно такими же, какими были в эпоху Акбара. Рис играл важную роль в Бенгалии. В северной Индии в основном выращивали зерновые, просо и бобовые культуры. Декан производил джовар (*jowar*, *jovâr* или *juâr* — это разновидность проса или сорго) и хлопок, тогда как на юге вновь преобладали рис и просо [Moreland, 1920, р. 102, 104; Habib, 1963, *ch. 1*]. Урожай как раньше, так и теперь зависит от ежегодного сезона муссонных дождей. В стандартных трудах по Индии часто повторяется утверждение, что в большей части страны сельское хозяйство — это азартная игра с дождем. В некоторой степени система ирригации позволяла получить независимость от этой игры даже в эпоху до британского господства, хотя это было осуществимо по всей стране. Недостаток муссонных дождей периодически приводил к жестокому голоду. Это происходило не только в древности, но и несколько раз за время британского господства. Последний голод разразился в 1945 г. Часто утверждается, что непредсказуемость природной стихии сделала индийского крестьянина пассивным и апатичным, помешав переходу к интенсивным крестьянским методам культивации. У меня есть глубокие сомнения на этот счет. Китай не меньше, чем Индия, страдал от внезапного голода, и тем не менее энергичность и развитые методы ведения сельского хозяйства тамошних крестьян с давних пор вызывали всеобщее восхищение.

На этом фоне индийские практики кажутся расточительными и неэффективными, даже если сделать серьезную скидку на этноцентрическую предвзятость ранних британских описаний. Технологии находились в стагнации. Сельскохозяйственные орудия и методы обработки не претерпели существенного изменения с эпохи Акбара до начала XX в. [Moreland, 1920, р. 105–106]. Легкий плуг, в который запрягали вола, был и остается сегодня самым важным орудием труда. Корова, таким образом, была источником энергии, пищи (конечно, не мяса) и топлива, а также объектом религиозного поклонения³. Преимущества пере-

³ О'Маллей [O'Malley, 1935, р. 15] цитирует работу индийского писателя его времени в связи с вопросом об отношении к корове: «Корова — самое священное животное... Ее экскременты священны... Жидкость, которую она изрыгает, следует сохранять как самую святую воду — это очищаю-

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

саживания риса были известны, по крайней мере в некоторых областях, еще в начале XIX в., а возможно, и раньше. Однако в отличие от Японии организация труда была настолько слабой, что крестьяне получали от этого метода лишь небольшую выгоду. «Около половины риса было в итоге пересажено в первый месяц сезона, — сообщает Бьюкенен в 1809–1810 гг. об одном из районов на северо-востоке Бенгалии, — и это принесло чрезвычайно хороший урожай; пять восьмых остального риса было пересажено на второй месяц, что не принесло никакого прироста урожая; а три восьмых было пересажено на третий месяц, принеся настолько низкий урожай, что применение этой практики в целом было экономически неоправданно, но в противном случае люди страдали бы от безделья» [Buchanan, 1928, p. 345]⁴.

Бьюкенен, один из немногих авторов, описывающих подробности сельскохозяйственных практик того времени, сообщает нам также, что вместо использования севооборота крестьяне в этом районе нередко смешивали несколько видов зерновых на одном поле. Это было грубым методом подстраховки результатов труда: хотя ни одна культура не давала хорошего урожая, редко когда урожая не было вовсе [Ibid., p. 343]. В другом районе на берегах Ганга обычная практика, вновь в отличие от японской, состояла в высевании большого количества семян россыпью прямо на сухую землю без какой-либо предварительной подготовки почвы (такую же практику он заметил в вышеупомянутой области) [Buchanan, 1939, p. 410–412]. Через все отчеты Бьюкенена проходит одна и та же тема неэффективности сельского хозяйства и низкой производительности, которая встречается и в более ранних французских описаниях ситуации при Моголах.

щая от грехов жидкость, которая освящает все, на что попадает, хотя ничто так не очищает, как коровий навоз. Всякое место, которому корова оказала честь, пометив священным отложением своих экскрементов, навсегда становится священной землей». Использование коровьего навоза в качестве топлива нельзя объяснить просто недостатком хвороста, так как навоз использовался и там, где другое топливо было в избытке. См.: [Buchanan, 1939, p. 445]. Поскольку навоз горит очень медленно и равномерно, такой костер почти не требует внимания, и это практическое преимущество могло быть действительно важным, что объясняет широкое распространение этого метода отопления вплоть до нашего времени.

⁴ Бьюкенен был врачом и чрезвычайно наблюдательным человеком, который не принимал некритически все, что ему рассказывали индусы, но старался проверить по возможности их истории. Ему также были несвойственны грубые национальные предрассудки. Подробные наблюдения, проведенные им как на севере, так и на юге Индии, внушают значительное доверие. Хотя полное имя Бьюкенена Фрэнсис Гамильтон, по-видимому, некоторые его сочинения были опубликованы под именем Фрэнсиса Бьюкенена Гамильтона.

Вполне возможно, что сравнительное обилие земли объясняет как ее плохую культивацию, так и характер крестьянских выступлений на протяжении всей индийской истории до прихода британцев. Земля во многих местах была в достатке и простаивала в ожидании людей, способных ее обрабатывать. Крестьяне, как мы видели, нередко просто отвечали массовым исходом на жестокость правителя. По словам одного из новейших специалистов, бегство было «первым ответом на голод или людское насилие» [Habib, 1963, p. 117; Moreland, 1929, p. xii, 161–163, 165, 169, 171]⁵. Гнет и достаток земли, взаимодействуя друг с другом, таким образом, достаточно хорошо объясняют наличие обширных площадей необработанной или плохо возделанной земли, о чем очень часто упоминается в отчетах позднего этапа правления Моголов и начального этапа британского господства.

Хотя это объяснение очень важно, его, тем не менее, недостаточно. Части Индии, например запад Индо-Гангской равнины, могли быть не менее населенными в эпоху Акбара, чем в первые десятилетия XX в. Более того, культивация оставалась плохой в обширных областях страны даже после того, как земля стала в дефиците. Подобные факты внушают подозрение, что социальные порядки, царившие на земле, также играют важную роль в искомом объяснении.

Об одной из таких черт уже было сказано — это индийская система налогообложения. Как и в Японии, крестьянство в Индии для правящего класса было в основном источником дохода. Японский налог на землю, как мы видели, имел фиксированную ставку, что позволяло энергичным крестьянам забирать излишек себе. Могольская и индийская ставка налогообложения была в основном пропорциональной урожаю. Поэтому в Индии чем больший урожай собирал крестьянин, тем больше ему приходилось отдавать сборщику налогов. Кроме того, могольская система налоговых откупов провоцировала откупщика на жестокую эксплуатацию крестьян. Весьма вероятно, что такое различие оказало решающее влияние на характер крестьянства в обеих странах. Это положение, как мы знаем, превалировало в Индии в течение очень долгого времени. Староста, а в некоторых областях совет деревенской элиты, обычно был сборщиком доходов, распределяя среди жителей нормы взыскиваемого налога и земли, подлежащие обработке. Хотя староста или совет выступали буфером между властью и деревней наподобие того, как это было в японской системе, в Индии господин проявлял намного меньше интереса к контролированию деревенской жизни. Поддержание мира и порядка было почти полностью делом деревенской знати и старосты, пока поступ-

⁵ При этом бегство в лесные районы влекло за собой большие трудности с рекламацией. См. по этому поводу: [Baden-Powell, 1896, p. 50–51].

ление налогов не прекращалось [Spear, 1951, p. 113–124; Moreland, 1929, p. 162, 203; Baden-Powell, 1896, p. 13, 23–24; Habib, 1963, p. 185].

Организация труда в индийской крестьянской общине также отличалась от ситуации в Японии, что позволяет объяснить сравнительно примитивный уровень культивации. Здесь мы напрямую сталкиваемся с кастовой системой, которой ниже уделяется большее внимание. Пока достаточно напомнить, что японская система до того, как она начала меняться на последнем этапе эпохи Токугава, держалась главным образом на псевдородственных связях. Напротив, индийская система была основана на обмене труда и услуг на еду между землевладельческими и безземельными или малоземельными кастами. Хотя она была ближе к современной системе наемного труда, индийские порядки поддерживались обычаями, а также тем, что мы можем приблизительно назвать традиционными чувствами. По-видимому, она имела ряд недостатков как традиционной системы, основанной на эмоциональной преданности, так и современной, но не имела их преимуществ и в результате мешала изменениям в разделении труда и его интенсивному применению для решения специфических задач. Что касается адаптируемости каст в актуальной практике, то, видимо, неразумно слишком настаивать на этой теме, хотя тенденция кажется очевидной. Непосредственный контроль на современный манер был затруднителен. Такова была кооперация, встречающаяся во многих тесно связанных традиционных рабочих группах. Большинство индийских трудящихся находились на самом дне кастовой системы и были в существенной мере исключены из деревенской общины, как показывает термин «неприкасаемые». О забастовках на современный манер едва ли можно услышать, отчасти потому, что трудящиеся были разделены по разным кастам, но «размывание рабочей силы они понимали», как выражается современный специалист [Spear, 1951, p. 110]. В этом состояла одна из причин апатичной культивации. Другая заключалась в том, что высшие касты нередко предпочитали получать меньший доход, связанный с меньшими заботами и надзором, чем контролировать трудящихся и принуждать их к усовершенствованию труда.

Нужно сказать несколько слов в порядке предостережения, прежде чем погружаться в вопрос о кастах и их политическом значении. По крайней мере в своей развитой форме кастовая система уникальна для индийской цивилизации. По этой причине возникает сильное желание использовать ее в качестве основы для объяснения всего, чем отличается индийское общество. Очевидно, это ни к чему не приведет. Например, понятие касты в старых исследованиях использовалось для объяснения отсутствия в Индии религиозных войн. Однако в настоящее время — не говоря уже об индуистском сопротивлении мусульманскому прозели-

тизму в прошлом — религиозная война приняла устрашающий размах, в то время как касты остались без изменения. Касты и теория реинкарнации, которая составляет важную часть учения о кастах, также использовались для объяснения явной политической покорности индийских крестьян, слабости революционных выступлений в Новое время. Тем не менее, как мы видели, крестьянский подъем был важной составной частью сил, низвергнувших государство Моголов. Да и сегодня он дает о себе знать. В целом свидетельства о покорности крестьянства остаются преобладающими. И мне кажется бессмысленным отрицать, что кастовая система сыграла свою роль в возникновении и сохранении этого поведения. Скорее проблема состоит в понимании механизма, вызывавшего пассивное принятие действительности.

Стандартное объяснение звучит следующим образом. Согласно теории реинкарнации, человек, подчиняющийся требованиям кастового этикета в этой жизни, будет рожден представителем более высокой касты в следующей жизни. Покорность в этой жизни вознаграждается продвижением по социальной лестнице в следующей. Это объяснение требует от нас веры в то, что простой индийский крестьянин признавал рационализацию, предложенную городскими жреческими классами. Может быть, брахманы преуспели до некоторой степени в культивировании покорности. Но на этом история не могла закончиться. Насколько возможно реконструировать отношение крестьян к брахманам, настолько достаточно ясно, что крестьяне не принимали пассивно и чистосердечно брахмана в качестве образца всего лучшего и желанного. Их отношение к монопольному обладателю сверхъестественной силы, по-видимому, сочетало в себе восхищение, страх и враждебность, что было во многом похоже на отношение французских крестьян к католическому священнику. «В этом мире есть три кровопийцы, — гласит североиндийская поговорка, — вошь, клоп и брахман» [O'Malley, 1935, p. 190–191]. Поскольку брахман взимал плату за свою службу деревне, для враждебности были причины. «Фермер не пожинает свой урожай без уплаты брахману за исполнение особой церемонии; купец не может начать бизнес без платы брахману, рыбак не может построить новую лодку или приступить к лову без платной церемонии» [Kaue, 1864, vol. 1, p. 181–183]. Секулярные санкции были очевидной частью кастовой системы. И в целом мы знаем, что людские отношения и верования не способны к самовоспроизведению, если не сохраняются ситуации и санкции, которые их воспроизводят, или, говоря грубее, если люди не извлекают из этого своей прибыли. Мы обязаны обратить внимание на эти конкретные основания, если желаем понять кастовую систему.

Первой из них была и остается собственность на землю. Универсальное преимущество брахмана — это жреческая функция, которая не соответ-

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

ствуется тому, как устроена кастовая система сегодня, причем, вероятно, не соответствовала этому уже с давних пор. В современных деревнях экономически господствующая группа также является правящей кастой. В одной деревне это могут быть брахманы, в другой — крестьяне. Даже там, где брахманы занимают высшее положение, оно объясняется их экономической ролью, а не жреческой⁶. Таким образом, мы видим, что каста имела и до сих пор имеет как экономическую базу, так и религиозное объяснение и что согласование их между собой в течение долгого времени было далеким от идеала. Каста, владеющая землей в какой-то местности, — а каста является реальностью только как местное явление — это высшая каста. Выстраивать свой аргумент, исходя из современной ситуации, конечно, не совсем надежно. До того как британское влияние стало повсеместно заметным и когда земля по сегодняшним меркам была в избытке, экономический базис этой системы, вероятно, не был таким приземленно ясным. Тем не менее он был. Есть ясное свидетельство, даже для ранних времен, что высшие касты часто владели лучшей землей и могли поручать работу низшим кастам [Buchanan, 1928, p. 360, 429–430, 439]⁷.

⁶ По поводу широкого разнообразия видов деятельности, которыми занимались брахманы в конце XVIII — начале XIX в., см.: [Dubois, 1897, vol. 1, p. 295]; о последующей эпохе см.: [Senart, 1930, p. 35–36].

⁷ Другой источник [Bailey, 1959] сообщает, что в прежние времена в этой части Ориссы в подчинении у семей воинов были семьи отверженных, выполнявшие сельскохозяйственные работы. Дюбуа [Dubois, 1897, vol. 1, p. 55, 57, 58] говорит о форме крепостничества, граничившей с рабством, среди отверженных, хотя, по его словам, она встречалась достаточно редко в его время.

Пейтел [Patel, 1952, p. 9] утверждает, что в традиционной индийской общине отсутствовал особый класс сельскохозяйственных рабочих. Он опирается в основном на книгу Камбелла [Campbell, 1852, p. 65] и цитаты из сэра Томаса Манро, заимствованные из современного индийского сочинения. Я воспринимаю это утверждение как пример индийской националистической тенденции к идеализации добританского периода. Бьюкенен встречал сельскохозяйственных рабочих во многих частях южной Индии. См. его путешествие из Мадраса: [Buchanan, 1807, vol. 1, p. 124; vol. 2, p. 217, 315; vol. 3, p. 398, 454–455]. Рабы встречались достаточно часто, поскольку лишь однажды во время этого путешествия он особо отмечает их отсутствие [Ibid., vol. 3, p. 398]. Сельскохозяйственные рабочие как отдельный класс упоминаются очень часто в его подробных описаниях трех северных районов. См.: [Buchanan, 1928, p. 119, 123, 162–164, 409, 429, 433, 443–446; 1939, p. 193, 423, 460, 468; 1934, p. 343], а также другие страницы, которые я не позаботился отметить. См. также по этому вопросу: [Moreland, 1920, p. 90–91, 112–114; Habib, 1963, p. 120].

Главным формальным инструментом для поддержания кастовых норм были и остаются советы каст, состоящие из нескольких представителей, избранных от каждой касты среди всех деревень, расположенных в определенной области. В некоторых частях Индии встречается иерархия этих советов. Совет контролирует поведение только членов своей собственной касты. Предположительно географическая область, для которой каждая каста созывает совет, в прежние времена была меньше, чем сегодня, вследствие больших сложностей с передвижением. Кроме того, не все касты раньше имели советы; в этом отношении отмечались значительные локальные вариации в зависимости от конкретных условий. Также важно заметить, что не существовало совета касты, охватывающего всю Индию в целом⁸. Касты заявляют о себе строго на местном уровне. Даже в деревне, по сути, нет никакой центральной организации с задачей наблюдения за тем, чтобы кастовая система как таковая оставалась в силе, т.е. чтобы члены низших каст выражали почтение по отношению к членам высших каст. Низшие касты сами следят за поведением. Членам низших каст приходится учиться тому, чтобы смириться со своим положением в социальном строе. В этом отношении вожди низших каст, очевидно, выполняют важную задачу. За это они получают вполне конкретное вознаграждение. Иногда им достаются комиссионные на заработную плату трудящихся из своей касты, а также штрафы за любое нарушение кастовых норм [Buchanan, 1939, p. 281–282].

Наказанием за серьезное нарушение кастовой дисциплины был бойкот, запрет на пользование условиями жизни деревенской общины. В обществе, где отдельный человек почти полностью зависел от имеющихся условий, организованных моделей кооперации своих товарищей, подобное наказание было ужасным. В свое время мы увидим, как наступление современного мира отчасти смягчило воздействие санкций.

Что именно было результатом воздействия этой системы? Без сомнения — локальное разделение труда и соответствующее распределение власти и силы. Но очевидно, что она имела намного больше последствий. В индийском обществе до британского господства (и даже сегодня во многих частях сельской местности) факт рождения в определенной касте обуславливал для человека всю линию его жизни, буквально от момента зачатия до посмертного существования. Это же предопределяло варианты выбора родителями брачного партнера, способ воспитания детей, вид деятельности, которым можно заниматься согласно закону, обязательные религиозные церемонии, пищу, одежду, правила очищения (весьма важные) и все прочее вплоть до мельчайших подробностей

⁸ Советы каст, как правило, описываются во всех подробных местных отчетах. См. также: [Blunt, 1939, p. 69].

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

повседневной жизни, организованных вокруг концепции «отвратительного» [Hutton, 1936, p. 79].

Сложно себе представить, каким образом при отсутствии тотального контроля и индоктринации низшие касты могли смириться со своим положением в системе, вследствие чего она работала без централизованных санкций. На мой взгляд, суть кастовой системы заключалась в ее диффузности, а также в том, что она распространялась за пределы тех сфер, которые западные люди относят к экономике и политике, хотя бы в широком и расплывчатом смысле. Во многих цивилизациях люди проявляют явную склонность к установлению «искусственных» различий, т.е. не выводимых из потребностей рационального разделения труда или рациональной организации власти, если «рациональность» понимать достаточно узко — как обеспечение эффективного социального механизма для выполнения насущных задач группового самосохранения. Дети постоянно изобретают искусственные различия в западном обществе. Также поступают аристократы, будучи избавленными от административных обязанностей. Но необходимость выполнения реальной задачи может сломать искусственные различия, поэтому на поле боя воинский этикет, как правило, менее формальный, чем в штабе главнокомандующего. Нелегко понять причину этой тяги к снобизму, вполне развитой в ряде самых «примитивных» обществ [Levi-Strauss, 1962, p. 117–119]. Не прибегая к доказательству, я выскажу предположение о главной причине такого явления — страдания других являются вечным и неизменным источником человеческого наслаждения.

Но, независимо от причин, тот факт, что в Индии касты служили для организации широкого круга человеческих активностей, имел, по моему убеждению, серьезные политические последствия. Поскольку касты были системой, эффективно организующей жизнь в конкретной местности, они внушали безразличие к национальной политике. Внешняя администрация, управлявшая в деревне, была наростом, обычно возникавшим по чужому произволу, а не в силу необходимости; она была тем, с чем приходилось терпеливо мириться, а не тем, что требовалось изменить, когда мир терял свои основания. Поскольку у внешней администрации не было никакого собственного дела в деревне, где касты заботились обо всем, она легко приобретала хищнические черты. Национальное правительство не требовалось для поддержания местного правопорядка. Его роль в обслуживании ирригационной системы, при всем уважении к Марксу, была незначительной [Habib, 1963, p. 256]. Опять-таки все это зачастую было локальным делом. Структурный контраст с Китаем здесь совершенно поразителен. Там имперская бюрократия связывала общество воедино и поэтому имело смысл изменить тип правления, когда

крестьяне страдали от затяжного бедствия. Но даже будучи представленным в такой форме контраст оказывается поверхностным. В Китае местные джентри нуждались в имперской бюрократии как в механизме для получения экономической прибыли с крестьянства, поддерживавшем их положение на местном и национальном уровне. На местном уровне в Индии в таком порядке не было необходимости. Его заменяли кастовые законы. Там, где такой порядок все-таки возникал, ведущая роль в локальных делах принадлежала заминдару, который не нуждался в помощи центрального правительства для выжимания доходов из крестьян. Несходный характер двух систем объясняет, почему крестьянская оппозиция принимала в каждом случае свои особые формы. В Китае крестьянское выступление имело своей целью замещение «плохого» правительства «хорошим», в Индии речь скорее шла о том, чтобы вообще избавиться от какой-либо внешней администрации. Кроме того, в случае Индии едва ли можно говорить о серьезном крестьянском выступлении, но лишь об общей направленности в делах, обусловленных характером этого общества. В целом в Индии в большей степени ощущалась избыточность правительства, чем возникала активная борьба с ним, хотя порой случалось и такое.

Поскольку касты во многом определяли спектр человеческой деятельности, в индийском обществе наблюдалась явная тенденция к тому, чтобы оппозиция к господствующему порядку каждый раз принимала форму новой касты. Особенно поразительно это в случае криминальных каст, например «тугов» (отсюда происходит английское слово «thug»), которые доставляли множество неприятностей британцам в первой половине XIX в.⁹ Сходным образом, поскольку кастовые особенности довольно сильно выражены в религиозной практике, протест против репрессивных черт кастовой системы легко включался в саму систему в форме дополнительной касты. Отчасти причина этого в отсутствии религиозной иерархии, сравнимой с римским католицизмом, и специфической ортодоксии, которая могла бы стать мишенью для критики. Поэтому кастовая система была и остается невероятно живучей и гибкой в своем конкретном проявлении: это огромная масса локально координируемых ячеек, которая всякий раз решает проблему новизны через создание дополнительной ячейки. Такая же судьба была у иноземных захватчиков: как будто возникла каста мусульман и даже каста европейцев... Последние также во всех отношениях превратились в отдельную касту, пусть даже их рейтинг по шкале «отвратительного» был противо-

⁹ Они оставались распространенными до совсем недавнего времени, и многие, насколько мне известно, до сих пор существуют. Интересное современное описание см.: [Blunt, 1931, p. 158].

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

положен их рейтингу по шкале политической силы. Я где-то читал, что на заре британского господства добропорядочный индус после общения с англичанином непременно принимал ванну, чтобы смыть с себя всю грязь, которая могла пристать.

Однако оппозиция к иерархической системе в целом была сравнительно редка, хотя бы даже в завуалированной форме. Намного более частыми как при британцах, так, вероятно, и в предшествующие эпохи были попытки отдельных каст продвинуться вверх по иерархии престижа и отвращения, при этом членам касты внушалась необходимость следования правильной (т.е. брахманской) диете, правильным занятиям и брачным обычаям. Право сожжения вдов служило решающим признаком того, что каста достигла социального успеха. Обеспечивая коллективную вертикальную мобильность, для которой требовались строгая дисциплина и признание норм, установленных высшими кастами, индийское общество ограничивало возможности политической борьбы. Таким образом система отдавала приоритет обязанностям индивида перед своей кастой и отказывала ему в праве на борьбу с обществом. Права, защищавшие от общества, принадлежали группе в целом, они были кастовыми [Brown, 1959, p. 7]. Вследствие добровольного принятия жертвами системы личной деградации и отсутствия в системе какой-либо конкретной мишени для выражения несогласия, на которой могла бы сосредоточиться ответственность за несчастья простых людей, индийская кастовая система поражает воображение современного западного человека, напоминая собой необычайно утрированную карикатуру кафкианского мира. В определенной мере эти негативные черты могли быть следствием искажений, которым подверглось индийское общество в результате британской оккупации. Но даже в данном случае это было искажение того, что возникло задолго до прихода британцев и сыграло немалую роль в последующих несчастьях.

Подводя итоги, пока еще предварительные и очень условные, я выскажу предположение, что в качестве системы организации труда в сельской местности касты были причиной отставания в способах культивации, хотя, конечно же, не единственной. Далее, в качестве системы организации власти в локальном сообществе касты, по-видимому, были помехой для политического единства. Из-за приспособляемости индийского общества к любым нововведениям в нем было очень сложно осуществить фундаментальные перемены. Но они не были невозможными. Действительно, придя на смену Моголам, новые завоеватели бросили в местную почву семена, плоды которых никто не мог предвидеть.

4. ПЕРЕМЕНЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ БРИТАНЦАМИ ДО 1857 Г.

Британское влияние на индийское общество нельзя рассматривать как действие единой силы, непрерывно функционировавшей на протяжении более чем трехсот лет. Само британское общество и характер британцев, отправлявшихся в Индию, невероятно изменились в период с правления Елизаветы I до начала XX в. Ряд важнейших изменений произошел за сто лет, примерно с 1750 по 1850 г. В середине XVIII в. британцы попадали в Индию, будучи рекрутированными для коммерции и грабежа «Почтенной Ост-Индской компанией», и под их контролем была лишь малая часть страны. К середине XIX в. они были фактическими правителями Индии, вооруженными организованной бюрократией, гордой своими традициями правосудия и юридических норм. С точки зрения современных социологических теорий бюрократии, почти невозможно понять, как подобная перемена могла случиться, ведь голый исторический материал не содержал почти никакой фактической информации: торговую компанию было непросто отличить, с одной стороны, от пиратов, а с другой — от слабеющих восточных деспотий. Социологический и исторический парадокс можно даже усилить, ведь из подобной безнадежной амальгамы в итоге возникает политическое образование с законными претензиями на звание демократического государства!

На британской стороне этого странного союза ход событий был примерно следующим. Во времена Елизаветы I британцы проникали в Индию в целях авантюры, обеспечения государственных интересов, ради торговли и грабежа. Мотивы и причины почти невозможно было различить в выплеске энергии, распространившейся по всей Европе после упадка традиционной христианской средневековой цивилизации и возникновения на ее месте новой, намного более секулярной. Хотя в Индии можно было нажать огромные состояния, вскоре стало понятно, что понадобится территориальная база. Если нужно было купить перец или индиго, единственный способ получить товар по выгодной цене заключался в том, чтобы оставить на месте человека, который договорится о покупке в сезон сбора урожая, когда цены падают, и сохранит товар на складе до прибытия корабля. Опираясь на устроенные для этих целей хранилища и форты, британцы начали проникновение вглубь сельской местности, покупая индиго, опиум и джут и постепенно приобретая необходимый для успешной торговли контроль над ценами. Поскольку поведение местных правителей казалось британцам изменчивым и непредсказуемым, у них возникло сильное желание получить больший объем реальной власти и, конечно же, вытеснить своих европейских конкурентов. Тем временем могольская административная система пришла в полный упадок. После победы Роберта Клайва при Аркате в 1751 г. роль Великого Могола стала декоративной, а победа Клайва при Плессе

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

в 1757 г. положила конец французским надеждам на гегемонию. Отчасти британцы захватили империю из самозащиты, если не по беспечности: ведь португальцы и французы первыми завязали интриги с туземными правителями с целью вытеснения британцев, которые ответили контратакой. Расширив территориальную базу, британцы получили контроль над доходами покоренных правителей, в итоге заставив индийцев в существенной мере оплатить собственное поражение. Упрочив территориальную власть, британцы постепенно превратились из агрессивных торговцев в миролюбивых правителей, стремившихся к установлению покоя и порядка с помощью немногочисленных сил, находившихся в их распоряжении. По сути приобретение территориальной власти стало ключевым элементом всего процесса превращения британского присутствия в бюрократическую систему, которая, конечно, унаследовала какие-то английские понятия о правосудии, однако при этом продемонстрировала поразительные сходства с политическими порядками, установленными Акбаром¹⁰. Эти сходства сохраняются до настоящего времени.

Такой вкратце была эволюция британского присутствия в Индии: от пиратства до бюрократии. Это обернулось тремя взаимосвязанными последствиями для индийского общества: первыми шагами незавершенной коммерциализации сельского хозяйства, ставшей возможной благодаря установлению правопорядка, регулярных налогов и права собственности в деревне; частичным уничтожением крестьянского кустарного производства и, наконец, неудавшейся попыткой восставших сипаев свергнуть британское иго в 1857 г. В свою очередь, эти три процесса определили общие условия того, что случилось впоследствии вплоть до сегодняшнего дня.

Чтобы постепенно распутать эти взаимосвязи, мы начнем с налоговой системы. К концу XVIII в. ответственные британские чиновники в Индии расстались с прежними мечтами о том, чтобы как можно быстрее сколотить здесь себе состояние и поскорее вернуться домой. Ничто не указывает на то, что, стремясь организовать стабильную форму правительства, они желали как можно сильнее обескровить страну. Тем не менее их первичный интерес был тем же, что и у Акбара, — получить источник доходов, который обеспечит их господство, но в то же время не приведет к опасным волнениям. Чуть позже некоторые чиновники

¹⁰ Обо всем вышеописанном процессе см.: [Woodruff, 1953, vol. 1, 2, ch. 1]. Хотя его биографический метод допускает даже использование анекдотов, это в высшей степени полезное чтение, основные моменты которого прописываются со временем. В «Кембриджской истории Индии» [Cambridge History of India, 1922, vol. 5, p. 141–180] иногда даются дополнительные полезные сведения, но читается она с трудом. [Spear, 1951] — первоклассный анализ в основном ситуации конца XVIII в. под Дели.

даже мечтали о том, что Индия может стать второй Англией или огромным рынком сбыта для английских товаров. Но среди англичан, живших в самой Индии, таких было немного. Только коммерческие мотивы не могут объяснить, почему британцы остались в Индии после того, как приобрели там значительную территориальную опору. Реальная причина, вероятно, намного проще. Отступление, которое, насколько мне известно, никогда всерьез не рассматривалось, означало бы признание поражения, даже не будучи таковым на деле. А если нужно было остаться, требовалось найти работающее обоснование для этого, и им стали налоговые поступления.

Решения о том, как устанавливать и собирать налоги, известны исследователям индийского вопроса как налоговые «урегулирования» («settlements»), и этот термин поначалу может показаться странным. Тем не менее он вполне оправдан, поскольку решения о том, как собирать доходы, оказывались на практике попытками «урегулировать» множество сложных проблем таким образом, чтобы не восстановить против себя туземных жителей. Реальные урегулирования были следствием британской политики и британских предубеждений, а также структуры индийского общества и специфической политической ситуации в конкретных областях. Все эти факторы сильно различались по времени и месту¹¹. Поскольку ряд основных различий потерял свое значение в условиях продолжающейся британской оккупации, когда в XIX — начале XX в. проявились более глубокие экономические и социальные тенденции, у нас нет необходимости в подробном анализе урегулирований. Для нашего исследования важно их место в общем ходе социального развития Индии. Если кратко, то урегулирования были точкой отсчета для всего процесса изменений в деревне, когда становление правопорядка и связанных с этим прав собственности обострило проблему помещичьего паразитизма. Однако более значимо то, что они формировали основу политической и экономической системы, при которой иностранец, помещик или кредитор забирали у крестьянина экономическую прибыль и не вкладывали ее в индустриальное развитие, что сделало невозможным повторение того пути, по которому вошла в современную эпоху Япония.

¹¹ Подробный анализ английских предубеждений см.: [Stokes, 1959, pt. 2]. Когда Баден-Пауэлл в конце XIX в. взял на себя задачу представить эти системы сбора доходов с минимумом исходной информации в форме, удобной для британских чиновников, ему едва хватило для выполнения задачи трех объемных томов. См.: [Baden-Powell, 1892]. В нижеследующих описаниях я в основном следовал этому сочинению. Стоукс [Stokes, 1959] предполагает, что временами Баден-Пауэлл преувеличивает эмпирические аспекты британского метода. Не обладая достаточными познаниями предмета, чтобы вынести твердое решение, я все-таки нахожу, что в работе Стоукса преувеличено влияние английских теорий.

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

Разумеется, были другие препятствия и, возможно, даже другие пути, по которым Индия могла бы войти в современную эпоху. Но уже характер ее аграрной системы, возникшей в симбиозе британской администрации и индийского сельского общества, полностью исключал японский вариант.

Первым и исторически самым важным этапом было «Постоянное урегулирование» («Permanent Settlement») (известное также как «заминдари»), осуществленное в Бенгалии в 1793 г. Со стороны британцев это была попытка сохранить свои доходы, избавившись от тягот администрирования запутанной местной системы налогообложения, в которой они с трудом разбирались. Кроме того, это была любопытная попытка вывести на индийскую социальную сцену фигуру помещика-предпринимателя, которая в то время находилась на вершине своего могущества в английской деревне, будучи там источником «прогресса». С индийской стороны важной особенностью была могольская административная практика, опиравшаяся на услуги заминдаров, местных чиновников, которые, как мы видели, отвечали за сбор налогов, будучи посредниками между правительством и крестьянами. Пока могольская система функционировала, заминдар, по крайней мере формально, не был владельцем собственности. Но, когда она начала приходить в упадок, заминдары стали собственниками *de facto* примерно так же, как китайские генералы в XX в. Британский генерал-губернатор, лорд Корнуоллис, мечтал увидеть в заминдаре того, кто со временем превратится на английский манер в помещика-предпринимателя, способного расчислить страну и организовать полноценную культивацию, если ему предоставить гарантии, что в будущем его личные усилия не пропадут впустую, как это наверняка случилось бы при Моголах. В этом была причина того, почему англичане настаивали на том, чтобы сделать урегулирование постоянным. При новом правительстве заминдар получил права собственности, которые не подлежали отмене. Одновременно он оставался сборщиком налогов, как при Моголах. По условиям Постоянного урегулирования британское правительство получало девять десятых доходов, собранных заминдарами с крестьян-арендаторов, отдавая заминдарам оставшуюся одну десятую часть «за труды и заботы» [Baden-Powell, 1892, vol. 1, p. 401–402, 432–433; Griffiths, 1952, p. 170–171; Gopal, 1949, p. 17–18]¹². Хотя юридическая рамка Постоянного урегулирования, сохранившись до 1951 г., заслужила свое название с большим правом, чем большинство человеческих замыслов, результаты этого проекта стали огромным разочарованием для его авторов. Поначалу британцы чересчур зависили налоговые ставки

¹² См. также: [Habib, 1963], где указываются серьезные прецеденты в местной практике моголов в Бенгалии.

и сместили тех заминдаров, которые не сумели выплатить требуемую сумму. В итоге многие заминдары, потеряв свои земли, уступили место тем, кого сегодня назвали бы коллаборационистами. Среди британцев в оборот вошел термин «уважаемые представители местных жителей» («respectable natives»). К середине XIX в., т.е. незадолго до восстания сипаев, около 40% земли в важных областях, где применялось Постоянное урегулирование, поменяло своих владельцев таким образом [Cohn, 1960, p. 424–431]. Заминдары, лишенные собственности, стали важнейшей опорой восставших сипаев, тогда как опорой британских властей стали новые собственники. Последние, в свою очередь, массово превращались в паразитирующих помещиков, поскольку на протяжении XIX в. рост численности населения привел к росту арендной ставки, тогда как налоговое бремя оставалось неизменным.

Важно понять, что после Бенгальского и Постоянного урегулирований британская политика лишь ускорила и усилила развитие паразитического землевладения, но она не создавала этот социальный тип. Наиболее информативный отчет по Бенгалии в 1794 г. ясно показывает, что все главные пороки индийского аграрного общества (те же, что отмечаются особо и в описаниях XX в.) происходят из добританской эпохи [Colebrooke, 1804, p. 30, 64, 92–93, 96–97]. К их числу относились бездеятельность помещичества, многослойность арендного права и наличие класса безземельных тружеников. Рыночная экономика сделала эти проблемы достаточно острыми в сильно населенных речных долинах. В удаленных от рынков внутренних регионах они были намного менее серьезными. Там собиравший налоги чиновник еще не превратился в помещика. В трехтомном описании путешествия Бьюкенена по Мадрасу я обнаружил указания на то, что, с точки зрения туземцев и британцев, образ жизни помещика был паразитическим. Проблема долга не была серьезной. Хотя в некоторых областях существовали аграрные работники и даже рабы, едва ли можно вести речь о возникновении сельскохозяйственного пролетариата¹³.

В южной Индии была широко распространена другая основная форма налогового урегулирования — так называемая райатвари (от слова «ryot», имеющего также другие написания и означающего «землепашец»), поскольку доходы собирались непосредственно с крестьян, без посредников. В некоторых областях такой же была и могольская практика. Добиться этого результата, а также отказа от фиксированной ренты

¹³ См.: [Buchanan, 1807] о рынках и торговле — vol. 1, p. 19, 39, 40, 265–266; vol. 2, p. 452, 459; о сюзерене — vol. 1, p. 2–3, 124, 298; vol. 2, p. 67, 187–188, 213, 296, 477; vol. 3, p. 88 и указатель на слово «ganda»; о крестьянах и земле — vol. 1, p. 271; vol. 2, p. 309; vol. 3, p. 34, 385, 427–428.

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

помогли печальный опыт Постоянного урегулирования, значительное влияние патернализма, а также английские экономические идеи о необходимости сильного крестьянства и о якобы паразитическом характере собственных помещиков, прекрасно выраженные в теории ренты Д. Рикардо. На мой взгляд, важнее, что в той области Мадраса, где реализовывалась в 1812 г. эта модель, не было заминдаров, с которыми налоговые отношения можно было бы урегулировать. Такая ситуация возникла потому, что местные вожди неосмотрительно выступили против британцев, которые сокрушили их, лишь немногих удостоив пенсии [Cambridge History..., 1922, vol. 5, p. 463, 473; Baden-Powell, 1892, vol. 3, p. 11, 19, 22]. С точки зрения нашего исследования, главное значение урегулирования райатвари было отрицательным: оно не сумело предотвратить возникновение паразитического помещичества, которое во многих частях южной Индии со временем стало не меньшей проблемой, чем на севере. Как указано выше, несмотря на различия между разнообразными типами урегулирования, которые обычно преувеличиваются как в современной литературе, так и в исторических описаниях, в долговременной перспективе все особенности сгладились, поскольку проявились последствия гарантированного права собственности и роста численности населения.

Покой и собственность в широком смысле стали тем первым даром британского господства, который постепенно привел в движение с трудом начинавшиеся перемены в деревнях индийского субконтинента. Вторым даром стал плод английской промышленной революции — текстиль, который примерно с 1814 по 1830 г. заполонил индийскую провинцию, уничтожив целую отрасль местного кустарного производства. Больше всего пострадали городские ткачи, производившие высококачественные товары, а также целые деревни, особенно в Мадрасе, которые специализировались на производстве текстиля на продажу. Простые деревенские ткачи, делавшие грубые ткани для местного потребителя, почти не пострадали. Косвенные последствия состояли в том, что городским ткачам пришлось вернуться на землю, а шансы на трудоустройство в городе снизились [Gadgil, 1942, p. 37, 43, 45; Anstey, 1952, p. 146, 205, 208; Raju, 1941, p. 164, 175, 177, 181; Dutt, 1950, p. 101, 105–106, 108, 112]. Хотя наиболее серьезное воздействие на индийское общество, по-видимому, произошло в 1830-х годах, импорт текстиля продолжался весь XIX в. Британские чиновники, занимавшиеся индийскими делами, активно, но безуспешно защищали интересы индийских производителей [Dutt, 1950; Woodruff, 1953, vol. 2, p. 91]. По иронии судьбы, высказывания английских чиновников, собранные в сочинении индийского чиновника и ученого Ромеша Дута, похоже, легли в основу тезиса, разделявшегося как индийскими националистами, так и марксистами, о том, что пре-

жде Индия была промышленной нацией, а затем британцы превратили ее в аграрную страну из своих корыстных империалистических интересов. В такой простой форме этот тезис бессмыслен. Уничтожению подверглось кустарное производство, а отнюдь не промышленность современного типа, причем даже в период расцвета кустарного производства Индия оставалась преимущественно сельскохозяйственной страной. Более того, все это случилось задолго до возникновения современного монополистического капитализма. Но недостаточно просто оставить этот тезис без внимания. Люди страдали вполне реально, пусть даже из этого последовали ошибочные теоретические выводы. Доля правды заключалась и в том, что (как мы убедимся ниже) британцы в определенной мере препятствовали промышленному развитию в Индии.

В целом, начиная с новой налоговой системы и заканчивая импортом текстиля, индийское деревенское общество — а большая часть общества была, конечно, деревенской — подверглось достаточным потрясениям, чтобы причины восстания сипаев были совершенно понятны современным историкам. Эти потрясения не исчерпывались тем, что было упомянуто выше. К непосредственным причинам выступления относились и другие факторы того же рода. В северных и западных частях Индии к 1833 г. возникла форма земельного урегулирования, промежуточная между заминдари и райатвари. Там, где было возможно, эта практика благоприятствовала корпоративным деревенским группам, а не помещикам, возлагая на эти группы коллективную ответственность перед правительством за поступление доходов [Baden-Powell, 1892, vol. 2, p. 21; Woodruff, 1953, vol. 1, p. 293–298, 301]. Сходные процессы происходили в штате Ауд, где британцы вытеснили местную землевладельческую элиту, разношерстных откупщиков, собиравших доходы с деревень и живших на разницу между тем, что они собрали, и тем, что приходилось отдавать туземному правительству. Ауд был богатым центром набора солдат для бенгальской армии, испытавшей сильнейшее потрясение, когда британцы аннексировали эту страну [Chattopadhyaya, 1957, p. 94–95; Metcalf, 1961, p. 152–163]¹⁴. Последней и прямой причиной восстания стал печально знаменитый слух об особенностях винтовок нового образца, для использования которых якобы было необходимо, чтобы солдаты скусывали пыжи с патронов, намеренно смазанных коровьим и свиным жиром.

Ликвидация землевладельческой элиты в Ауде, наряду с другими фактами, заставляет многих авторов полагать, что главной причиной восстания сипаев было недовольство бывших помещиков. Эти авторы

¹⁴ Последний источник — довольно поучительная статья, хотя, по моим ощущениям, автор преувеличивает различия британской политики до и после восстания.

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

сравнивают реформаторскую прокрестьянскую политику британцев в период, предшествовавший восстанию, с более консервативной политикой, благоприятной для землевладельческой элиты, которую британцы проводили после восстания¹⁵. Похоже, это еще один пример слегка преувеличенной полуправды, заслоняющей собой более важную и общую истину. В причинах и следствиях британской политики было больше последовательности, чем позволяет предположить подобная интерпретация. Патерналистское отношение к крестьянству, романтическое и своекорыстное представление о том, что сильный и простой народ может и должен быть источником и оправданием их власти, составляли влиятельную тему британской политики на протяжении всего периода оккупации, даже когда выгода, которую получали крестьяне от этой политики, была сомнительной.

Хотя классовые отношения на селе очень важны сами по себе, они не проясняются, пока не поместить их в более общий контекст. Аграрные условия, особенно в Индии, нельзя отделять от кастовой системы и от религии, поскольку они образовывали единый институциональный комплекс. Основной раскол в индийском обществе, выявленный восстанием сипаев, оказался между глубоко оскорбленной ортодоксией, опиравшейся на определенные материальные интересы, и равнодушием тех, кто либо выгадал от британской политики, либо был не слишком затронут ею. Этот раскол проходил по религиозным границам и до некоторой степени также по материальным. Индуисты и мусульмане массово участвовали в борьбе с обеих сторон [Chattopadhyaya, 1957, p. 100–101]¹⁶. А в Ауде крестьяне восстали вместе с прежними господами в единой оппозиции британскому вторжению. Поэтому, как можно судить, *что бы ни* делали британцы и *что бы* они ни пытались сделать — а, как мы видели, они проводили разную политику в разных областях и в разное время, — они в любом случае были обречены на то, чтобы разворошить осиное гнездо. В целом располагая лишь небольшими силами, завоеватели стремились делать лишь то, в чем была абсолютная необходимость.

¹⁵ См.: [Metcalf, 1961], где дается хорошая современная формулировка этого тезиса, и [Kaue, 1864, vol. 1, ch. 4], где приводится хорошая старая версия взгляда, согласно которому восстание стало следствием недовольства среди высших землевладельческих классов.

¹⁶ Некоторые старые британские авторы винят в восстании мусульман и даже утверждают, что это была последняя попытка восстановить империю Моголов. Но эта точка зрения приписывает слишком определенный план тому, что было хаотичным и в некоторых областях подлинно спонтанным выступлением. Однако восстание в основном ограничилось мусульманской областью на севере Индии. См. в том же источнике разворот 28 — интересную карту, показывающую основные центры восстания, и анализ на p. 150–153.

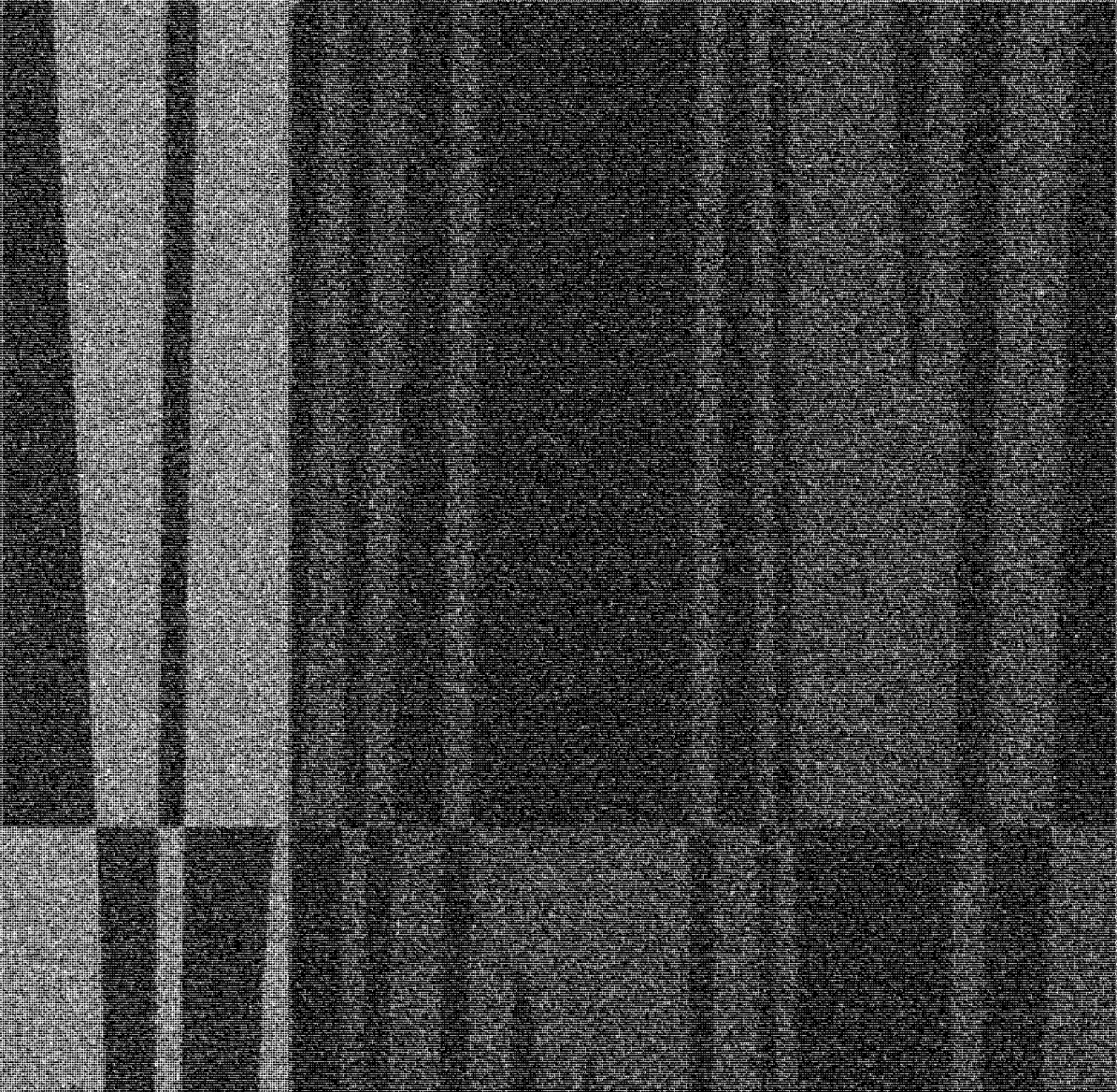
«Реформы» эпохи, предшествовавшей восстанию сипаев, были минимальными.

На уровне более глубоких причин восстание сипаев показывает, что воздействие Запада с его упором на коммерцию и промышленность, его секулярным и научным отношением к физическому миру, его вниманием к конкуренции, а не к унаследованным статусам представляло фундаментальную угрозу для индийского общества. В целом и по отдельности эти особенности были несовместимы с аграрной цивилизацией, организованной вокруг каст с их религиозными санкциями. Англичане действовали достаточно осмотрительно. Те, что были на месте, в Индии, не стремились нажить себе неприятности, слепо навязав собственные социальные нормы; они проводили реформы только ради того, чтобы спокойно заниматься торговлей и материально обеспечить собственное присутствие, а также в тех немногих случаях, когда индийские традиции оскорбляли британский разум.

Одной из таких традиций был ритуал «сати» («sati», также пишется как «suttee»), как называется обычай сжигать или умерщвлять каким-либо иным способом вдову сразу после смерти мужа. Этот обычай возмущал многих британцев. В Бенгалии вдову «обычно привязывали к трупу, часто уже гниющему; рядом стояли мужчины с палками наготове, чтобы затолкать ее обратно в случае, если веревки сгорят и жертва, обожженная и искалеченная, попытается освободиться» [Woodruff, 1953, vol. 1, p. 255]. В большом числе случаев, по крайней мере в XVIII и XIX вв., женщина шла на костер в смятении и ужасе. Многим известен ответ британского офицера 1840-х годов на заявление брахманов, что сати был национальной традицией: «У моей нации тоже есть традиция. Мы вешаем тех мужчин, которые сжигают женщину заживо... Так давайте же следовать своим национальным традициям»¹⁷. Даже сегодня этот ритуал способен смутить самого рьяного поборника равноправия всех культур. Долгое время британцы избегали тотального наступления на сати из опасения вызвать враждебность местного населения. Лишь в 1829 г. обычай был формально запрещен в главных областях, находившихся под британским контролем [Ibid., p. 257]¹⁸. Однако это еще не было концом истории — она и теперь еще не совсем закончена. Насколько мне известно от знатоков Индии, отдельные случаи проведения ритуала сати все еще имеют место.

¹⁷ Замечание приписывается сэру Чарлзу Напье, покорителю Синда в 1843 г. [Woodruff, 1953, vol. 1, p. 27].

¹⁸ Очевидно, толерантному Акбару не нравился этот обычай, но он предпочитал не вмешиваться. Вудрафф приводит его высказывание: «Странное замечание о благородстве мужчин, которые стремятся к освобождению через самопожертвование своих жен».



Отчасти потому, что восстание сипаев имело характер серии спонтанных вспышек, британцы сумели пережить пожар. В некоторых областях, особенно в центральной Индии, население было готово взбунтоваться, но его порыв сдерживали местные власти. Союз старой элиты из местных князей и новой элиты, возникшей под британским покровительством, по-видимому, стал главной социальной силой, выступившей на стороне Британии. На северо-западе страны и в Ауде крестьяне вступи-

¹⁹ См.: [Kaye, 1864, vol. 1, p. 195–196] об упразднении отдельных кухонь для различных каст в тюрьмах; а также утверждение, что в армиях Мадраса и Бомбея солдаты в чинах были выше кастовых предрассудков [Chattopadhyaya, 1957, p. 37]. Но обратите внимание на разоблачительную прокламацию восставших, процитированную в этом издании на p. 103.

ли в союз с господствующими классами, что привело к массовым выступлениям [Chattopadhyaya, 1957, p. 95–97, 159–160]. За восстанием сипаев стояла попытка восстановить идеализированный *status quo*, который якобы существовал в Индии до британского завоевания. В этом смысле мятеж был абсолютно реакционным. Этой оценке на первый взгляд противоречит то, что он вызвал широкую народную поддержку, однако, приняв во внимание условия того времени, можно сделать вывод, что это обстоятельство лишь поддерживает ее²⁰.

Поскольку англичане были завоевателями и основными носителями новой цивилизации, сложно представить, что восстание сипаев могло бы иметь иной характер. Его неудача поставила крест на перспективе развития Индии по японскому пути. Но в любом случае эта перспектива всегда представлялась призрачной и вряд ли заслуживает серьезного рассмотрения. Дело даже не в том, что иноземные завоеватели имели сильную территориальную базу. Мысль о том, что англичане должны быть изгнаны, не кажется безрассудной. Однако в индийской ситуации иностранное присутствие подталкивало к реакционному выступлению. Индия была слишком разделенной, слишком аморфной и слишком большой, чтобы объединиться своими силами под эгидой аристократической оппозиции и с опорой на крестьянство, как это случилось в Японии. За многие столетия в Индии сложилось общество, которое представляло себе центральную власть избыточной, а пожалуй, даже хищнической и паразитической. В Индии середины XIX в. аристократическая оппозиция и крестьяне могли сплотиться лишь вокруг лютого неприятия модернизации. В отличие от японцев индийцы не могли воспользоваться плодами модернизации для изгнания иноземных захватчиков. Потребовалось еще 90 лет на то, чтобы вытеснить британцев. Хотя в промежутке в ситуацию вмешались новые факторы, реакционный компонент оставался довольно сильным в освободительном движении, по крайней мере достаточным для того, чтобы серьезно помешать последующему превращению Индии в индустриальное общество.

5. PAX BRITANNICA 1857–1947 ГГ.: ПОМЕЩИЧИЙ РАЙ?

После подавления восстания сипаев британцам удалось почти на целый век установить в Индии правопорядок и достаточное подобие политического единства. Случались, правда, политические осложнения, участвовавшие и усилившиеся после Первой мировой войны, из-за которых в итоге не удалось достичь полного единства. Несмотря на эти оговорки,

²⁰ Противоположную интерпретацию, отличие которой в том, что она выделяет народную составляющую, см.: [Chaudhuri, 1957, ch. 6].

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

1857–1947 гг. стали для Индии эпохой мира по контрасту с тем, что происходило в других частях света.

Возникает вопрос, какой ценой был куплен этот мир. Британская политика правопорядка благоприятствовала тем, кто уже имел привилегии, в том числе тем, чьи привилегии были незначительными. Таковы были следствия этой политики, хотя она привела в движение, пусть и медленное, иные и более важные силы. Власть Британии в Индии опиралась на высшие аграрные классы, местных князей и крупных землевладельцев во многих, но не всех частях страны. При дворе наиболее важных князей постоянно находился британский советник, контролировавший «международные» отношения и избегавший вмешательства во внутренние дела. В подконтрольных областях британцы, как правило, взаимодействовали со всеми силами, набравшими влияние после восстания сипаев²¹.

Ряд главных политических последствий ставки на высшие слои сельского общества необходимо отметить сразу, хотя ниже они рассматриваются подробнее. Как постепенно стало ясно в ходе XIX в., эта политика вызывала отторжение коммерческих и профессиональных классов, т.е. новой индийской буржуазии. Изолировав высшие землевладельческие классы от новых и пока еще слабых городских лидеров, английская политика помешала формированию типичной реакционной коалиции по образцу Германии и Японии. Это стало решающим вкладом в последующее установление парламентской демократии на индийской почве, и это имеет по крайней мере не менее важное значение, чем проникновение английских понятий в индийскую профессиональную среду. В отсутствие сколько-нибудь благоприятных структурных условий сами по себе эти понятия едва ли стали бы чем-то большим, нежели научными игрушками. Наконец, британское присутствие вынудило индийскую буржуазию пойти на компромисс с крестьянством для завоевания массовой поддержки. В следующем разделе мы рассмотрим, каким образом был осуществлен этот замечательный трюк и каковы были его последствия.

Помимо установления правопорядка, еще одним вкладом, который британцы внесли в развитие индийского общества в XIX в., стали железные дороги и значительное развитие ирригационной системы. Тем самым были выполнены главные условия для коммерциализации сельского хозяйства и для промышленного роста. Однако прогресс оказался слабым и недостаточным. Почему? Решающая часть ответа на этот вопрос, на мой взгляд, заключается в том, что рах Britannica позволял

²¹ Поучительные контрасты, которые были следствием местных условий, см.: [Metcalf, 1962a, p. 295–308].

помещику, который теперь был также и кредитором, присваивать себе экономическую прибыль, выработанную в деревне, т.е. впустую расходовались именно те средства, которые Япония заплатила за свои трудные первые шаги индустриализации. Будучи пришлыми завоевателями, англичане не ставили перед собой цели произвести в Индии промышленную революцию. Они не собирались истощать ресурсы деревни на японский или советский манер. Поэтому под защитой англосаксонской правовой системы паразитическое помещичество приняло гораздо худшие формы, чем в Японии.

Возложить всю вину на британцев было бы явным абсурдом. В предыдущем разделе было рассмотрено достаточно свидетельств, указывающих на то, что этот недостаток был свойствен социальной структуре и традициям самой Индии. Два века британской оккупации просто позволили ему распространиться вширь и глубже укорениться в индийском обществе. Говоря конкретнее, рах Britannica привел к увеличению численности населения и повышению арендных ставок, поскольку спрос на землю толкал их вверх. Хотя новая правовая и политическая рамка с правами собственности, которые можно было отстаивать в британских судах, сыграла свою роль в обеспечении помещиков новым оружием, помещик, желая увеличить свои доходы, скорее всего опирался не на нее, а на традиционные санкции, обеспечиваемые кастовой системой и деревенской организацией, по крайней мере именно так было до недавнего времени.

По моему предположению, этот конкретный метод извлечения экономической прибыли в сельской местности и неспособность государства направить извлеченную таким образом прибыль на развитие промышленности были ключевыми звеньями в запутанной причинно-следственной цепи, объясняющей длительную отсталость Индии. Они являются более важными факторами, чем прочие часто выдвигаемые, такие как влияние кастовой системы, инертность соответствующих культурных традиций, нехватка предпринимательских талантов и т.п. Хотя все эти факторы сыграли свою роль, разумнее считать их производными от рассмотренного выше метода извлечения прибыли. Даже в сельских областях, где касты сохраняли силу, кастовые границы проявляли гибкость, когда благодаря местным условиям возникало движение в сторону бескомпромиссной рыночной экономики. В целом кастовая система поддерживалась верхним слоем деревенской элиты в собственных интересах по указанным причинам. Все это я постараюсь показать ниже.

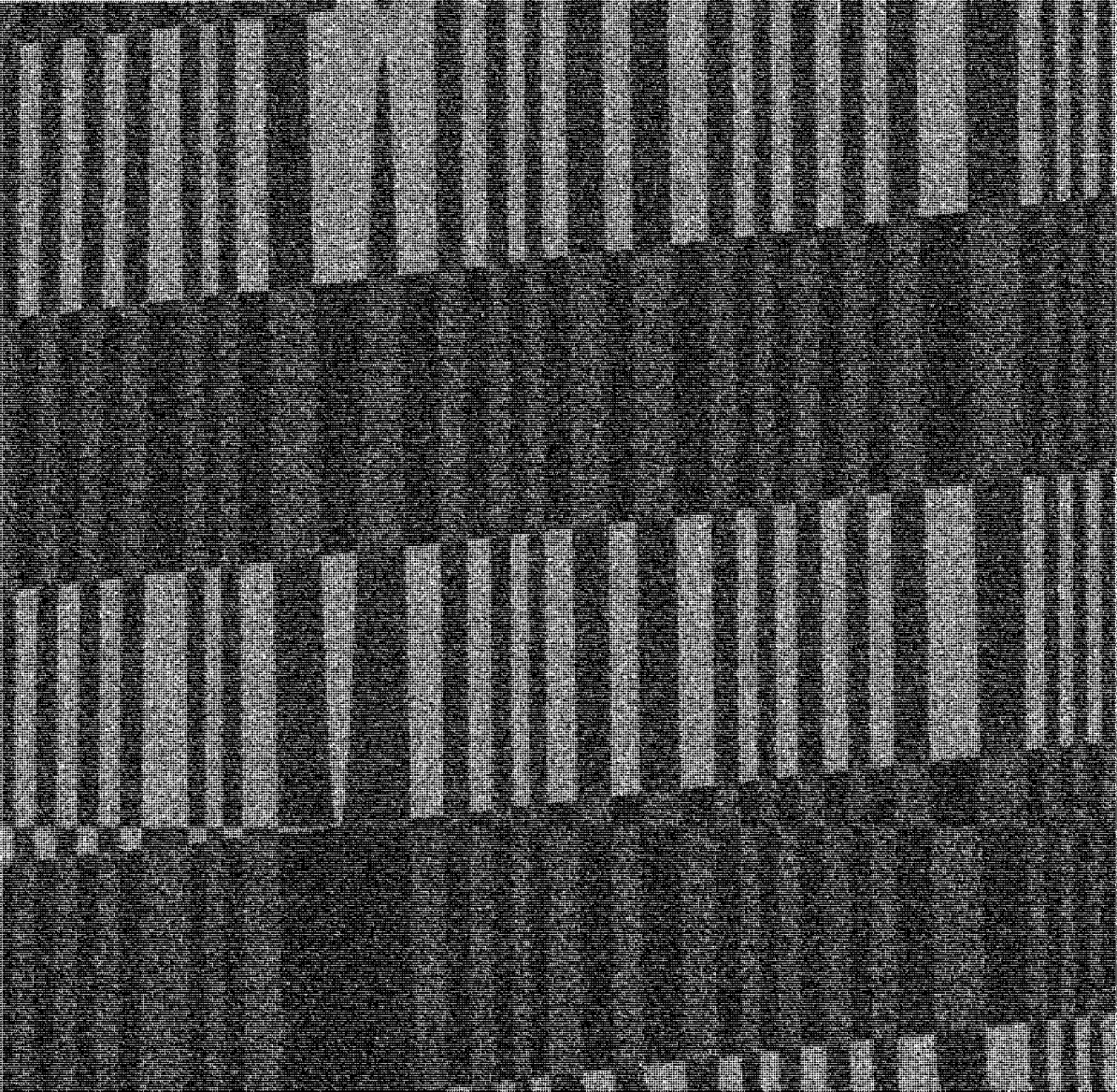
Эта интерпретация кажется достаточно убедительной, если обрисовать ее широкими мазками. Но стоит погрузиться в детали противоречивых и фрагментарных свидетельств, происходит одно из двух. Либо достоверность теряется в хаосе плохо упорядоченных фактов, либо сви-

детельства подбираются так, что аргумент получается чересчур гладким, чтобы сохранять правдоподобие. У автора настоящего исследования остается немного вариантов для того, чтобы убедить закоренелого скептика. Тем не менее стоит упомянуть, что в какой-то момент, изучая этот период индийской истории, я начал подозревать, что помещик-паразит — это мифический социальный тип, выдуманный индийскими националистическими и полумарксистскими авторами. Мне потребовался большой объем свидетельств, чтобы убедить себя самого в том, что этот тип был реальностью. Самые важные из них я попытаюсь теперь представить.

Поначалу будет полезно рассмотреть некоторые исключения из общего тезиса о том, что в Индии не было никаких коммерческих преобразований в сельском хозяйстве. Хотя Индия не превратилась в плантаторскую колонию, производящую сырье на экспорт в более экономически развитые страны, вплоть до XIX в. предпринимались робкие попытки в этом направлении. Индийцы с древних времен занимались выращиванием хлопка. Джут культивировался для местного потребления, а во второй четверти XIX в. стал коммерческой культурой. Этот список дополняют чай (главным образом в Ассаме), перец и индиго. Способы культивации были различными: от своего рода плантаций до аграрных разновидностей надомной системы, при которой авансировались отдельные мелкие культиваторы²².

В отношении площади и числа работников эти квазиплантации оставались экономически слабыми. Но в ином случае установление политической демократии могло бы столкнуться с непреодолимыми трудностями. После анализа ситуации на американском Юге этот момент не требует подробной аргументации. Комбинация иностранной конкуренции с географическими и социальными факторами достаточно хорошо объясняет неспособность плантаторской системы достичь господствующего положения в Индии. Индийский хлопок не мог конкурировать с американским; вероятно, свою роль сыграло уничтожение индийского текстильного производства еще до американской Гражданской войны, Впрочем это не совсем ясно. Изобретение синтетических красителей уничтожило торговлю индиго. Джут произрастал в одном-единственном регионе, в Бенгалии и Ассаме, хотя возможность его выращивания в других местах нельзя было исключить. Главное препятствие, похоже, объясняется чисто социологически. Аграрный вариант надомной системы был не очень эффективен, поскольку сложно контролировать

²² См. интересную дискуссию о перце: [Buchanan, 1807, vol. 2, p. 455, 465–466, 523; Gadgil, 1942, p. 48]. Последний источник об индиго и других аспектах плантаторской системы [Anstey, 1952, p. 115] — здесь отмечается, что чистые плантации находились в основном в руках европейцев.



в добританскую эпоху экономический обмен в деревне ограничивался небольшой суммой либо вообще обходился без наличных денег. Каста ремесленников во многих частях страны до сих пор получает вознаграждение за свои услуги в форме определенной доли урожая. При этом, уже в эпоху Акбара и даже намного раньше, налоги в основном уплачивались наличными деньгами. Тут в деревенской экономике и возникала

²³ В этих источниках говорится, что цены стали явно расти еще с голодных 1837–1838 гг. Данные переписи свидетельствуют только о росте численности населения после первой переписи в 1871 г., хотя скорее всего рост начался прежде. График роста по декадам показывает существенное увеличение лишь через каждые десять лет до 1921 г., после чего скорость роста быстро и постоянно увеличивается. См.: [Davis, 1951, p. 26, 28].

фигура кредитора. Нередко кредиторы принадлежали к особой касте, хотя это было необязательно. Многочисленные жалобы крестьян на необходимость продавать продукцию по низкой цене после сбора урожая лишь затем, чтобы позже покупать ее вновь, по более высокой цене, были известны еще в эпоху Моголов [Moreland, 1920, p. 111–112; 1929, p. ii, 126; 1923, p. 304; Darling, 1947, p. 168–169]²⁴. Кредитор выполнял в традиционной экономике две полезные функции. Во-первых, он выступал в качестве балансира, сглаживавшего периоды дефицита и изобилия. За исключением периодов серьезного голода, крестьянин мог всегда попросить у кредитора в долг зерна, если его собственные запасы были на исходе. Во-вторых, кредитор был привычным источником наличных денег, когда они требовались крестьянину для уплаты налогов [Darling, 1947, p. 6–7]. Разумеется, кредитор выполнял эти функции с выгодой для себя. Тем не менее традиционная деревня, похоже, накладывала ограничения на кабальные условия займа, но в дальнейшем эти ограничения стали менее эффективными [Ibid., p. xxiii, 170]. При этом традиционные санкции тесно связанного сообщества гарантировали возврат долгов, что позволяло кредитору ссуживать значительные суммы несмотря на минимум формального обеспечения [Ibid., p. 6–7, 167]. В целом ситуация была сносной для всех участников; кроме того, стоит заметить, что в индуистском праве не было характерной для Запада неприязни к взиманию процентов с долга.

В добританскую эпоху кредитор интересовался урожаем, а не землей, которая была в избытке и практически ничего не стоила при отсутствии того, кто мог ее обрабатывать. Эта ситуация сохранялась до второй половины XIX в., когда возросла цена на землю и широко укоренилась британская судебная гарантия прав собственности. Эту тенденцию усилило восстание сипаев, после которого правительство сделало ставку на состоятельных людей, обладающих положением в деревне [Metcalf, 1962b, p. 295–307]. С этого момента кредиторы изменили свою тактику и заинтересовались покупкой самой земли, по-прежнему предоставляя крестьянину обрабатывать ее и обеспечивая себе тем самым постоянный доход [Darling, 1947, p. 180; Gadgil, 1942, p. 166].

Эта ситуация достигла пика между 1860 и 1880 гг. В 1879 г. с принятием «Деканского аграрного закона об освобождении от долгов» («Deccan Agricultural Relief Act») была предпринята первая попытка ограничить права передачи земли и защитить крестьянство. Аналогичные акты были приняты до конца XIX в. в других частях Индии. В главной статье этого закона накладывался запрет на передачу земли тем кастам, кото-

²⁴ В последнем источнике автор упоминает множество областей, где кредитор был важной фигурой в добританское время.

рые не занимались ее обработкой, иными словами — кредиторам. Его главным последствием стало сокращение и без того уже ограниченного объема кредитования для крестьян и поощрение развития класса зажиточных крестьян внутри обрабатывающих землю каст, которые сдавали землю в аренду своим менее удачливым соседям [Anstey, 1952, p. 186–187; Gadgil, 1942, p. 30–31, 164; Darling, 1947, p. 191, 197; India., 1945, p. 294]. Хотя и нет статистики о доле земли, формально перешедшей из собственности землепашцев в собственность кредиторов и зажиточных крестьян, из отчета комиссии по голоду за 1880 г. следует, что проблема стала серьезной и приобрела ту форму, в которой она будет встречаться в последующие годы [Great Britain., 1880, pt. 2, p. 130]. В большей части страны кредиторы не принадлежали к крестьянской касте, а в Пенджабе они происходили из индуистского, а не из мусульманского населения. Долгое время роль кредитора по традиции выполнял владелец сельского магазина. Поэтому передача прав, по сути, не меняла саму систему культивации. Прежде землепашец оставался владельцем участка, расходуя свою прибыль на более высокую арендную плату, а не на проценты по долгу [Gadgil, 1942, p. 166]. Эта тенденция сохранялась до последнего времени. Хотя цифры отсутствуют, специалисты полагают, что тенденция к снижению доли земли в крестьянской собственности продолжалась во время депрессии и замедлилась, по крайней мере краткосрочно, лишь в эпоху благоденствия во время Второй мировой войны [India., 1945, p. 271].

Поэтому одним из главных последствий ограниченной модернизации стало перенаправление экономической прибыли, извлекаемой из сельского хозяйства, в руки новых собственников. В Пенджабе ежегодные проценты по кредитам в конце 1920-х годов достигали 104 рупий на человека для крестьянского населения в сравнении с нормой дохода с земли в 4 рупии [Darling, 1947, p. 20, 218–222]. Не все эти денежные средства занимались у кредиторов, существенный объем ресурсов предоставлялся в долг преуспевающими крестьянами. Кредиторы отнюдь не купались в роскоши, несмотря на то что каждый четвертый плательщик подоходного налога в 1920-х годах принадлежал к этой группе [Great Britain., 1928, p. 442]. Эти грубые оценки подтверждают, что индийское крестьянство производило солидную прибыль, которая не попадала в карман государства. Индийский крестьянин страдал от множества недостатков эпохи первичного накопления капитала, но в итоге индийское общество так и не воспользовалось преимуществами этого времени.

Переход земли в собственность кредиторов не повлек за собой увеличения площади единиц культивации. В Индии не было сильного движения огораживания. Не произошло и какого-либо улучшения в методах культивации. И по сей день сельскохозяйственные методы и орудия

остаются очень примитивными. Индийский плуг, «*deshi*», и другие орудия труда не претерпели существенных изменений за последнюю тысячу лет, согласно результатам исследования, проведенного индийским ученым вскоре после Второй мировой войны [Thirumalai, 1954, p. 178]²⁵. Характерной особенностью индийского сельского хозяйства является неизменно низкая урожайность для большинства основных культур по сравнению с другими странами мира. Главными культурами считаются рис и пшеница, причем рис играет намного более важную роль. В 1945 г. эти зерновые культуры выращивали почти на половине всех площадей, отведенных под продовольственные культуры, но в собранном урожае их доля была значительно выше [India., 1945, p. 288]. В отсутствие сколько-нибудь существенной технической революции неудивительно, что даже в XX в. основная масса урожая выращивается для пропитания, хотя большинство крестьян продают часть своей продукции [Anstey, 1952, p. 154].

На этом этапе стоит перейти от рассуждений, касающихся Индии в целом, к краткому анализу развития и характеристике землевладения в различных частях страны. Можно начать с Бенгалии, где, как мы видели, основные признаки проблемы обозначились еще до полномасштабного британского воздействия. Сведения из этого региона затемняют и расширяют представления о помещике-паразите, демонстрируя, во-первых, что временами существовали выполнявшие им экономические функции, а во-вторых, что паразитизм глубоко распространился внутри самого крестьянства.

В Бенгалии заминдары сыграли свою, хотя и едва ли энергичную роль в освоении пустыни, которая составляла заметную часть деревенского ландшафта в этой части страны около 1800 г. Они добились этого в основном за счет разнообразного давления на крестьян. Например, посредством освобождения от арендной платы они нередко вынуждали сравнительно дикие племена начинать оседлую жизнь и осваивать пустыню. Как только требовалось вернуть землю, заминдары находили законные пути, чтобы изгнать этих арендаторов и заменить их на более умелых работников, согласных на солидную арендную плату. Как говорят, с помощью тех или иных трюков, например специальных налогов на арендаторов, заминдары с 1800 по 1850 г. удвоили арендные ставки. После 1850 г. они постепенно начали превращаться в собирателей арендной платы и почти ничего не делали для распространения культивации или усовершенствования сельскохозяйственных технологий [India., 1953, vol. 6, pt. 1A, p. 445–446]. К моменту восстания сипаев права кре-

²⁵ Это, возможно, чересчур сильное утверждение. См.: [Lewis, 1958], где приводится перечень технических усовершенствований (некоторые из них были достаточно важными) в одной отдельной деревне.

стьян вследствие введения Постоянного урегулирования были урезаны до такой степени, что, по замечанию одного современного исследователя, крестьяне находились, по сути, в положении бессрочных арендаторов. Вскоре после восстания британцы предприняли некоторые шаги для исправления ситуации. Такая возможность представилась, поскольку Бенгалия избежала худших последствий восстания и здесь не было острой необходимости умиротворять уже прочно укоренившийся землевладельческий класс [Metcalf, 1962a, p. 299]²⁶. С помощью ряда законодательных актов, принятых начиная с 1859 г., британцы попытались предоставить арендаторам некоторые гарантии. Аналогичное законодательство было принято в других частях Индии. Главное положение закона гласило, что 12 лет непрерывной культивации служили юридическим основанием для приобретения права аренды и обеспечивали защиту против изгнания с земли. Типичным ответом помещиков стало вытеснение арендаторов с земли до истечения двенадцатилетнего периода. Кроме того, новое законодательство делало передаваемым как право собственности, так и право аренды. Там, где это происходило, конкуренция за землю стимулировала практику субаренды. Многие крестьяне превратились в мелких рантье, поскольку им выгоднее было воспользоваться правом на сдачу земли в субаренду, чем заниматься культивацией [Economic Problems..., 1939, p. 221–223, 227–228, 230]. По мере того, как усиливалось различие между объемом собираемых правительством налогов (который был ограничен согласно Постоянному урегулированию) и ставками арендной платы, повышавшимися в результате конкуренции за землю, удлинялись и цепи арендных и субарендных связей, достигая в некоторых частях этого региона фантастической протяженности.

Старая литература по вопросу землевладения создает впечатление, будто бремя ренты оказывалось тяжелее для крестьян там, где наблюдалось больше посредников между помещиком, платившим налог на землю, и крестьянином, который ее обрабатывал. Однако это не так. Множество посредников возникало просто из-за широкого зазора между ставкой аренды, выплачиваемой крестьянином, и уровнем дохода или налога, выплачиваемого помещиком [India..., 1945, p. 282]. В 1940-х годах комиссия по земельному налогообложению в Бенгалии обнаружила, что арендная плата в районах, где возникала многоуровневая система арендных отношений, была ниже, чем во многих других частях Индии. Члены комиссии даже пришли к выводу, что «в Бенгалии скорее стоит увеличить, чем снизить ставку аренды» [Ibid., p. 278]. По этому поводу мнения могут расходиться. Однако кое-что проясняется. Экономическая

²⁶ По причинам, указанным ниже, я считаю его оценку благоприятных эффектов слишком оптимистичной.

«прибыль» во многих областях не поглощалась без остатка богатым рантье. Вместо этого конкуренция за землю привела к тому, что прибыль делилась между многими нахлебниками, большинство из которых не были богачами. Как точно замечают индийские органы по проведению переписи населения, деревенский помещик в Индии — это не просто процветающий и безмятежный рантье. Помещик может существовать на грани выживания и все-таки не вносить никакого вклада в экономику [India., 1953, p. 355]. Среди тех, кто жил на земельную ренту, существенную долю составляли вдовы, а также больные и немощные землевладельцы, лишенные взрослых сыновей, не способные к работе на земле и по этой причине сдающие ее в аренду [Ibid., p. 121–122]. В некоторых областях даже деревенских слуг, сапожников, цирюльников, работников прачечной, плотников и других относили к числу «отсутствующих» помещиков [Ibid., p. 119]. У меня нет данных, которые позволили бы оценить, сколько «бедных помещиков» относится к перечисленным выше категориям граждан. Несомненно, что их численность намного превосходит численность богатых рантье. Не всех помещиков следует считать совершенно паразитирующими, т.е. не вносящими ни малейшего вклада в общество, будь то в экономическом или более широком смысле, например в своей профессиональной деятельности.

Все эти модификации тезиса о паразитическом землевладении по праву относятся к любому объективному анализу проблемы. В то же время неангажированный исследователь общества должен проявить осторожность, вынося решение о том, что они означают в действительности. Существует серьезная тенденция оберегать сложившийся в науке status quo от критических замечаний с помощью ссылок на аномалии и неполноту данных, в результате чего складывается впечатление, что в реальности проблемы нет или что она является плодом воспаленного воображения. Но в данном случае есть полная ясность с тем, что паразитическое землевладение было реальной проблемой. Несмотря на большое число бедняков, сумевших попасть под зонтик паразитизма, обеспечив себе таким образом убогое существование, это не является достаточным оправданием для социальной институции, которая была расточительной по своей сути и препятствовала экономическому прогрессу. Тот факт, что число бедных собственников земли заведомо превосходило число богатых и что адекватной статистики по распределению доходов внутри этого сектора не существует, снижает вероятность того, что львиная доля помещичьих доходов стекалась в малочисленный слой богачей.

Теперь нам следует обратиться к анализу событий в южных областях Индии, где по условиям урегулирования райатвари британцы собирали налоги без посредников, напрямую с крестьянских деревень.

Для начала можно рассмотреть ситуацию в Мадраасском президентстве в последнем десятилетии XIX в. (это примерно та область, по которой за 90 лет до этого путешествовал Бьюкенен), воспользовавшись свидетельством одного из первых индийских чиновников, поступивших на британскую службу, главного инспектора регистрационной палаты, который в 1893 г. опубликовал меморандум об изменениях в Мадрасе за последние 40 лет [Raghavaiyangar, 1893]. Автор меморандума был беспристрастным ученым, несмотря даже на свое желание привести как можно больше доказательств прогресса, достигнутого при британском правлении, чьим бенефициаром он являлся. Тем не менее он описывает малочисленную, невероятно богатую землевладельческую элиту, возвышающуюся над массой бедных крестьян и транжирящую свои средства на судебные тяжбы и разгульный образ жизни. В президентстве было 90 млн акров земли, из которых 27,5 млн, т.е. от одной трети до одной четверти, принадлежало 849 заминдарам. 15 заминдаров были собственниками почти полумиллиона акров земли каждый. По условиям райат-вари нижнюю часть общественной иерархии занимали около 4,6 млн собственников-крестьян [Ibid., p. 132, 134]. По подсчетам автора, крестьянской семье было необходимо около 8 акров земли, чтобы обеспечить себе существование, не работая на других [Ibid., p. 135–136]. Чуть меньше одной пятой (17,5%) крестьян не имели такой площади земли, поэтому они были вынуждены наниматься на работу к другим, чтобы прокормить семью; при этом в среднем единица земельной собственности составляла чуть более 3,5 акр [Ibid., p. 137, 135]. С этими цифрами, опирающимися на данные по земельному налогообложению, нужно обращаться осторожно. Однако я не вижу причин для отказа от рассмотрения общей картины, которую они представляют. Как и в Бенгалии, ряд выходцев из старых землевладельческих семей утратили свои состояния в период с 1830 по 1850 г., поскольку они не смогли заплатить налоги из-за низких цен на зерно. В то же время другие с очевидностью преуспели [Ibid., p. 133]. Сравнение данных этого меморандума о ситуации в Мадрасе, составленного в 1893 г., с бьюкененовским описанием ситуации в той же области в начале XIX в. приводит к заключению, что главными итогами британского правления стали дефицит земли, на которую могли рассчитывать крестьяне, и возникновение малочисленного, чрезвычайно богатого и праздного класса помещиков.

В Бомбее в это время не было крупных землевладельцев, подобных заминдарам в других частях Индии. Большинство жителей деревни составляли крестьяне, платившие земельный налог непосредственно правительству. Однако авторы отчета комиссии по голоду за 1880 г. отмечали, что все большее число крестьян сдают свою землю в субарен-

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

ду и живут на разницу между взимаемой ими арендной платой и налогом, уплачиваемым правительству [Great Britain..., 1880, pt. 2, p. 113]. Это свидетельство вновь демонстрирует знакомое сочетание факторов: рост численности населения, увеличение спроса на землю, возникновение класса мелких помещиков-рантье, выходцев из крестьян. Вскоре о себе дала знать связанная с арендой проблема. Субарендаторам в областях, где действовало урегулирование райатвари, например в Бомбее и в отдельных частях Мадраса, вплоть до конца британской оккупации не хватало юридической защиты своих прав. Усилия по защите традиционных прав стали предприниматься лишь в 1939 г. [Economic Problems..., 1939, vol. 1, p. 223; Gadgil, 1942, p. ix]. К 1951 г. курс на минимизацию последствий землевладельческой проблемы стал частью официальной политики. Тем не менее авторы отчета о переписи населения 1951 г. сообщали с рядом интересных подробностей о наличии группы крупных помещиков, проживающих в окрестностях Бомбея. Почти каждый третий получатель сельскохозяйственной ренты уведомил переписчиков о наличии дополнительных доходов. Эти два факта указывают на тесную связь между помещиками и городскими коммерческими кругами, возможно, по аналогии с китайскими портовыми городами [India..., 1953, p. 16, 60].

Региональный обзор можно завершить рассмотрением той части Пенджаба, где выращивали пшеницу и которая теперь относится к Пакистану. Пример Пенджаба поучителен, поскольку это родина крестьянской касты джат, представители которой были первоклассными культиваторами, несмотря на свои воинственные традиции (восходившие, вероятно, к весьма далекому прошлому). Именно в Пенджабе британцы достаточно рано организовали крупномасштабную ирригационную систему. Описывая ситуацию в 1920-х годах, сэр Малькольм Дарлинг, замечательный и благожелательно настроенный наблюдатель, рассказывает, что помещики жили в основном в долинах Инда. У них в собственности находилось около 40% возделываемой земли [Darling, 1947, p. 98]. Его слова согласуются с оценкой комиссии по голоду 1945 г., что 2,4% собственников владели 38% земли [India..., 1945, p. 442]. По описаниям эти помещики были экстравагантными личностями, лишенными интереса к улучшению своей земли, озабоченными лишь спортивными состязаниями и взиманием ренты [Darling, 1947, p. 99, 109–110, 257]. В 1880-х годах британцы буквально превратили пустыню в цветущий оазис, реализовав крупный ирригационный проект и согласовав его реализацию с крестьянами, обладавшими разновеликой собственностью. Кроме того, британцы рассредоточили владения крестьян, у которых в собственности было больше всего земли. Они рассчитывали (тень

Корнуоллиса!), что эти крестьяне постепенно превратятся в помещиков-джентри, однако те стали «отсутствующими» помещиками, поэтому в этой части эксперимент потерпел неудачу [Darling, 1947, p. 48]. Однако картина не была совершенно мрачной. Дарлинг упоминает однажды о прогрессивных и коммерчески настроенных городских помещиках, не являвшихся выходцами из традиционных землевладельческих каст [Ibid., p. 157–158]²⁷, на сохранение которых была направлена британская политика. В связи с тем, что известно об ускользании земельной собственности из рук традиционных местных элит в других частях Индии, это позволяет предположить, что в какой-то форме капиталистическая революция в сельском хозяйстве Индии могла состояться. Но значение этого факта лучше рассмотреть ниже вместе с анализом осознанных попыток осуществить сельскохозяйственную революцию в эпоху Неру.

Как показывает региональный обзор, одно из самых очевидных последствий британской оккупации — это постепенное устранение различий между областями, где проводились урегулирования двух типов: рай-атвари и заминдари. Горячие споры об их сравнительных достоинствах прекратились еще до Первой мировой войны, поскольку на первый план выходила проблема аренды земли. По мнению одного специалиста, даже во внутренней структуре деревни возникло не так уж много особенностей, объяснимых этим различием [Gadgil, 1942, p. 63; Thirumalai, 1954, p. 131; India., 1945, p. 258]. Для периода между двумя войнами отсутствует и ясное указание на большую или меньшую эффективность одной из двух систем [India., 1945, p. 265].

Сама по себе статистика не позволяет вынести суждение о том, увеличилось ли число арендаторов при британцах. Основная трудность возникает из-за того, что крестьяне часто владели одним участком, а арендовали другой. Поэтому различия в методах сбора статистики, применявшихся в разное время, создают огромные колебания в результатах, что полностью искажает реальную картину. Некоторые признаки указывают на то, что вплоть до 1931 г. число арендаторов увеличивалось. В свете несомненного роста численности населения и дефицита земли это кажется вполне вероятным. Следующая перепись, осуществленная в 1951 г., показала поразительное изменение этой тенденции, что, однако, нельзя считать серьезным аргументом, поскольку оно почти наверняка объясняется изменением в определениях понятий «арендатор» и «собственник»²⁸. Не является также и абсолютно достоверным, что мате-

²⁷ См. также предисловие Э.Д. Маклагана, в котором представлены соображения, лежавшие в основе британской политики.

²⁸ Хорошую дискуссию см.: [Thirumalai, 1954, p. 133], где приводятся нужные цифры. См. также подробный анализ: [Thorner, Thorner, 1962, ch. 10].

риальная ситуация арендаторов ухудшилась при британцах, как обычно утверждают индийские националисты. Сама по себе арендная система еще ничего не доказывает; помимо этого, аналогичные отношения существовали намного раньше. Вновь наиболее важный факт — рост численности населения. Ввиду отсутствия заметного технического прогресса в сельском хозяйстве этот факт можно рассматривать как сильный аргумент в пользу того, что ухудшение ситуации все же произошло.

Также невозможно получить точную статистику о том, в какой мере возрастание значимости этого рынка, наряду с установлением новой британской судебной системы, повлияло на концентрацию земельной собственности в руках немногих владельцев. Крупные землевладения были обычным делом во многих частях страны еще до появления в Индии британцев. Но, по некоторым сведениям, они стали относительно редкими к моменту их ухода [India., 1945, p. 158]. Единственная доступная статистическая информация об Индии в целом восходит к исследованию, выполненному в 1953–1954 гг. Поскольку тогда проводилась отмена системы заминдари (пусть даже, как мы увидим, далеко незавершенная) и поскольку из-за этого было выгодно скрывать размер собственности от внимания чиновников, велика вероятность, что это исследование демонстрирует гораздо более низкий уровень концентрации земельной собственности, чем то, что имело место на самом деле в конце британского периода. Тем не менее стоит отметить главные итоги этого исследования. Почти одна пятая деревенских хозяйств в Индии (14–15 млн) была безземельной. Половина деревенских хозяйств имела в собственности менее чем по акру земли, а их суммарная доля в землевладении едва достигала 2%. Но кроме того обнаруживается, что во всех районах проживания людей 10% самых богатых деревенских хозяйств владели в сумме не менее чем 48% земли. Однако крупные помещики — те, что имели в собственности больше 40 акров, — владели лишь одной пятой площади всей земли [India., 1958, p. iv, 14, 15 (table 4.3, 4.4), 16]. В результате возникает картина, на которой можно различить, во-первых, огромную массу аграрного пролетариата, численностью около половины всего деревенского населения, во-вторых, небольшой класс преуспевающих крестьян, не больше одной восьмой всего населения, и, в-третьих, крошечную элиту.

Очевидно, главной переменной в структуре деревенского общества под британским влиянием стало увеличение численности деревенского пролетариата. По большей части этот слой состоял из сельскохозяйственных рабочих, либо безземельных, либо владевших небольшим участком земли, который в конечном счете привязывал их к помещику. Насколько масштабным был прирост этой группы, невозможно сказать, потому что перемены в методах классификации от переписи к переписи делают сравнительные подсчеты совсем ненадежными. Один ученый попытал-

ся обойти эту трудность и пришел к выводу, что численность сельскохозяйственных рабочих увеличилась примерно с 13% в 1891 г. до 38% в 1931 г., впоследствии замедлив рост, поскольку уменьшение размера земельной собственности, проходившее параллельно с ростом численности населения Индии, означало, что трудовыми ресурсами одной семьи стало легче обойтись в домашнем хозяйстве²⁹.

Большое число безземельных или почти безземельных крестьян не было результатом масштабной экспроприации их собственности. Крайняя бедность этих людей не вызывает сомнений. Среди отверженных, работающих сельскохозяйственными рабочими в одном из районов штата Уттар-Прадеш, считается обычным делом питаться зерном, найденным в экскрементах животных и вымытым перед употреблением. Такая практика, очевидно, не считается отвратительной, если к ней прибегает до одной пятой населения района (см.: [Nair, 1961, p. 83])³⁰. Конечно, это крайний случай. Тем не менее он служит наглядным примером деградации цивилизованного человека в условиях мирной жизни. В среднем ситуация остается тяжелой.

Какими бы грубыми ни были эти выводы о деревенском пролетариате, они все-таки достаточно надежны, чтобы подкреплять аргумент, ради которого они приведены. История нижних слоев индийской деревни остается темной, и в ней очень многое, даже вызывающе многое, требует дальнейшего изучения. Нужно вновь повторить, что положение этого нижнего слоя не было прямым следствием рах Britannica. Можно даже усомниться в том, что отношения между крестьянами и работодателями принципиально изменились за британский период³¹.

Ужасающая бедность нижних слоев индийской деревни (а также города) вновь возвращает наше рассуждение к центральному пункту, с которого оно началось. Несмотря на то что за последние два века индийские крестьяне перенесли не меньше материальных лишений, чем китайские, в Индии так и не случилось крестьянской революции. Ряд

²⁹ См.: [Patel, 1952, p. 7–8, 14–15; India., 1954, vol. 1, p. 19], где сообщается, что треть деревенских семей были сельскохозяйственными рабочими и половина были безземельными. В другом источнике [Thorner, Thorner, 1962, ch. 13] методы сбора данных подвергаются уничтожающей критике, поскольку официальное исследование фокусировалось на технических аспектах выборки, почти совершенно пренебрегая социальными реалиями. Поэтому его категории и классификации, по мнению авторов, были бесполезны, и даже хуже того — они вводили в заблуждение.

³⁰ Здесь цитируются данные Национального совета прикладных экономических исследований.

³¹ Некоторые ценные замечания по ранним датам см.: [Buchanan, 1928, p. 443; 1939, p. 193, 460, 468].

возможных причин очевиден в силу различий в социальных структурах, которые сложились еще до воздействия Запада, а также в силу значительных расхождений по времени и по характеру этого воздействия. Насилие было частью ответной реакции, хотя на сегодняшний день — довольно незначительной. Чтобы объяснить, почему насилие не сыграло большой роли, необходимо проанализировать характер индийского национального движения и те случаи насильственных восстаний, которые все-таки иногда случались.

6. СОЮЗ БУРЖУАЗИИ И КРЕСТЬЯНСТВА, ОСНОВАННЫЙ НА НЕНАСИЛИИ

Чуть ранее уже была возможность указать на те преграды, которые индийская социальная структура возвела на пути коммерческого прогресса еще до прихода европейцев: необеспеченность прав собственности, помехи для ее аккумуляции, поощрение показной роскоши, кастовая система. Баланс этих факторов не был однозначно отрицательным. В других странах стремление к роскоши иногда выступало стимулом для развития торговли. Определенно торговля в Индии имела место, даже банковская деятельность достигла здесь высокого уровня³². Тем не менее местной торговле не было суждено стать тем реагентом, который был способен разрушить традиционное аграрное общество. В ограниченной мере отсутствие коммерческой и промышленной революции можно связать с деятельностью британской администрации, уничтожившей кустарное текстильное производство и без энтузиазма относившейся к местным деловым кругам, которые могли конкурировать с британскими. Британцам не удалось воспрепятствовать появлению современного коммерческого класса в Индии. Однако нет и никаких указаний на то, что они охотно поощряли его возникновение.

Значимость местного производства, особенно хлопка и джута, стала расти к концу XIX в., когда улучшения в транспортной системе позволили ввести в страну технику и открыли доступ к огромным внутренним рынкам [Anstey, 1952, p. 208]. К 1880-м годам в Индии явно сложился коммерческий и промышленный класс современного типа. Заявили о себе и профессиональные классы. Адвокаты стали первыми и важнейшими представителями современной буржуазии; они появились на индийской социальной сцене, поскольку британское судопроизводство и британская бюрократия обеспечивали в этой сфере хороший спрос на таланты и амбиции [Misra, 1961, ch. 11]. Возможно, знание права было конгениально брахманской традиции почитания авторитета и метафизических спекуляций. Через 40 с лишним лет официальные британские

³² См. краткое, но пронизательное эссе: [Lamb, 1959, p. 25–35].

гости с одобрением отзывались о королях индийской торговли, чьи особы ньяки возвышались на Малабар Хилл в Бомбее, и кто рассказывал им, что бо́льшая часть капитала джутовых фабрик под Калькуттой и хлопковых фабрик Бомбея принадлежит таким же, как они [Great Britain..., 1930, vol. 1, p. 23].

Именно в этих кругах зародились первые сомнения в пользе британских связей. Деловые круги Англии в конце XIX в. опасались конкуренции со стороны индийских бизнесменов. Свободная торговля, по впечатлениям индийских торговцев, уничтожила возможности для внутреннего роста. Долгое время они искали защиты, субсидий или возможностей для монопольной эксплуатации индийского рынка [Gadgil, 1951, p. ix]³³. В итоге произошел разрыв между индийской землевладельческой элитой, которая была главным бенефициаром британского правления после 1857 г., и коммерческими классами, которые мечтали вырваться из-под опеки англичан. Этот разрыв сохранился вплоть до провозглашения индийской независимости.

Он имел очень важные политические последствия. Выше отмечалось, что союз между влиятельными сегментами землевладельческой элиты и растущим, но пока еще слабым коммерческим классом был решающим звеном в наступлении реакционной политической фазы процесса экономического развития. Британское присутствие в Индии предотвратило создание такой коалиции и тем самым внесло свой вклад в установление парламентской демократии.

Но на этом история не заканчивается. Через национальное движение у коммерческих классов возникла связь с крестьянством. Для объяснения этой парадоксальной связи между самой прогрессивной частью общества и его самой консервативной частью необходимо кратко рассмотреть некоторые важные вехи в истории национального движения, обратив особое внимание на труды и речи Махатмы Ганди. Как станет понятно ниже, эта связь была далека от идеальной и ее обременяли некоторые противоречия.

Индийский национальный конгресс (ИНК) и первая индийская Торговая палата были сформированы почти одновременно, в 1885 г. До конца Первой мировой войны ИНК был всего лишь «скромным ежегодным собранием англоговорящей интеллигенции». Впоследствии связь с бизнес-кругами оставалась одним из важнейших факторов, определявших позицию ИНК, хотя были краткие периоды, когда на передний план выдвигались иные силы [Gadgil, 1951, p. 30, 66; Brecher, 1959, p. 52]³⁴. Так,

³³ Основные экономические факты см.: [Misra, 1961, ch. 8].

³⁴ Землевладельческие круги также первоначально пользовались влиянием в Конгрессе. См.: [Misra, 1961, p. 353].

накануне Первой мировой войны во главе непримиримой нативистской реакции, черпавшей вдохновение в историческом прошлом, стал Бал Гангадхар Тилак. Поворот к насильственным методам был ответом на широко распространившееся разочарование в отношении учтивых и бесполезных петиций, с которыми выступал ИНК. В 1906 г. под влиянием Тилака Конгресс поставил своей целью «сварадж», т.е. независимость, определенную как «систему правления, которой пользуются автономные британские колонии» [Majumdar et al., 1950, p. 895, 928, 981]. В более поздний период иная разновидность радикализма, на этот раз социалистического, повлияла на официальную позицию ИНК, что, например, нашло отражение в принятой на сессии в Карачи в 1931 г. резолюции по вопросу фундаментальных прав, в которой Конгресс согласился на умеренно социалистическую и демократическую программу [Brecher, 1959, p. 176–177]. В отсутствие политической ответственности эти доктринальные метания не играли особой роли, тогда как бизнес-интересы обеспечивали устойчивый балласт. Еще большее значение имело то, что наличие британских оккупантов сглаживало внутренние противоречия и способствовало развитию национального единства, которое распространялось за пределы круга европеизированных, умеренно радикальных интеллектуалов и через деловые круги проникало в активные слои крестьянства.

Конгресс не пытался обратиться напрямую к крестьянству вплоть до окончания Первой мировой войны и избрания Ганди лидером национального движения, что произошло на съезде в Нагпуре в 1920 г. К этому моменту Индийский национальный конгресс стал превращаться из клуба людей из высшего общества в массовую организацию. На следующий год конгрессмены обратились к крестьянству почти так же, как делали русские народники в 1870-х годах [Ibid., p. 72, 76]. С этого времени и до своей смерти Ганди оставался бесспорным лидером этой странной амальгамы, представлявшей собой индийское национальное движение и состоявшей из европеизированных интеллектуалов, купцов, промышленников и простых землепашцев. Как ему удалось управлять настолько различными группами с конфликтующими интересами?

Для интеллектуалов вроде Неру программа ненасилия, предложенная Ганди, была выходом из тупика, в который партию завели две проважные политические программы: насильственный активизм Тилака и пассивный конституционализм, на который Конгресс ориентировался в своей ранней истории [Ibid., p. 75]. Ганди удалось затронуть важные струны индийской культуры, причем сделать это таким образом, что страна пришла в состояние оживления и оппозиции к британскому господству без риска поставить под угрозу законные интересы индийского обще-

ства. Как мы вскоре увидим, даже высшие классы землевладельцев, опасавшиеся Ганди, не превратились в объект прямых нападок. Непохоже, чтобы отсутствие экономического радикализма было результатом сознательного макиавеллиевского выбора со стороны Ганди. Для нашего исследования его личные мотивы не имеют значения. Но важна и показательна его программа, изложенная в объемных сочинениях и речах. В главных чертах центральные идеи Ганди оставались поразительно последовательными с начала его активной деятельности в качестве лидера вплоть до его смерти.

Задача достижения независимости («сварадж») и тактика ненасильственного отказа от сотрудничества («сатьяграха»), иногда называемая пассивным сопротивлением, — две главные темы программы Ганди — прекрасно знакомы образованным представителям западного мира. Хуже известно социальное и экономическое содержание его программы, выраженное понятием «свадеши» («самостоятельность») и знаменитой эмблемой — прялкой. В 1916 г. Ганди определял это понятие следующим образом:

Свадеши — это дух в нас, который заставляет нас обращаться к нашему непосредственному окружению и служить ему, отказываясь от того, что находится далеко. Так, в религии, чтобы соответствовать этому определению, я должен ограничиться религией моих предков, ведь она используется моим непосредственным религиозным окружением. Даже если я нахожу ее недостаточной, я должен послужить ей, очистив ее от недостатков. В политике я должен использовать родные институты и служить им, спасая их от установленных недостатков. В экономике я должен использовать только то, что производится моим непосредственным окружением, служить этим отраслям производства, сделать их эффективными и полноценными в том, чего им недостает...

Если мы следуем принципу свадеши, то нашим общим долгом будет поиск в кругу наших соседей тех, кто обеспечит нас всем необходимым. А если они не понимают, чего от них хотят, мы должны будем показать им, что нужно делать, при условии, конечно, что среди них есть те, кто хочет заниматься достойным видом деятельности. В этом случае каждая индийская деревня будет почти автономной и самодостаточной единицей. Она будет обмениваться с другими деревнями лишь теми товарами, которые невозможно произвести на месте. Все это может показаться абсурдным. Что делать, но Индия — страна абсурда. Абсурдно умирать от жажды, когда добрый мусульманин предлагает тебе напиться чистой воды. И тем не менее тысячи индусов умрут от жажды, но не пожелают пить воду из дома мусульманина [Gandhi, 1933, p. 336–337, 341–342].

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

Ганди стремился вернуться к идеализированному прошлому: к индийской деревенской общине, очищенной от ее самых очевидных разрушительных и репрессивных черт, таких как принадлежность к касте неприкасаемых³⁵.

Тесно связанными с понятием свадеши были идеи Ганди о собственности, выраженные в понятии «забота» (trusteeship). Но вновь лучше предоставить слово самому Махатме:

Предположим, я оказался обладателем солидного состояния, получив наследство или заработав на торговле и производстве, тогда я должен знать, что все это богатство мне не принадлежит; что принадлежит мне, так это право на честную жизнь, ничуть не лучшую, чем у миллионов других. Оставшаяся часть моего имущества принадлежит обществу и должна использоваться на благо общества. Я выдвинул это учение, когда стране была предложена социалистическая теория о том, как поступать с собственностью заминдаров и членов правительства. Социалисты хотят уничтожить эти привилегированные классы. Я хочу, чтобы эти классы преодолели свою алчность, чувство собственности и, несмотря на свое богатство, снизились до уровня тех, кто зарабатывает себе на хлеб тяжелым трудом. Рабочий должен понимать, что богатч еще меньший собственник своего богатства, чем рабочий — собственник своего богатства, т.е. рабочей силы [Gandhi, 1957, vol. 1, p. 119].

Это цитата из газетной статьи 1939 г. За пять лет до этого Ганди спросили, почему он допускает частную собственность, ведь ее существование, по-видимому, противоречит учению ненасилия. На что он ответил, что необходимо сделать уступки тем, кто зарабатывает деньги, но не желает добровольно использовать свои накопления во благо человечества. А когда Ганди спросили, почему в таком случае он не выступает за замену частной собственности государственной, он ответил, что государственная собственность лучше частной, но она нежелательна с позиции учения о ненасилии. Он сказал: «Я твердо убежден в том, что, если государство подавляет капитализм насильственными мерами, оно погружается в пучину насилия и никогда не сможет перейти к ненасилию» [Ibid., p. 113].

Очевидно, что в его позиции не было ничего опасного для собственников и даже для землевладельческой аристократии, которая в целом была настроена неприязненно по отношению к Ганди. Он последовательно утверждал свою точку зрения, упрекая за насильственные методы борь-

³⁵ Ганди не придавал существенного значения отмене неприкасаемости до 1933 г., что было на руку британцам, которые надеялись, что это отвлечет внимание от политических вопросов, см: [Nanda, 1958, p. 355].

бы крестьянское движение, которое, согласно его высказыванию 1938 г., «мало чем отличалось бы от фашизма» [Gandhi, 1957, vol. 3, p. 178, 180, 189]. Насколько мне известно, самый радикальный шаг, совершенный Ганди относительно экспроприации заминдаров, был сделан в 1946 г., когда он выступил со скрытой угрозой, сказав, что не все члены ИНК отличаются ангельским характером, и намекнул на то, что независимая Индия может оказаться в несправедливых руках тех, кто уничтожит заминдаров. Но и в этом случае он прибавил примирительные слова о том, что конгресс будет справедлив, поскольку «в противном случае все благо, которое он может принести, испарится в одно мгновение» [Ibid., p. 190–191].

Согласно концепции свадеши, главной целью программы Ганди было возрождение традиционной индийской деревни. Именно о крестьянах он больше всего заботился, и они с особенным энтузиазмом приветствовали его движение. Как он заметил в 1933 г.:

Я могу размышлять лишь с позиции миллионов крестьян, могу лишь поставить свое счастье в зависимость от благополучия беднейших из них и пожелать себе жить, только если они будут жить. Мой ум прост, я не способен думать ни о чем большем, чем небольшое веретено от небольшой прялки, которое я могу переносить с собой с места и которое я могу без труда сделать [Ibid., vol. 2, p. 157].

Задача подъема деревни представлялась ему неполитической темой, в отношении которой все группы населения способны договориться и сотрудничать [Ibid., p. 162]. Ганди не приходило в голову, что сохранение индийской деревни в неизменном виде обрекает массы простого населения на жизнь в убожестве, невежестве и болезни. Промышленность, по его мнению, приносила с собой только материализм и насилие. На его взгляд, сами англичане были жертвами современной цивилизации, заслуживающими скорее сожаления, чем ненависти [Nanda, 1958, p. 188]. Как обычно происходит при ностальгической идеализации крестьянского быта, любовь Ганди к деревне отличалась антигородскими и даже антикапиталистическими мотивами. В индийском опыте у этой позиции было реальное основание. На Ганди произвела сильное впечатление история уничтожения аграрного кустарного производства, в особенности текстильного, с появлением британских промышленных товаров. В 1922 г. он страстно обрушился на известный тезис о том, что англичане принесли в Индию блага законности и правопорядка. По его словам, закон был лишь прикрытием для жестокой эксплуатации, поэтому никакое жонглирование цифрами не способно утаить «свидетельство, которое представляет собой “зрелище скелетов” во многих деревнях.

У меня нет никакого сомнения, что если есть на небе бог, то англичане и индийские горожане понесут ответственность за эти преступления против человечности, возможно беспрецедентные в истории» [Gandhi, 1933, p. 699–700]. Эта тема повторяется во многих его речах. Подъем деревни, о котором он мечтал, был бы «честной попыткой вернуть крестьянам то, что жестоко и бездумно отнято у них горожанами» [Gandhi, 1957, vol. 2, p. 159]. Применение техники было уместно, когда не хватало рабочих рук, чтобы выполнить задачу. Но в другой ситуации она оказывалась злом. «Как бы странно это ни прозвучало, каждая мельница — это угроза для деревенских жителей» [Ibid., p. 160, 163].

Подобные идеи вряд ли могли понравиться богатым спонсорам национального движения. Кроме того, состоятельные торговцы были возмущены допуском неприкасаемых в ашрам [Nanda, 1958, p. 135] Ганди, а его поддержка бастующих рабочих в Ахмадабаде в конце Первой мировой войны могла вызвать неприязнь остальных [Ibid., p. 165]. На первый взгляд кажется невероятным, что богатые городские классы могли оказать поддержку национальному движению, при том что землевладельческая аристократия, по поводу которой Ганди сделал ряд примирительных заявлений, относилась к нему враждебно.

Противоречие отчасти устраняется, если вспомнить, что программа свадеши, или локальной автономии, была по сути призывом «покупай индийское!» и помогла в борьбе с засильем британских товаров. Более того, с позиции богатых классов в учении Ганди о достоинстве простого труда были полезные стороны. Он выступал против политических забастовок, потому что они выходили за рамки учения о ненасилии и отказа от сотрудничества. Как он говорил в 1921 г., «не требуется особенных усилий разума для понимания того, что наибольшая опасность заключается в политическом использовании труда, пока рабочие не понимают политических условий страны и не готовы трудиться на общее благо» [Gandhi, 1933, p. 1049–1050]. Даже в случае экономических забастовок он подчеркивал «необходимость подумать тысячу раз, прежде чем бастовать». Он надеялся, что, когда рабочие станут более организованными и образованными, принцип арбитража вытеснит забастовки [Ibid., p. 1048]. Эти взгляды нашли выражение в его осуждении социалистических идей, например конфискации частной собственности и классовой борьбы, в заявлении, опубликованном влиятельным Рабочим комитетом ИНК в июне 1934 г. [Brecher, 1959, p. 202].

Таким образом, учение Ганди, несмотря на ряд черт, характерных для крестьянского радикализма, в целом лило воду на мельницу богатых городских классов. Его идеи успешно соперничали с радикальными западными теориями (которых придерживались немногие интеллектуалы) и помогли вовлечь массы в движение независимости, что придало ему

энергию и действенность, но в то же время позволило сохранить привлекательность движения в глазах класса собственников.

Ганди был выразителем взглядов индийских крестьян и сельских ремесленников. Имеется множество свидетельств об энтузиазме, с которым эти слои встречали его воззвания. Крупные части этой группы населения, как показано в следующем разделе, пострадали от натиска капитализма, ставшего кульминацией предшествующих бедствий. В итоге то же самое недовольство, которое в Японии нашло для себя отдушину в движении «молодых офицеров» и в ура-патриотизме, в Индии при Ганди дало начало совершенно иной разновидности национализма. Тем не менее их сходства не менее важны, чем различия. В обоих случаях националистические движения оглядывались в прошлое в поисках модели идеального общества. В обоих случаях они не понимали проблем современного мира. По отношению к Ганди эта оценка может показаться излишне суровой. Многие западные либералы, осудившие современное индустриальное общество, увидели в Ганди весьма привлекательную историческую фигуру, особенно из-за его внимания к ненасилию. Мне эта симпатия кажется признаком слабости современного либерализма и его неспособности решить проблемы западного общества. Если что и ясно с определенностью, так это то, что современные технологии никуда не исчезнут и быстро распространятся по всему миру. Не менее очевидно, что, в какой бы форме ни возникло идеальное общество, если оно, конечно, когда-нибудь возникнет, это точно будет не автономная индийская деревня, полагающаяся на услуги местного кустарного производства, эмблемой которого является прялка Ганди.

7. ЗАМЕЧАНИЕ О МАСШТАБЕ И ХАРАКТЕРЕ КРЕСТЬЯНСКОГО НАСИЛИЯ

Конфигурация классовых отношений в период британской оккупации и характер националистических лидеров придали освободительному движению черты квиетизма, что ослабило революционные тенденции среди крестьянства. Свою роль сыграли также другие факторы, в особенности то, что нижние слои крестьянства были разобщены по кастовому и лингвистическому принципу, будучи привязанными к господствующему порядку традиционными нормами и мелкой собственностью. Тем не менее сияние репутации Ганди и желание англичан скрыть масштаб беспорядков, имевших место как в период их правления, так и в момент перехода к независимости, не позволяют судить о подлинном размахе происходившего насилия. В последние 200 лет индийские крестьяне отнюдь не всегда вели себя покорно, как некогда считали ученые. Анализ тех условий, которые заставляли крестьян переходить к организо-

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

му насилию, может оказаться нелегкой задачей в силу скудности свидетельств, однако он способен пролить свет на факторы, которые препятствовали вспышкам насилия.

Ряд поучительных сведений можно извлечь из анализа крестьянских выступлений с момента установления британской гегемонии на субконтиненте после битвы при Плесси до восстания сипаев. Один индийский ученый недавно проделал очень полезную работу по сопоставлению огромного массива материалов о гражданских смутах на протяжении этого периода. Встречается около десятка достаточно явных случаев массовых крестьянских восстаний против помещиков. По крайней мере пять из них выходят за рамки нашего исследования, поскольку речь идет о выступлениях мусульман или местных неиндусских племен³⁶. В целом список крестьянских бунтов в Индии производит бледное впечатление по сравнению с Китаем. Тем не менее встречаются существенные моменты. Мы рассмотрим крупномасштабные восстания. Во всех случаях на первом плане были экономические бедствия крестьян. Поводом к одному восстанию стала грядущая инспекция; в других случаях речь шла о разгневанных крестьянах, которые повесили налоговых чиновников из касты брахманов, занимавшихся вымогательством. Однажды крестьяне-индуисты восстали против мусульманских сборщиков налогов [Chaudhuri, 1955, р. 65–66, 141, 172]. В этом эпизоде к группам мятежников численностью в несколько сотен человек, которые скитались по сельской местности, присоединялись жители, временно принимавшие их сторону ради общей борьбы с правительством, чье поло-

³⁶ См.: [Chaudhuri, 1955]. Здесь указатель на термины «peasantry» и «peasant movements». Восемь случаев в Бенгалии перечислены на р. 28 (п. 2). Notes 14, 15, 18, 22, 23 касаются неиндусских групп. Кроме того, было еще два эпизода за пределами Бенгалии; см. р. 141, 172, где упоминаются главные события. Мои познания об Индии недостаточно подробны, чтобы судить точно, в каких случаях отражены или не отражены индусские социальные условия, поскольку ислам часто оказывается лишь фасадом индусских по сути институций. В то же время исламское нативистское движение, проповедующее равенство всех людей (ваххабиты в 14-м случае), похоже, нерелевантно для рассматриваемой дискуссии. Намного более краткое исследование с позиции социального радикализма, а не национализма см.: [Natarajan, 1953]. Автор собрал информацию о четырех главных сериях выступлений: 1) восстание санталов 1855–1856 гг., неиндусская туземная группа; 2) забастовка производителей индиго в 1860 г., специальный случай, связанный с плантаторской экономикой; 3) деканские бунты 1875 г., единственный случай, когда, похоже, были вовлечены обычные индусские крестьяне; и 4) восстания молла, протекавшие с 1836 по 1896 г., — ряд выступлений исламских культиваторов против индусских помещиков. Хотя эта книга может быть полезна, ее автору не удалось обнаружить радикальную традицию восстаний, характерную для индийских крестьян.

жение в то время было неустойчивым. Другой существенный момент заключается в том, что солидарность восставших, по крайней мере на время, преодолевала кастовые различия, например те, что изолировали крестьян от ремесленников и сельских служащих. Однажды объединились дояры, маслобойщики и кузнецы; в другой раз — цирюльники и домашние слуги, включая помощников кредитора [Natarajan, 1953, p. 23, 26, 58]. Фрагментация индийской деревни, очевидно, не всегда была помехой для борьбы. Чтобы обобщить то, что можно узнать из этих свидетельств, мы можем заключить, что индийские крестьяне имели вполне определенные представления о справедливом и несправедливом правлении, что экономические тяготы могли принудить к локальному выступлению даже, казалось бы, покорное население и, наконец, что традиционные лидеры, поддерживавшие тесные связи с крестьянством, играли некоторую роль в этих восстаниях.

На поздних этапах *рах Britannica*, особенно в беспокойные годы после мировых войн, скорее всего случались подобные мятежи. Однако насилие этого этапа не было преимущественно революционным. Революционное содержание, каким бы они ни было, затемнялось религиозной войной, к рассмотрению которой мы вскоре обратимся. Тем не менее в одной местности, Хайдарабаде, тлеющее недовольство на короткий срок переросло в открытое революционное выступление во время суматохи, сопровождавшей уход британцев. В качестве исключения, проливающего свет на общую ситуацию, восстание в Хайдарабаде заслуживает подробного рассмотрения.

До обретения независимости Хайдарабад был одним из самых крупных и мощных княжеств, а также относился к той части Индии, где политическая и социальная структура, унаследованная со времен мусульманского правления, сохранилась в более или менее неизменном виде [Smith, 1950, p. 28–31]. Около 80% населения были индусами [Qureshi, 1949, p. i, 30]. Возможно, этот регион отставал по сравнению с остальной Индией, однако нет никаких свидетельств, что положение крестьянства в Хайдарабаде было существенно хуже, чем во многих других частях страны. В подробных отчетах сообщается о типичной фрагментации земельных владений, избытке населения, об 1,15 акра земли на человека в областях производства продуктов питания в 1939–1940 гг., о проблемах с арендой, долгах и о большом числе крайне бедных сельскохозяйственных рабочих, составлявших около 40% населения [Ibid., p. 39, 61, 67]. Возможно, ситуация некоторых сельскохозяйственных рабочих, существовавших на краю долгового рабства, была хуже, чем в остальной Индии [Ibid., p. 72]. Тем не менее примерно такие же условия можно было обнаружить во многих районах, где бунтов не произошло. Кроме того, само по себе восстание случилось в той части провинции,

где проблемы аренды были менее острыми [Ibid, p. 133–134]³⁷. Причем оно распространилось в область Телингана из соседней области Андхра, где коммунисты обосновались в качестве сравнительно богатой землевладельческой касты [Smith, 1950, p. 32; Harrison, 1960, p. 162].

Коммунисты начали свою работу с крестьянами из Телинганы в 1940 г. Их успех был поразителен. Деревня за деревней, особенно в областях вдоль границы с Мадрасом, в 1943–1944 гг. отказались повиноваться приказам помещиков поставлять рабочую силу, платить арендную плату и налоги [Smith, 1950, p. 33].

Дополнительный шанс предоставили коммунистам смятение и временный паралич власти, поскольку князь Хайдарабада, низам, совершал политические маневры, чтобы избежать поглощения новым индийским союзом. По утверждениям коммунистов, в конце 1947 — начале 1948 г. были «освобождены» по крайней мере 2 тыс. деревень. Возникли сельские советы, взявшие под контроль обширную территорию. На короткое время коммунисты уничтожили власть помещиков и полиции, распределили землю, списали долги и устранили своих врагов в классической манере. Один исследователь описывает это как «крупнейшее и на короткий срок, возможно, самое успешное крестьянское восстание в Азии за пределами Китая» [Ibid., p. 33–40]. Низам Хайдарабада пытался воспользоваться силами коммунистов, а также мусульманских реакционных головорезов, организованных в протофашистские банды, для предотвращения аннексии своей территории. 13 сентября 1948 г. индийская армия завоевала княжество, потратив на это меньше недели. Однако потребовались еще «несколько месяцев» интенсивных военных и полицейских операций, тысячи арестов, казни революционных вождей без суда и следствия для того, чтобы усмирить коммунистически настроенных крестьян в Телингане [Ibid., p. 45, 47].

Первый урок провалившейся революции в Хайдарабаде — отрицательный. Следует отказаться от всех теорий, гласящих, что касты либо какие-то иные типичные черты индийского крестьянского общества являются непреодолимым препятствием для восстания. У крестьянства есть революционный потенциал. Кроме того, ухудшение материальных условий само по себе еще не является решающим фактором для начала бунта, хотя это влияет на его интенсивность. Нет сведений о том, что в областях, где случился мятеж, материальная ситуация крестьян была хуже, напротив, есть надежные свидетельства, указывающие на противоположное. Коммунисты сумели на время распространить свою власть, хотя им и не удалось закрепиться, из-за паралича высшей по-

³⁷ Это место называется Телингана (Telingana), варианты написания: Telingana, Tilangana.

литической администрации в регионе. Аналогичные обстоятельства в прошлом являлись необходимыми условиями деревенских восстаний. В Хайдарабаде в 1947 и 1948 гг. этот паралич власти был исключительным событием. Если ему суждено повториться в будущем, в других местах так же легко могут возникнуть очаги коммунистического правления.

До сих пор революционный экстремизм пользовался в Индии незначительной поддержкой и очень малым влиянием³⁸. До смерти Неру и в последующие годы центральное правительство оставалось достаточно сильным, чтобы уничтожать очаги коммунизма, когда это движение становилось революционным, и удерживать его в законных рамках, когда оно имело реформистский характер. Чтобы понять причины этого, следует обратиться к историческим фактам.

Согласно предположению, высказанному мной ранее, в добританскую эпоху кастовая система обеспечивала способ организации местного сообщества таким образом, что центральное правительство воспринималось скорее как нечто избыточное, а не как то, что имело смысл поменять, когда дела пошли плохо. Касты были формой организации предельно фрагментированного общества, включавшего множество национальностей, религий и языков, позволявшей им по крайней мере сосуществовать вместе на одной территории. Хотя эта фрагментация временами отчасти преодолевалась в некоторых местностях, она препятствовала широкомасштабной революции. Более того, система каст принуждала к иерархическому подчинению. Если заставить человека во множестве повседневных поступков ощущать свое скромное положение, он будет вести себя смиренно. Традиционный кастовый этикет не был чем-то внешним, он имел политические последствия. Наконец, в качестве предохранительного клапана касты обеспечивали способ коллективной вертикальной мобильности в рамках традиционной системы благодаря механизму «санскритизации». Во всех этих отношениях индийское общество резко отличалось от Китайской империи.

Все эти факторы, пусть и в ослабленной форме, сохранили свое влияние в сельской местности, когда при британцах началась ограниченная модернизация. Метод проведения модернизации также во многом благоприятствовал стабильности. Восстание сипаев случилось еще до того, как лидеры радикальных движений научились превращать реакционные настроения в революционные порывы; хотя остается спорным вопрос, насколько они смогли бы воспользоваться этим кризисом. Когда национальное движение стало проникать в крестьянскую среду, оно оказало

³⁸ Подробности см.: [Overstreet, Windmiller, 1959]. К сожалению, это объемное исследование почти не проводит связей между коммунизмом и социальными тенденциями в Индии.

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

на нее довольно умиротворяющее влияние по указанным выше причинам. Особо примечательно, что передача власти от британцев к индийцам прошла без какого-либо реального кризиса власти; хотя небольшое осложнение возникло в Хайдарабаде, где произошло неудавшееся революционное восстание.

Один аспект заслуживает более полного рассмотрения. Многочисленные акты враждебности, вызванные воздействием современного мира, вероятно, вылились в ужасы религиозной войны между индусами и мусульманами. В качестве показателя ее значимости достаточно напомнить, что в мятежах, сопровождавших раздел Индии и провозглашение независимости, погибли 200 тыс. человек, а 12 млн были вынуждены бежать в разные стороны через границу между двумя новыми государствами [Mellor, 1951, p. 45]. На протяжении долгой индийской истории межрелигиозная вражда, конечно, иногда приобретала насильственные формы. В основном это были попытки мусульманских правителей с помощью силы обратить индусов в свою веру. В XX в. религиозная вражда и фанатизм имеют качественное отличие. Они скорее напоминают хорошо известный феномен нативизма. Во многих частях мира при ослаблении господствующей культуры, подвергающем опасности часть населения, в ответ происходит возрождение традиционного образа жизни с новой и неистовой силой. Зачастую возврат к прошлому слабо связан с исторической реальностью. Нечто подобное случилось и в Индии, причем это обстоятельство не получило прежде адекватного рассмотрения. Общинные религиозные чувства сыграли свою роль в слабой версии реакционной фазы развития Индии и, по сути, оказались ее самым худшим аспектом. Но по крайней мере для Индийской республики и ее лидеров они были неофициальными и антиправительственными. К чести Ганди и Неру, оба лидера боролись против религиозного насилия всеми доступными методами. Религиозная война могла оказаться заменой несостоявшейся революции. Но в то же время это было крайнее выражение фрагментации индийского общества, ставшей помехой для всех эффективных политических действий, а не просто для революционного радикализма. Естественной мишенью радикалов могли стать изгои и деревенские пролетарии. Помимо тенденции к «санскритизации», радикализм сталкивался с другими препятствиями. Революционеры не способны обратиться напрямую к деревенскому пролетариату, даже под мирным предлогом, не настроив против себя массу мелких и средних крестьян. В любом случае реальная проблема революционного движения состоит в том, чтобы вывести из состояния *status quo* целые области и деревни, — задача трудно-выполнимая в Индии, да и то разве что на ограниченной территории. Кое-где коммунисты могли опираться и опирались в своих обращениях на языковую и региональную лояльность. В других случаях они попы-

тались добиться успеха, воспользовавшись кастовыми противоречиями (хороший пример см.: [Harrison, 1960, p. 222–223]). Апелляция к местечковой лояльности или к предмету споров может порой стать удачной революционной тактикой. Но когда наступает время для превращения локального недовольства в большую политику, эти мелкие поводы для враждебности нейтрализуют друг друга в какофонии несущественных притязаний. Для революции требуются общечеловеческие идеалы, а не пошлые местечковые суждения.

Проблема быстрой смены тактики (по причинам, не имеющим отношения к индийским реалиям) и вопрос о равнении на курс иностранного государства, будь то советского или китайского, также являются серьезными препятствиями, которые возникают в настоящее время перед изолированными группами, претендующими на следование революционным традициям. Однако самое главное то, что режим Неру пользуется поддержкой среди верхнего слоя крестьянства. Силы порядка сейчас имеют на руках сильные карты; впрочем, все эти карты унаследованы из прошлого, их ценность постепенно будет снижаться, если индийским политическим лидерам не удастся привести в движение и удержать под контролем глубинные тенденции, которые уже сегодня определяют будущее индийской деревни. Хотя исход этих событий непредсказуем, суть самой проблемы можно понять через исследование причин того, что было сделано и что было оставлено незавершенным.

8. НЕЗАВИСИМОСТЬ И ЦЕНА МИРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

К моменту изгнания британцев в 1947 г. в индийском обществе установился порочный круг. Движение в сторону индустриализации было незначительным, потому что для строительства фабрик не накапливались ресурсы. Сельское хозяйство находилось в стагнации и было неэффективным, потому что влияние города не проникало в деревню для увеличения производительности и реформы деревенского общества. Из-за этого деревня не поставляла ресурсы, которые используются для индустриального роста. Помещики и кредиторы забирали прибыль себе и транжирили ее без пользы для общества.

Термин «порочный круг» создает впечатление, что ситуация безнадежна, но это не так. Как показывает опыт других стран, недавно перенесших индустриализацию, существует политика, способная разорвать порочный круг. В общих чертах как сама проблема, так и ответ на нее достаточно просты. Все сводится к тому, чтобы, используя комбинацию экономических стимулов и политического принуждения, заставить людей, возделывающих землю, повышать урожайность и одновременно направлять существенную часть полученной таким образом прибыли на создание индустриального общества. Но в центре этой проблемы

находится политический вопрос о том, сформирован ли класс людей, обладающих талантами и безжалостностью для проведения подобных изменений. В Англии это были сквайры и первые промышленные капиталисты, в России — коммунисты, в Японии — оппозиционно настроенные аристократы, сумевшие превратиться в бюрократов. По указанным выше причинам в Индии ничего такого не обнаруживается.

Прежде чем вдаваться в подробности, уместно вновь предостеречь против психологизма и некритического отношения к фактам в рассуждениях об отсутствии серьезной тенденции к переменам. На время мы можем ограничиться ситуацией в деревне. Отчасти из-за отсутствия лучшего термина мы вели речь о помещике-паразите. Это не означает, что помещики просто сидели в сторонке и наслаждались тем, что их карманы наполняет арендная плата, хотя, конечно, и такое происходило, причем, вероятно, в больших масштабах. Было много активных и энергичных помещиков, продемонстрировавших не меньше предпринимательских способностей и желания достичь цели, чем встречается в образцовом протестантском капитализме. Но в рамках индийского общества такие таланты были востребованы только для того, чтобы дергать за рычаги старой репрессивной системы. Помещик располагал всеми средствами для увеличения платежей своих арендаторов — от британских судов до механизмов, обеспеченных политической и социальной структурой деревни (ряд «живых» примеров см.: [Neale, 1962, p. 204–205]). Несложно привести примеры инноваций, произведенных внутри системы, для доказательства того, что дело было отнюдь не в отсутствии людей, склонных к предпринимательству. Те, кто обладает предпринимательской хваткой, вероятно, составляют меньшинство в любой репрезентативной группе. Задача состоит в том, чтобы дать им свободу действия и направить их на решение серьезных социальных проблем. Создание благоприятной ситуации для проявления деловых наклонностей — это в широком смысле политическая проблема.

Не только отсутствие прогрессивных деловых новаторов в деревне не являлось проблемой, но и отсутствие ресурсов. Потенциально ресурсов было достаточно. Чтобы убедиться в этом, можно взглянуть на отдельную деревню глазами антрополога:

Крестьянин из Гопалпура осуществляет сельскохозяйственные работы так, как могут себе позволить лишь очень богатые страны. Вместо того, чтобы использовать достаточное количество семян хорошего качества и известной всхожести, крестьянин высевает на поля расточительные объемы неотобранных и непроверенных семян. Не умея защитить всходы, он поневоле делится сеянцами с птицами, насекомыми и дикими животными. Он беспечно хранит навоз и компост за дверью своего дома, не думая о защите удобре-

ний от солнца или дождя. Вместо того, чтобы тщательно оберегать урожай, он хранит его у себя дома в глиняных кувшинах или, хуже того, на грубом каменном полу. То, что не становится добычей крыс, съедают или портят черви и долгоносики [Beals, 1963, p. 78].

Пусть не везде дела обстояли так плохо, как в этой деревне, — где хуже, где лучше, но эта ситуация показательна в целом для Индии на семнадцатый год после обретения независимости. В стране более 500 тыс. деревень. Если умножить описанную ситуацию на несколько сотен тысяч деревень, можно увидеть необъятные ресурсы, которые возникнут вследствие изменения сельскохозяйственной практики.

Но сами люди не меняются просто потому, что им сказано измениться. Такая ситуация длится уже некоторое время. Необходимо изменить саму ситуацию, в которой находятся люди, работающие на земле, чтобы они изменили свое поведение. Если же в целом ничто не изменилось, то для этого есть политические причины. В последней части этой главы наша задача будет состоять в том, чтобы выяснить эти причины, оценить препятствия на пути перемен и то, какие силы необходимо задействовать для преодоления препятствий. Выполнение этой задачи предполагает не предсказание, но анализ проблемы, выявляющий спектр возможных решений и их сравнительную цену, включая цену отсутствия решения.

Для начала лучше всего вернуться к национальной политической сцене и к тем силам, которые действуют в индийском обществе после обретения независимости в 1947 г. Британская оккупация привела к появлению оппозиционного движения — партии Индийский национальный конгресс, в рядах которой были интеллектуалы вроде Джавахарлала Неру, симпатизировавшие социализму; состоятельные бизнесмены, с неприязнью относившиеся к таким идеям; журналисты, политики и адвокаты, придерживавшиеся широкого круга идей. В целом ИНК пользовался поддержкой крестьянства, воодушевленного учением Махатмы Ганди, бывшего скорее традиционным индийским святым, чем современным политиком. Класс промышленных рабочих был слишком малочислен и не играл существенной роли в политике. Общая борьба против британцев, чья власть давала всем группам удобное объяснение для любых бедствий, долго сглаживала конфликты между лидерами групп и приучала их к сотрудничеству. Эти конфликты вышли наружу после исчезновения общего врага. Тем не менее в отсутствие сколько-нибудь мощного радикального движения среди промышленных рабочих или крестьян консервативным элементам без труда удавалось направлять Индию по умеренному курсу, который не представлял угрозы их интересам.

Борьба за экономическую политику сразу после обретения независимости проливает свет на причины того, почему умеренные силы облада-

ют таким влиянием. При поддержке Сардара Валлабхаи Пателя бизнес-сообщество провело успешную атаку на систему регулирования цен на продукты питания и средства первой необходимости. Правительство отказалось от контроля цен, что привело к сильной инфляции. Цены выросли на 30% за несколько месяцев. Затем правительство вновь взяло ситуацию под контроль, но не раньше, чем серьезно пострадали миллионы тех, чьего дохода даже в «нормальных» условиях едва хватало на самое необходимое. Патель и Неру составляли «дуумвират», правивший Индией с момента Раздела до смерти Пателя в 1950 г. Помимо того что Патель представлял интересы бизнеса, он был тем лидером, у которого помещики и ортодоксальные индусы искали защиты от аграрных и секулярных реформ. В это время Ганди уже вмешивался в политику, лишь когда чувствовал, что на кону стоят серьезные моральные принципы. Споры о регулировании цен были одним из таких случаев. Характерно, что вмешательство Ганди склонило чашу весов в сторону снижения контроля. Таким образом, по решающему вопросу, затрагивающему судьбы миллионов людей, причем по первому же вопросу, возникшему после обретения независимости, вождь крестьянских масс выразил свою поддержку консерваторам [Brecher, 1959, p. 390, 395, 509–510]. В этом эпизоде мы видим уже знакомую связь между крестьянскими и коммерческими интересами, которая на некоторое время оказалась важнейшим фактором индийской политики.

Махатма Ганди был убит в 1948 г. Сардар Патель умер в 1950 г. За один год Джавахарлал Неру с помощью парламентских и закулисных маневров сумел превратиться в бесспорного лидера ИНК и страны. Индия впервые в своей истории оказалась готовой к быстрому росту или по крайней мере к тому, чтобы всерьез приступить к решению собственных проблем. В марте 1950 г. была сформирована Плановая комиссия во главе с Неру. В 1951 г. началось выполнение первого пятилетнего плана, за которым последовали второй и третий. Однако лишь в 1955 г. правительство приняло решение ориентироваться на «социалистическую модель общества» [Ibid., p. 432–436, 520, 528–530].

Несмотря на обилие разговоров о социализме, серьезно беспокоивших бизнес-сообщество, на практике было сделано очень мало. К 1961 г. центральное правительство через множество фирм проявляло активность в таких разных областях, как атомная энергия, электроника, производство локомотивов, авиастроение, электрооборудование, станкостроение, производство антибиотиков, при этом оно либо владело, либо поддерживало какое-то количество предприятий этих отраслей. Но доля частной промышленности оставалась довольно существенной. Согласно тексту третьего пятилетнего плана, правительство рассчитывало увеличить долю государственного сектора экономики в производстве с 2% в

1961 г. почти до одной четверти. Однако львиная доля инвестиций была выделена на транспорт и коммуникации, иными словами — на создание служб, востребованных частной промышленностью [India., 1961, p. 14, 23]. Сама по себе такая политика не обязательно провальна. Но было бы серьезной ошибкой сослаться на индийский эксперимент как на разновидность социализма. В промышленности определенно произошел прогресс. Я не стану его оценивать, приведу только голую статистическую информацию о том, что индекс промышленного производства вырос со 100 в 1956 г. до 158,2 в 1963 г., т.е. увеличился больше чем наполовину, и что доход на душу населения намного превышал рост численности населения, в результате чего возник медленный рост, по 2% в год, с 1951 по 1961 г. [Far Eastern., 1964, p. 168, 174]³⁹. Тем не менее стоит повторить предостережение, что в этих цифрах содержится большая доля предположений. На сегодняшний день достигнутый прогресс в значительной мере соответствует капиталистическому пути развития.

В области аграрной политики главной задачей было повышение урожайности в рамках господствующей системы, унаследованной от Акбара и британцев. Для политики эпохи Неру были характерны два основных направления: искоренение землевладельческих проблем и стремление повысить урожайность через Программу местного развития.

Вскоре после провозглашения независимости индийское правительство предприняло фронтальную атаку на долго обсуждавшуюся проблему заминдаров. Как мы видели, заминдар был не только помещиком, но и сборщиком налогов, занимавшим позицию посредника между правительством и теми, кто работал на земле. Заминдаров вытесняли, конечно, не ради установления социалистической формы сельского хозяйства, но для поощрения крестьянского земледелия, поскольку реальный труженик получал наконец постоянную долю земли, которую обрабатывал, в условиях ограничения арендной платы, использования принудительного труда и других злоупотреблений [Patel, 1954, p. 402]. Принятие конкретных законодательных актов было передано в компетенцию штатов нового государства. Разнообразие местных условий было достаточным основанием для этого решения. Но передача вопроса на усмотрение штатов повышала вероятность того, что этим воспользуются в своих интересах влиятельные местные группы, которые вскоре поставили под сомнение законность реформы. Когда проволоочки стали угрожающими, центральное правительство ускорило процесс, внося поправки в конституцию [Ibid., p. 477]. К 1961 г. официальные источники сообщали о том, что посредники были устранены повсюду, за исключением незначительных регионов. Прежде в собственности посредников

³⁹ Также отмечалось небольшое снижение дохода на душу населения согласно оценкам на 1962–1963 гг.

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

находилось более 43% пахотных земель Индии, к 1961 г. предположительно их доля сократилась до 8,5% [Times of India, 1961, p. 102]. Более внимательный взгляд на ситуацию внушает сильное подозрение, что связь этой статистики с социальными реалиями в деревне имеет произвольный характер.

Говорить о быстром решении проблемы заминдаров было бы серьезным заблуждением. В ряде штатов местное правительство не ограничивало размер земли, которую заминдары могут сохранить за собой, но при условии, что они используют ее для проживания и культивации. Цель была похвальной: требовалось избежать распада крупных эффективных хозяйств, хотя необходимо помнить о том, что в Индии крупная ферма — это не хорошо управляемая единица культивации, а большой холдинг, сдаваемый в аренду множеству мелких арендаторов. Последствием этой особенности во многих областях стало то, что заминдары провели кампанию по выселению арендаторов, многие из которых уже долгое время жили на этой земле, и увеличили площадь собственного домашнего хозяйства. Один добросовестный исследователь описывает эти последствия как неслыханную в предшествующей истории Индии экспроприацию [Patel, 1954, p. 478–479]. Даже в тексте третьего пятилетнего плана признается, что арендное законодательство на практике принесло меньше пользы, чем ожидалось, потому что арендаторы были вытеснены помещиками под видом добровольного отказа от земли. Сведения по штатам об успехах реформы остаются разрозненными на конец 1963 г., т.е. спустя десятилетие после начала перемен [India..., 1961, p. 224–225]⁴⁰. Отчеты с мест и локальные исследования показывают очень мало изменений. Дэниел Торнер в 1960 г. сделал вывод, что «по сути, богачи оставили себе много земли и заставляют других обрабатывать ее» [Thorner, Thorner, 1962, p. 5]⁴¹.

Тем не менее влиятельные люди на селе чувствуют себя сегодня менее спокойно, чем прежде. Правительственная система не поддерживает их так же твердо, как это было при британском правлении. Я даже осмелюсь предположить, что замечание о том, что богачи уже не так богаты, как раньше, недалеко от истины и что арендное законодательство эпохи Неру внесло значительный вклад в общую политику, главным последствием которой стало выдвижение на первый план в индийском деревенском пейзаже мелких помещиков и зажиточных крестьян (эти две группы часто пересекались) [Neale, 1962, p. 257]. Подобное впечатление усиливается после знакомства с результатами статистического ис-

⁴⁰ Постоянная критика штатов со стороны Плановой комиссии за слабые успехи земельной реформы упоминается: [Far Eastern..., 1963, p. 294].

⁴¹ См. также на p. 4 его поучительные замечания очевидца об оригинальной демонстрации проекта местного развития в Этавахе.

следования о распределении земельной собственности, выполненного в 1953–1954 гг. — к тому времени посредники были уже якобы почти ликвидированы. Статистические данные по Индии очень ненадежны по причинам, обозначенным выше. Но итоговый вывод о том, что примерно половина всей земли находится в собственности у менее чем одной восьмой части сельского населения, вероятно, не содержит большой ошибки⁴². Официальная аграрная политика эгалитарна, но это проявляется скорее на словах, чем на деле. Та же оценка справедлива по отношению к Программе местного развития, к рассмотрению которой мы переходим.

Интеллектуальные и институциональные основы этой программы не связаны с марксистской версией социализма. Ее важный элемент — вера Ганди в то, что идеализированная индийская деревня — это наиболее подходящая среда для цивилизованного человека. Другой элемент — американский опыт повышения квалификации аграриев. Третий элемент — влияние британского патернализма и, конкретно, движений за «подъем деревни». Последний элемент представляется мне самым важным. Помимо, конечно, масштабов эксперимента, я не смог обнаружить существенных различий между Программой местного развития в Индии и тем, что опробовалось и рекомендовалось в сочинениях Ф.Л. Брейна или сэра Малкольма Дарлинга [Braune, 1929; Darling, 1947].

Такая странная родословная объясняет две главные идеи, на которые опирается центральная доктрина программы. Одна из идей состоит в том, что индийские крестьяне захотят экономического прогресса и будут поддерживать его своими силами, как только им покажут его преимущества. Другая идея — это то, что изменения нужно проводить демократически, т.е. в ответ на «реальные нужды» (излюбленный термин) индийских крестьян, которые каким-то образом смогут участвовать в планировании лучшей жизни для всех. В предварительной части программы основной упор делался на огромный потенциал народной энергии и энтузиазма, который можно направить на достижение новых, весьма туманно сформулированных социальных идеалов.

Такой настрой, а также пришедшее ему на смену разочарование заставляют вспомнить народническое движение русских интеллектуалов в XIX в. Индийский министр коммунального развития и кооперации однажды даже выступил с опровержением того, что реальной целью реформ был экономический прогресс:

Проект местного развития не имеет цели повышения производительности в сельском хозяйстве и промышленности, улучшения до-

⁴² Цифры см.: [Mitra, 1963, p. 299].

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

рог и домов, увеличения числа школ и больниц. Ничто из этого не является конечной целью проекта. У проекта развития нет множества целей, его цель одна — это лучшая жизнь [Deu, 1959, p. 348]⁴³.

События показали, что крестьянские массы неохотно перенимали новые, чуждые методы культивации, а достижение демократического согласия оказалось очень медленной и неэффективной процедурой, в то время как бюрократы, авторы проекта, настаивали на быстрых результатах. Эти трудности лежат в основе той дилеммы демократических реформ, с которой столкнулось правительство Неру.

Программа местного развития начала функционировать в 1952 г., т.е. ко времени написания данного исследования она действует уже 12 лет. К концу 1963 г. пресса объявила о том, что блоки развития (т.е. области проектов развития) охватили почти всю территорию Индии (Times of India, 1963, November 27). Хотя партия ИНК в начале 1959 г. приняла резолюцию, провозгласившую модифицированную версию коллективизма целью на будущее, для реализации этого ничего не было сделано⁴⁴. На практике политика Программы местного развития с большой осторожностью допускала изменения, затрагивающие социальную структуру деревни. Поначалу в официальных инструкциях, адресованных ответственным чиновникам, контактирующим с деревенскими жителями, не упоминались ни касты, ни отношения собственности, ни избыток рабочей силы в деревне, иными словами, ни одна реальная проблема [Dube, 1958, p. 22]. Мне не встречалось признаков изменения этой ситуации к лучшему. Больше всего усилий реформаторов было направлено на оживление и возрождение деревенской демократии через поощрение деятельности деревенских советов («панчаятов»). В некоторых частях страны это привело к ослаблению авторитета прежних помещиков и даже крестьянской элиты. Но процесс не зашел слишком далеко. В принципе понятие деревенской демократии — это часть романтической мечты, восходящей к Ганди и не связанной к сегодняшними реалиями. Досовременная индийская деревня была, вероятно, в равной мере мелкой деспотией и мелкой республикой; и сегодня она устроена именно

⁴³ В целом это эссе — хороший пример административной таинственности, окружавшей программы местного развития.

⁴⁴ Согласно «Резолюции Nagpur», как стал называться этот документ, «будущим аграрной модели должно быть кооперативное совместное фермерство, при котором земля выделяется под совместную обработку, а фермеры по-прежнему сохраняют свои права собственности и получают долю нетто-продукции, пропорциональную площади своей земли». Безземельные рабочие также должны были получать долю, но ее размеры не были определены. Текст см.: [Indian National Congress, 1959, p. 22–23].

так. Пытаться демократизировать деревню без изменения отношений собственности бессмысленно. (То, что простое перераспределение земли не является адекватной мерой, вполне ясно и не заслуживает отдельного комментария.) Наконец, реальные источники изменений, факторы, которые определяют судьбу крестьянства, находятся вне деревни. Крестьяне могут добиться улучшений через участие в выборах и через давление на государственную и национальную политику, но не в рамках деревенской политики.

В любом случае после того, как программа столкнулась с серьезными трудностями и с косвенной критикой после одной из рутинных экспертиз, даже последователи Ганди из числа чиновников открыто высказались против независимой крестьянской республики и призвали к более строгому контролю сверху [Tinker, 1963, p. 116–117; Retzlaff, 1959, p. 43, 71, 110].

Без внесения изменений в содержание программы усиленный контроль сверху едва ли поможет многого достичь. Пока оно сводится на практике к предоставлению крестьянам ресурсов и технологий посредством бюрократических процедур, но в то же время в программе обходятся стороной все попытки внести изменения в социальную структуру и в общую ситуацию, мешающую крестьянам перейти на прогрессивные методы работы. В этом, на мой взгляд, состоит фундаментальный недостаток всей этой политики. Ни Программа местного развития, ни программы земельной реформы не сделали никаких шагов для использования существующей или возможной прибыли, получаемой из сельского хозяйства, для экономического роста таким образом, чтобы он в конечном счете пошел на благо крестьянам. В самом деле, как подсчитал один выдающийся индийский экономист, правительство потратило на сельское хозяйство гораздо больше, чем получило от него прибыли! [Mitra, 1963, p. 295].

Это не значит, что правительство Неру должно было прибегнуть к сталинским методам для давления на крестьян. В том, чтобы заходить так далеко, нет никакой нужды. В рамках демократической системы достаточно вариантов для достижения лучших результатов. Смысл моего замечания скорее в том, что, позволяя старым институциям сохранять себя под прикрытием реформистской риторики и бюрократической шумихи, правительство Неру, во-первых, допустило сохранение прежних форм разбазаривания сельскохозяйственной прибыли, во-вторых, не смогло организовать рыночную экономику или ее рабочий аналог для того, чтобы приобретать у крестьян продукты и снабжать ими города, и, в-третьих, по этим причинам не смогло увеличить производительность сельского хозяйства или использовать во благо потенциально огромную прибыль, имеющуюся в деревне. Говоря прямо, аграрная програм-

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

ма Неру провалилась. Эта суровая оценка нуждается в обосновании и объяснении. Через семь лет после запуска Программы местного развития в официальном отчете указывалось, что более трех четвертей общего объема производства продуктов питания в Индии не достигают рынка сбыта [India., 1959a, p. 98]⁴⁵. Крестьяне до сих пор получают 85% займов у кредиторов и «иных лиц», скорее всего — у более состоятельных крестьян. Как и раньше, зерно, поступающее на рынок, продается местным перекупщикам по заниженным ценам в сезон сбора урожая. Крестьяне по-прежнему платят невероятные проценты по неадекватным кредитам, значительная часть которых расходуется на традиционные формы демонстрации богатства, такие как свадебное приданое. Кооперативы все так же предоставляют менее 10% общего объема сельскохозяйственных кредитов, используемых крестьянами [Ibid., p. 6, 71, 85]. Недовольство кооперативами как внешними бюрократическими организациями, чьи методы кредитования слишком медленны и громоздки по сравнению с привычным обращением к кредитору, остается характерной чертой деревенской жизни.

ТАБЛИЦА 2. Производство риса в Индии (официальные данные)

Год	Урожай, тыс. т	Год	Урожай, тыс. т
1948–1949	22,597	1956–1957	28,282
1949–1950	23,170	1957–1958	24,821
1950–1951	20,251	1958–1959	29,721
1951–1952	20,964	1959–1960	30,831
1952–1953	22,537	1960–1961	33,700
1953–1954	27,769	1961–1962	33,600
1954–1955	24,821	1962–1963	32,500 или 31,000
1955–1956	27,122		(по разным оценкам)

ИСТОЧНИКИ: Для 1948–1957 гг. [India., 1959b, p. 437]; для 1958–1961 гг. [Times of India, 1960–1961, p. 113; 1962–1963, p. 282]; для 1961–1963 гг. [Far Eastern Economic Review, 7.11.1963, p. 294]; нижняя оценка для 1962–1963 гг. взята из [Ibid., 1964, Yearbook, p. 174].

⁴⁵ В книге [Thorner, Thorner, 1962, ch. 8] этот доклад подвергается критике как «спешный политический маневр», нацеленный на то, чтобы отвлечь правительство от забот по усилению промышленного роста за счет раздувания страхов по поводу сельского хозяйства. Хотя, по моему мнению, в докладе не выявлены истоки проблемы, его пессимистические наблюдения отчасти оправдываются последующими событиями; в нем также содержится ряд ценных фактических моментов.

Основная слабость проявляется в неспособности увеличить незначительный прирост производства продуктов питания. Прежде чем останавливаться на причинах, полезно рассмотреть некоторые статистические данные. Хотя данные по производству и урожаю ненадежны, картина, которую они представляют, настолько ясна, что лишь невероятно крупный пробел способен повлиять на общую интерпретацию. В табл. 2 представлены официальные данные по производству риса в Индии с 1948 по 1963 г. Поскольку значение риса намного превосходит значение остальных продовольственных культур, можно с полным правом ограничиться только им. Нет нужды приводить цифры после 1963 г. К этому времени наличие скрытого кризиса стало общепризнанным. Наша задача сводится к оценке причин экономической неудачи, а не к определению ее масштабов в изменчивых условиях настоящего времени.

К 1956 г. Программа местного развития должна была охватить не более четверти населения; к 1959 г. она охватила около 61% сельских жителей; предполагалось, что к 1963 г. последствия от ее внедрения должны были стать заметны для всех [Dube, 1958, p. 12; Times of India Yearbook, 1960–1961, p. 264; Times of India, 27.11.1963]. Согласно этому плану, если бы программа вносила вклад в увеличение производства, некоторый эффект был бы заметен уже к 1954–1955 гг., а более или менее постоянный рост проявился бы в последующие годы. Хотя некоторый рост производства фиксируется, ожидаемого результата не получилось. Между 1953–1954 и 1954–1955 гг. случился спад производства риса на 3 млн т, а еще один спад почти в 3,5 млн т произошел между 1956–1957 и 1957–1958 гг.; после 1960 г. производство постоянно снижалось, что привело к еще одному резкому спаду в 1962–1963 гг. В октябре того же года население Калькутты взбунтовалось из-за нехватки риса. Прежний рост производства едва успевал опережать рост численности населения. Неурожай в 1962–1963 гг. уничтожил этот резерв, и потребление продуктов питания на душу населения снизилось, по официальным данным, на 2%⁴⁶.

Одним словом, сегодня индийское сельское хозяйство остается таким же, как во времена Акбара и Керзона: азартной игрой с дождем, в результате которой неурожай означает катастрофу для миллионов людей. Во второй половине XX в. это скорее социальная и политическая, чем географическая и материальная проблема. Как осознают активисты Программы местного развития, даже на локальном уровне имеются ресурсы для того, чтобы смягчить влияние климатических условий. Но для этого потребуются произвести не только техническую, но и социальную революцию. Однако достигнутые до сих пор улучшения произошли

⁴⁶ Foreign Agriculture / Weekly publication of the U.S. Department of Agriculture. Washington (D.C.). February 10, 1964. P. 7.

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

в основном за счет распространения старой неэффективной системы в новые, по всей видимости, периферийные части страны.

Есть много свидетельств, указывающих на это. Удивительно, но кое-что можно извлечь даже из статистических данных об урожайности. В любом случае они дают лучшее представление об изменениях в производительности, чем данные по общему производству. Эти цифры позволяют нам провести сравнение между ситуацией при британском режиме и теперешним положением дел, даже если статистику не следует понимать буквально, поскольку со Второй мировой войны улучшились методы подсчета объема собранного урожая⁴⁷. В табл. 3 представлены данные для отдельных лет по сборам урожая риса-сырца для Индии и Японии. Данные по Индии в довоенное время не включают Бирму.

ТАБЛИЦА 3. Урожай риса-сырца в Индии и Японии

Год	Урожай, ц с га	
	Индия	Япония
1927–1928	14,4	35,4
1931–1932		
1932–1933	14,1	34,7
1933–1934	13,8	41,8
1934–1935	13,9	30,6
1935–1936	12,3	33,6
1936–1937	14,5	39,3
1937–1938	13,9	38,6
1948–1949	11,1	40,0
1952–1953		
1957–1958	11,8	44,3
1958–1959	14,0	46,2
1959–1960	14,1	47,5
1960–1961	15,3	48,6
1961–1962	15,1	47,0

ИСТОЧНИКИ: Для 1927–1938 гг.: *Annuaire international de statistique agricole 1937–1938* [Rome, 1938, p. 279 (table 77)]; для 1948–1962 гг.: Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Production Yearbook 1960*, XIV, 50; 1962, XVI, 50.

Эти цифры вряд ли нуждаются в комментарии. Даже при новом режиме производительность в Индии колебалась на уровне конца 1920-х — начала 1930-х годов. Начав с более высокого уровня, Япония планомерно продвигалась вперед в последние годы. Производительность в этой

⁴⁷ Более подробно этот момент см.: [India., 1960, p. 8–11].

стране почти в три раза выше, чем в Индии. Едва ли одни климатические условия несут ответственность за такое гигантское различие.

Хотя выше упоминались фундаментальные институциональные факторы, лежащие за пределами сельского мира, которые могут объяснять низкую производительность в Индии, для более полного понимания ситуации полезно и даже необходимо рассмотреть их влияние на крестьянскую общину. Кроме того, данные, усредненные по стране, могут скрывать решающие обстоятельства. В некоторых областях происходили значительные улучшения. Чтобы определить помехи, необходимо понять, почему где-то улучшения происходили, а где-то — нет. Я попытаюсь выделить эти факторы, начав с рассмотрения одной из тех частей Индии, где было достигнуто значительное увеличение производства, а затем перейду к анализу тех аспектов деревенского сообщества, которые до сих пор мешают экономическому прогрессу.

Мадрас — одно из светлых пятен на карте Индии, здесь урожай риса вырос на 16–17% [India, 1959a, p. 180]. Если посмотреть, какие при этом сработали факторы, возникает картина, резко противоречащая официальным теориям. В терминах земельной площади самая важная культура, намного превосходящая другие, — это выращиваемый в полях рис. Около одной трети всей возделываемой в штате площади, 4,5 млн из 14,27 млн акров, искусственно орошается. Поскольку с 1952 по 1959 г. система ирригации увеличила свой охват всего на 344 тыс. акров [Madras., 1959, p. 41–42], эти успехи не могут быть главной причиной прироста производительности. Более правдоподобный ответ состоит в том, что Мадрас продвинулся дальше других областей во внедрении капиталистических форм сельского хозяйства.

Причины этого изменения заслуживают хотя бы краткого упоминания из-за их важных последствий. В конце XIX в. тенденция к тому, чтобы лишать крестьян земельной собственности, стала заметной в Мадрасе, вызвав, как и в других частях Индии, озабоченность правительства. Однако в Мадрасе профессиональные кредиторы были редкостью. Чаще деньги давали в долг сами крестьяне. Кроме того, не было четкой границы между крестьянством и городскими торговыми классами. Последние сохраняли свою земельную собственность, увеличивая ее за счет приобретения орошаемых рисовых полей. Эти тенденции, по-видимому, ускорились после провозглашения независимости. По закону о справедливой арендной плате 1956 г. помещик-посредник, сдававший свою землю в аренду за часть урожая, должен был перейти на прямую эксплуатацию земли с помощью наемной рабочей силы, поскольку заработная плата осталась на прежнем уровне [Dupuis, 1960, p. 130–131, 144–145]. Это привело к тому, что в дельте реки, т.е. в лучших областях для выращивания риса, собственность стала концентрироваться в ру-

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

ках немногих владельцев. Меньшинство землевладельцев вступило в конфликт с пролетарским большинством наемных рабочих. Даже если богатый собственник не возделывает землю сам, он может, благодаря внимательному контролю за наемной силой, удачному использованию удобрений и другим мерам, собирать урожай до 27 центнеров с гектара при средней урожайности для этой местности в 17 центнеров [Ibid., p. 125, 132, 151–152].

Таким образом, прирост урожайности, по крайней мере в этой местности, явно произошел из-за возникновения капиталистических отношений. Никакого влияния на это не оказала правительственная политика, благоприятствовавшая верхним слоям крестьянства. Среди сельскохозяйственных рабочих и мелких крестьян это также привело к ожидаемым последствиям: возрастание напряженности, разочарование в ИНК и рост симпатий к коммунистам.

Прекрасная подборка литературы по отдельным деревням (отличное целительное средство для тех, кто твердо верит в бескрайнее разнообразие деревенских условий в Индии) создает в целом то же впечатление ограниченного проникновения капитализма, пусть и не в такой степени, как в Мадрасе⁴⁸. К настоящему времени антропологи исследовали большое число деревень в различных частях страны и различные этапы процесса модернизации. Вместо того, чтобы сравнивать модернизированные деревни с отсталыми, что уже было с успехом выполнено для двух соседних деревень в одной из областей [Epstein, 1962], я постараюсь проанализировать главные проблемы и привести конкретные случаи, иллюстрирующие их решение.

Базовым допущением Программы местного развития, как помнит читатель, было то, что индийский крестьянин по своей воле и вследствие своих «реальных нужд» перейдет на прогрессивные технологии, как только ему покажут их преимущество. Существенная часть проблем была вызвана тем, что неповоротливая и чуждая деревне бюрократия, много делавшая для демонстрации новых технологий, ничего не знала о местных условиях. Если бы программа воспользовалась своей демокра-

⁴⁸ См., напр.: [Tinker, 1963, p. 94–133] — хороший недавний краткий обзор, основанный на оценочных докладах программ местного развития, хотя в нем больше уделяется внимания политическим, а не экономическим вопросам; [Dumont, 1961] — очень ценное, хотя и фрагментарное исследование; [Epstein, 1962] — пожалуй, самое ценное из исследований, посвященных отдельным случаям. В числе других ценных источников: [Mayer et al., 1958; Village India., 1955; Mayer, 1960; Lewis, 1958; Dube, 1955; 1958] (оба исследования Дьюба выполнены на ранних этапах, но они весьма поучительны в отношении главных проблем). [Traditional India., 1959; Srinivas, 1962] — более общие исследования, но они также выделяют значительные моменты.

тической направленностью для того, чтобы достичь чего-то более конкретного, чем реформа панчаята, вероятно, она добилась бы больших успехов. Нынешнее положение показывает, что вековая пропасть между автономной деревней и правительством сохраняется.

В одном отчете рассказывается следующее о чиновнике, присланном в деревню: «Руки работника сельского уровня гладкие и мягкие. Он проводит свое время за написанием отчетов о проделанной работе, поддерживая свой офис в чистоте и порядке на случай, если вышестоящий чиновник придет с внезапной проверкой». В этой конкретной деревне правительственный чиновник заставил крестьян применять удобрения. Но они применили слишком большой объем, в результате чего урожай погиб. На следующий год те же крестьяне, настроенные по-прежнему дружелюбно, послушались его совета посеять пшеницу в пустующем ирригационном резервуаре. Пшеница покрылась бурой ржавчиной. Пытаясь бороться с заболеванием, крестьяне сломали германский опылитель. В конечном счете чиновники пришли к выводу, что крестьяне тупы и ленивы. А крестьяне, которые не могли рисковать урожаем, обратились к традиционным методам, дававшим проверенный результат [Beals, 1963, p. 79, 82]. Таких отчетов бесконечное множество. Я добавлю лишь еще один эпизод из книги вспльчивого, но здравомыслящего французского агронома, Рене Дюмона, который с раздражением покинул группу экспертов ООН, поскольку, на его взгляд, ее деятельность напоминала показательное турне, и решил самостоятельно потоптать пыль и грязь индийских деревень. Однажды Дюмону с большой гордостью показали образцовые рисовые поля с рекордной для Индии урожайностью, которая все-таки оставалась на 40% ниже среднего японского уровня. Здесь, как и во многих других местах, индийцы пытались внедрять японские методы. Но японские методы нельзя перенимать поэтапно. Успех зависит не только от пересадки растений, но и от тщательного контроля подачи воды и состава почвы. Для получения правильных результатов нужно учитывать местные условия и вносить соответствующие поправки. Вместо этого все было «спланировано на бумаге, а не на земле». Планы улучшений, прибавляет Дюмон с негодованием, рекомендованные для каждого отдельного блока развития, были одинаковыми почти по всей стране [Dumont, 1961, p. 124–127, 144–145].

Однако там, где технологии подходили к местным условиям, польза от них была очевидной и крестьяне быстро перенимали их. В одной деревне крестьяне сначала просто изолировали свой скот вместо того, чтобы делать ему прививки от чумы, смертельная эпидемия которой бушевала в том районе. Несмотря на приложенные усилия, лишь 47 животных получили прививки. Но после того, как привитые животные вы-

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

жили, а 2 тыс. голов непривитого скота полегло, отношение крестьян к новшествам резко переменилось [Singh, 1959, p. 361–365].

В этом случае у нововведения оказался шанс на внедрение, поскольку бюрократия смогла предложить услугу, которая соответствовала «реальным нуждам». Но так было далеко не во всех случаях. «Реальные нужды» в любом обществе являются во многом производной от конкретной социальной ситуации человека и предшествующего образа жизни. Они создаются, а не достаются от природы. Необходимо проводить углубленное исследование и анализировать, что стоит за ними, чтобы понимать то, что ощущается в качестве «нормы». В индийской деревне она сводится к тому факту, что «реальные нужды» произвольно определяются сельскими олигархами, враждующими между собой, но сохраняющими общую классовую гегемонию через кастовую систему и традиционную политическую структуру деревни. За низовым противодействием новым технологиям стоят чьи-то материальные интересы. В основном это опасение господствующих каст, которые боятся потерять свои привилегии в рабочей силе и натуральном доходе. Дюмон указывает, что при помощи совсем простых инструментов и с опорой на рабочую силу, доступную и не используемую большую часть года, можно было бы привести в порядок традиционную систему ирригации, в которой задействованы небольшие резервуары (цистерны). Это позволило бы увеличить площадь плодородной, высокоурожайной земли, чего, по его оценке, было бы достаточно для решения большей части продовольственных проблем Индии. Почему же этого не происходит? Потому что собственники, управляющие деревней, опасаются, что увеличение площади плодородных земель, орошаемых из цистерн, ударит по высокой арендной ставке и предоставит изгоям шанс торговаться об условиях найма [Dumont, 1961, p. 139; Beals, 1963, p. 79]⁴⁹. Все эти бесконечные разговоры о приверженности Индии традиционным культурным ценностям, о наследии веков, поддерживающем кастовую систему, об апатии деревенских жителей вместе с новой демократической риторикой не что иное, как гигантская дымовая завеса, прикрывающая эти интересы⁵⁰.

Для нижнего слоя деревенского населения, т.е. в целом для подавляющего большинства индийцев, ограничение потребностей и амбиций,

⁴⁹ В последнем источнике отмечается, что богатый человек не рассчитывает на значительную прибыль от улучшения экономического положения своих работников. В этом сильное отличие от раннего периода Мэйдзи в Японии.

⁵⁰ Хорошее подробное исследование касты как инструмента господства см.: [Gough, Kathleen, 1955, p. 36–51]. Хотя эта функция кастовой системы более или менее ясно проявляется во всех описаниях, данное исследование, на мой взгляд, самое лучшее и лаконичное.

довольство тем, что предоставляется очень узким жизненным горизонтом, а также постоянное усталое недоверие к «чужакам» образуют реалистическую и осязаемую реакцию на господствующие условия. Там, где крестьянин беден настолько, что любая мелкая неудача выталкивает его за черту бедности, глупо следовать бюрократическим рекомендациям по внедрению новых технологий выращивания растений, которые не дают результата из-за невнимания к важным деталям и местным условиям. Было бы странно ожидать от крестьян приложения невероятных усилий и проявления великого энтузиазма, покуда большая часть доходов уходит в руки местной олигархии. В такой ситуации «реальные нужды» остаются совсем скромными. Поэтому по многим частям страны Программа местного развития пронеслась словно смерч, породив всплески локального энтузиазма (ведь большинству людей нравится, когда к ним проявляют внимание), и двинулась дальше, дав повод поставить галочку в официальной отчетности о переходе этой местности к постинтенсивной фазе. Впоследствии многие деревни вернулись к прежним обычаям: только бы начальство было довольным, а после можно и нормально пожить.

Все эти препятствия можно было преодолеть, как вместе, так и в отдельности, даже если они усиливали друг друга. Самое лучшее тому подтверждение в том, что крестьяне добивались успеха там, где ситуация того требовала. Обычно к новой ситуации адаптировали те части традиционного социального механизма, которые продолжали функционировать⁵¹. Однако крестьяне не выказывали больших колебаний, если нужно было отказаться от того, что явно мешало прогрессу. Одно поучительное исследование сравнивает ситуацию в деревне, где ирригация сделала возможным масштабное выращивание сахарного тростника, с соседней деревней, куда воду нельзя было провести. В орошаемой области крестьяне без колебания перешли на производство сахарного тростника, хотя это потребовало полной реорганизации их методов работы. Автор исследования даже высказывает достаточно убедительное предположение, что полную реорганизацию было провести легче, чем частичную. Несмотря на кастовые предрассудки против полевых работ, фермеры выполняли на открытом воздухе около половины общего

⁵¹ Оказывается, даже кастовую систему можно согласовать с демократией. См.: [Rudolph, Rudolph, 1960, p. 5–22], где авторы доказывают, что кастовые ассоциации могут обеспечивать адекватный механизм для включения безграмотных крестьян в демократическую политику. Противоположная позиция, согласно которой реакционные и утопические черты традиционных индийских представлений о единодушии ограничивают возможности созидательного содействия экономическому прогрессу в деревне, приводится в более пессимистичном эссе: [Rudolph, 1961, p. 396–397].

объема работ, необходимых для выращивания тростника. Все это оказалось возможным главным образом потому, что местная фабрика обеспечивала постоянный спрос на тростник. Но в той же самой области выращивание риса оставалось крайне неэффективным. Никто не хотел перенимать японские технологии. Для риса не было рынка сбыта. Стоит заметить, что выращивание сахарного тростника в качестве коммерческого продукта и переход к денежной экономике произвели сравнительно мало изменений в жизни деревни. Крестьяне остались крестьянами, хотя и больше преуспевали, чем раньше. Касты и традиционная система постепенно примирились с переходом, несмотря на изменения в принципах труда. В соседней деревне, куда вода не поступала, ситуация была совершенно иной. Там жителям приходилось выкручиваться, предлагая разнообразные услуги, чтобы воспользоваться общим подъемом экономики региона. По этой причине традиционный строй в деревне без орошения пострадал гораздо больше. Данное сравнение делает очевидным широкий диапазон адаптаций, на которые способно пойти при подходящем внешнем стимуле исконное крестьянское общество, как правило гомогенное по всему региону до введения ирригации. Но и ирригация не принесла бы благоприятных результатов без хорошего рынка сбыта продукции⁵². В других частях Индии ирригационная система приходила в упадок, поскольку крестьяне не испытывали в ней надобности.

Введение денежной экономики, как это описано выше, поучительно, поскольку оно помогает избавиться от предвзятых представлений о характере рассматриваемых трудностей. Но так было далеко не везде. Более типичной была ситуация, когда предприимчивые мелкие помещики и крестьяне демонстрировали сильное желание перейти к коммерческой деятельности либо через местную торговлю своей продукцией, либо через организацию дополнительного бизнеса в ближайшем городе. Это было непреднамеренное последствие Программы местного развития, главные выгоды от которой доставались зажиточным крестьянам [Tinker, 1963, p. 130–131]. В этом сегодняшняя Индия напоминает Советскую Россию эпохи НЭПа. Царит та же неразбериха, которая позволяет энергичным людям использовать прорехи в системе для того, чтобы нажить состояние. Это еще один показатель гибкости традиционного строя. Кастовый бойкот сегодня менее эффективен, чем прежде, поскольку даже крестьянин способен оплачивать услуги других вместо того, чтобы пребывать в полной зависимости от закрытой сети экономического обмена. Ослабление угрозы бойкота означало для кастовой системы потерю одной из своих самых действенных санкций.

⁵² См.: [Epstein, 1962] о сахарном тростнике — p. 30, 31, 34, 35, 53; о рисе и различиях — p. 63–65; заключительная глава о «сухой» деревне и общих различиях.

В погоне за легкими рупиями, в которой участвуют мелкие помещики и преуспевающие крестьяне, есть и обнадеживающие аспекты. Например, она демонстрирует, что там, где наличествует прибыльная альтернатива использованию механизма традиционного общества, за нее тут же спешит ухватиться множество амбициозных крестьян. Это, возможно, указывает на путь, по которому Индия движется к коммерческому сельскому хозяйству, — в грубом приближении это французская модель конца XVIII — XIX в. Современные технологии помогают устранить наиболее трудоемкие и отупляющие моменты крестьянского сельского хозяйства. Но есть и политические угрозы. Деревенский пролетариат в Индии привязан к господствующему строю через кастовые обязательства и свою крошечную земельную собственность. По-видимому, направление будущих изменений скорее указывает на дальнейшее разложение традиционных связей, на использование наемного труда, а не на модификацию патриархальных связей, как это случилось в Японии. Если господствующая тенденция продолжится, традиционные узы ослабнут еще сильнее. Уже сейчас происходит интенсивная миграция в городские трущобы, где коммунистическая агитация находит серьезный отклик. Если в обществе не найдется места для мобильных масс наемных работников, оставшихся не у дел после почти «нэповских» трансформаций в деревне, политические последствия могут привести к социальному взрыву.

Завершая рассмотрение ситуации в индийской деревне и переходя к итоговой сводке по проблеме в целом, можно поставить закономерный вопрос о главной причине стагнации и совсем неубедительного прогресса. Непосредственная причина явно состоит в сравнительной неспособности рыночной экономики проникнуть вглубь сельской местности и поставить крестьян в новую ситуацию, на которую они вполне способны ответить резким приростом производительности. Структура деревенского общества — всего лишь второстепенное препятствие, которое может измениться в ответ на новые внешние обстоятельства. Фокусироваться на местных очагах противодействия, посылать бесконечные группы антропологов для изучения особенностей сельского образа жизни — это всего лишь способ отвлечь внимание от главного источника всех проблем: от личностей тех, кто определяет правительственную политику в Дели. Подробнее мы остановимся на этом ниже. Слабое влияние рынка объясняется неспособностью направить на промышленное развитие те ресурсы, которые поставляет сельское хозяйство. Следующий шаг, принятый с оглядкой на другие страны, показывает, что курс исторического развития в Индии не привел к появлению класса, который имел бы сильный интерес к перенаправлению сельского хозяйства в сторону увеличения прибыли тем же способом, которым запускается промыш-

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

ленный рост. Национальное движение получило массовую поддержку с помощью крестьянства, и благодаря Ганди оно прониклось соответствующей идеологией.

Но это максимум того, что может дать социологический анализ. У меня есть сильное подозрение, что он уже зашел слишком далеко и что лично Неру должен нести весомую часть ответственности за неудачи. Чрезмерное внимание к обстоятельствам и объективным трудностям ведет к ошибочному забвению того, что именно великие политические лидеры способны произвести важнейшие институциональные перемены вопреки обстоятельствам. Неру был очень влиятельным политическим лидером. Нелепо отрицать, что у него имелось широкое поле для маневра. Тем не менее по решающему вопросу его политика сводилась к чистой риторике и метаниям. Атмосфера деятельности подменила собой реальное действие. Но в этом отношении индийская демократия не была в одиночестве.

В ответ на такую оценку западный либеральный наблюдатель немедленно возразит, что даже если индийская аграрная политика, и вообще вся национальная экономическая политика, была сильна разговорами и бедна успехами, то по крайней мере здесь обошлось без brutальной коммунистической модернизации. Этот аргумент подразумевает, что проигрыш в скорости даже необходим для торжества демократии.

Такое успокоительное обобщение упускает из виду чудовищную цену человеческих страданий, которую политика в духе «поспешай медленно» означает в индийской ситуации. В случае Индии цену невозможно измерить безучастными данными статистики. Но некоторые цифры позволяют получить примерное представление о масштабе страданий. В 1924 и 1926 гг. Всеиндийская конференция медицинских работников оценила ежегодные потери Индии в 5–6 млн человеческих жизней только из-за болезней, возникновение которых можно предотвратить (цит. по: [Great Britain., 1928, p. 481]). После голода 1943 г. правительственная комиссия в Бенгалии пришла к выводу, что около 1,5 млн человек погибли «непосредственно от голода и эпидемии, которая за ним последовала» (цит. по: [India., 1953, p. 80]). Хотя трудности военного времени внесли свой вклад в эту трагедию, по сути, голод стал производной от всей структуры индийского общества⁵³. Огромное количество смертей указывает лишь на уровень, который отделяет неудачу от успеха в чисто биологической борьбе за выживание. Сами по себе эти цифры не говорят ничего о болезнях, нечистотах, отбросах и о совершенно диком невежестве, насаждаемом религиозными верованиями среди миллионов тех, чьи условия жиз-

⁵³ Хорошее описание контекста с британской позиции см.: [Woodruff, 1953, p. 333–337].

ни, по счастью, оказались чуть выше этого уровня. Повышенное доверие населения означает также, что, если не предпринять резкого ускорения прогресса, это может обернуться массовой гибелью.

В дополнение необходимо указать, что если демократия означает для человека возможность играть осмысленную роль в качестве разумно мыслящего существа в определении своей судьбы, то в индийской деревне пока еще нет никакой демократии. У индийских крестьян нет требуемых материальных и интеллектуальных условий для построения демократического общества. Как сказано выше, «возрождение» панчаята — это романтическая риторика. В реальности Программа местного развития была спущена сверху. Те, кто занимались ее реализацией, постепенно расстаются с идеализмом, приходя к выводу, что демократические процессы развиваются «слишком медленно», и переориентируются на достижение «результатов» — нередко внешних статистических результатов, как, например, увеличение числа компостных ям, — лишь бы это вызвало одобрение начальства.

В том факте, что программа была спущена сверху, еще нет ничего плохого. Важно ее содержание. Критиковать бюрократическое правление абстрактно можно, лишь опираясь на концепцию демократии, которая исключает любое вмешательство в жизнь человека, независимо от того, насколько невежественно и жестоко люди ведут себя в силу своей истории. Всякий сторонник подобной формалистской концепции демократии должен смириться с фактом, что большинство индийских крестьян не хотят экономического прогресса. Они не хотят этого по причинам, которые я пытался объяснить выше. Единственная последовательная программа с этой точки зрения состоит в отказе от всякой программы, что позволит индийским крестьянам существовать в грязи и болезнях в ожидании голодной смерти. Но такие итоги вряд ли порадуют теоретика демократии.

Более реалистичная политика принимает в расчет различные виды воздействия на общество и их социальную стоимость. Будет ли применяться то или иное воздействие в условиях, когда индийское государство может распасться по уже существующим линиям раскола, — это другой вопрос, и я не собираюсь его здесь обсуждать.

Если господствующая политика сохранится в общих чертах, то, насколько можно предвидеть, она приведет к очень медленным улучшениям, в основном благодаря деятельности верхнего слоя крестьян, переходящего на коммерческое фермерство. Опасность уже упоминалась выше — это постепенное нарастание массы городского и деревенского пролетариата. Со временем эта политика может породить встречную политику, хотя трудности перехвата радикальных настроений в Индии огромны.

VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен

Намного желательнее с демократической точки зрения, если бы правительству удалось сдерживать и использовать эти тенденции в своих интересах. Для этого нужно отказаться от доктрины Ганди (что, вероятно, не так уж сложно для нового поколения администраторов), дать полную свободу верхнему слою деревенского населения, обложив налогом их прибыль, организовать рынок и кредитный механизм таким образом, чтобы вытеснить традиционных кредиторов. Если правительству удастся при этом перенаправить уже имеющуюся прибыль, производимую сельским хозяйством, и поощрить к получению еще большей прибыли, оно сможет самостоятельно добиться намного большего в промышленности. По мере своего роста промышленность будет постепенно забирать себе излишки рабочей силы, появляющиеся на селе, и более интенсивно распространять рыночные отношения. Тогда усилия по внедрению в деревне новых технологий и современных ресурсов увенчаются успехом⁵⁴.

Третья возможность — это более широкое использование принуждения, более или менее по образцу коммунистической модели. Даже если такая попытка осуществима в Индии, сомнительно, что она принесет пользу. В индийских условиях в долговременной перспективе, на мой взгляд, ни один политический лидер, как бы ни был он мудр, целеустремлен и хладнокровен, не способен провести революционную аграрную политику. Страна все еще слишком пестра и аморфна, хотя это постепенно меняется. Административная и политическая проблема организованного принуждения в духе коллективизации, способной преодолеть кастовые барьеры и традиции племен, говорящих на 14 языках, настолько очевидна, что едва ли нуждается в подробном рассмотрении.

Итак, только одно направление политики, похоже, дает реальную надежду, но нужно повторить, что отсюда еще не следует, что именно оно и будет реализовано. В любом случае сильный элемент принуждения будет востребован для проведения перемен. Если оставить в стороне возможность технического чуда, которое позволит каждому индийскому крестьянину выращивать достаточное количество еды в стакане воды или миске песка, необходимо использовать более эффективно трудовые ресурсы, внедрять технические усовершенствования и находить способы для поставок продуктов питания городскому населению. Либо масштабное скрытое принуждение по капиталистическому образцу, как в той же Японии, либо более прямое принуждение по социалистическому образцу будет необходимо. Трагическим остается факт, что в любом

⁵⁴ Эта проблема признается некоторыми индийскими исследователями аграрного вопроса. См., напр.: [Khan, 1963, p. 41–54; Mitra, 1963, p. 281–303], в последнем источнике политические аспекты обойдены стороной в пользу экономических подробностей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОКИ ДИКТАТУРЫ И ДЕМОКРАТИИ

случае беднейшие из крестьян понесут самое тяжкое бремя модернизации, будь то по социалистическому или капиталистическому пути. Единственное оправдание для возложения на них этого бремени состоит в том, что в противном случае положение бедняков со временем еще больше ухудшится. В такой формулировке это по-настоящему жестокая дилемма. К тем, кто пробует ее разрешить, можно испытывать величайшую симпатию. Но отрицать ее существование — это крайняя степень интеллектуальной и политической безответственности.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗЫ

Ч А С Т Ь Т Р Е Т Ь Я

VII. Демократический путь в современное общество

Из нашей актуальной перспективы мы можем теперь обрисовать в общих чертах главные особенности каждого из трех путей в современный мир. Самый ранний из них соединил капитализм и парламентскую демократию после серии революций: в Англии, Франции и Гражданской войны в Соединенных Штатах. С оговорками, рассматриваемыми ниже в этой главе, я называю это путем буржуазной революции, на которую вступили Англия, Франция и Соединенные Штаты, следуя друг за другом по времени и имея на исходный момент сильно различающиеся общества. Второй путь был также капиталистическим, но в отсутствие сильной революционной волны он привел к реакционным политическим формам, закончившимся фашизмом. Стоит подчеркнуть, что в Германии и Японии через революцию сверху промышленности удалось подняться и добиться успеха. Третий путь, конечно, коммунистический. В России и Китае революции, опиравшиеся в основном, хотя и не исключительно, на крестьянство, сделали возможным коммунистический вариант. Наконец, в середине 1960-х годов Индия с трудом присоединилась к процессу превращения в современное индустриальное общество. В этой стране не было ни буржуазной революции, ни консервативной революции сверху, ни пока что коммунистической. Сможет ли Индия избежать трагических жертв, которые придется заплатить на каждом из трех путей, найдет ли она свой вариант, как пыталось сделать правительство Неру, или она принесет не менее ужасающую жертву стагнации, остается величайшей проблемой для политиков нынешнего поколения.

Едва ли эти три варианта — буржуазная революция, завершающаяся демократией западного типа, консервативная революция сверху, заканчивающаяся фашизмом, и крестьянская революция, ведущая к коммунизму, — образуют весь спектр возможных путей и альтернатив. Скорее всего они являются последовательными историческими этапами. Кроме того, они связаны между собой. Методы модернизации, избранные в одной стране, меняют представление о проблеме в тех странах, которые идут следом, как заметил еще Веблен, введя в оборот модный термин «преимущества отсталости». Без предшествующей демократической модернизации Англии вряд ли были бы возможны реакционные пути, по которым пошли Германия и Япония. Без капиталистического и реакционного опыта коммунистический путь был бы совершенно иным, если бы вообще возник. Достаточно легко заметить, даже при благожелатель-

ном взгляде, что индийская неуверенность объясняется в большей мере негативной критической реакцией на все три предшествующих исторических опыта. Хотя были некоторые общие проблемы в построении индустриальных обществ, эта задача оказывается постоянно меняющейся. Исторически необходимые условия для каждого крупного политического образования резко различаются между собой.

Внутри каждого из трех основных типов также есть различия, причем, пожалуй, самые поразительные — внутри демократического варианта, как и значительные сходства. В этой главе я постараюсь воздать должное тому и другому, рассмотрев аграрные социальные особенности, которые внесли вклад в развитие западной демократии. Следует еще раз объяснить, что значат эти громкие слова, несмотря даже на то, что определения демократии обычно уводят в сторону от реальных проблем к тривиальной игре в слова. Автор рассматривает развитие демократии как длительную и пока, конечно, не завершенную борьбу за достижение трех сравнительно близких целей: 1) ограничение произвола правителей, 2) замена произвольных правил правления справедливыми и рациональными, 3) обеспечение участия населения в выборе правителей. Казнь королей была наиболее драматичным, но ни в коем случае не наименее важным аспектом первой цели. Усилия по установлению верховенства права, авторитета законодательной власти, а впоследствии использование государства в качестве механизма для обеспечения общественного благосостояния — знакомые и известные аспекты двух оставшихся.

Хотя подробный анализ более ранних этапов развития досовременных обществ выходит за рамки настоящего исследования, следует все-таки кратко рассмотреть вопрос о различии в стартовых условиях. Существуют ли в аграрных обществах структурные особенности, благоприятствующие в некоторых случаях последующему развитию в направлении парламентской демократии, тогда как иные стартовые условия способны затруднить это движение или сделать его невозможным? Конечно, стартовые условия не определяют полностью последующий курс модернизации. В прусском обществе XIV в. можно было обнаружить множество черт, объединяющих его с обществами, ставшими предшественниками парламентской демократии в Западной Европе. Решающие сдвиги, которые принципиально изменили направление развития прусского и в конечном счете немецкого общества, произошли в следующие два столетия. Тем не менее даже если стартовые условия сами по себе ничего не решают, некоторые из них могут более благоприятствовать демократическому развитию, чем другие.

На мой взгляд, достаточно обоснован тезис о том, что западный феодализм содержал определенные институции, отличавшие его от других

обществ в благоприятную для демократии сторону. Немецкий историк Отто Хинтце, проанализировав социальные порядки феодального общества (*Stände*), сделал, пожалуй, больше других для доказательства этого тезиса, хотя он остается предметом горячих споров среди ученых [Hintze, 1962, S. 40–185, 120–139, 84–119]¹. Для нас наиболее интересный аспект — это постепенный рост иммунитета отдельных групп и персон от власти правителя, а также концепция права на сопротивление несправедливой власти. Наряду с концепцией договора как общего дела, свободно предпринимаемого свободными личностями, выведенной из феодальных отношений вассальной зависимости, этот комплекс идей и практик образует главное наследие, оставленное европейским средневековым обществом современным западным представлениям о свободном обществе.

Такой комплекс сложился только в Западной Европе. Только здесь возник тонкий баланс между слишком сильной и слишком слабой королевской властью, внесший важный вклад в развитие парламентской демократии. Широкое разнообразие отдельных аналогий возникает и в других местах, но им, похоже, недостает решающего ингредиента или решающей пропорции, которые обнаруживаются в Западной Европе. В русском обществе также сформировалась система сословий. Но Иван Грозный переломил хребет независимой аристократии. Попытка восстановления привилегий после сильной власти Петра I вернула их, но без соответствующих обязательств или общего представительства в механизме управления государством. В бюрократическом Китае развилась концепция «небесного мандата», придававшего некоторый оттенок легитимности борьбе против несправедливого притеснения, но без сильной концепции корпоративного иммунитета, пусть даже ученые чиновники отчасти воплотили ее на практике и вопреки базовому принципу бюрократического правления. Феодализм зародился в Японии, но с сильным бременем лояльности к вышестоящим и к божественному правителю. Этой форме феодализма не доставало концепции взаимных обязательств среди тех, кто теоретически равен между собой. Кастовую систему в Индии можно рассматривать как уверенный шаг по направлению к концепциям иммунитета и корпоративных привилегий, но опять-таки при отсутствии теории или практики свободного договора.

Попытки найти единое всеобъемлющее объяснение этих различий, подстрекаемые несколькими импровизированными замечаниями Маркса и кульминируемые в выдвинутой Виттфогелем спорной концепции восточного деспотизма, базирующегося на контроле за источниками воды, не были слишком успешными. Это не значит, что они совер-

¹ Современный вариант идей того же рода см.: [Feudalism in History, 1956].

шенно промахиваются мимо цели. Водоснабжение, пожалуй, слишком узкое понятие. Традиционный деспотизм возникал там, где центральное правительство было способно выполнять множество задач или следить за активностями, существенно важными для функционирования всего общества. В прежние времена для правительства было гораздо менее возможно, чем сегодня, создавать ситуации, которые включают собственное определение того, что является существенно важным для общества в целом, и принуждать население к пассивному принятию этого. Поэтому для доиндустриальных стран отчасти менее рискованно, чем для современных, исследовать гипотезу о том месте, где происходит реализация существенных задач. В то же время сегодня, похоже, есть более широкий выбор, чем раньше, того политического уровня, на котором общество организует разделение труда и поддержание социального единства. Крестьянская деревня, феодальный фьеф или даже грубая территориальная бюрократия могут стать решающим уровнем при в общем сходных аграрных технологиях.

После краткого анализа различий в стартовых условиях мы можем обратиться к собственно процессу модернизации. Один момент совершенно ясен. Сохранение королевского абсолютизма или вообще доиндустриальной бюрократической власти вплоть до Нового времени создавало условия, неблагоприятные для демократии западного типа. Столь различные истории Китая, России и Германии сходятся в этом пункте. Любопытный факт, которому я не пытаюсь дать объяснение, состоит в том, что во всех основных странах, рассмотренных в связи с этим в настоящем исследовании (за исключением, конечно, Соединенных Штатов), а именно в Англии, Франции, в прусской части Германии, России, Китае, Японии и Индии, в XVI–XVII вв. сформировались сильные центральные правительства, которые можно грубо назвать королевским абсолютизмом или аграрной бюрократией. Какие бы ни были на то причины, этот факт оказывается удобной, хотя и произвольной точкой опоры для рассуждений о началах модернизации. Хотя сохранение сильной власти имело неблагоприятные последствия, сильные монархические институты выполнили необходимую функцию на раннем этапе, ограничив произвол аристократии. Демократия не смогла бы вырасти и процветать в условиях грабежа и мародерства со стороны безудержных баронов.

В раннее Новое время решающим предварительным условием для современной демократии было появление грубого баланса между короной и знатью, в котором королевская власть преобладала, но который обеспечивал существенную независимость дворянству. Плюралистическое представление о том, что дворянство является существенным ингредиентом в развитии демократии, прочно основывается на исторических фактах. Сравнительную поддержку этому тезису обеспечивает отсут-

ствие такого ингредиента в Индии при Акбаре и в Китае при маньчжурах или, вероятно, точнее — неспособность выработать приемлемый и законный статус для того уровня независимости, который фактически имелся. Те способы, которыми независимость выкорчевывалась, также важны. В Англии Война роз, *locus classicus* для позитивного свидетельства, выкосила земельную аристократию, значительно облегчив установление такой формы королевского абсолютизма, которая была много мягче, чем во Франции. Разумно вспомнить, что подобный баланс, которым так дорожит традиция либерализма и плюрализма, стал итогом применения насильственных и нередко революционных методов, от которых современные либералы обычно отказываются.

В связи с этим можно задать вопрос, что происходит, когда и если землевладельческая аристократия пытается освободиться от контроля со стороны короля при отсутствии многочисленного и политически сильного класса горожан. Либо в менее точной форме этот вопрос звучит так: что может произойти, если знать стремится к свободе при отсутствии буржуазной революции? На мой взгляд, можно спокойно сказать, что исход в этом случае очень неблагоприятен для западной версии демократии. В России XVIII в. служивая аристократия смогла расторгнуть свои обязательства перед царским самовластием, одновременно сохранив и даже увеличив свои земельные владения и власть над крепостными крестьянами. Это развитие в целом было неблагоприятно для демократии. Немецкая история в некоторых отношениях даже более показательна. Там знать по большей части вела борьбу с Великим курфюрстом без помощи городов. Многие требования немецкой аристократии этого времени напоминают английские: за право голоса в правительстве и особенно в вопросе о том, какими способами правительство получает доход. Но исходом этой борьбы стала не парламентская демократия. Слабость городов, переживших упадок после своего расцвета в южной и западной Германии в конце Средних веков, была постоянной чертой немецкой истории.

Не пускаясь в более подробное рассмотрение и не затрагивая азиатский материал, указывающий в том же направлении, можно просто засвидетельствовать сильную степень согласия с марксистским тезисом о том, что энергичный и независимый класс горожан является необходимым элементом для роста парламентской демократии. Без буржуа нет демократии. Если мы ограничиваем свое внимание исключительно аграрным сектором, то главное действующее лицо не появляется на сцене. При этом в сельской местности разыгрывалась достаточно важная драма, также заслуживающая тщательного изучения. И если кому-нибудь захочется вывести в своей истории героев и негодяев — автор настоящей книги решительно отказывается от такой позиции, — то сле-

дует учесть, что тоталитарный негодяй порой жил в деревне, а у демократического героя-горожанина там были союзники.

Так, например, обстояло дело в Англии. Пока абсолютизм укреплялся во Франции, в большей части Германии и в России, на английской почве ему впервые пришлось серьезно ограничить свои притязания, хотя и попытки его установления здесь были намного более слабыми. В существенной мере это было так из-за того, что английская землевладельческая аристократия достаточно рано начала приобретать коммерческие черты. К числу решающих факторов, наиболее сильно влияющих на ход последующей политической эволюции, относится вопрос о том, перешла ли землевладельческая аристократия к коммерческому сельскому хозяйству, и если да, то какую форму приобрела эта коммерциализация.

Теперь нам следует проанализировать основные контуры и сравнительные перспективы этой трансформации. В европейской средневековой системе определенная часть земли феодального лорда была его собственным поместьем, где работали крестьяне, за что господин предоставлял им защиту и обеспечивал правосудие, которое, конечно, нередко отвечало его собственным материальным интересам. Крестьяне использовали другую часть помещичьей земли, которую они возделывали для собственного пропитания и где были расположены их жилища. Третья часть земли, обычно леса, реки и пастбища, была известна как общее достояние и служила для добывания топлива, охоты и выпаса скота как для помещика, так и для крестьян. Отчасти для обеспечения господину достаточного объема рабочей силы крестьяне различными способами привязывались к земле. Верно, что рынок играл важную роль в средневековой аграрной экономике, причем намного более важную роль уже в достаточно раннее время, чем это было признано. Тем не менее в отличие от последующего времени помещик со своими крестьянами образовывал самодостаточное сообщество, способное обеспечить из местных ресурсов с помощью местных умений и навыков большую часть своих потребностей. Несмотря на бесчисленные локальные вариации, эта система доминировала в большей части Европы. Такой системы не было в Китае. Феодальная Япония демонстрирует сильные сходства с этими порядками; аналогии можно отыскать и в некоторых частях Индии.

Среди многих последствий прихода коммерции в города и возросшей потребности абсолютистских правителей в сборе налогов было то, что у сюзерена возрастала нужда в наличных деньгах. В различных частях Европы возникли три ответа на эту ситуацию. Английская землевладельческая аристократия перешла к коммерческому сельскому хозяйству, что предусматривало предоставление крестьянам свободы самим заботиться о себе по мере своих сил. Французская землевладельческая элита в целом предоставила крестьянам *de facto* владение землей. В тех

областях, где помещики занялись коммерцией, они заставляли крестьян отдавать им долю своей продукции, которую затем продавали на рынке. В Восточной Европе возник третий вариант — помещичья реакция. Восточно-немецкие юнкеры превратили ранее свободных крестьян в фермеров, чтобы выращивать и продавать на экспорт зерно, тогда как в России сходное развитие произошло скорее из-за политических, чем из-за экономических причин. Только к XIX в. экспорт зерна стал важным фактором российской экономики и политического ландшафта.

В самой Англии поворот к коммерческому фермерству со стороны землевладельческой аристократии устранил в основном ее зависимость от короны и стал причиной ее враждебности к неуклюжим попыткам Стюартов ввести абсолютизм. Кроме того, форма коммерческого фермерства, которая укоренилась в Англии, в отличие от Восточной Германии, породила солидную общность интересов с городами. Оба фактора были важными причинами гражданской войны и итоговой победы дела парламентаризма. Последствия этого оставались важными и усиливались новыми факторами в XVIII–XIX вв.

Последствия кажутся даже более ясными, если мы сопоставляем английский опыт с другими вариантами. Говоря в общем, есть две другие возможности. Коммерческий импульс может быть весьма слабым среди высших землевладельческих классов. Где это случается, результатом будет сохранение огромных крестьянских масс, что в лучшем случае оказывается чудовищной проблемой для демократии, а в худшем случае — потенциалом для крестьянской революции, ведущей к коммунистической диктатуре. Другая возможность — в том, что высшие землевладельческие классы будут использовать разнообразные политические и социальные рычаги для удержания рабочей силы на земле и перехода к коммерческому фермерству в такой форме. Вместе с существенным показателем промышленного роста результатом скорее всего окажется то, что мы считаем фашизмом.

В следующем разделе мы рассмотрим ту роль, которую играли высшие землевладельческие классы в создании фашистских правительств. А пока нам достаточно заметить, что, во-первых, форма коммерческого сельского хозяйства была не менее важна, чем сама по себе коммерциализация; во-вторых, провал укоренения подходящих форм коммерческого сельского хозяйства на ранней стадии по-прежнему оставляет открытым иной путь к современным демократическим институтам. Обе черты заметны во французской и американской истории. В некоторых частях Франции коммерческое сельское хозяйство в основном оставило неизменным крестьянское общество, но взяло больше от крестьянства, внося вклад в формирование революционных сил. В большей части Франции движение знати к коммерческому сельскому хозяйству было

слабее, чем в Англии. Но революция нанесла удар аристократии и открыла путь к парламентской демократии. В Соединенных Штатах рабство на плантациях было важной стороной капиталистического роста. В то же время оно было, мягко говоря, институцией, неблагоприятной для демократии. Гражданская война преодолела это препятствие, пусть и не до конца. Говоря вообще, рабство на плантациях — это лишь самая крайняя форма репрессивной адаптации капитализма. Три фактора делают его неблагоприятным для демократии. Высший землевладельческий класс нуждался в государстве с сильным репрессивным аппаратом, т.е. таким, который устанавливает в целом политическую и социальную атмосферу, неблагоприятную для человеческой свободы. Кроме того, такое государство поддерживает превосходство села над городом, города при этом оказываются скорее перевалочными складами для экспорта товаров на отдаленные рынки. Наконец, проявляются жестокие последствия отношения господ к рабочей силе, особенно суровые в тех плантаторских экономиках, где трудящиеся принадлежат к другой расе.

Поскольку переход к коммерческому сельскому хозяйству очевидно является чрезвычайно важным шагом, как можно объяснить те формы, в которых он удался либо потерпел неудачу? Современный социолог, вероятно, будет искать объяснения в культурологических терминах. В тех странах, где коммерческое сельское хозяйство не смогло развиваться в большом масштабе, он будет подчеркивать сдерживающий характер аристократических традиций, таких как понятия чести и негативного отношения к зарабатыванию денег и труду. На начальном этапе этого исследования я был склонен к поиску подобных объяснений. По мере накопления материала появились основания для скептического отношения к этой линии нападения, хотя мы еще рассмотрим впоследствии общие вопросы, затрагиваемые при этом.

Чтобы быть убедительным, культурологическое объяснение должно продемонстрировать, например, что среди английских высших землевладельческих классов военные традиции и понятия статуса и чести были существенно более слабыми, чем, скажем, во Франции. Хотя английская аристократия была менее замкнутой группой, чем французская, и не подчинялась формальному правилу понижения в статусе, сомнительно, что культурных различий хватает для объяснения различия в экономическом поведении. А что сказать о восточно-немецкой знати, которая перешла от колонизации и захвата территорий к увеличению экспорта зерна? Даже более важное соображение — тот факт, что там, где среди землевладельческих элит коммерческий импульс кажется слабым в сравнении с ситуацией в Англии, нередко можно обнаружить устойчивое меньшинство тех, кто все-таки успешно перешел к коммерции, поскольку местные условия благоприятствовали этому. Таким об-

разом коммерческое сельское хозяйство, ориентированное на экспорт, развилось в некоторых частях России.

Подобные наблюдения заставляют вновь подчеркнуть важность различий в возможностях перенять коммерческое сельское хозяйство, таких как в первую очередь наличие рынка в близлежащих городах и наличие удобных методов перевозки товаров: до появления железной дороги объемный груз переправляли в основном по воде. Хотя вариации в почве и климате, конечно, важны, в качестве главного действующего лица вновь кстати появляется буржуазия. Политические соображения также сыграли решающую роль. Там, где помещики смогли без труда воспользоваться государственным аппаратом принуждения для собирания арендной платы — обычное дело в Азии и до некоторой степени в дореволюционной Франции и России, — явно отсутствует побудительный стимул для усвоения менее репрессивных форм капитализма.

Хотя вопрос распространения коммерческого сельского хозяйства среди крестьян менее существен для установления демократии, здесь уместно сделать замечания по этому поводу. В общем решение крестьянского вопроса через трансформацию крестьянства в социальное образование иного вида, по-видимому, является хорошим знаком для демократии. Тем не менее в Скандинавии и Швейцарии крестьяне стали частью демократических систем, занявшись довольно специфическими формами коммерческого фермерства — в основном поставляя молочную продукцию на городские рынки. Там, где крестьяне упорно сопротивлялись подобным переменам, как, например, в Индии, нетрудно выстроить возражение в обход объективных условий. Реальная рыночная перспектива часто отсутствует. Для крестьян, живущих на грани физического выживания, модернизация очевидно слишком рискованна, особенно если при господствующих социальных институтах прибыль достается кому-то другому. Поэтому запредельно низкий уровень жизни и ожиданий — это единственный вид адаптации, имеющий смысл в подобных условиях. Наконец, там, где обстоятельства иные, порой можно обнаружить драматические изменения, происходящие за короткое время.

До сих пор рассуждение концентрировалось на двух главных переменных: отношения высших землевладельческих классов с монархией и их ответ на необходимость рыночно ориентированного производства. Есть и третья главная переменная, которая уже заявляла о себе: отношения высших землевладельческих классов с городским населением, в основном с высшей его стратой, которую приблизительно можно назвать буржуазией. Коалиции и контрcoalitions, которые возникли среди и поверх этих двух групп, составили, а в некоторых частях мира до сих пор составляют базовую рамку и среду политического действия, предлагающую набор шансов, соблазнов и невозможностей, внутри кото-

рой приходится действовать политическим лидерам. В очень широком смысле наша задача сводится к установлению тех ситуаций в отношениях между высшими землевладельческими классами и городским населением, которые внесли вклад в развитие относительно свободного общества Современности.

Лучше всего начать с напоминания о естественных линиях раскола между городом и деревней и соответствующими частями населения. Во-первых, есть знакомый конфликт интересов между потребностью города в дешевой еде и в высоких ценах на продукцию, которая в нем производится, и стремлением сельчан повысить цены на продукты питания и приобрести подешевле продукцию ремесленников и товары с фабрики. Этот конфликт может приобрести огромное значение по мере распространения рыночной экономики. Классовые различия, например на селе между помещиком и крестьянином или в городе между мастером и наемным рабочим, владельцем фабрики и промышленным рабочим, идут поверх разрыва между городом и деревней. Там, где интересы высшей страты в городе и деревне сходятся в ущерб крестьянам и рабочим, исход борьбы оказывается скорее всего неблагоприятным для демократии. Однако очень много зависит от исторических обстоятельств, в рамках которых это выравнивание интересов осуществляется.

Очень важный пример совпадения интересов между главными сегментами земельной аристократии и высшими слоями городского населения предлагает Англия при Тюдорах и Стюартах. Там совпадение возникло на раннем этапе в ходе модернизации и в условиях, которые привели обе группы к борьбе против королевской власти. Эти аспекты имеют ключевое значение в объяснении последствий для установления демократии: в отличие от ситуации во Франции того же времени, где производители были в основном вовлечены в производство оружия и предметов роскоши для короля и придворной аристократии, английская буржуазия была энергичной и независимой с обширными интересами в торговле на экспорт.

На стороне землевладельческой знати и джентри был еще ряд благоприятных факторов. Торговля шерстью стала оказывать воздействие на село еще до XVI в., что привело к огораживаниям земли для выпаса овец. Английский высший класс, занимавшийся выращиванием овец, немногочисленный, но очень влиятельный, нуждался в городах, которые занимались экспортом шерсти, и эта ситуация сильно отличалась от ситуации в Восточной Германии, где юнкеры, производившие зерно, обходились без городов, переживавших упадок.

В Англии союз между высшими классами на селе и в городе до гражданской войны в такой форме, которая благоприятствовала делу свободы, оказался уникальной конфигурацией для крупных стран. Вероятно,

VII. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПУТЬ В СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

более масштабная ситуация, частью которой она являлась, могла случиться лишь однажды в человеческой истории: английская буржуазия с XVII по большую часть XIX в. была максимально заинтересована в деле свободы, поскольку это была первая буржуазия и она еще не придала своим зарубежным и внутренним соперникам их полную силу. Тем не менее полезно перевести некоторые выводы, полученные из английского опыта, в форму предварительных общих гипотез о тех условиях, в которых сотрудничество между важными сегментами высших классов в городе и деревне может оказаться благоприятным для развития парламентской демократии. Уже указывалось значение того, что слияние интересов происходит в оппозиции к королевской бюрократии. Вторым условием, похоже, является то, что коммерческие и промышленные лидеры должны постепенно становиться преобладающим элементом общества. При этих условиях высшие землевладельческие классы способны выработать буржуазные экономические навыки. Это происходит не через простое копирование, но в ответ на общие условия и их собственные жизненные обстоятельства. Все эти вещи, похоже, могут случиться только на раннем этапе экономического развития. Их повторение где-либо в XX в. кажется совсем невероятным.

Заимствование характерных черт у буржуазии облегчает впоследствии для высших классов землевладельцев удержание ключевых политических позиций в том, по сути, бюрократическом обществе, которым была Англия в XIX в. Еще три фактора можно отнести к важным в этой связи. Первый — это наличие существенного уровня антагонизма между коммерческими и промышленными элементами и прежними землевладельческими классами. Второй — это то, что землевладельческие классы сохраняли достаточно прочное экономическое положение. Оба этих фактора предотвращают образование солидного фронта оппозиции из высшего класса, требующей реформ и поощряющей определенную склонность к борьбе за народную поддержку. Наконец, я выскажу предположение, что землевладельческая элита должна быть способна передать кое-что из своего аристократического мировоззрения коммерческим и промышленным классам.

Эта передача представляет собой большее, чем смешанный брак, в котором древнее поместье может сохранить себя благодаря союзу с новыми деньгами. Здесь задействовано множество тонких изменений в общем положении, которые сегодня едва ли можно понять. Мы знаем лишь о последствиях: позиции буржуазии укрепились, а не ослабли, как произошло в Германии. Механизмы, посредством которых осуществилось это проникновение, далеко не ясны. Нет сомнения, что система образования играет при этом важную роль, хотя сама по себе она вряд ли может иметь решающее значение. Изучение биографической литерату-

ры, весьма богатой в Англии, может принести здесь большую пользу, несмотря на английское табу на откровенное обсуждение социальной структуры, которое иногда соблюдается не менее строго, чем табу на откровенные разговоры о сексе. Там, где линии социального, экономического, религиозного и политического раскола располагались не близко, конфликты с меньшей вероятностью приобретают настолько яростный и жестокий характер, чтобы исключить демократическое примирение. Цена подобной системы, конечно, увековечивание в большом объеме «допустимых» злоупотреблений, которые в основном допустимы для тех, кто выигрывает за счет системы.

Краткое рассмотрение судьбы английского крестьянства предполагает еще одно условие демократического развития, которое вполне может оказаться решающим на собственных основаниях. Хотя окончательное решение крестьянского вопроса по-английски, через огораживания, возможно, и не было таким brutальным, как пытались убедить нас некоторые авторы в прошлом, вряд ли есть сомнения, что огораживания как часть промышленной революции устранили крестьянский вопрос из английской политики. Поэтому в этой стране не осталось больших масс крестьян, которые послужили бы потенциалом для достижения реакционных целей в интересах высших землевладельческих классов, как в Германии и Японии. В них так же не было массового базиса для крестьянских революций, как в России и Китае. По совершенно иным причинам Соединенные Штаты также избежали политического проклятия крестьянского вопроса. Франции это не удалось, и нестабильность французской демократии в XIX–XX вв. отчасти объясняется этим фактом.

Признанная жестокость огораживаний ставит нас перед ограничениями, наложенными на возможность мирного перехода к демократии, и напоминает об открытых и насильственных конфликтах, которые предшествовали ее установлению. Пора вернуть диалектику, напомнить себе о роли революционного насилия. Большая доля этого насилия, возможно, его самые важные особенности имеют свое основание в аграрных проблемах, возникших на пути, который привел к западной демократии. Гражданская война в Англии ограничила королевский абсолютизм и предоставила коммерчески мыслящим крупным помещикам свободу в том, чтобы сыграть свою роль в уничтожении крестьянской общины в XVIII — начале XIX в. Французская революция разрушила власть землевладельческой элиты, остававшейся в основном докоммерческой, хотя некоторые ее представители начали переходить к новым формам хозяйствования, требовавшим использования репрессивного механизма для сохранения рабочей силы. В этом смысле, как уже замечено, Французская революция представила альтернативный путь создания институций, в конечном счете благоприятных для демократии. Наконец, Гражданская

VII. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПУТЬ В СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

война в Штатах также сломала власть землевладельческой элиты, которая была помехой на пути демократического прогресса, но в этом случае она сформировалась вместе с успехами капитализма.

Независимо от того, помогли или помешали эти три насильственных восстания развитию либеральной и буржуазной демократии, следует признать, что они были важной частью общего процесса. Сам по себе этот факт обеспечивает существенное оправдание для именования их буржуазными или, если угодно, либеральными революциями. Тем не менее есть реальные трудности в классификации революций, как и любого крупного исторического феномена. Перед тем как двигаться дальше, полезно рассмотреть этот момент.

Достаточно общие соображения заставляют использовать широкие категории. Вполне очевидно, что определенные институциональные порядки, такие как феодализм, абсолютная монархия или капитализм, возникают, достигают высшей точки своего развития и уходят в прошлое. Тот факт, что какой-то специфический институциональный комплекс сначала развился в одной стране, а затем в другой, как произошло с капитализмом в Италии, Голландии, Англии, Франции и Соединенных Штатах, не является помехой для общей эволюционной концепции истории. Ни одна страна не проходит через все стадии; изменения происходят лишь до определенной стадии, в рамках конкретной ситуации и институций. Таким образом, революция в средствах производства в интересах частной собственности имеет хороший шанс на успех, но только на некоторых этапах. Она может случиться безнадежно рано, оказавшись в XIV и XVI вв. второстепенным событием, либо безнадежно запоздать во второй половине XX в. Сверх и помимо конкретных исторических условий в данный момент в конкретной стране, есть также общемировые условия, такие как состояние технического искусства, экономической и политической организации, достигнутой в других частях света, что оказывает сильное влияние на перспективы революции.

Эти соображения приводят к заключению, что революции необходимо классифицировать по их широким институциональным последствиям. Много путаницы и нежелания прибегать к более крупным категориям происходит из того факта, что те, кто обеспечивают массовую поддержку революции, те, кто возглавляют ее, и те, кто в итоге больше всего от нее выигрывают, — это совсем разные люди. Только если это различие остается ясным в каждом случае, имеет смысл (и даже совершенно необходимо ради разграничения и выделения сходств) рассматривать гражданскую войну в Англии, Французскую революцию и Гражданскую войну в Соединенных Штатах как этапы развития буржуазно-демократической революции.

Есть основания для нежелания использовать этот термин, и полезно указать, почему он может ввести в заблуждение. Для некоторых авторов понятие буржуазной революции подразумевает постоянное увеличение экономической мощи городских коммерческих и промышленных классов вплоть до того момента, когда экономическая мощь вступает в конфликт с политической властью, все еще находящейся в руках прежнего правящего класса, в основном опирающегося на землевладение. В этот момент, предположительно, происходит революционный взрыв, в ходе которого коммерческие и промышленные классы перехватывают бразды политической власти и устанавливают основные контуры современной парламентской демократии.

Эта концепция не является совершенно ошибочной. Даже для Франции есть хорошие свидетельства увеличения экономической мощи сегмента буржуазии, враждебного по отношению к ограничениям, установленным при старом порядке. Тем не менее такое понимание буржуазной революции — упрощение, переходящее в карикатуру того, что происходило на самом деле. Чтобы убедиться в карикатурности нарисованной картины, достаточно вспомнить (1) важность капитализма в английской деревне, который позволил землевладельческой аристократии сохранять контроль над политической системой в течение всего XIX в.; (2) слабость всех чисто буржуазных движений во Франции, их тесную связь со старым режимом, зависимость от радикальных союзников во время революции, сохранение крестьянской экономики до новых времен; (3) и тот факт, что в Соединенных Штатах рабство на плантациях возникло как составная часть промышленного капитализма, для которого оно представляло значительно меньшую помеху, чем для демократии.

Как указано чуть выше, центральная трудность в том, что такие выражения, как «буржуазная революция» или «крестьянская революция», смешивают в одну кучу тех, кто делает революцию, и тех, кто выигрывает от нее. Кроме того, эти термины смешивают юридические и политические результаты революции с социальными группами, принимавшими в ней активное участие. Крестьянские революции XX в. пользовались массовой поддержкой крестьян, которые стали главной жертвой модернизации, осуществленной коммунистическими правительствами. Тем не менее я буду откровенно и эксплицитно непоследователен в использовании терминов. При рассмотрении крестьянских революций мы будем говорить о главной общественной силе, поддерживавшей их, прекрасно помня о том, что в XX в. результатом был коммунизм. При рассмотрении буржуазных революций оправдание этого термина основывается на ряде юридических и правовых последствий. Последовательная терминология вынуждает изобретать новые термины, что, по моим опасениям, только увеличивает путаницу. Главная проблема, в конце концов, в по-

нимании того, что именно случилось и почему, а не в правильном использовании ярлыков.

Ясно, насколько это только возможно, что Пуританская революция, Французская революция и американская Гражданская революция были достаточно насильственными восстаниями в долгом процессе политических изменений, приведших к тому, что мы называем сегодня современной западной демократией. Этот процесс имел экономические причины, хотя они определенно были не единственными. Свободы, добытые в этом процессе, показывают ясную взаимосвязь. Созданные вместе с развитием современного капитализма, они демонстрируют черты определенной исторической эпохи. Ключевые элементы в либеральном и буржуазном порядке общества: право голоса, представительство в законодательном органе власти, который создает законы, а не просто штампует их по указке исполнительной власти, объективная правовая система, которая по крайней мере в теории не дает никаких особых привилегий по рождению или унаследованному статусу, гарантия прав собственности и устранение препятствий к этому, оставшихся от прошлого, свобода слова и право на мирное собрание. Даже если практика отставала от деклараций, тем не менее они являются широко признанными чертами современного либерального общества.

Умиротворение аграрного сектора оказалось решающей чертой всего исторического процесса, породившего такое общество. Оно было не менее важным, чем более известное дисциплинирование рабочего класса, и, конечно, тесно с ним связано. В самом деле, английский опыт подталкивает к выводу о том, что устранение сельского хозяйства в качестве основной социальной активности является одним из необходимых условий успешной демократии. Политическую гегемонию высшего класса землевладельцев необходимо было разрушить либо трансформировать. Крестьянина нужно было превратить в фермера, производящего продукцию для продажи, а не для собственного потребления или для нужд своего господина. В этом процессе высшие классы землевладельцев либо превращались в важный элемент капиталистического и демократического движения, как в Англии, либо, если они пытались сопротивляться, их господство ликвидировалось в конвульсиях революции или гражданской войны. Одним словом, высшие классы землевладельцев либо помогали произвести буржуазную революцию, либо становились ее жертвой.

Завершая это рассуждение, полезно зафиксировать основные условия, которые, очевидно, являются наиболее важными для развития демократии, и в качестве грубого теста сопоставить их с ситуацией в Индии. Если окажется, что наличие какого-то из этих условий имеет доказуемую связь с успешными сторонами парламентской демократии в Индии

либо с историческими корнями этих сторон и в то же время отсутствие остальных условий демонстрирует связь с трудностями и препятствиями на пути к демократии в Индии, то мы можем с большей уверенностью опираться на эти выводы.

Первым условием демократического развития, установленным в нашем анализе, было *возникновение баланса сил, помогающего избежать как слишком мощной королевской власти, так и слишком независимой землевладельческой аристократии*. В Индии при Моголах верховная власть в зените могущества была недостижима для высших классов. Не имея гарантированных прав собственности, знать была, согласно известной фразе Морланда, либо слугой, либо врагом правящего режима. Упадок системы Моголов высвободил высшие классы, сдвинув баланс в противоположном направлении, к политике враждующих между собой князьков. Тем не менее попытка британцев в XVIII в. создать на индийской почве класс энергичных прогрессивных сквайров по домашнему образцу полностью провалилась. В индийском обществе не смогло также возникнуть второе необходимое условие — *поворот к подходящей форме коммерческого сельского хозяйства либо со стороны землевладельческой аристократии, либо со стороны крестьянства*. Вместо этого защитный зонтик британского правопорядка благоприятствовал росту населения и позволял классу помещиков-паразитов забирать себе большую часть того, что крестьяне не проедали сами. В свою очередь, эти условия значительно затруднили накопление капитала и промышленный рост. Независимость Индии была отчасти достигнута под влиянием крестьянства, мечтавшего о возвращении к идеализированной деревенской жизни прошлого, что еще больше ограничило и даже опасным образом задержало реальную модернизацию на селе. Не приходится объяснять, что эти обстоятельства были среди главных помех для установления и функционирования прочной демократии.

В то же время уход британцев сильно ослабил политическое влияние землевладельческой элиты. Многие даже скажут, что реформы, следовавшие за объявлением независимости, уничтожили ее могущество. В этой ограниченной мере развитие демократических институций пошло по западному образцу. Важнее даже то, что британская оккупационная власть, опиравшаяся на землевладельческую элиту и отдававшая предпочтение коммерческим интересам в Англии, вынудила перейти в оппозицию солидную часть городских коммерческих и торговых классов, предотвратив тем самым образование роковой коалиции сильной землевладельческой элиты и слабой буржуазии, которая, как мы подробнее увидим в следующем разделе, была социальным истоком правых авторитарных режимов и движений в Европе и Азии. Таким образом, были выполнены два условия: *ослабление землевладельческой аристо-*

VII. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПУТЬ В СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

кратии и предотвращение коалиции аристократии и буржуазии, направленной против крестьян и рабочих.

Индия действительно важный пример, где по крайней мере формальная структура демократии и значительная часть ее содержания, например наличие легальной оппозиции и каналов для протеста и критики, возникли без фазы революционного насилия. (Восстание сипаев было в основном обращено в прошлое.) И все-таки отсутствие пятого условия, революционного разрыва с прошлым и сколько-нибудь сильного движения в этом направлении вплоть до настоящего времени, относится к числу причин продолжающегося отставания Индии и исключительных сложностей, с которыми сталкивается здесь демократия. Некоторые исследователи ситуации в Индии выражали удивление, что немногочисленная индийская элита, получившая западное образование, сохранила верность демократическим идеалам, хотя могла с легкостью отказаться от них. Но почему им нужно было от них отказываться? Разве демократия не обеспечивает хорошего объяснения для их отказа от попыток масштабной реформы социальной структуры, которая сохраняет их привилегии? Конечно, ради справедливости нужно добавить, что задача представляется неподъемной и внушает страх огромной ответственности за ее выполнение.

Хотя и увлекательно было бы разобрать этот случай подробнее, но индийская политика здесь интересна постольку, поскольку она служит проверкой для теории демократии. Достижения и провалы индийской демократии, препятствия и неопределенность, с которыми она сталкивается, — все это находит рациональное объяснение в терминах пяти условий, выведенных выше из опыта других стран. Конечно, это еще не доказательство. Но, на мой взгляд, можно по праву считать, что эти пять условий не только проясняют существенные стороны индийской истории, но получают из нее серьезную поддержку.

VIII. Революция сверху и фашизм

Второй основной путь в мир современной промышленности мы называли капиталистическим и реакционным; его самые очевидные примеры — Германия и Япония. Капитализм прочно укоренился как в сельском хозяйстве, так и в промышленности этих стран, превратив их в индустриальные. Однако его развитие обошлось без революционного восстания народных масс. Слабые революционные тенденции, причем намного более слабые в Японии, чем в Германии, в обоих случаях удалось отклонить в сторону и подавить. Хотя аграрные условия и специфические типы капиталистической трансформации, которая произошла в деревне, не были единственными причинами, они внесли существенный вклад в провал этих тенденций и в ослабление любых попыток движения в сторону демократических реформ западного образца.

Существуют определенные формы капиталистической трансформации сельского хозяйства, которые могут быть экономически успешны в смысле получения хорошей прибыли, но которые по очевидным причинам неблагоприятны для роста либеральных институций, характерных для XIX в. Хотя эти формы смешиваются между собой, несложно выделить среди них два типа. Высший класс землевладельцев может, как в Японии, поддерживать в неизменном виде сложившееся к этому времени крестьянское общество, ограничиваясь лишь теми нововведениями, которые позволяют крестьянам вырабатывать достаточные излишки продукции, которые можно присвоить себе и продать с прибылью. Либо высший класс землевладельцев может изобрести совершенно новые социальные отношения по типу рабовладельческой плантации. Современное рабство — это изобретение колонизаторов, вторгшихся в тропические регионы. Однако в Восточной Европе местной знати удалось установить крепостное право, которое привязывало крестьян к земле, приводя в целом к аналогичным последствиям. И это был промежуточный случай между двумя первыми.

Как функционирование системы, при которой крестьянское общество сохранялось, поскольку из него можно было выжимать все большую прибыль, так и использование рабского или полурабского труда в крупных аграрных хозяйствах требовали силовых политических методов для отъема излишков продукции, закрепления рабочей силы на месте и в целом для поддержания работы системы. Не все эти методы были политическими в узком смысле этого слова. В особенности там, где крестьянская община сохранялась в прежнем виде, предпринимались всевозможные попытки использовать традиционные отношения и взгляды для упрочения позиции помещика. Поскольку у этих политиче-

ских методов были важные последствия, будет полезно дать им названия. Экономисты различают трудоемкий и капиталоемкий типы сельского хозяйства в зависимости от того, ориентируется ли система на использование больших объемов рабочей силы или капитала. Возможно, бесполезно будет выделить также трудорепрессивные системы, предельным примером которых является рабовладение. Сложность с этим понятием в том, что всегда с полным правом можно спросить, система какого типа не является трудорепрессивной. Различие, которое мне хотелось бы провести, — это различие между использованием политических механизмов (в широком смысле, как указано выше), с одной стороны, и опорой на рынок рабочей силы, чтобы обеспечить необходимый объем рабочей силы для обработки земли и производства излишков сельскохозяйственной продукции, которые потребляют другие классы, — с другой. В обоих случаях сильнее всего страдают те, кто находится в самом низу социальной лестницы.

Чтобы понятие трудорепрессивной сельскохозяйственной системы было полезным, следует оговорить, что в этом случае к труду принуждаются большие группы людей. Кроме того, необходимо прямо указать, что это понятие не включает, например, американскую семейную ферму XIX в. Конечно, и в этом случае происходила трудовая эксплуатация членов семьи, однако она в основном осуществлялась главой домохозяйства с минимумом внешней помощи. Далее, система наемного сельскохозяйственного труда, при которой рабочие имеют значительную свободу в том, чтобы отказаться от работы или уехать в другое место — что весьма редко случается в актуальной практике, — не попадает под эту рубрику. Наконец, докоммерческие и доиндустриальные сельскохозяйственные системы не обязательно являются трудорепрессивными, если в них устанавливался примерный баланс между вкладом суверена в поддержание правопорядка и общественной безопасности и вкладом крестьянина в форме продуктов своего труда. Вопрос о том, можно ли точно определить этот баланс в каком-то объективном смысле, является спорным, и его лучше рассмотреть в следующей главе, где эта тема поднимается в связи с анализом причин крестьянских революций. Здесь нам достаточно лишь заметить, что формирование трудорепрессивных систем в процессе модернизации не обязательно приводит к большим тяготам для крестьян, чем в иных случаях. Японским крестьянам жилось легче, чем английским. Нас интересует другой вопрос: как и почему трудорепрессивные аграрные системы были неблагоприятны для развития демократии, став важной частью институционального целого, обеспечившего подъем фашизма.

При рассмотрении аграрных истоков парламентской демократии мы заметили, что определенный уровень независимости от единоличной власти является благоприятным условием для демократического разви-

тия, пусть оно и не обеспечивается во всех случаях. Хотя трудорепрессивная сельскохозяйственная система может возникать в оппозиции к центральной власти, впоследствии в поисках политической поддержки она склонна к объединению с монархией. Эта ситуация может также привести к сохранению военной этики среди знати в форме, неблагоприятной для развития демократических институций. Эволюция прусского государства — самый яркий тому пример. Поскольку мы ссылались на эти процессы несколько раз на протяжении этой книги, здесь было бы уместно дать им краткую характеристику.

На северо-востоке Германии реакционные настроения помещиков в XV–XVI вв., о чем нам придется поговорить подробнее в совершенно ином контексте, воспрепятствовали движению в сторону освобождения крестьянства от феодальных уз, а также тесно связанному с этим развитию городской жизни, которое в Англии и Франции привело в итоге к установлению западной демократии. Фундаментальной, хотя и не единственной причиной этого стало увеличение экспорта зерна. Прусская знать расширяла свои владения за счет крестьянства, которое при тевтонских порядках пользовалось большой свободой, а теперь оказалось закрепощенным. В рамках того же процесса знать поставила в зависимость города, расстроив их экспортную торговлю. Впоследствии Гогенцоллернам удалось ликвидировать независимость знати и разделить сословия, настраивая друг против друга аристократов и горожан, что привело к ограничению аристократического участия в движении к парламентской демократии. Результатом этого в XVII–XVIII вв. стало возникновение «Северной Спарты», воинственного союза монаршей бюрократии и земельной аристократии [Rosenberg, 1958; Carsten, 1954].

Именно знать культивировала идеи о наследственном превосходстве правящего класса и внимание к статусным отличиям, которые сохраняли свое значение даже в XX в. Впоследствии в новых условиях эти представления были вульгаризированы и сделаны привлекательными для простых жителей Германии в форме доктрины расового превосходства. Королевская бюрократия продвигала вопреки значительному сопротивлению знати идеал полного и беспрекословного подчинения государственным учреждениям, независимого от классовых и личных заслуг (до XIX в. было бы анахронизмом говорить о нации). Прусская дисциплина, послушание и восхищение суровыми солдатскими добродетелями в основном исходят от усилий Гогенцоллернов по созданию централизованной монархии.

Все это, конечно, не означает, что еще с XVI в. какой-то неумолимый рок вел Германию к фашизму и что этот процесс невозможно было повернуть назад. В игру должны были включиться и другие факторы, в том числе довольно важные, по мере того, как в XIX в. стала набирать силу

индустриализация. Об этом необходимо будет поговорить ниже. В общей модели, которая привела к фашизму, было также значительное число вариантов и подстановок — «субальтернатив» (если требуется техническая точность определений) внутри главной альтернативы — консервативной модернизации через революцию сверху. В Японии идея о тотальном подчинении власти явно ведет свое происхождение со стороны феодализма, а не монархии [Sansom, 1958, vol. 1, p. 368]. А в Италии, на родине фашизма, вообще не было сильной национальной монархии. Поэтому Муссолини в поисках соответствующей символики пришлось обращаться к наследию Древнего Рима.

На более позднем этапе процесса модернизации обычно появляется новый и решающий фактор в форме грубой рабочей коалиции между влиятельными секторами высших землевладельческих классов и нарождающихся коммерческих и промышленных кругов. В общем это была конфигурация, характерная для XIX в., хотя она сохранялась и в XX в. Маркс и Энгельс в своем анализе провала революции 1848 г. в Германии, в основном ошибочном, правильно указали решающий фактор: коммерческий и промышленный класс, слишком слабый и зависимый для того, чтобы прийти к власти и править самостоятельно, объединился поэтому с землевладельческой аристократией и монаршей бюрократией, выменяв себе право наживы за счет права на власть ([Marx, n.d.], текст написан в основном Энгельсом). Необходимо добавить, что, даже если коммерческие и промышленные круги были слабыми, у них все-таки уже было достаточно влияния (либо они его быстро приобрели впоследствии), чтобы считаться ценным политическим союзником. Если бы этого не произошло, в политический расклад могла бы вмешаться крестьянская революция, которая привела бы к коммунистическому режиму. Именно это случилось в России и в Китае после провала усилий по созданию подобной коалиции. На более позднем этапе, следующем за ее формированием, в игру вступает еще один фактор: рано или поздно трудорепрессивные системы непременно сталкиваются с трудностями, возникающими из-за конкуренции с технически более развитыми системами в других странах. Конкуренция со стороны американского экспорта пшеницы привела к проблемам во многих странах Европы после окончания Гражданской войны. В условиях формирования реакционной коалиции подобная конкуренция усиливает авторитарные и реакционные тенденции среди высших классов земельной аристократии, опасавшейся угрозы для своего экономического базиса и прибегающей поэтому к политическим рычагам для сохранения своей власти.

Там, где коалиции удавалось упрочить свое положение, возникал длительный период консервативного и даже авторитарного правления, которое, однако, не было фашистским. Исторические границы по-

добных систем часто оказываются нечеткими. По самой благосклонной оценке в эту рубрику попадает временной период, начиная с реформ Штейна—Гарденберга и заканчивая Первой мировой войной, в Германии, а в Японии — с момента падения сёгуната Токугава по 1918 г. Эти авторитарные режимы отличались некоторыми демократическими чертами: при них действовал парламент с ограниченной властью. Их история знавала попытки расширить пределы демократии, которые в конце концов привели к установлению нестабильных демократических режимов (Веймарская республика, Япония 1920-х годов, Италия при Джолитти). В итоге дорога к власти для фашистских режимов оказалась открытой вследствие неудачных попыток этих демократий справиться с серьезными проблемами своего времени, их нежелания или неспособности осуществить фундаментальные структурные изменения¹. Одним из факторов (среди множества других) в социальной анатомии этих правительств было сохранение достаточно существенной доли власти в руках землевладельческой элиты из-за несостоявшегося революционного выступления крестьян в союзе с городскими слоями.

Некоторые полупарламентские правительства, возникшие на этом основании, проводили более или менее мирные экономические и политические революции сверху, и этим странам пришлось пройти длинный путь превращения в современные индустриальные государства. Германия двигалась быстрее других в этом направлении, Япония немного отставала, Италия развивалась гораздо медленнее, а Испания — едва заметно. В процессе революционной модернизации сверху правительству приходилось решать многие из тех проблем, которые в других странах были решены посредством революции снизу. Как показывает история Германии и Японии, представление о том, что насильственная народная революция безусловно необходима для устранения «феодальных» препятствий на пути индустриализации, полный абсурд. В то же время политические последствия демонтажа старого порядка сверху оказываются совершенно иными. Продвигаясь по пути консервативной модернизации, эти полупарламентские правительства пытались сохранить как можно больше от исходной социальной структуры и при малейшей возможности переносили крупные блоки в новое здание. Результатом этого было нечто вроде нынешних домов викторианской эпохи, в которых есть современные электрические плиты, но недостаточно ванн комнат, а текущие трубы декоративно скрыты за новыми гипсовыми стенами. В конечном счете эти спонтанные постройки рухнули.

¹ Польша, Венгрия, Румыния, Испания и даже Греция проделали почти именно такой путь. Признавая недостаточность своих познаний, я рискну предположить, что большая часть Латинской Америки остается в эпохе авторитарного полупарламентского правления.

Важной серией мероприятий стала рационализация политического строя. Это подразумевает разрыв с традиционными, издавна установленными территориальными делениями, такими как феодальное княжество в Японии или независимые государства и княжества в Германии и Италии. Во всех странах, за исключением Японии, этот разрыв не был доведен до конца. Но по ходу времени центральное правительство установило сильную власть и унифицированную административную систему, возникли более или менее единообразные кодекс законов и судебная система. Кроме того, с разным успехом этим государствам удалось создать достаточно мощную военную машину, которая позволяла правителю утверждать свои интересы на международной арене. Экономически установление сильной центральной власти и устранение внутренних барьеров для торговли означали увеличение размеров эффективной экономической единицы. Без этого разделение труда, необходимое для индустриального общества, не могло бы существовать, разве только все страны согласились бы на мирную торговлю друг с другом. Англия, первой вставшая на путь индустриализации, еще могла рассчитывать на большую часть доступного мира в поисках сырья и рынков сбыта, но эта ситуация стала постепенно ухудшаться в XIX в., когда подтянулись другие страны, охотно прибегавшие к использованию государственной власти для защиты своих рынков и источников ресурсов.

Еще один аспект рационализации политического строя связан с превращением граждан в общность нового типа. Грамотность и базовые технические навыки необходимы народным массам. Развитие национальной системы образования обычно приводит к конфликту с религиозной властью. Верность новой абстракции — государству — должна заменить в том числе религиозные узы, если они выходят за пределы национальных границ или их соперничество угрожает нарушить внутреннее согласие. У Японии в этом отношении было меньше проблем, чем у Германии, Италии или Испании. Но даже в Японии, как показывает отчасти искусственное возрождение синтоизма, трудности были существенными. Для преодоления такого рода трудностей наличие внешнего врага может оказаться вполне полезным. Тогда патриотические и консервативные обращения к воинским традициям помещичьей аристократии помогут преодолеть местечковые тенденции среди влиятельных групп и отодвинуть на задний план любые чересчур активные требования нижних слоев, мечтающих о неоправданно большой доле в преимуществах нового строя². Занимаясь рационализацией и распространением поли-

² Возможно, одна из причин того, что консерватору Кавуру было так сложно с относительно радикальным Гарибальди, состояла в слабости военных традиций среди итальянской землевладельческой аристократии.

тического порядка, правительства XIX в. проделывали работу, которую в других странах уже выполнил королевский абсолютизм.

Поразительной особенностью процесса консервативной модернизации является появление целой плеяды выдающихся политических лидеров: в Италии — Кавура, в Германии — Штейна, Гарденберга и, самого известного из них, Бисмарка, в Японии — политиков эпохи Мэйдзи. Хотя причины этого неясны, вряд ли появление сходных по типу лидеров в сходных обстоятельствах могло быть чистой случайностью. В политическом спектре своего времени и своей страны все они были консерваторами, преданными монархии, желавшими и способными использовать ее силу для проведения реформы, модернизации и национального объединения. Хотя все они были аристократами, но в то же время и своего рода диссидентами или аутсайдерами в отношении старого порядка. Поскольку их аристократическое происхождение обогатило политику командными навыками и чувством вкуса, можно даже зафиксировать вклад прежнего аграрного режима в построение нового общества. Но здесь также были сильные импульсы в противоположном направлении. Поскольку эти политики были чужими для аристократии, можно констатировать неспособность этого сословия ответить на вызов современного мира с помощью собственных интеллектуальных и политических ресурсов.

Наиболее успешные консервативные режимы достигли довольно многого не только в ликвидации прежнего порядка, но и в установлении нового. Государство несколькими важными методами помогало индустриальному строительству. Оно служило двигателем первичного накопления капитала, поскольку собирало ресурсы и направляло их на строительство промышленного производства. Оно также играло важную роль, хотя и не полностью репрессивную, в умирении рабочей силы. Производство вооружений служило важным стимулом для промышленности. Как и протекционистская тарифная политика. Все эти меры в некоторый момент привели к оттягиванию ресурсов или людей из сельского хозяйства. Поэтому периодически они обостряли отношения внутри коалиции между представителями высших коммерческих и аграрных кругов, что и было главной чертой этой политической системы. В отсутствие внешней угрозы, порой реальной, порой, вероятно, вымышленной, а в случае Бисмарка — и расчетливо организованной ради внутренних целей, интересами помещиков могли пренебречь, что ставило под угрозу весь политический процесс. Однако нет необходимости объяснять его характер только лишь внешней угрозой³. Материальные

³ Блестящий анализ ситуации в Германии к концу XIX в. см.: [Kehr, 1930]. В исследовании Вебера [Weber, 1924, S. 471–476] совершенно ясно описывается позиция юнкеров.

и иные награды — «выигрыш» (payoff) на языке гангстеров и теории игр — были довольно значительными для обеих сторон, поскольку им удавалось удерживать на месте крестьянство и промышленных рабочих. Там, где был существенный экономический прогресс, промышленные рабочие смогли получить значительные преимущества, как, например, в Германии, где была изобретена Sozialpolitik («социальная политика»). Именно в тех странах, которые сильнее отставали, — в Италии и в большей степени в Испании — была сильнее выражена тенденция к «каннибализации» собственного населения.

По-видимому, для успеха консервативной модернизации были необходимы определенные условия. Во-первых, требуется достаточно способное политическое руководство для того, чтобы вести за собой более близорукие реакционные элементы, сконцентрированные в основном, хотя и не исключительно, в высших землевладельческих классах. Японии вначале пришлось подавить реальный мятеж, Сацумское восстание, для обуздания этих элементов. Реакционеры всегда могут выдвинуть правдоподобный аргумент, что вожди модернизации совершают изменения и уступки, которые лишь пробуждают аппетит низших классов и ведут к революции⁴. Руководство должно иметь в своем распоряжении или суметь создать достаточно мощный бюрократический аппарат, включающий репрессивные органы, армию и полицию (как говорят немцы: «Gegen Demokraten helfen nur Soldaten» — «От демократии помогают только солдаты»), чтобы освободить себя от крайних влияний как со стороны реакционеров, так и со стороны народных масс и радикалов. Правительство должно изолировать себя от общества, что может произойти гораздо легче, чем утверждается в примитивных пересказах марксистской теории.

В краткосрочной перспективе сильное консервативное правительство имеет отчетливые преимущества. Оно способно одновременно поощрять и контролировать экономический рост. Оно может присматривать за тем, чтобы низшие классы, которые оплачивают все варианты модернизации, не создавали больших проблем. Но Германия и — даже в большей степени — Япония попытались решить, по сути, неразрешимую проблему — провести модернизацию без изменения социальной структуры. Единственным выходом из этой дилеммы был милитаризм, который сплотил высшие классы. Милитаризм усилил напряженность в международных отношениях, что, в свою очередь, делало промышленный рост

⁴ Подобные аргументы были также очень распространены в Англии как элемент реакции на Французскую революцию. Большая подборка есть в: [Turberville, 1958]. Однако реформа, которую проводили тори, могла достичь успеха в XIX в. по крайней мере отчасти потому, что это была в любом случае показательная битва: буржуазия уже одержала победу и только глупцы были не способны разглядеть ее силу.

все более настоятельной задачей, пусть даже в Германии Бисмарку удавалось некоторое время контролировать ситуацию, отчасти потому что милитаризм еще не стал массовым явлением. Проведение бескомпромиссных структурных реформ, т.е. переход к платному коммерческому сельскому хозяйству, осуществленный таким образом, чтобы не подвергать репрессиям тех, кто трудится на земле (как и их собратьев на производстве), одним словом, рациональное использование современных технологий на благо людей совершенно не вписывалось в политическое видение этих правительств⁵. В конечном счете эти системы потерпели крах из-за стремления к внешней экспансии, но это случилось лишь после того, как они попытались внушить реакционные взгляды массам в форме фашизма.

Перед обсуждением этой финальной фазы поучительно было бы проанализировать неудачи реакционных тенденций в других странах. Как сказано выше, в определенной мере реакционный синдром обнаруживается во всех рассмотренных случаях. Понимание того, почему он потерпел поражение в одних странах, может прояснить причины его успеха в других. Краткий обзор этих тенденций в таких разных странах, как Англия, Россия и Индия, поможет выделить важные фундаментальные сходства, скрытые под внешними различиями в их историческом опыте.

Начиная с последних лет Французской революции и вплоть до 1822 г. английское общество прошло через реакционную фазу, которая заставляет вспомнить как о рассмотренных выше случаях, так и о современных проблемах американской демократии. Почти все эти годы Англия вела войну против революционного режима и его наследников, причем на кону иной раз оказывалось спасение нации. Как и в наше время, сторонников внутренних реформ считали иноземными врагами, воплощающими само зло. Опять-таки, как и в наше время, насилие, репрессии и предательства, которыми сопровождалось революционное движение во Франции, приводили в отчаяние и разочаровывали его английских сторонников и в то же время облегчали и делали более убедительной деятельность реакционеров, страстно желавших затоптать на своей земле малейшие искры пожара, бушевавшего по ту сторону канала. Великий

⁵ В этом отношении Германия и Япония, конечно, не уникальны. С начала Второй мировой войны западные демократии стали все больше демонстрировать те же самые черты по сходным причинам, которые, однако, уже больше не имеют отношения к аграрному вопросу. Маркс где-то замечает, что на стадии заката буржуазия повторяет все те же ужасы и безумия, против которых боролась в прошлом. Так же вел себя и социализм в попытке самоутверждения, что позволило демократиям XX в. высоко нести свое знамя свободы, выпачканное в грязи и крови, не прибегая к откровенному цинизму и лицемерию.

французский историк Эли Галеви, далекий от драматических преувеличений, утверждал в своем сочинении 1920-х годов, что «знать и средний класс установили по всей Англии царство террора, причем более ужасного, хотя и менее слышного, чем громкие акции [радикалов]» [Halévy, 1949, vol. 2, p. 19]. События 40 с лишним лет, прошедших со времени написания этих строк, притупили наше восприятие и снизили наши стандарты. Ни один из сегодняшних авторов не назвал бы эту фазу царством террора. Число прямых жертв этих репрессий было невелико. В «бойне при Петерлоо» (1819) — как называют это событие с саркастическим намеком на знаменитую победу Веллингтона в битве при Ватерлоо — погибло 11 человек. Тем не менее митинговое движение за парламентскую реформу было поставлено вне закона, прессу заставили замолчать, ассоциации, имевшие черты радикализма, подвергались запретам, была организована серия спешных судебных процессов над изменниками родины, в народную среду внедрялись шпионы и провокаторы, а правовая гарантия Habeas Corpus была приостановлена после окончания войны с Наполеоном. Репрессии и страдания были реальными, распространенными и лишь отчасти сдерживаемыми за счет активности непреклонных оппозиционеров — аристократов, подобных Чарлзу Джеймсу Фоксу (1749–1806), отважно выступавшему в парламенте, а иногда судей или присяжных, отказывавшихся вынести приговор обвиняемому в измене родине и по другим статьям⁶.

Почему этот реакционный подъем был не более чем проходной фазой развития Англии? Почему Англия не пошла дальше по этому пути и не стала еще одной Германией? Англосаксонские свободы, Великая хартия вольностей и тому подобная риторика не дают ответа на этот вопрос. Парламент принимал репрессивные меры подавляющим большинством голосов.

Многое объясняет тот факт, что за век до этого английские радикалы отрубили голову своему монарху, уничтожив тем самым магию королевского абсолютизма в Англии. На уровне причинно-следственных связей выясняется, что вся предшествующая история Англии, ее опора на морской флот вместо армии, на неоплачиваемых мировых судей вместо королевских чиновников привели к тому, что в распоряжении центрального правительства здесь был намного более слабый репрессивный аппа-

⁶ Превосходное и подробное описание того, как жили низшие классы в Англии в этот период, см.: [Thompson, 1963]. Основные правительственные мероприятия и их некоторые последствия см.: [Cole, Postgate, 1947, p. 132–134, 148–149, 157–159, 190–193]. Ряд ценных дополнительных подробностей см.: [Halévy, 1949, vol. 2, p. 23–25]. Об аристократической оппозиции репрессиям см.: [Trevelyan, 1953, vol. 3, p. 89–92; Turberville, 1958, p. 98–100].

рат, чем в мощных континентальных монархиях. Поэтому материальные условия, на основе которых можно было построить немецкую систему, либо отсутствовали, либо были недостаточно развиты. Тем не менее мы встречали выше достаточно примеров крупных социальных и политических изменений, развивавшихся из, казалось бы, малообещающего начала, поэтому следует допустить, что недостающие институты могли бы возникнуть в более благоприятных обстоятельствах. Однако, по счастью (для гражданских свобод), они не были таковыми. Движение в сторону индустриализации началось в Англии намного раньше, избавив английскую буржуазию от необходимости искать поддержку со стороны короны или землевладельческой аристократии. Наконец, самым высшим классам землевладельцев не было нужны угнетать крестьян. В основном они стремились оттеснить крестьянство в сторону, чтобы оно не мешало развитию коммерческого сельского хозяйства; в общем экономических мер было достаточно для того, чтобы обеспечить потребность в рабочей силе. Добиваясь экономического успеха такими методами, крупные землевладельцы не испытывали необходимости прибегать к репрессивным политическим мерам для удержания своего господствующего положения. Поэтому в Англии промышленные и аграрные круги соперничали между собой за народную поддержку на протяжении оставшейся части XIX в., постепенно расширяя избирательное право, но в то же время они ревниво отвергали и сокрушали более эгоистичные меры своих оппонентов (билль о реформе 1832 г., отмена «хлебных законов» 1846 г., поддержка со стороны джентри фабричного законодательства и т.д.).

В английской реакционной фазе были намеки на возможность фашизма, в особенности в некоторых выступлениях против радикалов. Но это были не более чем намеки. Время еще не пришло. Фашистские симптомы были намного заметнее в другой части мира в более позднюю эпоху — во время краткой фазы экстремизма в России после 1905 г. Это было слишком даже по российским меркам той поры, и можно найти хорошие аргументы в пользу тезиса о том, что именно русские реакционеры изобрели фашизм. Таким образом, эта фаза российской истории особенно поучительна, поскольку она показывает, что фашистский синдром (1) может возникнуть в ответ на сложности в развитии промышленности независимо от специфических социальных и культурных условий, (2) может найти множество первопричин в аграрной жизни, (3) появляется отчасти в ответ на слабый импульс в сторону парламентской демократии, (4) но не способен добиться успеха без преобладания промышленности или в условиях доминирования сельского хозяйства. Все эти моменты, конечно, подтверждаются недавней историей Китая и Японии, однако поучительно найти для них серьезное подтверждение в российской истории.

Накануне революции 1905 г. малочисленный класс российских торговцев и промышленников выразил некоторые признаки неудовольствия репрессивной политикой царского самодержавия и проявил готовность поиграть с идеями либерализма и конституции. Однако забастовки рабочих и содержавшееся в императорском Манифесте от 17 октября 1905 г. обещание согласиться на некоторые требования рабочих вновь вернули сторонников индустриализации в лагерь защитников царской власти [Gitermann, 1944–1949, Bd. 3, S. 403, 409–410; Берлин, 1922, с. 226–227, 236]. На фоне этого возникает движение черносотенцев. Опираясь отчасти на американский опыт, они ввели в русский язык слово «линчевать» и настаивали на применении «закона Линча». Они прибегали к насилию в стиле штурмовиков для подавления «измены» и «мятежа». Как утверждала их пропаганда, если России удастся избавиться от «жидов» и приезжих, все будут жить счастливо, вернувшись к «исконно русским» традициям. Этот антисемитский нативизм пользовался большой популярностью у отсталых, докапиталистических, мелкобуржуазных элементов в городской среде и среди мелкого дворянства. Однако в отсталой крестьянской России начала XX в. эта форма правого экстремизма оказалась неспособна найти прочную поддержку в народе. Она в основном распространилась в областях совместного проживания разных национальностей, где объяснение всех несчастий деятельностью евреев и чужеземцев приобретало какой-то смысл в рамках крестьянского опыта [Левицкий, 1914, с. 347–472, 353–355, 370–376, 401, 432]. Как всем известно, в той мере, в какой оно было политически активным, русское крестьянство было революционным и в конечном счете стало главной силой, сокрушившей прежний режим.

В Индии, которая была в равной степени, если не более, отсталой страной, аналогичные движения также потерпели неудачу в получении твердой опоры среди народных масс. Конечно, Субхас Чандра Бос, погибший в 1945 г., имел диктаторские замашки, сотрудничал со странами «Оси» и пользовался значительной народной поддержкой. Хотя его профашистские симпатии согласовывались с остальными аспектами его публичной деятельности и вряд ли стали результатом сиюминутного энтузиазма или оппортунизма, в индийской традиции Субхас Чандра Бос остался радикальным, пусть и заблуждавшимся антибританским патриотом [Samra, 1959, p. 78–79]. Кроме того, было множество нативистских индусских политических организаций, в некоторых случаях развивших автократическую дисциплину европейских тоталитарных партий. Пик их влияния пришелся на время хаоса и бунтов, сопровождавших раздел Британской Индии, когда они способствовали антимусульманским выступлениям и обеспечивали защиту индусских общин от атак мусульман, возглавлявшихся обычно такими же организациями

на другой стороне. Их программы, которым недоставало экономического содержания, в основном имели форму воинственного ксенофобского индуизма, опровергавшего стереотип, согласно которому индусы миролюбивы, разделены по кастовому принципу и слабы. До сих пор они пользовались незначительной поддержкой у избирателей [Lambert, 1959, p. 211–224].

Одна из причин слабости индусского варианта фашизма на сегодняшний день, возможно, заключается в фрагментации индусского мира по кастовым, классовым и этническим границам. Поэтому откровенно фашистский призыв, обращенный к одному сегменту, вызывает неприятие у остальных, а более общий призыв, окрашенный в оттенки всеохватывающего гуманизма, уже начинает утрачивать чисто фашистские черты. В этой связи стоит заметить, что почти все экстремистские индусские группы выступили против «неприкасаемости» и прочих социальных неравенств кастовой системы [Ibid., p. 219]. Главная причина, однако, вероятно, состоит в том простом факте, что Ганди предвосхитил враждебные настроения по отношению к иностранцам и капитализму, свойственные огромным слоям населения — крестьянам и ремесленникам из кустарной промышленности. В условиях британской оккупации ему удалось связать эти настроения с интересами крупных сегментов коммерческого класса. В то же время землевладельческая аристократия в целом осталась в стороне. Поэтому реакционные тенденции были сильными в Индии, и они помогли замедлить экономический прогресс после провозглашения независимости. Но в качестве массового феномена крупные политические движения относятся к иному историческому виду, нежели фашизм.

Хотя не менее полезно было бы предпринять параллельное рассмотрение провалов демократии, которые привели к фашизму в Германии, Японии и Италии, для наших теперешних целей достаточно заметить, что фашизм немыслим без демократии или без того, что порой торжественно называется выходом масс на историческую арену. Фашизм был попыткой сделать реакционные и консервативные идеи популярными и плебейскими, вследствие чего консерватизм, конечно, утрачивал свойственную ему связь со свободой — некоторые аспекты этого процесса были рассмотрены в предшествующей главе.

Фашизм отменял понятие объективного права. Среди его наиболее значимых черт было насильственное отторжение гуманистических идеалов, включая любое понятие о равенстве людей. Фашистская идеология не только подчеркивала необходимость иерархии, дисциплины и повиновения, но также утверждала, что все это имело самостоятельную ценность. Романтические представления о товариществе едва ли смягчают эту доктрину; это товарищество в повиновении. Еще одной осо-

бенностью был акцент на насилии. Он превосходил все холодные и рациональные оценки фактического значения насилия в политике и доходил до мистического преклонения перед «твердостью» ради нее самой. Крови и смерти нередко свойственны черты эротического соблазна, однако в свои менее экзальтированные моменты фашизм был совершенно «здоровым» и «нормальным», он обещал возврат в уютное буржуазное или даже добуржуазное, крестьянское, лоно⁷.

Плебейский антикапитализм, таким образом, наиболее явно отличает фашизм XX в. от его исторических предшественников — консервативных и полупарламентских режимов XIX в. Он является результатом как вторжения капитализма в деревенскую экономику, так и напряжений, возникающих после конкурентной фазы развития капиталистической промышленности. Поэтому наиболее полно фашизм развился в Германии, где капиталистический промышленный рост продвинулся дальше всего в рамках консервативной революции сверху. В таких отсталых регионах, как Россия, Китай и Индия, он проявил себя лишь в форме слабой второстепенной тенденции. До Второй мировой войны фашизму не удалось распространиться в Англии и Соединенных Штатах, поскольку капитализм там функционировал достаточно хорошо либо усилия по исправлению его недостатков предпринимались в рамках демократии, а их успеху способствовал долговременный военный бум. На практике большая часть попыток антикапиталистической оппозиции противостоять крупному бизнесу ни к чему не привела, впрочем, нельзя делать и противоположную ошибку — считать фашистских вождей простыми агентами крупного капитала. На привлекательность фашизма для нижних слоев городского среднего класса, который испытывал угрозу со стороны капитализма, многократно указывалось; мы можем здесь ограничиться кратким рассмотрением сведений о разнообразии отношений к нему в крестьянской среде в различных странах. В Германии усилия по формированию массовой консервативной опоры в деревне предпринимались задолго до нацистов. Как указывает профессор Александр Гершенкрон, базовые элементы нацистской доктрины вполне отчетливо проявились в достаточно успешных попытках юнкеров завоевать поддержку крестьян из небольших хозяйств в неюнкерских областях с помощью Аграрной лиги, созданной в 1894 г. К приемам, использовавшимся для усиления антикапиталистических настроений среди крестьян в контексте, тесно связанном с нацистским различием «хищнического» и «производительного» капитала, относились: культ «фюрера», идея корпоративного государства, милитаризм, антисемитизм [Gerschenkron, 1943, p. 53, 55].

⁷ Теория, что фашизм является атавизмом, не позволяет его удовлетворительно определить. Таковы революционные движения, как я постарался показать подробнее в следующей главе.

Есть много надежных указаний на то, что в годы, предшествовавшие депрессии, зажиточные и преуспевающие крестьяне постепенно сдавали свои позиции крестьянской бедноте. Депрессия ознаменовала собой глубокий и всесторонний кризис, главным ответом на который в деревне стал национал-социализм. Деревенская поддержка нацистов составляла в среднем 37,4% и практически не отличалась от поддержки в целом по стране на последних относительно свободных выборах 31 июля 1932 г.⁸

Если посмотреть на карту Германии, показывающую распределение голосов, поданных за нацистов в сельских регионах, и сравнить эту карту с другими, которые показывают распределение цен на землю, типов культивации⁹ или области преобладания небольших, средних и крупных хозяйств¹⁰, то на первый взгляд популярность нацизма в деревне не показывает жесткой связи с чем-либо из этого. Однако если изучить карты подробнее, можно обнаружить существенное подтверждение тому, что нацисты добились успеха у крестьян, владевших небольшими наделами, сравнительно нерентабельными для своей местности¹¹.

Для мелкого крестьянства, страдавшего под натиском капитализма с его проблемами цен и кредитов, которыми, как казалось, заправляли враждебно настроенные горожане среднего класса и банкиры, нацист-

⁸ Для информации по голосованию в деревне см. карту Германии без Stadtkreise, на которой показано распределение голосов в пользу нацистов в сельских областях на июль 1932 г., в исследовании: [Loomis, Beegle, 1946, p. 726]. Процентные данные по голосам в пользу нацистов по всей Германии в выборной статистике с 1919 по 1933 г. см.: [Dittmann, 1945].

⁹ Ср. карту в цитировавшемся выше исследовании Лумиса и Бигла с картами-вклейками VIII, VIIa и I в издании: [Die deutsche Landwirtschaft., 1932].

¹⁰ Напечатано в приложениях к «Statistik des Deutschen Reichs» и с меньшими подробностями, но на одной странице в качестве карты-вклейки IV в указанном в предыдущей сноске издании.

¹¹ Специальные исследования также подтверждают мнение, согласно которому «маленький человек», жертва капитализма, был самой благодарной публикой для нацистской пропаганды. В Шлезвиг-Гольштейне деревенские общины, где нацисты набрали от 80 до 100% голосов, находились в местности, известной как Geest, в регионе мелких хозяйств, расположенных на бедной почве и зависимых от конъюнктурного спроса на домашний скот. Об этом см.: [Heberle, 1951, p. 226, 228]. В некоторых частях Ганновера обнаруживается то же сочетание. Под Нюрнбергом также доля голосов за нацистов была в пределах от 71 до 83% в области сравнительно низких цен на землю, средних крестьянских хозяйств и в целом второстепенного сельского хозяйства, зависимого от городских рынков сбыта. См.: [Loomis, Beegle, 1946, p. 726, 727]. Сводку других свидетельств, указывающих в том же направлении, см.: [Bracher, Sauer, Schulz, 1960, S. 389–390].

ская пропаганда представляла романтический образ идеализированного крестьянина, «свободного человека на свободной земле». Крестьянин стал ключевой фигурой в идеологии правого радикализма, разработанной нацистами. Они охотно подчеркивали, что для крестьянина земля нечто большее, чем средство, необходимое для того, чтобы заработать себе на жизнь; в их представлениях земля обладала всеми сентиментальными обертонами того, что называется *Heimat*, Родиной, связь с которой крестьянин ощущал намного сильнее, чем белый воротничок — со своим офисом, а промышленный рабочий — со своим цехом. В этом учении правого радикализма смешивались воедино физиократические и либеральные понятия [Bracher, Sauer, Schulz, 1960, S. 390–391]. «Крепкая сердцевина мелкого и среднего крестьянства во все времена оказывалась наилучшей защитой от социальных бедствий, с которыми мы имеем дело сегодня», — утверждал Гитлер в «*Mein Kampf*». Такое крестьянство обеспечивает единственный способ, каким нация способна обеспечить свой хлеб насущный. Он продолжает: «Промышленность и коммерция оставляют свои нездоровые лидирующие позиции и встраиваются в общую рамку государственной экономики, базирующейся на потребности и равенстве. Они уже не основа для пропитания нации, а только помощники в этом» [Hitler, 1935, S. 151–152]¹².

Для наших целей нет особого смысла рассматривать судьбу этих понятий после прихода к власти нацистов. Хотя кое-где предпринимались какие-то начинания, большинство из них были свернуты, поскольку они противоречили требованиям сильной военной экономики, с необходимостью базирующейся на индустрии. Идея отказа от промышленности с очевидностью была самой абсурдной чертой¹³.

В Японии, как и в Германии, псевдорадикальный капитализм добился значительного успеха среди крестьянства. Здесь также был первоначальный импульс, происходивший со стороны высших землевладельческих классов. В то же время его более экстремальные формы, такие как банды убийц, состоявшие из молодых военных офицеров, хотя и заявляли о том, что выступают от имени крестьян, похоже, не имели среди них особой популярности. В любом случае экстремизм растворился на фоне общей картины «респектабельного» японского консерватизма и военной экспансии, которым крестьянство обеспечивало массовую поддержку. Поскольку ситуация в Японии подробно рассматривалась выше, здесь нет необходимости останавливаться на ней дольше.

¹² Основные фактические аспекты нацистской политики приводятся также в: [Schweitzer, 1955, p. 576–594].

¹³ О судьбе аграрной программы см.: [Wundedich, 1961, pt. 3 «The Period of National Socialism»].

Итальянский фашизм демонстрирует те же псевдорадикальные и прокрестьянские черты, как в Германии и Японии. Однако в Италии эти понятия были оппортунистскими, они представляли собой циничную декорацию, возведенную ради того, чтобы воспользоваться обстоятельствами. Циничный оппортунизм, конечно, присутствовал в Германии и Японии, но в Италии он был наиболее откровенным.

Сразу после войны 1914 г. в североитальянской деревне разразилась ожесточенная борьба между социалистическими и христианско-демократическими профсоюзами, с одной стороны, и крупными помещиками — с другой. В это время, т.е. в 1919–1920 гг., Муссолини, согласно Иньяцио Силоне, пренебрегал деревней и не верил в фашистский триумф на земле, полагая, что фашизм всегда будет городским движением [Silone, 1934, S. 107]. Однако борьба между помещиками и профсоюзами, представлявшими интересы наемного труда и арендаторов, предоставила фашистам неожиданную возможность поймать рыбу в мутной воде. Выступая в качестве спасителей цивилизации от угрозы большевизма, *fasci* — по сути, банда идеалистов, демобилизованных армейских офицеров и простых уголовников — громили штаб-квартиры деревенских профсоюзов, нередко при попустительстве полиции, и в течение 1921 г. уничтожили левое движение на селе. Среди тех, кто устремился в ряды фашистов, были крестьяне, ставшие помещиками средней руки, и даже арендаторы, которым были противны монополистические практики профсоюзов [Schmidt, 1938, p. 34–38; Silone, 1934, S. 109; Salvemini, 1918, p. 67, 73]. Летом того же года Муссолини высказал свое известное замечание, что, «если фашизм не хочет умереть или, хуже того, совершить самоубийство, он должен теперь обеспечить себя учением... Я хочу, чтобы за эти два месяца, которые остаются до нашей национальной ассамблеи, была создана философия фашизма» (цит. по: [Schmidt, 1938, p. 39–40]).

Лишь впоследствии вожди итальянского фашизма стали заявлять, что фашизм, защищая интересы крестьян, делает Италию ближе к деревне или что фашизм в первую очередь был «сельским явлением». Подобные заявления были нонсенсом. Число фермеров-собственников сократилось на 500 тыс. человек с 1921 по 1931 г., зато число арендаторов, расплачивавшихся деньгами и продукцией, выросло примерно на 400 тыс. человек. По сути, фашизм защищал крупные аграрные хозяйства и крупную промышленность за счет сельскохозяйственных рабочих, мелких крестьян и потребителей (см.: [Ibid., p. v, 66–67, 71, 113, 132–134]).

Оглядываясь на фашизм и его предшественников, мы можем видеть, что прославление крестьянства возникает как реакционный симптом и на Западе, и в Азии в тот момент, когда крестьянская экономика сталкивается с суровыми испытаниями. В первой части эпилога я попытаюсь указать некоторые повторяющиеся формы, которые приобретает

VIII. РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ И ФАШИЗМ

это прославление на более опасных стадиях. Сказать, что подобные идеи были просто навязаны крестьянам со стороны высших классов, не совсем верно. Поскольку эти идеи находят отклик в крестьянском опыте, они могут получить широкое распространение, причем, похоже, тем шире, чем более промышленно развитой и современной является страна.

Можно возразить на то, чтобы расценивать прославление крестьянства как реакционный симптом, процитировав слова одобрения Джефферсона в отношении мелкого фермера или Джона Стюарта Милля в защиту крестьянского фермерства. Однако оба мыслителя в характерном для раннего либерального капитализма стиле скорее защищали не крестьянство, но мелкого независимого собственника. В их рассуждениях нет ни воинственного шовинизма, ни прославления иерархии или повиновения, которые встречаются в последующую эпоху, пусть им и были свойственны спонтанные всплески романтического отношения к сельской жизни. Но даже и в этом случае их позиция по аграрным проблемам и по деревенской общине обозначает те пределы, выйти за которые не мог либеральный мыслитель той поры. Для того чтобы подобные идеи смогли послужить реакционным целям в XX в., они должны были бы приобрести новую форму и появиться в новом контексте; защита тяжелого труда и мелкой собственности в XX в. приобрела совершенно иной политический смысл, отличающийся от того, который она имела в середине XIX или в конце XVIII в.

IX. Крестьяне и революция

Процесс модернизации начинается с провалов крестьянских революций. Он достигает кульминации в XX в., когда крестьянские революции добиваются успеха. Больше уже невозможно рассматривать всерьез точку зрения, согласно которой крестьянство — это «объект истории», форма социальной жизни, поверх которой проходят исторические изменения, но которая не вносит ничего своего в импульс этих перемен. Если иметь вкус к исторической иронии, то чрезвычайно любопытным представляется тот факт, что в современную эпоху крестьянин был в не меньшей степени агентом революции, чем машина, что параллельно с успехами техники крестьянин совершенно самостоятельно превратился в эффективного деятеля исторических преобразований. Тем не менее революционный этот вклад был различным: он был решающим в Китае и России, довольно важным во Франции, достаточно слабым в Японии, незначительным в Индии (на сегодняшний день), ничтожным в Германии и Англии после первоначального всплеска, закончившегося неудачей. В заключительной главе наша задача состоит в том, чтобы систематично сопоставить эти факты между собой, чтобы определить, какие социальные структуры и исторические ситуации приводят к сильным крестьянским революциям, а какие, напротив, препятствуют им.

Этот замысел непросто реализовать. Общие традиционные объяснения наталкиваются на важные исключения, если рассматривать исторический материал в таком же широком диапазоне, как в этом исследовании. Никакая теория, выделяющая какой-то отдельный фактор, не оказывается удовлетворительной. Поскольку отрицательные результаты также полезны, я начну с краткого обзора тех теорий, которыми следует пренебречь.

Первый случай возникает, когда современный исследователь выбирает простую экономическую интерпретацию в терминах ухудшения положения крестьянина под воздействием торговли и промышленности. Там, где ухудшение достигло заметного уровня, логично ожидать революционного выступления. Здесь полезным ограничением оказывается пример Индии, особенно если сравнивать ее с Китаем. Нет никакого указания на то, что ухудшение экономического положения крестьянства в Индии было более серьезным, чем в Китае в XIX–XX вв. Конечно, свидетельства в обоих случаях неполны. В то же время вряд ли какие-либо различия способны объяснить контраст в политической вовлеченности китайских и индийских крестьян за последние полвека. Поскольку эти

различия уходят корнями глубоко в прошлое, очевидно, что простое экономическое объяснение здесь не поможет.

Можно возразить, что этот вид экономического объяснения слишком примитивен. Скорее не просто ухудшение материального положения крестьян, но тотальное уничтожение всего их образа жизни, самих оснований крестьянского быта — собственности, семьи, религии — оказывается причиной революционной ситуации. Но факты вновь говорят противоположное. Массовое восстание подняли не английские крестьяне, брошенные на произвол судьбы из-за политики огораживаний, но французские, которым она всего лишь угрожала. Русская крестьянская община в 1917 г. осталась в основном нетронутой. И, как подробнее показано ниже в этой главе, не крестьяне на востоке Германии, где прокатилась помещичья реакция, приведшая к восстановлению крепостничества, подняли кровопролитные мятежи в XVII в., но крестьяне на юге и западе страны, в целом сохранявшие и даже развивавшие свой традиционный образ жизни. Как мы увидим, к истине ближе прямо противоположная гипотеза.

Романтическая и консервативная традиция XIX в. порождает еще один известный тезис о том, что, если благородный аристократ живет среди своих крестьян в сельской местности, вероятность ожесточенного крестьянского выступления меньше, чем в тех случаях, когда пристрастившийся к роскоши помещик уезжает жить в столицу. Истоком этой теории, по-видимому, является контраст между судьбами французской и английской аристократии в XVIII–XIX вв. Однако русские помещики XIX в. часто проводили большую часть своей жизни в своем поместье, что не мешало крестьянам сжигать усадьбы и в конце концов устранить дворянство с исторической сцены. Даже для самой Франции этот тезис сомнителен. Современные исследования показали, что отнюдь не вся знать жила при дворе; многие помещики вели морально образцовую жизнь в сельской местности.

Несколько ближе к истине может оказаться мнение, что массы деревенского безземельного пролетариата являются потенциальным источником восстаний и революций. Огромная численность и явная нищета деревенского пролетариата в Индии, похоже, опровергают эту теорию. В то же время многие из этих людей привязаны к господствующей системе благодаря владению крошечным участком земли и через кастовые отношения. Там, где подобные связи рушились либо вообще никогда не существовали, как в плантаторской экономике, функционировавшей за счет очень дешевого наемного труда представителей другой расы или рабов, шансы на восстание были намного выше. Хотя рабовладельцы американского Юга, вероятно, преувеличивали свои опасения, в других случаях было достаточно оснований для страхов перед восстанием:

в Древнем Риме, на Гаити и в других странах Карибского бассейна в XVIII–XIX вв., в некоторых областях Испании Нового времени, а также не так давно — на сахарных плантациях Кубы. Но даже если эта гипотеза продемонстрирует свою правильность при более тщательном изучении, она не предложит никакого объяснения для исторически важных случаев. Деревенский пролетариат этого типа не играл никакой роли в русских революциях 1905 и 1917 гг. (см.: [Robinson, 1932, p. 106]). Хотя китайский случай хуже задокументирован, а банды бродячих крестьян, по различным причинам вынужденных оставить свою землю, играли здесь заметную роль, революционные выступления 1927 и 1949 гг. точно не были связаны с деревенским пролетариатом, трудившимся в крупных поместьях. Не приводило это и к революционным всплескам в XIX в. В качестве общего объяснения эта теория попросту не работает.

Отказавшись от материальных объяснений, естественно обратиться к гипотезам, указывающих на роль религии. На первый взгляд этот путь кажется многообещающим. В индуизме можно найти множество объяснений пассивности индийских крестьян. Вообще органическая космология, легитимирующая роль правящего класса и нашедшая свое выражение в теории вселенской гармонии, которая внушает покорность и примирение со своей судьбой, очевидно, может стать сильным препятствием для восстания и бунта крестьян, если те придерживаются ее принципов. Здесь сразу возникают сложности. Такие религии порождаются городскими жреческими классами. Уровень их поддержки среди крестьян проблематичен. В целом для крестьянской общины характерно наличие подспудных верований, отличных от религиозных взглядов образованного слоя и часто находящихся в прямой оппозиции к ним. Лишь фрагменты этой скрытой традиции, передаваемой из уст в уста из поколения в поколение, обычно сохраняются в исторических записях, да и то, вероятно, в искаженной форме.

Даже в пропитанной религией Индии встречаются многочисленные примеры широко распространенной враждебности к брахманам. Крестьяне в Индии и других странах могут верить в действенность магии и ритуалов, но в то же время неприязненно относиться к людям, которые проводят ритуалы, и к той плате, которая взимается за это. Движения, стремившиеся к устранению жрецов и к прямому доступу к божеству и источнику магии, долгое время подспудно бурлили как в Европе, так и в Азии, периодически выплескиваясь наружу в ересь и бунтах. Поэтому хотелось бы понять, какие обстоятельства делают крестьян приверженцами таких движений в определенный исторический момент. Кроме того, они отнюдь не всегда сопровождают более важные крестьянские выступления. Почти нет никаких указаний на религиозную составляющую крестьянских волнений, предшествовавших

Французской революции и сопровождавших ее. В русской революции вряд ли какие-то городские идеи, будь то религиозные или секулярные, сыграли значительную роль. Дж.Т. Робинсон в своем исследовании русского крестьянства накануне 1917 г. указывает, что религиозные и другие духовные течения, навязывавшиеся крестьянам извне, были совершенно консервативными, и отказывается принимать в расчет роль революционных идей, проникших из города [Robinson, 1932, p. 144]. Конечно, дальнейшие исследования могут показать роль подспудных традиций, характерных для крестьянства и выраженных в религиозных терминах. Тем не менее чтобы это объяснение оставалось осмысленным в случае России, как и любого другого общества, требуются сведения о том, каким образом эти идеи соотносятся с конкретными социальными условиями. Сама по себе религия еще не ответ.

Недостатки всех этих гипотез в том, что они придают слишком большое значение крестьянству. Но внимательное рассмотрение хода любого доиндустриального восстания показывает, что его невозможно понять без отсылок к действиям высших классов, которые по большей части и спровоцировали его. Другая отличительная черта восстаний в аграрных обществах — это их тенденция перенимать характер того общества, против которого они направлены. В Новое время эта тенденция менее различима, поскольку успешные восстания становились прологом к основательному и насильственному преобразованию всего общества. Но это намного более очевидно в более ранних крестьянских восстаниях. Мятежники сражаются за восстановление «старого порядка», как во время Bauernkrieg, за «истинного» или за «добротного царя», как в русских крестьянских бунтах. В традиционном Китае результатом обычно оказывалось замещение ослабевшей династии новой, набирающей силу, т.е. реставрация, по сути, той же самой социальной структуры. Перед тем как изучать крестьянство, необходимо рассмотреть все общество.

Принимая во внимание эти соображения, мы можем поставить вопрос, являются ли определенные типы аграрных и досовременных обществ более других подверженными крестьянским восстаниям и мятежам и какие структурные особенности могут помочь в объяснении различий. Достаточно указать на контраст между Индией и Китаем, чтобы увидеть, что различия существуют и обладают длительными политическими последствиями. Аналогичным образом наличие хотя бы одной реальной попытки крестьянского восстания в Индии, например в штате Хайдарабад в 1948 г., даже если оставить в стороне более мелкие выступления, заставляет предположить, что ни одна социальная структура не может быть совершенно защищенной от революционных тенденций, вызываемых ходом модернизации. В то же время некоторые общества очевидно более подвержены им, чем другие. На время мы можем оста-

вить без внимания все проблемы, которые возникают в ходе модернизации, и сфокусироваться только на структурных различиях досовременных обществ¹.

Контраст между Индией и Китаем позволяет выдвинуть более убедительную гипотезу, чем рассмотренные выше. Индийское общество, как отмечают многие исследователи, напоминает огромный, но в то же время очень простой беспозвоночный организм. Определенный координирующий центр власти, монарх, или, если продолжить биологическую метафору, — мозг — не обязательно требовался ему для функционирования. На протяжении большей части индийской истории вплоть до Нового времени не существовало центральной власти, диктующей свою волю всему субконтиненту. Индийское общество напоминает морскую звезду, которую рыбаки ожесточенно рассекали на части, чтобы увидеть, как из каждой части впоследствии возникает новая морская звезда. Но эта аналогия неточна. Индийское общество было даже проще, но при этом намного более разнородным. Климат, сельскохозяйственные практики, системы налогообложения, религиозные верования и многие другие социальные и культурные особенности заметно отличаются в разных частях страны. В то же время кастовая система была единой для всех и обеспечивала структуру, вокруг которой повсеместно была организована жизнь. Именно она дала возможность возникнуть этим различиям, а также обществу, в котором территориальный сегмент мог быть отрезан от всего остального безо всякого ущерба или по крайней мере без фатального ущерба как для себя, так и для всего общества. Намного более важна (в контексте наших непосредственных задач) обратная сторона этой особенности. Любая попытка инновации, любая местная вариация, просто становилась основой для новой касты. Дело было не только в новых религиозных верованиях. Поскольку различие между священным и профанным в индийском обществе чрезвычайно неоднозначное и поскольку религиозно окрашенные кастовые коды охватывают практически весь спектр человеческой деятельности, любое нововведение или даже его попытка в досовременную эпоху скорее всего становились основой для еще одной касты. Поэтому оппозиция к обще-

¹ Как показывают эпитеты «защищенный» (immune) и «подверженный» (vulnerable), английское словоупотребление принуждает к консервативной оценке в анализе революций: неявно предполагается, что «здоровое» общество защищено от революции. Вследствие этого следует явным образом выразить авторское несогласие с этим допущением. Рассмотрение того, почему революции происходят или не происходят, логически не связано ни с одобрением, ни с порицанием, даже если ни один исследователь не может до конца освободиться от предпочтений. Не претендуя здесь на доказательство, я выскажу предположение, что больны именно те общества, в которых революции невозможны.

ству и паразитирование на нем стали частью самого общества в форме бандитских каст или каст в форме религиозных сект. В Китае также были известны бандитские династии [Hsiao, 1960, p. 462]. В китайском контексте они имели совсем другое значение, помимо того факта, что в отсутствие каст вовлечение новых участников осуществлялось легче. В Китае помещик нуждался в сильной центральной власти как в одном из условий, необходимых для выжимания излишков продукции у крестьян. До совсем недавнего времени из-за кастовой системы это условие было необязательным в Индии. По этой причине китайскому обществу было необходимо нечто вроде мозга, во всяком случае нечто большее, чем рудиментарный центр координации. Бандиты в Китае представляли собой угрозу и могли привести к крестьянскому восстанию.

Общую гипотезу, возникающую из этой краткой сводки, с учетом обычной ритуальной фразы «*ceteris paribus*» («при прочих равных условиях»), используемой учеными для того, чтобы обойти стороной трудные моменты, можно представить следующим образом. Предельно раздробленное общество, нуждающееся в расплывчатых санкциях для сохранения своей целостности и для выжимания излишков продукции у коренного крестьянства, практически не подвержено крестьянским восстаниям, поскольку оппозиция обычно выражается в создании еще одного сегмента. В то же время аграрная бюрократия или общество, которое зависит от центральной власти, обеспечивающей извлечение излишков, наиболее подвержены подобным выступлениям. Феодальные системы, где реальная власть распределена между несколькими центрами в условиях номинальной центральной власти слабого монарха, находятся где-то посередине. Эта гипотеза по крайней мере соответствует основным фактам, приведенным в данном исследовании. Крестьянский бунт был серьезной проблемой в традиционном Китае и в царской России; несколько менее серьезной, но нередко подспудной проблемой он был в средневековой Европе; достаточно заметной — в Японии после XV в.; и почти нет упоминаний об этом в истории Индии².

Возвращаясь к самому процессу модернизации, можно отметить еще раз, что успех или провал попыток высшего класса развить коммерческое сельское хозяйство имел громадное значение для политического развития государства. Там, где высший землевладельческий класс занялся производством продукции на продажу, в результате чего сельская жизнь подчинилась коммерческим влияниям, крестьянские револю-

² Японские бунты демонстрируют некоторые признаки ранней фазы европейской модернизации, и этот факт согласуется с тем, что в Японии был более централизованный феодализм, напоминающий усилия европейцев по сохранению привилегий и *status quo* в условиях абсолютной монархии. См.: [Sansom, 1961, vol. 2, p. 108–110].

ции терпели неудачу. Было несколько различных способов реализации этого антиреволюционного перехода. В начале эпохи Мэйдзи быстро обновлявшийся высший землевладельческий класс Японии сохранил большую часть традиционной крестьянской общины в качестве механизма для извлечения излишков. В других ключевых случаях крестьянская община была разрушена либо через устранение связи с землей, как в Англии, либо через усиление этой связи, как после восстановления крепостничества в Пруссии. Наоборот, свидетельства показывают, что революционное движение сильнее развивается и становится серьезной угрозой там, где землевладельческой аристократии не удастся организовать со своей стороны мощный коммерческий импульс. В этом случае под поверхностными преобразованиями сохраняется поврежденная, но действенная крестьянская община, с которой знать уже почти не имеет связей. Она попытается поддерживать свой образ жизни в меняющемся мире за счет выжимания все большего объема излишков продукции из крестьянства. В общем и целом именно так обстояли дела во Франции XVIII в., а также в России и Китае XIX–XX вв.³

Великая Крестьянская война в Германии, Bauernkrieg 1524–1526 гг., поразительным образом иллюстрирует эти отношения, особенно если сравнить между собой области, где она бушевала с силой, и области, в которых она имела эпизодическое значение. Поскольку это была наиболее важная крестьянская революция раннего Нового времени в Европе, было бы полезно вкратце рассмотреть ее здесь. Опять-таки ее значение становится наиболее ясным через сопоставление с изменениями в английском обществе. Важный сегмент высших землевладельческих классов в Англии хотел владеть не людьми, но землей для выпаса овец. В то же время немецкие юнкеры хотели владеть людьми, а именно людьми, прикрепленными к земле, чтобы производить зерно, которое они продавали на экспорт. Существенная часть последующей истории обеих стран восходит к этому простому различию.

В Пруссии развитие зернового экспорта произвело резкую перемену по сравнению с прежними тенденциями, сходными с тем, что проис-

³ Индия может показаться исключением в этом общем заключении о сохранении крестьянской общины как причины современной революции. Отчасти это объясняется тем, какие препятствия для бунта и революции существуют внутри досовременной социальной структуры Индии, а отчасти тем, как до сих пор проходила модернизация. Самое главное, что модернизация едва только началась в индийской деревне. Таковы основания считать, что эта страна не является по-настоящему исключением. Но, возможно, она им станет. Исторические обобщения не похожи на неизменные законы физики: ход истории отражает в основном попытки вырваться из ограничений, наложенных предшествующими условиями, которые находят свое выражение в подобных обобщениях.

ходило в Западной Европе, где парламентская демократия в итоге одержала победу. К середине XIV в. Пруссия все еще напоминала Западную Европу, даже если она достигла этой стадии по другому пути. Тогда это была земля преуспевающих и сравнительно свободных крестьян. Как и в остальной части того, что впоследствии стало северо-востоком Германии, необходимость предоставить благоприятные условия немецким колонистам-иммигрантам, а также развитие сильной центральной власти в форме Тевтонского ордена и активной городской жизни стали главной причиной этой вольности. Немецкие крестьяне имели право продавать и передавать по наследству свою землю, продавать свою продукцию на городском рынке. Их обязанности по отношению к сюзерену, как денежные, так и трудовые, были посильными, власть помещика в деревенских делах была серьезно ограничена, в основном она касалась «высшей справедливости», т.е. наиболее серьезных преступлений. В остальном деревенские жители сами устраивали свои дела⁴.

В колонизируемой области деревни основывались землемером, часто нанятым помещиками-дворянами, который обеспечивал приток поселенцев, приводил их из прежних мест, прикреплял их к своему наделу, межевал деревенские поля и взамен становился потомственным главой поселения с самой крупной долей собственности [Carsten, 1954, p. 30–31]. Поэтому в определенном смысле деревни на северо-востоке Германии были искусственными коммунами, получившими свои права сверху в форме хартий (Handfesten). В этом отношении их положение отличалось от немецкоговорящих деревень на юге, которые завоевали себе права в ходе продолжительной борьбы с помещиками. Это различие отчасти объясняет отсутствие сопротивления последующему порабощению на северо-востоке, хотя более важную роль, по-видимому, сыграли другие факторы. Еще одним отличием от юга был этнически смешанный состав населения, поскольку немцы селились на славянских территориях. Однако немецкие деревни обычно основывались на незанятых землях, и крестьяне-славяне вскоре получали такой же благоприятный правовой статус, что и немцы [Ibid., p. 32, 34–35, 37–39].

К концу XIV в. начались изменения, которые впоследствии привели к закреплению крестьян. Города приходили в упадок, ослабела центральная власть. Но важнее всего было начало развития экспортной торговли зерном. Вместе эти силы изменили политический баланс в деревне. Другие части Германии и Европы также оказались затронуты распространением фальшивых денег из-за ослабления монархической власти и аграрным кризисом, который привел к тому, что знать стала

⁴ Подробнее о крестьянской ситуации см.: [Carsten, 1954, pt. 1, p. 29–31, 41, 62, 64, 73–74]. Сводку некоторых правовых материалов см.: [Stein, 1918, S. 431, 434].

угнетать крестьян, и в итоге эти события породили Крестьянскую войну [Carsten, 1954, p. 115]. Но только на северо-западе возникла важная экспортная торговля зерном.

Последствия для крестьян были катастрофическими. Помещикам стали неинтересны денежные поборы с крестьян, и они перешли к обработке земли и расширению своих владений. Для этого требовалась крестьянская рабочая сила. Трудовые повинности были расширены, крестьян привязали к земле. Их практически лишили права продавать и передавать по наследству свою землю, им больше не разрешалось выбирать себе жену вне поместья. Большинство этих перемен произошло в XVI в., в период бурного роста экспортных цен на зерно. Стоит заметить, что в этой ситуации дефицит рабочей силы не помогал крестьянам, но привел к ужесточению дисциплины, чтобы помешать бегству из поместья, и что многочисленная, хотя и достаточно бедная знать смогла установить трудорепрессивную систему без помощи сильного центрального правительства. На самом деле формальное упразднение Тевтонского ордена в 1525 г. стало одним из самых важных политических событий, которые привели к вышеуказанным результатам [Ibid., ch. 11, p. 149–150, 154, 163–164].

В период колонизации крестьянские деревни часто были физически изолированы от дворянских поместий и существовали во многом как независимый организм. Во второй половине XV в. независимость была ликвидирована [Aubin, 1911, S. 155–156], поскольку помещики внедрили в деревни как экономически — через отъем крестьянской собственности, в особенности крупных владений главы поселения, так и политически — через монополию на правосудие [Stein, 1918, S. 437–439]. Если не учитывать это поглощение деревенского сообщества и уничтожение его автономии, трудно понять, как множество разрозненных дворян могло бы навязать свою волю крестьянству.

К концу XVII в. большинство дворян превратились в мелких деспотов в своих поместьях, неподконтрольных формальной власти ни сверху, ни снизу. Юнкерская «капиталистическая» революция XVI–XVII вв. почти полностью была социальной и политической. В литературе не встречается никаких указаний на какие-то важные технические изменения в сельском хозяйстве, которые сопровождали восхождение юнкеров к неограниченному господству. Трехпольная система применялась по-прежнему повсеместно вплоть до Семилетней войны, а к XVII в. аграрные практики, особенно в крупных юнкерских поместьях, намного отставали от того, что использовалось в западных немецких землях [Ibid., S. 463–464].

Крестьяне все-таки оказали некоторое сопротивление. Единственный заслуживающий внимание бунт произошел неподалеку от Кёнигсберга

в 1525 г., вскоре после упразднения Тевтонского ордена. Неудивительно, что мятежный импульс пришел отчасти из самого города и от тех, кто мог потерять больше других, — от наиболее преуспевающих крестьян. Он был быстро подавлен из-за слабой поддержки со стороны городов, в которых в отличие от городов в области, охваченной Bauernkrieg, цеховая жизнь была незначительной [Carsten, 1938, p. 407]⁵.

Ситуация, которая привела к Bauernkrieg 1524–1525 гг., была в своих важнейших отношениях почти противоположной тому, что происходило в северо-восточной Германии, и заставляет вспомнить некоторые черты, повторившиеся спустя более чем два века во Французской революции. Поскольку Bauernkrieg и многочисленные восстания, приведшие к этой войне, распространились по широкой территории — от современной западной Австрии почти по всей Швейцарии, по областям юго-западной Германии и по большинству областей верхней долины Рейна, — везде, естественно, возникали свои значительные отличия в местных условиях. Эти вариации осложнили определение причин и не давали вплоть до настоящего времени угаснуть ожесточенным спорам⁶.

Тем не менее существует устойчивое согласие среди ученых по следующим моментам. Местные князья в этой части Германии усиливали свою власть, а не ослабляли ее, как на северо-востоке, и предпринимали некоторые предварительные шаги для установления контроля над своей знатью и учреждения современной единой администрации. Однако эта форма абсолютизма была его мелкой и фрагментарной разновидностью, поскольку император распылял немецкие ресурсы в тщетной борьбе против папства. В этой части Германии процветала городская жизнь; закат Средневековья был золотым веком немецкого бюргера.

Поэтому крестьяне могли время от времени рассчитывать на поддержку городского плебса. Но делать общие выводы о том, с каким го-

⁵ Слабое сопротивление в Германии установлению крепостничества представляет собой резкий контраст с крестьянскими волнениями и восстаниями, которые сопровождали его установление и последовали за ним в России того же времени. Главная причина различия, вероятно, в том факте, на который обращается внимание ниже: крепостничество в России стало ответом на политическую ситуацию. Будучи частью общего процесса установления абсолютизма, русское крепостное право обеспечило механизм обработки дареной земли для поддержания царских чиновников. Кроме того, в России крепостничество намного меньше повредило крестьянской деревне, чем в Пруссии. Хотя русская деревня потеряла существенную часть своей автономии, деревенская коммуна («мир» или, точнее, «сельское общество») во многом сохранила свою силу. Превосходное рассмотрение изменений в России XVI–XVII вв. и крестьянских волнений и «мира» см.: [Blum, 1961, ch. 8–14; p. 258, 267–268; 510–512].

⁶ См. три карты в конце издания: [Franz, 1956].

родским слоем крестьяне заключали союз и против какого выступали, довольно рискованно. В различные времена и в разных местах они вставали в оппозицию ко всем возможным группам и заключали союзы с другими: в Рейнской области боролись на стороне знати против монастырских владений [Waas, 1939, S. 13–15, 19], в других местах — против знати, а в третьих — снова вместе со знатью и потом снова против буржуазии и местного князя [Franz, 1956, S. 26, 31, 84]. Все, что можно сказать, — это то, что конфликт начался в основном с умеренных требований преуспевающих крестьян и постепенно становился все более радикальным, став впоследствии воплощением апокалиптических видений Томаса Мюнцера. Отчасти эта неуклонная радикализация стала результатом неприятия исходных умеренных требований [Waas, 1939], отчасти это произошло вследствие того, что крестьяне обратились к новым религиозным представлениям, распространяемым Реформацией, для оправдания своих экономических, политических и социальных претензий [Nabholz, 1954, S. 144–167]⁷. Связь с городом, вероятно, внесла свой вклад в эту радикализацию, предзнаменования которой возникали и раньше⁸. Но ее причиной могло также стать недовольство низшего слоя крестьянства, которое было разделено на богатых и бедняков почти так же, как во Франции конца XVIII в., хотя мне и не встречались ясные подтверждения этой связи.

В ту эпоху знать испытывала двойное давление: со стороны местных князей, стремившихся установить свою власть, и со стороны распространяющейся коммерческой экономики. Знати нужны были деньги, и она пыталась добыть их множеством способов, восстанавливая там, где можно, древние права или — с точки зрения крестьянина — создавая новые повинности. Действительно, первые всплески крестьянского недовольства приобрели форму сохранения или возвращения «das alte Recht» («древнего права») [Franz, 1956, S. 1–40]. Единственное, чего знать не делала, разве что в отдельных местах и в малом масштабе, — не занималась сельским хозяйством коммерчески. В этом состоит решающее различие между районами, где бушевала Крестьянская война, и юнкерской Германией.

Что касается самих крестьян, то экономическое и социальное положение большинства из них некоторое время улучшалось. Как заметил один исследователь более 20 лет назад, признаки процветания среди крестьянства и бюргерства в этой части Германии к концу Средневековья были настолько очевидными, что невозможно уже было предполагать,

⁷ Автор очень ясно показывает эту связь с регионе Цюриха (S. 162–163, 165, 167).

⁸ Например, в деятельности «дударя из Никласхаусена». См.: [Franz, 1956, S. 45–52].

что причиной восстания стало общее ухудшение экономической ситуации [Waas, 1939, S. 40–42]. Этот факт вполне согласуется с тем, что в условиях жесткого давления знать пыталась как только можно эксплуатировать крестьян⁹. Борьба за свои права между крестьянскими общинами и помещиками шла веками с переменным успехом, но она вовсе не исключала наличия общих интересов по многим вопросам. Периодически достигался какой-то результат в форме записи, известной как *Weistum*, — кодификации обычного права (*Rechtsgewohnheiten*), которая представляла собой данные под присягой ответы старейшин общины на вопросы. Сохранившиеся документы показывают резкое увеличение количества этих записей, *Weistümer*, после 1300 г., которое достигло максимума между 1500 и 1600 гг., а затем стремительно сократилось [Wiessner, 1934, S. 26–29]. Эти и другие свидетельства говорят, что деревенское общество было внутренне тесно связанное, несмотря на прогрессирующие разрывы в богатстве, существующее в медленно изменяющейся ситуации антагонистической кооперации с сюзереном [Wiessner, 1946, S. 43–44, 60, 63, 70–71]¹⁰. Трудовые повинности и обработка поместья постепенно утрачивали свое значение, а денежные выплаты — наращивали, т.е. ситуация была прямо противоположной тому, что происходило на северо-востоке. Большое число крестьян приблизилось к тому, чтобы получить фактические права собственности, избавившись от большинства стигматов феодального землевладения, хотя во многих местах оно сохранялось¹¹.

На ранних этапах восстания крестьянские требования часто повторяли темы, заимствованные из старых *Weistümer* [Waas, 1939, S. 34–35]. Этот факт — сильное свидетельство в пользу того, что восстание началось как «законное» недовольство уважаемых и состоятельных членов деревенской общины [Franz, 1956, S. 1–40].

Крестьянская война потерпела неудачу, за которой последовали кровавые репрессии. Как ее радикальное, так и консервативное течения были загнаны вглубь. Отчасти из-за победы аристократов, которая про-

⁹ Соответствующие факты были представлены советским ученым Смириным [Смирин, 1952, гл. 2]. Автор всеми возможными способами пытается доказать наличие «сеньориальной реакции» и порой нелепо искажает факты: например, он упоминает (с. 60) трудовые повинности в объеме трех дней в году как доказательство их значимости. Однако он, вероятно, прав, утверждая (с. 85), что крестьяне были возмущены неясностью и переменной их обязательств.

¹⁰ Хотя очерк ограничивается Австрией, вполне вероятно, что те же различия проявлялись повсеместно.

¹¹ По региону Цюриха см.: [Nabholz, 1954, S. 158–159]; по Австрии: [Wiessner, 1946, S. 49, 50, 67]; по Германии: [Waas, 1939, S. 37–38].

изошла на северо-востоке по совершенно иным причинам и почти без сопротивления, перспектива возникновения либеральной демократии в Германии была уничтожена на века. Лишь в XIX в. Германия предприняла робкие и, как оказалось, безуспешные шаги в этом направлении.

Победы английского сквайра и немецкого юнкера представляют собой две противоположные разновидности того, как высший землевладельческий класс мог совершить успешный переход к коммерческому сельскому хозяйству. Они также демонстрируют два прямо противоположных способа устранения основы для политической активности крестьянства. Несмотря на свое поражение, эта активность была достаточно мощной в областях, охваченных Bauernkrieg, где высшие классы не предпринимали экономической атаки на крестьянское общество, очевидно пытаясь увеличить денежные поборы с крестьян.

Этого отступления ради рассмотрения конкретного случая, я надеюсь, достаточно для того, чтобы указать основные варианты того, как реакция высших землевладельческих классов на вызов коммерческого сельского хозяйства создает ситуации, благоприятные или неблагоприятные для крестьянских восстаний. Главные регионы, где крестьянские восстания в современную эпоху имели наибольшее значение, Китай и Россия, были сходны между собой в том, что высшие землевладельческие классы в общем не совершили успешного перехода к коммерции и промышленности, в то же время не уничтожив преобладающую среди крестьянства социальную организацию.

Теперь мы можем пренебречь действиями аристократии и предпринять более аналитическое рассмотрение факторов, действовавших среди самого крестьянства. Какое именно значение имела модернизация для крестьян помимо того простого и жестокого факта, что рано или поздно они станут ее жертвой? На общих основаниях очевидно, что различные типы социальной организации, встречающиеся в различных крестьянских обществах, вместе со временем и характером самого процесса модернизации, как можно ожидать, имеют значительное влияние на то, какой именно ответ возникает — революционный или пассивный. Но как связаны между собой эти переменные величины? Давайте прежде всего посмотрим, какие общие изменения происходят в этом сложном процессе.

В аграрной экономике модернизация означает распространение рыночных отношений на гораздо более широкую область, чем прежде, и постепенную замену труда для пропитания производством продукции для продажи¹². Кроме того, со стороны политики успешная модерни-

¹² Рынки давали о себе знать в досовременных крестьянских деревнях. И даже современный предприниматель из пригорода может с гордостью показать помидоры, выращенные на заднем дворе. Не было бы необходи-

зация предполагает установление мира и порядка на больших территориях, создание сильного центрального правительства. Между этими двумя процессами нет неперенной связи: по меркам своей эпохи Рим и Китай создали сильные администрации, распространившие свою власть на огромные расстояния, но не породили никакого движения к современному обществу. Однако комбинация этих двух факторов начиная с XV в. открыла путь для модернизации в разных частях света. Распространение государственной власти и наступление рынка, которые могут происходить в совершенно разное время, оказывают влияние на отношения между крестьянами и помещиками, на разделение труда внутри деревни, на ее систему власти, на классовые группировки внутри крестьянства, на принципы землевладения и права собственности. В какой-то момент влияние этих внешних сил может произвести изменения в технологии и в уровне производительности сельского хозяйства. Мне неизвестны примеры крупной технической революции в сельском хозяйстве, берущей свое начало из крестьянской среды, хотя, как мы видели, в Японии к концу эры Токугава встречались сравнительно важные случаи. Технологические изменения до сих пор играли намного более важную роль на Западе; в производящей рис Азии увеличение урожайности в основном происходило за счет интенсификации человеческого труда.

В этом комплексе взаимосвязанных изменений политически наиболее важными являются три аспекта: характер отношений между крестьянской общиной и сюзереном, имущественные и классовые разделы внутри крестьянства и уровень солидарности или единства, демонстрируемый крестьянами. Из-за тесной связи между этими тремя аспектами невозможно избежать определенных наложений и повторов при попытке проследить характерные модели модернизации в каждом из этих отношений.

Возвращаясь к началу этого процесса, можно обнаружить, что существуют заметные сходства среди крестьянских сообществ или деревень и их отношений к внешнему миру во многих аграрных цивилизациях. Будет полезно для начала дать описание этих сообществ в самых общих понятиях, принимая в расчет множество политически значимых отступлений от этого плана. В самом деле, значение этих отступлений легче определить после того, как представлена общая модель. Я ограничусь рассмотрением деревень, понимаемых как компактные поселения, окру-

мости упоминать это, если бы не антиконцептуальные учения, которые находят удовлетворение в том, чтобы уничтожать исторические различия указанием на подобные тривиальности. Очевидно, все дело было в качественной роли, которую играл рынок в деревне, в его воздействии на социальные отношения.

женные обрабатываемыми полями. Хотя не менее часто встречается система рассредоточенных поселений, она не была нигде преобладающей, за исключением части Соединенных Штатов в эпоху колонизации и фронта. Это одна из причин того, чтобы не применять к американским фермерам название крестьяне.

Прямо или косвенно непосредственный сюзерен играл существенную роль в деревенской жизни. В феодальных обществах им был сеньор, в бюрократическом Китае им был помещик, зависевший от имперской бюрократии; в некоторых частях Индии им был заминдар — нечто среднее между чиновником-бюрократам и феодальным сеньором. Главной задачей секулярного сюзерена было обеспечение защиты от внешних врагов. Часто, но не повсеместно, он вершил правосудие и регулировал споры между жителями деревни. Рядом с секулярным сюзереном обычно находился священник. Его задачей была легитимация господствующего социального порядка, а также объяснение причин и примирение крестьян с невзгодами и бедствиями, превосходившими уровень традиционной экономики и социальных техник отдельного крестьянина. В ответ на выполнение этих функций сюзерен и священник изымали у крестьян экономические излишки в форме рабочей силы, сельскохозяйственных продуктов или даже денег, хотя они играли менее важную роль в докоммерческую эпоху. Существовали достаточно значительные вариации того, как эти обязательства распределялись среди крестьян. Право крестьян на обработку земли и сохранение доли продукции для собственного использования обычно зависели от выполнения ими вышеперечисленных обязательств.

Есть важное свидетельство в пользу того, что там, где связи, выраставшие из отношений между сюзереном и крестьянским сообществом, были сильными, тенденция к крестьянскому бунту (а позже и революции) была незначительной. Как в Китае, так и в России эти связи были ослабленными, а крестьянские восстания носили в этих странах эндемический характер, даже если различия в структурах самих крестьянских сообществ были настолько велики, насколько это можно себе только представить. В Японии, где крестьянская революция была подконтрольной, эта связь была очень эффективной. Отчасти свидетельства загадочны и противоречивы. В Индии жесткая политическая власть не проникала в деревню, разве только в некоторых областях в добританскую эпоху. Но связь с властью по жреческой линии была сильной.

Для того чтобы эта связь была эффективным агентом социальной стабильности, два условия оказываются существенными. Во-первых, не должно быть жесткой конкуренции между крестьянами и сюзереном за землю и другие ресурсы. Дело здесь не просто в том, как много земли имеется в наличии. Социальные институты не менее важны, чем раз-

меры земли, для определения крестьянского спроса на землю. Поэтому, во-вторых, я предполагаю еще одно, причем тесно связанное условие — политическая стабильность требует включения сюзерена и/или священника в деревенское сообщество в качестве ключевой фигуры, оказывающей те услуги, которые необходимы для сельскохозяйственного цикла и социального единства деревни и за которые он получает сравнительно соразмерные привилегии и материальные вознаграждения. Этот момент требует более подробного рассмотрения, поскольку он поднимает общие вопросы, которые остаются предметом жарких споров.

Трудности возникают из-за понятия вознаграждения или привилегии, соразмерных с теми услугами, которые выполняет высший класс. Будет ли в феодальном обществе «честным» возмещением защиты и правосудия, обеспечиваемых господином, определенное количество кур и яиц, поставляемых в нужное время года, или определенное количество дней, отработанных на господских полях? Разве это не вопрос совершенного произвола, ответ на который может быть получен только силовым путем? Вообще, разве понятие эксплуатации не является чисто субъективным, всего лишь политическим эпитетом, не способным получить никакого объективного закрепления или измерения? Вполне вероятно, что большинство обществоведов сегодня ответят на эти вопросы положительно. Если встать на эту позицию, то приведенное выше утверждение превращается в тривиальную тавтологию. Это означает, что крестьяне не поднимают восстания, пока они считают законными привилегии аристократии и свои обязательства перед знатью. Почему крестьяне так считают, остается по-прежнему загадкой. В рамках этой теории сила и обман могут быть единственно возможными ответами на этот вопрос, поскольку всякий список вознаграждений является в равной степени произвольным. Мне кажется, что в этом пункте субъективная интерпретация совершенно рушится и становится откровенно абсурдной. Почему взыскание девяти десятых крестьянского урожая не будет более или менее произвольным решением, чем взыскание одной трети?

Я утверждаю, что противоположная точка зрения, состоящая в том, что эксплуатация — это в принципе объективное понятие, является гораздо более осмысленной и по крайней мере позволяет строить объяснения. Главное — это вопрос о том, можно ли производить объективную оценку вкладов в поддержание существования специфического общества со стороны настолько качественно разных видов деятельности, как участие в битве и обработка земли. (Прежде экономисты учили нас, что такое возможно по крайней мере в условиях конкурентной рыночной среды, но, как я полагаю, они вряд ли захотят перейти к более общим утверждениям.) Мне кажется, для отстраненного наблюдателя такое совершенно возможно, причем он достигает этого, получив ответы на

традиционные вопросы: 1) является ли этот вид деятельности необходимым для этого общества? Что случится, если он прекратится или изменится? 2) Какие ресурсы необходимы для того, чтобы люди могли эффективно выполнять эту деятельность? Хотя в ответах на эти вопросы всегда сохраняется большая доля неопределенности, в них также есть общее объективное ядро.

В пределах, достаточно широких для того, чтобы общество функционировало, объективный характер эксплуатации кажется таким чудовищно очевидным, что возникает подозрение, что в объяснении нуждается скорее отказ от объективности. Не так уж трудно показать, когда крестьянское сообщество получает реальную защиту со стороны своего сюзерена и когда сюзерен либо не способен удержать врагов, либо действует в союзе с ними. Сюзерен, который не заботится о поддержании мира, забирает у крестьянина большую часть продовольствия, отнимает у него женщин (как случалось во многих частях Китая в XIX–XX вв.), является явным эксплуататором. Между этой ситуацией и объективной справедливостью расположены все возможные градации, в которых пропорция между оказанными услугами и изъятиями у крестьян излишками открыта для обсуждения. Подобные обсуждения могут интересовать философов. Но они вряд ли разрушат общество. Тезис, который здесь предлагается, состоит лишь в том, что вклады тех, кто сражается, правит и молится, должны быть очевидными для крестьян, а ответная их плата не должна быть явно несоразмерной по отношению к оказанным услугам. Народные представления о справедливости, если сказать по-другому, имеют под собой рациональную и реалистическую основу; а для утверждения отношений, которые отклоняются от этой основы, потребуются обман и сила в тем большей степени, чем существеннее отклонение.

Определенные формы модернизации особенно склонны к разрушению всех видов равновесия, которые устанавливаются в отношениях крестьянского сообщества и высших землевладельческих классов, и к тому, чтобы вносить дополнительные нагрузки в механизмы, которые их связывают между собой. Там, где королевская власть увеличила и усилила поборы с крестьян, чтобы компенсировать расходы на организацию армии и правительственную бюрократию, а также на дорогостоящую политику придворного великолепия, рост королевского абсолютизма мог с большой вероятностью привести к взрывам крестьянского возмущения¹³. Как короли из династии Бурбонов, так и русские цари каждые по-своему использовали различные приемы для умирения своей знати

¹³ Подробное описание этой связи во Франции XVII в. см.: [Porchnev, 1963].

за счет усиления страданий крестьянского населения. Ответом на это были периодические всплески народного гнева, намного более суровые в России, чем во Франции. В Англии Тюдоры и Стюарты имели дело с совершенно иной ситуацией, и это стоило им королевской головы, отчасти потому что они пытались защищать крестьян от «антисоциального» поведения знати, занявшейся коммерцией. В Японии сёгунат Токугава решительно отгородил страну от внешнего мира, и поэтому в отличие от абсолютистских монархов Европы он не нуждался в создании дорогостоящей армии и администрации. Крестьянские волнения стали играть важную роль лишь в конце этой эпохи.

В целом создание централизованной монархии означало, что непосредственный сюзерен крестьян уступал свои защитные функции государству. Как во Франции, так и в России эта перемена практически не изменила права помещиков и обязательства крестьян. Права помещиков подкреплялись новой властью государства, поскольку монархия опасалась настроить против себя еще и знать. В свою очередь, постепенное проникновение в деревню городских товаров, в которых помещик нуждался или думал, что нуждался, а также необходимость поддержания придворной роскоши вынуждали знать усиливать давление на крестьян. Неудача в сколько-нибудь широком распространении коммерческого сельского хозяйства лишь ухудшила эту ситуацию, поскольку она означала, что у эксплуатации крестьян нет альтернативы. Как мы видели, все тенденции к коммерческому сельскому хозяйству были трудорепрессивными. Во Франции, России и других частях Восточной Европы мелкий помещик стал самой реакционной фигурой, возможно, из-за того, что все альтернативы, такие как двор, удачный брак или аграрное предпринимательство, были для него закрыты. Нет необходимости прояснять неоднократно отмеченную историками связь между этими тенденциями и крестьянскими возмущениями.

Там, где крестьяне бунтовали, встречаются указания на то, что в добавление к старым методам отъема экономического излишка продукции у крестьян, которые сохранялись и даже усиливались, возникали новые, капиталистические методы. Так было во Франции XVIII в., где крестьянское движение, которое помогло свергнуть старый порядок, имело в равной степени отчетливые антикапиталистические и антифеодальные черты. В России стремление царя устранить крепостную зависимость сверху не смогло удовлетворить крестьян. Выкупные платежи были слишком большими, а наделы земли слишком малыми, как вскоре показало последовавшее за этим накопление долгов. В отсутствие сколько-нибудь последовательной модернизации деревни выкупные платежи стали просто новым методом изъятия излишков у крестьянина, одновременно препятствуя ему в получении земли, которая «по

праву» была его. Далее, в Китае поведение крестьян показывало, что их возмущает союз прежнего чиновного сборщика налогов с помещиком-капиталистом при режиме Гоминьдана.

Эти факты не предполагают, что общее бремя обязанностей крестьянина непременно возрастало в этих условиях. В самом деле, общим местом в истории является тот факт, что улучшение в экономической ситуации крестьянства может стать прологом к восстанию¹⁴. Это сравнительно хорошо установленный факт для английской деревни накануне восстания 1381 г., для Крестьянской войны в Германии XVI в. и для французского крестьянства накануне 1789 г. В иных случаях, причем самых важных, — в России и Китае — давление на крестьян скорее всего увеличилось.

При любом исходе одной из величайших опасностей для старого порядка на ранних фазах перехода к миру коммерции и промышленности является потеря поддержки верхнего слоя крестьянства. Одно распространенное объяснение этого — психологическое, оно сводится к тому, что ограниченное улучшение в экономическом положении этого слоя приводит к постепенному усилению требований и в конечном счете — к революционному взрыву. Эта теория «революции растущих ожиданий» может иметь некоторый объяснительный потенциал. Но общее объяснение ей не под силу. В случае России и Китая, даже в XX в., она искажает факты до неузнаваемости. Встречается несколько разных вариантов того, как богатые крестьяне могли перевернуть старый порядок, в зависимости от специфических исторических обстоятельств и их влияния на различные формы крестьянской общины.

Время изменений в жизни крестьянства, а также количество людей, одновременно затронутых изменениями, являются важнейшими и самостоятельными факторами. Я подозреваю, что они имеют более важное значение, чем факторы материальные, затрагивающие продо-

¹⁴ Подобное улучшение, похоже, противоречит тезису о том, что причиной восстания является объективная эксплуатация. Однако это необязательно. Отношения между сюзереном и крестьянским сообществом могут стать более эксплуататорскими и без того, чтобы крестьянин беднел, более того, это возможно даже в том случае, когда материальное положение улучшается. Это происходит везде, где увеличиваются господские поборы и снижается вклад помещика в благосостояние и защиту деревни. Снижение господского вклада, а также общий экономический подъем и стремление помещика увеличить свою «выручку» ожидаемо вызовут огромное неприятие. Тщательно проверить концепцию объективной эксплуатации на нескольких случаях было бы довольно сложным, но благодарным делом. Я этого не сделал; это понятие пришло мне на ум в ходе продолжительных усилий осмыслить имеющиеся данные, поэтому я представляю это как рабочую гипотезу, находящую некоторое фактическое подтверждение.

вольствие, кров, одежду, за исключением очень крупных и внезапных. Медленное ухудшение экономического положения его жертвы могут принять как часть своей нормальной ситуации. Особенно в тех случаях, когда нет очевидных альтернатив, все большие лишения могут постепенно получить оправдание в крестьянских представлениях о том, что является правильным и должным. Что вызывает возмущение крестьян (и не только крестьян), так это новый и неожиданный побор или требование, которые затрагивают сразу большое число людей и порывают с общепринятыми правилами и обычаями. Даже традиционно покорные индийские крестьяне перешли к массовым выступлениям и вызвали призрак аграрной революции в большей части Бенгалии в 1860-х годах, когда из-за внезапного бума на текстильном рынке английские помещики попытались заставить их выращивать индиго по ценам, которые едва позволяли не умереть с голоду¹⁵. Революционные меры против священников в Вандее имели довольно сходный эффект. Нет необходимости умножать примеры. Значимый момент состоит в том, что при этих условиях невзгоды одного человека в один миг начинают восприниматься как коллективные. Если воздействие соответствующее (внезапное, широкое, но не слишком суровое, чтобы не лишить с самого начала надежды на коллективное сопротивление), оно способно воспламенить солидарность восстания и революции в крестьянской общине любого типа. Насколько я понимаю, ни один тип не имеет совершенной защиты от революции. Тем не менее есть различия во взрывном потенциале, который можно сопоставить с разными типами крестьянской общины.

По ходу этого исследования был отмечен существенный диапазон различий в степени кооперации и соответствующем разделении труда в крестьянских сообществах. Один полюс — это крестьяне Вандеи с их обособленными хозяйствами, что было большой редкостью для крестьян в цивилизованных обществах. Другой полюс — это тесно сплоченная японская деревня, причем это единство сохранилось и в Новое время. На общих основаниях представляется очевидным, что уровень солидарности, демонстрируемый крестьянами, поскольку он является выражением целой сети общественных отношений, внутри которой отдельные люди проживают свою жизнь, должен играть важную роль в политических тенденциях. Тем не менее поскольку этот фактор переплетен со множеством других, трудно оценить его подлинное значение. Насколько я понимаю свидетельства, отсутствие солидарности (или, точнее, состояние слабой солидарности, поскольку минимальный уровень кооперации всегда поддерживается) создает серьезные трудности для любых политических действий. Поэтому его последствия консер-

¹⁵ Поучительное описание с радикальной позиции см.: [Natarajan, 1953, ch. 4].

вативны, хотя выше рассмотренный случай внезапного шока способен преодолеть и эту консервативную тенденцию, подтолкнув крестьян к насильственным выступлениям. В то же время там, где солидарность сильна, возможно провести различие между консервативными формами и теми, что благоприятствуют восстаниям и революциям.

В мятежной и революционной форме солидарности институциональные условия таковы, что они распространяют бедствия по всему крестьянскому сообществу, превращая его в сплоченную группу, враждебную помещику. Факты определенно свидетельствуют о том, что именно это происходило в конце XIX — начале XX в. в российских деревнях. Одним из главных последствий периодического перераспределения собственности в *миру*, т.е. в крестьянской общине, было распространение дефицита земли, имущественное выравнивание богатых крестьян с бедными. Определенно таким было заключение Столыпина, который пересмотрел прежнюю официальную политику поддержки *мира* и попытался ввести в России разновидность крепкого сословия йоменов, которое должно было стать опорой для шатающегося трона Романовых [Robinson, 1932, p. 153]¹⁶. Стоит также вспомнить о том, что китайским коммунистам перед приходом к власти пришлось создать такого рода солидарность из непокорного социального материала.

Противоположный вид солидарности, консервативный, получает свою соединительную силу благодаря привязыванию тех, кто испытывает актуальные и потенциальные бедствия, к господствующей социальной структуре. Это происходит, как показывает японский и индийский материал, через разделение труда, которое заручилось сильной санкцией, но в то же время обеспечивает признанную, пусть и скромную нишу для тех, у кого почти нет собственности. Вполне возможно, что ключевое различие между радикальной и консервативной формами солидарности состоит в этом моменте. Радикальная солидарность, как в российской системе, может представлять собой попытку установить справедливое распределение скудных ресурсов, а именно земли; консервативная солидарность была основана на разделении труда. В целом проще заставить людей сотрудничать ради достижения общей цели, чем мирно кооперировать в пользовании скудными ресурсами¹⁷.

¹⁶ Автор указывает, что в 16 из 20 губерний, где помещики понесли самые большие потери во время крестьянских бунтов 1905 г., обнаруживается преобладание перераспределения собственности над передачей собственности по наследству внутри отдельного крестьянского хозяйства. О страхе правительства перед крестьянской солидарностью см.: [Robinson, 1932, p. 264].

¹⁷ Скромной иллюстрацией может послужить сравнение того, что случается, когда большой семье приходится организовать сложный пикник на

Выражая этот же момент немного иначе, можно сказать, что отношения собственности сильно различаются в том, как они связывают крестьян с господствующим общественным строем, а значит — и по своим политическим последствиям. Для того чтобы стать полноправным членом китайской деревенской общины и попасть под консервативное влияние родственных связей и религиозных уз, было необходимо обладать определенным минимумом собственности. Процесс модернизации очевидно увеличил число крестьян, находившихся ниже этого минимума, — что могло произойти и в досовременную эпоху, — а значит, и радикальный потенциал. В то же время японские и индийские деревни обеспечивали законный, хотя и низкий статус тем, у кого не было собственности, как в досовременную, так и в последующую эпоху.

Тип слабой солидарности, препятствующей политическому действию любого вида, — в основном феномен Нового времени. После создания правовой системы капитализма и после того, как торговля и промышленность произвели существенные перемены, крестьянская община может достичь новой формы консервативной стабильности. Это случилось во многих областях Франции, на западе Германии и в других частях Западной Европы в первой половине XIX в. Маркс ухватил существо ситуации, когда он сравнил французские деревни, состоящие из мелких крестьянских владений, с мешком картофеля [Marx, n.d., p. 415]. Отличительной чертой является отсутствие сети отношений кооперации. Это делает крестьянские деревни Нового времени противоположностью средневековым. Недавнее исследование деревни этого типа в южной Италии показывает, как соперничество между семейными единицами, составляющими деревню, препятствует любым формам эффективного политического действия. Истоки «аморальной семейственности» — карикатуры на капитализм — коренятся в специфической истории этой деревни, которая является предельным случаем, резко отличающимся от более солидарных отношений в других частях Италии [Banfield, 1958, ch. 8, p. 147, 150–154]. Более важными и более общими факторами могут быть исчезновение общих прав и совместного выполнения определенных работ сельскохозяйственного цикла; всепоглощающая значимость обработки небольшого семейного надела, а также отношения конкуренции, устанавливаемые капитализмом. На более продвинутой стадии промышленного развития этот тип небольшой атомизированной крестьянской деревни мог, как мы видели на примере областей Германии, превратиться в рассадник реакционных антикапиталистических настроений в деревне.

пляже: один ребенок собирает хворост, другой — разжигает костер и т.д., с тем, что происходит утром, когда все устремляются в ванную комнату.

Итак, наиболее важными причинами крестьянских революций стали отсутствие коммерческой революции в сельском хозяйстве, возглавляемой высшими землевладельческими классами, и связанное с этим сохранение крестьянских общинных институций в современную эпоху, когда они подверглись новым потрясениям и нагрузкам. Там, где крестьянское сообщество сохранялось, например в Японии, оно должно было во избежание революции оставаться тесно связанным с господствующим классом в деревне. Отсюда следует, что важной вспомогательной причиной крестьянской революции стала слабость институциональных связей между крестьянской общиной и высшими классами, а также эксплуататорский характер этих отношений. Частью общего синдрома стала утрата режимом поддержки со стороны высшего класса богатых крестьян, поскольку они начали переходить на более капиталистические способы культивации и к установлению своей независимости от аристократии, которая пыталась сохранить свое положение через ужесточение традиционных повинностей, как произошло во Франции XVIII в. Там, где эти условия отсутствовали или были пересмотрены, крестьянские восстания не смогли вспыхнуть либо были легко подавлены.

Великие аграрные бюрократии при абсолютной власти, включая китайскую, оказались особенно подвержены сочетанию факторов, благоприятствующих крестьянским революциям. Их мощь позволяла им препятствовать росту независимого коммерческого и промышленного класса. В лучшем случае ради пышности и войны абсолютизм поощрял раздробленный и держащийся за королевские помочи класс, как во Франции XVII в. Усмирив буржуазию, корона замедлила движение в сторону дальнейшей модернизации в форме революционного капиталистического прорыва. Этот эффект был остро ощутим даже во Франции. Россия и Китай, избежав буржуазных революций, оказались менее защищенными от крестьянских. Кроме того, аграрная бюрократия, из-за своей огромной потребности в налогах, рискует подтолкнуть крестьян к союзу с местными городскими элитами, что было особенно опасной ситуацией, поскольку она изолировала королевское чиновничество от широких масс населения¹⁸. Наконец, поскольку монархия берет на себя защитную и правосудную функции местного сюзерена, абсолютизм ослабляет ключевые узы, связывающие крестьянство с высшими классами. А если она перенимает эти функции лишь частично и по случаю, она

¹⁸ Это особенно ясно на примере волнений накануне и во время Фронды. См.: [Porchnev, 1963, p. 118–131, 392–466]. Автор доказал со всей очевидностью, что Фронда была не просто аристократической выходкой. По причинам, которые не нужно повторять, поскольку они являются частью моего общего аргумента, я не согласен с его стремлением (а также со стремлением других марксистских авторов) отождествить абсолютизм с феодализмом.

скорее всего будет конкурировать с местными элитами за возможность выжимания ресурсов из крестьян. В подобных обстоятельствах у местной знати возникает соблазн перейти на сторону крестьян.

Различия в типах солидарности среди крестьян — если продолжить рассмотрение общих факторов — важны в основном постольку, поскольку они образуют точки притяжения для создания особой крестьянской общины, оппозирующей господствующему классу и выступающей основой народных представлений о справедливости, противостоящих правосудию правителей. Консервативные или радикальные последствия зависят от специфических форм институций, способствующих крестьянскому единству. Солидарность среди крестьян могла помогать господствующим классам либо быть угрозой для них, а иногда колебаться между этими возможностями. В некоторых досовременных обществах можно обнаружить, как, например, в Китае, разделение труда, которое обеспечивало намного меньшее единство. Поэтому революционный потенциал под воздействием модернизации значительно различается в разных аграрных обществах. В то же время наиболее крайние формы атомизации, которые серьезно препятствуют любому эффективному политическому действию и приводят к мощным консервативным последствиям, похоже, возникают на более поздней стадии капитализма. Подобная культура эгоистичной бедности может быть лишь переходной стадией в тихой заводи, куда еще не проник развитый капитализм.

Предшествующие факторы могут объяснить, как революционный потенциал возникает в крестьянской среде. Станет ли этот потенциал политически эффективным, зависит от возможности сочетания крестьянского недовольства с настроениями другого слоя. Сами по себе крестьяне никогда не были способны совершить революцию. В этом пункте марксисты абсолютно правы, хотя и понимают совершенно неверно другие ключевые аспекты. Крестьянам нужны вожди из других классов. Но одного лидерства недостаточно. В средневековых и позднесредневековых крестьянских бунтах верховодили аристократы или горожане, но все они потерпели провал. Этот факт должен служить благотворным напоминанием тем современным детерминистам — отнюдь не все среди них марксисты, — которые полагают, что, как только поднимается крестьянское возмущение, нужно немедленно ожидать больших перемен. На самом деле крестьянские бунты гораздо чаще проваливались, чем добивались успеха. Для того чтобы они победили, требуется несколько необычное сочетание обстоятельств, которое возникает лишь в Новое время. Сам по себе успех был только негативным. Крестьяне обеспечивали взрывчатку, уничтожавшую старую конструкцию. К последующей реконструкции они не имели никакого отношения, более того, они — даже во Франции — становились ее первыми жертвами. Высшим клас-

сам требовалось проявить существенный уровень слепоты, в основном вследствие специфических исторических условий, для которых всегда находились важные индивидуальные исключения, прежде чем революционный прорыв становился реальным.

Естественно, крестьянское движение не находило себе союзников среди элиты, хотя и могло избрать своими вождями какую-то ее часть, особенно горстку недовольных интеллектуалов Нового времени. Сами по себе интеллектуалы вряд ли способны на политическое действие, если только не смогут присоединиться к массовому выражению недовольства. Фигура бунтующего интеллектуала со всеми его душевными метаниями приковывает к себе огромное внимание, совершенно несоразмерное своей политической значимости, и отчасти причина этого в том, что эти душевные метания оставляют после себя письменные сочинения, а также в том, что те, кто пишут историю, сами принадлежат к числу интеллектуалов. Особенно обманчивый трюк состоит в том, чтобы отрицать роль крестьянского недовольства на том основании, что его вожди оказываются людьми свободных профессий или интеллектуалами.

Каких союзников способно найти себе крестьянское возмущение, зависит от стадии экономического развития, которой достигла страна, и от более частных исторических обстоятельств; эти факторы также определяют момент, когда союзники решают обезвредить крестьянское движение или подавить его. Немецкие крестьяне во время Bauernkrieg получили поддержку из городов, а также от мятежной знати, но ничего не добились; коллективная мощь землевладельческой элиты была все еще непреодолима. Во Франции крестьянское движение вступило в союз с буржуазией, в основном потому что предшествовавшая этому феодальная реакция настроила против себя зажиточных крестьян. Эта связь была, на мой взгляд, ненадежной, и все могло обернуться иначе, поскольку многие буржуа имели собственность в деревне и пострадали от крестьянских волнений. Другим основным союзником революции были городские массы в Париже, хотя термин «союзник» не подразумевает ни того, что их действия были скоординированы, ни даже того, что какой-то из этих слоев проводил последовательную политику. Санкюлоты были мелкими ремесленниками и поденщиками, которые в целом сыграли гораздо более важную революционную роль, чем утверждает марксистская теория.

В России 1917 г. торговые и промышленные классы не годились на роль союзника разгневанных крестьян. Русская буржуазия была в целом намного слабее в деревне, чем французская, несмотря на высокий уровень технологии в тех случаях, где торговля и промышленность имели место. Хотя русская буржуазия интересовалась западными конституционными учениями, она была слишком связана с царским правительством,

которое поощряло, в основном по военным причинам, некоторое число локомотивов капиталистического развития. Возможно, самым важным было то, что ни один значительный сегмент русского крестьянства не был заинтересован в сохранении прав собственности в своей борьбе с остатками феодализма, как это было во Франции. Требования русских крестьян были жесткими и простыми: убрать помещиков, разделить землю и, конечно, остановить войну. Конституционные демократы, основная буржуазная партия, поначалу рассматривали возможность поддержки требований крестьян. Но когда дело приняло серьезный оборот, они испугались фронтальной атаки крестьян на собственность. В то же время в разделе земли не было ничего страшного для промышленных рабочих, по крайней мере на тот момент. Призыв остановить войну был популярен среди крестьян, которые были главными жертвами этой бойни и не были заинтересованы в поддержке правительства, отказывавшегося идти на уступки. Среди крестьян у большевиков не было реальной опоры. Но, будучи единственной партией, лишенной каких-либо связей с существующим строем, они могли позволить себе временную уступку требованиям крестьян ради захвата власти. Они поступили так во время революции и после хаоса Гражданской войны. Впоследствии большевики решили заняться теми, кто привел их к власти, и загнали крестьян в коллективные хозяйства, чтобы сделать их основной базой и жертвой социалистической версии первоначального накопления капитала.

В Китае мы все еще видим другую комбинацию условий, о которых известно меньше отчасти потому, что события еще свежи для того, чтобы стать предметом обширного исторического исследования. Трудно назвать какую-то ясно выделенную страту союзником крестьянства, на спинах которого коммунисты пришли к власти, несмотря даже на то или отчасти вследствие того, что разочарование в правлении Гоминьдана распространилось по всем классам. Как убедительно показал современный исследователь, коммунисты добились мало успеха, пока держались за марксистское учение о том, что в авангарде революционной и антиимпериалистической борьбы находится пролетариат [Schwartz, 1951]. Со временем им удалось завоевать массовую крестьянскую поддержку. Тем не менее без городских вождей крестьяне вряд ли бы смогли организовать Красную армию и вести партизанскую войну, которая отличала эту революцию от предшествовавших и стала образцом для последующих попыток. Это оказало любопытное воздействие на оппонентов: западный энтузиазм в изучении «уроков» партизанской войны напоминает представления о демократии в Японии XIX в. — та же вера в то, что можно заимствовать одну простую технику, которая сведет на нет все прочие преимущества противника.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОКИ ДИКТАТУРЫ И ДЕМОКРАТИИ

Как в России, так и в Китае шансы на остановку процесса разложения накануне крестьянской революции были совершенно призрачными, во многом из-за отсутствия прочной основы для либерального или капиталистического капитализма в торговом и промышленном классах. Верно ли это в отношении Индии, ответит лишь будущее. Делать выводы об Индии на основании того, что происходит в Китае, ошибочно, поскольку их аграрные структуры в главных чертах прямо противоположны друг другу. Если аграрная программа нынешнего индийского правительства не решит продовольственную проблему — а для пессимистической оценки имеются серьезные основания, — то какое-то политическое оживление становится маловероятным. Однако не обязательно оно примет форму крестьянской революции под руководством коммунистов. Поворот вправо или фрагментация по региональным границам либо комбинация одного и другого кажутся намного более вероятными вследствие индийской социальной структуры. Ситуация в Индии заставляет спросить, не исчерпала ли свои силы великая волна крестьянских революций, которая до сих пор была наиболее отчетливой чертой XX в.? Любая попытка серьезного ответа на этот вопрос потребует тщательного изучения ситуации в Латинской Америке и в Африке, т.е. решения громадной задачи, которое следует предоставить другим. Тем не менее одно соображение стоит упомянуть. В общем в процессе модернизации условия жизни крестьян редко делали их союзниками демократического капитализма — исторической формации, которая в любом случае уже миновала свой зенит. Если в ближайшие годы революционная волна будет по-прежнему бушевать на окраинах мира, демократический капитализм вряд ли будет ее исходом.

ЭПИЛОГ. РЕАКЦИОННАЯ И РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОБРАЗНОСТЬ

Из разломов и трещин, сопровождающих создание нового общества, — а также из усилий по предотвращению его появления — в похожих условиях возникают сходные представления о том, каким должно быть общество. Для адекватного рассмотрения радикальной и консервативной критики общества в рамках сравнительного исследования потребовался бы еще один том¹. Поэтому я ограничусь кратким комментарием лишь по нескольким темам, выбранным из всего разнообразия соответствующих идей, поскольку они связаны с определенными типами исторического опыта, с которым сталкивались высшие классы землевладельцев и крестьяне. Сами по себе эти идеи достаточно хорошо известны, чтобы предлагать их подробное изложение. В качестве вкладов в общие человеческие теории свободного общества (либо в качестве атаки на подобные теории) они связаны между собой и демонстрируют интересные взаимные отношения. Мои замечания об этих идеях будут не только краткими, но и в меру провокационными в хорошем смысле этого слова, чтобы поощрить других к более тщательному изучению этих проблем. Прежде всего будет полезно прояснить концепцию отношений между идеями и социальными движениями, которая сложилась в результате моих исследований, пусть даже мне не удалось последовательно придерживаться ее в этой книге.

Несколько раз возникал вопрос о силах, которые помогали или мешали высшим землевладельческим классам перейти к коммерческому сельскому хозяйству. Насколько большое значение следует приписывать широко распространенным идеалам, кодам поведения или ценностям при объяснении результатов? Хотя, как я полагаю, свидетельства указывали в направлении того, чтобы решающим аспектом объяснения назвать ситуацию, с которой сталкивались различные группы, внимательный читатель может подозревать, что идеи или культурные темы, если воспользоваться другим термином, каким-то образом все-таки стали частью объяснения. Это подозрение окажется совершенно справедливым. Я не верю в то, что их можно проигнорировать, и считаю, что в подобных объяснениях есть значительная доля истины. Мое возражение касается того способа, каким они встраиваются в объяснение, что создает сильный консервативный перекося под маской научной ней-

¹ В конечном счете я надеюсь изучить более тщательно те условия, в которых рождается радикальная критика, и те, в которых ей не удастся возникнуть.

тральности и объективности. Не нужно говорить, что этот перекосяк ни в коем случае еще не свидетельство намеренного обмана. Среди серьезных мыслителей намеренный обман встречается достаточно редко, и в долговременной перспективе он играет намного меньшую роль, чем те ориентиры, которые навязывает сама мысль вследствие собственной структуры и ее социальной среды.

Общей наблюдательности достаточно для демонстрации того, что люди ни индивидуально, ни коллективно не реагируют на «объективную» ситуацию таким же образом, как одно химическое вещество реагирует на другое, когда их смешивают в пробирке. Эта форма строгого бихевиоризма, на мой взгляд, просто ошибочна. Всегда есть промежуточный параметр, можно сказать фильтр, между людьми и «объективной» ситуацией, созданный из всевозможных потребностей, ожиданий и идей, унаследованных из прошлого. Этот промежуточный параметр, который для удобства можно назвать культурой, устраняет определенные части объективной ситуации и выделяет другие части. Есть пределы того разнообразия в восприятии и человеческом поведении, которое происходит из этого источника. Тем не менее в культурологических объяснениях есть доля истины: то, что одной группе людей представляется хорошей возможностью или искушением, не обязательно воспринимается так же другой группой с другим историческим опытом, живущей в обществе другого типа. Слабость культурологического объяснения не в высказывании подобных фактов, хотя по поводу их значимости можно поспорить, но в том, как они включаются в объяснение. Материалистические усилия по изгнанию духа идеализма в культурологических объяснениях заклинают не того призрака.

Действительный призрак — это теория социальной инерции, вероятно перенятая из физики. Существует широко распространенное допущение в современной социальной науке, что социальная целостность не требует объяснений. Предположим, в ней нет ничего проблематичного [Parsons, 1951, p. 205]². Изменение — вот что нуждается в объяснении. Это допущение закрывает от взгляда исследователя решающие особенности социальной реальности. Культура или традиция, если воспользоваться более простым термином, — это не то, что существует вне или независимо от отдельных людей, вместе живущих в обществе. Культурные ценности не спускаются с небес для воздействия на ход истории. Они — абстракции, созданные исследователем на основе наблюдения сходств в групповом поведении людей либо в разных ситуациях, либо по прошествии времени, либо с учетом обоих этих факторов. Несмотря на то что часто можно делать точные краткосрочные предсказания о групповом

² Парсонс делает этот тезис явной организационной логикой своей теории.

или индивидуальном поведении на основе подобных абстракций, сами по себе они не способны объяснить поведение. Объяснение поведения в терминах ценностей культуры неизбежно приводит к логическому кругу. Если мы замечаем, что землевладельческая аристократия сопротивляется коммерческому предпринимательству, мы не объясняем этот факт тем, что аристократия так же вела себя и в прошлом, или даже тем, что она является носителем определенных традиций и это делает ее враждебной по отношению к подобным видам деятельности: проблема в том, чтобы определить, из какого прошлого и настоящего опыта вырастает и поддерживает себя такой взгляд на вещи. Если культура имеет эмпирический смысл, то это тенденция, вживленная в человеческий ум, к тому, чтобы вести себя специфическими способами, «приобретенными человеком как членом общества» (согласно последней фразе знаменитого определения Тайлора, благодаря которому этот термин стал частью научного, а впоследствии и популярного словоупотребления).

Гипотеза инерции, гласящая, что культурная и социальная целостность не требует объяснения, закрывает глаза на то обстоятельство, что и то, и другое приходится создавать заново в каждом новом поколении, нередко с великими усилиями и жертвами. Ради поддержания и передачи системы ценностей людей бьют, преследуют, сажают в тюрьму, бросают в концлагерь, уговаривают, подкупают, делают героями, поощряют к чтению газет, ставят к стенке и расстреливают и даже иногда обучают социологии. Говорить о культурной инерции — это значит оставлять без внимания конкретные интересы и привилегии, которые обслуживаются с помощью индоктринации, воспитания и всем сложным процессом передачи культуры от одного поколения другому. Мы можем согласиться в том, что китайский джентри XIX в. судил об экономических шансах совершенно иначе, чем американский фермер-предприниматель XX в. Но он поступал таким образом, потому что он вырос в имперском китайском обществе, в котором классовая структура, система вознаграждений, привилегий и санкций карали некоторые формы экономической прибыли, угрожающие гегемонии и власти правящих групп. Наконец, если принять ценности за отправную точку социологического объяснения, то очень сложно понять тот очевидный факт, что ценности меняются в ответ на обстоятельства. Искажения демократических понятий на американском Юге — это всем известный пример, непостижимый без учета роли хлопка и рабовладения. Нам не обойтись без теории того, как люди воспринимают мир и что они делают или не желают делать по поводу того, что они видят. Оторвать эту теорию от того, как люди приходят к ней, изъять ее из исторического контекста и поднять до статуса независимого и самостоятельного каузального фактора означает, что якобы беспристрастный исследователь прибегает к тем же оправдани-

ям, которые обычно используются правящими классами в оправдание самой жестокой политики. Я опасаясь, что именно так ведет себя сегодня существенная часть академической социальной науки. Но давайте теперь вернемся к более конкретным проблемам. Здесь не представляется возможным всесторонне рассмотреть интеллектуальный вклад в теорию свободного общества, который восходит к историческому опыту высших землевладельческих классов. Достаточно напомнить читателю, что английская парламентская демократия была в основном творением этого класса, который продолжал руководить тем, что было им создано, вплоть до начала Первой мировой войны и с тех пор остается весьма влиятельным. Большая часть современной теории легитимного правления и открытого общества происходит из борьбы между этим классом, который, конечно, был далек от единства, и королевской властью. Вместо этого я ограничусь комментарием по одной теме — идеал дилетанта, поскольку судьба этого идеала иллюстрирует то, как идеалы и рационализации того, что некогда было правящим классом, могут в некоторых условиях стать тем, что марксисты называют критическими и прогрессивными теориями. Этот вопрос заслуживает рассмотрения, поскольку его последствия выходят за пределы класса землевладельческой аристократии. Как будет ясно из рассмотрения класса крестьян, именно отмирающие классы могут сделать решающий вклад в представление о свободном обществе.

Хотя землевладельческая аристократия во многих странах подготовила подходящий социальный климат, в котором возникает и процветает идеал дилетанта, корни этого идеала уходят намного глубже. В той или иной форме он, вероятно, характерен для большинства доиндустриальных цивилизаций. Главные черты этой комбинации идей можно выразить следующим образом. Поскольку аристократический статус, как предполагается, указывает на качественно более высокую форму бытия, что было плодом наследования, а не индивидуального достижения, аристократ не должен был прилагать усилия ни в каком направлении слишком долго или слишком серьезно. Он может превосходить других, но только не в одном виде деятельности вследствие продолжительного упражнения — это было бы по-плебейски. Наследственный аспект, следует заметить, не является абсолютно решающим. Таким образом, представления о дилетанте и джентльмене были важными как в классической Греции, так и в императорском Китае — в обществах, которые в теории минимизировали наследственный статус выше определенного уровня — а именно рабов. Тем не менее считалось, что в подобных обществах также лишь ограниченное число людей было способно достичь полноценного аристократического статуса. Для них «настоящий» правитель-джентльмен был качественно особым видом человека. В этих обществах,

а также в других, с более явной классовой или кастовой структурой, аристократ должен был уметь делать все дела хорошо, однако ни одно из них — даже заниматься любовью — не должен был делать слишком хорошо. В западном мире эти представления в основном исчезли после победы индустриального общества. Например, в Соединенных Штатах отличие между дилетантом и профессионалом, благоприятное для первого, сохранилось лишь в тех сферах жизни, которые человек с улицы не воспринимает всерьез. Можно вести речь о спортсмене-любителе или актере-любителе, а в некоторых кругах — даже об историке-дилетанте, но никогда — о дилетанте предпринимателе или адвокате, разве только в уничижительном смысле.

Как можно догадаться, традиционные представления о дилетанте сохранились очевиднее всего в Англии, где аристократия (если использовать этот термин в широком смысле, включая сюда большие сегменты джентри) удержала свои позиции с минимальными потерями. Намьер заметил, что «в Англии аристократами было сделано больше интеллектуальной работы, чем в других странах, более того — ученых, врачей, историков и поэтов делали пэрами, но ни одному немецкому ученому никогда не был присвоен титул барона или графа» [Namier, 1961, p. 14]. Критическая установка аристократии по отношению к идее о том, что богатство является желанной и самостоятельной целью, помогла ей сохранить эстетическое измерение жизни. Даже сегодня некоторые люди все еще верят в то, что искусство, литература, философия и чистая наука — не просто декоративные приатки серьезной деятельности по накоплению капитала, но высшая цель человеческого бытия. То, что подобные идеи могут восприниматься всерьез и воспринимались всерьез до того, в существенной мере является следствием сохранения независимой аристократии как группы, которая способна придать этим понятиям ауру престижа и покровительства, даже если сама аристократия не обращалась к ним как к реально функционирующему поведенческому коду.

Сходным образом критическое отношение к техническому специалисту как к ученому сухарю, готовому послужить всякому господину, происходит из аристократических представлений о дилетанте. Опять-таки Намьер отметил важность этих идей для Англии XX в.:

Мы предпочитаем представлять дело таким образом, как будто наши идеи пришли к нам случайно — как империя — в припадке рассеянности... Специализация с необходимостью влечет за собой искажение сознания и потерю баланса, и типичная английская попытка выглядеть ненаучно происходит из желания остаться человеком... В Англии не ценят абстрактное профессиональное знание,

поскольку по традициям английской культуры профессии должны быть практичными, а культура должна быть творением праздных классов [Namier, 1961, p. 15].

В лучшем случае этот идеал декларирует, что образованный человек должен достичь достаточно точного и компетентного понимания широких проблем и фундаментальных концепций в науке и искусствах, чтобы оценивать их социальные и политические последствия.

Даже сегодня это не утопический идеал. Стандартное возражение, что объем знания слишком велик, обходит стороной главный вопрос: что достойно познания? Это возражение обеспечивает идеологическое прикрытие техническому специалисту и концептуальному нигилисту, который опасается, что его собственная ограниченная сфера компетенции может не выдержать конкуренции с другими при открытом обсуждении их сравнительной значимости. Таким образом, древний спор между аристократами и плебеями, перенесенный в новые формы, продолжается внутри стен академий.

У всех этих тем есть сильные негативные аспекты. Идеал дилетанта может служить и служил до сих пор оправданием поверхностности и некомпетентности. Если аристократия помогла сохранить независимость эстетического измерения, она также оказывала сильное давление в сторону простой декоративности и лести. Чистый снобизм, т.е. проведение социальных различий и наделение престижем без какого-то рационального основания, играл огромную роль. В ехидной карикатуре Веблена «Теория праздного класса» схвачены существенные черты истины. Наконец, необходимо увидеть очень сильную антиинтеллектуальную тенденцию у западноевропейской аристократии, даже у английской. Во многих кругах джентри и высших классов любая попытка завести беседу, выходящую за рамки спорта и садоводства, обречена на удивленное недопонимание и подозрение, что собеседник симпатизирует «большевикам». На каждого выдающегося покровителя интеллекта, на каждого эксцентричного защитника непопулярных дел и определенно на каждого аристократа, который использовал свою независимость как средство для достижения реальных интеллектуальных успехов, приходится множество пустых и ветреных жизней. На каждого Бертрана Рассела, вероятно, приходится дюжина полковников Блимпов. Если продолжающееся существование аристократии помогло сохранить жизнь ума, одновременно оно в огромной степени поспособствовало удушению интеллекта. Хотя мне неизвестны серьезные попытки подвести баланс, похоже, лишь малая доля экономических и человеческих ресурсов, присвоенных аристократией, вернулась обратно в интеллектуальную и художественную жизнь. Поэтому вклад аристократии в создание и реализацию идеала свободного общества был куплен чудовищными социальными жертвами.

Если и существует оправдание для того, чтобы рассматривать представление о дилетанте как положительный вклад, очевидны причины для негативной оценки нескольких других идей. Однако те, что будут рассмотрены ниже, возникают в совершенно ином социальном контексте. Реакционные социальные теории неизбежно процветают в высшем землевладельческом классе, которому достаточно долго удастся удерживать политическую власть, несмотря на экономические потери или угрозу со стороны нового и странного источника экономической власти (страх, лежавший в основе некоторых интеллектуальных течений на американском предвоенном Юге). Несколько раз по ходу этой книги был повод заметить, что там, где коммерческие отношения начали подтачивать крестьянскую экономику, консервативные элементы общества обычно порождают риторики прославления крестьянства как стового хребта общества. Этот феномен не ограничивается ни Современностью, ни западной цивилизацией. Ключевые элементы этой риторики — защита суровых ценностей, милитаризм, презрение к «упадочному» зарубежью и антиинтеллектуализм — появляются на Западе по крайней мере еще со времен Катона Старшего (234–149 гг. до н.э.), который обрабатывал свою латифундию посредством рабской силы. Поэтому уместно назвать этот комплекс идей его именем. Сходная риторика, согласно некоторым знатокам, возникла в Китае вместе с легализмом, также в ответ на угрозу традиционной крестьянской экономике, около IV в. до н.э. Функция катонизма слишком очевидна, поэтому можно ограничиться кратким комментарием. Катонизм оправдывает репрессивный социальный порядок, на который опирается позиция власть предержащих. Он отрицает существование действительных перемен, которые могут нанести ущерб крестьянству. Он отрицает необходимость в дальнейших социальных изменениях, в особенности — революционных. Возможно, катонизм может также очищать совесть тех, кто несет наибольшую ответственность за причиненный ущерб, ведь в конце концов именно военная экспансия уничтожила римское крестьянство.

Современные версии катонизма также возникают в результате использования высшими землевладельческими классами репрессивных и эксплуататорских методов в ответ на возрастание влияния рыночных отношений на аграрную экономику. Его основные идеи были популярны в юнкерских кругах XIX–XX вв., в японском движении нихон-суги, у русских черносотенцев на рубеже веков, во французском крайнем консерватизме, который стал лицом режима Виши³. Его ключевые элементы встречались среди апологетов Юга до Гражданской войны. Катонизм

³ Краткий, но проницательный анализ событий во Франции, обращающий внимание на более широкие темы, см.: *The Folklore of Royalism* // *Times Literary Supplement*. 1961. September 7.

был важным компонентом в европейском и азиатском фашизме XX в., а также в программных заявлениях Чан Кайши. Конечно, все эти движения различались между собой. Тем не менее легко распознать общую для всех схему взаимосвязанных идей и предрасположенностей.

Ключевой элемент в этом комплексе симптомов — это пышный расцвет речей о необходимости бескомпромиссного нравственного обновления, который маскирует отсутствие реалистического анализа предшествующих социальных условий, представляющего опасность для тех, чьи интересы выражает катонизм. Вероятно, хорошим рабочим правилом должно стать подозрение в отношении тех политических и интеллектуальных лидеров, которые в основном разглагольствуют о моральных добродетелях; это станет уроком для многих прохвостов. Не совсем верно утверждать, что нравственности недостает содержания; катонизм мечтает о возрождении особого рода, хотя проще определить, против чего он выступает или за что. Аура нравственной серьезности наполняет до краев рассуждения катонистов. Это морализаторство не инструментально, т.е. эти политические меры отстаивают не ради того, чтобы сделать людей счастливыми (счастье и прогресс с презрением отвергаются как декадентские буржуазные иллюзии), и уж, конечно, не для того, чтобы сделать людей богаче. Они являются важными, поскольку считается, что они внесли свой вклад в образ жизни, который в прошлом доказал свою состоятельность. О том, что катонистские взгляды отличаются романтическим искажением прошлого, не стоит даже упоминать.

Считается, что этот образ жизни был органическим целым и, конечно, связь с землей существенна для обоснования его органичности. В самом деле, эпитеты «органический» и «целостный» — самые популярные и туманные термины катонизма. Органическая деревенская жизнь стоит выше атомизированного и распадающегося мира современной науки и городской цивилизации⁴. Предполагаемая связь крестьянина с почвой превращается в предмет восхваления, за которым не следует никаких действий. Традиционное религиозное благочестие с архаизирующими оттенками входит в моду. В действительности, как в случае с японским синтоизмом, эта традиция в существенной мере является сфабрикованной, пусть и не тотально. Подчинение, иерархия, часто с оттенками расовых или по крайней мере биологических метафор общественных отношений, становятся знаковыми словами. Но эта иерархия не приобретает характера современной безличной бюрократии. Напротив, очень

⁴ Катонизм прочно опирается на романтический протест против современной науки и современной промышленной цивилизации. Разумеется, не во всех отношениях этот протест абсурден. Многие из этих идей встречаются у Шпенглера. Но шпенглеровское понимание того, что архаизм никогда не функционирует, совершенно чуждо катонизму.

много говорится о товариществе, человеческой теплоте. *Gemeinschaft* («общество»), *Genossenschaft* («товарищество»), *Heimat* («родина») — эти слова, отличающиеся намного более сильными эмоциональными оттенками, чем их английские аналоги, создают соответствующий настрой, причем не только в немецком языке.

Акцент на человеческой теплоте кажется решающим элементом теории нравственного возрождения. Эта комбинация ведет в контексте всей идеологии к противоречивому отношению к сексуальной жизни. Согласно общему антиинтеллектуальному и антииндустриальному видению катонизма считается, что современная городская цивилизация обесценивает отношения между полами, делая их холодными и безличными. По этой причине возникает озабоченность фригидностью и импотенцией, прославление сексуальной жизни, примером чего является роман «Любовник леди Чаттерлей». В то же время все это сопровождается оттенком постыдной похотливости, поскольку сексуальная жизнь должна быть основой дома, семьи и государства. Возникает противоречие между оргиями СС в нацистской Германии, вторичными усилиями по поощрению незаконно рожденных детей героев-эсесовцев, и более общей политикой оживления «здоровой» домашней среды для женщин с ее центрами — *Kinder, Kirche, Küche* («дети», «церковь», «кухня»). Политические манифестации — это, конечно, лозунг «думай кровью», отказ от рационального анализа как чего-то «холодного» или «механического», что препятствует действию. Напротив, действие — это нечто «горячее», обычно в смысле сражения. Усилие по окружению смерти и разрушения эротическими оттенками очень заметно, особенно в японском варианте. В конечном счете жизнь приносится в жертву смерти, Марс поглощает Венеру. *Dulce et decorum est* («Сладко и прекрасно [умереть за Отечество]»)⁵... Несмотря на всю риторику теплоты, катонизм с глубоким недоверием относится к любви, считая ее разновидностью мягкотелости.

Здесь есть и другие любопытные противоречия и двусмысленности. Катонизм предполагает страх перед «нездоровой» озабоченностью смертью и разложением на манер Бодлера. Эту озабоченность катонизм отождествляет с чужеземным, с «упадническим космополитизмом». Искусство должно быть «здоровым», традиционным и, самое главное, легкодоступным. Художественные идеи катонизма вертятся вокруг народа и провинциального искусства; образованные городские классы пытаются возродить крестьянский костюм, народные танцы и праздники. После прихода к власти катонистские представления об искусстве сме-

⁵ Средневековое христианство также могло отдавать приоритет смерти перед жизнью, но едва ли с тем же откровенным акцентом на насилии и разрушении. Такие черты, как доброта, жалость, милосердие, не господствовали в практике христианства, но они отличают его от катонизма.

шиваются с общей тенденцией, заметной во всех режимах, озабоченных поддержанием социальной целостности, к поощрению традиционных и классических форм искусства. Нередко отмечались поразительные аналогии между нацистским и сталинистским искусством. Оба режима с равной суровостью осуждали *Kunstbolschewismus* («художественный большевизм») и «беспочвенный космополитизм». Сходные тенденции можно было наблюдать в Риме эпохи Августа⁶.

При описании того, что встречает одобрение в катоновских представлениях, уже приходилось упоминать о том, против чего они направлены. В частности, они враждебны по отношению к торговле, ростовщичеству, большим деньгам, космополитизму, интеллектуалам. В Америке катонизм приобрел форму ресентимента против «городского умника» и вообще против любой формы мышления, которая выходит за пределы самой примитивной народной мудрости. В Японии он проявляется в яростных антиплутократических настроениях. Город воспринимается как раковая опухоль, как средоточие невидимых заговорщиков, поставивших своей целью обманывать и сбивать с нравственного пути честных крестьян. Конечно, у такого рода настроений было реалистическое основание в повседневном опыте крестьян и мелких фермеров, которые оказываются в очень невыгодном положении при рыночной экономике.

Поскольку речь идет о чувствах (насколько мы действительно разбираемся в них) и причинах ненависти, нет особой разницы между правыми и левыми экстремистами в деревне. Главное отличие между ними в доле реалистического анализа причин страданий и в образе возможного будущего. Катонизм скрывает социальные причины и рисует идеал непрекращающегося гнета. Радикальная традиция акцентирует причины и рисует идеал окончательного освобождения. Тот факт, что эмоции и причины сходны, не означает, что появление одного или другого в качестве политически значимой силы определяется навыками манипуляции гневом, как ясно показывают периодические неудачи в том, чтобы привлечь радикально настроенных крестьян на сторону консерваторов (или наоборот) с помощью методов психологической борьбы. Эти пси-

⁶ См. превосходный анализ в: [Syme, 1956, ch. 28–29, p. 460–468 (о Вергилии и Горации)]. Следует отметить также унижение Петрония, отношение римских историков к художественным интересам Нерона и Калигулы. Тот факт, что сталинистское искусство демонстрирует черты, которые я назвал катонизмом либо его производной, может внушить серьезное недоверие ко всей предложенной здесь интерпретации. Но разве нелепо предполагать, что социализм, в особенности при Сталине, заимствовал и включил в себя некоторые из самых репрессивных черт своих исторических противников?

хологические и организационные навыки очень важны, но они работают, лишь когда согласуются с повседневным опытом крестьян, которых пытаются расшевелить подобные лидеры.

Таким образом, катонизм не является чистой воды мифологизацией крестьянства, сочиненной высшими классами и приписываемой самим крестьянам, но находит отклик среди последних, поскольку он обеспечивает своего рода объяснение их положения, сложившегося после натиска рыночной экономики. Также совершенно ясно, что этот свод идей возникает из условий жизни землевладельческой аристократии, которой угрожают те же самые силы. Если рассмотреть главные темы в той форме аристократического ответа, кульминацией которой становится либеральная демократия, можно заметить, что они также встречаются в катонизме — переложенные в ином ключе. Критика массовой демократии, представления о легитимном правлении и важности обычаев, оппозиция к власти богатства и к простому техническому знанию — все это важные темы катонистской какофонии. Опять-таки то, как они сочетаются, и даже, что еще более важно, их конечная цель — вот что оказывается решающим. В катонизме эти понятия служат усилению репрессивной власти. В аристократическом либерализме они сводятся воедино как интеллектуальное оружие против иррациональной власти. В то же время катонизму недостает представления о плюрализме или о благотворности ограничения иерархии и подчинения.

Как замечено выше, современный катонизм в основном ассоциируется с попыткой перейти к трудорепрессивным формам капиталистического сельского хозяйства. Он полностью и совершенно антииндустриален и антисовременен. В этом могут заключаться базовые ограничения на распространение и успех катонизма. На мой взгляд, есть довольно значительная доля истины в осторожной, но неоднократно высказанной Вебленом надежде на то, что развитие техники сможет смыть все человеческое безумие в водостоки истории. Крайние формы трудорепрессивного или эксплуататорского сельского хозяйства могут быть придатками капиталистического прогресса, как это видно на примере сотрудничества американского рабовладения с американским и британским капитализмом. Однако промышленный капитализм с большим трудом обособывается на одной территории с трудорепрессивной системой⁷. Ради

⁷ В качестве исключения можно назвать Японию. Возможно, эти препятствия для индустриализации были жесткими лишь в аграрной экономике, близкой к плантаторскому типу. Юнкерские области Германии оставались в основном деревенскими; разумеется, таким же оставалось русское общество в целом вплоть до 1917 г. Но в Японии также были сложности, и существенную часть деревенской идеологии на практике пришлось выбросить за борт.

сдерживания подвластного высшим классам населения им приходится порождать антирационалистические, антигородские, антиматериалистические и — более широко — антибуржуазные представления о мире, что делает невозможной всякую концепцию прогресса. Очень сложно увидеть, каким образом промышленное развитие может укорениться без твердой поддержки людей, придерживающихся достаточно материалистического понимания прогресса, которое включает на каком-то этапе конкретное улучшение положения низших классов. В отличие от развитого индустриализма, катонизм, похоже, в конце концов рискует прекратить свое существование, смешавшись с городскими и капиталистическими формами романтической ностальгии. Эти более интеллектуально респектабельные формы крайне правой политики в последние 20 лет постепенно приобрели значительное влияние на Западе, и особенно — в Соединенных Штатах. Будущим историкам, если таковые будут, возможно, покажется, что катонизм внес свой вклад лишь в самые взрывные элементы этой опасной смеси.

Переходя от представлений, ведущих свое происхождение из опыта высших землевладельческих классов, к тем, что возникли среди крестьян, историк тут же оказывается в трудном положении из-за отсутствия материала и его сомнительной подлинности. Чрезвычайно сложно установить даже то, какие взгляды были распространены среди крестьян, потому что осталось так мало записей, принадлежащих их авторству, по сравнению с большим числом идей, приписанных им горожанами, преследовавшими свои интересы. Я не буду пытаться решить эту задачу ни в целом, ни даже в самом приблизительном виде. Вместо этого я исследую возможные связи между известными темами в революционной критике общества современного типа и крестьянским опытом того, как их собственный мир оказывается под натиском в современную эпоху. Я подозреваю, что в намного большей степени, чем это обычно осознается, мир деревни мог быть важным источником тех полуосознанных стандартов, согласно которым люди судили и проклинали современную промышленную цивилизацию, и основанием, на котором они возвели свои понятия справедливого и несправедливого.

Пытаясь отличить подлинно крестьянские представления от тех, которые были приписаны крестьянам городскими консервативными и радикальными мыслителями из своих собственных политических интересов, будет полезно в последний раз окинуть взором условия крестьянской жизни до наступления Нового времени. Выделяется несколько повторяющихся особенностей. В качестве защиты от природных бедствий, а в некоторых случаях также в ответ на использовавшиеся сюзереном методы сбора налогов или долговых обязательств крестьяне во многих странах мира разработали систему землевладения со встроенной тенденцией к равному распределению ресурсов. Система владения полосками

земли, разбросанными по различным частям территории, принадлежавшей деревне, встречается повсеместно как в Европе, так и в Азии. Кроме того, существует обычай равного доступа для всех к общинной земле, которая оставалась нераспределенной. Хотя общинная земля играла более важную роль в Европе, где животноводство отчасти облегчало крестьянскую долю, она также существовала в Азии; например, в Японии общинная земля была источником таким дополнительных ресурсов, как удобрения. Несмотря на значительные вариации, основная идея, связанная с этими отношениями, совершенно очевидна: каждый член общины должен иметь доступ к достаточным ресурсам, чтобы выполнять обязательства перед всем сообществом, ведущим коллективную борьбу за выживание⁸. Каждый, включая помещика и священника, вносил свой вклад. Эти понятия, хотя и романтизированные многочисленными интеллектуалами, имели твердое основание в фактическом крестьянском опыте.

Этот опыт впоследствии создает почву для крестьянских нравов и моральных норм, посредством которых они судят о собственном поведении и поступках других людей. Суть этих норм — грубое представление о равенстве, с акцентом на справедливости и необходимости минимума земли для решения основных общественных задач. Эти нормы обычно имели какую-то религиозную санкцию, и скорее всего, судя по тому вниманию, которое уделялось этим моментам, крестьянская религия отличается от религии других общественных классов. С проникновением модернизации в их среду крестьяне применяют эти нормы, оценивая и до некоторой степени объясняя свою собственную судьбу. Отсюда возникает частый мотив восстановления древних прав. Как прекрасно заметил Тони, крестьянский радикал удивился бы, узнав, что он, якобы, уничтожает основы общества, поскольку, по его мнению, он всего лишь возвращает себе то, что ему давно по праву принадлежало [Tawney, 1912, p. 333–334, 337–338].

Когда мир торговли и промышленности начал подрывать структуру деревенского сообщества, европейские крестьяне отреагировали на это разновидностью радикализма, в котором подчеркивались темы свободы, равенства и братства, но совершенно иным способом, нежели эти темы понимались среди горожан и, в частности, преуспевающих буржуа. Поток деревенской реакции на модернизацию прокатился по Европе и Азии, то присоединяясь к городским волнениям, то двигаясь в противоположном направлении. Для крестьян на первом месте стояла не свобода, но ра-

⁸ В Китае общинная земля отсутствовала, но институт клана там, где он существовал, в некоторой степени воплощал ту же самую идею, что член сообщества для выполнения своих социальных функций должен иметь доступ к ресурсам.

венство. Крестьянский опыт обеспечивал основу для сокрушительной критики буржуазного понятия равенства, как я покажу подробнее ниже. Если коротко, то крестьяне задавали вопрос: «Какой смысл имеют ваши тонкие политические отношения, если богач все еще угнетает бедняка?» Свобода также означала избавление от помещика, который уже не обеспечивал им защиты, но использовал свои древние привилегии для того, чтобы отобрать у них землю или принудить к неоплачиваемой работе. Братство едва ли имело значение большее, чем то, что деревня — это экономический кооператив и территориальная единица. От крестьян это представление могло перейти к интеллектуалам, которые развили свои теории о деперсонализации современной жизни и проклятии бюрократического гигантизма с оглядкой на то, что в романтической дымке им казалось деревенской общиной. Все это могло бы показаться довольно странным и непостижимым крестьянину, который каждый день в своей собственной деревне сталкивался с жестокой борьбой за собственность и женщин. Для крестьянина братство было скорее негативным понятием, разновидностью местничества. У крестьянина не было абстрактного интереса в поставках продовольствия в город. Его органическое понимание общества не граничило с альтруизмом. Для него «чужаки» были и в основном остаются причиной налогов и долгов. В то же время другие жители деревни, даже если с ними и нужно было держаться настороже, все-таки были теми людьми, с которыми приходилось сотрудничать в решающие моменты сельскохозяйственного цикла. Поэтому кооперация была господствующей темой внутри группы, враждебность и недоверие — господствующей темой в отношениях с чужаками, а в конкретных повседневных обстоятельствах возникало множество оттенков и вариаций. Крестьянское местничество, таким образом, не было врожденной чертой (не в большей мере, чем их связь с землей), но продуктом конкретного опыта и обстоятельств.

В вышеописанной форме эти идеи были популярны у мелких ремесленников и городских поденщиков, страдавших под бременем долгов и от последствий развития крупной торговли. Поскольку кто-то из представителей городских низов владел грамотой, нередко именно они или кто-нибудь из священников излагали все эти бедствия в письменном виде и тем самым сохраняли их для обсуждения среди историков. Эти обстоятельства делают вдвойне сложным выделение чисто крестьянской компоненты. Тем не менее если взглянуть на крайне левые проявления английской гражданской войны и Французской революции, диггеров и Гракха Бабёфа (все случаи достаточно красноречивы), а также на некоторые течения в русском радикализме до 1917 г., нетрудно увидеть их связь с крестьянской жизнью и с крестьянскими проблемами.

Некоторые конкретные подробности вновь помогут придать содержание этим общим замечаниям. В ходе английской гражданской войны,

16 апреля 1649 г. Государственный совет получил тревожное сообщение, что небольшая, но быстро набирающая сторонников банда перекапывает холм Св. Георгия в Суррее, засеивает его пастернаком, морковью и бобами и явно имеет какие-то политические планы. До того как члены совета приняли решение, что с этим делать, перед ними предстали вожди диггеров, в том числе Джерард Уинстенли, чтобы объяснить свое поведение и очертить программу аграрного коммунизма. Наиболее значимой чертой этой программы, как выяснилось из этого и последующего конфликта с властями, была критика недостаточности политической демократии в отсутствие социальной реформы. «Мы знаем, — сказал Уинстенли, — что Англия не может быть свободным сообществом, если у бедняков нет свободного пользования землей и получения прибыли с нее; ведь если эта свобода не гарантирована, мы, бедные простолюдины, оказываемся в худшем положении, чем при короле, поскольку тогда у нас был какой-то достаток, хотя и под гнетом, но сегодня все наши доходы тратятся на приобретение свободы и мы по-прежнему находимся под гнетом тирании лордов-помещиков». Хотя диггеры были крайними радикалами, они не были в изоляции; были и другие сходные движения, особенно в областях, где быстро распространялись огораживания. Однако они почти не добились успеха, и их преждевременная атака на собственность была быстро подавлена⁹.

Крестьянские *sahiers* из регионов на севере Франции, изученные Жоржем Лефевром, проливают яркий свет на взгляды крестьян в областях, оказавшихся под серьезным воздействием модернизации, несмотря на то что три четверти населения все еще проживало в деревне. Хотя некоторые историки считают эти *sahiers* довольно сомнительным источником сведений по крестьянским проблемам, Лефевр приводит убедительные аргументы в пользу признания их ценности с несущественными оговорками. В основном в них идет речь о конкретных местных случаях злоупотреблений, которые мы здесь можем оставить без внимания. Общие темы негативные: как можно было ожидать, крестьян не интересовал вопрос организации власти, волновавший в то время Париж. В остальном выразительны собственные слова Лефевра: «Почти для всех крестьян быть свободным значит освободиться от сеньора; свобода, равенство — два слова для единственной вещи, которая была самой сутью Революции» [Lefebvre, 1959, p. 353, x, 344, 350–351].

⁹ См.: [James, 1930, p. 99–106, 102]. Полная подборка текстов и интерпретация приводятся в издании: *Works of Winstanley* / ed. by G. Sabine. Ithaca, 1941. На p. 269–277 приводится «Декларация бедного угнетенного народа Англии» («A Declaration from the Poor Oppressed People of England»), особенно важная для рассматриваемых выше моментов.

Лефевр также автор двух кратких, но поучительных исследований о знаменитом вожде радикального крыла революции Франсуа-Эмиле (Гракхе) Бабёфе [Lefebvre, 1954, р. 298–314]. Взгляды Бабёфа были смешением теорий, заимствованных из книг (особенно из Руссо и Мабли) и его собственного опыта в Пикардии, где он родился и вырос в крестьянском окружении. Одно переживание оказало на него наиболее сильное впечатление — его работа в качестве мелкого адвоката, комиссара по феодальному праву на службе аристократии, изучавшего правовые основания прав сеньора по отношению к крестьянам в этой области, где быстро распространялись коммерческие влияния¹⁰. Из этого сочетания чтения и опыта возникло его твердое убеждение в том, что неравенство богатства и собственности было результатом воровства, насилия и обмана, которые закон прикрывал мантией лицемерной благопристойности. Для исправления ситуации он предлагал сокрушить господствующую систему отношений собственности и ввести равенство в распределении и общественной организации производства. Еще в 1786 г., согласно недавно обнаруженному письму, которое Бабёф благоразумно поостерегся пересылать одному либеральному дворянину, он подумывал о том, чтобы превратить крупные хозяйства в нечто очень напоминающее советские колхозы, пусть и при сохранении системы арендной платы помещику¹¹. Он пришел к пониманию того, что для обеспечения действенного равенства и для того, чтобы производство ориентировалось на потребности в использовании и общие для всех нормы приличия и удобства, необходим сильный централизованный контроль [Dommanget, 1935, р. 103–121, 250–264]¹².

Как и до него Уинстенли, Бабёф считал политическое равенство чистым обманом, если оно не было обеспечено экономическими правами. Его критика торжества буржуазной демократии и поражения социаль-

¹⁰ См. подробное описание социальных условий в Пикардии: [Далин, 1963, гл. 3], а также проясняющую цитату из Бабёфа на с. 104 о том, что значил для него опыт работы в качестве специалиста по феодальному праву.

¹¹ По поводу письма Бабёфа от 1 июня 1786 г., найденного в архивах Института марксизма-ленинизма, см.: [Далин, 1963, с. 95–109]; о «коллективных фермах» (*fermes collectives*) см. на с. 99, где автор утверждает, что Бабёф поддерживает идею *fermes collectives* в мемуаре 1785 г.; но мне не удалось найти следов этой идеи в тексте мемуара от 15 ноября 1785 г., который приведен в: [Advielle, 1884, t. 2 (pt. 1), р. 1–14]. Этот термин не встречается и в индексе переписки Бабёфа с Дюбуа де Фоссе в конце того же тома.

¹² На р. 268 этого издания Бабёф называет право собственности одной из самых печальных человеческих ошибок. Другие стороны его мысли, существенные для этого краткого анализа, упоминаются на р. 91, 96, 186, 209–211.

ной демократии, отмеченного падением Робеспьера, после первоначальных сомнений стала довольно резкой. Что представлял собой Заговор равных, за который Бабёф заплатил своей жизнью в 1797 г., — это вопрос для специалистов. Но главный момент для нас очевиден. Его сторонники мечтали о дне подлинного равенства. Они утверждали, что «никогда еще не был задуман и приведен в исполнение более обширный замысел. Изредка какие-то гении и мудрецы говорили о нем низким и взволнованным голосом. Ни у кого из них не было мужества сказать всю правду. Французская революция всего лишь предвестие другой революции, намного более великой и более возвышенной, которая станет последней»¹³. Итак, в случае Бабёфа крестьянский опыт также внес вклад в критику буржуазного общества, которая стала частью современного типа радикальной левой мысли. Традиция вооруженного восстания, а также диктатуры пролетариата, по предположению Лефевра, может быть частью свода идей, которые появляются в исторических хрониках вместе с Бабёфом, а затем уходят в подполье до конца XIX в.

В русском деревенском сообществе XVIII–XIX вв. крестьянские представления о равенстве, как явствует из периодических перераспределений земли, были в не меньшей мере ответом на систему налогообложения, чем на физические условия. Их центральной чертой было допущение, что каждая семья должна иметь достаточно земли для того, чтобы оплачивать свою долю налогов и податей, которые начислялись на сообщество как единое целое. Как хорошо известно, русские популисты заимствовали свои цели, а также существенную часть своей критики современного индустриального общества из идеализированной версии деревенской общины. Несмотря на многочисленные различия в кругах домарксистских радикалов XIX в., у них было общее согласие по вопросу равенства как первого принципа и по тезису о том, что политические формы демократии были бессмысленными и бесполезными для голодающих людей¹⁴. Таким образом, крестьянские практики являются ясным источником этого знаменитого критического направления в Англии, Франции и России, хотя роль городского интеллектуала приобретала все большее значение во Франции и России.

Выделить другие явные политические допущения, циркулировавшие среди русских крестьян, по понятным причинам сложнее, чем в случае Западной Европы. Несмотря на преграды, серьезное исследование на эту тему, которых почти не проводилось, может обнаружить самый по-

¹³ Из «Manifeste des Égaux» (1796) по переводу, приведенному в: [Revolution from 1789., 1962, p. 54, 55].

¹⁴ См. предисловие Исаяи Берлина к книге: [Venturi, 1960, p. vii, x, xvi, xxviii].

разительный материал¹⁵. Если судить по тому, что делали русские крестьяне, особенно в эпоху освобождения, то их первым желанием было прекращение безвозмездной работы на помещика. Поскольку они чувствовали, что связь между их общиной и помещиком используется для эксплуатации, они хотели ее разорвать и перейти к самостоятельному управлению деревней. Таково было их основное представление об «истинной воле»¹⁶. Царя они были согласны терпеть, видя в нем союзника в борьбе с дворянством, — это было заблуждение, поддерживаемое множеством патетических и драматических выражений по ходу XIX в., однако не совсем лишённое оснований в более раннем историческом опыте. Это представление о деревенской автономии оставалось важной крестьянской традицией, подводные течения которой, вероятно, еще не совсем угасли. Пожалуй, ее последним открытым выражением был лозунг «Советы без коммунистов» во время Кронштадтского восстания в 1921 г., подавление которого большевиками раскрыло «тайну» русской революции не меньше, чем репрессии в отношении диггеров раскрыли «тайну» английской.

В Азии крестьянское недовольство приобретало различные формы вплоть до того момента, когда оно было перехвачено коммунистами. О его интеллектуальном содержании есть очень мало информации. В заключение можно сделать несколько замечаний о его сходствах и отличиях по сравнению с европейскими крестьянскими движениями. В Индии крестьянское недовольство еще не приобрело сколько-нибудь значительного революционного оттенка и поэтому в основном ограничивалось гандийским вариантом темы братства с ностальгией по идеализированному деревенскому сообществу. Китай был свидетелем бесконечной череды религиозных восстаний, каждое из которых происходило на фоне обширного аграрного кризиса. Вероятно, о крестьянском недовольстве в Китае предстоит еще узнать нечто большее, помимо того, что оно выражало себя в религиозных формах, как это было в Европе в Средние века и в начале Нового времени. Западные источники, однако, почти не дают информации о социальной критике в китайских событиях, сравнимой с выше рассмотренными случаями на Западе, за исключением даосской идеи о возвращении к порядку примитивной простоты

¹⁵ Зарубежные и внутренние наблюдатели все время вкладывают в уста крестьян тезис о том, что они принадлежат помещику, но земля принадлежит им. Некоторые примеры см.: [Venturi, 1960, p. 68–69]. В какой мере это утверждение представляет собой реальное крестьянское мышление и в какой мере — его аристократическое искажение? Поведение крестьян делает очень сомнительным то, что они могли думать о себе как о принадлежащих помещику.

¹⁶ [Ibid., p. 211, 218].

как средству от болезней сложной цивилизации [Yang, 1961, ch. 9, p. 114]. Можно предварительно предложить два объяснения. Конфуцианская ортодоксия сама по себе предлагает учение о прошедшем золотом веке, и поэтому она могла поглотить крестьянские тенденции возвращения к прошлым образцам для критики современных реалий. Сходным образом секулярные черты конфуцианства высших классов могли подтолкнуть крестьянское недовольство к тому, чтобы принять мистические и религиозные формы, — во многих случаях это была довольно сильная тенденция. Более важным, чем эти соображения, было другое: китайские крестьяне вряд ли могли бы разработать эгалитарную критику политической демократии, поскольку в Китае не было собственной традиции политической демократии, которая могла бы стать мишенью для критики. Волнения и беспорядки среди японских крестьян при правлении Токугава никогда не получали последовательного политического выражения, или по крайней мере об этом ничего не осталось в исторических свидетельствах. В Новое время крестьянское недовольство приобрело консервативную форму. В ходе нашего рассуждения было несколько поводов упомянуть о ретроградных и реакционных аспектах крестьянского радикализма. Хотя эти мотивы впоследствии подхватили и прославили откровенные реакционеры, они ни в коем случае не были их творением. Если об этом не забывать, можно опустить более подробное обсуждение этого вопроса.

Поскольку крестьянское недовольство часто выражалось в реакционной форме, марксистские мыслители обычно относились к крестьянскому радикализму со смешанным чувством презрения и подозрения или, в лучшем случае, с покровительственной снисходительностью. Иронизировать над этой слепотой, указывать на то, что марксисты обязаны своим успехом крестьянским революциям, превратилось в излюбленные антимарксистские развлечения, которые затемняют более значимые вопросы. Когда мы окидываем взором распространение революций Нового времени, начиная с немецкой Bauernkrieg и с Пуританской революции в Англии, через его успешные и провальные фазы во время его движения на запад в Соединенные Штаты и на восток через Францию, Германию, Россию и Китай, выделяются два момента.

Во-первых, радикальные утопические представления одной фазы превращаются в признанные институты и философские банальности на следующей фазе. Во-вторых, главным социальным базисом радикализма были крестьяне и мелкие городские ремесленники. Из этих фактов можно прийти к заключению, что источники человеческой свободы находились не там, где их видел Маркс, в стремлении классов захватить власть, но скорее в предсмертных конвульсиях того класса, по которому прошелся локомотив исторического прогресса. Продолжающий свое распростра-

нение индустриализм в недалеком будущем может заглушить эти голоса навеки и сделать революционный радикализм таким же анахронизмом, как клинописное письмо.

Западному ученому не так просто произнести похвальное слово революционному радикализму, поскольку это входит в противоречие с глубоко отпечатавшимися интеллектуальными рефлексам. Тезис о том, что постепенное и последовательное реформирование доказало свое преимущество над насильственной революцией в качестве способа продвижения человеческой свободы, звучит настолько убедительно, что даже странно подвергать его сомнению. В завершение этой книги я в последний раз хочу обратить внимание на то, что говорят нам по этому поводу факты из сравнительной истории модернизации. Против собственной воли я пришел к заключению, что цена умеренной политики была не менее — а то и намного более — жестокой, чем цена революции.

Справедливость требует признать тот факт, что почти все способы написания истории навязывают чрезвычайное предубеждение против революционного насилия. Это предубеждение становится чудовищным, если осознать его глубину. Сильное заблуждение состоит уже в том, чтобы сравнивать между собой насилие тех, кто сопротивляется гнету, и насилие угнетателей. Но дело далеко не только в этом. Со времени Спартака и Робеспьера вплоть до наших дней применение угнетенными силы против своих бывших господ подвергается почти всеобщему осуждению. В то же время повседневный гнет «нормального» общества лишь смутно присутствует на заднем плане большинства исторических сочинений. Даже те радикальные историки, которые обращают внимание на несправедливости дореволюционных эпох, как правило, фокусируются на небольшом промежутке времени, непосредственно предшествующем социальному взрыву. В этом случае они могут также непреднамеренно исказить исторические свидетельства.

Это один из аргументов против убаюкивающего мифа о градуализме. Но есть еще более важный аргумент, касающийся цены изменений, обошедшихся без революций. Последствиями модернизации, обошедшейся без реальной революции, стали жертвы фашизма и его захватнических войн. В отсталых странах сегодня продолжают страдания тех, кто не предпринял революции. Мы видели, что в Индии эти страдания в большой мере оказались ценой демократической неторопливости в азиатском контексте. Не станет сильным искажением истины назвать эту ситуацию демократической стагнацией. Но есть также положительные аргументы в пользу революции. В западных демократиях революционное насилие (а также другие формы) было частью всеохватного исторического процесса, который сделал возможным последующие мирные изменения. Революционное насилие в коммунистических странах также

оказалось частью разрыва с гнетом прошлого и стремления построить менее репрессивное будущее.

Градуалистский аргумент начинает разваливаться. Но в тот же момент рушится и революционный аргумент. Вне всякого сомнения ясно, что заявления о том, что в социалистических государствах реализуется более высокая форма свободы, чем в капиталистических демократиях Запада, основываются на обещании, а не на реальных достижениях. Невозможно отрицать очевидный факт, что большевистская революция не принесла свободу народу России. В лучшем случае она принесла возможность освобождения. Сталинская Россия — одна из самых кровавых тираний в мировой истории. О Китае известно гораздо меньше, и, хотя победа коммунистов, вероятно, ознаменовалась повышением уровня личной безопасности для народных масс после почти столетия повсеместного бандитизма, иноземного гнета и революции, все-таки можно с надежностью утверждать, что и в Китае заявления социализма пока еще основываются на обещании, а не на достижениях. Действительно, коммунисты не могут утверждать, что народные массы перенесли меньшее бремя страданий во время их разновидности индустриализации, чем во время предшествующих форм капитализма. На этот счет нужно помнить об отсутствии свидетельств о том, что народные массы в какой-либо стране хотели индустриализации, напротив, есть множество свидетельств того, что они не хотели этого. На самом дне всех форм индустриализации до сих пор были революции сверху — дело рук беспощадного меньшинства.

На это обвинение коммунисты могут возразить, что репрессивные черты их режимов во многом являются ответом на необходимость создания собственной промышленной базы в невероятно краткие сроки и во враждебном окружении алчных капиталистов. Я не думаю, что на это получится переложить ответственность за то, что в действительности произошло. Размах и глубина сталинских репрессий и террора были слишком чрезмерными, чтобы им можно было найти объяснение, не говоря уже об оправдании, воспользовавшись представлением о революционной необходимости. Во многих отношениях сталинский террор скорее мешал, чем помогал в достижении революционных целей, как, например, в случае децимации офицерского корпуса накануне Второй мировой войны, а также в том, как сталинское правление порождало смесь хаоса и каменной твердости во всей советской административной структуре, включая промышленные секторы. Но также бесполезно сваливать всю вину на Сталина. Отвратительная сторона сталинской эпохи имела институциональные корни. Коммунизм как набор идей и институций не может избежать ответственности за сталинизм. В целом одной из наиболее отталкивающих черт революционной диктатуры явилось применение террора против простых людей, которые были в не мень-

шей степени жертвами старого режима, чем сами революционеры, а нередко — даже в большей.

Выдвигается также аргумент, что со времени коммунистических революций прошло слишком мало времени, чтобы надлежащим образом судить о них: освобождающие последствия прежних революций стали очевидными спустя долгое время. Ни этот аргумент, ни предшествующий, согласно которому кошмары коммунизма вызваны необходимостью защиты от кошмаров капитализма, невозможно с легкостью отбросить. Тем не менее есть основания полагать, что в них проявляется значительная доля наивности по отношению к прошлому и будущему. Они наивны по отношению к прошлому, поскольку каждое правительство оправдывает свои репрессивные меры защитой от врагов: как только враг отступит, все подданные заживут счастливо. В каком-то смысле все правящие элиты, даже когда они сражаются между собой, втайне заинтересованы в существовании своих оппонентов. Эти аргументы наивны и по отношению к будущему, поскольку не обращают внимания на то, в какой мере искажения революции порождают тайные устремления к господству. Вместе с тем апология коммунизма требует акта веры в будущее, что предполагает в существенной мере отказ от критической рациональности.

Вместо этого я настаиваю на том, что как западный либерализм, так и коммунизм (особенно в русском варианте) демонстрируют множество симптомов исторического устаревания. В качестве успешных доктрин они начали превращаться в идеологии, которые оправдывают и скрывают многочисленные формы угнетения. Не нужно специально оговаривать, что между этими системами существуют огромные различия. Коммунистические репрессии были и остаются в основном направленными против собственного населения. Репрессии, осуществляемые либеральным обществом, как в эпоху раннего империализма, так и сегодня в вооруженной борьбе против революционных движений в отдаленных регионах мира, оказываются направленными вовне, против других. Тем не менее эта общая черта репрессивных практик, замаскированная речами о свободе, возможно, является самой значимой. Поскольку это так, задача честного мыслителя состоит в том, чтобы освободиться от предрассудков обоих видов и вскрыть причины репрессивных тенденций в обеих системах в надежде на их преодоление. Можно ли их в действительности преодолеть, в высшей степени сомнительно. Поскольку могущественные и тайные интересы противостоят изменениям, ведущим к установлению менее репрессивного мирового порядка, ни одна концепция свободного общества не может отказаться от какого-то представления о революционном принуждении. Однако это крайняя необходимость, последний резерв политического действия, рациональ-

Эпилог. Реакционная и революционная образность

ное оправдание которого слишком меняется в зависимости от времени и места, чтобы можно было отважиться здесь на какую-то попытку его рассмотрения. Никто не знает наверняка, останется ли древняя мечта западной цивилизации о свободном и рациональном обществе всего лишь химерой. Но если человеку будущего когда-либо и суждено освободиться от оков настоящего, ему придется изучить те силы, которые их выковали.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЗАМЕЧАНИЕ О СТАТИСТИКЕ И КОНСЕРВАТИВНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Каждый, кто обращается к сочинениям других ученых как в поисках общей ориентации, так и за сведениями по конкретным проблемам, рано или поздно сталкивается с конфликтом поколений не менее острым, чем в знаменитом романе Тургенева. Консервативные и радикальные интерпретации одного и того же набора событий сменяют друг друга с регулярной последовательностью. Благодаря этому конфликту достигается определенный прогресс в историческом понимании, как может убедиться всякий, взглянув для начала, например, в сочинения Тэна или Мишле, а затем практически в любое стандартное современное описание Французской революции. Такова человеческая природа, и, вероятно, знание о мире людей не может прирастать по-другому.

Но на этом пути случается множество потерь и неудач, которые препятствуют кумулятивному пониманию прошлого. Одна из неудач вызвана тенденцией к некритическому принятию представления о том, что нынешнему поколению удалось более или менее навсегда разрешить некоторые вопросы. Свойственна ли эта тенденция в долгосрочной перспективе как сторонникам левых, так и правых политических взглядов, не совсем ясно. Мне несколько больше известно о положении дел в правой части политического спектра, чем в левой, причем по двум причинам. Одна отчасти случайна. Эта книга была написана в период, когда политический климат был консервативным, а в научной среде господствовали сильные ревизионистские течения против прежних исследований, которые могли бы внушить опасения по поводу нашего собственного общества. К моменту завершения работы над этой книгой уже давала о себе знать реакция против этого течения. Другая причина проще: предрассудки левых доктринеров нередко до смешного примитивны. Ни у кого нет особых проблем в том, чтобы распознать их.

По этой причине последующие замечания посвящены в основном одной из разновидностей консервативных предрассудков. Их цель — уберечь любознательного дилетанта или начинающего профессионала от некоторых крайних вариантов консервативного ревизионизма, т.е. от взглядов, суть которых в том, что практические количественные расчеты современной науки «разрушили» все прежние интерпретации и что приверженность к каким-либо их сколько-нибудь существенным аспектам оказывается не более чем «утверждением религиозного мифа», — такого рода оценки встречаются чаще в устных беседах, чем в печатной форме, поскольку печатная публикация заставляет авторов вернуться к

более безопасной умеренной позиции. Внимательный взгляд на статистические данные, на которых основывается эта критика, указывает — в некоторых важных случаях, которые рассматриваются ниже, — на то, что статистика на самом деле подтверждает прежние теории. После технического анализа я представлю некоторые размышления об общей направленности этих аргументов. Но для начала я хотел бы прояснить общий смысл моих замечаний. Хотя у меня нет специальной подготовки по статистике, мне все-таки досаждают ненависть ко всему техническому, которая отвергает с порога любые подсчеты. Было бы несправедливо называть это искажение гуманистической ментальности луддизмом, поскольку луддиты все-таки вели себя умнее. Однако это приложение не стоит воспринимать и в качестве непрямого выпада против любого консервативного ревизионизма. Все, кому знакома отчасти литература, на которой основана эта книга, увидят сходство между некоторыми аргументами у меня и в выдающихся сочинениях ревизионистов. Наконец, те ученые, чьи труды рассматриваются ниже, не выказывают самодовольства, которое царит среди тех, кто делает ненадежные умозаключения частью профессионального консенсуса, причем при изучении человека — самого главного разрушителя всех мнений.

Прежде всего я хотел бы заняться важным исследованием Д. Брантона и Д. Пеннингтона, посвященным Долгому парламенту. Это главный труд внутри влиятельной традиции исторических сочинений, которая не хочет признавать, что в основе английской гражданской войны был серьезный социальный раскол¹. На первый взгляд их исследование подтверждает этот тезис и, в частности, опровергает взгляды Тони.

В одном случае это статистическое исследование утверждает, что единственное существенное различие между роялистами и сторонниками парламента в Долгом парламенте было возрастным: роялисты в основном были моложе. Представители разных слоев джентри, консервативные и прогрессивные помещики, столичные и провинциальные торговцы встречались в обеих партиях почти в равных пропорциях [Brunton, Pennington, 1954, p. 19–20]. Тони торжественно замечает в своем введении к этому исследованию:

Что касается членства в Палате общин, которое является единственным предметом данного сочинения, то очевидны выводы, которые

¹ Читателям без специальных знаний о событиях гражданской войны можно напомнить, что Долгий парламент заседал все время гражданской войны — с 3 ноября 1640 г. по 16 марта 1660 г. За несколько недель до казни короля, произошедшей 30 января 1649 г., Долгий парламент подвергся «Прайдовой чистке» и был сокращен до «охвостья». Его численность колебалась на фоне других событий до и после казни и во время протектората Кромвеля (1653–1658), но мы можем оставить эти события без внимания.

следуют из приведенных в нем цифр. Раскол между роялистами и сторонниками парламента имел мало отношения к многообразию экономических интересов и социальных классов. Этот вывод должен считаться окончательным, пока не появится не менее всеобъемлющее доказательство противоположного [Brunton, Pennington, 1954, p. *xix*, *xviii*].

Однако довольно серьезное подтверждение значимости классовых и экономических интересов содержится в самом исследовании, что по какой-то причине Тони оставил без внимания. Авторы исследования, будучи прекрасными учеными, привели подробные выкладки, которые демонстрируют значимость этих факторов. Они становятся очевидными, стоит только посмотреть на географическое распределение силы парламента и короны среди членов Долгого парламента. Следует различать области, где сторонники парламента были в большинстве и где они были в меньшинстве. Соответствующие данные приводятся в табл. 4. Они относятся к 552 «исходным» членам, заседавшим между ноябрем 1640 г. и августом 1642 г., т.е. до подлинного всплеска враждебности.

Даже если бы социальный историк ничего не знал о гражданской войне, при виде этих цифр он сделал бы вывод, что в разных географических частях Англии по историческим причинам развились совершенно разные типы социальной структуры, которые пришли к конфликту друг с другом. (Лишь на юго-западе расклад почти равный.) Эти отличия, конечно же, хорошо известны историкам. Тревелиян проанализировал их значение с большой проницательностью и таким образом, что возникает живая картина классовых интересов, традиционных уз лояльности по отношению к высшим классам, религиозных принципов и простого желания сохранять свой нейтралитет, которые были свойственны разным группам в различных частях страны. Полученный результат вполне ожидаем для общества, в котором капиталисты и в целом новые способы мышления и действия пробивали себе дорогу через прежнюю социальную структуру. Центром этого нового мира был Лондон, откуда его влияние распространялось сильнее всего на юг и восток. В то же время король находил поддержку в более отдаленных областях, в особенности на севере и на западе, за исключением пуританских районов, где шили одежду, и морских портов [Trevelyan, 1953, vol. 2, p. 185–187]².

Сколько-нибудь серьезное объяснение этих региональных различий выходит за пределы моего замечания и моих скромных познаний; почти равное разделение на юго-западе представляется мне откровенно за-

² См. также критику исследования Брантона и Пеннингтона: [Hill, 1958, p. 14–24], где автор привлекает внимание к географическим различиям на p. 16.

ТАБЛИЦА 4. Члены Долгого парламента в 1640–1642 гг.

Области, где парламент был в большинстве:

	Восток		Внутренние области		Юго-восток	
	Количество	%	Количество	%	Количество	%
Роялисты	14	20	32	37	28	27
Парламентаристы	55	80	51	59	70	68

Области, где парламент был в меньшинстве:

	Север		Запад		Юго-запад	
	Количество	%	Количество	%	Количество	%
Роялисты	37	55	43	67	82	50
Парламентаристы	28	42	20	31	78	48

ИСТОЧНИК: Адаптированные данные из книги: [Brunton, Pennington, 1954, p. 187 (table 1)]. См. также р. 2, где дается определение «исходных» членов парламента, и Приложение V, касающееся географических разделений.

гадочным. Тем не менее стоит упомянуть несколько указаний на связь между помещиком-огораживателем и поддержкой парламента, которая возникает в результате приводимого Брантоном и Пеннингтоном количественного распределения по географическим регионам. Внутренние области и восток — это области, где, согласно Тони, огораживания в XVI в. привели к наиболее разрушительным социальным последствиям [Tawney, 1912, p. 8]. Это также области солидного парламентского большинства. О юге и востоке — главных опорах парламента — есть чуть больше информации, что позволяет нам яснее представлять ситуацию. На юге Кента и Эссекса в XVI в. расколы были немногочисленны, поскольку большая часть этой области к тому времени уже подверглась огораживаниям. Кент был предметом специального изучения и, похоже, является классической областью нейтралитета, где джентри без энтузиазма встали на сторону парламента, а после периода смут с радостью приветствовали Реставрацию, в силу англиканского вероисповедания и должного уважения к установленным правам собственности [Ibid., p. 8; Everitt, 1957, p. 9]. Суффолк на востоке, домашняя территория Кромвеля, также был предметом специального изучения — это был оплот парламента. Лидерство парламентских сил описано в недавней монографии

как «своего рода эксклюзивный окружной клуб, состоящий из самых больших умов и самых крупных состояний в графстве». Как и в других восточных графствах, деревенская и городская экономика была здесь чрезвычайно развита. В этом графстве взаимодействие торгового и сельскохозяйственного предпринимательства развилось до необычайно высокой степени. Среди землевладельческих семей «лишь немногие оставались без тесных коммерческих связей, а в сельскохозяйственной эксплуатации своих земель помещики Суффолка были как никто активны» [Suffolk., 1961, p. 16–17].

Это описание главного оплота парламента почти в точности соответствует тому, что можно было ожидать на основании тезиса Тони. Если внимательно посмотреть на статистику в книге Брантона и Пеннингтона и на социальные вариации, лежащие в основе этих данных, то, по моему мнению, она послужит достаточно сильным аргументом скорее в пользу взглядов Тони, чем против них.

Возможно прийти к тому же суждению о статистических свидетельствах, которые якобы противоречат старым сочинениям, подчеркивающим тяжелые последствия движения огораживания в конце XVIII — начале XIX в. В своей статье «Размер ферм в XVIII в.» Мингей рассматривает вопрос об упадке мелкого фермерства в результате огораживаний и других факторов. Против статьи в целом, которая заканчивается выводом о том, что упадок был, я не возражаю. Более того, в ней проливается яркий свет на множество вопросов, причем правовых и политических, а не просто говорится об экономической роли «энергичного помещика». К сомнительной части интерпретации автора относится серия статистических наблюдений, с которых статья начинается. Насколько я понимаю эту мысль Мингея, статистические данные переписи XIX в. противоречат любому тезису о том, что в предшествующем веке произошло серьезное ухудшение положения мелкого фермера. «Всякий, кто хочет верить, что мелкие фермы “исчезли” в XVIII в., должен быть готов объяснить, каким образом они вновь появились с такой силой в XIX в.». Данные переписи Мингей обобщает в следующем высказывании (со ссылкой на: [Clapham, 1950, vol. 2, p. 263–264]): «В 1831 г. почти половина фермеров полагалась только на рабочую силу своей семьи, а в 1851 г. 62% арендаторов, занимавших площадь свыше 5 акров, имели менее 100 акров. Данные 1885 г. показывают примерно такую же картину» [Mingay, 1962, p. 470].

Из этих замечаний Мингея может легко сложиться впечатление, что мелкие фермеры продолжали процветать вплоть до XIX в., составляя большую часть деревенского населения, где-то от «почти половины» до «62%». Эта трудность отчасти появляется как следствие особенностей терминологии. Поскольку Мингей напечатал статью в английском научном периодическом издании, он мог позволить себе не указывать на то,

что в английском словоупотреблении слово «фермер» обычно относится к арендатору, который обрабатывает свой участок при помощи либо без помощи наемного труда. В более редких случаях этот термин относится к человеку, который владеет обрабатываемой землей. Поэтому термин «фермер» сам по себе уже исключает из рассмотрения группы людей, которые играли решающую роль в деревенской жизни, а именно землевладельцев, стоявших наверху социальной лестницы, и сельскохозяйственных рабочих, стоявших у ее основания. Тем не менее вспомнить про английское словоупотребление недостаточно для того, чтобы поставить замечания Мингея в должную перспективу. Мы хотим как можно лучше разобраться в том, какова была ситуация, а это означает необходимость включить в нашу картину английского общества не только мелких фермеров, но и других людей. Как только это делается, впечатление, производимое данными Мингея, меняется радикально. Мелкие фермеры и мелкие фермы могли сохраниться. Но к XIX в. их социальное окружение изменилось настолько, что вести речь об их сохранении без пояснений просто бессмысленно, если не откровенно ошибочно. Английское деревенское общество стало по большей части состоять из небольшого числа землевладельцев и огромного числа почти безземельных рабочих, т.е. мелкое фермерство стало маргинальным явлением.

Прежде чем обратиться к самим цифрам, я хотел бы привести аналогию, которая прояснит характер моего возражения. Рассмотрим количество поселений различного типа, которые можно обнаружить в различные моменты времени на участке земли размером с остров Манхэттен, который в начале века представляет собой группу фермерских хозяйств, а заканчивает век в качестве столицы, украшенной небоскребами из стекла и бетона. Вполне вероятно, что общее число небольших домов (и даже деревянных) могло возрасти, в то время как алчные спекулянты здесь и там сносили с земли целые поселки из деревянных лачуг для того, чтобы возводить небоскребы. В этом случае делать акцент на сохранении небольших домов было бы совершенно ошибочно, поскольку эта позиция упускает из виду намного более значительные изменения.

Теперь обратимся к цифрам. К 1831 г., когда была проведена первая перепись, на результаты которой можно более или менее полагаться, в Великобритании жили примерно 961 тыс. семей, занятых сельским хозяйством. Из этого числа:

- I. 144 600 были фермерские семьи арендаторов, использовавших наемный труд.
- II. 130 500 были семьи арендаторов, которые не использовали наемный труд и могли закономерно считаться мелкими фермерами.
- III. 686 000 были семьи сельскохозяйственных рабочих [Great Britain., 1833, p. ix].

Замечание Мингея о том, что в 1831 г. почти половина фермеров использовала лишь труд своей семьи, очевидно, относится к тому факту, что группа II почти равновелика группе I и при этом они обе представляют фермеров. Это замечание верное. Однако группа II представляет лишь около *одной седьмой* общего числа домохозяйств, занятых в сельском хозяйстве. На мой взгляд, этот факт предлагает намного более ясную картину того, к чему на самом деле сводится сохранение — если можно вести речь о сохранении — мелких фермеров.

То же самое критическое замечание применимо и к его комментариям по поводу данных из ценса 1851 г. К этому времени в Англии, Шотландии и Уэльсе было немногим меньше 2,4 млн человек, поддерживавших экономические и социальные связи с деревней. Они делились примерно следующим образом:

А. Около 35 тыс. человек были землевладельцами. Предполагается, что к этой категории относились титулованная аристократия и члены все еще влиятельного сословия джентри.

Б. Около 306 тыс. человек были фермерами (и животноводами, которых насчитывалось всего около 3 тыс. человек). По-видимому, фермеры занимали львиную долю обрабатываемой земли, которую они брали в аренду у крупных землевладельцев, и обрабатывали ее в большинстве случаев при помощи наемной силы либо силами своей семьи.

В. Около 1461 тыс. человек выполняли ручные сельскохозяйственные работы, в основном полевые. (Все цифры округлены до тысячи.)

Остальные лица (не включенные в таблицу) относились к разным категориям, включая жен, детей и других родственников фермеров [Great Britain..., 1953, p. xci, c]. Мингей заимствует эти данные у Клефема и при рассмотрении переписи 1851 г. замечает, как указано выше, что 62% арендаторов, занимавших более 5 акров земли, владели менее чем 100 акрами земли. Однако данные Клефема относятся *только* к группе Б. Он не рассматривает две другие группы, А и В. Клефем прямо говорит об этом [Clapham, 1950, vol. 2, p. 263–265]. При этом если не обратиться к самим данным переписи, можно не осознать, что означают эти ограничения. И, конечно, мне неизвестно, может ли быть причиной неверного впечатления, которое производят замечания Мингея, отсутствие анализа исходных данных.

В завершение необходимо повторить, что эти статистические данные являются всего лишь грубыми оценками. Приведенные проценты нельзя воспринимать безоговорочно. Но эти статистические данные совершенно согласуются со старым тезисом о том, что социальные изменения

XVIII в. лишили мелкого фермера значимой роли в английском социальном ландшафте.

Третье и последнее исследование, которое я хочу рассмотреть, относится к числу старых — это статистическая интерпретация Грира влияния террора на Французскую революцию. По своему открытому отрицанию значимости классового конфликта тезисы этой работы очень напоминают анализ состава Долгого парламента у Брантона и Пеннингтона. В своем исследовании социального состава жертв террора Грир указывает, что 84% казненных принадлежали к третьему сословию. На этом основании он делает вывод, что «раскол во французском обществе был перпендикулярным, а не горизонтальным. Террор был внутриклассовой, а не межклассовой войной» [Greer, 1935, p. 97–98]³. Этот вывод привлек к себе большое внимание, и на первый взгляд он откровенно противоречит всем социологическим интерпретациям. Именно такого рода «свидетельства» заставили некоторых ученых считать устаревшими работы Матье и других историков. В лучших научных традициях сам Грир приводит достаточно данных для того, чтобы разрешить этот парадокс и отменить этот вывод.

Если сосредоточить наше внимание на низшем слое третьего сословия, на рабочем классе и крестьянах, выходцы из которых вместе составили свыше 79% всех жертв, можно спросить, когда и почему их постигла такая страшная судьба. Ответ очевиден: подавляющее большинство из них стали жертвами революционных репрессий против контрреволюционных выступлений в Вандее и Лионе. Хотя статистические данные однозначно подтверждают это заключение, не имеет большого смысла приводить их здесь, поскольку они — не по вине Грира — далеки от полноты. Так, в них не отражены ни жертвы одного из самых драматических эпизодов контрреволюции в Вандее — около 2 тыс. человек, погибших в холодных водах Луары, ни жертвы массированного обстрела Тулона числом до 800 человек [Ibid., p. 35–37, 115, 165 (table 8)].

Таким образом, во французском обществе существовал раскол между революционерами и контрреволюционерами. Был ли он перпендикулярным? Как Грир ясно показывает, у контрреволюционеров был географически ограниченный базис, социальная структура которого отличалась от остальной Франции. Это не была война крестьян с крестьянами и буржуа против буржуа, охватившая всю Францию. Конечно, на противоположных сторонах сражались представители почти одного и

³ Следует напомнить, что казненные составляли меньшинство жертв и что о других нет никакой информации. Нет необходимости поднимать вопрос о том, можно ли привлечь подобную информацию для модификации тезиса Грира, потому что соответствующие проблемы можно рассмотреть в рамках установленных фактов.

того же социального слоя. Но они сражались за противоположные социальные идеалы, за реставрацию старого порядка и за его упразднение. Победа той или иной стороны означала утверждение или отмену классовых привилегий. Уже на этих основаниях кажется невозможным отрицать, что террор был инструментом классовой борьбы, по крайней мере в своих существенных очертаниях.

Есть также общие причины для заключения, что в любом силовом конфликте социальный состав жертв *сам по себе* не проясняет социального и политического характера борьбы. Предположим, что в какой-то латиноамериканской стране, управляемой богатыми помещиками и несколькими капиталистами, происходит революция. Предположим далее, что костяк армии составляют крестьянские рекруты и что одно из армейских подразделений переходит на сторону восставших, которые ставят своей целью свергнуть правительство и установить коммунистический режим. После нескольких ожесточенных сражений статистик несомненно обнаружит, что жертвами с обеих сторон оказались по большей части крестьяне. Очевидной ошибкой было бы заключить отсюда, что основной раскол в этом случае был вертикальным, и отрицать, что решающий вклад в политическое противостояние внесла классовая борьба. В то же время если восставшие не выдвигают никаких социальных требований и просто хотят заменить одно правительство помещиков и капиталистов другим, то можно утверждать, что существует перпендикулярный раскол в обществе. Одним словом, важно не только то, кто сражается, но и то, за что они сражаются. Это затрагивает более общие проблемы, к рассмотрению которых можно теперь перейти.

До сих пор обсуждение ограничивалось рамками статистических данных. Однако есть некоторые общие темы в статистической критике, которые поднимают вопросы, выходящие за пределы статистики. Для того чтобы выделить эти моменты, я позволю себе переформулировать общую тенденцию вышерассмотренных аргументов. Неявным образом в центре этих рассуждений оказывается следующее: с помощью подсчетов можно показать, что в том, что представляется великими революциями против репрессивных режимов, на самом деле почти не содержится следов выступления против угнетателей. Между двумя сторонами конфликта в революциях в Англии и Франции нет никаких важных различий. Аналогично с помощью подсчетов можно показать, что в том, что представляется революционной социальной трансформацией, произведенной репрессивным высшим классом, — в английском движении оградиваний — на самом деле было не так уж много угнетения. Сословие, принесенное в жертву, развивалось и процветало. Поэтому радикальная традиция в целом преисполнена сентиментальной чепухи.

Довольно вероятно, что эта формулировка искажает намерения рассматриваемых авторов, хотя такой вывод из их рассуждений напрашивается естественным образом. Как бы то ни было, этот тип аргументации существует и нуждается в анализе. Отчасти ответ на их тезис должен последовать на их собственных условиях. Я уже попытался показать, что статистика не дает подобного результата. Теперь я хотел бы перейти к другой проблеме, высказав предположение, что, несмотря на то что статистика проливает яркий свет на этот и другие тезисы, может возникать ситуация, где количественные методы становятся неприменимыми, где статистические подсчеты оказываются не той процедурой, которую следует использовать. При рассмотрении качественных переходов от одного типа социальной организации к другому, например от феодализма к промышленному капитализму, может существовать верхний предел полезности статистических методов.

Лорду Кельвину приписывают замечание, что все существующее существует количественно. Но этот афоризм не означает, что все существующее можно измерить одной меркой или что все различия сводятся к количественным. Насколько мне известно, статистики не делают таких заявлений; не делают настолько общих заявлений и математики. До некоторой степени изменения в социальной структуре действительно находят свое отражение в статистических измерениях. Например, колебания численности людей различных профессий в зависимости от времени многое говорят об изменениях в социальной структуре. Но если рассматривается длительный период времени или изменения в социальной структуре слишком явные, то возникают сложности с измерительным инструментом⁴. Одна и та же пропорция деревенского и городского населения может иметь разное значение в двух разных обществах, например если одно из них — это довоенный Юг США, а другое — докоммерческое общество. Опять-таки до определенного момента статистические исследования могут справляться с этими сложностями, предлагая ясные определения своих категорий. Тем не менее могут быть верхние пределы для подобных манипуляций, которые затрагивают принципиальные вещи. Подсчеты с необходимостью означают игнорирование всех различий за исключением того единственного, которое становится предметом измерения. Это требует редукции данных к единообразным элемен-

⁴ Ради простоты я опускаю изложение проблемы получения надежных статистических данных. Эта проблема очень серьезная. На мой взгляд, каждому, кто хочет опереться на статистическую информацию, стоит тщательно ознакомиться с такими изданиями, как: [Morgenstern, 1963], где общественные сложности выявляются посредством прогрессивных методов сбора статистических данных, а также: [Thorner, Thorner, 1962, ch. 13], где они выявляются на примере отсталой страны.

там. Люди распределяются в статистические группы по возрасту, полу, семейному положению и множеству других критериев. Необходимость подсчета, на мой взгляд, рано или поздно заставляет пренебречь структурными различиями. Чем больше определений вводит исследователь, чтобы отслеживать структурные изменения, тем меньшими и менее полезными становятся статистические группы, с которыми он работает. В конечном счете размеры различных групп являются следствием структурных изменений. Но они не сами изменения.

Структурные изменения — это качественные перемены в отношениях между людьми. Они касаются, например, различий между тем, чтобы владеть собственностью и производить продукцию с помощью пары примитивных орудий и пары собственных рук, и тем, чтобы не владеть собственностью, быть наемным рабочим и производить продукцию с помощью сложных машин. Говоря нейтральными и абстрактными терминами, это изменения в формах социальных моделей. Различия в этих формах и моделях, на мой взгляд, не сводимы к количественным, поскольку они несоизмеримы⁵. Однако именно эти различия наиболее важны людям. Именно эти изменения порождали наиболее жестокие конфликты и великие исторические проблемы.

Но если даже статистическим методам свойственны внутренние ограничения, можно ли описать и объяснить ими эти качественные изменения объективным образом? Я думаю, что в принципе это возможно, хотя пробелы в фактическом материале и человеческие недостатки, свойственные историкам, означают, что объективность остается не более чем никогда не достижимым идеалом. Объективность подразумевает веру в истину с маленькой буквы «и» и представление о том, что общественные события произошли так, как они произошли, по причинам, которые можно установить. Поскольку это представление может привести к оценкам, довольно отличающимся от господствующих консервативных взглядов, а также расходящимся с некоторыми разновидностями радикальной традиции, я попытаюсь вкратце очертить его последствия.

Существует почтенная интеллектуальная традиция, которая в принципе отрицает возможность объективности. Это отрицание, похоже, основывается на смешении причин исторических событий с их последствиями или значением. Причины Гражданской войны в Америке уже

⁵ См. в связи с этим: [Whitehead, 1938, p. 195]: «Таким образом, кроме всех количественных проблем, существуют проблемы моделей, которые являются существенными для понимания природы. Без предварительно принятых моделей числа ничего не решают». К оговорке Уайтхеда о методах естественных наук и математики следует отнестись со всей серьезностью, поскольку в отличие от многих других критиков он прекрасно знал то, о чем говорил.

долго оказывали свое влияние к тому моменту, когда прогремел первый выстрел в форте Самтер. Мнения историков об этих причинах никак не влияют на то, чем в действительности были эти причины. Совсем другое дело — последствия. Они существуют в наше время и будут существовать, пока продолжается человеческая история. Вторая часть тезиса о вечной неопределенности истории кажется мне совершенно законной. Высказывания историков о причинах Гражданской войны сегодня обладают полемической ценностью независимо от намерений их авторов. Именно в этом смысле беспристрастность невозможна и иллюзорна. Осознает историк это или нет, но для развития своего аргумента ему приходится принимать определенные принципы отбора и упорядочивания фактов. То же самое верно для социолога, изучающего современное положение дел. В силу того, что эти принципы включают или исключают, подчеркивают или сглаживают, они имеют политические и моральные последствия.

Поэтому они неизбежно являются моральными принципами. Борьбы невозможно избежать. Сама попытка избежать противостояния или поиска беспристрастной точки зрения означает приверженность к некоторой разновидности аполитической псевдообъективности, которая в итоге поддерживает *status quo*.

Утверждение, что нейтральность невозможна, является достаточно веским и во всяком случае для меня убедительным. Но я не думаю, что это ведет к отказу от возможности объективного социального и исторического анализа. Различные точки зрения на один и тот же набор событий должны вести к взаимодополняющим и адекватным интерпретациям, а не к взаимным противоречиям. Кроме того, принципиальный отказ от объективной истины распахивает дверь для худших разновидностей интеллектуальной нечестности. В грубой форме ее можно представить таким образом: поскольку нейтральность невозможна, я встану на сторону слабого и напишу историю, которая послужит интересам слабого и в этом смысле поможет достижению «высшей Истины». Говоря по-простому, это обман. Независимо от своих моральных допущений и предпочтений каждый исследователь человеческого общества рано или поздно наталкивается на очень неприятные исторические факты. В этом случае он обязан отнестись к ним с максимальной честностью.

Градации истины с большой буквы «И», на мой взгляд, по праву возбуждают раздраженные подозрения. Но это не означает, что объективность и истина с маленькой буквы «и» приводят к комфортной самоуспокоенности. Объективность — это не то же самое, что и обыкновенное здравомыслие. Прославление добродетелей нашего собственного общества, которое оставляет без внимания его отвратительные и жестокие черты, которое не способно ответить на вопрос о связи между его привлекатель-

СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОКИ ДИКТАТУРЫ И ДЕМОКРАТИИ

ными и отвратительными чертами, остается апологией, даже если оно выражено в самых умеренных академических тонах. Существует сильная тенденция к тому, чтобы воспринимать умеренные высказывания в пользу status quo как «объективные», а все прочее — как «риторику».

Этот тип предубеждений, это искажение сути объективности, — одно из самых распространенных явлений на современном Западе. При этом объективность смешивается с тривиальностью и бессмысленностью. По вышеуказанным причинам любая простая и прямолинейная истина о политических институтах или событиях непременно имеет polemические последствия. Она нанесет ущерб интересам отдельных групп. В любом обществе именно господствующим группам приходится больше всего утаивать правду о том, как функционирует общество. Поэтому подлинный анализ часто обречен на то, чтобы иметь критическое звучание, выглядеть скорее как разоблачение, чем как объективное высказывание в обычном смысле использования этого термина. (Это верно и по отношению к коммунистическим странам, если они когда-нибудь придут к тому, чтобы разрешить публикацию сравнительно честных описаний собственного прошлого.) Для всех исследователей человеческого общества сочувствие к жертвам исторического процесса и скептицизм в отношении заявлений победителей обеспечивают достаточную защиту против того, чтобы попасть под влияние господствующей идеологии. Ученый, который пытается быть объективным, нуждается в том, чтобы эти чувства были частью его обычного рабочего инструментария.

ЛИТЕРАТУРА

- Administration and Economic Development in India / ed. by R. Braibanti, J. Spengler. Durham, 1963.
- Advielle V.* Histoire de Gracchus Babeuf et du Babouvisme: 2 vols. Paris, 1884.
- Agrarian China: Selected Source Materials from Chinese Authors. L., 1939.
- Allen G.C.* A Short Economic History of Modern Japan: 1867–1937. L., 1946; 1962.
- Allen G.C., Donnithorne A.G.* Western Enterprise in Far Eastern Commercial Development. L., 1954.
- Annuaire internationale de statistique agricole, 1937–1938. Issued by the International Institute of Agriculture. Rome, 1938.
- Anstey V.* The Economic Development of India. L., 1952 [1929].
- Aptheker H.* American Negro Slave Revolts. N. Y., 1943.
- Asakawa K.* Notes on Village Government in Japan. Part 1 // Journal of the American Oriental Society. 1910. Vol. 30. P. 259–300.
- Asakawa K.* Notes on Village Government in Japan. Part 2 // Journal of the American Oriental Society. 1911. Vol. 31. P. 151–216.
- Ashton T.S.* An Economic History of England: The Eighteenth Century. L., 1955.
- Aubin G.* Zur Geschichte des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses in Ostpreußen von der Gründung des Ordensstaates his zur Steinschen Reform. Leipzig, 1911.
- Augé-Laribe M.* La Politique agricole de la France de 1880 à 1949. Paris, 1950.
- Aydelotte W.O.* The Business Interests of the Gentry in the Parliament of 1841–1847 // *Clark G.* The Making of Victorian England. L., 1962. P. 290–305.
- Baden-Powell B.H.* Land Systems of British India: 3 vols. Oxford, 1892.
- Baden-Powell B.H.* The Indian Village Community. L., 1896.
- Bailey F.G.* Caste and the Economic Frontier. Manchester, 1959.
- Balazs E.* Chinese Civilization and Bureaucracy: Variations on a Theme / selections from writings; transl. by H.M. Wright, ed. by A.F. Wright. New Haven, 1964.
- Balazs E.* Les aspects significatifs de la société chinoise // *Etudes Asiatiques*. 1952. Vol. 6. P. 77–87.
- Banfield E.C.* The Moral Basis of a Backward Society. Glencoe, 1958.

- Barber E.G.* The Bourgeoisie in Eighteenth Century France. Princeton, 1955.
- Beal E.G., Jr.* The Origin of Likin (1853–1864). Cambridge (MA), 1958.
- Beale H.K.* The Critical Year: A Study of Andrew Johnson and the Reconstruction. N. Y., 1958 [1930].
- Beale H.K.* What Historians Have Said About the Causes of the Civil War // Theory and Practice in Historical Study / A Report of the Committee on Historiography; Social Science Research Council. N. Y., 1946. P. 53–102.
- Beals A.R.* Gopalpur: A South Indian Village. N. Y., 1963.
- Beard Ch.A., Beard M.R.* The Rise of American Civilization: 2 vols in one. N. Y., 1940.
- Beardsley R.K. et al.* Village Japan. Chicago, 1959.
- Beasley W.G.* Feudal Revenue in Japan at the Time of the Meiji Restoration // Journal of Asian Studies. 1960. Vol. 19. No. 3. P. 255–271.
- Bellah R.N.* Tokugawa Religion: The Values of Pre-Industrial Japan. Glencoe, 1957.
- Benedict R.* The Chrysanthemum and the Sword. N. Y., 1946.
- Bennett H.S.* Life on the English Manor: A Study of Peasant Conditions, 1150–1400. Cambridge, 1956 [1937].
- Berkov R.* Strong Man of China: The Story of Chiang Kai-shek. Cambridge (MA), 1938.
- Bland J.O.P., Backhouse R.* China Under the Empress Dowager. L., 1911.
- Bloch M.* La lutte pour l'individualisme agraire dans la France du XVIII siècle // Annales d'histoire économique et sociale. 1930. Vol. 2. No. 7. P. 329; No 8. P. 511–556.
- Bloch M.* Les Caractères originaux de l'histoire rurale française: 2 vols. Paris, 1955–1956 (*Блок М.* Характерные черты французской аграрной истории / пер. с фр. М., 1957).
- Bloch M.* Sur le passé de la noblesse française; quelques jalons de recherche // Annales d'histoire économique et sociale. 1936. Vol. 8. July. P. 366–377.
- Blum J.* Lord and Peasant in Russia: From the Ninth to the Nineteenth Century. Princeton, 1961.
- Blunt E.A.R.* Caste System of Northern India. L., 1931.
- Blunt E.A.R.* Economic Aspect of the Caste System // Economic Problems... / ed. by R. Mukerjee. 1939. Vol. 1. P. 63–81.
- Bois P.* Paysans de l'Ouest. Le Mans, 1960.
- Borton H.* Japan Since 1931: Its Political and Social Developments. N. Y., 1940.
- Borton H.* Peasant Uprisings in Japan of the Tokugawa Period. [New York], 1937.

- Bowden P.J.* The Wool Trade in Tudor and Stuart England. L., 1962.
- Bracher K.D., Sauer W., Schulz G.* Die nationalsozialistische Machtergreifung. Köln; Opladen, 1960.
- Brandt C.* Stalin's Failure in China 1924–1927. Cambridge (MA), 1958.
- Brandt C., Schwartz B., Fairbank J.K.* A Documentary History of Chinese Communism. Cambridge (MA), 1952.
- Brayne F.L.* The Remaking of Village India. Oxford, 1929.
- Brecher M.* Nehru: A Political Biography. Oxford, 1959.
- Briggs A.* The Age of Improvement. L., 1959.
- Brown D.M.* Nationalism in Japan. Berkeley, 1955.
- Brown D.M.* Traditions of Leadership // Leadership and Political Institutions in India / ed. by R.L. Park, I. Tinker. Princeton, 1959. P. 1–17.
- Brunton D., Pennington D.H.* Members of the Long Parliament. L., 1954.
- Buchanan F.* A Journey from Madras through the Countries of Mysore, Canara, and Malabar...: 3 vols. L., 1807.
- Buchanan F.* An Account of the District of Purnea in 1809–1810. Patna, 1928.
- Buchanan F.* An Account of the District of Shahabad in 1809–1810. Patna, 1934.
- Buchanan F.* An Account of the District of Bhagalpur in 1810–1811. Patna, 1939.
- Buck J.L.* Land Utilization in China. Chicago, 1937.
- Cam H.M.* The Decline and Fall of English Feudalism // History. New Series. 1940. Vol. 25. No. 99. P. 216–233.
- Cambridge History of India: 6 vols. Cambridge, 1922–1937.
- Cameron M.R.* The Reform Movement in China 1898–1912. Stanford, 1931.
- Campbell M.* The English Yeoman under Elizabeth and the Early Stuarts. L., 1960.
- Campbell Sir G.* Modern India. L., 1852.
- Carre H.* La Noblesse de France et l'opinion publique au XVIII siècle. Paris, 1920.
- Carsten F.L.* Der Bauernkrieg in Ostpreußen 1525 // International Review for Social History. 1938. Vol. 3. P. 398–409.
- Carsten F.L.* The Origins of Prussia. L., 1954; repr. 1958.
- Cecil Lord D.* Melbourne. N. Y., 1954.
- Census of Great Britain in 1851: An Analytical Index. L., 1854.
- Chên J.* Mao and the Chinese Revolution. L., 1965.
- Ch'ü T'ung-tsu.* Local Government in China under the Ch'ing. Cambridge (MA), 1962.

- Chambers J.D.* Enclosure and Labour Supply in the Industrial Revolution // *Economic History Review*. 2nd Series. 1953. Vol. 5. No. 3. P. 319–343.
- Chang Chung-li.* The Chinese Gentry. Seattle, 1955.
- Chang Chung-li.* The Income of the Chinese Gentry. Seattle, 1962.
- Chartist Studies* / ed. by A. Briggs. L., 1962.
- Chattopadhyaya H.* The Sepoy Mutiny 1857: A Social Study and Analysis. Calcutta, 1957.
- Chaudhuri S.B.* Civil Disturbances During the British Rule in India 1765–1857. Calcutta, 1955.
- Chaudhuri S.B.* Civil Rebellion in the Indian Mutinies 1857–1859. Calcutta, 1957.
- Chiang Kai-shek.* China's Destiny / authorized transl. by Wang Chung-hui. N. Y., 1947.
- Chiang Siang-tseh.* The Nien Rebellion. Seattle, 1954.
- China-United States Agricultural Mission. U.S. Office of Foreign Agricultural Relations. Report No. 2. Washington, 1947.
- Clapham J.H.* An Economic History of Modern Britain: 3 vols, repr.: Cambridge, 1950–1952.
- Clark G.K.* The Making of Victorian England. L., 1962.
- Cobb R.* Les Armees revolutionnaires: 2 vols. Paris, 1961–1963.
- Cobban A.* The Parlements of France in the Eighteenth Century // *History*. New Series. 1950. Vol. 35. P. 64–80.
- Cobban A.* The Social Interpretation of the French Revolution. Cambridge, 1964.
- Cochran Th.C.* Did the Civil War Retard Industrialization? // *The Economic Impact of the American Civil War* / ed. by R. Andreano. Cambridge (MA), 1967. P. 148–160.
- Cohen J.E.* Japan's Economy in War and Reconstruction. Minneapolis, 1949.
- Cohn B.S.* The Initial British Impact on India // *Journal of Asian Studies*. 1960. Vol. 14. No. 4. P. 424–431.
- Cole G.D.H., Postgate R.* The British People, 1746–1946. N. Y., 1947.
- Colebrooke Sir H.Th.* Remarks on the Husbandry and Internal Commerce of Bengal. Calcutta, 1804.
- Colegrove K.W.* Militarism in Japan. Boston, 1936.
- Conrad A.H., Meyer J.R.* The Economics of Slavery in the Ante Bellum South // *Journal of Political Economy*. 1958. Vol. 66. No. 2. P. 95–130.
- Cooper J.P.* The Counting of Manors // *Economic History Review*. 2nd Series. 1956. Vol. 8. No. 3. P. 377–389.
- Courant M.* Les clans japonais sous les Tokougawa // *Conferences faites au Musie Guimet*. Paris, 1903–1905. Vol. 15. Part 1.

- Craig A.M.* Chōshū in the Meiji Restoration. Cambridge (MA), 1961.
- Craig A.M.* The Restoration Movement in Chōshū // *Journal of Asian Studies*. 1959. Vol. 18. No. 2. P. 187–197.
- Craven A.O.* The Coming of the Civil War. Chicago, 1957.
- Craven A.O.* The Growth of Southern Nationalism. Baton Rouge, 1953.
- Crisis in Europe 1560–1660: Essays from PAST AND PRESENT / ed. by T. Aston. L., 1965.
- Crook D., Crook I.* Revolution in a Chinese Village: Ten Mile Inn. L., 1959.
- Crowley J.B.* Japanese Army Factionalism in the Early 1930's // *Journal of Asian Studies*. 1962. Vol. 21. No. 3. P. 309–326.
- Current R.N.* Old Thad Stevens: A Story of Ambition. Madison, 1942.
- Darling Sir M.* The Punjab Peasant in Prosperity and Debt. Oxford, 1947.
- Davies E.* The Small Landowner, 1780–1832, in the Light of the Land Tax Assessments // *Essays in Economic History* / ed. by E.M. Carus-Wilson. L., 1954–1962. P. 270–294.
- Davis K.* The Population of India and Pakistan. Princeton, 1951.
- Davis L.E.* et al. American Economic History. Homewood, 1961.
- Deane Ph., Cole W.A.* British Economic Growth 1688–1959: Trends and Structure. Cambridge, 1962.
- DeGroot J.J.M.* Sectarianism and Religious Persecutions in China: 2 vols. Amsterdam, 1903–1904.
- Dey S.K.* Community Projects in Action in India // *Leadership and Political Institutions in India* / ed. by R.L. Park, I. Tinker. Princeton, 1959. P. 347–357.
- Die deutsche Landwirtschaft unter volks- und weltwirtschaftlichen Gesichtspunkten dargestellt... / ed. by M. Sering // *Berichte über Landwirtschaft*. Sonderheft 50. Neue Folge. Berlin, 1932.
- Dittmann W.* Das politische Deutschland vor Hitler. Zürich, 1945.
- Dommanget M.* Pages choisies de Babeuf. Paris, 1935.
- Dore R.P.* Agricultural Improvement in Japan: 1870–1900 // *Economic Development and Cultural Change*. 1960. Vol. 9. No. 1. Part 2. P. 69–91.
- Dore R.P.* Land Reform in Japan. Oxford, 1959.
- Dore R.P.* The Meiji Landlord: Good or Bad? // *Journal of Asian Studies*. 1959a. Vol. 18. No. 3. P. 343–355.
- Dore R.P., Sheldon C.D.* Letters // *Journal of Asian Studies*. 1959. Vol. 18. No. 4. P. 507–508; 1960. Vol. 19. No. 2. P. 238–239.
- Dube S.C.* India's Changing Villages. Ithaca, 1958.
- Dube S.C.* Indian Village. L., 1955.
- Dubois (Abbé) J.A.* Hindu Manners, Customs and Ceremonies: 2 vols / transl. and ed. by H.K. Beauchamp. Oxford, 1897.

- Duby G.* L'Economie rurale et la vie des campagnes dans l'occident medieval: 2 vols. Paris, 1962.
- Duby G.* The Folklore of Royalism // Times Literary Supplement. 1962. September 7.
- Dumont R.* Terres vivantes: Voyages d'un agronome autour du monde. Paris, 1961.
- Dupuis J.* Madras et le Nord du Coromandel. Paris, 1960.
- Dutt R.* The Economic History of India in the Victorian Age. L., 1950 [1903].
- Dutt R.* The Economic History of India Under Early British Rule. L., 1950 [1901].
- Eberhard W.* Chinas Geschichte. Bern, 1948.
- Eberhard W.* Conquerors and Rulers: Social Forces in Medieval China. Leiden, 1952.
- Economic Problems of Modern India / ed. by R. Mukerjee. L., 1939. Vol. 1.
- Elkins S.M.* Slavery: A Problem in American Institutional and Intellectual Life. Chicago, 1959; N. Y., 1963.
- Embree J.F.* Suye Mum: A Japanese Village. Chicago, 1939.
- Epstein T.S.* Economic Development and Social Change in South India. Manchester, 1962.
- Essays in Economic History. Vol. 1, 2 / ed. by E.M. Carus-Wilson. L., 1954–1962.
- European Nobility in the Eighteenth Century: Studies of the Nobilities of the Major European States in the Pre-Reform Era. L., 1953.
- Everitt A.M.* The County Committee of Kent in the Civil War // Occasional Papers. University College of Leicester, Department of English Local History. 1957. No. 9.
- Far Eastern Economic Review (Hongkong). Issues of 1963 and 1960–1964 Yearbooks.
- Fei Hsiao-tung, Chang Chih-i.* Earthbound China: A Study of Rural Economy in Yunnan. L., 1948.
- Fei Hsiao-tung.* Peasant Life in China: A Field Study of Country Life in the Yangtze Valley. N. Y., 1946.
- Feudalism in History / ed. by R. Coulborn. Princeton, 1956.
- Feuerwerker A.* China's Early Industrialization: Sheng Hsuan-huai (1844–1916) and Mandarin Enterprise. Cambridge (MA), 1958.
- Feuerwerker A.* China's History in Marxian Dress // American Historical Review. 1961. Vol. 46. No. 2. P. 323–353.
- Firth C.H.* Cromwell's Army. L., 1962 [1921].
- Fitzgerald C.P.* Revolution in China. L., 1952.

- Foner Ph.S.* Business and Slavery: The New York Merchants and the Irrepressible Conflict. Chapel Hill, 1941.
- Ford F.L.* Robe and Sword: The Regrouping of the French Aristocracy after Louis XIV. Cambridge (MA), 1953.
- Foreign Agriculture, weekly publication of the U.S. Department of Agriculture. Washington, D.C.
- Forster R.* The Nobility of Toulouse in the Eighteenth Century. Baltimore, 1960.
- Forster R.* The Noble Wine Producers of the Bordelais in the Eighteenth Century // Economic History Review. 2nd Series. 1961. Vol. 14. No. 1. P. 18–33.
- Forster R.* The Provincial Noble: A Reappraisal // American Historical Review. 1963. Vol. 68. No. 3. P. 681–691.
- Franke W.* The Reform and Abolition of the Traditional Chinese Examination System. Cambridge (MA), 1960.
- Franz G.* Der deutsche Bauernkrieg. Darmstadt, 1956.
- Freedman M.* Book review of Chung-I Chang, The Chinese Gentry // Pacific Affairs. 1956. Vol. 29. No. 1. P. 78–80.
- Fried M.H.* The Fabric of Chinese Society: A Study of the Social Life of a Chinese County Seat. N. Y., 1953.
- Fukuda T.* Die Gesellschaftliche und Wirtschaftliche Entwicklung in Japan. Stuttgart, 1900.
- Gadgil D.R.* Notes on the Rise of the Business Communities in India. A Preliminary Memorandum Not for Publication; by Members of the Staff of the Gokhale Institute of Politics and Economics, Poona / Introd. by D.R. Gadgil. N. Y., 1951.
- Gadgil D.R.* The Industrial Evolution of India in Recent Times. Oxford, 1942 [1924].
- Gallagher J., Robinson R.* The Imperialism of Free Trade // Economic History Review. 2nd Series. 1953. Vol. 6. No. 1. P. 1–15.
- Gamble S.D.* Ting Hsien: A North China Rural Community. N. Y., 1954.
- Gandhi M.K.* Economic and Industrial Life and Relations: 3 vols / compiled and ed. by V.B. Kher. Ahmedabad, 1957.
- Gandhi M.K.* Speeches and Writings of Mahatma Gandhi. Madras, 1933.
- Gates P.W.* The Farmer's Age: Agriculture 1815–1860. N. Y., 1962.
- Gerschenkron A.* Bread and Democracy in Germany. Berkeley, 1943.
- Gittermann V.* Geschichte Russlands: 3 vols. Zürich, 1944–1949.
- Göhring M.* Die Ämterkäufllichkeit im Ancien Régime. Berlin, 1935.
- Göhring M.* Die Frage der Feudalität in Frankreich Ende des Ancien Régime und in der französischen Revolution (bis 17 Juli 1793). Berlin, 1934.
- Gonner E.C.K.* Common Land and Enclosure. L., 1912.

- Gopal S.* The Permanent Settlement in Bengal and Its Results. L., 1949.
- Goubert P.* Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. Paris, 1960.
- Gough K.* The Social Structure of a Tanjore Village // Village India... / ed. by M. McKim. Chicago, 1955. P. 36–52.
- Gray L.C.* History of Agriculture in Southern United States to 1860. N. Y., 1941.
- Great Britain, Census of 1831, Parliamentary Papers, Session: 29 January — 29 August 1833. Vol. 36. Accounts and Papers. Vol. 12.
- Great Britain, Census of 1851, Parliamentary Papers, Session: 4 November 1852 — 20 August 1853. Accounts and Papers. Vol. 32. Part 1.
- Great Britain: Indian Famine Commission. Report of the Indian Famine Commission... Presented to Parliament. Parts 1, 2. L., 1880.
- Great Britain: Indian Statutory Commission. Report of the Indian Statutory Commission... Presented by the Secretary of State for the Home Department to Parliament. May 1930. 17 vols. L., 1930.
- Great Britain: Royal Commission on Agriculture in India. Report... Presented to Parliament. June 1928. Abridged. L., 1928.
- Greer D.* The Incidence of the Terror during the French Revolution. Cambridge (MA), 1935.
- Griffiths Sir P.* The British Impact on India. L., 1952.
- Guerin D.* La Lutte de classes sous la première république: 2 vols. Paris, 1946.
- Habakkuk H.J.* English Landownership, 1680–1740 // Economic History Review. 1940. Vol. 10. No. 1. P. 2–17.
- Habib Irfan.* The Agrarian System of Mogul India 1556–1707. L., 1963.
- Hacker L.M.* The Triumph of American Capitalism. N. Y., 1940.
- Halévy E.* A History of the English People in the Nineteenth Century: 6 vols / transl. by E.I. Watkin. L., 1949–1952.
- Hall J.W.* Feudalism in Japan — A Reassessment // Comparative Studies in Society and History. 1962. Vol. 5. No. 1. P. 15–51.
- Hamerow Theodore S.* Restoration, Revolution, Reaction: Economics and Politics in Germany, 1815–1871. Princeton, 1958.
- Hammond J.L., Hammond B.* The Village Labourer 1760–1832. L., 1911.
- Hardacre P.H.* The Royalists during the Puritan Revolution. The Hague, 1956.
- Harootunian H.D.* The Economic Rehabilitation of the Samurai in the Early Meiji Period // Journal of Asian Studies. 1960. Vol. 19. No. 4. P. 433–444.
- Harrison S.* India: The Most Dangerous Decade. Princeton, 1960.
- Heberle R.* Social Movements: An Introduction to Political Sociology. N. Y., 1951.

- Hexter J.H.* Reappraisals in History. Evanston, 1961.
- Hill Ch.* Puritanism and Revolution. L., 1958.
- Hinton H.C.* The Grain Tribute System of China 1848–1911. Cambridge (MA), 1956.
- Hintze O.* Staat und Verfassung: Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Verfassungsgeschichte / Hrsg. von G. Oestreich. Gottingen, 1962.
- Histoire de France illustree depuis les origines jusqu'à la Révolution.* Vol. 7 / ed. by E. Lavissee. Paris, 1911.
- Hitler A.* Mein Kampf. München, 1935.
- Ho Ping-ti.* Studies on the Population of China 1368–1953. Cambridge (MA), 1959.
- Ho Ping-ti.* The Ladder of Success in Imperial China. N. Y., 1962.
- Holcombe A.N.* The Chinese Revolution. Cambridge (MA), 1930.
- Homans G.C.* The Human Group. N. Y., 1950.
- Honjo E.* Social and Economic History of Japan. Kyoto, 1935.
- Hoskins W.G.* The Midland Peasant: The Economic and Social History of a Leicestershire Village. L., 1957.
- Hsiao Kung-chuan.* Rural China: Imperial Control in the Nineteenth Century. Seattle, 1960.
- Hunter N.* Peasantry and Crisis in France. L., 1938.
- Hutton J.H.* Caste in India. Cambridge, 1936.
- Ike N.* The Beginnings of Political Democracy in Japan. Baltimore, 1950.
- India: Agricultural Production Team. Report of India's Food Crisis and Steps to Meet It; Sponsored by the Ford Foundation; Issued by the Ministry of Food and Agriculture and Ministry of Community Development and Cooperation. April 1959a.
- India: Cabinet Secretariat, Central Statistical Organisation // Statistical Abstract, India 1957–1958. New Series. No. 8. New Delhi, 1959b.
- India: Cabinet Secretariat, Indian Statistical Institute, The National Sample Survey. Eighth Round: July 1954 — March 1955. No. 10: First Report on Land Holdings, Rural Sector. Delhi, 1958.
- India: Census 1951. Several volumes, published in the different states, 1953. Vol. 6 (West Bengal, Sikkim, and Chandernagore). Part IA — Report. Delhi, 1953.
- India: Directorate of Economics and Statistics. Studies in Agricultural Economics. III. Third Issue. Delhi, 1960 (containing "Food Statistics in India").
- India: Famine Inquiry Commission. Final Report. Delhi, 1945.
- India: Ministry of Labour, Agricultural Labour Enquiry. Vol. 1: All India. New Delhi, 1954.
- India: Planning Commission. Third Five Year Plan. Delhi, 1961.

Indian National Congress, All-India Congress Committee. Congress Bulletin, January–February, 1959.

Isaacs H.R. Tragedy of the Chinese Revolution. Stanford, 1951.

James M. Social Problems and Policy during the Puritan Revolution 1640–1660. L., 1930.

Jamieson G. et al. Tenure of Land in China and Condition of the Rural Population // Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Shanghai, 1889. Vol. 23. P. 59–174.

Jaures J. Histoire socialiste de la Revolution française / ed. revue par A. Mathiez. Vol. VI: La Gironde. Paris, 1923.

Johnson A.H. The Disappearance of the Small Landowner. Oxford, 1963 [1909].

Johnson Ch.A. Peasant Nationalism and Communist Power: The Emergence of Revolutionary Power 1937–1945. Stanford, 1962.

Kaye J.W. A History of the Sepoy War in India 1857–1858: 3 vols. L., 1864–1876.

Kehr E. Schlachtflottenbau und Parteipolitik 1894–1901. Berlin, 1930.

Kerridge E. The Returns of the Inquisition of Depopulation // English Historical Review. 1955. Vol. 70. No. 275. P. 212–228.

Khan N.A. Resource Mobilization from Agriculture and Economic Development in India // Economic Development and Cultural Change. 1963. Vol. 12. No. 1. P. 42–54.

Klein J. The Mesta: A Study in Spanish Economic History 1273–1836. Cambridge (MA), 1920.

Krieger L. The German Idea of Freedom. Boston, 1957.

La Mazeliere A.R. de. Le Japon, histoire et civilisation.... 8 vols. Paris, 1907–1923.

Labrousse C.E. Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII^e siècle. Paris, 1932.

Labrousse C.E. La Crise de l'économie française à la fin de l'ancien régime et au debut de la Revolution: 2 vols. Paris, 1944. Vol. 1.

Ladejinsky W. Farm Tenancy and Japanese Agriculture // Foreign Agriculture / issued by Bureau of Agricultural Economics, U.S. Department of Agriculture. 1937. Vol. 1. No. 9. P. 425–446.

Lamb H. The Indian Merchant // Traditional India: Structure and Change / ed. by M. Singer. Philadelphia, 1959. P. 25–35.

Lamb J.D.H. Development of the Agrarian Movement and Agrarian Legislation in China 1912–1930. Peiping, 1931.

Lambert R.D. Hindu Communal Groups // Leadership and Political Institutions in India / ed. by R.L. Park, I. Tinker. Princeton, 1959. P. 211–224.

Lang O. Chinese Family and Society. New Haven, 1946.

- Langer W.* Europe's Initial Population Explosion // *American Historical Review*. 1963. Vol. 69. P. 1–17.
- Lattimore O.* The Industrial Impact on China, 1800–1950 // *First International Conference of Economic History*. Stockholm, August 1960. Paris, 1960. P. 103–113.
- Le Partage des biens communaux* / ed. by G. Bourgin. Paris, 1905.
- Leadership and Political Institutions in India* / ed. by R.L. Park, I. Tinker. Princeton, 1959.
- Lee Mabel Ping-hua.* The Economic History of China. N. Y., 1921.
- Lefebvre G.* Etudes sur la Révolution française. Paris, 1954a.
- Lefebvre G.* Questions agraires au temps de la Terreur. La Roche-sur-Yon, 1954b.
- Lefebvre G.* La Grande Peur de 1789. Paris, 1932.
- Lefebvre G.* La Révolution française. Paris, 1957.
- Lefebvre G.* Les Paysans du Nord pendant la Révolution française. Bari, 1959.
- Lévi-Strauss C.* La Pensée sauvage. Paris, 1962.
- Levy H.* Large and Small Holdings. Cambridge, 1911.
- Levy M.J., Jr., Shih Kuo-shen.* The Rise of the Modern Chinese Business Class. Mimeographed, N. Y., 1949.
- Lewis O.* Village Life in Northern India. Urbana, 1958.
- Lhomme J.* La Grande bourgeoisie en pouvoir 1830–1880. Paris, 1960.
- Linebarger P.M.* The China of Chiang K'ai-shek. Boston, 1941.
- Lipson E.* The Economic History of England. Vol. I: The Middle Ages. 7th ed. L., 1937; repr.: L., 1956. Vols. II, III: The Age of Mercantilism. 3rd ed. L., 1943; repr.: L., 1956.
- Liu F.F.* A Military History of Modern China 1924–1949. Princeton, 1956.
- Liu Hui-chen Wang.* Traditional Chinese Clan Rules. Locust Valley, 1959.
- Lockwood W.W.* The Economic Development of Japan. Princeton, 1954.
- Loomis Ch.P., Beegle J.A.* The Spread of German Nazism in Rural Areas // *American Sociological Review*. 1946. Vol. 11. P. 724–734.
- Madras in Maps and Pictures.* Issued by the Director of Information and Publicity. Madras, 1959.
- Majumdar R.C., Raychaudhuri H.C., Datta K.* An Advanced History of India. L., 1950.
- Manning B.* The Nobles, the People, and the Constitution // *Crisis in Europe 1560–1660...* / ed. by Aston. L., 1965. P. 247–269.
- Maruyama Masao.* Thought and Behavior in Modern Japanese Politics. Oxford, 1963.
- Marx K.* Selected Works: 2 vols. / ed. by C.P. Dutt. N. Y., n.d.

- Maspero H., Escarra J.* Les Institutions de la Chine. Paris, 1952.
- Mather F.C.* The Government and the Chartists // *Chartist Studies* / ed. by A. Briggs. L., 1959. P. 372–405.
- Mathiez A.* La Révolution française: 3 vols. 12th ed. Paris, 1954–1955.
- Mathiez A.* La Vie chère et le mouvement social sous la Terreur. Paris, 1927.
- Matsui Shichiro.* Silk Industry // *Encyclopaedia of the Social Sciences*. N. Y., 1937. Vol. 14.
- Mayer A. et al.* Pilot Project, India: The Story of Rural Development at Etawah, Uttar Pradesh. Berkeley, 1958.
- Mayer A.C.* Caste and Kinship in Central India. L., 1960.
- Maynard Sir J.* Russia in Flux: Before October. L., 1946.
- Mellor A.* India Since Partition. L., 1951.
- Metcalf Th.R.* Struggle over Land Tenure in India 1860–1868 // *Journal of Asian Studies*. 1962a. Vol. 21. No. 3. P. 295–308.
- Metcalf Th.R.* The British and the Moneylender in Nineteenth-Century India // *Journal of Modern History*. 1962b. Vol. 34. No. 4. P. 295–307.
- Metcalf Th.R.* The Influence of the Mutiny of 1857 on Land Policy in India // *The Historical Journal*. 1961. Vol. 4. No. 2. P. 152–163.
- Mingay G.E.* English Landed Society in the Eighteenth Century. L., 1963.
- Mingay G.E.* The Land Tax Assessments and the Small Landowner // *Economic History Review*. 2nd Series. 1964. Vol. 17. No. 2. P. 381–388.
- Mingay G.E.* The Size of Farms in the Eighteenth Century // *Economic History Review*. 2nd Series. 1962. Vol. 14. No. 3. P. 469–488.
- Misra B.B.* The Indian Middle Classes. Oxford, 1961.
- Mitra A.* Tax Burden for Indian Agriculture // *Administration and Economic Development in India* / ed. by R. Braibanti, J. Spengler. L., 1963. P. 281–303.
- Moreland W.H., Chatterjee A.C.* A Short History of India. L., 1957.
- Moreland W.H.* From Akbar to Aurangzeb: A Study in Indian Economic History. L., 1923.
- Moreland W.H.* India at the Death of Akbar. L., 1920.
- Moreland W.H.* The Agrarian System of Moslem India. Cambridge, 1929.
- Morgenstern O.* On the Accuracy of Economic Observations. Princeton, 1963.
- Morris M.D.* The Problem of the Peasant Agriculturist in Meiji Japan, 1873–1885 // *Far Eastern Quarterly*. 1956. Vol. 15. No. 3. P. 357–370.
- Morse H.B.* Trade and Administration of the Chinese Empire. L., 1908.
- Murdoch J.* A History of Japan: 3 vols. L., 1925–1926.
- Nabholz H.* Zur Frage nach den Ursachen des Bauernkriegs 1525 // *Ausgewählte Aufsätze zur Wirtschaftsgeschichte*. Zürich, 1954 [1928].

- Nair K.* Blossoms in the Dust. Oxford, 1961.
- Namier Sir L.* England in the Age of the American Revolution. L., 1961.
- Nanda B.R.* Mahatma Gandhi: A Biography. Boston, 1958.
- Nasu Shiroshi.* Aspects of Japanese Agriculture. N. Y., 1941.
- Natarajan L.* Peasant Uprisings in India 1850–1900. Bombay, 1953.
- Neale W.C.* Economic Change in Rural India: Land Tenure and Reform in Uttar Pradesh 1850–1955. New Haven, 1962.
- Nef J.U.* Industry and Government in France and England 1540–1640. Ithaca, 1957 [1940].
- Nevins A.* Ordeal of the Union: 2 vols. N. Y., 1947.
- Nevins A.* The Emergence of Lincoln. Vol. 1: Douglas, Buchanan and Party Chaos 1857–1851. Vol. 2: Prologue to Civil War 1859–1861. N. Y., 1950.
- Nichols R.F.* The Disruption of American Democracy. N. Y., 1948.
- Norman E.H.* Andō Shōeki and the Anatomy of Japanese Feudalism // Transactions of the Asiatic Society of Japan. 3rd Series. Vol. 2. 1949.
- Norman E.H.* Japan's Emergence as a Modern State: Political and Economic Problems of the Meiji Period. N. Y., 1940.
- Norman E.H.* Soldier and Peasant in Japan: The Origins of Conscription. N. Y., 1943.
- North D.C.* The Economic Growth of the United States 1790–1860. Englewood Cliffs, 1961.
- North R.C.* Moscow and the Chinese Communists. Stanford, 1953.
- O'Malley L.S.S.* Popular Hinduism. Cambridge, 1935.
- Ohkawa K., Rosovsky H.* The Role of Agriculture in Modern Japanese Economic Development // Economic Development and Cultural Change. 1960. Vol. 9. No. 1. Part 2. P. 43–67.
- Overstreet G.D., Windmiller M.* Communism in India. Berkeley, 1959.
- Owsley F.L.* Plain Folk of the Old South. Baton Rouge, 1949.
- Parsons T.* The Social System. Glencoe, 1951.
- Patel G.D.* The Indian Land Problem and Legislation. Bombay, 1954.
- Patel S.J.* Agricultural Labourers in Modern India and Pakistan. Bombay, 1952.
- Phillips U.B.* Life and Labor in the Old South. Boston, 1929.
- Pirenne H.* Histoire économique de l'occident medieval. [Brussels], 1951.
- Plumb J.H.* England in the Eighteenth Century. Harmondsworth, 1950.
- Porchnev B.* Les Soulèvements populaires en France de 1623 à 1648. Paris, 1963.
- Power E.* The Wool Trade in English Medieval History. Oxford, 1941.

- Preradovich N. von.* Die Führungsschichten in Österreich und Preussen (1804–1918). Wiesbaden, 1955.
- Qureshi A.I.* The Economic Development of Hyderabad. Bombay, 1949.
- Raghavaiyangar S.S.* Memorandum on the Progress of the Madras Presidency during the Last Forty Years of British Administration. Madras, 1893.
- Raju A. Sarada.* Economic Conditions in the Madras Presidency 1800–1850. Madras, 1941.
- Ramming M.* Die Wirtschaftliche Lage der Samurai am Ende der Tokugawa-periode // Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur und Völkerkunde Ostasiens. Tokyo, 1928. Bd. 22. Teil A. S. 1–47.
- Randall J.G., Donald D.* The Civil War and Reconstruction. Boston, 1961.
- Rayback J.G.* The American Workingman and the Antislavery Crusade // Journal of Economic History. 1943. Vol. 3. No. 2. P. 152–163.
- Reischauer E.O.* Japanese Feudalism // Feudalism in History / ed. by C. Rush-ton. Princeton, 1956.
- Reischauer R.K.* Japan: Government-Politics. N. Y., 1939.
- Retzlaff R.H.* A Case Study of Panchayats in a North Indian Village. Berkeley, 1959.
- Revolution from 1789 to 1906 / ed. by R.W. Postgate. N. Y., 1962.
- Revolution from 1789 to 1906: Documents selected and edited with Notes and Introductions / ed. by R.W. Postgate. L., 1920.
- Robinson G.T.* Rural Russia Under the Old Regime: A History of the Land-lord Peasant World and a Prologue to the Peasant Revolution of 1917. N. Y., 1932.
- Rosenberg H.* Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy: The Prussian Experience 1660–1815. Cambridge (MA), 1958.
- Rude G.* The Crowd in the French Revolution. Oxford, 1959.
- Rudolph L.I., Rudolph S.H.* The Political Role of India's Caste Associations // Pacific Affairs. 1960. Vol. 33. No. 1. P. 5–22.
- Rudolph S.H.* Consensus and Conflict in Indian Politics // World Politics. 1961. Vol. 13. No. 3. P. 385–399.
- Sabine G.H. (ed.).* The Works of Gerrard Winstanley. Ithaca, 1941.
- Sagnac Ph.* La Formation de la société française moderne: 2 vols. Paris, 1945.
- Saint Jacob P. de.* Les Paysans de la Bourgogne du Nord au dernier siècle de l'ancien régime. Paris, 1960.
- Salvemini G.* The Fascist Dictatorship in Italy. L., 1918.
- Samra Ch.S.* Subhas Chandra Bose // Leadership and Political Institutions in India / ed. by R.L. Park, I. Tinker. Princeton, 1959. P. 66–86.

- Sansom Sir G.* A History of Japan: 3 vols. Vol. 1: To 1334. Stanford, 1958. Vol. 2: 1334–1615. Stanford, 1961. Vol. 3: 1615–1867. Stanford, 1963.
- Sansom Sir G.* Japan: A Short Cultural History. N. Y., 1943.
- Sansom Sir G.* The Western World and Japan. N. Y., 1950.
- Scalapino R.A.* Democracy and the Party Movement in Prewar Japan. Berkeley, 1953.
- Schlesinger A.M., Jr.* The Age of Jackson. Boston, 1945.
- Schmidt C.P.* The Plough and the Sword: Labor, Land, and Property in Fascist Italy. N. Y., 1938.
- Schorske C.E.* German Social Democracy 1905–1917. Cambridge (MA), 1955.
- Schwartz B.I.* Chinese Communism and the Rise of Mao. Cambridge (MA), 1951.
- Schweinitz K. de, Jr.* Industrialization and Democracy: Economic Necessities and Political Possibilities. N. Y., 1964.
- Schweitzer A.* The Nazification of the Lower Middle Class and Peasants // The Third Reich a collection of essays published by the International Council for Philosophy and Humanistic Studies. L., 1955. P. 576–594.
- Scott J.W.R.* The Foundations of Japan. N. Y., 1922.
- Sée H.* Evolution commerciale et industrielle de la France sous l'ancien Régime. Paris, 1925.
- Sée H.* Histoire économique de la France: 2 vols. Paris, 1939.
- Senart E.* Caste in India / transl. by E.D. Ross. L., 1930.
- Shannon F.A.* American Farmers Movements. Princeton, 1957.
- Sharkey R.P.* Money, Class, and Party: An Economic Study of Civil War and Reconstruction. Baltimore, 1959.
- Sheldon Ch.D.* The Rise of the Merchant Class in Tokugawa Japan 1600–1868. Locust Valley, 1958.
- Shen N.C.* The Local Government of China // Chinese Social and Political Science Review. 1936. Vol. 20. No. 2. P. 163–201.
- Shortreed M.* The Antislavery Radicals: From Crusade to Revolution 1840–1868 // Past and Present. 1959. No. 16. P. 65–87.
- Silone I.* Der Fascismus. Zürich, 1934.
- Singh B.N.* The Impact of Community Development on Rural Leadership // Leadership and Political Institutions in India / ed. by R.L. Park, I. Tinker. Princeton, 1959. P. 361–365.
- Smith Th.C.* Agrarian Origins of Modern Japan. Stanford, 1959.
- Smith Th.C.* Landlords' Sons in the Business Elite // Economic Development and Cultural Change. 1960. Vol. 9. No. 1. Part 2. P. 93–107.

- Smith Th.C.* Political Change and Industrial Development in Japan: Government Enterprise, 1868–1880. Stanford, 1955.
- Smith Th.C.* The Land Tax in the Tokugawa Period // *Journal of Asian Studies*. 1958. Vol. 8. No. 1. P. 3–19.
- Smith W.C.* Hyderabad: Muslim Tragedy // *Middle East Journal*. 1950. Vol. 4. No. 1. P. 27–51.
- Soboul A.* Les Sans-culottes parisiens en l'an II. Paris, 1968.
- Soreau E.* La Revolution française et le proletariat rural // *Annales historiques de la Révolution française*. 1932. Vol. 9. No. 50. P. 116–117.
- Spear T.G.* Twilight of the Mughuls. Cambridge, 1951.
- Srinivas M.N.* Caste in Modern India. L., 1962.
- Stamp K.M.* The Causes of the Civil War. Englewood Cliffs, 1959.
- Stamp K.M.* The Era of Reconstruction 1865–1877. N. Y., 1965.
- Stamp K.M.* The Peculiar Institution. N. Y., 1956.
- Stein R.* Die Umwandlung der Agrarverfassung Ostpreußens durch die Reform des neunzehnten Jahrhunderts. Jena, 1918. Bd. 1.
- Stevens Th.* Reconstruction, Speech of Hon. Thaddeus Stevens of Pennsylvania, delivered in the House of Representatives... 18 December 1865. Washington, 1865.
- Stokes E.* The English Utilitarians and India. Oxford, 1959.
- Stone L.* The Crisis of the Aristocracy 1558–1641. Oxford, 1965.
- Storry R.* The Double Patriots: A Study of Japanese Nationalism. Boston, 1957.
- Suffolk and the Great Rebellion 1640–1660* / ed. by A.M. Everitt. Ipswich, 1961.
- Syme Sir R.* The Roman Revolution. Oxford, 1956.
- Taeuber I.B.* The Population of Japan. Princeton, 1958.
- Takekoshi Y.* Land Tenure, China and Japan // *Encyclopedia of the Social Sciences*. N. Y., 1937. Vol. 9. P. 112–118.
- Takizawa Matsuyo.* The Penetration of Money Economy in Japan and Its Effects upon Social and Political Institutions. N. Y., 1927.
- Tanin O., Yohan E.* Militarism and Fascism in Japan. N. Y., 1934.
- Tate W.E.* Members of Parliament and the Proceedings upon Enclosure Bills // *Economic History Review*. 1942. Vol. 12. P. 68–75.
- Tavernier J.-B.* Travels in India / transl. by V. Ball; ed. by W. Crooke. Oxford, 1925.
- Tawney R.H.* Land and Labour in China. L., 1932; N. Y., 1964.
- Tawney R.H.* The Agrarian Problem in the Sixteenth Century. L., 1912.
- Tawney R.H.* The Rise of the Gentry 1558–1640 // *Essays in Economic History*. Vols 1, 2 / ed. by E.M. Carus-Wilson. L., 1954–1962. P. 173–214.

- The Economic Impact of the American Civil War / ed. by R. Andreano. Cambridge (MA), 1962.
- The European Nobility in the Eighteenth Century / ed. by A. Goodwin. L., 1953.
- Thirsk J.* The Restoration Land Settlement // *Journal of Modern History*. 1954. Vol. 26. No. 4. P. 315–328.
- Thirsk J.* Tudor Enclosures. L., 1959.
- Thirumalai S.* Postwar Agricultural Problems and Policies in India. N. Y., 1954.
- Thompson E.P.* The Making of the English Working Class. L., 1963.
- Thompson F.M.L.* English Landed Society in the Nineteenth Century. L., 1963.
- Thorner D., Thorner A.* Land and Labour in India. L., 1962.
- Tilly Ch.* The Vendée. Cambridge (MA), 1964.
- Times of India: Directory and Year Book, 1960–1961. Bombay; Delhi; Calcutta; L., 1961.
- Tinker H.* The Village in the Framework of Development // Administration and Economic Development in India / ed. by R. Braibanti, J. Spengler. L., 1963. P. 94–133.
- Totten G.O.* Labor and Agrarian Disputes in Japan Following World War I // Economic Development and Cultural Change. 1960. Vol. 9. No. 1. Part 2. P. 192–200.
- Traditional India: Structure and Change / ed. by M. Singer // American Folklore Society. Bibliographical and Special Series. Vol. 10. Philadelphia, 1959.
- Trevelyan G.M.* History of England: 3 vols. N. Y., 1953–1956.
- Trevor-Roper H.R.* The Gentry 1540–1640 // *Economic History Review Supplement*. 1953. No. 1.
- Tsunoda Ryusaku* et al. compilers. Sources of Japanese Tradition. N. Y., 1958.
- Turberville A.S.* The House of Lords in the Age of Reform 1784–1837. L., 1958.
- United Nations: Food and Agriculture Organization. Production Yearbook. 1960. Vol. 14; 1962. Vol. 16.
- Usher A.P.* The History of the Grain Trade in France 1400–1710. Cambridge (MA), 1913.
- Venturi F.* Roots of Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in Nineteenth Century Russia / transl. by F. Haskell. L., 1960.
- Village India: Studies in the Little Community American Anthropological Association / ed. by M. McKim. Memoir No. 83. Chicago, 1955.
- Waas A.* Die große Wendung im deutschen Bauernkrieg. München, 1939.

Weber M. Entwicklungstendenzen in der Lage der Ostelbischen Landarbeiter // Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Tübingen, 1924. S. 470–507.

Weber M. Konfuzianismus und Taoismus // Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Bd. 1. Tübingen, 1947. S. 276–536.

Whitehead A.N. Modes of Thought. N. Y., 1938.

Wiessner H. Beiträge zur Geschichte des Dorfes und der Dorfgemeinde in Österreich. Klagenfurt, 1946.

Wiessner H. Sachinhalt und Wirtschaftliche Bedeutung der Weistümer im deutschen Kulturgebiet. Baden, 1934.

Wittfogel K.A. Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power. New Haven, 1957.

Wright M.C. The Last Stand of Chinese Conservatism. Stanford, 1957.

Woodruff Ph. The Men Who Ruled India. Vol. 1: The Founders. Vol. 2: The Guardians. L., 1953.

Woodward C.V. Reunion and Reaction. N. Y., 1956.

Woodward E.L. The Age of Reform 1815–1870. Oxford, 1949.

Wright G. Agrarian Syndicalism in Postwar France // American Political Science Review. 1953a. Vol. 47. No. 2. P. 402–416.

Wright G. Catholics and Peasantry in France // Political Science Quarterly. 1953b. Vol. 68. No. 4. P. 526–551.

Wright G. Rural Revolution in France. Stanford, 1964.

Wundedich F. Farm Labor in Germany 1810–1945. Princeton, 1961.

Yang C.K. A Chinese Village in Early Communist Transition. Cambridge (MA), 1959a.

Yang C.K. The Chinese Family in the Communist Revolution. Cambridge (MA), 1959b.

Yang C.K. Religion in Chinese Society: A Study of Contemporary Social Functions of Religion and Some of Their Historical Factors. Berkeley, 1961.

Yang M.C. A Chinese Village: Taitou, Shantung Province. N. Y., 1945.

Yule G. The Independents in the English Civil War. Cambridge, 1958.

Zagorin P. The English Revolution, 1640–1660 // Journal of World History. 1955. Vol. 2. No. 3. P. 668–681.

Zagorin P. The Social Interpretation of the English Revolution // Journal of Economic History. 1959. Vol. 19. P. 376–401.

Zahler H.S. Eastern Workingmen and National Land Policy, 1829–1862. N. Y., 1941.

Берлин П.А. Русская буржуазия в старое и новое время. М., 1922.

Далин В.М. Грахх Бабеф накануне и во время Великой французской революции (1785–1794). М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963.

ЛИТЕРАТУРА

Ключевский В. Курс русской истории: в 5 т. М., 1937.

Левицкий В. Правые партии // Общественное движение в России в начале XX-го в. Т. 3. СПб., 1914. С. 347–472.

Милюков П. Очерки по истории русской культуры. СПб., 1909.

Семенов В.Ф. Огораживания и крестьянские движения в Англии XVI в. М., 1949.

Смирин М.М. Очерки истории политической борьбы в Германии перед Реформацией. М., 1952.

Хохлов А.Н. Аграрные отношения в Китае во второй половине XVIII — начале XIX в. // Краткие сообщения народов Азии. 1962. № 53. С. 95–115.

Научное издание
Серия «Политическая теория»

БАРРИНГТОН МУР-МЛАДШИЙ

СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОКИ ДИКТАТУРЫ И ДЕМОКРАТИИ:

РОЛЬ ПОМЕЩИКА И КРЕСТЬЯНИНА
В СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА

Главный редактор
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Заведующая книжной редакцией
ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА

Редактор
МАРИНА КОВАЛЕВА

Художник
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Верстка
ЮЛИЯ ПЕТРИНА

Корректор
ОЛЬГА РОСТКОВСКАЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
Тел./факс: (499) 611-15-52

Подписано в печать 16.12.2015. Формат 70×100/16
Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 39,7. Уч.-изд. л. 32,1
Тираж 1000 экз. Изд. № 1623. Заказ № 7366

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел.: 8 (499) 270-73-59